

Б. Мейлах

ПУШКИН И ЕГО ЭПОХА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Художник
С. Н. Томилин



О Т А В Т О Р А

Великий современник великого Пушкина Гоголь однажды сказал о призвании писателя: «Нужно, чтобы в создании его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за наученье себя — научением его». Пушкин в наибольшей для своей эпохи степени отвечал своей деятельностью этим высоким требованиям родины, истории, народа. В его творчестве воплощен исторический опыт русской нации, обогащенный опытом всего человечества.

Пушкин был сыном своего века, он отразил его противоречия, его разум и его предрассудки. Вместе с тем в пушкинском творчестве зрели тенденции, которые опережали время и положили начало дальнейшему развитию передовой русской литературы и общественной мысли.

В этой книге я поставил перед собой задачу осветить на широком фоне общественно-литературной борьбы ряд актуальных проблем идейно-творческой эволюции Пушкина. Каждый из пяти разделов работы посвящен определенной проблеме. Этот тип построения книги избран для того, чтобы сосредоточить внимание на вопросах, наименее изученных в пушкиноведении. Вместе с тем все разделы объединены общим замыслом — показать, как отразилась в мировоззрении и творчестве Пушкина современность, как отвечал он на требования эпохи.

Особенное внимание уделено истокам мировоззрения Пушкина, в частности лицейскому периоду,

который старое пушкиноведение представляло совершенно неправильно. Первая глава книги называется «Легенда о лице и действительность», но легенды, фальсифицировавшие те или иные стороны биографии Пушкина, его взгляды, его творчество, опровергаются и в других главах. С наибольшей подробностью я стремился рассмотреть также значение Отечественной войны 1812 года в идейно-творческой эволюции Пушкина и своеобразие его позиций в острой, сложной, зачастую запутанной борьбе за русскую передовую национальную культуру.

Вопросы о связи Пушкина с декабристским движением затронуты во всех частях книги как в плане биографическом, так и в плане соотношения взглядов поэта с идеологией декабризма. Специальному изучению подвергнуты следственные дела декабристов с целью выяснить закономерность, с которой возникло имя Пушкина в ходе следствия, и тактику декабристов по отношению к нему. Дальнейшие главы раздела «После декабрьского восстания» посвящены роли Пушкина в борьбе за демократизацию русской литературы в обстановке последекабрьской реакции, отношению к нему ссыльных декабристов, его попыткам определить свои позиции в новой ситуации общественного развития.

Последняя часть книги исследует художественное, эстетическое новаторство Пушкина, переворот, который он совершил в эстетических представлениях своего времени. Здесь ставятся вопросы об эстетическом идеале и художественном методе Пушкина, о его понимании сущности и роли литературы, об эволюции образа поэта в его творчестве. В этой же части рассматриваются пути творческого решения Пушкиным проблемы современного героя, анализируются произведения, связанные именно с этой проблемой, преимущественно «южные поэмы» и центральное его произведение — «Евгений Онегин». В этом же аспекте освещается своеобразие пушкинского подхода к изображению героя из социальных низов.

Таким образом, не ставя своей задачей охватить весь круг проблем, связанных с темой книги, я стремился подчинить все ее разделы изучению ведущей роли Пушкина в становлении и утверждении передовой нацио-

нальной культуры своей эпохи, новой эстетики, нового художественного метода.

В ходе работы мною обнаружены ценные неизданные материалы, в ряде моментов по-новому раскрывающие истоки мировоззрения Пушкина, позиции поэта и его современников в общественно-литературной борьбе. Содействием при разыскании этих материалов я в особенности обязан Главному архивному управлению, Центральному историческому архиву в Москве, Центральному историческому архиву в Ленинграде, Центральному архиву литературы и искусства, Историческому архиву Ленинградской области, Архиву Института русской литературы (Пушкинского Дома). Руководителям и работникам этих архивов приношу искреннюю благодарность.

Весьма признателен я всем принимавшим участие в обсуждении этой работы и ее отдельных глав в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) и на Всесоюзных пушкинских конференциях в Ленинграде.

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ



Жизнь наша лицейская сли-
вается с политической эпохой на-
родной жизни русской: пригото-
влялась гроза 1812 года.

Декабрист И. И. Пущин.



Глава первая

ЛЕГЕНДА О ЛИЦЕЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

1

Воспоминания и размышления о Лицее всегда проникнуты в творчестве Пушкина особенной лирической взволнованностью. Будь то мимолетное упоминание о лицейских днях в «Евгении Онегине», беглые строки посланий к лицейским сверстникам или стихотворения, посвященные памятной дате основания Лицея — 19 октября, — всюду ощущается сложное переплетение чувств — от возвышенной гордости прошлым и клятвенной верности традициям до глубокой скорби о минувшем времени, овеянном славой двенадцатого года, поэзией героического подвига, мечтами о свободе. Позже, в жесточайшие годы николаевского царствования, подлинный трагизм звучит у Пушкина в воспоминаниях обо всем, что связано с «заветными» царскосельскими лицейскими днями. Это чувство с наибольшей силой выражено в неоконченных стихах 1829 года, тема которых — приезд в Царское Село после долгой разлуки и многих перемен:

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал...

Дальше поэт вспоминает послелицейские годы, «недоступные мечты», исчезнувшие в «бесплодном вихре суеты», любимую «семью друзей» — все то, что с вариациями (как всегда — свежими и оригинальными) звучит во всех и более ранних и более поздних пушкинских стихах о Лицее. Этот цикл завершается стихотворением «Была пора...», которое написано Пушкиным за несколько месяцев до его гибели, к двадцатипятилетней годовщине Лицея. Отличается оно исключительной эмоциональной напряженностью и широтой взглядов на гигантские исторические события, свидетелем которых был поэт.

Последовательность, с которой Пушкин пронес лицейские воспоминания через все свое творчество, привлекала внимание еще дореволюционных литературоведов. Однако большинство работ так называемых «историографов Лицея» отмечено той отталкивающей пошлостью, против которой протестовал еще И. И. Пущин, — декабрист и лицейский товарищ Пушкина, также свято хранивший память о «заветном дне» — 19 октября. Верность Пушкина Лицею толковалась официальными биографами чаще всего как традиционная в поэзии грусть о былой беззаботной юности, о мирных, беспечных годах «учения и шалостей» в кругу «друзей и братьев». Усилившееся с годами трагическое звучание лицейской темы у Пушкина превращалось ими в элегию о канувшей в прошлое царскосельской идиллии. Подобная трактовка лицейской темы по традиции подкреплялась односторонне подобранными материалами и тенденциозно комментированными строками из Пушкина:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал...

(«Евгений Онегин», гл. VIII)

Истинная история пушкинского Лицея между тем говорит, что «безмятежными», идиллическими лицейские годы можно назвать только по сравнению с позднейшей биографией опального поэта, а возможность сентиментально-элегической трактовки лицейской темы исчезает при самом простом ознакомлении с теми взглядами, которыми Пушкин делился со своими друзьями, оканчивая Лицей. Это были не мечты о «тихой пристани»,

а скорее клятвы, напоминавшие клятвы воина о верности дружескому союзу в предчувствии грозных испытаний:

...где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли берегах родимого ручья,
Святому братству верен я!

(«Разлука», 1817)

или:

...с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!

(«В альбом Пушкину», 1817)

«Святое братство», «лицейский союз» — это не только поэтический пароль Пушкина, Кюхельбекера, Дельвига; эти слова встречаются в многолетней переписке их ближайших товарищей — Пушкина, Малиновского и даже такого не склонного к романтическим преувеличениям лицеиста, как Вольховский. В письме Малиновскому 1833 года (через 14 лет после окончания Лицея!) Вольховский, вспоминая томившегося в Сибири Ивана Пушкина, говорил:

«Не резвою мечтой союз наш заключен;
<Пред грозным временем, пред грозными судьбами>
О милый, вечен он!

Так писал мне однажды дорогой и несчастный наш Иван; то же от всего сердца и тебе повторяю»¹.

О значении Лицея для Пушкина красноречиво говорят строки, посвященные им любимейшему из лицейских профессоров — Куницыну: «Он создал нас, он воспитал наш пламень...» Эти слова имеют точный смысл: «наш пламень» — это пламень свободы.

Роль Лицея в формировании мировоззрения тех передовых людей, которых дал России первый (так называемый пушкинский) выпуск, отмечена многими современниками поэта. Наиболее ярким свидетельством являются, несомненно, мемуары Пушкина, который писал о своем вступлении в тайное общество: «Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского». Даже если бы до нас дошли лишь эти мемуары, утверждение одного из убежденнейших декабристов было бы достаточным основанием для подробного

изучения внутренней жизни, системы воспитания и преподавания пушкинского Лицея. Но о Лицее как учебном заведении, насаждавшем свободомыслие, говорили и декабристы и люди враждебного лагеря — вплоть до Николая I².

И все же вопрос о значении Лицея, о борьбе различных идейных направлений и интересов внутри него не может быть решен лишь на основании лежащих на поверхности фактов. Он требует особого изучения.

Выяснение этого вопроса осложняется тем, что ни в официальных документах, ни в мемуарах внутренняя идейно-политическая жизнь Лицея почти не освещена. Пущин, например, говоря о Лицее в «историко-хронологическом отношении», отказывался сообщать подробности лицейской вседневной жизни, «близкой нам и памятной», утверждая, что они «должны остаться достоянием нашим»³.

До сих пор оставалось неясным также, каким образом заведение, задуманное правительством для подготовки высших правительственных чиновников, превратилось в настоящий рассадник вольномыслия. Вся противоречивость этого вопроса совершенно исчезла в тех оценках пушкинского Лицея, которые давались буржуазным литературоведением и влияние которых еще сказывается до сих пор.

А между тем ни один период биографии Пушкина не освещался так внимательно и подробно, как лицейский. О Лицее имеются объемистые работы. Среди них — специально о Лицее и лицеистах монографии И. Селезнева, Д. Кобеко, три тома «Материалов» Н. Гастфрейнда, сборники статей Я. Грота и К. Грота, не говоря уже о десятках других книг, брошюр, статей, затрагивающих в той или иной степени ту же тему. Во всех этих работах был использован большой фактический материал. Что же касается содержания их, то оно заключалось в создании (иногда сознательном, иногда бессознательном) легенды о пушкинском Лицее. Эта легенда имела две разновидности⁴.

Первую легенду, носившую явно реакционный характер, лепили из тенденциозно подобранных материалов И. Селезнев и Н. Гастфрейнд. Селезнев — бывший библиотекарь Лицея — написал и выпустил свой семисотстраничный «Очерк» в 1861 году «по предложению совета

Лицея, с соизволения его императорского высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского, попечителя Лицея». Напечатан «Очерк» (оказавший немало влияния на последующее пушкиноведение) «с дозволения директора Лицея генерал-лейтенанта Миллера». Уже «выходные данные» книги говорят об официальном характере этой, с внешней стороны, самой обстоятельной истории Лицея. И. Селезнев доказывает, что Лицей на протяжении всей своей истории непрерывно прогрессировал в силу «августейшего покровительства», «которое постоянно в течение пятидесяти лет хранило Лицей». Совершенно игнорируется коренное политическое отличие Лицея, в котором учился Пушкин (1811—1817), от вполне казенного, полувоенного заведения позднейших годов, связанного с пушкинским Лицеем только лишь по названию. Полицейский разгром Лицея, учиненный Александром I и Аракчеевым в 1822 году, рассматривается как «преобразование», вызванное «неустройствами». Первый выпуск Лицея, вошедший в историю передовой России именами Пушкина, Дельвига, Пущина, Кюхельбекера, обезличивается и тем самым вливается в «общую семью» лицеистов, из среды которых в течение многих десятилетий выходили «верные слуги престола» и в том числе жесточайшие «усмирители» революционного движения *⁵.

Эта реакционная концепция истории Лицея (как и самый метод отбора и освещения материалов) была подхвачена в XX веке Николаем Гастфрейндом. О политической тенденции его «Материалов» (1912—1913) достаточно говорит уже то, что восстание декабристов неизменно именуется у него «комедией», «шутовским восстанием». Степень «истинного достоинства» каждого из лицейских товарищей Пушкина Гастфрейнд измеряет количеством полученных ими впоследствии денежных премий, чинов и орденов, которые он подробно выписывает в своих трех томах с каким-то бюрократическим вдохновением. В 1915 году вышла книга о Лицее историка и члена Государственного совета Д. Кобеко, использовавшего некоторые новые материалы, но по своей политической тенденции в итоге приближающегося к «почтенному» (как выражается Кобеко) труду Селезнева.

* Характеристику идейного расслоения среди лицейцев пушкинского выпуска см. в третьей главе этого раздела книги.

Все авторы книг о Лицее были (за исключением Селезнева) лицеистами разных выпусков. Это сказалось и в том, как они освещали материал: соблазнительной была возможность утвердить в сознании читателя идею однородности Лицея и тем самым приобщиться к ореолу, которым был окружен пушкинский Лицей. Особенно отчетливо видна эта тенденция в книгах академика Я. Грота и его сына — К. Грота. Первый (отец) был лицеистом шестого выпуска (окончил в 1832 году), а впоследствии стал профессором Лицея (1853—1862). Поэтому он особенно заботился о том, чтобы «лицейский культ» (слова самого Грота) лишить какой-либо политической окраски и рассматривал его как идиллически-сентиментальное содружество людей, связь которых заключалась лишь в том, что они воспитывались под одной кровлей. «Легкомысленное кощунство» (то есть свободолюбие и атеизм) Пушкина Грот снисходительно извинял как «дань молодости». Анализируя стихи Пушкина о Лицее, Я. Грот писал: «Эти чудные песни скрепляли узы дружбы не только между его товарищами, но и между воспитанниками старших курсов, и таким образом Пушкина надо считать главным творцом и хранителем идеи товарищеского братства, перешедшей во всей теплоте к последующим поколениям лицеистов». По Гроту получается, что «последующие поколения лицеистов», выросшие в «лучах пушкинской славы», оказались даже в более выигрышном, чем Пушкин, положении, ибо они поступили в «учебное заведение вполне организованное». Все эти рассуждения были развиты сыном Я. Грота — К. Гротом, писавшим об отце как человеке, преданном пушкинским традициям, сознательном слугителе лицейского «культа»⁶.

К. Грот утверждает прямую преемственность «великих и священных традиций» от Пушкина и пушкинского Лицея — к «нынешнему петербургскому Лицею». Для характеристики «священной преданности» этим традициям К. Грот без всякого стеснения приводит следующие «воспоминания» своего отца о посещении Пушкиным Лицея в 1828 году: «Пушкин был в черном сюртуке и белых панталонах. На лестнице оборвалась у него штрипка; он остановился, отстегнул ее и бросил на пол; я с намерением отстал и завладел этой драгоценностью, которая после долго хранилась у меня». Что касается

главного — разговоров Пушкина, то об этом сообщается: «Из разговоров Пушкина я ничего не помню». Подобными мемуарами обосновывалась «лицейская традиция»!⁷

Такова в общих чертах эта легенда о Лицее. Рядом с ней существовала другая легенда. Авторы ее признавали, что пушкинский Лицей значительно отличается от Лицея более позднего периода. Но они стремились представить Лицей пушкинского времени как единый, целостный, монолитный коллектив, проникнутый вольнолюбием. Зачатки этой легенды появились еще в работах П. В. Анненкова, а законченное ее выражение мы находим у В. Е. Якушкина. Вторая легенда о пушкинском Лицее оказалась весьма устойчивой. Неожиданным подкреплением ее явилась соответствующе истолкованная полицейская записка «Нечто о Царскосельском лицее и духе оногo» (1826). Нет почти ни одной работы о Пушкине, где эта записка не цитировалась бы. Из нее следует ни больше ни меньше, что пушкинский Лицей был чуть ли не главным центром революционного движения. Автор записки (по-видимому, Фаддей Булгарин) зачислял в революционеры, за исключением М. Корфа, почти всех лицеистов (число которых во времена написания записки достигло 78 человек). Все они, по словам доносчика, порицатели правительства, проповедники конституции, атеисты. К этой любопытной в своем роде записке нам еще придется вернуться. Пока лишь отметим, что она не может служить определяющим документом для суждений о всех выпускниках Лицея по той же причине, по какой позднее было неправильно судить о настроениях студенчества на основании обычных черносотенных прокламаций, утверждавших, что все без исключения студенты — революционеры. В действительности же из 78 воспитанников Лицея, которых имеет в виду «Записка» (и даже из 29 воспитанников пушкинского выпуска), преобладающее большинство стало впоследствии «благонамеренными» чиновниками. Непосредственно привлеченными к следствию по делу декабристов оказались восемь воспитанников Лицея пушкинского и других курсов. Это не значит, что влияние лицейского вольномыслия сказалось только на этих воспитанниках. Но о «лицейском духе» можно говорить применительно только к определенному кругу лицеистов, объединенных именем, которое и названо в записке, — именем *Пушкина*⁸.

Таким образом, истинное положение дела в Лицее не отражает ни одна из двух созданных дореволюционным литературоведением концепций: обе они оказались легендами. В исходных методологических позициях творцы этих легенд были близки: и те и другие стремились подменить историческую действительность действительностью мнимой, зачеркивали сложность отношений внутри пушкинского Лицея. Ложность обеих концепций была отмечена еще В. Гаевским, бывшим лицеистом. В 1863 году он писал в «Современнике»: «В официальной истории, биографиях и журнальных статьях, описывающих первые годы существования Лицея, он изображен каким-то идеальным учреждением, в котором действовали идеальные лица». Далее Гаевский указывает, что если поближе посмотреть на Лицей, то оказывается: «Все хорошее и разумное, не имея органической связи с предыдущим и последующим, является только как счастливая случайность». Эти слова Гаевский по цензурным причинам не расшифровывает, но из дальнейшего ясно, что он хотел подчеркнуть коренное отличие пушкинского Лицея от направления этого заведения в дальнейшем. Гаевский упоминает вскользь о гуманности, благородстве начал пушкинского Лицея, об уважении к человеческому достоинству и отсутствии там такого «полицейского элемента», как телесные наказания. Но тем не менее Гаевский указывает и на то, что Лицей пушкинского времени безмерно идеализировался и что вместе с тем все лучшее в нем не было связано «с последующим» (то есть с историей Лицея послепушкинского) ⁹.

Советское пушкиноведение отвергает обе легенды о Лицее. Однако иллюзии, что лицейский период фундаментально разработан старым пушкиноведением, способствовали тому, что монографического пересмотра темы до сих пор не было произведено. Легенды о Лицее нельзя считать похороненными: всякий, кто знаком с литературой о Пушкине, знает, что рецидивы их встречаются до сих пор.

Другим пережитком старых работ о Лицее в наше время является освещение истории его возникновения и развития вне конкретной исторической обстановки. Поэтому так и остаются в силе слова В. Гаевского о том, что пушкинский Лицей был какой-то «счастливой случайностью». Неясно далее, кто и как направлял лицейское вольномыслие, как и в чем отражалась в Лицее

бурлившая в эти годы политическая жизнь России, борьба враждебных лагерей общественной мысли. Немало, наконец (как мы увидим ниже), бытует еще в описаниях Лицея фактически неверных представлений, в частности огульно отрицательно оценивается система преподавания и воспитания в нем (то есть самого существенного для Лицея!). Ценные соображения и сведения о пушкинском Лицее имеются в статье Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер». Тынянов поставил вопрос о противоречиях внутри Лицея и о необходимости изучить «пути проникновения в Лицей революционизирующих мнений и убеждений», но детальным изучением его не занялся, ограничившись анализом материалов архива Кюхельбекера. После него разработка этих вопросов дальше не пошла (появившиеся затем биографии Пушкина внесли поправки в традиционную трактовку Лицея только в пределах тех материалов, которые привел Тынянов). Между тем и ранее известные (но требующие критического пересмотра) факты и неопубликованные, не использованные до сих пор материалы бросают новый свет на роль Лицея не только для Пушкина, но и для всей общественной жизни пушкинской эпохи¹⁰.

Самый круг источников, на которых основывается изучение этой темы, показывает, что Лицей был связан с всевозможными организациями, с представителями общественно-политических направлений и деятелями революционного движения. Для изучения истории Лицея только пушкинского выпуска, роли его руководителей, взглядов воспитанников приходится обращаться, кроме лицейского архива, к фондам правительственных учреждений, министерств, к секретным архивам — «собственной его величества канцелярии», Военно-историческому архиву, к материалам следственного комитета по делу декабристов, к частным фондам. Многие из документов опубликованы (полностью или частично), но пересмотр архивов позволил обнаружить большое количество новых ценнейших документов. Среди них первостепенный интерес представляют не известные ранее лекции лицейских профессоров Пушкина из архива его сокурсника кн. А. М. Горчакова, письма лицеистов, почти неопубликованный архив первого директора Лицея — В. Ф. Малиновского, бумаги второго директора — Е. А. Энгельгардта и многое другое.

Проект возникновения Лицея не был «счастливой случайностью»: он самым непосредственным и прямым образом связан с общественно-политической борьбой против абсолютизма и феодально-крепостнических, средневековых ограничений в экономической, политической и культурной жизни страны.

В годы, когда возникал Лицей, только еще начиналось то расслоение оппозиционных царизму сил, которое с такой резкостью проходило после Отечественной войны 1812 года и привело, затем к возникновению декабристских организаций.

По характеристике Ленина, эпоха дворянской революционности, при всем ее историческом значении,—это эпоха, когда «протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа»¹¹. Именно поэтому дворянских революционеров постигла неудача. Тем более бессильным было протестующее меньшинство дворян в годы, предшествовавшие началу декабристского движения. Слабость политической оппозиции царизму сказалась в 1800—1810 годы также в распространенности иллюзий о возможности серьезных преобразований законодательным путем. (Эти иллюзии были свойственны тогда и некоторым из будущих декабристов.)

«Мирные иллюзии» начала александровского царствования, коренившиеся в классовых особенностях дворянской оппозиционности, поддерживались лицемерной тактикой императора. То было время, когда, как отметил Ленин, «монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых и «спускали» на верноподданных Аракчеевых»¹². Внешним либерализмом Александр I с иезуитской хитростью прикрывал свою реакционную политику. Облик царя Пушкин впоследствии запечатлел в лаконичных и точных словах:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда...

Однако в годы, предшествовавшие войне, иллюзии о возможности ликвидировать самовластие «сверху» вызвали к жизни один проект реформ за другим. Возникновение этих проектов следует объяснить не «добрыми

намерениями» их авторов, а объективными причинами. Подспудное развитие элементов капитализма в недрах крепостной России, рост новых тенденций в экономической жизни (и прежде всего, рост вольнонаемного труда и промышленного производства), непрекращавшиеся крестьянские волнения, напоминавшие о том, что после усмирения «пугачевщины» народ не смирился, — все это ставило с большой остротой проблему изменения политического строя. Не только для выразителей народных интересов, но зачастую и для тех дальновидных деятелей дворянского общества, которые заботились прежде всего о собственном благополучии, становилось ясно, что существовавшие порядки сковывали дальнейшее развитие страны, закрепляли ее хозяйственную отсталость, узаконивали полную беззащитность личности, произвол самодержавно-бюрократического аппарата. Разумеется, даже те проекты, которые ставили вопрос о серьезных реформах (ограничение самодержавия, введение конституции, установление «гражданских свобод» и т. д.), преследовали главным образом интересы имущих классов, ибо «действительное освобождение масс от гнета и произвола нигде и никогда на свете не достигалось не чем иным, **кроме как самостоятельной, геройской, сознательной борьбой самих этих масс**»¹³. Поэтому даже наиболее прогрессивные из проектов 1800-х годов, затрагивавшие острейшие вопросы политической жизни, просвещения и т. д., были ограниченными по своему содержанию. И все же в конкретных условиях 1800-х годов проекты эти способствовали развитию критики самодержавия, а самый их провал усиливал недовольство царем.

Наиболее крупными представителями дворянской оппозиции были Н. Мордвинов и М. Сперанский. Интересно отметить, что в позднейшем пушкинском плане романа «Русский Пелам», посвященном александровскому времени, упоминается «Мордвинов и его общество». Как известно, Н. Мордвинов, М. Сперанский и другие деятели этого круга пытались (с разными политическими целями) добиться «сверху» существенных изменений в системе государственного управления. Недаром более десяти лет спустя следственный комитет по делу декабристов внимательно выяснял пути распространения среди них не только проектов Сперанского, но и «мнений» более умеренного деятеля — Мордвинова.

Проект создания Лицея может быть понят только в связи с планами преобразования России, возникшими в 1800-е годы. В свете всех дошедших до нас материалов и документов Лицей, по мысли его организаторов, должен был готовить деятелей для борьбы именно за осуществление этих планов. Понятно, почему в числе инициаторов организации Лицея и его руководителей мы видим людей, которые в те годы были сторонниками конституционных перемен в политическом строе, — не только осторожного, учитывающего конъюнктуру М. М. Сперанского, но и таких убежденных передовых общественных деятелей, как первый директор Лицея В. Ф. Малиновский и профессор А. П. Куницын. При всем различии между позициями Сперанского, с одной стороны, Малиновского и Куницына — с другой, в их взглядах на Лицей было много общего.

В исторических и литературоведческих трудах разноречивы мнения о самом авторе проекта образования Лицея: он приписывается Александру I, а также Лагарпу, И. И. Мартынову, Сперанскому и даже графу Разумовскому.

Между тем документы подтверждают, что именно Сперанскому принадлежит инициатива организации Лицея. В письме Масальскому 1815 года он протестовал против приписывания этой инициативы другим лицам. «Училище сие, — писал он, — образовано и устав его написан мною, хотя и присвоили себе работу сию другие; но без самолюбия скажу, что он соединяет в себе несравненно более видов, чем все наши университеты». Но имеются и более веские, фактические доказательства. В архиве Министерства народного просвещения сохранились рукописи Сперанского, посвященные Лицею и полностью раскрывающие цели и замыслы, связанные с этим заведением. Эти документы нельзя понять вне энергичной политической деятельности, которую развивал тогда Сперанский¹⁴.

Пушкин, желая запомнить свою беседу со Сперанским, состоявшуюся в 1834 году, записал в своем дневнике: «Разговор со Сперанским... о первом времени царствования Александра, о Ермолове etc.»*. Пушкин сказал

* Умолчание, обозначенное «etc.», многозначительно: Ермолов, так же как Сперанский и Мордвинов, намечался декабристами в состав временного правительства после переворота.

Сперанскому: «Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого (александровского. — Б. М.) царствования как гении зла и блага». Слова Пушкина, хотя и неимоверно преувеличивающие роль Сперанского, все же не были только комплиментом. Сперанский, выходец из незнатной и нечиновной среды («бурсак», «попович», — говорили про него), в те годы всемерно пытался использовать свое место статс-секретаря, чтобы добиться конституционных реформ. О значении внутренней противоречивой деятельности Сперанского имеются интересные замечания в статье Н. Г. Чернышевского «Русский реформатор» (1861). Он отмечает «мечтательность» и практическую беспочвенность, политическую ограниченность проектов Сперанского, которому и не думалось «прибегнуть к замыслам или мерам, не согласным с законными приемами и обязанностями его официального положения». Но Чернышевский вместе с тем называет Сперанского «серьезным реформатором», который «действительно хотел преобразовать государство». Содержание реформаторских замыслов Сперанского Чернышевский охарактеризовал так: он «действительно был *отчасти* приверженцем той политической системы, которая преобразовала Францию, которая провозглашала равноправность всех граждан и отменяла средневековое устройство». Слово «отчасти» очень важно. Предложенные Сперанским реформы не только не были революционными, а должны были, по его замыслу, предотвратить разрешение затронутых в его проектах проблем революционным путем. Однако проект несомненно содержал прогрессивные моменты и должен был в известной степени способствовать усилению процесса ломки феодальных отношений¹⁵.

В первое десятилетие XIX века Сперанский составил несколько проектов преобразования государственного управления, вызванных новыми тенденциями в развитии страны. Для понимания идеи возникновения Лицея особенно важен его «План государственного образования», разработанный в 1809 году. Обосновывая необходимость реформ, Сперанский писал: «Настоящая система образования не свойственна уже более состоянию общественного духа... Настало время переменить ее и основать новый порядок вещей», «правление, доселе самодержавное, учредить на неперменном законе». Проект был направлен

против деспотизма, произвола и беззакония, обосновывал необходимость установления конституционной монархии, создания представительных учреждений. Предусматривалось предоставление избирательных прав не только дворянству, но и «среднему сословию» — купцам, мещанам — на основе имущественного ценза. Буржуазный, в своей основе, характер предложенной Сперанским системы выборов членов законодательного «сословия» очевиден¹⁶.

Позднейшая либеральная историография идеализировала проект Сперанского. Либералы ценили в нем, конечно, не те черты, которые в 1800-х годах, в эпоху феодально-крепостническую, были исторически прогрессивными, а порочную мысль о возможности добиться «благих преобразований» путем реформы, а не революции «снизу».

Этой своей стороной реформаторская деятельность Сперанского была на руку тем, кто отрицал революционные методы борьбы. Будучи внутренне убежденным противником крепостного права и утверждая неизбежность его падения, Сперанский, однако, считал это делом «постепенным», делом будущего. Но прогрессивное зерно проектов Сперанского в начале XIX века заключалось в том, что, при всей своей противоречивости, непоследовательности, двойственности, они были проникнуты отрицательным отношением к деспотизму, средневековым ограничениям. В этой связи следует напомнить, что Ленин, протестуя против неверных оценок исторического значения перехода от монархии *абсолютной* к монархии *конституционной*, ссылаясь при этом на слова Энгельса: «Точно так же, — писал Энгельс, — как борьба феодализма с буржуазией не могла быть доведена до решительного конца в старой абсолютной монархии, а только в конституционной монархии... так и борьба буржуазии с пролетариатом может быть доведена до решительного конца только в республике»¹⁷.

Проект Сперанского должен был способствовать более интенсивной эволюции самодержавно-крепостнического государства в направлении к конституционной монархии. Разумеется, проект остался на бумаге. Как отметил Чернышевский, Сперанский «оставался лицом одиноким в придворной и правительственной сфере», «его намерения совершенно расходились с интересами и мыслями среды, в которую он вдвинулся против

ее желаний». «Сущность ошибки состояла в том, что Сперанский не понимал недостаточность средств своих для осуществления задуманных преобразований». «Самообольщение» Сперанского, «ложный путь», избранный им для достижения цели, сбивал с толку многих, и с этой стороны деятельность Сперанского можно назвать «вредной» (иначе говоря, «самообольщение» Сперанского способствовало распространению либеральных иллюзий)¹⁸.

Реформаторские планы Сперанского потёрпели, конечно, полный провал. Под давлением реакционных дворянских кругов в 1812 году Сперанский был уволен от всех должностей и выслан из Петербурга при бурном ликованием всех крепостников и двора. Но одно время он твердо надеялся, что его проект будет проведен. Ему казалось, что «российская конституция» уже в те годы дело реальное.

В самый разгар этих конституционных упований, в те дни, когда Сперанский вынашивал свой план реформированной России, он и написал проект организации Лицея, оказавшийся в противоречии с существовавшей системой образования. Сравнительный анализ составленного Сперанским плана реформ государственного строя и проекта Лицея указывает на *прямую* зависимость замысла «подготовки юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной», от плана политических преобразований.

До нас дошли три проекта Лицея. Первый, краткий набросок, «Первоначальное начертание особенного Лицея» — автограф Сперанского. В нем сказано: Лицей составляется из «молодых людей разных состояний», «Разные состояния» означает разные сословия; выходцы из *разных сословий* и должны были научиться в *Лицее* управлению «важными частями службы государственной». В разделе «О образе жизни в Лицее» мы видим развитие той же мысли о равенстве воспитанников — выходцев из разных сословий: «Все учащиеся в Лицее составляют одно общество без всякого различия в столе и одежде». Воспитатели должны «наблюдать совершенное равенство в образе жизни учащихся и взаимном их обращении». Далее указывалось, что «предпочтение в классах» должно быть основано только «на успехах, а в домашней жизни на благонравии». Поскольку место-

пребыванием Лицея было назначено Царское Село, в проекте учитывается необходимость предупредить растлевающее влияние придворного быта, подобию страстия, лакейства и т. д. В том же «начертании Лицея» указывалось: «Ни один из учащихся не должен являться при дворе, разве в приватном (то есть частном. — Б. М.) и совершенно домашнем виде»¹⁹.

«Первоначальное начертание Лицея» приведено в выходившем на правах рукописи «Лицейском журнале». Но совсем не изученным и не использованным в литературоведении остался *главнейший* документ истории возникновения Лицея — подробный черновой проект этого заведения, написанный рукой того же Сперанского. Этот проект исключительно интересен. Составленный, как мы полагаем, при самом ближайшем участии будущих руководителей Лицея Малиновского и Кунцына, он излагает все основы лицейского воспитания и образования. Перед нами своеобразная страница истории русской педагогической мысли²⁰.

В главе о методе учения подчеркивается необходимость развивать инициативу учащихся, учить их самостоятельно мыслить. «Главное правило доброй методы или способа учения состоит в том, чтобы не затемнять ум детей пространными изъяснениями, но возбуждать собственное его действие». Науки нравственные должны дать понятие «о должностях человека и гражданина». Развитие национального самосознания в этом проекте выдвигается на первый план. При изучении истории «российская история должна занять предпочтительное место». Особенно же «должно останавливать внимание на деяниях великих людей»²¹.

С большой тщательностью разработаны в проекте Лицея те его разделы, которые непосредственно были связаны с планами преобразования России на новых началах, — разделы о «науках нравственных» и «исторических», а также о законодательстве — этом, по мысли автора проекта, фундаменте реформы государственного строя. «Под именем наук нравственных здесь заключаются все те познания, кои относятся к нравственному положению человека [или гражданина] в обществе, и, следовательно, понятия об устройстве гражданских обществ, о правах и обязанностях, отсюда возникающих». История должна преподаваться в духе просветительной

философии, «должна быть делом разума», «предмет ее есть представить в разных превращениях государственных шествие нравственности, успехи разума и падения в разных гражданских установлениях». В противовес сторонникам эмпиризма проект требует изучение нравственных и исторических наук соединить с философией: «История мнений философских здесь существенное занимает место: то, что в училищах обыкновенно называют *философией*, в самом деле не что другое, как сравнительная история философских мнений о душе, идеях и мире. Исторические науки, рассматриваемые с сей точки зрения, справедливо названы *философиею* истории». Идеей прогресса должно быть проникнуто изучение права. «...От самых простых понятий права, должно довести воспитанников до коренного и твердого познания различных прав и изъяснить им систему права публичного, права общенародного, права частного»²².

Примечательна идейная целеустремленность этого проекта. В нем выдвинута необходимость руководящей идеи не только в преподавании истории и нравственности. Проект вообще требует, чтобы воспитанников учили избегать «ложного велеречия». Нужно «прежде заставлять мыслить, а потом уже искать выражений, и никогда не терпеть, чтобы они употребляли слова без ясных идей». Даже при разборе предложений на уроках словесности «нужно дать воспитанникам чувствовать, каким образом и какими средствами главная простая мысль получила особенную живость или возвышенность». Эти принципы должны быть положены в основу изучения правил ораторской речи, владение которой было жизненно необходимо для будущих политических деятелей²³.

Вообще все науки должны были прежде всего способствовать воспитанию будущих деятелей «новой России». Значение проекта Лицея — в его направленности против деспотизма, средневековья, реакционных систем воспитания. Поэтому вокруг проекта неизбежно должна была разгореться острая политическая борьба. Так оно и было. Атаку на проект Лицея предпринял не только министр просвещения граф. А. К. Разумовский, но и Жозеф де Местр, мракобес и агент зарубежной реакции. Этот человек, формально считавшийся в России «посланником сардинского короля» (хотя король этот тогда

остался без владений), всеми силами стремился воспрепятствовать малейшим прогрессивным сдвигам в политической жизни России. Будучи доверенным лицом Разумовского, он ознакомился с проектом Сперанского и всячески пытался этот проект провалить.

В пяти письмах Разумовскому, написанных в июне — июле 1810 года, де Местр не без проницательности вскрыл политический смысл проекта Лицея. Содержание этого проекта он рассматривал в связи с просветительством XVIII века — идеологической системой, которая, по его словам, во Франции «произвела менее чем в тридцать лет то ужасное поколение, которое опрокинуло алтари и зарезало короля французского». С беспримерной наглостью де Местр поставил под сомнение самую необходимость просвещения в России. «Кто знает, например, созданы ли русские для науки?» — восклицал он в первом же письме о Лицее и тут же отвечал: «Мы еще не имеем никаких на это доказательств». Наука в России, утверждал он, «будет не только бесполезна, но даже опасна для государства», ибо создаст «дурных подданных». Автор проекта Лицея принадлежит, по словам де Местра в другом письме, «к тем, кто, захватив в свои руки воспитание юношества, грозит России». Де Местра удручает самая структура Лицея: она такова, что в этом учебном заведении не предусмотрены лица, «которые, при малейшем подозрении, могли бы потребовать лицейские тетради и донести о том, что в них нашли, правительству», которые не допускали бы «опасных книг» и добились бы прекращения связи Лицея с миром внешним²⁴.

Переходя к проекту учебной программы, де Местр подчеркивает ее направленность против идеологии абсолютизма и целой серией выписок доказывает «опасность» политического содержания тех предметов, которые глухо были названы «нравственными науками», «философским познанием» о правах и обязанностях человека и гражданина, «систематическим изложением физических наук и разных теорий о происхождении мира» и т. п. Все это, с его точки зрения, не что иное, как «введение в материализм». Любопытно, что в письмах де Местра, с целью доказательства вредоносности лицейской программы, приведены почти дословно те самые суждения различных мыслителей о «естественных пра-

вах народа», о попрании самодержцев, которые впоследствии *действительно* пропагандировались в лицейских лекциях Куницына!

С особенной настойчивостью де Местр рекомендовал изъять из программы Лицея естественные и политические науки, историю, эстетику. Резко нападал он на методические принципы проекта, требовавшие идейности преподавания и развития самостоятельного мышления у воспитанников.

Проекту Лицея де Местр противопоставил систему воспитания в иезуитских учебных заведениях с их военно-полицейским режимом, телесными наказаниями, методами вколачивания реакционных идей в головы воспитанников. Это не было пустой пропагандой: иезуиты, эти воинствующие деятели международной католической реакции, изгнанные в свое время из государств Западной Европы, в начале XIX века формально восстановили свой орден в России и занялись также «воспитанием» русского юношества. (Как известно, и Пушкина вначале прочили было в воспитанники Петербургского иезуитского пансиона, который, на счастье будущего поэта, как раз в это время закрылся.)

Доводы де Местра, подкрепленные ссылками на авторитет церкви, возымели свое действие на министра просвещения Разумовского, который был заклятым врагом Сперанского. По собственному признанию де Местра, министр представил его соображения императору. Во всяком случае во всеподданнейшем докладе Разумовский буквально повторял многие возражения де Местра и, в частности, писал, что «история мнений о душе, идеях и мире, большей частью нелепых и противоречащих между собою, не озаряет ума полезными истинами, но помрачает заблуждениями и недоумениями». В заключение министр признавал неудовлетворительность проекта Лицея²⁵.

Чем же кончилась эта длительная (почти двухгодичная!) борьба вокруг Лицея?

Сравнение упомянутых выше проектов Лицея с постановлением о Лицее, утвержденным 12 августа 1810 года, показывает, что прежде всего оказался измененным пункт о классовом составе воспитанников. Пункт о детях «разных состояний» был заменен требованием при поступлении в Лицей представлять свиде-

тельство о дворянстве. Вычеркнут параграф о равенстве учащихся. Из учебного плана снята естественная история и сравнительная «история мнений философских о душе, идеях и мире». Введены параграфы о зависимости директора от министра и о системе контроля за Лицеем. Но *все основные идеи проекта о направлении, методах и содержании воспитания* в постановлении остались (включая даже изучение «прав человека и гражданина») ²⁶. Это объясняется следующими обстоятельствами.

После замечаний Разумовского, Жозефа де Местра и личного друга царя В. П. Кочубея проект редактировался директором департамента Министерства просвещения И. И. Мартыновым. Мартынов был в молодости человеком, близким к передовым кругам (в 1804—1805 годах он издавал «Северный вестник», где даже перепечатал главу из «Путешествия» Радищева). В годы организации Лицея Мартынов еще не растерял полностью своих былых политических убеждений. Редактируя постановление о Лицее и зная, что автором проекта был Сперанский, занимавший в то время одно из главнейших мест в государственном аппарате, Мартынов сумел сохранить в окончательном тексте такие формулировки, которые позволяли этому учебному заведению не только принять первоначально намеченное направление, но и выйти за эти пределы. О проекте Лицея можно сказать то же, что говорил Чернышевский по поводу других тогда же задуманных Сперанским учреждений: в его проектах «можно найти... признаки тому, что Сперанский предназначал их действовать не при старом, а при задуманном новом быте». Идея Сперанского о том, что из лицейстов вырабатываются деятели «представительного правления», осторожно проведена даже в отчете конференции Лицея за 1811—1817 годы, где указывается: «каждый из наставников руководствовался мыслию, что он образует юношей, которые... сделавшись орудиями верховной власти, соделаются вместе органами общего мнения...» ²⁷. Цель, которая была намечена в первоначальном проекте организации Лицея, могла быть углублена и осуществлена только при условии подбора соответствующих руководителей Лицея. От них и только от них зависела степень использования возможностей, заложенных в лицейской программе.

Директором Лицея был назначен Владимир Федорович Малиновский. Это необычайно яркая фигура. Его деятельность еще по-настоящему не изучена. Интерес представляет не только он сам, но и его семья: сын Малиновского, ближайший товарищ Пушкина по Лицею, был впоследствии женат на сестре декабриста Пушина; одна из дочерей вышла замуж за декабриста Розена и поехала вслед за ним в Сибирь; вторая была женой Вольховского, члена «Союза благоденствия».

Малиновский — человек, взгляды которого имеют определяющее значение для понимания «лицейского духа». Все дошедшие до нас материалы говорят о том, что в Малиновском Сперанский нашел человека, оказавшего несравненно более прогрессивных убеждений, чем он сам.

В плане автобиографических записок Пушкина под 1811 годом значится: «*Лицей*. Открытие... Малиновский, Куницын...» Однако до нас не дошли характеристики взглядов Малиновского ни от Пушкина, ни от его друзей (свои автобиографические записки Пушкин, как известно, из предосторожности уничтожил). Облик первого директора все же можно воссоздать на основе материалов, частично опубликованных, а в большей своей части не изданных.

В работах о Пушкине Малиновский изображается личностью совершенно бесцветной, неинтересной и даже жалкой. «В. Ф. Малиновский, — пишет Г. Чулков, — ничем значительным не отметил своего трехлетнего управления лицеем. Но и худого про него никто не мог сказать ничего. Он был одним из тех администраторов-педагогов, которые думают, что самое лучшее: как можно меньше управлять и руководить и что все устривается само собою»²⁸.

Еще резче сказал о Малиновском Л. П. Гроссман. Описывая открытие Лицея, он говорит: «...выступил директор лицея Малиновский, занимавший до тех пор скромные должности в архивах и консульствах. Этот малозаметный чиновник, любивший переводить библию и псалтырь, совершенно растерялся, впервые выступая в «высочайшем» присутствии. Он был бледен, как смерть, и «чуть живой», прерывающимся от волнения

голосом читал по бумажке приветствие, написанное для него тем же Мартыновым... Торжественному славянизму стиля вполне соответствовал и верноподданныческий тон приветствия». Такие характеристики Малиновского можно встретить и в других работах о Пушкине²⁹.

В обширной и ценной биографии Пушкина, написанной Н. Л. Бродским, о Малиновском имеются, однако, лишь следующие лаконичные строки: «...бледный, как смерть, начал читать что-то со свертком в руках директор лицея В. Ф. Малиновский и утомил всех, тем более, что слабый, прерывавшийся от волнения голос был слышен только в первых рядах»³⁰.

Эти характеристики восходят в своей фактической основе к «Записке» графа Корфа, бывшего лицейста, который стремился очернить все лучшее, что было в Лицее (и в том числе оклеветал Пушкина). Именно он писал, что Малиновский человек бесцветный, «без всякой людскости, слабый и вообще не созданный для управления какою-нибудь частью, тем более высшим учебным заведением». Сведения же о том, как Малиновский читал вступительную речь («бледный, как смерть») заимствованы всеми литературоведами из мемуаров Пушина, который ограничился только этим эпизодом и никакой характеристики первому директору Лицея не дал³¹.

Говоря о Малиновском, биографы Пушкина правы только в одном: дошедший до нас текст речи оставляет впечатление не только законченной «благонамеренности», но и доходящей до комизма архаичности. Здесь и выпренное обращение к государю, который «в столь знаменитом обиталище отверзает храм наук для отличнейшего юношества», и кудрявые фразы о природе Царского Села, где «благорастворенный воздух, укрепляя силы телесные, укрепит и душевные в величии чувствований и деяний». Кончается речь уверением: «Мы потщимся каждую минуту жизни нашей все силы и способности наши принести на пользу сего нового вертограда, да ваше императорское величество и все отечество возрадуется о плодах его»³².

Но все дело в том, что эта речь и по содержанию и по стилю противоречит всему, что когда-либо было написано рукою Малиновского. На это не обратили

внимания даже те исследователи, которые знали, что текст речи Малиновскому не принадлежал. В воспоминаниях директора департамента И. И. Мартынова об открытии Лицея сказано: «...директор Малиновский произнес сочиненную мною, приличную сему случаю речь». К этому следует добавить, что считавшаяся программной речь директора редактировалась министром просвещения, тупым и подобострастным чиновником Разумовским. По свидетельству самого Малиновского, министр заставил его даже репетировать эту речь в своем присутствии³³.

Итак, речь Малиновского как материал для суждения о нем отпадает. Что же касается робости Малиновского при чтении речи (это всегда подчеркивается биографами Пушкина), то по этому поводу декабрист А. Е. Розен писал: «Малиновский был необыкновенно скромнен... и должен был произнести речь, которая десятки раз была переправлена предварительно цензурой; так мудрено ли, что он был смущен? и диво ли, что природа не дала ему голоса лихого батальонного комиссара перед фрунтом?»³⁴

Политической характеристики Малиновского избегали все, кто в той или иной форме писал о его деятельности. Автор единственного очерка, посвященного первому директору Лицея, Д. Кобеко на две трети посвятил свою небольшую брошюру не относящимся к делу сведениям и совершенно не коснулся взглядов Малиновского³⁵.

Между тем литературное наследие Малиновского (в значительной части не опубликованное), сочинения, письма, дневники, рисует его как убежденного врага крепостничества и горячего сторонника «политических перемен» в государственном строе России. Как отметил Ю. Н. Тынянов (единственный из исследователей, который, хотя и вскользь, но все же возразил против принятого мнения о Малиновском), «под его прямым влиянием развились в Лицее будущие декабристы»³⁶.

Интересный вопрос о мировоззрении Малиновского ждет своего исследователя: разработкой его будет вписана еще одна страница в историю общественной мысли конца XVIII — начала XIX века. В рамках нашей книги мы можем говорить о Малиновском в пределах темы, связанной с пушкинским Лицеем.

Малиновский был человеком высокой культуры и широкого политического кругозора, блестящим знатоком не только западноевропейских, но и восточных языков. Окончив в 1781 году философский факультет Московского университета, он поступил в архив коллегии иностранных дел, в 1789—1791 годах служил в русской миссии в Лондоне, затем был генеральным консулом в Молдавии.

Уже в эти годы Малиновский отрицательно относится к современному укладу. В письме из Ясс к невесте 4 сентября 1791 года он говорит о своем презрении к чинам и богатству и замечает: «... вы знаете Россию — без них у нас человек не почитается человеком. Я положил предметом своей жизни сделать что-нибудь полезное»³⁷.

Из писем Малиновского можно заключить, что он принадлежал к какому-то кружку или обществу, где велись потаенные беседы. В письме к неизвестному 20 ноября 1792 года он пишет: «Лично говорю тебе, любезный друг, ибо кроме стен нет и не должно быть слушателей. Но не то будет, когда мы решимся привести в образ жизни и обычаи правила друзей человека, тогда и в мужике, и в соседе, и в госте найдем себе собеседника — товарища или сочлена и помощника, ибо тогда будут все наши беседы как теперешние собрания и вся жизнь исполнение правил нашего общества»³⁸.

В двух письмах 1792 года к неизвестному Малиновский убеждает своего друга создать в уфимской степи род свободного общежития (по типу утопических проектов приверженцев естественного права), основанного на свободе и независимости, и заняться просвещением местных жителей, которые, пишет он, тем лучше крестьян, что «они не наши собственные, они вольны, и мы не господами, но отцами их будем». Этот утопический план близок идее новиковцев, мечтавших основать небольшую республику в Сибири и по ее подобию преобразовать всю Россию. Здесь не простое совпадение: к Новикову, который, по словам Пушкина, распространил «первые лучи просвещения» и за это стал жертвой екатерининской реакции, восходят во многом взгляды Малиновского³⁹.

Отголоском новиковских влияний является и журнал «Осенние вечера», издававшийся Малиновским в

1803 году. Пропаганда «общей пользы наущения и просвещения» пронизана в этом журнале страстным патриотизмом, стремлением поставить Россию на высочайшую ступень славы и могущества. В статьях, которые Малиновский печатал в своем журнале («Любовь России», «История России», «Своя сторона» и др.), эти идеи подкрепляются различными примерами. Содержание журнала во многом повторяет дневники Малиновского. Он требует не пассивной, а деятельной любви к отечеству. Для укрепления национальных чувств он считает необходимым всемерное развитие просвещения, учреждение университетов, основание всероссийской национальной газеты, которая освещала бы жизнь всей страны и возбудила бы «дух общественный». Вместе с тем встречается в «Осенних вечерах» и религиозность, характерная для новиковского круга.

Идеями просвещения и свободолюбия, горячим сочувствием к угнетенному крестьянству проникнута также любопытнейшая (до сих пор не опубликованная) записная книжка Малиновского 1799—1803 годов, содержащая наброски политических статей, а также «Историю России для простых и малых».

Связи Малиновского с кругом и идеями Новикова не остались незамеченными. Этим следует объяснить, что автор вышеупомянувшейся полицейской записки о Лицее подчеркивает, что «лицейский дух» ведет свое начало от секты мартинистов «под начальством Новикова». Между прочим, и Пушкин в плане лицейских автобиографических записок лаконично замечает: «Мартинизм» (1811) ⁴⁰.

Малиновскому чужды революционные методы переустройства России, но в его сочинениях содержатся резкие обличительные характеристики политических порядков. В 1790-х годах Малиновский пишет «Рассуждение о мире и войне» (напечатано в 1803 году, в двух частях). Он выступает за прекращение войн и предлагает создать международный орган («общий совет») с представителями всех стран. Этот орган, решающий споры между народами, должен стоять на страже мира, обеспечивать суверенитет каждого из его членов и применять (говоря современным языком) санкции по отношению к агрессорам.

Здесь же Малиновский выступает в защиту крепостного люда. Черновой набросок его к этому труду связан по содержанию и стилю с главой о рекрутчине из «Путешествия» Радищева. Описывая ужасы рекрутского набора, Малиновский заключает: «Могу ли я быть так спокоен, когда другие будут проливать кровь? Тот, которого пронзит смертоносное орудие, подобен тебе, он человек, твой брат». В 1802 году Малиновский написал «Записку об освобождении рабов». К вопросу о необходимости ликвидировать крепостничество Малиновский часто возвращался в своих дневниках. В дневнике 1799—1803 годов он записывает: «Кто любит добродетель и отечество, должен стараться о прекращении рабства. Оно портит нрав россиянина. Сия заносчивость, запальчивость и купно низость и раболепствие — от воспитания, житья и обхождения с рабами». Таким образом, документы опровергают характеристику облика Малиновского, данную И. Селезевым (от нее отправляются все позднейшие исследователи): «Добродушие, кротость, мечтательность, привязанность к тихой, уединенной жизни» ⁴¹.

В дневнике Малиновского рассыпаны резкие замечания о русском самодержавии, деспотизме, беззаконии, продажности власти, о беззащитности человеческой личности и всеобщем недовольстве правительством. «Правление российское ныне есть деспото-аристократия. Владыко-вельможное», — пишет Малиновский. Для того чтобы «исправить участь России», необходимо такое правление, «в коем общество имеет часть». В другом месте дневника Малиновский защищает идею ограничения монархической власти в России: «...подданные могут предписывать себе законы в своих делах, поелику такие законы ни целости, ни безопасности республики, и ниже законам, от верховного правления предписанным, не противны» ⁴².

Программу реформ, о которых мечтал Малиновский, можно назвать одним из вариантов тех проектов, который выдвигал Сперанский. Однако в отличие от Сперанского Малиновский не занимал никакого положения в правительственном аппарате, его суждения являются более свободными, более резкими. Так, например, мысль об ограничении самодержавия выражена им в такой форме: «Бесспорно надлежит России управляемой быть

единым. Но не мешает, чтоб сей единый ограничен был от самопроизвольного делания зла. Спросить кроткого монарха, пожалеет ли он расстаться с сею властью русских царей рубить и вешать, сечь и засылать в Сибирь без разбору правого с виноватым...» Рассуждая о рабстве, Малиновский саркастически замечает: «Дворяне так привыкли к рабам, что думают — без них и крестьян не будет». Особую часть дневника 1803 года составляют рассуждения «О созвании депутатов» — «для соображения недостатков и злоупотреблений всей империи.... и для составления надежного правления и сообразных тому неперемennых законов». Через депутатов следует послушать «мнение представляемого ими народа». За провал законодательных замыслов порицается Екатерина: «Гром побед, ласкательство ученых довершили сооруженную в уме ее громаду собственной великости»⁴³.

Малиновский в 1803 году разделял иллюзии Сперанского о возможности добровольного дарования «свобод» Александром. Впрочем, и тогда Малиновский говорит о «сомнениях» государя и замечает: «Государь не ангел»*. Малиновский идет дальше проектов Сперанского. Ликвидацию крепостничества он считает делом самым неотложным, а не задачей «дальнейших преобразований». Затем он категорически, без всяких оговорок исключает самую идею проведения законодательных реформ без участия депутатов от народа. «Закон есть изъявление общей воли», — утверждает Малиновский. «Законоположение без соучастия законополагаемых (то есть депутатов. — Б. М.), без совета их и представления бедственнее настоящего недостатка законов». С требованием публичного обсуждения реформ депутатами всей России связана полемика Малиновского против механического копирования «кодексов европейских». «Великая обида россиянам почитать их неспособными для составления своих законов! — воскликнул он. — Доселе толь знаменитые в Европе своим мужеством и победами, они законодательством покажут, сколь великого почтения достойны по дарованиям своего быстрого ума и тонкого понятия»⁴⁴.

* Это выражение можно рассматривать как полемику с придворными кругами, где Александра называли «notre ange» (наш ангел).

В конце XVIII — начале XIX века Малиновский, как мы видели, развил активную политическую деятельность: доказательством этому — проект ликвидации крепостничества, его сочинения, письма, дневники. Цитированные выше его рассуждения из дневника об изменениях государственного строя представляют собою не просто «записки для себя», а наброски к задуманной книге. Однако опала, которой подвергся Сперанский в 1812 году, высылка его из Петербурга вызвала у Малиновского глубокий душевный кризис, обострившийся смертью жены и собственной болезнью. К этому прибавились переживания от его столкновений по делам Лицея с министром просвещения. Дневники Малиновского за последние годы жизни отражают его тягчайший надлом. Ему всегда были свойственны религиозно-мистические настроения. Он принадлежал к кругу тех людей, о которых Пушкин в 30-х годах вспоминал: «Странная смесь мистической набожности и философского вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от того поколения, к которому они принадлежали». Под влиянием упомянутых обстоятельств мистические настроения Малиновского усиливаются. В дневниках последних лет он пишет о своих «печальных чувствах», вызванных «внутренним разорением России», описывает свое состояние душевной тревоги, неясных роковых предчувствий⁴⁵.

Самая судьба Малиновского — типичная для этого времени судьба человека, надломленного крушением несвершившихся надежд. Он умер в марте 1814 года. (Пушкин дважды упоминал о его смерти в позднейшей программе своих записок.)

Итак, можно с полным основанием утверждать, что основы идейно-воспитательной работы и само направление лицейского воспитания восходят к взглядам Малиновского, отраженным в его сочинениях. Малиновский был инициатором таких отношений между лицейским начальством, профессорами и воспитанниками, при которых (независимо от происхождения и чиновных различий) «воспитывающие и воспитываемые составляли всегда одно сословие». Сама идея свободы суждений лицейстов по политическим вопросам также восходит к Малиновскому, который постоянно указывал на необхо-

димось «общего духа»; позволяющего заниматься «суждением о управляющих и деяниях их». Он говорил об «общем мнении», «общем благоденствии», «общей воле». «Общее мнение», «общее дело (*res publica*)», «общая польза» стали распространенными формулами в лицейском преподавании, сочинениях, разговорном языке. О «пользе общей» писал Малиновский в дневнике, рассуждая о вреде деспотизма и о необходимости ограничить самодержавие. «Для общей пользы» — гласила надпись на лицейской медали, которой награждались лучшие ученики. Эта терминология, впоследствии утерявшая свой первоначальный смысл, ознаменовала тогда переворот во взглядах целого поколения, выступившего против абсолютизма. В России она появилась еще в годы борьбы с екатерининским деспотизмом. Пушкин впоследствии сочувственно цитировал восторженный отзыв Киреевского об этом времени: «Тогда отечество наше было, хотя и ненадолго, свидетелем события, почти единственного в летописях нашего просвещения: *рождения общего мнения*». Кюхельбекер в «Лицейском словаре» («наш словарь», — назвал его Пушкин) записал: «Пусть народ выбирает своих *предстателей*, а сии последние правителей государства... пусть общее мнение решает гражданские несогласия». Конечно, термин «общее мнение» в лицейском обиходе не имел того революционного содержания, которое вкладывал в эти же слова Радищев. У Малиновского и людей его круга, так же, как и для передовых лицейцев, слова о «пользе общей» были своеобразным паролем борьбы с абсолютизмом и крепостничеством, но не за народовластие. Однако важно отметить, что эти слова выражали идеологию русского национального подъема. «Общий дух» Малиновский обосновывает как «главное побуждение россиянина» в «бесстрашных его делах». «Поревнование» (то есть взаимопомощь, единение, сознание общности. — Б. М.) ему наиболее свойственно, возбужденным из доброй воли, он сносит труды и опасности. И далее приводятся народные поговорки: «Жить вместе и умереть вместе», «На миру и смерть красна»⁴⁶.

Таков смысл этой лицейской терминологии в истолковании Малиновского. Распространение ее в Лицее имело огромное воспитательное значение. И в этом — заслуга Малиновского и людей его круга.

Однако Лицей не остался вне сферы влияния и людей, еще более прогрессивных, из среды которых вышли видные деятели тайных обществ. Это влияние осуществлялось через молодого профессора нравственно-политических наук А. П. Куницына, принимавшего энергичное участие в пропагандистской деятельности декабристских объединений. С декабристской средой его связал, несомненно, Н. И. Тургенев, один из виднейших членов тайного общества, впоследствии заочно приговоренный к смертной казни. Общение Куницына с Тургеневым началось еще в годы их совместного обучения в Геттингенском университете. Деятельность Куницына благодаря Тургеневу оказалась настолько близкой «Союзу благоденствия», что невольно напрашивается мысль о том, что лицейский профессор был членом тайного общества. Куницын в печати (главным образом в «Сыне отечества») откровенно пропагандировал необходимость введения в России конституции и ликвидации крепостного права. Основные идеи всех книг и статей Куницына почти целиком совпадают с идеями Н. Тургенева и, в частности, с его знаменитым «Опытом теории налогов». «Опыт» Тургенева, направленный против крепостничества и абсолютизма, был написан к концу его пребывания в Геттингенском университете (1810—1811). Выход этой книги в свет (1818) Куницын приветствовал обстоятельной рецензией и отстаивал ее от нападок реакционеров (ко второму изданию «Опыта теории налогов» приложена рецензия Куницына). В 1819 году Тургенев начал организацию Журнального общества для издания легального органа «Союза благоденствия». Сохранившиеся документы свидетельствуют, что Куницын был намечен соредактором журнала, ставившего своей целью «писать против рабства» и «распространять здравые идеи политические». В письме брату Сергею Н. Тургенев писал: «Я сообщил мою идею Куницыну. Он ее принял. Сверх того, присовокупились несколько молодых людей, бывших воспитанников Лицея, и несколько офицеров... Все статьи должны иметь целью свободомыслие». Журнальное общество (членом которого был и Пушкин) после нескольких заседаний прекратило свое существование. О более тесной связи Куницына с декабристами говорит другой факт — чтение для них лекций по курсу «политических наук». Лекции

Куницына, не только публичные, но и на частных квартирах, слушали в 1816—1820 годах декабристы Пестель, Муравьевы, Федор Глинка, Бурцов, Павел Колошин, Поджою, Оболенский и др. Ф. Глинка в своем показании следственному комитету назвал кружок слушателей этих лекций «отделением политических наук» «Союза благоденствия»⁴⁷.

В 1818—1820 годах Куницын издает свою книгу «Право естественное» (в двух частях). Публикация ее повлекла за собой травлю автора Министерством духовных дел и народного просвещения, окончившуюся увольнением его с должности профессора. Куницын переехал окончательно в Петербург, чтобы, по словам Е. А. Энгельгардта, «читать приватно публично курсы». Труд Куницына, отпечатанный в количестве тысячи экземпляров, был в 1820 году повсеместно конфискован и уничтожен. После конфискации «Естественного права» его кипучая агитационно-политическая деятельность, начало которой относится еще ко времени организации Лицея, была оборвана⁴⁸.

В период своей педагогической деятельности Куницын вместе с Малиновским давал общее направление всему лицейскому духу. Именно Куницын провозгласил направление лицейского воспитания в своей речи, обращенной к воспитанникам 19 октября 1811 года на торжественном акте открытия Лицея. Эта исполненная пафоса речь, отражавшая чувства и стремления нового поколения передовых русских людей, была сочувственно отмечена в прогрессивной печати и в переписке современников. О ней как о самом ярком событии этого дня вспоминал Пушкин в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 1836 года:

...И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.

Речь Куницына — «Наставление, читанное воспитанникам при открытии императорского Царскосельского лицея» — является программной*. Она проникнута

* Она дошла до нас в двух редакциях. Первая редакция (цензурное разрешение 2 октября 1811 года) отличается от второй (цензурное разрешение 7 декабря того же года) главным образом обилием ссылок на разных авторов, в числе которых выдающийся просветитель материалист Гельвеций и историк, обличитель феодально-абсолютистских порядков, Рейналь.

прославлением гражданской доблести и призывает к служению отечеству, общественному прогрессу. Цель воспитания — «даровать согражданам истинного соперника в общественных пользах». Далее отмечается особое предназначение государственных деятелей, которых должен готовить Лицей. Обращаясь к лицеистам, Куницын говорил: «Вы будете иметь непосредственное влияние на благо целого общества». Забота о народе — вот важнейшая задача «государственного человека»; он «обозревает состояние граждан, измеряет их нужды и недостатки, предвещает несчастья, им угрожающие, или прекращает постигнувшие их бедствия», «никогда не отвергает народного вопля». Программа воспитания заключается в том, чтобы научить воспитанников исполнению гражданского долга, показать «существо гражданских обязанностей». Для этого нужно раскрыть «состав гражданского общества» и извлечь уроки из истории человечества. «Многолетняя история... — сказал Куницын, — оживит перед вами минувшие века, воскресит погибшие царства, вызовет на суд буйных и беспечных граждан и, указывая на развалины государства, погибших от их разномыслия, предаст имена их вечному поношению».

Речь представляет собою горячую пропаганду просвещения, обличает невежество и предрассудки. Особенно подчеркивается Куницыным роль законов и законности, соотносимых с «природою человека». Он говорил воспитанникам: «Приуготовляясь быть хранителями законов, научитесь прежде сами почитать оные; ибо закон, нарушенный блюстителями оного, не имеет святости в глазах народа». И, наконец, Куницын подробно говорил об аристократизме, восставая против суждений о достоинствах человека по чинам и происхождению. Он убеждал воспитанников, что единственное мерило человека — гражданская доблесть и высокая нравственность. «И хотя можно было присвоить отличие не по достоянию, но можно ли присвоить неизъяснимое удовольствие, истекающее от ощущения собственных достоинств?.. Почести без заслуг, отличие без дарования, украшения без добродетели наполняют горестью благородное сердце. Какая польза гордиться титулами, приобретенными не по достоянию, когда во взорах каждого видны укоризна или презрение, хула или нарекания,

ненависть или проклятие?» Все эти призывы завершались написанием о народных традициях: «Так думали и действовали древние россы, прославленные веками; вы должны последовать их великому примеру». Свою речь Куницын закончил вдохновенным обращением к юным «гражданам» России: «Вы ли захотите смешаться с толпой людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых волнами забвения? Нет! да не развратит мысль сия вашего воображения! Любовь к славе и отечеству должны быть вашими руководителями!»⁴⁹

Эта речь по самой своей фразеологии связана с мироощущением передовых людей России. «Граждане», «соревнование», «природа человека», «общественная цель», «общественная польза», «общественное благоденствие», «истинная добродетель», прославление принципов закона и законности — с этой терминологией мы встречались и у Малиновского. Она приобретала в сознании современников определенную политическую направленность (вспомним, что одно из первых тайных обществ называлось *«Союзом благоденствия»*, а устав его — *«Зеленая книга»* — пестрел этими терминами). Даже само понятие «славы» наполнялось новым содержанием, являлось предметом пылких разговоров и мечтаний в кружках передовой молодежи. Позже Пушкин, говоря о Кюхельбекере, вспоминал лицейские разговоры

...о Шиллере, о славе, о любви.

Это была не «тихая слава», а слава гражданской доблести, мужества и героизма. Жизнь выдвигала необходимость воспитания героического характера, способного бороться в тягчайших условиях дикого и жестокого деспотизма за «великие перемены», за великое предназначение России. Это была не абстрактная, а вполне конкретная задача лицейского воспитания. Об этом говорил Куницын*. Об этом же думал директор Лицея Малиновский, когда писал 21 августа 1811 года (еще в ходе подготовки к открытию Лицея): «Выбрать детям лучшие места для упражнений в переводах, отделить по предметам: например, неустрашимости в бедах

* О педагогической деятельности Куницына см. в главе «Лицейский «способ учения».

и твердости духа. «La résolution d'un homme sensé ne s'affaiblira point par la crainte, en quelque temps que ce soit * 50.

Неустрасимость, твердость духа должна быть осознанной, проявляться не в словах, а в делах. Эта идея раскрывается в замечательном рассуждении Малиновского, которое мы взяли эпиграфом к главе «Лицейский «способ учения»: «Раскрывши мысленность, приучать к различению добра и зла и чтоб не делали без рассуждения и не говорили и не мыслили, поелику всякая мысль открывается через прехождение в желание, а далее в дело»⁵¹.

Рядом с главными инициаторами и руководителями лицейского воспитания и образования при комплектовании штатов оказались преподаватели и наставники, частью открыто враждебные их взглядам, как Гауэншильд или Фролов (о них и о борьбе с ними в Лицее мы скажем ниже), частью политически несамостоятельные. К числу последних принадлежал профессор истории Кайданов, товарищ Куницына по Геттингенскому университету. Впоследствии он превратился в бесцветного, благонамеренного историка (подобно пресловутому Иловайскому). Но иным был он в 1810-е годы. Под влиянием общего направления в Лицее пушкинской поры лекции Кайданова первых шести лет во многом поддерживали (как мы увидим далее) принципы, выраженные Малиновским и Куницыным.

4

Не было ли, однако, перелома в направлении Лицея после смерти Малиновского в 1814 году? Для ответа на этот вопрос необходимо восстановить некоторые факты, важные для воссоздания подлинной картины лицейской жизни.

Как известно, после смерти Малиновского и временного безначалия директором Лицея был назначен в 1816 году бывший директор Педагогического института Егор Антонович Энгельгардт. С его именем принято связывать якобы имевшее место изменение идеологиче-

* Решимость разумного человека от опасений ни при каких условиях нисколько не ослабевает (*франц.*).

ского направления в Лицее. Даже Ю. Н. Тынянов, весьма критически относившийся к старому пушкиноведению, называет Энгельгардта не более не менее как «ставленником Аракчеева».

Ю. Н. Тынянов пишет: «В последние *полтора* года *шестилетнего* лицейского курса Энгельгардт, конечно, не мог изгладить следов предшествующих *четырёх с половиной* лицейских лет...» Таким образом, речь идет о том, что новый директор ставил своей целью изменить в корне направление, господствовавшее в Лицее. Между тем факты полностью опровергают такого рода утверждения. 1816—1817 годы были годами самой интенсивной идейной жизни лицейстов. Вопрос о позиции второго директора очень важен⁵².

Энгельгардт не внес никаких существенных изменений в систему воспитания и преподавания и, более того, горячо отстаивал ранее принятые принципы. Эти принципы были изложены в речи Куницына на открытии Лицея, которая, по свидетельству Пушкина, восхитила Энгельгардта. Показательно отношение его к самому передовому профессору Лицея — Куницыну. В последние годы пребывания Пушкина в Лицее, когда Энгельгардт был директором, Куницын читал важнейшие части курсов политических наук. Энгельгардту было хорошо известно, о чем говорил Куницын. В письме В. Кюхельбекеру Энгельгардт писал, что «Куницын на кафедре беспрепятственно говорил против рабства и за свободу». Когда Куницын (в 1820 году) оставил Лицей, чтобы развернуть лекционно-пропагандистскую деятельность в Петербурге, Энгельгардт заявил, что он «во всяком отношении заслуживает в полной мере признательность и благодарность Лицея за пользу, принесенную им в течение девяти лет воспитанникам сего заведения как учением своим, так и особенно важным влиянием, которое он имел на образование нравственности их». Когда же книга Куницына «Право естественное» была конфискована и он подвергся гонениям, Энгельгардт горячо ему сочувствовал и резко противопоставлял преподавателям реакционного направления. В письме бывшему лицеисту Ф. Ф. Матюшкину он писал: «Естественное право» Куницына... конфисковано и запрещено, как книга пагубная, разрушающая веру христианскую и расторгающая все связи семейственные и государственные... Ку-

ницын от всех должностей по Министерству народного просвещения отставлен и запрещено ему что-либо и где-либо преподавать... Жаль! а Кунницын умел учить и добру — учил! а люди презрительные во всяком отношении и ума и сердца, например Гауэншильдты, Карповы и им подобные, остаются и награждаются»⁵³.

О том, что Энгельгардт и не думал менять общего направления в Лицее, красноречиво говорит отчет конференции Лицея о шестилетнем обучении воспитанников, читанный 9 июня 1817 года на торжественном акте выпуска лицеистов (в том числе Пушкина). В отчете (явно противоположном по своей идейной направленности официальной системе воспитания) отмечается, что «философическое учение нравственности», преподававшееся в Лицее, «заимствовано было из самого существа природы человеческой и из свойства общежития, а не из других каких-либо источников более отвлеченных, которые нередко в самой нравственности заставляют сомневаться и почитать ее собранием закоренелых, без точного исследования принятых обычаев и правил». Здесь явно имеется в виду «естественное право», противопоставленное абсолютистской государственной догме. Далее говорится, что изложение русского законодательства велось в критическом духе. Преподаватели не скрывали от лицеистов «злоупотребления, в суде и расправе встречаемые, равно как источники оных и последствия; ибо в храме просвещения и образования одна только истина должна управлять устами наставника; она только может обнаружить всю гнусность неправоты, мздоимства и лицепрятия». Программа политических наук заключалась в том, чтобы доказать истину: «Как счастье народов зависит от благоразумного управления и благих нравов, так и бедственная судьба постигает их или за всеобщее развращение, или за пороки и ошибки их правителей». Поэтому и в преподавании истории отечественной, как утверждается в отчете, не было искажения правды. В частности, подчеркивалось, что «суд и расправу могли находить только вельможи и люди, близкие ко двору царскому, а простой народ страдал от угнетения сильных». Вместе с тем в ходе преподавания «возвеличивались мужи, которые возымели смелость вооружиться противу предрассудков, укоренившихся в течение многих столетий, противу злоупотреблений, обратившихся в

обычаи и, так сказать, в закон непреложный». Пример «сих великих гениев» должен возродить охоту «содействовать успехам блага общего». В отчете имеются сдержанные фразы об успехах правительства в образовании народа (с оговоркой: «Остается сделать еще большее»). Но все содержание отчета говорит об итогах воспитания именно в том духе, который стремились придать Лицею Малиновский и Куницын⁵⁴.

Нет, конечно, никаких оснований отождествлять политические взгляды Энгельгардта с взглядами этой группы. Энгельгардт не принадлежал к тем людям, которые активно влияли на развитие антиправительственного духа. Его можно назвать не более как попутчиком оппозиционных кругов, человеком, находившимся под их влиянием. В записке декабриста Штейнгеля рассказано о разговоре Энгельгардта с Александром I, когда Энгельгардт «осмелился заметить» царю во время военного парада: «Время приняться за устройство гражданской части» (то есть за реформу государственного управления)⁵⁵. В Лицее на позицию Энгельгардта оказывал большое положительное влияние Куницын (кстати, в 1816—1817 годы Куницын был конференц-секретарем, то есть вторым человеком после директора). Энгельгардт по своему политическому кругозору не идет, как уже было сказано, ни в какое сравнение с такими выдающимися людьми, как Малиновский или, тем более, Куницын. Он безгранично верил в «доброту» и в «искренность» либеральных фраз Александра. Тем не менее Энгельгардт оказался связанным с теми учреждениями, которые в грибоедовском «Горе от ума» устами Фамусова названы рассадником «безумных мнений». Этой же точки зрения придерживаются в комедии и другие «столпы» общества. Так княгиня восклицает:

...в Петербурге институт
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и безверьи
Профессоры!!

А Хлестова говорит:

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их,
Да от ланкарточных взаимных обучений*.

* Подчекнуто мною. — Б. М.

Энгельгардт до службы в Лицее был директором Педагогического института. Он был также членом общества ланкастерских взаимных обучений.

Директорство Энгельгардта в лицее сопровождалось непрерывными и острыми столкновениями с Министерством просвещения. О своей вражде к реакционерам — гонителям просвещения он часто упоминает в письмах: «Нас треплют и теребят систематически и всеми способами, какие только ни придумают почтеннейшие Руничи, Магницкие, Поповы, Гауэншильды, Карцовы, Калинич и почтенный их покровитель (то есть министр просвещения Голицын. — Б. М.)», — писал он Вольховскому⁵⁶.

Голицын в записке, предназначенной для Александра I, обвинял Энгельгардта в том, что он допускает «вреднейшие беспорядки по части учебной и нравственной». С возмущением говорил Голицын об оценке Энгельгардтом «Права естественного» Куницына как «превосходного в сем роде творения», в то время как эта книга заключает «все развратительные правила новейшей философии». Далее указывается, что Энгельгардт противился чтению воспитанникам «священного писания». В заключение министр писал, что «образование вверенных Лицею юношей из знатнейших дворянских фамилий направляется вовсе не к той цели, которую государь император имел в виду». Он, Энгельгардт, противился также военизации Лицея, попыткам связать лицеистов строгими дисциплинарными правилами, выступал против предложений о дежурствах юношей при дворе. По словам Пущина, Энгельгардт, отвергая эти предложения, заявил, что «придворная служба будет отвлекать от ученых занятий и воспрепятствует цели учреждения Лицея». К этому Пущин добавляет: «Между нами (лицеистами. — Б. М.) мнения насчет этого нововведения были разделены: иные, по суетности и лени, желали этой лакейской должности, но дело обошлось одними толками». Возражал Энгельгардт и против каких-либо привилегий для выходцев из аристократии. Так, он отклонял предложения государя и министра о преимуществах при поступлении в Лицей для молодого графа Шереметева, отставшего «по наукам». «Изъятия из хороших правил всегда вредны, — писал Энгельгардт, — а это изъятие преимущественно вредно: богатство Шереметева не дает ему никакого права на сие

преимущество, и потому поступление его не должно иметь места».

Энгельгардт отстаивал перед министерством демократические правила внутреннего распорядка в Лицее и пансионе. В этих правилах, между прочим, особенно интересны три пункта:

«Все воспитанники равны как дети одного отца и семейства, а потому никто не может презирать других или гордиться перед прочими чем бы то ни было. Если кто замечен будет в сем пороке, тот занимает самое нижнее место по поведению, пока не исправится».

«Запрещается воспитанникам кричать на служителей или бранить их, хотя бы они были их крепостные люди».

«Только предписанных услуг можно требовать от служителей».

Правила получили резкий отзыв в ученом комитете Главного управления училищ⁵⁷.

В результате всей этой линии, которую проводил Энгельгардт, направление Лицея прочно связывалось в правящих кругах с его именем. Этому способствовала и попытка Энгельгардта организовать в Лицее (в 1821 году) Общество друзей полезного с публичными чтениями, включавшими острые политические темы (общество было запрещено министром). Энгельгардту не доверяют: за ним настороженно следят. Гауэншильд доносит на него в министерство. 10 сентября 1820 года Энгельгардт пишет Матюшкину: «Князь (министр просвещения Голицын. — Б. М.) мною весьма недоволен и, находя, что я весьма дурно воспитываю вверенную мне молодежь, предписал, особым секретным орденом священнику Кочетову пещись о исправлении воспитанников, о искоренении в них зла и пр. Мне объявлено, что тесная и дружеская связь между мною и воспитанниками никуда не годится... Словом, мой друг, я оставляю лицей и все те прекрасные мечты, с которыми переселился я сюда». В 1822 году Лицей был разгромлен и передан в военное ведомство, а в 1823 году Энгельгардт увольняется. Карьера его закончена: он уходит в отставку. На его место был назначен аракатеевский ставленник генерал-майор Гольтгоер (бывший директор кадетского корпуса — «дворянского полка»). В 1829 году Николай I в письме цесаревичу высказал восхищение «прекрасным надзором»

Гольтгоера за Лицеем и надежду на то, что «ученики, подобные выпущенным во вкусе Энгельгардта, не будут более выходить из Лицея»⁵⁸.

Обширная переписка, которую Энгельгардт до конца своей жизни вел с лицеистами, рисует его как человека хотя и несколько ограниченного, но все же защищающего лицейскую традицию лучшего периода. Ограниченность Энгельгардта сказалась, в частности, и в том, что *всех* лицеистов, выпущенных до разгрома Лицея, он пытался, независимо от их взглядов, объединить в единую «лицейскую семью»: почти все они были для него равны, все они были для него «родными чугуниками» (в знак неразрывности лицейской семьи он роздал воспитанникам чугунные кольца). Он радовался продвижению «чугуников» по служебной лестнице департаментов и тщательно фиксировал полученные ими награды и повышения в чинах. В этом, правда, отчасти сказывалось желание реабилитировать себя после появившихся в иностранной печати сведений о том, что чуть ли не все лицеисты оказались участниками тайных обществ. Отсюда же и казенно-благонамеренные фразы в его письмах; читая их, не нужно забывать о свойственной Энгельгардту боязни перлюстрации и слежки (в этом он сознался в посланном с оказией письме Вольховскому: «Меня так напугали перечитыванием писем на почте и пр. и пр., так нарекомендовали крайнюю осторожность во всем и пр. и пр.»). И все же Энгельгардт вел переписку с осужденными декабристами — Пушиным и Кюхельбекером. Его упоминания о них неизменно полны сочувствия. Энгельгардт в своих письмах применялся к адресату, но даже А. М. Горчакову, человеку вполне официального курса, он 26 ноября 1827 года писал: «Не могу удержаться, чтобы не сообщить вам о маленьком экспромте Пушкина по случаю лицейского собрания 19 октября. Вот оно:

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли.

В нем есть слово для каждого, даже для несчастного Жанно (лицейское имя приговоренного в вечную каторгу

Пушина. — Б. М.); кто-то видел его при проезде через Ярославль и уверил нас, что он нисколько не изменился и что он выносит свою участь с покорностью и мужеством». В другом письме Горчакову (13 августа 1831 года) Энгельгардт, со скорбью перечисляя потери среди лицейстов, упоминает «двух несчастных, мертвых морально, Пушина и Кюхельбекера»⁵⁹.

Пушин, со своей стороны, относился к Энгельгардту с большим уважением. До ареста он часто ездил к нему, а впоследствии с благодарностью вспоминал о внимании бывшего директора Лицея к нему и его родным. В письме И. В. Малиновскому (сыну первого директора Лицея) Пушин писал: «Изредка утешает меня старый наш директор необыкновенно милыми письмами. От искреннего сердца ему спасибо. Хлопоты домашние и занятия не мешают ему радовать меня; надобно быть здесь (в Сибири. — Б. М.), чтобы вполне оценить дружеское внимание, за которое истинно не умею быть довольно благодарным». Таким образом, и в годы наихудшего террора Энгельгардт нашел пути для переписки с Пушиным. В воспоминаниях Пушин говорит: «В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина... В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи «19 октября 1827 года» (далее приводятся стихи Пушкина)⁶⁰.

В письмах лицейстам Энгельгардт много говорит о своем тяжелом самочувствии, вызванном разгромом Лицея и общей обстановкой после катастрофы 1825 года. Он вспоминает о Лицее как о «покойнике», по которому надо служить панихиду, с возмущением отзываясь о введенной там системе военной муштры и шпионажа. В особенности интересно письмо Энгельгардта к Вольховскому от 27 июня 1836 года. Он с горечью пишет о «бесчувственной нравственной атмосфере столицы», «нравственной тундре» и «душевном холоде, где зябнут и сердце и душа», о «ячестве» «великосветских людей», которые «никого не любят, кроме себя, не имеют иной на свете цели, кроме своей мнимой пользы». Мне что-то очень не по сердцу то, что вижу и слышу, — скучно, пошло, холодно. Пора бы, право, надеть дощатый халат да лечь отдохнуть». Всей этой атмосфере Энгельгардт противопостав-

ляет воспоминания о лицеистах, «умевших еще чувствовать благородный восторг, не стыдящихся показывать, что у них сердце и чувства», «все вообще истинные добродетели наши, которые нынешние великосветские, так называемые образованные люди, знают только по имени». Здесь опять-таки видна идеализация Энгельгардтом всех «лицейских». Но несомненно одно: Энгельгардт, при всех его слабостях, ощущал себя с полным основанием в числе противников реакции и александровского и николаевского времени ⁶¹.

На чем же основаны, однако, утверждения о ретроградности позиций Энгельгардта?

Ю. Н. Тынянов приводит в пользу своего мнения три довода: 1) Энгельгардт — «ставленник Аракчеева»; 2) Он стремился воспитывать из лицеистов «des cavaliers galants et des chevaliers servants»; * 3) Энгельгардт и Пушкин были антагонистами ⁶².

Разберемся в каждом из этих доводов.

Версия о «ставленнике Аракчеева» основана *только* лишь на том, что Энгельгардт был вызван 12 января 1816 года к Аракчееву по поводу своего назначения директором Лицея. Этот факт известен из воспоминаний сына Энгельгардта — Владимира. Конечно, для биографии Энгельгардта было бы выигрышной, если бы переговоры с ним вел не временщик, соприкосновения с которым было достаточно для опорочения любого человека. Но через Аракчеева как фактического руководителя Государственного совета проходила тогда подготовка дел для «высочайшего утверждения» во всех более или менее существенных должностях; директор Лицея назначался также только указом самого царя. Поэтому сам по себе вызов к Аракчееву еще не дает оснований для обвинения. Заключение, что вызванный был его «ставленником», не обосновано (иначе пришлось бы причислить к таким «ставленникам» немалое число декабристов, проходивших при утверждении в разных должностях также через Аракчеева). Но из того же источника, на который Тынянов опирается в своих рассуждениях, можно извлечь документ, ясно показывающий, что вызов Аракчеевым Энгельгардта никак его опорочить не может. Тогда же, 12 января 1816 года, в кабинете Аракчеева Энгельгардт напи-

* Галантных кавалеров и дамских угодников (франц.).

сал записку для передачи лично царю, — документ, в те времена почти беспрецедентный по независимости тона: Он соглашался принять директорство только при условии предоставления ему полной независимости и уничтожения существовавшей тогда системы строгого надзора за Лицеєм (то есть требовал большей свободы действий директора, чем это было до него!). В этой записке Энгельгардт писал:

«Место, мне всемилостивейше предлагаемое, по предмету занятия в оном, более всякого другого в государстве, соответствует моим способностям и любимым наклонностям. С радостью посвятил бы я все свои силы, всю жизнь свою на усовершенствование заведения, которое, находясь под непосредственным покровительством е. в., могло бы быть возведено на высокую ступень совершенства. Но обстоятельства, здесь неудобоизлагаемые, по нынешнему положению, непрерывно стесняют начальника в скором принятии мер, необходимых для нравственного и физического улучшения заведения и воспитанников. Если начальник учебного заведения честный человек, если признан в полной мере достойным возлагаемой на него доверенности, то должен он пользоваться доверенностью полною; он должен быть освобожден от всякой мелочной и раздробленной зависимости, налагающей беспрестанно преграды свободному его действию. Он должен быть в заведении как отец семейства и подобно ему управлять. При такой только независимости может существовать то единство, то согласие в общем, без коих никакое нравственное заведение не может иметь основательного успеха.

Итак, если его императорскому величеству угодно, чтоб я управлял должностию директора Лицея не так, как простой, одной наружности держащийся наемник, но как человек, полагающий всю свою душу и сердце в исправлении священной и любезной ему обязанности, то осмеливаюсь представить следующие предварительные начала:

1-ое. Управление Лицеєм сделать совершенно не зависящим от всякого постороннего и раздробительного влияния так, чтобы директор, не выходя из общих пределов законных, имел право распоряжаться во всем по усмотрению и совести своей, отдавая в конце каждого года отчет в управлении своем и подвергая себя строжайшей, перед богом и царем, ответственности за всякое злоупотребление своей власти.

2-ое. Предоставить директору право избирать и определять себе в сотрудники тех людей, которых он считает способнейшими к общему делу, а равномерно удалять тех, которые окажутся неспособными или вредными.

3-ье. Предоставить директору право, не выходя из предела назначенной на содержание заведения суммы, давать оной, по усмотрению надобности, временное направление на ту или другую ветвь внутреннего хозяйства.

Я чувствую, что требуемое мною чрезвычайно много в себе включает; я не смею почти надеяться, чтобы на такое изъятие воспоследовало высочайшее соизволение, но не менее того я почел долгом сказать то, что предписывает моя совесть»⁶³.

Что же случилось в дальнейшем? Энгельгардт, как мы видели, стремился в своей деятельности директора сохранить уклад, который был в Лицее до него, сохранить «независимость». Отсюда его постоянные столкновения с Министерством просвещения, а затем с Управлением военно-учебных заведений, подчиненных военному министру, то есть Аракчееву. Все это, как мы знаем, завершилось аракеевским разгромом Лицея и увольнением Энгельгардта.

Так рушится первый из доводов о «ретроградности» Энгельгардта.

Второй довод — о том, что он стремился воспитать из лицеистов «галантных кавалеров и дамских угодников», — основывается главным образом на биографии В. Д. Вольховского, составленной в 1885 году Е. А. Розеном. Источник более чем сомнительный во всех отношениях. Автор утверждает, что смерть Малиновского отрицательно отразилась на развитии Пушкина, и вот почему: если бы Малиновский довел первый выпуск до конца, «Пушкин был бы нравственнее и в его поэзии просвечивал бы более дельный и, главное, нравственный характер». Надо ли доказывать полную негодность этого рассуждения Е. А. Розена, который, очевидно, думал возвысить своего дальнего родственника, Малиновского, странным способом — дискредитацией Энгельгардта (заодно он повторил старые домыслы реакционеров о недостатке «дельности» и «нравственности» у Пушкина)⁶⁴.

Куда более авторитетной является характеристика, которую Энгельгардту дал декабрист И. И. Пущин. Рассказывая о «пестроте» лицейского быта, он отмечал:

«С назначением Энгельгардта в директоры школьный наш быт принял иной характер: он с любовью принялся за дело. При нем по вечерам устроились чтения в зале (Энгельгардт отлично читал)». Пущин говорит и о той стороне воспитательной работы директора, которую Тынянов, вслед за Розеном, называл «воспитанием дамских угодников», но которая на деле представляла собою нечто иное. По словам Пущина, Энгельгардт стремился воспитать у лицеистов «платонизм в чувствах» и приучить их к «приличию в обращении» с женщинами. Мотивы, которыми руководствовался при этом Энгельгардт, можно понять, только учитывая ту распущенность в нравах, которая, как известно, была свойственна иным из лицейств. Ясно, что речь идет об одной из сторон так называемой «внеклассной» воспитательной работы в Лицее и, конечно, никак не олицетворявшей собой идейного *направления* учебного заведения при Энгельгардте. Для доказательства этого достаточно сослаться на цитированный выше отчет об итогах шестилетнего обучения лицейств⁶⁵.

Последний довод Тынянова — самый серьезный и сложный: антагонизм между Энгельгардтом и Пушкиным. Попытаемся разобраться в его причинах.

По окончании Лицея Пушкин сделал в альбом Энгельгардта следующую запись:

«Приятно мне думать, что, увидя в книге ваших воспоминаний и мое имя между именами молодых людей, которые обязаны вам счастливейшим годом жизни их, вы скажете: в Лицее не было неблагодарных.

Александр Пушкин»⁶⁶.

Из этой записи нельзя сделать никаких выводов: судя по тону, она является скорее актом вежливости. Главным источником, свидетельствующим о взаимоотношениях Пушкина и Энгельгардта, остаются самые достоверные из всех мемуаров об этой поре — мемуары Пущина, где мы читаем: «Для меня оставалось неразрешенною загадкой, почему все внимание директора и жены его отвергались Пушкиным: он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душою любил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать; наконец, я перестал настаивать, предоставляя все времени. Оно одно может

вразумить в таком непонятном упорстве». Но упорство осталось навсегда: вопреки надеждам Пушкина, время его не разрушило. Однажды Энгельгардт, еще в Лицее, в беседе с Пушкиным, казалось, «помирился» с ним, нашел общий язык, но, войдя через несколько минут в эту же комнату, увидел в руках у Пушкина быстро набросанную карикатуру на него. Много лет спустя Энгельгардт писал Вольховскому: «Пушкина я никогда не вижу; он даже на улице избегает встречи со мною»⁶⁷.

Слова Пушкина о том, что причины холодного отношения Пушкина к Энгельгардту загадочны, во многом верны и сегодня. Но все-таки мы располагаем рядом фактов, которые позволяют нам в какой-то мере понять эту причину.

Дело в том, что отношение самого Энгельгардта к Пушкину было противоречивым. Отдавая должное дарованию юного поэта, он вместе с тем многого не понимал и не принимал в нем.

В период директорства Энгельгардта целая цепь случайностей и намеренных «шалостей» Пушкина создала у пуритански настроенного и педантичного директора одностороннее, неверное представление о поэте. Богатство, сложность, многообразие внутреннего мира Пушкина (отразившегося и в его лицейских любовных элегиях), восприимчивость и впечатлительность юного поэта — все это было заслонено для Энгельгардта теми выходками экспансивного юноши, которые с точки зрения ученического благонравия представлялись директору попросту ужасными. Придя в Лицей, Энгельгардт сразу же столкнулся с устойчивой характеристикой Пушкина как «повесы» («легкомыслен», «повеса» — значилось в графе о поведении уже в самой ранней таблицы Лицея; «повесой» иронически назвал себя и сам Пушкин). Последовавшие затем инциденты только лишь способствовали созданию превратного представления о Пушкине-лицейсте. Особенный шум произвела история с фрейлиной императрицы княжной Волконской. Однажды Пушкин в темных переходах царскосельского дворца принял фрейлину за горничную Наташу и со свойственной ему стремительностью бросился ее целовать. История дошла до царя. Как рассказывает Пушкин, Энгельгардт всячески старался сгладить вину Пушкина и уладил историю, но происшествие не оста-

лось единичным. Молодая, миловидная француженка Мария Смит, жившая у Энгельгардта и незадолго перед тем овдовевшая, показала директору эротическое послание Пушкина «К молодой вдове». Тема послания — страстное увещание вдовы: супруг ее почил вечным сном, и его «завистливая тень» «близ любовников не станет». По словам В. Гаевского, это послание явилось «главной причиной» неприязненных отношений между Энгельгардтом и Пушкиным. К тому же до Энгельгардта доходили сведения о колкостях Пушкина, о насмешливых и шутливо-эротических стихах (вроде стихотворения «От всенощной вечер идя домой...», которое увидел у Пушкина профессор Кайданов). Все это опять-таки никак не выражало существа Пушкина и являлось внешним проявлением живого, насмешливого, темпераментного характера юноши. Но Энгельгардт, с первых дней директорства занявший позицию блюстителя нравственности, оскорбленный пренебрежением и нетерпимостью Пушкина, не сумел отделить всего этого от многосторонней, гениальной личности юного поэта. С другой стороны, Пушкина раздражали бесконечные назидания директора, постоянные упреки в лености и легкомыслии, которые воспринимались им как придирки⁶⁸.

Энгельгардт был человеком «одного измерения». Как отметил Пущин, «Егор Антонович принимает только *хорошо* и *худо*», то есть по принципу «или-или», игнорируя сложности и противоречия. В заметках о лицеистах, которые Энгельгардт набросал лично для себя на немецком языке в марте 1816 года, он писал о Пушкине: «Его высшая и конечная цель — блистать, и именно поэзией. На этом он основывает все и с любовью занимается всем, что с этим непосредственно связано». Признавая, следовательно, страсть к поэзии как главную отличительную особенность Пушкина, Энгельгардт, не видя ничего дальше лицейских табелей об успеваемости, утверждает, что «Пушкину никогда не удастся дать своим стихам прочную основу, так как он боится всяких серьезных занятий». Из «безрелигиозности» Пушкина Энгельгардт сделал вывод о том, что «его сердце холодно и пусто», и, наконец, с возмущением отметил, что он «частично, а то и совершенно наизусть» знал эротические произведения французской литературы, еще «когда поступил в Лицей». В отличие от других верных и даже

тонких энгельгардтовских характеристик лицейстов (мы приведем их ниже, в главе «Разные пути») характеристика, которую он дал Пушкину, неумна, несправедлива и совершенно не дает представления о внутреннем мире юного поэта.

Но следует отметить, что эти, написанные только для себя, заметки Энгельгардт никак не использовал в лицейской аттестации: их впервые процитировал в 1863 году В. Гаевский*, располагавший материалами из архива Энгельгардта. Заметки считались утерянными, но обнаружены нами в архиве Института русской литературы. Характеристики всех лицейстов пушкинского выпуска (причем даже таких «примерных учениках», как Горчаков) написаны Энгельгардтом с неслыханной в Лицее резкостью и полной откровенностью, совершенно противоположной благополучию и сглаженности обычных официальных отзывов о воспитанниках. Очевидно, Энгельгардт как педагог ставил своей задачей выяснить для себя самого пороки и недостатки лицейстов, на которые следует обратить внимание (отметим, что заметки написаны им через два месяца после вступления в должность директора). Эти характеристики он так и оставил достоянием своего личного архива. Более того, как рассказывает Пущин, Энгельгардт отверг принятое еще до его директорства решение конференции о том, чтобы запись Пушкина за шалости в «черную книгу» Лицея была учтена при выпуске. По словам Пущина, Энгельгардт «ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда было взыскано, могла бы иметь влияние и на будущность после выпуска. Все тотчас же согласились с его мнением, и дело было сдано в архив»⁶⁹.

Впоследствии Энгельгардт несколько изменил свою первоначальную оценку Пушкина. Имя поэта часто мелькает в письмах Энгельгардта к бывшим лицеистам — Матюшкину, Вольховскому и др. Он сообщает

* В Гаевский дал искаженный перевод энгельгардтовской характеристики и, в частности, совсем выпустил слова о том, что Пушкин «основывает все на поэзии» и с «любовью занимается всем, что с этим непосредственно связано». Не использовал Гаевский и те места в характеристике Энгельгардтом Яковлева, где говорится о Пушкине и, между прочим, о его склонности к сатире.

новости о жизни Пушкина, распространяет его стихи «19 октября 1827» (содержащие привет декабристам Пушкину и Кюхельбекеру). Встречаются в этих письмах суждения и о литературной деятельности Пушкина; но и в этих суждениях видны отзвуки былой обиды, а также и непонимания его личности.

Приведем несколько выдержек о Пушкине из неизданных писем Энгельгардта к А. М. Горчакову.

Из письма 28 ноября 1820 года:

«...Пушкин в Бессарабии и творит там то, что творил всегда: прелестные стихи, и глупости, и непростительные безумства. Посылаю вам при этом одну из его последних пьес, которая доставила мне безграничное удовольствие; в ней есть нечто вроде взгляда в себя *. Дал бы бог, чтобы это не было только лишь на кончике пера, а в глубине сердца. Когда я думаю о том, чем этот человек мог бы стать, образ прекрасного здания, которое рушится раньше завершения, всегда представляется моему сознанию» ⁷⁰.

Из письма 13 августа 1831 года:

«Забыл сказать вам, что Пушкин женился; говорят, что он стал более благоразумным, но я в этом сомневаюсь. Он все еще занимается поэзией, он несомненно наш первый поэт, но он не создает ничего классического, ничего законченного **. Его последнее произведение, «Борис Годунов», содержит места прелестные, возвышенные, но все в целом недостойно его. Жаль» ⁷².

В этих отзывах заметно *внешнее* стремление к объективности («несомненно наш первый поэт»), но тон заставляет вспомнить о возникшей еще в Лицее взаимной холодности.

* О каком произведении идет речь, неизвестно.

** Слова о «классическом» выражают архаическое убеждение Энгельгардта, что лирические стихи, в отличие от поэм, дело несерьезное. Ср. в его же письме к Матюшкину от 7 апреля 1830 года: «Пушкин... поехал в деревню с намерением доказать, что он еще в состоянии писать, как прежде писал «Руслана и Людмилу», «Пленника», «Фонтан»; дай бог в добрый час» ⁷¹. Вообще же литературные мнения Энгельгардта (в том числе и о произведениях Пушкина) самостоятельностью не отличаются.

Однако Энгельгардт никогда не переносил свои личные отношения к Пушкину на отношения общественные или официальные. Более того, с именем Энгельгардта в какой-то мере связана история хлопот за Пушкина перед ссылкой 1820 года.

И. Пушкин, узнав о нависшей над Пушкиным беде, поехал в Царское Село к Энгельгардту для того, чтобы просить заступничества за Пушкина (Энгельгардт в царскосельских садах нередко встречал царя).

«Директор рассказал мне, — вспоминал Пушкин, — что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царем не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.

«Энгельгардт, — сказал ему государь, — Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный поступок его с Милорадовичем *, но это не исправляет дела».

Директор на это ответил: «Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его»⁷³.

Энгельгардт считал ссылку Пушкина, как и преследование Кюхельбекера (высылку из Парижа за лекции), несправедливой. Об этом он писал в одном из своих писем 1821 года (уже после ссылки Пушкина): «Прицепились к Пушкину, теперь прицепятся к Кюхельбекеру»⁷⁴.

Энгельгардт нашел в себе смелость оправдывать Пушкина даже в официальной записке министру просвещения о состоянии Лицея (1821). Он писал Голицыну: «Несчастный, увлекаемый пылкостью молодого

* Подразумевается известный эпизод, когда Пушкин, будучи вызванным к петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу, записал сам же свои антиправительственные стихи, получившие в то время широкое распространение.

таланта, слишком рано развитого и еще до моего при-
бытия безрассудными хвалами родственников превозне-
сенного, впал в пагубные заблуждения, относящиеся,
впрочем, более к голове, нежели к сердцу его». Упомянув здесь же о «благости государя» (то есть о за-
мене Пушкину Сибири ссылкой на юг — результате
заступничества друзей поэта и своего же ходатайства
за бывшего лицеиста), он заключал: «Пушкин призрен
и может быть спасен!»⁷⁵

Таков, в свете документальных материалов, облик
Энгельгардта как второго директора Лицея и своеобра-
зие отношений, сложившихся между ним и Пушкиным.
При всех своих слабостях, односторонности Энгельгардт
активно сопротивлялся наступлению реакции на Лицей,
стремился сохранить основы лицейского воспитания и
за это был отстранен. Утверждения о том, что он был
«ставленником Аракчеева» и стремился изменить на-
правление Лицея, являются, как мы видели, голослов-
ными и опровергаются фактами.

Неверное представление о роли и позиции Энгель-
гардта искажает картину Лицея в целом. Поэтому ле-
генда об Энгельгардте мешает воссозданию подлинной
истории Лицея и должна быть отброшена так же, как и
существовавшая в литературе легенда об истории воз-
никновения Лицея, о первом директоре Малиновском и
о дальнейшей судьбе учебного заведения, в котором
учился Пушкин.

Чему же он там учился? Что дал ему Лицей? Доку-
ментальные материалы, раскрывающие содержание и
методы лицейского воспитания и преподавания, позво-
ляют отстранить всякого рода домыслы и дать ответы
на эти вопросы.



Глава вторая

ЛИЦЕЙСКИЙ «СПОСОБ УЧЕНИЯ»

Раскрывши мысленность, приучать к различению добра и зла и чтоб не делали без рассуждения и не говорили и не мыслили, поелику всякая мысль открывается через прехождение в желание, а далее в дело.

В. Ф. Малиновский.

Изучая смелые политические системы и теории, весьма естественно, что занимающиеся ими желали бы видеть их в своем отечестве.

Декабрист М. А. Фонвизин.

1

«О суета сует и всяческая суета, — о когда выпадет перо из рук твоих, первый писец лицейский! — Глаза потеряешь, увы! то<гда> что будет с <тобой!>» Эта записочка, набросанная бойким почерком неизвестного лицеиста, сохранилась в тетради А. М. Горчакова, однокашника Пушкина, впоследствии канцлера и министра иностранных дел. Но «первый писец лицейский», один из лучших учеников Лицея, не обращал внимания на насмешки товарищей. Результатом его редкостного прилежания явились аккуратно написанные объемистые тетради, в которых содержатся курсы: «Всемирная исто-

рия», «Российская история», «Изображение системы политических наук», «Государственное хозяйство» (то есть политическая экономия), «Энциклопедия прав», «Статистика», «Финансы», «Российский язык», «Введение в эстетику». Таким образом, мы можем получить представление о лекциях, которые Пушкин слушал в Лицее*. Материал этот дает основание судить о том, в какой степени удалось провести в Лицее ту систему идейно-политического воспитания юношества, которая была выработана Малиновским и Куницыным. Правила «доброй методы или способа учения», о которых говорилось в «начертании» Лицея, нашли свое выражение в лекциях. Как отмечалось в составленном Куницыным отчете Лицея за 1811—1817 годы, это был действительно «новый способ образования»¹.

В свете записей Горчакова система лицейского преподавания, несмотря на свои недостатки и слабости, предстает перед нами как *практическое* выражение передовой русской педагогики XVIII — начала XIX века, проникнутой идейностью и свободомыслием. Можно с полным основанием утверждать, что курсы лицейских профессоров представляют собой одно из проявлений преддекабристского национального подъема русской культуры и русской общественной мысли.

В литературе о Пушкине установилась стойкая традиция отрицательной оценки лицейской педагогики. Еще П. В. Анненков писал в 1874 году о «педагогической несостоятельности Лицея», о том, что «все лицейское было забыто воспитанниками и сброшено с себя вместе с мундиром». Из Лицея, как утверждает Анненков, Пушкин выходил, «как большая часть его товарищей, с горячей головой и неосуществившейся мыслью: никакого убеждения, никакого твердого и ясного представления не было добыто ими ни по одному предмету человеческого существования вообще, ни по одному явлению русской жизни в особенности»².

* Извлечения из некоторых курсов («Энциклопедия прав», «Изображение системы политических наук», «Государственное хозяйство»), а также лекции по теории красноречия и эстетике были опубликованы нами в журнале «Красный архив», 1937, № 1. Ограниченные рамки журнальной публикации позволили напечатать только часть этих лекций. Записи других важнейших курсов не опубликованы, и сведения об их содержании даются здесь впервые.

Эта оценка, не подкрепляемая никакими фактами, переключалась и в работы советского времени. Г. Чулков в книге «Жизнь Пушкина» (1938) замечает: «Вся эта громадная программа заранее была обречена на неудачу». Л. Гроссман в книге «Пушкин» выносит Лицею не менее резкий приговор: «Лицейское шестилетие мало дало Пушкину в плане учебных программ». В качестве доказательства он приводит ничем не обоснованное мнение Мицкевича: «В этом училище, направляемом иностранными методами, юноша не обучался ничему, что могло бы обратиться в пользу народному поэту; напротив, все могло содействовать обратному: он утрачивал остатки родных преданий; он становился чуждым и нравам и понятиям родным. Царскосельская молодежь нашла, однако ж, противодействие от иноплеменного влияния в чтении поэтических произведений Жуковского». Далее Л. П. Гроссман несколько оспаривает мнение Мицкевича, но все же с определенностью говорит: педагогика Лицея была «официальной педагогикой». Между тем известно, что Мицкевич в своих оценках Пушкина и его эпохи допускал, наряду с ценнейшими и тонкими суждениями, также суждения неправильные. Не прав был он и в оценке Лицея. В первой главе мы показали, что в самой идее организации Лицея отразилась насущная потребность русского просвещения. Мы показали также, что эту идею сторонники отстаивали в борьбе с теми людьми, которые стремились закрепить в России худшие из педагогических методов и в особенности систему иезуитских колледжей³.

Рассмотрим теперь тот новый «способ учения», который проводился в Лицее.

Занятия в Лицее начались фактически еще до торжественного открытия. 10 октября Малиновский записал: «Собрался с профессорами посоветоваться о занятиях детей, которые и начались с того же вечера Куницыным и Кайдановым». Принципами лицейской педагогики профессора руководствовались не только во время занятий, но и в повседневных беседах с воспитанниками. (Малиновский в октябрьских записях того же года упоминает о беседах во время прогулок, о совместном обеде с лицеистами и в том числе с Пушкиным). Что касается планов отдельных курсов, то они, так же, как и списки учебных пособий, представлялись на утвержде-

ние конференции («ученого совета») Лицея. По уставу Лицея конференция состояла из профессоров под председательством директора и собиралась не реже одного раза в месяц. Материалы лицейского архива убеждают в согласованности общего направления учебных занятий⁴.

Программа, рассчитанная на шесть лет обучения, поражает своим разнообразием. В ней поименованы: грамматика русского, латинского, французского и немецкого языков, словесность, история российская и всемирная, статистика (так назывался тогда политический и экономический обзор государств мира в их современном состоянии), логика, нравственные науки, политическая экономия, науки математические, физические, военные, изящные искусства. По мере перехода воспитанников в старшие классы программа усложнялась. Такие сложные курсы, как право естественное, публичное, гражданское, политическая экономия, статистика, проходились в четвертом, пятом и шестом классах. Следовательно, наиболее трудные предметы изучались на старшем курсе, когда лицеистам было 16—18 лет. Поэтому встречающееся у некоторых историков мнение о том, что сами эти предметы «недоступны детям», лишено основания, если исходить не из абстрактных умозаключений, а из фактов и документов.

Недостатки лицейской программы теперь назвали бы «многопредметностью». Слабость ее в этом смысле очевидна. Но «многопредметность» можно в известной мере оправдать тем, что люди, выработавшие учебный план, были озабочены скорейшей подготовкой государственных деятелей для России, которую они в ближайшем будущем надеялись увидеть реформированной.

При всей своей пестроте программа обучения была связана общностью основных идей, обличением абсолютизма, прославлением конституционных порядков и «гражданских свобод». Эти идеи проводились в преподавании и истории, и словесности, и изящных искусств. Идея превосходства конституционного правления над монархо-деспотическим и необходимость отмены крепостного права доказывались примерами из истории, обзором положения «современных государств», состоянием финансов и экономики, логическими доводами, апелляцией к «естественным правам», рассужде-

ниями о свободном развитии литературы в эпохи, наиболее благоприятные для расцвета искусств. Осуществление подобных идей на деле могло бы привести только к смене феодально-крепостнического строя буржуазно-капиталистическим. Но в рассуждениях лучших из лицейских профессоров отражались в той или иной степени интересы страждущего народа, в то время лишенного даже самых элементарных человеческих прав.

Особенно большое значение придавалось в Лицее правовым теориям. Это объясняется не только тем, что Куницын и Малиновский считали одним из главных условий переустройства России подготовку «искусных законоведцев». Правовые теории нужны были и для того, чтобы доказательствами «разума», «здорового рассудка», логики подвергнуть критике идеологические основы абсолютизма, феодально-крепостнической системы. Ту же цель преследовало изучение политической экономии, занимавшей немалое место в системе лицейского воспитания.

О пропагандистском, политическом значении этой науки декабрист Н. Тургенев в «Опыте теории налогов» писал: «Занимающийся политической экономией невольно привыкает ненавидеть всякое насилие, самовольство и в особенности методы делать людей счастливыми вопреки им самим»*. Конечно, для рядовых воспитанников иные из предметов были слишком сложными (впрочем, судя по лицейским табелям, «прилежные» ученики даже с посредственными способностями успевали по всем предметам). Но лицейские архивы, письма воспитанников, рукописные литературные журналы показывают, что цель основателей и руководителей Лицея — будить самостоятельную мысль воспитанников, учить их независимости мнений, критическому отношению к действительности — была достигнута. Пример Пушкина в этом отношении особенно показателен. Лицейские профессора при аттестации Пушкина по-

* Это увлечение политической экономией позднее отмечал Пушкин в «Романе в письмах». Один из героев этого произведения писал своему корреспонденту: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде» «Опыт теории налогов» Н. Тургенева, человека, которого Пушкин очень уважал, был напечатан как раз в 1818 году.

стоянно отмечали «понятливость», «остроту», «остроумие», «замысловатость», «дарования», но в то же время говорили об отсутствии прилежания, о нерадивости, о рассеянности, торопливости и т. п. Это значит, что Пушкин быстро схватывал идеи лекций, их содержание. Его зачастую посредственные отметки были вызваны прежде всего тем, что он упорно отказывался от систематического заучивания курсов. Близко знавший Пушкина П. А. Плетнев, вспоминая о нем, писал: «Природа, кроме поэтического таланта, наградила его изумительной памятью и проницательностью. Ни одно чтение, ни один разговор, ни одна минута размышления не пропадали для него на целую жизнь... По-видимому, рассеянный и невнимательный, он из преподавания своих профессоров уносил более, нежели товарищи»⁵.

В результате выпускных экзаменов Пушкин получил следующую характеристику: «Оказал успехи: в законе божьем и священной истории, в праве естественном, частном и публичном, в российском гражданском и уголовном праве хорошие; в латинской словесности, в государственной экономии и финансах весьма хорошие; в российской и французской словесности, также в фехтовании превосходные; сверх того занимался историей, географией, статистикой, математикой и немецким языком»⁶.

Конечно, идеология юного Пушкина формировалась не только под влиянием лицейской педагогики: в эволюции поэта первостепенное значение имели впечатления от самой жизни, его острая наблюдательность, размышления о противоречиях действительности, чтение русских и зарубежных писателей, постоянное изучение всех достижений передовой мысли, как предшествовавшей, так и современной ему. Еще в детстве Пушкин знал сочинения запретного Радищева, зачитывался книгами «фернейского философа» — Вольтера, не говоря уж о многих десятках других поэтов, философов, публицистов, деятелей передовой русской культуры, а также представителей французского Просвещения. Но вместе с тем изучение лицейских лекций показывает, что основные идеи шестилетнего лицейского преподавания так или иначе отразились во взглядах Пушкина и его творчестве. Слова Пушкина о том, что Куницыным был заложен «краеугольный камень», находят подтверждение

во всей совокупности материалов, которыми мы теперь располагаем. В дальнейшем же Пушкин быстро перерос даже наиболее передовых своих учителей, но тем не менее значение лицейской педагогики было для Пушкина весьма существенным.

При характеристике лекций лицейских профессоров нужно учитывать, что дошедшие до нас записи А. Горчакова конспективны. Как правило, лицеисты должны были переписывать записи, составленные самими профессорами. Так, например, Куницын заявил в 1816 году на конференции Лицея: «За неимением на русском языке учебной книги права естественного я принужден был преподавать сию науку по собственной рукописи, давая им по временам списывать оную для повторения уроков». При этом Куницын добавлял, что «тетради воспитанников не могут быть во всем исправны». Кроме того, нам известно из воспоминаний лицеистов, что устные рассказы и лекции профессоров изобиловали многими живыми примерами и иллюстрациями. Об этом же говорил Куницын в одном из своих учебных отчетов 1812 года: «Нравственные наставления сопровождаю я изображением особенных примеров, заимствуя оные из древней и новейшей истории, и предлагаю воспитанникам в часы, особенно для того назначенные». Известно, в частности, что много внимания уделяли преподаватели чтению и комментированию реляций в годы Отечественной войны. Но и те записи лекций, которые до нас дошли, создают яркую картину лицейского воспитания⁷.

2

На первое место в лицейском преподавании нужно поставить, конечно, Александра Петровича Куницына.

Как утверждает И. И. Пушин, «Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына», хотя «мало что записывал». Со слов П. А. Плетнева известно, что Пушкин «о лекциях Куницына... вспоминал всегда с восхищением и лично к нему до смерти своей сохранил неизменное уважение»⁸.

От Куницына Пушкин услышал о цели общества, об образах правления, о правах и обязанностях правительства и решающей роли народа в выборе образа правления и установлении законов. Близким всему идейному направлению творчества Пушкина и его мировоззрению были слова Куницына: «...граждане независимые делаютя подданными и состоят под законами верховной власти; но сие подданство не есть состояние кабалы. Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты; они подвергаются верховной власти на том только условии, чтобы она избирала и употребляла средства для их безопасности и благосостояния; они предлагают свои силы в распоряжение общества, но с тем только, чтобы они обращены были на общую и, следовательно, также на их собственную пользу»⁹.

Полный курс лицейских лекций Куницына состоял из двенадцати циклов, в число которых, кроме логики, психологии, этики и других дисциплин, входили: право естественное частное, право естественное публичное, право народное, право гражданское русское, право уголовное, финансовое право.

Куницын начал свое преподавание с наиболее простых предметов. Так, в его отчете за второе полугодие второго учебного года мы читаем: «Сходственно с постановлением о Лицее с 1 дня минувшего августа начал я преподавать нравственность. Сообщив воспитанникам понятия о человеческой воле и о свободе оной, ныне занимаюсь истолкованием главных понятий нравственного добра, как то: самоуправления, нравственного совершенства, симпатии, доброжелательства, справедливости...» Все это сопровождалось «изображением примеров»¹⁰.

Постепенно в дальнейшем вопросы, о которых говорил Куницын, усложнялись. Главные курсы Куницына читались в пятом и шестом классах. Учитывая развитие Пушкина и лицейстов его круга, можно с уверенностью утверждать, что идеи Куницына ими безусловно усваивались.

Пушкин не был одинок в своих интересах к «нравственным наукам». В третьем номере рукописного журнала «Лицейский мудрец» отмечалось: «Теперь в классах говорят о правах естественных». Можно полагать,

что эти разговоры не носили абстрактный характер: учение о «естественном праве» с его идеей народного суверенитета было предметом ожесточенной политической борьбы. Реакционные памфлеты против виднейшего теоретика естественного права Жан-Жака Руссо появлялись еще в конце XVIII века. Даже в 1809 году, когда это учение уже утратило свою новизну, в России была напечатана брошюра «Отрывки из сочинений одного старинного судьи» с приложением замечаний на «Общественный договор» Руссо. В этих замечаниях говорится, что идеи Руссо вызывают «возмутительный дух» и «разливают во все души лютость, своеволие, необузданность». В качестве примера приводится французская революция¹¹.

Оригинальная, своеобразная методика Куницына как педагога сказывается на всех курсах, читанных им в Лицее. Характер непринужденного, живого и в то же время целеустремленного преподавания Куницыным общественных наук виден, например, из такого «нейтрального», казалось бы, и сухого курса, как «Финансы». Ознакомление с тетрадью, содержащей записи этих лекций, говорит, что и здесь Куницын исходил из задачи политического воспитания.

Демократические симпатии Куницына видны уже из афоризмов, встречающихся в этих лекциях: «Богатый человек, несмотря на слабость телесных сил, недостаточность ума, множество имеет средств притеснить бедного»; или: «Против одного богатого надлежит полагать пятьсот бедных». Конечно, самый принцип собственности Куницын несколько не отрицает, оставаясь здесь на почве буржуазного демократизма¹².

Исключительно интересен в этом курсе раздел, трактующий «об издержках в отправлении правосудия». Здесь, в частности, говорится о том, что у «народов-звероловов» (у охотничьих племен) редко бывает судья, ибо «они не имеют собственности, которая возбуждала бы зависть и корыстолюбие». Далее Куницын подымается до критики деспотической власти. Он говорит о злоупотреблении «правом» знатного и сильного, о взяточничестве, о необходимости полной независимости судебной власти от исполнительной. «Свобода человека, чувство личной безопасности зависит от беспристрастного правосудия», — утверждается в лекциях.

Слушатель подводится к мысли, что абсолютистский принцип образования правительства противоречит возможности такого правосудия, ибо основанием подчинения правительству служат не «превосходство личных достоинств, телесных и душевных», «превосходство лет», но «преимущество породы». А по поводу последнего «преимущества» Куницын иронически замечает: «Кажется в свете не бывало ни одной великой фамилии, коея знатность зависела бы единственно от наследования мудрости и добродетели»¹³.

Политически заостренными являются лингвистические экскурсы Куницына в курсе «Финансы». Рассуждая о несправедливости судебной власти сильного над слабым, он говорит: «В российском языке даже слово «казнь» произошло от казны княжеской; а князь казнит». Любопытна, наконец, и мысль о необходимости отделения школы от государства, которую Куницын проводит в том же курсе «Финансы». Смысл этого ясен: он хочет политической независимости учителя от самодержавного государства (так же как и независимости судебной власти от полицейской). Не только оплата, но и выбор учителей должны быть делом общественным, ибо «когда правительство само избирает учащихся, вверяет им воспитание юношества, определяя за то постоянное жалованье, то учащие не имеют побуждения и ревности к труду». Но тут же Куницын спохватывается: ведь говорит он это, будучи профессором императорского Лицея! Поэтому он делает оговорку: «Исключаются из сего характеры благородные, которые из любви к просвещению стараются распространять свет оного»¹⁴.

Главную идею лекций Куницына можно было бы выразить словами его же статьи «О конституции», напечатанной в «Сыне отечества». В ней утверждалось, что прошли те времена, «когда цари хотели царствовать для себя самих», и что настало время иметь «народных представителей». Задача лекций и заключалась в теоретическом обосновании этой мысли. Ею пронизана «Энциклопедия прав», которую Куницын читал в четвертом — шестом классах (то есть в 1814—1817 годах) и которая начинается с важнейшего предмета — «Права естественного»¹⁵.

В какой степени соотносятся эти лекции с знаменитой книгой Куницына о естественном праве?

Как известно, книга Куницына «Право естественное» была повсеместно конфискована и уничтожена. На заседании ученого комитета отмечалось, что «Марат был искренний и практический последователь сей науки», а книге была дана следующая характеристика:

«По рассмотрении в Главном управлении училищ книги Естественное право, сочинение Куницына, найдено нужным, по принятым в сей книге за основание ложным началам и выводимому из них весьма вредному учению, противоречащему истинам христианства и клонящему к ниспровержению всех связей семейственных и государственных, книгу сию, как вредную, запретить повсюду к преподаванию по ней и при том принять меры к прекращению во всех учебных заведениях преподавания естественного права по началам столь разрушительным, каковы оказались в книге Куницына». Начальству Лицея было сделано «строгое замечание» за допущение книги, «вселяющей в сердца неопытных юношей... дух неповиновения, своеволия и вольнодумства» * 16.

Записи естественного права в лицейской тетради Горчакова существенно отличаются от изданной несколько лет спустя книги под этим же заголовком, отличаются прежде всего своим построением. При издании книги «Право естественное» Куницын воспользовался частью своих составленных для Лицея записок разных курсов, но изменил как расположение разделов, так и содержание ряда глав. В лицейских лекциях многие положения являются более заостренными, чем в книге. Но даже само изменение композиции материала лекций свидетельствует о стремлении преодолеть цензурные препятствия.

* Эта расправа с книгой Куницына вызвала возмущенный отклик Пушкина в «Послании цензору» (1822):

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами,
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом

Действительно, сравнение Куницына с якобинцем Маратом было преувеличением, но и те идеи, которые развивал Куницын, носили в условиях самодержавно-крепостнической России остро-оппозиционный характер.

К примеру, в записках Горчакова есть специальный раздел «О способах приобретать верховную власть в монархии», где утверждается: даже власть монарха (которую тогда трактовали как «предопределенную свыше») зависит исключительно от желания народа, народ после смерти монарха «вправе избрать нового властителя или переменить образ правления», так как самое избрание есть договор. В книге то же содержание введено в раздел с менее острым заглавием — «О монархическом образе правления». Далее в записках Горчакова имеется глава «О республиканских образах правления» с объяснением принципов «демократического» и «аристократического» правления. В книге же отдельно говорится о «демократическом» образе правления и отдельно об «аристократическом»; понятия «республиканское правление» не введено. Изменение это вполне понятно, если учесть, что в 1818—1820 годах вопрос о желательности введения в России республиканского правления обсуждался не только в среде тайных обществ, но и в кругах широкой оппозиции. Об этом правительству доносили полицейские агенты. Вводить в книгу раздел «О республиканских образах правления» в этой ситуации было опасно¹⁷.

Все эти изменения, однако, не спасли Куницына. Труд выдающегося для своего времени теоретика государственного права было решено изымать из обращения и сжигать.

И книга Куницына «Право естественное» и лекции свидетельствуют о его высокой одаренности как педагога и теоретика. Нельзя согласиться с существующим в литературоведении мнением, что Куницын был последователем геттингенской школы правовиков. Это мнение основано только на том, что он учился в Геттингенском университете. Но геттингенскую школу теории права во главе с Иоганном Пюттером и Г. Гуго отличает прежде всего консерватизм, филистерское стремление доказать незыблемость существующих порядков, вражда ко всяким переменам, полное игнорирование прав личности. Абсолютно неоправданным является мнение автора «Истории философии права» Н. Коркунова, который в 1898 году писал: «Напечатанные произведения Куницына не представляют ничего выдающегося. Его «Право естественное» (2 тома, 1818 и 1820) толковое и талантливое изложение Руссо и Канта, не более». Это утверждение (повторенное и другими авторами) неверно (кстати, ни

один из писавших о Куницыне не подтвердил положение о его «несамостоятельности» какими-либо доказательствами). Идейная направленность книги «Право естественное» несравненно прогрессивнее даже наиболее антифеодальных положений этики Канта¹⁸.

С идеями великого французского просветителя Жан-Жака Руссо лекции Куницына, конечно, связаны, но Куницын вовсе не ограничился «изложением» Руссо. Истолковывая идеи «Общественного договора» Руссо, Куницын стремится к исторической точке зрения. В книге Куницына «Право естественное» имеется и прямая полемика с Руссо по отдельным вопросам. Так, возражая Руссо, Куницын писал: «Напрасно сей философ приписывает человеку в состоянии внеобщественном (то есть до гражданского общества) совершенное равнодушие ко всему. Самые грубейшие поколения любопытны до высочайшей степени ко всякому редкому явлению и склонны к подражанию и замечанию... Понятие о пороке и добродетели также им свойственно, хотя необразованный смысл дикого не может постигнуть прямой черты, отделяющей сии качества»¹⁹.

Записи лекций Куницына по естественному праву начинаются с обоснования «права естественного» как права личности на независимость. Куницын неоднократно повторяет, что движущей силой объединения людей является «общая цель» — «общее благо», «общая свобода». Для достижения этой цели необходимы «естественная независимость» личности и равенство людей в обществе. С людьми нельзя поступать так, «как мы поступаем с вещами». Нельзя также *принудительно* заставить человека следовать какому-нибудь мнению: «Кто принуждает другого последовать своим мнениям, тот не уважает личных его прав, ибо тем самым и старается удержать его в зависимости». Развивая дальше эту мысль, Куницын выступает как враг общественного неравенства и крепостничества. Он разделяет вопросы о *праве* на свободу и о возможности *осуществить* это право:

«В рассуждении первоначальных прав все люди как нравственные существа между собою совершенно равны, ибо все имеют одинаковую природу, из которой происходят общие права человечества. Однако ж не должно смешивать естественное равенство с политическим; первое определяется врожденными правами, а второе положи-

тельными законами. Даже естественное равенство прав существует только до тех пор, пока оные остаются без исполнения, но как скоро люди начинают пользоваться своими первоначальными правами, то немедленно рождается между ими неравенство; бедный и богатый, умный и несмысленный, сильный и слабый равны между собой по правам первоначальным, но в рассуждении прав производных совершенно различны»²⁰.

Далее Куницын говорит уже не только как «теоретик» нравственности, а как политик, протестующий против современного порядка вещей:

«Права первоначальные суть неотчуждаемы и неотъемлемы. Никто не может лишить другого права личности, даже с его собственного на то согласия, ибо если бы кто отказался от своих первоначальных прав, то унизил бы себя до степени существа несмысленного. И самый таковой отказ содержит в себе противоречие, ибо отказаться от права личности значит отказаться от употребления разума и воли, что значит переменить свою природу. Но сие невозможно. Да и самый таковой отказ как договор есть действие, зависящее от разума». Следовательно, «отказываться от права личности, — утверждает он, — значит действовать посредством разума для того, чтобы не иметь разума. Посему холопство как произвольное закрепощение есть действие противузаконное; напротив того, обязательство на услугу за известную плату есть законное употребление личной свободы»²¹.

Выступая против «холопства», «произвольного закрепощения», то есть попросту против крепостничества, Куницын, как это видно из последней фразы, противопоставляет феодально-крепостнической системе систему буржуазную. Правда, из других его лекций видны элементы критического отношения и к этой системе, понимание антагонизма «богатых» и «бедных». Так, например, в лекциях о «Праве государственном» он говорил об историческом развитии общества: «Когда в государстве появляется образование и роскошь, то жители делятся на 2 класса. Одни остаются *свободными* и достигают себе пропитание своими услугами, которые они каждому без различия оказывают; другие, *несвободные*, которые одному только обязаны оказывать услуги» («свободные» в этом контексте владельцы средств производства, а «несвободные» — люди, вынужденные продавать свой труд

какому-либо одному лицу). Но, несмотря на эти замечания, объективный смысл программы Куницына — защита капиталистического развития России. Нет необходимости доказывать прогрессивность этой программы для феодально-крепостнической России начала века²².

Куницына волновало и бедственное положение народа. Такое сострадание к угнетенным вообще характерно для просветительной идеологии при всей ее классовой ограниченности. Энгельс писал об этом:

«...мир до сих пор (то есть до эпохи идеологической подготовки французской революции XVIII века. — Б. М.) руководился одними предрассудками, и все его прошлое достойно лишь сожаления и презрения...

Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем иным, как идеализированным царством буржуазии, что вечная справедливость нашла свое осуществление в буржуазной юстиции, что равенство свелось к буржуазному равенству перед законом, а одним из самых существенных прав человека провозглашена была — буржуазная собственность. Разумное государство, — «общественный договор» Руссо, — оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. Великие мыслители XVIII века, так же как и все их предшественники не могли выйти из рамок, которые им ставила их собственная эпоха.

Но наряду с противоположностью между феодальным дворянством и буржуазией [выступавшей в качестве представительницы всего остального общества] существовала общая противоположность между эксплуататорами и эксплуатируемыми, богатыми тунеядцами и трудящимися бедняками. Именно это обстоятельство дало возможность представителям буржуазии выступать в роли представителей не какого-либо отдельного класса, а всего страждущего человечества»²³.

Куницын — один из русских просветителей начала XIX века. Ему не свойственны, в отличие от Радищева, стремления к революционной ломке крепостнического строя «снизу», но его искренне волнует вопрос о современном положении народа. Этой стороной своих взглядов Куницын был связан с передовой Россией тех лет. Деятели эпохи декабристского подъема выдвигали в соответствии со своими политическими убеждениями (у одних более, у других менее прогрессивными) проекты пере-

стройки государства, но вопрос об освобождении крестьян был для них одним из главнейших. Слова Пушкина о том, что «политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян» (1822) отражали сущность этих стремлений. Куницын был здесь единомышленником Н. Тургенева, о котором Пушкин впоследствии писал:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
И плети рабства ненавдя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Антикрепостнические убеждения Куницына особенно отчетливо проявились в его курсе политической экономии. В отчете конференции о шестилетнем курсе обучения (1811—1817) указывалось, что целью курса политэкономии было показать источники государственного богатства. От Куницына Пушкин получил первые сведения о том,

Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда *простой продукт* имеет.

(«Евгений Онегин», гл. I)

Рассудительный, обычно спокойный тон лекций Куницына сменяется гневными интонациями, когда он говорил: «Крепостной человек не имеет никакой собственности, ибо сам он не себе принадлежит. Не ему принадлежит дом, в котором он живет, скот, который он содержит, одежда, которую он носит, хлеб, которым он питается»²⁴.

Доказывая в своих лекциях по политической экономии необходимость ликвидации крепостного права, Куницын утверждал, что надо создать условия для свободного развития промышленности. Его доказательства были и морально-этического свойства и экономического: Куницын говорил, что крестьянский труд невыгоден для хозяйства («.. бесполезно для непроизводительного класса угнетение производящего»). В рассуждении «О средствах, способствующих к умножению народного богатства» он заключал: «Итак, введение совершенного равенства и совершенной свободы во всех занятиях есть самое простое средство довести все классы государства до высочайшей степени благоденствия». Эти утопические на-

дежды на «общее благоденствие» при сохранении частной собственности на землю и орудия производства имели тогда, однако, во многом прогрессивное историческое содержание, точно так же как и теории любимого экономиста Куницына — Адама Смита²⁵.

Наряду с антикрепостнической тенденцией лекции Куницына проникнуты отрицанием принципа абсолютизма.

В курсе естественного права особую главу составляет «Право общественное». Основное содержание ее и заключается в теоретической критике принципа абсолютизма. Трактую вопрос о взаимоотношении народа и государственной власти, он исходит из теории общественного договора. Общественный договор не есть формальность: «Согласие бывает явное или молчаливое». Целью общества является общее благо. Но «если кто вступил в общество, обманут будучи наружностью справедливости оной цели, то сколь скоро откроет, что цель оного несправедлива, то вместе с сим оканчивается его обязанность в рассуждении общества». Верховная власть имеет право предпринимать такие действия, которые относятся к общему благу, «ибо для оной только поверяется верховная власть». Подданство — это не слепое повиновение власти, а «старание о пользе общей». Верховный властитель обязан «при отправлении своей власти соблюдать естественные и законные ограничения», а подданным «предоставляется общественная свобода»²⁶.

Таков общий ход рассуждений Куницына в курсе естественного права, записанном Горчаковым. Эти записи дают возможность установить прямую перекличку идей Куницына с теми идеями, которые в это время волновали прогрессивные круги русского общества.

Совершенно несомненным является, в частности, знакомство Куницына с конституционными проектами тех лет. Это еще раз подтверждает стремление Куницына не к абстрактному теоретизированию, а к проблематике, актуальной для оппозиционных кругов.

В следующем своем курсе, «Право государственное», он дает дальнейшее обоснование тех же философских идей и излагает теорию государства.

В начале своего нового курса Куницын критикует романтическую идеализацию «естественного состояния» как якобы наилучшей формы существования. В противовес процветавшим в эти годы утопическим идеям о безмятеж-

ной идиллии «детства человечества» Куницын говорил, что «в естественном состоянии люди не имеют между собою никаких связей, а потому не может быть между ими никаких сношений и все права их ничтожны, ибо при таком положении вещей каждый человек зависит от собственного только произвола и для своей безопасности имеет существенное в своей физической силе; каждый сам для себя есть законодатель и судья, ибо в естественном состоянии нет расправы, которая бы по общим законам разбирала поступки людей, потому оное есть состояние войны и всегдашней опасности». Больше того, «естественное состояние» противоречит самым принципам существования человека как общественного человека: «Каждый человек имеет право приводить себя в состояние безопасности, а потому, если некоторые люди, находясь в естественном состоянии, захотят оставить оное и вступить в гражданское, то они могут прочих, оставшихся в естественном состоянии, принудить или вступить с ними в общественное состояние, или совершенно от них удалиться. Доколе сии последние не решатся на то или другое, доколе первые имеют право поступать с ними неприязненно; ибо они обижают их одним только незаконным своим состоянием. Итак, человек имеет право и обязанность вступить в общество»²⁷.

Далее Куницын подробно говорит об образовании собственности как фактора перехода от первобытного состояния к общественному строю и появлению подневольного труда:

«Доколе люди скитались по лесам, получая пропитание от рыбной и звериной ловли, до тех пор они не имели нужды в гражданском обществе и, следовательно, не могли помышлять об оном. В сем состоянии им нужно было сберегать только собственное бытие, к чему лучшее средство есть бегство в случае опасности; внешних вещных прав они не имели, и для того постоянный гражданский союз им был не нужен. Ненадежность их пропитания принуждала их более к рассеянию, нежели к соединению.

Но когда люди мало-помалу образовались и начали приобретать собственность, тогда открылась нужда в защите, и люди должны были приступить к постоянному соединению.

Когда люди приобрели постоянную собственность,

а старание умножить и усовершенствовать оную произвело нужду во взаимной помощи и тем соделало узы семейства более прочными, тогда произошла нравственная любовь между мужем и женою, привязанность между родителями и детьми и связь между господином и рабом. Сии и подобные оным связи людей произвели, наконец, общество *пастушеское*... которое имеет целью безопасность всех личных и вещественных прав людей противу опасностей всякого рода». Но, продолжает Куницын, «вещные права членов пастушеского общества не заключают в себе права на землю. Пастухи не имеют понятия о поземельной собственности. Они не считают нужным удерживать за собою пространство земли, которое должны оставить без употребления или вовсе, или на некоторое время»²⁸.

Государство же, по словам Куницына, возникает с появлением поземельной собственности. Само понятие поземельной собственности «рождается не прежде, как когда люди примутся за обработку земли. Труды и иждивение, употребленные на обработку почвы, заставляют людей подумать о присвоении земли в постоянную собственность». Далее дается определение государства как общества, учрежденного «для всегдашней защиты всех прав человеческих в пределах известного пространства земли противу всяких опасностей». Возникает *нация* — «собрание всех людей, в областях государства живущих», а с появлением «образования и роскоши» жители «делятся на два класса» — «свободных» и «несвободных»²⁹.

Не трудно заметить, что в рассуждениях Куницына сквозь идеалистическое понимание общества и государства отчетливо видны проблески трезвого историзма. Эти рассуждения с особенной убедительностью доказывают яркую одаренность Куницына. Не приходится сомневаться в глубоко прогрессивном значении его идей в данных исторических условиях. Это очевидно, несмотря на ограниченность и противоречивость его общей концепции. Так, он не видел, что частная собственность неминуемо рождает неравенство и эксплуатацию и этого «разум» изменить не может.

В курсе государственного права Куницын всесторонне развивает положение о суверенитете народа и праве гражданина на личную свободу. Он утверждает, что «гражданин подчинен своевластителю только для цели

государства и во всем, что к оной относится, должен ему повиноваться. Но когда употребляется кто-либо от своевластителя к другим целям, а не для цели государства, то таковое злоупотребление верховной власти называется *тиранством*»³⁰.

Дальше он всемерно обосновывает принципы, которые, по его мнению, являются гарантией против «тиранства своевластителя» («своевластителем» он называет верховную власть, независимо от формы правления); это теоретические принципы равенства и основанной на равенстве незыблемой законности. «Законы, — говорил Куницын, — должны быть всеобщие, т. е. всех граждан равно обязывающие и всем предоставляющие равные права и обязанности так, чтобы то, что для одного есть право и обязанность, в одинаковых обстоятельствах было также правом и обязанностью другого; ибо договор соединения не заключает в себе основания, почему один кто-либо может быть обременен более, нежели другой, и напротив. Итак, если бы законодательная власть на одного более отягощения возложила, нежели на другого, то сие произошло бы по особенным видам, кои в состав цели государства не входят, следовательно было бы явное нарушение справедливости, на которой основан договор». Особенности права и преимущества могут быть предоставлены некоторым гражданам только в случаях, когда «сие для цели государства необходимо или полезно»³¹.

Для Куницына несомненна святость закона, но только такого закона, который отвечает требованиям «общего блага», равенства: «Законодательная власть не может делать предписаний касательно тех предметов, которые к цели общественной не принадлежат». В разделе «Об образах правления» Куницын с самого же начала говорит, что образ правления может быть основан только на условиях «договора подданства», «конституции»; все другие способы приобретения власти незаконны. Далее он разделяет образы правления на монархический и демократический и дает характеристику того и другого. По поводу монархического образа правления, в частности, замечено: «Когда монарх употребляет силы государства противно цели государства или подданных лишает первоначальных и производных прав, для сохранения коих учредилось общество, тогда образ правления называется деспотическим». В следующем затем

подробном рассуждении «О способах приобретать верховную власть в монархии» главной проблемой является проблема взаимоотношения между народом и монархом. Только народ может дать монарху власть, поэтому «по смерти избранного монарха власть верховная снова приходит к народу, который вправе избрать нового властителя или переменить образ правления». В случае междуцарствия «зависит от народа управлять ли государством по общему согласию, или поручить сию власть некоторым согражданам». В избирательной монархии «право избирать монарха народ или себе представляет, или поручает некоторым лицам». И дальше в ряде случаев подчеркивается роль народа в монархическом управлении. Говоря о монархии наследственной, Куницын признает, что «по силе коренных законов... по упразднении трона наследник восходит на оный, не требуя согласия народа. Таковой образ наследования продолжится, доколе род царствующего поколения не прекратится. По прекращении же одного народ снова получает право избирать наследника и определять способ наследования». Безоговорочно резкая оценка дается в лекциях монархии «отеческой», то есть такой, где «определение наследника зависит от предшественника».

«Отечественный образ наследования, — говорит Куницын, — противен цели общества; ибо потому, во-первых, весь народ делается собственностью своего властелина; во-вторых, разделение областей государства, каковое предполагается в монархии совершенно отечественной, подвергает государство опасности и совершенному разрушению»³².

Развитая Куницыным теория «законности» в «способах приобретать верховную власть», его утверждение равенства всех граждан перед законом, его трактовка понятия «тиранства» были органически восприняты Пушкиным и осмыслились им применительно к фактам действительности. Общность трактовки ряда проблем у лицейского профессора и его ученика очевидна.

Вот некоторые примеры.

В параллель к мыслям Куницына: «каждое правление законное, которое учреждается законным образом»; «когда употребляется кто-либо от своевластителя к другим целям, а не для цели государства, то такое злоупотребление верховной власти называется тиранством»,

можно привести следующие строки из «Бовы», отрывка из поэмы, написанной Пушкиным в Лицее:

Царь Дадон венец со скипетром
Не прямой достал дорогою;
Но убив царя законного...

Царь Дадон не Слабоумного
Был достоин злого прозвища,
Но *тирана* неусыпного...

В «Романсе» (1814) тема о трагической судьбе незаконнорожденного сына осмысливается как протест против существующего закона:

Закон несправедлив, ужасный
К страданью присуждает нас.

Другое лицейское стихотворение Пушкина «Лицинию» изображает падший Рим —

Где все продажное: *законы*, *правота*...

Но в особенности влияние Куницына сказалось в оде «Вольность», написанной в 1817 году, вскоре после выхода Пушкина из Лицея. Отдельные строфы оды можно прямо сопоставить с рассуждениями Куницына:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье:
Где *всем* простерт их твердый щит,
Где, сжатый верными руками
Граждан, над *равными* главами
Их меч без выбора скользит...
Владыки! вам венец и трон
Дает закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон.

И в конце поучение царям:

Склонитесь первые главой
Под сень надежную *закона*,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой*.

Конечно, не следует думать, что этими идеями Пушкин был обязан исключительно Куницыну. В литературе справедливо указывалось, что наиболее сильные места оды («Восстаньте, падшие рабы») навеяны непосредственными впечатлениями жизни, вместе с тем они отра-

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

жают влияние Радищева. Но воздействие Куницына, засвидетельствованное самим Пушкиным (*«поставлен им краеугольный камень»*), несомненно в этом произведении.

Один из разделов своих лекций по государственному праву Куницын посвятил характеристике республиканских образов правления. Начинает он с положения: «В демократии верховная власть принадлежит всему народу, т. е. или всем гражданам, или начальникам семейств. Собрание оных называется *народным сословием*». «Народное сословие» по терминологии того времени — парламент. О парламенте Куницын говорил неоднократно в других лекциях, утверждая, что эта форма правления и в монархическом государстве предоставляет народу единственную возможность в какой-то мере участвовать в управлении государством. «Поскольку весь народ не может участвовать в отправлении верховной власти вместе с монархом, то для сего учреждается сословие, которому предоставляется право участвовать в делах, подлежащих верховной власти»³³.

Рассматриваемый раздел выдержан в записях Горчакова в стиле описательном: перечисляются различные типы республик без их оценки. Это можно объяснить не только остротой темы, требующей от лектора осторожности, но и конспективностью записей, в которых отсутствуют обычные в лекциях Куницына «подробности», живые «примеры». Некоторое представление о том, в каком направлении он мог развивать в устном изложении тему о республиканском правлении, дают его две статьи, напечатанные в 1818 году в «Сыне отечества» (одна — «О конституции» и вторая — посвященная разбору речи Уварова в Педагогическом институте). Обе статьи (не выходящие, конечно, за пределы цензурной легальности) ставили целью убедить читателя в том, что времена абсолютного монархического правления безвозвратно прошли. Куницын говорит здесь о введении «представительного правления». Многие Куницын не договаривал, имея в виду «прозорливость читателей», часто допускал половинчатые, компромиссные формулировки; он явно старался «уговорить» царя ввести конституцию. При всем этом интересна попытка Куницына обосновать необходимость ограничения самодержавия и введения конституции не только на примерах других стран, но требованиями развития самой России. Возражая Уварову, за-

явившему: «Мы по примеру Европы начинаем помышлять о свободных понятиях», Куницын писал:

«Но мы давно о них помышляли: никогда не были они чужды российскому народу: вече, боярские думы, третейский и совестный суд; разбирательство дел при посредстве присяжных, равных званием подсудимому, были еще в древности существенными принадлежностями образа правления в нашем отечестве. В важных происшествиях государства обыкновенно все сословия принимали участие и действовали единодушно». Утверждая, что отражение нашествия врагов, «постановление общих законов» бывали в древней Руси предметом «согласного решения всех государственных чиновостояний», Куницын заключал: «Иностранные народы прежде нас дали непременные формы государственному правлению, но не позже их мы о том помышляли»³⁴. Эти слова не были только личным мнением Куницына.

Науки, которые преподавал Куницын, вызывали живейший интерес Пушкина. Об этом свидетельствуют факты.

В сохранившемся плане автобиографических записок Пушкин отмечает под 1811 годом — годом поступления в Лицей: «Мое положение. — Философические мысли». А 10 декабря 1815 года Пушкин занес в лицейский дневник: «Вчера написал я третью главу «Фатама или разума человеческого: «Право естественное». Читал ее С. С. ...». Один из ранних биографов Пушкина, В. П. Гавевский, рассказывает о сюжете этого произведения (романа): «Содержание ее мы слышали с некоторыми подробностями: супруги просили у судьбы сына самого разумного, каких еще не бывало; но как в природе развивается в ту или другую сторону, то им обещано, что сын их родится необыкновенно умным, с летами же постоянно будет терять способности и, наконец, обратится в детство. Действительно, родившись, он был чрезвычайно учен, говорил по-латыни и, едва взглянув на свет, спросил: — ubi sum? * и т. д.»³⁵.

Но «Фатама», где, судя по заголовку и свидетельствам биографов, были отражены мысли лекций Куницына о «естественных правах» и законах развития, не уцелела, так же как не уцелела и комедия в стихах «Философ», о которой лицеист Илличевский писал своему другу Фуссу

* Где я? (лат.).

16 января 1816 года: «План довольно удачен и начало, то есть 1-е действие, до сих пор только написанное, обещает нечто хорошее; стихи — и говорить нечего — а острых слов сколько хочешь!.. Дай бог ему кончить — это первый большой *ouvrage* *, начатый им, *ouvrage*, которым он хочет открыть свое поприще по выходе из Лицея. Дай бог ему успеха — лучи славы его будут отсвечиваться и в его товарищах» ³⁶.

Пушкин, следовательно, был настолько увлечен замыслом комедии «Философ» и придавал ей такое значение, что думал ею «открыть свое поприще по выходе из Лицея».

В свете лицейских лекций, читанных Куницыным, их общей направленности против абсолютизма и крепостничества, их защиты человеческих прав, новую мотивировку приобретает дарственная надпись Пушкина на экземпляре своей «Истории пугачевского бунта»: «Александру Петровичу Куницыну от автора в знак глубокого уважения и благодарности» ³⁷.

8

Мы уже приводили выше слова Малиновского из его дневника: «Великая обида россиянам почитать их неспособными для составления своих законов! Доселе только знаменитые в Европе своим мужеством и победами, они законодательством покажут, сколь великого почтения достойны по дарованиям своего быстрого ума и тонкого понятия». В Лицее идеи этого рода широко пропагандировались. Больше того, в специальном курсе лекций наряду с характеристикой прогрессивных для того времени западноевропейских политических систем, отмечались также их пороки и кричащие противоречия.

Эти лекции, носившие скромное название «Статистика», охватывали важнейшие вопросы истории и политики. В лекциях по статистике содержались те идеи, которые позже развивал и Пушкин, характеризуя противоречия буржуазного строя ³⁸.

Как же определяется предмет и задачи статистики?

Статистика, как указывается в записях, сделанных Горчаковым, возникла «по мере распространения просве-

* Труд (франц.).

щения в Европе и развития ума человеческого». Она представляет собою «основательное познание состояния какого-нибудь государства» во всех отношениях, и прежде всего в плане политическом. «Все принадлежащее даже самым отдаленным образом государству, начиная от монарха до последнего в государстве человека и от важнейшего до последнего предмета народной промышленности, благоденствия или бедствия народного должно быть описано пером статистика в истинном беспристрастном виде». Но статистика не является наукой эмпирической, а занимается *«познанием тех только предметов государства, кои имеют явное влияние на благо оного»*. Поэтому она «имеет свою теорию, и сия теория ее есть философская». «Описание нравов народов, живущих в каком-либо государстве, образа их жизни, обычаев и пр. тогда только будет предметом статистики, когда о сем будет рассуждаемо в отношении ко благу или вреду оного».

Из всего этого следует, что статистика в понимании лицейского профессора — наука не описательная, а политическая, освещающая современное состояние государства. Об этом дальше и говорится:

«Политические науки теснее, кажется, прочих наук соединены с статистикою. Они показывают, чем должно быть государство, а статистика показывает, каково оно есть. Посему статистика представляет политике состояние государства и предоставляет ей принять средства управлять оным благоразумно. Но знающий состояние государства может видеть и средства к управлению оного»³⁹.

В этот курс входило и освещение современного состояния Российской империи. В связи с этим во введении к лекциям содержится особое рассуждение, обосновывающее право лектора критиковать государственный строй и правительство: «Истина — во всем смысле сего слова — есть непременный долг статистика. В сем случае долг историка, беспристрастие, простирается и на него». «Но здесь, — продолжает лектор, — встречается возражение: публичное объявление недостатков, погрешностей и ошибок правительства может быть для него обидою, может послужить ему во вред и унижить пред другими государствами или в глазах собственных его подданных. Но 1) во всех человеческих учреждениях находятся ошибки, заблуждения и беспорядки; часто самые благоразумные правительства не могут избежать их. 2) В глазах просве-

щенной публики, находящей свою пользу в статистических известиях, правительство, объявляя недостатки, погрешности и заблуждения, неизбежные во всех человеческих учреждениях, ничего не потеряет; мудрый и добрый гражданин всегда с благодарением будет смотреть на благодетельные намерения правительства, хотя исполнение оным и не соответствует. 3) Правительство подвергнется осуждению тогда только, когда оно само покровительствует злоупотреблениям или одобряет их; но таковое правительство не согласится иметь статистиков. 4) Ислабые правительства, не имеющие довольно силы для отращения всех беспорядков, бывающих причиною падения государств, не должны позволять писать статистику своего государства. 5) Мудрое, напротив того, и сильное правительство, имеющее целью благосостояние своих подданных, может учреждать статистические общества. Не желая, чтобы народ его был в неведении и о вещах, находящихся в его государстве, и желая, чтобы он судил о сих вещах правильно, он не может почесть для себя обидою объявление истины»⁴⁰.

Кто же автор этого интереснейшего по замыслу курса лицейской программы? На это материалы лицейского архива дают совершенно тоинный ответ: лекции, именовавшиеся «Статистикой», читал И. К. Кайданов, ведавший кафедрой «исторических наук», тот самый Кайданов, который, как мы упоминали, заслужил впоследствии (в 20-е и 30-е годы) репутацию совершенно бесцветного и абсолютно «благонамеренного» профессора. В самом деле, его бесчисленно переиздававшиеся учебники по русской истории не представляют никакого интереса. Но историографии не был известен другой Кайданов, который раскрывается перед нами в записях лицейских лекций, по своему направлению совсем непохожих на его позднейшие учебники. Лицейский товарищ Пушкина Илличевский в одном из своих писем 1814 года к П. Н. Фуссу ставил Кайданова в ряд с Куницыным, Карцевым, говоря, что они «люди с достоинством». О Кайданове он замечает: «Он сочинил прекрасную историю древних времен, которая теперь только выходит из печати»⁴¹.

Курс «Статистики» создан Кайдановым самостоятельно. Об этом свидетельствуют учебные записки 1815 года, сохранившиеся в лицейском архиве, где сказано: «Адъюнкт-профессор Кайданов... Российскую ста-

истику будет преподавать по сочинению г. Зябловского, делая из оного извлечения, *а прочих главнейших государств по своим тетрадам, ибо нет такого сочинения на российском языке*»⁴².

Когда Пушкин учился в Лицее, Кайданов выпустил только первую часть «Основания всеобщей политической истории» — древнюю историю (кончая падением Римской империи). Эта книга вышла в 1814 году. Другого печатного руководства по истории лицеисты не имели, изучая ее по запискам Кайданова. Остальные его книги выходили уже в 20-е годы, когда Лицей был разгромлен, а Кайданов был озабочен только тем, чтобы всяческими путями доказать свою благонамеренность. Судить по этим *позднейшим* работам Кайданова о преподавании истории в *пушкинское* время нельзя: перед нами не только напуганный, но и политически деградировавший человек. Сравнение древней истории в изданиях 1814 года и 1821 года показывает, что он убрал из первоначального текста все «антидеспотические» и «вольнодумческие» тирады (как, например, утверждение о том, что «деспотическое правление, водворившееся во всех азиатских государствах, угнетало народ и подавляло в нем все благородные чувствования»). Изменен и характер освещения древней Греции. В издании 1814 года Кайданов считал причинами «цветущего состояния» Греции политическую свободу, которая «развила в их душах все способности». В 1821 году эта формулировка исчезла, как исчезли и утверждения о том, что деспотизм погубил древний Рим. Но зато появилось «посвящение государю», где утверждалось, что «повиновение предержащим властям» есть «первый, священнейший долг человека-гражданина»⁴³.

Правда, Кайданов и в свои лучшие времена не выходил за установленные рамки воспитания лицеистов для будущих «законно-свободных учреждений». Осуждая «деспотические формы» самодержавия, отрицательно относясь к феодализму и аристократии и сочувствуя «среднему сословию», Кайданов не являлся принципиальным противником самодержавия вообще: за его рассуждениями всегда чувствуется надежда на осуществление проекта конституционной монархии, ограничения власти российского самодержца «законно-свободными учрежде-

ниями». В отличие от Куницына Кайданов окружал свои критические тирады такими «благонамеренными» фразами, которые выходили за пределы простой страховки перед «властями предержащими». Сугубая осторожность Кайданова видна и в некоторых поправках, которые он сделал в тетради Горчакова. Например, о древних новгородцах вначале было сказано, что они «хотели сделаться независимыми и подняли знамя вольности под предводительством Вадима». Рукой Кайданова в этой фразе слово «вольность» заменено словом «возмущение». В другом месте усилена тирада о «благоденствии», которым наслаждалась Россия при монархическом правлении Рюрика, устранившем «раздоры» (Россия... почувствовала все выгоды монархического правления» и т. д.) ⁴⁴.

Критицизм Кайданова, как отмечено выше, быстро испарился. Однако нас в данном случае интересует, собственно, не эволюция Кайданова, а содержание тех его лекций, которые слушал Пушкин. Эти лекции, повторяем, принципиально отличны по своему духу от напечатанных позже учебников (а курс его «Статистики» вообще не был опубликован) ⁴⁵.

К тому же Кайданов обязывался системой лицейского образования к проведению определенных принципов. Эти принципы устанавливала конференция. Напомним, как подытоживался опыт преподавания истории в «Отчете» за 1811—1817 годы. «Конференция, — говорилось здесь, — поставляла в необходимую обязанность преподающему излагать истины исторические со всею точностью и со всяким беспристрастием». В «Отчете» указывалось, что в ходе преподавания истории были освещены различные политические системы, «пороки и ошибки правителей», «хищнические и несправедливые завоевания приморских держав» и т. д. На уроках русской истории не скрывалось, что Россия «некогда была государство слабое, раздираемое то внутренними несогласиями, то внешними неблагоприятными войнами, что в ней царствовали некогда суровые обычаи, бесчеловечные законы, что в государственном управлении не было постепенности, что суд и расправу могли находить только вельможи и люди, близкие ко двору царскому, а простой народ страдал от угнетения сильных». Лицейсты на уроках истории должны были исполниться любви к «великим мужам», восставшим «противу предрассудков... противу

злоупотреблений, обратившихся в обычай», и стремления подражать этим мужам ⁴⁶.

Из «Отчета» следует, что на уроках истории ставились те же вопросы государственного устройства, политической жизни, которые освещались в общей, теоретической форме в курсах «нравственных и политических наук». На уроках Кайданова история соприкасалась с современностью. С этой точки зрения наибольший интерес представляет курс «Российская империя» и обзор современной Европы (оба эти курса объединились общим названием «Статистика»).

Записям курса «Российская империя» в тетрадях Горчакова предшествовало, в виде многозначительного эпиграфа, изречение Цицерона о необходимости знать республику, для того чтобы ею управлять.

Следует отметить эмоциональный тон, который звучит в конспекте лицейских лекций. Воодушевлявшие Кайданова чувства национальной гордости, восхищение подвигами предков и их самоотверженностью в защите родины несомненно являлись прямым отражением патриотического подъема эпохи 1812 года. Прославлению национального характера посвящены первые же страницы конспекта Горчакова («Славяне были храбры, честны, благонравны, честно сохраняли свои обещания. У них была пословица: «Кто не сдержит своего слова, тому да будет стыдно» и т. д.). Лицеистам внушалось чувство гордости величием родины, мощными потенциальными возможностями русского народа. «Российская империя, — говорилось в самом начале курса, — одно из огромнейших и по многим отношениям важнейших государств Европы, представляет наблюдателю любопытное, разнообразное и величественное зрелище: от берегов Ледовитого моря и до Китая, Персии и Турции и от Вислы до Восточного океана». И здесь же отмечались социальные контрасты страны, простирающейся от «блестящих столиц до беднейших юрт кочующих народов», страны, в которой сосуществуют и «утонченно образованные жители» и «самоеды, коряки или камчадалы». Вопреки прерзительному отношению официальной историографии к малым народам в лицейском курсе они приводятся как пример «величественного разнообразия племен»; далее упоминаются также «нагайцы, киргизы, монголы, буряты, тунгузы» ⁴⁷. Для нас не безразличен контекст, в котором

услышал тогда о многонациональном составе России Пушкин, впоследствии писавший:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгуз, и друг степей калмык *.

Переходя к обзору «состояния народа или управляемых», лектор приводит (хотя и без комментариев) выразительные цифры: в России шестнадцатью миллионами «ревизских душ» владеют 225 тысяч дворян. Сочувствие к положению крепостного крестьянства сквозит в разделе, посвященном «правам и привилегиям российского народа». Здесь отмечено, что «дворянство и купечество» имеют значительные права, а поселяне бесправны и беззащитны. «Помещицы крестьяне, разделяющиеся на дворовых, пахотных и оброчных, во всем зависят от воли своего помещика. Участь их, лучшая или худшая, происходит единственно от личных качеств помещика»⁴⁸.

К вопросу о крестьянстве Кайданов возвращается также в разделе, где говорится о современном развитии промышленности. Так же как и Куницын в своих лекциях по политической экономии, Кайданов доказывает невыгодность крепостного права для развития мануфактур и утверждает необходимость «совершенной свободы» для распространения «народной промышленности». Здесь же рассказано о постановлениях, которыми правительство, озабоченное «развитием мануфактур», «старается соединить две противоположные системы — рабство и свободу, пользу фабрикантов и выгоды работников»⁴⁹.

Наконец в лекциях отражено характерное для оппозиционных кругов недовольство неограниченной властью монарха (напомним, что задача лекций — осветить состояние России того периода, когда они читались). Кайданов подчеркивает, что «в России при монархическом неограниченном правлении нет таких сословий, кои имеют право делать государству представления и коих согласия нужно к тому, чтобы дело получило надлежащую силу закона»⁵⁰.

Замаскированные симпатии к конституционным порядкам проявляются в разделе «Образ правления», где Кайданов вновь говорит о том, что в России все права

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

верховой власти принадлежат императору: «Никакое сословие или лицо... не имеет в том участия. Государь не подлежит никакому отчету; воля его не ограничена ни по предмету, ни по форме». Любопытно, что здесь Кайданов прямо противопоставляет самодержавный режим конституционным системам, где власть находится в руках «сената, сейма и пр.» или разделена «между королем, верхним и нижним парламентами и даже народом, особливо при выборе членов парламента»⁵¹.

Кайданов признавал роль самодержавия в истории формирования и укрепления государственности, но он был чужд как идеализации монархизма, так и модным в реакционной историографии попыткам исторически обосновать дворянские права и привилегии. «Законы должны составить благоденствие народа», — говорил Кайданов, повторяя общую установку лицейского преподавания⁵².

Другие из сделанных Горчаковым записей лекций Кайданова по российской истории дают менее отчетливое представление об идейном содержании этого курса. Изложение кончается царствованием Петра II: важнейшие разделы, посвященные времени Екатерины и Павла, в записях отсутствуют.

Подробное освещение истории России Кайдановым (при всех типичных для того времени ошибках даже фактического порядка) должно быть отмечено тем более, что карамзинская «История государства Российского» (служившая впоследствии долгое время фактической основой исторических курсов в учебных заведениях) начала выходить, как известно, в 1818 году (до этого печатались только отдельные статьи и очерки Карамзина).

Разумеется, Кайданов широко использовал различные исторические труды. Но его освещение русской истории в лицейском рукописном конспекте противоположно и «Истории российской» Татищева (где доказывалось, «сколь монаршеское правление государству нашему прочих полезнее») и взглядам Карамзина как выразителя безусловно реакционной программы.

Успехи Пушкина по истории были, как свидетельствовал сам Кайданов, хорошие (в 1812 году он писал о нем: «Успехи довольно хорошие», а в 1814 году: «При малом прилежании оказывает очень хорошие успехи, и

сие должно приписать одним только прекрасным его дарованиям»).

Что же было ценного для Пушкина в лекциях Кайданова по русской истории?

На лицейских лекциях Пушкин получал первоначальные сведения об исторических деятелях и событиях, которые впоследствии глубоко интересовали его и как историка и как художника в «Борисе Годунове», «Полтаве», «Истории Петра» и т. д. В Лицее он услышал о борьбе Руси за независимость, о Годунове, о делах великого преобразователя России Петра I, а также о многих легендарных эпизодах, вплоть до рассказа о гибели Олега «от ужаления змея», который затем отразился в пушкинской «Песне о вещем Олеге».

Любопытен рассказ о Борисе Годунове — лице, которому впоследствии посвятил свою трагедию Пушкин. В связи с этим небезынтересно напомнить, что проблемы законности царской власти стояли в центре внимания Кайданова. Критерием же оценки того или иного «правителя» служила для него степень «благоденствия народа», борьба против иноземных поработителей, развитие просвещения и т. д. Кайданов описывал Годунова как «ненасытного честолюбца» и убийцу Дмитрия, а по поводу «благоденствия» царя, которое явилось плодом его «трудов», замечает: «Если можно назвать благоденствием величие, купленное злодеянием». Незаконно захваченная власть не может дать и морального удовлетворения: Годунов «скончался среди мучительных угрызений совести»⁵³.

Зато настоящий панегирик посвящает Кайданов Михаилу Федоровичу, который тогда высоко чтился и идеализировался в либеральных кругах как «всемирный избранник», якобы обеспечивший России «благоденствие» (в такой трактовке Михаил как бы противопоставлялся другим Романовым, не гнушавшимся никакими средствами, чтобы взойти на престол и удержать его за собой). Эта распространенная легенда о Михаиле Федоровиче оказалась, как известно, настолько устойчивой, что его именем была названа масонская ложа, связанная с «Союзом благоденствия» («Ложа избранного Михаила»), а Рылеев свою думу «Иван Сусанин» заключил славословием в честь крестьянина, кровь которого «для России спасла Михаила». Восшествие Михаила на пре-

стол описывается Кайдановым чуть ли не как результат демократических отношений избираемого с избирателями: народ предложил Михаилу венец, он скромно отказывался, а затем согласился. Главная заслуга этого царя, по Кайданову, в том, что «состояние народа было сделано лучшим, правосудие царствовало в судах. Порок в златотканной одежде не торжествовал над невинностью в рубище»⁵⁴.

Но особенное внимание и преобладающее место уделено в лицейских лекциях Петру I — личности, которая так интересовала Пушкина на всем протяжении его творческого пути. Правление Петра оценивается Кайдановым как крупнейшая веха в мировой истории. Раздел курса о Петре он начинал словами: «Из всех достопамятных происшествий, случившихся на Севере и во всей Европе со времени открытия Америки, нравственное и политическое преобразование России есть самое достопримечательное происшествие». Народ «вдруг воспрянул, познал свое предопределение», «становится исполинским шагом среди держав европейских и, соделавшись повелителем Севера, начал принимать сильное участие в делах всех государств»⁵⁵.

Кайданов подчеркивает, что Петра «славит муза истории, и никого достойнее не может она славить». В этой связи многозначительно его полемическое упоминание о том, что имя преобразователя России «часто злоупотребляемо современниками» (то есть, по-видимому, теми, кто считал последующих царей продолжателями или преемниками Петра)⁵⁶.

Характеристика Петра, данная Кайдановым, прочно вошла в сознание юного Пушкина. Петр в этой характеристике неколебим, тверд в стремлении к цели, «справедлив», он, говоря позднейшими словами Пушкина, «работник на троне». «Герой Севера, основатель величия нашего отечества, стремясь с непоколебимой твердостью, свойственной великим мужам, сквозь окружающую его тьму невежества и величайших предрассудков к просвещению, сам решился, оставя трон, снискать в низкое состояние»⁵⁷.

Рассказывая о юношеском окружении Петра, Кайданов отмечал: «Равенство было душою сего общества и по разуму учиненного царем Федором достопамятного постановления, личные достоинства,

а не порода возводили на высоту степень перед прочими».

Наконец следует отметить, что будущий автор «Полтавы» услышал в Лицее оценку Полтавской битвы как одной «из совершеннейших и важных побед, известных в истории», решившей «участь всей России» и «доставившей уважение сему государству»⁵⁸.

Нет необходимости говорить о том, что впоследствии у зрелого Пушкина взгляд на Петра был неизмеримо глубже и правильнее, чем у Кайданова (достаточно вспомнить гениальные слова Пушкина о том, что Петру были свойственны черты «самовластного помещика» и что некоторые его указы «писаны кнутом»). Но очевидно также, что развитие исторических взглядов Пушкина и, в частности, развитие одной из центральных тем его творчества — темы Петра — не может рассматриваться вне учета лицейских лекций как одного из существеннейших источников образования и воспитания поэта.

В лекциях Кайданова, посвященных западноевропейским государствам, наиболее интересным является критическое обобщение зарубежного политического опыта. Значение такого обобщения становится очевидным, если учесть споры, которые велись тогда вокруг проектов введения конституции в России.

Наибольший интерес представляет всесторонний анализ в лицейских лекциях английской политической системы.

Самый принцип конституционного строя вызывает одобрение Кайданова. Он признает ряд преимуществ этого строя по сравнению с феодально-монархическим строем александровской России. Английскую конституцию лицейский профессор рассматривает с позиций сторонника конституционной монархии, установление которой в России считалось тогда наиболее реальным не только в кругах, близких Сперанскому, но даже в ранних тайных объединениях декабристов. По словам лектора, «образ правления, существующий ныне в Англии... есть следствие долговременного борения, стремления народа к свободе со страстию к порабощению». Понятие законности, отношение между монархом и народом трактуется им в таком же духе, как и в лекциях Куницына о государственном праве: «Правление Великобритании и Ирландии (особливо же Англии) подобно республиканскому, ибо законодательная и исполнительная власть

разделены между собою, и разделены так, как только могут быть разделены в монархии». Характеризуя ограничения, установленные английской конституцией для короля, лектор явно наталкивал слушателей на противопоставление этой системы абсолютизму, с самодержцем-деспотом, «неограниченным своевластителем» — «тираном». В лекциях с удовлетворением отмечено, что конституция ограничила возможность короля делать что-либо «худое», ибо «при совершенной своей свободе он ограничен вышеозначенными государственными и парламентскими постановлениями»⁵⁹.

Отмечая положительные, по сравнению с абсолютной монархией, стороны английской конституции, Кайданов вместе с тем говорит о ней критически. Так, подробно рассказывая об английской парламентской системе, лектор мимоходом бросает замечание: «Без сомнения, многие члены парламента завясят от двора и преданы ему, ибо король назначает всех важнейших государственных чиновников и, следовательно, оппозиционная партия, по-видимому, ничего не значит»⁶⁰.

В этих лекциях говорится о противоречиях английской жизни, о растлевающем влиянии буржуазной цивилизации на все общество, отмечается контраст между богатством небольшой кучки людей и нищенством народа.

Позиция лицейского профессора враждебна позиции таких людей, как Карамзин, который видел в Англии «здоровье и довольствие», враждебна и реакционерам вроде Растопчина, стремившегося убедить читателей, что самодержавно-крепостнический режим является самой лучшей государственной системой. Лекции Кайданова об Англии особенно важно иметь в виду при изучении истоков мировоззрения Пушкина. Их следует рассмотреть подробнее.

Отмечая, что Англия — «богатая страна», лектор продолжает:

«Но и в Англии великое богатство и расточительность исключительно принадлежат только нескольким — частным людям, а великая часть народа находится в крайней бедности. Сие чрезмерное богатство частных людей в Англии поддерживает самую конституцию, основанную, между прочим, на великом кредите, так что с лишением богатства или с падением конституции англичанин должен всего лишиться... английский богатый

лорд, купец или откупщик, сидя между своими сундуками, наполненными гинеями, желает и требует, чтобы ничто не мешало приращению его богатства. Тысячи рук работают для него, тысячи людей от него питаются, и он собою составляет капитал их. Сие-то богатство нескольких частных людей — лордов, купцов, откупщиков и помещиков — есть причиною того, что на Англию все смотрят как на «прекраснейшую картину народного благоденствия». Лектор отдает должное Лондону как «средоточию всемирной торговли», произведений народной промышленности, «сокровищ, доставляемых меркантильною системою». Но все достоинство человека определяется большею частию по его имению, а не по достоинствам или заслугам его. Сколь велико у него имяние? — есть большею частию и почти обыкновенный вопрос в Лондоне. Дворянином (*esquire*) называется в Англии всякий откупщик, если только он богат»⁶¹.

Правители Англии проводили реакционную внешнюю политику, презирали национальный суверенитет других стран, отстаивали политику угнетения колониальных народов, почитаемых «за ничто». Эти народы лишены всяких прав и служат лишь добычанию «колониальных произведений». «Все английские колонии единообразно управляются королем, наместниками и судьями. Но жители сих колоний имеют не одинаковые права. Природные англичане пользуются всеми правами, присвоенными Англии, и при судопроизводстве дел их наблюдаются такие же формы, как и в Англии, прочие же жители подвержены великому угнетению и должны сносить иго жестокого деспотизма. Особливо бедственная участь негров-невольников»⁶².

Все эти рассуждения, которые содержались в лицейских лекциях, носили остро злободневный характер. Лекции читались в период Венского конгресса, когда Александр I в тесном сотрудничестве с искусственными политическими деятелями Англии насаждал повсюду реакционные порядки. На Венском конгрессе Англия, по определению Маркса и Энгельса, стремилась «сохранить и расширить свое коммерческое превосходство, удержать львиную долю из колониального грабежа и ослабить всех остальных». Любопытно, что в лицейских лекциях также нашли отражение сведения о бурном для Англии 1816 годе, который был ознаменован в этой стране ши-

роким демократическим движением протеста против нищеты народа и критикой государственной системы⁶³.

Как известно, Пушкин в черновике «Путешествия из Москвы в Петербург» охарактеризовал английскую государственную систему в резких тонах, отметив раболепие «Нижней каморы перед Верхней; джентльменства перед аристократией; купечества перед джентльменством; бедности перед богатством», «тиранство» в Индии. На подобные нравы он указал и в статье, посвященной американской демократии, где подчеркнул «неумолимый эгоизм», «рабство негров посреди образованности и свободы» («Джон Теннер») и т. д. Эта критика была результатом глубоких наблюдений поэта за состоянием «новейшей образованности» и постоянного внимания его к вопросам международной политики. Но для исследования процесса формирования взглядов Пушкина очень важно знать, что критическое отношение к буржуазной цивилизации внушалось ему еще в Лицее. В лицейских лекциях (как и в позднейших статьях Пушкина) не ставился вопрос о том, возможно ли, следуя по пути «нового просвещения», избежать его отрицательных сторон: ответа на этот вопрос тогда и не могло быть дано по условиям времени. Но положительным в этих лекциях было то, что они освещали противоречия западноевропейской демократии, ее несовершенства и пороки, причем надо учесть, что критика эта велась не с реакционно-националистических позиций, а с прогрессивного фланга русской общественной мысли, представители которого внимательно изучали и ценили передовые элементы западноевропейской буржуазно-демократической культуры конца XVIII — начала XIX века.

Трактовка в этом же курсе другого острейшего вопроса, волновавшего русскую общественную мысль, — вопроса о современной Франции, в ряде моментов также близка тем взглядам, которые в дальнейшем высказывал Пушкин. В лицейских лекциях признается прогрессивное значение французской революции в ликвидации феодализма и борьбе за «права человека и гражданина», но в духе дворянского просветительства осуждаются «ужасы и кровопролития». Острота этой темы требовала от лектора величайшей осторожности: хотя раскаты революционной грозы давно утихли, говорить о ней в александровской России позволялось только в тоне поноше-

ния. К чести лицейского лектора он сумел найти такие «эластичные» формулировки, которые все же позволили охарактеризовать прогрессивную историческую роль французской революции. Слова же об «ужасах и кровопролитиях» следует отнести к действительным убеждениям автора (которые были свойственны, за небольшим исключением, широчайшим слоям дворянского освободительного движения). Вот как говорится в лекциях о роли революции:

«До времен французской революции феодальные права существовали во всей Франции, а посему дворянство во Франции было богато и чрезвычайно сильно, народ же во многих провинциях находился в великом угнетении. Революция потрясла сильно всю Францию и в короткое время ниспровергла все древние узаконения, а посему и феодальное правление совершенно истребилось во всей Франции и многие дворяне из богатейших сделались беднейшими и из сильных ничего не значащими. По разуму узаконений, изданных французами во время революции, все жители во Франции должны быть во всех своих правах и взаимных отношениях равны между собою, и каждый из них должен был называться гражданином (citoyen) — посему дворянство, особливо же наследственное, было уничтожено, равно как и рабство»⁶⁴.

Следовательно, ниспровержение «древних узаконений» — феодализма, уничтожение рабства, провозглашение равенства граждан — таковы итоги революции. Уничтожение дворянства как сословия, конечно, не поощряется лектором (лицейский вольнодумец не выходит за границы своего классового самосознания), но благотворные результаты революции для крестьянства признаются: «Ужасы и кровопролития, произведенные во Франции революцией, были в некотором отношении полезны только для *крестьян* и вообще для низкого состояния людей». О революционных выступлениях крестьян говорится отрицательно: «Расторгнув узы феодального правления, крестьяне предались влечению пагубнейших страстей, особливо мщения противу дворян, грабили и опустошали земли и владения дворян, и самые законы оправдывали тогда неистовые поступки их». Что же получили крестьяне? «Наполеон, укротив ярость революции, определил законами состояние крестьян. Они объяв-

лены были во всей Франции свободными от всех прежних своих помещиков, и теперь находятся они в зависимости от своих помещиков только потому, если они живут на землях их» ⁶⁵.

Наполеон здесь же характеризуется как узурпатор народных прав, ликвидировавший демократические завоевания революции и лишь прикрывавшийся либеральной фразеологией. Он, «сделавшись повелителем французов, хотя и самовластно управлял ими, однако умел искусно скрыть свою неограниченную монархическую власть наружностями республики и названия *граждан* употреблял каждый его подданный. Но с того времени, как Наполеон торжественно провозгласил себя императором, сие название исчезло или по крайней мере не так часто и не все начали употреблять его. Наполеон, желая восстановить во Франции дворянство, ввел так называемое почетное дворянство (*légion d'honneur*), и к классу сих дворян причислялись все оказавшие какие-нибудь отличные заслуги отечеству... По разуму законов конституционного собрания, существовавшего во время революции, мещанство в правах своих равнялось дворянству, и каждый мещанин подобно дворянину назывался во Франции *гражданином* (*citoyen*). Со времени владычества Наполеона и особенно теперь дворянство несравненно важнее мещан» ⁶⁶.

О превращении Наполеоном республики в монархию в лекциях сказано в тонах откровенного негодования. Наполеон, «подобно хитрому Октавию, умел превратить Французскую республику в монархию и титул консула, коим французский народ почтил его, наконец, на всю жизнь его, переменял на титул императора (18 мая н. с. 1804 года). В сем случае усматривается великое сходство между Римскою республикою, превращенною в монархию, и Французскою республикою, покорившеюся власти одного человека, притом великое сходство усматривается в поступках Октавия и Бонапарте! Подобно Октавию, хитрый Бонапарте оставил во Франции наружные формы республики, но в качестве начальника сей республики присвоил себе неограниченную власть над войском и, следовательно, над всеми гражданами» ⁶⁷.

Эта характеристика Наполеона находит себе аналогию во всей прогрессивной русской журналистике и публицистике начала первых десятилетий XIX века.

Таковы основные идеи лицейских курсов нравственных и политических наук, подчиненных, как мы видим, общему плану идейно-политического воспитания лицеистов. Из нашего обзора следует, что даже такой общий теоретический курс, как естественное право, был теснейшим образом связан с злободневными вопросами русской действительности. Лекции, содержащие общие вопросы «нравственности», государственного устройства, политической жизни, подводили к изучению конкретной русской действительности, осмыслению прошлого России и перспектив ее развития (конечно, в рамках мировоззрения лицейских педагогов). Отсюда повторения одних и тех же общих идей в самых различных курсах, начиная от права естественного и кончая финансами.

Эти же принципы отражены в курсах риторики и эстетики — предметов, которые должны были особенно интересовать Пушкина как поэта.

Вопрос о содержании преподавания в Лицее литературы и эстетики является одним из наименее ясных вопросов биографии Пушкина лицейского периода. Отношения между Пушкиным и профессором российской и латинской словесности Лицея Н. Ф. Кошанским в пушкиноведении неоднократно освещались. Н. К. Пиксанов в статье «Н. Ф. Кошанский» в противовес другим исследователям восстановил действительное значение Кошанского как организатора литературной самостоятельности лицеистов. Факт этот несомненен (хотя эстетические вкусы этого педагога были старомодными). Что касается личных взаимоотношений Пушкина и Кошанского, то здесь расхождения были неизбежны. Попытки Кошанского, поклонника поэтики классицизма, педантически нивелировать вкусы своих учеников вызывали отрицательное отношение Пушкина к нему. В стихотворении «Моему Аристарху» (1815) Пушкин резко отвергает «уроки» Кошанского (то есть критику им пушкинской поэзии), называя его своим «гонителем», «скучным проповедником». Но, как отметил Д. П. Якубович, обычные представления о Кошанском «как только о «гонителе» и суровом «Аристархе»... касались больше всего стихотворной практики Пушкина и других лицейских поэтов». Нельзя забывать, что Кошанский вместе с тем внушал лицеистам и опре-

деленное понимание задач литературы, назначения поэта, связи литературы с политическим развитием. Эта сторона его педагогической деятельности имела немаловажное значение, а между тем о ней почти ничего обычно не говорится⁶⁸.

Материалов об общественно-политических взглядах Кошанского лицейского и долицейского периода очень мало. Можно считать твердо установленным, что Кошанский был членом петербургской масонской ложи «Избранного Михаила», находившейся под влиянием «Союза спасения», а затем «Союза благоденствия»*. По воспоминаниям современника, в ложе произносились «смелые речи». Кошанский числился оратором («витией») ложи. О взглядах Кошанского можно судить по его рукописи, посвященной характеристике первого директора Лицея В. Ф. Малиновского. В отличие от краткого политически нейтрального некролога, напечатанного в «Сыне отечества», здесь дается подробное и весьма положительное освещение деятельности Малиновского и, в частности, сочувственно отмечается его «политический радикализм»⁶⁹.

Преподавание литературы велось в Лицее, как это предписывалось уставом, путем «чтения избранных мест», которое «должно быть сопровождается разбором». Содержание этих разборов дало бы, конечно, интереснейший материал для определения идейной направленности уроков Кошанского, однако документальные данные не сохранились. Но общие установки Кошанского становятся ясными из его статей и книг, которыми пользовались лицеисты. В особенности интересна бывшая в ходу у лицеистов «Ручная книга древней классической словесности», изданная Кошанским в двух томах в 1816—1817 годах**. Эта книга, построенная на материале античности, пропагандирует республиканские и демократические идеи в прямой и непосредственной форме.

Расцвет искусства в античной древности объясняется в книге следующим образом: «В числе важнейших причин, содействовавших успехам (искусств в Греции. — Б. М.),

* В ней состояли председатель Коренной управы «Союза благоденствия» Ф. П. Толстой, Федор Глинка, впоследствии Н. Бестужев, Кюхельбекер.

** На титульном листе указано, что материал книги собран Эшенбургом, умножен Крамером и дополнен Кошанским.

должно полагать, во-первых, счастливые дарования сего народа; потом образ их правления, республиканский и вольный; важность обычаев и обрядов». Далее говорится, что с потерей свободы, этого главнейшего условия процветания народной культуры, упала и самая культура: «С утратою свободы греки лишились нравственной деятельности и всех побуждений к славе. Впоследствии редко являли они ту силу ума и то совершенство, которыми отличались прежде. Напоследок, томясь под чуждою властью, уничтожавшею политическое бытие их, сие блистательное величие греков, сия слава нечувствительно помрачилась — и угасла» ⁷⁰.

Еще решительнее мысль о прямой связи политической свободы с состоянием литературы проводится в характеристике римской словесности. В числе главнейших причин ее упадка отмечается утрата вольности и владычество деспотизма. Далее делается вывод более общий. Характеризуется упадок Рима после падения республики:

«Гибельная роскошь... сокрушила ту твердую опору, которая в цветущий век Рима поддерживала сей сильный дух народа, сие пылкое стремление к славе, не совместимое уже с упадком республики и с прежним возвышенным образом мыслей, чувств и деяний. С падением республики истинный вкус испорчен, чувство прекрасного исчезло: одни пустые прикрасы и мнимое, условное изящество имели цену» ⁷¹.

Имеется в книге прославление республиканского образа правления и республиканских идей и без прямого отношения к классической словесности. Достоинно изумления, что в годы, когда была издана эта книга, без всяких обвиняков предпочтение отдается не аристократической, а «плебейской», демократической республике. В книге так и написано: «Рим сделался республикою и сначала управляем был аристократическими патрициями, потом плебеями, коих власть, поддерживаемая трибунами, возрастала непрерывно. В сие время владычество римлян возвысилось, могущество утвердилось, законы соделались благоразумнее и точнее; и в продолжение многих лет дух римлян был велик и благороден. Они отличались простотою и непорочностью нравов, высокостию предприятий, строгим правосудием, редким великодушием и бескорыстием, а более всего пламенною любовью к отечеству». В прогрессивной русской литературе конца XVIII — на-

чала XIX века прославление римской вольности было очень распространено. И все же восхищение «плебеями» в столь отчетливой форме было явлением достаточно редкостным ⁷².

Прославление античного республиканского правления в Лицее служило назиданием для современников. Мысль о таком отношении истории к современности насаждал в умах лицеистов и Кайданов. В обращении к воспитанникам он говорил, что «история рода человеческого есть важнейший для нас предмет по ближайшему его к нам отношению» и предлагал пользоваться «наставлениями и помощью истории» «во всяком роде жизни». А по поводу древней истории он же писал: «История древних веков представляет нам достопамятные зрелища и подает обильную пищу к размышлению... Мы видим многих истинно великих людей и, удивляясь их деяниям, подвигам и добродетели, чувствуем в себе желание подражать им». Эти же мысли проводил и Кошанский. Так, в своей книге он прославлял легендарного спартанского законодателя Ликурга, при котором был учрежден сенат и «народ принимал также великое участие в правлении», наслаждаясь «тишиной и свободой». Кроме того, в «Ручной книге древней классической словесности» Кошанский позволял себе не только историко-литературные параллели; он переходит к прямым поучениям русского царя — Александра I, заявляя в духе либеральных чаяний 10-х годов: «...остается желать, когда наш Август... дарует мир вселенной и *золотой* век России». Надо заметить, что такие термины, как «золотой век», «общая слава отечества», «всеобщее благо», часто встречающиеся в лекциях Кошанского, а также прославление «законности» и народного представительства воспринималось лицеистами как прямое продолжение лекций Куницына ⁷³.

Помимо словесности, Кошанский должен был читать курс по теории красноречия и эстетики.

В мае 1814 года Кошанский заболел, и занятия вместо него до июня 1815 года вел адъюнкт Педагогического института Галич, а затем с 1815 года Кошанского замещал П. Е. Георгиевский. Записанные в лицейских тетрадах Горчакова курсы «ораторской изящной прозы или красноречия» и «введения в эстетику» читались Георгиевским. В качестве адъюнкта «при профессоре» Георгиевский должен был согласовывать содержание

своих лекций с Кошанским. Несомненно также, что в записях Георгиевского ряд положений и отдельные места принадлежат непосредственно Кошанскому.

О лекциях Георгиевского, до того как нашлись лицейские тетради, можно было судить только на основании куплетов, сочиненных лицеистами и записанных Пушкиным в лицейском дневнике:

Предположив — и дальше
На грацию намек,
Ну-с — Августин богослов —
Профессор Бутервек

Потом Ниобы группа —
Кореджиев тьмо-свет,
Прелестна Грациозность
И счастлив он поэт

Лицеисты, подшучивавшие в своих «песнях» над недостатками преподавателей, вероятно желали отметить здесь невразумительность некоторых формулировок и положений Георгиевского. Однако записи лекций свидетельствуют, что мнение о «высокопарности» стиля Георгиевского явно преувеличено. Что касается уровня лекций, то даже такой мрачный скептик, отрицательно оценивавший все лицейское, как М. А. Корф, признал в своих воспоминаниях «основательные познания» Георгиевского⁷⁴.

«Теория красноречия», которая читалась лицеистам, не была попросту разделом риторики, не имеющим особо практического значения. Эти лекции были рассчитаны на будущих политических ораторов. Они строились в надежде на то, что лицеисты, «предназначенные для важнейших частей службы государственной», будут отстаивать в своих речах те «права человека и гражданина», о которых столько говорилось им в этом учебном заведении.

Значение этих лицейских лекций становится в полной мере ясным, если учесть, что освещенные в них вопросы «ораторства», истории витийства глубоко интересовали деятелей освободительного движения, а само «витийство» считалось неотъемлемым качеством всякого истинного «друга свободы и просвещения». Статьи на эти темы печатались в журналах 20-х годов, находившихся под влиянием деятелей тайных обществ, — в «Сыне отечества» и «Соревнователе просвещения и благотворения».

Прямые аналогии между ролью народных трибунов древнего мира и современными агитаторами за свободу

встречаются в документах декабристов. Так, например, В. Ф. Раевский, заточенный в крепость за политическое просвещение солдат, писал в 1821 году своему сообщнику Охотникову: «Взошел на кафедру перед 9-ю егерскою ротою и во имя Демосфена, Цицерона... загремел о подвигах предков наших, о наших собственных подвигах, о будущих наших подвигах» ⁷⁵.

Характеристика декабристов в десятой главе «Евгения Онегина» содержит любопытное указание: «*витийством* резким знамениты». В стихотворении «Деревня» Пушкин, говоря об «измученных рабах», восклицает:

О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой *витийства* грозный дар? *

Далее раскрывается цель витийства: способствовать падению рабства и воцарению «свободы просвещенной».

В лекциях по красноречию расшифровывается цель «искусства красноречия», этой «самой драгоценной способности человека»: «Сею-то руководясь способностью... защитник невинности возвышает в судилищах глас свой; человек государственный рассуждает в советах о участи народов; гражданин защищает пред лицом законов вольность и свободу; достойный вития, прославляющий дарование и добродетель, приписует им похвалы, служащие для одних ободрением, для других укоризною, а для всех поучением, наконец любомудствующий словесник prepares в безмолвном убежище те мужественные опровержения, которыми на суд всеобщего мнения предаются злоупотребления, заблуждения и преступления. Такова важность и плоды истинного красноречия» ⁷⁶.

В лицейских лекциях предметы (то есть темы) ораторства разделяются на похвальные, советодательные и судебные. Цель похвального красноречия, как указывается, «хвалить или хулить» и в качестве «хулительных» образцов приводится, в частности, речь Цицерона против Марка Антония, дающая картину «всех мерзостей, всех злодеяний Марка Антония».

Советодательное красноречие — это ораторский род, употреблявшийся «вдревле в делах государственных

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

пред народом или в сенате», где «было рассуждаемо о делах общественных, о войне, о мире, о переговорах, о пользах государства и о всяких предметах, до законодательства относящихся». Известно, что о возможности такого рода публичных, парламентских «рассуждений» и мечтали основатели Лицея. Но «разность нравов и правлений не позволяет в новейшие времена пользоваться сим родом красноречия», элегически замечает лектор. Это различие хорошо вскрыто в характеристике судебного красноречия, где прямо говорится о противоположности полигических нравов в древних республиках Греции и Рима, с одной стороны, и в александровской России — с другой. «Наши суды, — читаем мы в записях Горчакова, — не походят на суды древних греков и римлян: у нас частные люди не бывают обвинителями; нет таких спорных дел, которые вносились бы на решение народа. К сущности судебного красноречия вдревле относилось: в чем состоит какое-либо разбираемое дело? Основательно ли оно? Преступление ли оно, или нет? Под какой подходит закон? Лета, звание, нравы, свойство, выгоды, состояние обвиняемого доказывают ли вероятность, или невероятность приписуемой ему вины?» ⁷⁷

Сравнивая принципы публичности, обстоятельности, «беспристрастности» суда в древних республиках с порядками современного суда, лектор рисует такую картину: «Вы являетесь пред судей, коих не столь легко можно преклонить одним красноречием. Вы знаете, с какими силами выходит ваш соперник. Подобно двум борцам, каждый из вас должен быть готов на все уловки противника, каждый из вас является с доводами более или менее убедительными. Но какая разница между ними и вами! Посреди их лежит венок дубовый, который тому или другому достанется. Посреди вас стоит подобный вам человек, и горе вам, если невинность повлечут в темницу! Кровь на вас и на сынах ваших!» ⁷⁸

Причины успехов древнего красноречия освещаются в лицейских лекциях в таком же духе, как и в упомянутой выше «Ручной книге древней классической словесности». Деспотизм и красноречие, по словам лектора, взаимно исключают одно другое: «Первые возникнувшие государства — ассирийское и египетское — были деспотические; единая или несколько особ управляли государством, а прочие были послушные рабы и слепо повино-

вались; они были принуждаемы, а не уверяемы, и, следовательно, красноречие и убеждение здесь не могли иметь места». Иное дело при образах правления республиканских: «В истории ума человеческого достойно примечания то, что две возникнувшие республики оставили всему свету редкие образцы поэзии и красноречия. Из недр вольности двукратно распространялся по лицу земному свет изящного вкуса, еще и поныне озаряющий благоустроенные народы». Витийство образовалось в собраниях народных. Очень высоко оценивается в лекциях Перикл, этот страстный приверженец демократии, разогнавший аристократический ареопаг и передавший власть народному собранию. «Он был более нежели оратор», — замечено в лекциях; «он был министр и полководец... По уверению многих, он первый написал речь для народного собрания»⁷⁹. Образ Перикла («Периклеса») был окружен ореолом и в сознании Пушкина; достаточно напомнить его надпись «К портрету Чаадаева»:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.

Надпись была сочинена Пушкиным в Лицее, и восторженная характеристика Перикла в лицейских лекциях полнее раскрывает внутренний смысл этой надписи.

Но самая высокая оценка дана в лекциях по теории ораторской прозы другому афинскому оратору и борцу с аристократами — Демосфену, знаменитому своими обличительными речами против македонского монарха. «Первый оратор» — так именуется он здесь, причем достоинствами его признаются не «украшение и блеск», а «отважные мысли», ибо «мы забываем об ораторе и помышляем о предмете». В конце раздела о древнегреческом красноречии имеется краткое, но энергичное утверждение: «По смерти Демосфена Греция потеряла свою свободу, а вместе и красноречие». В следующей части лекций — «успехи римского красноречия», соответственно утверждается: «Владычество красноречия римского погибло вместе с... республикою... Провидение послало на римлян, может быть в отмщение за человечество, дотоле им попираемое, тиранов и бичей в помазанниках. Могло ли красноречие, любимое дитя свободы, процветать при таком положении государства?»⁸⁰

В краткой характеристике ораторского искусства «новейших времен» лектор не находит «соребнователей Демосфену и Цицерону». Отмечается, что в английском парламенте красноречие было «всегда слабейшее оружие, нежели в греческих и римских народных собраниях». Об ораторах французской революции сказано глухо, но сочувственно: «Некоторые из революционистов довольно отличились на сем поприще». А в самом конце курса красноречия сделано примечание, которое должно было, говоря словами лицейского устава, «возбуждать действие ума»: «Здесь у места будет показать причины, почему новейшие не достигли и не делали таких успехов в красноречии, какие сделаны греками и римлянами». Эти причины здесь не указаны, но ответ на вопрос дан содержанием всей лекции, из которой следует вывод: деспотизм и красноречие несовместимы⁸¹.

Таково общее идейно-политическое и воспитательное значение занятий, которые вели Кошанский и Георгиевский. Но в этих занятиях содержалось нечто особенно важное для Пушкина как поэта.

Одним из ценнейших достоинств курсов Кошанского и Георгиевского является трактовка античности в том духе, который был присущ передовой русской общественной мысли конца XVIII — начала XIX века. Прославление гражданских доблестей республиканских героев античной древности было свойственно еще Радищеву и наиболее ярко выражено в творчестве Пушкина и поэтов-декабристов. Материалы лицейских лекций дают полное основание утверждать, что осмысление античной культуры в ее республиканских освободительных традициях связано в творчестве Пушкина с традициями Радищева, русского просветительства и преподавателей Царско-сельского лицея. Античные образы, которые занимают столь обширное место в лирике Пушкина лицейского периода (да и в позднейшей), — это не внешнее обращение к древности светского юноши, который всего лишь

...знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить *vale*,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.

«Евгений Онегин», ел. I

Пушкин, как и другие передовые люди начала XIX века, наследие античной древности использовал в борьбе за свободу. В героях античной демократии они видели примеры, на которых могло воспитываться молодое поколение. Декабрист Каховский показал на следствии, что он был «воспламенен героями древности». Еще яснее упомянул об этом же Пестель, говоря об истоках своего мировоззрения: «Я сравнивал величественную славу Рима во дни республики с плачевным ее уделом под правлением императоров». По воспоминаниям Якушкина, при вовлечении полковника Граббе в тайное общество ему давали читать письма Брута к Цицерону. Образы героев древности использовались в александровской России также для политических иносказаний, имена их служили как бы условными «сигналами»*, пробуждавшими в сознании читателя вольнолюбивые идеи⁸².

Только вследствие такого восприятия античности вся передовая Россия сразу увидела в сатире Рылеева не «подлого» римского временщика, а образ Аракчеева («К временщику»). Прославляя «врага царей» Катона, Рылеев призывал к борьбе за свободу. В силу этого же Пушкин в стихах именовал себя Катонем, писал о Чаадаеве как о потенциальном Перикле, называл Федора Глинку Аристидом, а себя Овидием, будучи уверенным, что читатель отождествит гонителя Овидия, императора Августа, с Александром I. Такую систему осмысления и использования образов античности Пушкин усвоил, как мы видели, еще в Лицее, применив ее уже в своем первом произведении на политическую тему — в стихотворении «Лицинию» (1815). Это стихотворение обычно возводилось только к книжным источникам. После тщетных попыток найти его прямой источник в какой-либо сатире Ювенала, было указано, что Пушкин перелагал здесь идеи Монтескье. Между тем теперь можно не в форме догадок, а с полной определенностью сказать, что стихотворение «Лицинию» написано под прямым влиянием лицейских лекций (ср., например, конец стихотворения — «Свободой Рим возрос, а рабством погублен» с

* Термин, введенный В. Гофманом в его статье «Литературное дело Рылеева» (Рылеев, Стихотворения, «Библиотека поэта», 1934, стр. 41).

приведенными выше словами Кошанского и Георгиевского о расцвете культуры в Римской республике и ее упадке вместе с падением республики). Обращаясь в своем стихотворении к далеким временам Римской империи, Пушкин проводит явную аналогию с современной ему александровской Россией, где ликторы «народ несчастный гонят», где царят продажность, преклонение перед властью деспота, рабство, злодеянья, где «все на откупе: законы, правота». В пушкинских стихах:

Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
Во мне не дремлет дух великого народа.

ощущается та же аналогия между героическими образами прошлого и современностью, которая так часто проводилась в лицейских лекциях.

Немало интересного для Пушкина как для поэта содержали (наряду с устаревшими, догматическими понятиями) курсы теории поэзии и введения в эстетику, читанные в Лицее.

В первом из этих курсов лицеистам внушалось, что поэзия должна служить «к полезному в нашей жизни употреблению», а не быть «одним токмо мечтательным занятием нашего воображения или сердца». Главная цель поэзии — возбуждать страсти; «... патриотизм, торжество добродетели — вот страсти, долженствующие быть предметом поэзии»⁸³.

Главное качество поэта «состоит в обилии высоких идей», в умении соединить «прекрасное, важное и великое», возжигать в сердцах людей «честные и похвальные побуждения». В числе поэтов, оправдавших свое великое назначение, называется поэт Тиртей, который «своих соотечественников водил на сражение и песнями своими вдыхал в них (спартанцев. — Б. М.) непреодолимое мужество», и Гомер — учитель «политиков, героев и каждого человека». На первое место выдвинута в лекциях поэзия высоких мыслей и чувств, заключающих в себе «философию жизни». Но большая часть лекций по теории поэзии посвящена оде; эта часть представляет собою восхваление оды, и особенно оды героической, предмет которой — «отличные деяния великих мужей» или «важнейшие общественные происшествия». Вряд ли это вызывало сочувствие Пушкина, который уже в то время шире смотрел на проблему жанров⁸⁴.

Впечатления от лицейских лекций должны были сыграть некоторую роль и в очень рано сложившемся у Пушкина (а также у Кюхельбекера) убеждении в героическом, высоком призвании поэта. Это была любимая тема Кошанского и Георгиевского, развитием которой они продолжали традицию передовой русской литературы в оценке роли писателя. О высоком предназначении поэта писал Кошанский в статье «Каков должен быть истинный художник», дважды напечатанной в русских журналах (в 1807 и 1818 годах). Тема поэта-пророка, учителя народа, взор которого видит дальше современников, отчетливо звучит в лекциях и по теории поэзии и по эстетике. На этих лекциях Пушкину говорили, что «высокое воображение возносит поэта выше понятия обыкновенных людей и заставляет их сильными выражениями своими то живо чувствовать, чего они не знали и что им прежде на мысль не приходило». Но, как следует из лекций по эстетике, эта трактовка роли поэта как «земного пророка» была свободна от всякого религиозно-мистического привкуса: поэт зависит от времени и черпает в нем свою силу. «Время, в которое живет он, предметы, которыми он занимается, народный характер его современников и другие случайные, но действующие на ум его обстоятельства должны быть подпорою природной его способности», — говорилось в лекциях. И дальше эта мысль конкретизируется: «Вития с умом и духом Демосфена или Цицерона в отечестве сибаритов пленял бы слушателей не иным чем, как токмо остроумными безделками, отнюдь не высокими мыслями». Таким образом, взгляд на поэта как на «земного пророка» не был религиозно-мистическим, а просветительским, близким к трактовке этой темы у Кюхельбекера и Пушкина⁸⁵.

Как просветительский следует характеризовать лицейский курс эстетики в целом. Этот курс представляет собою интересное явление в истории русской эстетической мысли начала XIX века.

Главнейшие положения курса эстетики могут быть сведены к следующему.

Источник красоты — природа. «Изящное искусство... так относится к природе, как копия к образцу». «...красота находится в природе, в искусствах, но, собственно говоря, природа есть единственный ее источник; что же

касается до искусств, то они собственной красоты не имеют, а что в них есть прекрасного, то они переняли у природы»⁸⁶. По старинке поэзия определяется как подражание изящной природе, но подчеркивается, что критерий оценки прекрасного — верность природе, сравнение «оригинала со списком». Георгиевский опровергает мнения «школьных метафизиков», «кои идеал почитают только принадлежащим к искусству и совершенно отказывают природе в идеале». «Посмотрите, — продолжал он, — на прекрасное человеческое лицо, коего каждая одушевленная черта, каждый взгляд выражает чувство и мысль. Разве это не идеал?» На этом основании Георгиевский называет идеал французского классицизма «искусственным и потому ложным»: «природный тон, мода суть у них законы, заменяющие законы природы». Определяется же истинность красоты «всеобщим мнением просвещенных людей»⁸⁷.

Искусство не терпит ни формализма, ни стеснения догматическими правилами. «...С одним формальным понятием об изящном истинная эстетика не делает больших успехов». Художник должен творить в силу естественных законов природы, ибо «свободное эстетическое чувство не следует никакой системе». Да и «что есть эстетическое выражение?» — спрашивает Георгиевский и отвечает: «Свободный отпечаток мысли и чувствования»⁸⁸.

Критерий прекрасного Георгиевский формулирует на основе рационалистических умозаключений: «Мы изящным называем все то, что удовлетворяет эстетической потребности по всеобщим законам естественного и согласно с разумом». Поэтому безобразное, противоречащее «благородному образу мыслей» и высокой нравственности, исключается из области прекрасного: «Оскорбление нравственного чувства... изгоняет из встревоженного сердца эстетическое удовольствие». Большое место в эстетике занимают вопросы этики и морали⁸⁹.

Свое понятие нравственности Георгиевский подробно разворачивает в этом же курсе эстетики, в разделе «О великих характерах». Появление «великих характеров» лектор связывает с эпохами, «ознаменовавшими себя общественной образованностью». Такой эпохой он считает «те минуты свободы и поэзии, когда... Спарта и Афины сражались за свободу... когда римляне сражались за империю как за единственную споручницу своей воль-

ности... Тогда-то появилось множество великих характеров, коих высота приводит нас в изумление и заставляет стыдиться нашей слабости»*. Проникновенные страницы посвящены в лекциях Георгиевского твердости духа, никакими противностями не колеблемого», отважности, мужества, не удерживаемого никакими препятствиями, характеру, «пребывающему спокойным при всех опасностях», «спокойному величию души, твердой и непоколебимой», «сопротивляющейся жестоким ударам». В качестве примеров приводятся «непреклонный дух» Катона-младшего, который лишил себя жизни, не желая пережить падения республики. В лекциях восхваляются «граждане совершенные, благородные, мужественные, которые рождались, жили и умирали под чистым владычеством понятий, дышали единственно для свободы и отечества...»⁹⁰

В определении качеств истинного героя мы встречаем ту же терминологию, которой были наполнены лекции Куницына: «благо общее» и «отечество». Здесь дан облик героического характера, который мы знаем также из поэзии Пушкина, Кюхельбекера и других поэтов (уже нелицейского круга), прославлявших гражданскую доблесть, общее благо, отечество, самоотверженность великих характеров. Идеал великого характера заключается, по Георгиевскому, в том, чтобы «совершенно обнять одно из сих великих понятий, обнять не только всею силою, но и со всем жаром чувствования, превратить оное в идею, господствующую над целой жизнью, сделать оное душою души своей». Забывая о самом предмете эстетики, Георгиевский заканчивает свое рассуждение напоминанием о людях, решившихся на «отважные предприятия», «продолжительные и многотрудные упражнения, коих плодами предоставлено пользоваться потомству», о людях, отличавшихся «твердым намерением увековечить имя свое в потомстве», прямодушием, свободой, благородной простотой нравов⁹¹.

Так соединялись в сознании лицеистов история и современность, политика и литература, наука и обществен-

* Переходя к примерам «великих характеров», Георгиевский из русских указывает лишь на Петра, «творца России», который был увлечен стремлением обезопасить гражданскую независимость своего отечества и гнушался «всеобщим порабощением».

ная жизнь, этика и эстетика. Каковы бы ни были различия во взглядах Куницына и Кайданова, Кошанского и Георгиевского, их лекции, читанные в Лицее Пушкину и его сверстникам, отражали многие существенные стороны русского просветительства и передовой русской общественной мысли той поры.

Из лицейских преподавателей заслуживает упоминания яркая и своеобразная фигура француза Будри, родного брата Марата. Будри читал французскую риторику. В архиве Горчакова сохранились лишь записи отрывков из произведений французских писателей, которые разбирались на лекциях. Среди отрывков преобладают произведения с гражданской, политической направленностью (из Вольтера, Расина и др.). Позже, в 30-е годы, Пушкин вспоминал о Будри: «Он очень уважал память своего брата (то есть Марата. — Б. М.) и однажды в классе, говоря о Робеспьере, сказал нам, как ни в чем не бывало: *«C'est lui qui sous main travailla l'esprit de Charlotte Corday et fit de cette fille un second Ravallac»* *. Пушкин отмечает также «демократические мысли» Будри, внешность, напоминающую якобинца, хотя он и был «очень ловкий придворный». («Table-talk»). Прав Л. П. Гроссман, утверждая, что в Лицее этот профессор знакомил слушателей с атмосферой героической эпохи Франции и ее выдающимися деятелями ⁹².

Из нашего анализа лицейских лекций мы можем заключить, что в лицейской педагогике по-своему отразились те глубокие процессы общественного движения, которые представляли собою идеологическую подготовку декабризма. Вот почему в ответах декабристов на вопросы следственного комитета об источниках их вольномыслия мы встречаем ссылки на усвоение тех же теорий, которые пропагандировались в лекциях лицейских профессоров (хотя эти профессора вовсе не были революционерами). Вот почему Пестель, Муравьев, Федор Глинка, Оболенский, Бурцов, П. Колошин и другие декабристы собирались тесным кружком для слушания лекций Куницына, которые затем повторяли по его же тетрадам. Вот почему такие книги, как «Опыт теории налогов» Н. Тургенева (по своей программе не более радикальный,

* Это он тайком обработал ум Шарлотты Кордэ и сделал из этой девушки второго Равальяка (франц.).

чем лекции Куницына), после восстания декабристов изымались и уничтожались, а «Право естественное» Куницына еще до декабрьской катастрофы постигла такая же участь.

Совокупность идей, пропагандировавшихся в Лицее, — это не результат только личной мысли преподавателей: они выражали определенную традицию прогрессивной русской культуры начала века, традицию, умноженную всенародным подъемом великого национального освободительного движения в эпоху войны с Наполеоном и в преддверии декабризма. На их взгляды влияло разложение крепостнического уклада и проникновение новых, враждебных феодализму, капиталистических тенденций в экономику России, чисто дворянская боязнь крестьянских революций и сочувствие угнетенному народу, ненависть к деспотизму и либеральные иллюзии — все те сложные условия русской жизни, которые в той или иной степени определяли мировоззрение людей пушкинской эпохи.

Декабрист Штейнгель писал о лицеистах: «Свободомыслие, внушенное в высочайшей степени, поставило их в совершенную противоположность со всем тем, что они должны были встретить в отечестве своем при вступлении в свет». В этих словах и правда и преувеличение. Свободомыслие лицейских профессоров было важным фактором в формировании мировоззрения лицеистов, но одного этого фактора было недостаточно. Политические убеждения складывались в результате многих факторов, среди которых впечатления самой жизни и их переработка, классовые традиции, общественное окружение играли огромную роль. Далеко не на всех воспитанниках отразилась система лицейского воспитания: многие из них очень рано обнаружили стремление к совершенно противоположным жизненным идеалам. В Лицее шла *борьба*, борьба убеждений, взглядов, характеров, борьба и в среде преподавателей и в среде воспитанников. Эта борьба выходила за пределы Лицея⁹³.



Глава третья

РАЗНЫЕ ПУТИ

...удел назначен нам не равный,
И розно наш оставим в жизни след...
Пушкин (1817).

1

Стихотворение Пушкина «Товарищам», написанное перед выпуском из Лицея, говорит о разных жизненных стремлениях воспитанников. Одни из них мечтали о военной карьере:

Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул...

Иные готовились к чиновничьей, служебной карьере, не гнушаясь связанными с ней низкопоклонством, лестью и покорностью «вышестоящему начальству». Пушкин с иронией и презрением говорил о таких своих сверстниках:

Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя...

Сквозь непреодоленные еще в его раннем творчестве карамзинистские мотивы беспечности, «счастливой лени» вырисовывается позиция сторонника свободы и независимости:

Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны,
И не ползу в асессора;
Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак,
Пока его за прегрешенья,
Не променял я на шишак...

В автографе этого стихотворения вместо «Равны законы, кивера» читаем: «Равны *Наказ* и кивера», то есть «Наказ» Екатерины (пресловутый «Наказ» Екатерины, написанный императрицей для комиссии по составлению нового уложения). Пушкин при окончании Лицея отвергал, следовательно, и чиновничью деятельность по «улучшению законов», пределом которой для либералов-постепеновцев были тогда мечты о претворении в жизнь «Наказа» Екатерины. «Красный колпак», при котором хотел остаться Пушкин, — фригийская шапочка французских революционеров — поэтический символ свободолюбия.

Система лицейского воспитания, впечатления окружающей жизни, героика двенадцатого года — все это настойчиво выдвигало перед каждым из воспитанников проблему жизненного пути, вопрос о своем месте в александровской России.

В начале XIX века размежевание, расслоение сторонников старого и нового, сил прогресса и реакции, сторонников старой и новой культуры шло по всем линиям общественной жизни, оно вторгалось в литературные кружки и салоны, разрывало, казалось, уже налаженные дружеские связи и всюду способствовало прояснению реальных, практических целей борющихся политических направлений и социальных групп. Это противопоставление старого и нового отражалось и в литературных дискуссиях (показательно само название длительной полемики о «старом и новом слоге») и в прямых политических декларациях (такова и знаменитая записка Карамзина «О древней и новой России»). В политическом обиходе получили полное признание разговоры о «борьбе партий»,

В Лицее, как в зеркале, отражались типические противоречия времени.

Надзиратель Лицея Пилецкий-Урбанович еще в 1812 году с возмущением писал о внутрилицейской жизни: «Где нет... единообразия в правилах, там образуются партии, между собою несогласные». Далее мы увидим, как многозначительны были мимоходом сказанные И. И. Пушным слова о том, что в лицейской «товарищеской семье» образовались «свои кружки» и «в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого»¹.

Вопрос об идейном и политическом расслоении среди лицеистов пушкинского выпуска выходит за пределы не только истории Лицея, но и биографии Пушкина. В этом расслоении отразилось различие интересов, идейная борьба среди молодого поколения эпохи, разность стремлений.

Политические условия александровской России наложили определенную двойственность на весь уклад царского Лицея. Это проявилось во всем, начиная от всякого рода внешних форм и кончая воспитанием и преподаванием. Жизнь Лицея официальной стороной была обращена к своему основателю — Александру I и официозной дворянской общественности. С этой стороной были связаны выпренные речи наставников на торжественных собраниях, парадные синие мундиры лицеистов и высокопарные благодарения монарху, инсценированные публичные экзамены и заказные стихи (вроде стихотворения «Безверие», которое шестнадцатилетний Пушкин был вынужден написать по приказанию начальства). Но за этим таилась другая жизнь: лекции Куницына, беседы Малиновского, политические споры, чтение и сочинение воспитанниками «вольных» произведений, борьба с теми людьми, которые представляли враждебную силу внутри Лицея и вне его.

С одной стороны — подчиненность Лицея самому царю, с другой — введение таких методов воспитания и обучения, которые в корне противоположны всей системе образования в феодально-крепостнической России. С одной стороны — точная регламентация задач заведения для воспитания «лиц, особо предназначенных для службы государственной», с другой — такой порядок внутрилицейской жизни, который скорее способствовал презрению ко

всему, что являлось в то время основами «службы государственной».

В центре идейного расслоения лицеистов был Пушкин. Он ярче всего олицетворял в это время политические настроения передовой группы воспитанников. Еще в Лицее самый облик юного Пушкина вырисовывался как облик человека нового поколения, выступавшего противником феодально-крепостнических порядков в жизни и в политике, в быту и в литературе.

Для того чтобы полнее охарактеризовать и роль Пушкина в Лицее, и расслоение, происходившее в стенах этого учебного заведения, нужно представить лицейское окружение Пушкина в его истинном виде.

Задача эта нелегка: безвозвратно погибли ценнейшие материалы, которые помогли бы с исчерпывающей полнотой раскрыть борьбу идейных направлений внутри Лицея, роль Пушкина в этой борьбе. Пушкин сжег свои лицейские записки в 1825 году, опасаясь обыска. Эта же участь постигла, вероятно, ранний дневник Кюхельбекера. Пущин уничтожил свой дневник и материалы потайного лицейского архива перед арестом. Воссоздать черты «лицейского союза» можно лишь из случайно уцелевших документов, немногих писем, обрывков поздних воспоминаний. И все же, несмотря на ограниченный материал, общую картину можно восстановить.

Как мы уже выяснили в первой главе, буржуазное литературоведение намеренно затушевывало идейное расслоение внутри Лицея и рисовало «лицейский союз» как монолитный коллектив всех воспитанников. Но эта легенда рассыпается при первом же соприкосновении с фактами.

Безнадежна была бы попытка судить об облике сверстников Пушкина на основании таких документов, как, например, официальные лицейские отзывы. Почти все они намеренно сглаженные и однотипные. Что могут дать, например, такие аттестации: «Тырков (Александр)... Чувствуя слабые свои дарования, он сделался весьма старательным и прилежным, хотя при всем том успехи медленны. Довольно благонравен, кроток, усерден, опрятен. Случающиеся угрюмость, упрямство, гнев и самая даже молчаливость с застенчивостью, неловкость его и нерасторопность происходят более от недостатка в воспитании и образовании; оттого и выражается он несвяз-

но, сбивчиво и более механически, нежели по размышлению. Впрочем, он указывает искреннее желание образоваться, и постоянное, неослабное прилежание подает надежду, что из него выйдет со временем по крайней мере полезный и добрый человек». Эта характеристика типична: регулярно посылавшиеся в министерство «отчеты о поведении и свойствах господ воспитанников» должны были создать у высшего начальства впечатление общего благополучия, и словечко «впрочем» извиняло любые «проступки» и поведение, совсем не «отменное». Поэтому официальные отзывы лицейской администрации мало пригодны для исследователя².

Восстановлению картины так называемой «лицейской семьи» может помочь замечательный документ — характеристики лицеистов пушкинского выпуска, которые составил лично для себя Энгельгардт. До сих пор из двадцати девяти его характеристик были опубликованы только три — Пушкина, Кюхельбекера и Дельвига (при том все три с пропусками и в перевранном переводе). За исключением нескольких поверхностных или ошибочных суждений эти характеристики отличаются проникновенностью, отмечены мастерством незаурядного педагога. Некоторые из энгельгардтовских характеристик являются миниатюрными художественно законченными портретами.

Общий критерий, на котором они основаны, — это степень одаренности, морального уровня, интеллектуального развития воспитанников. С презрением обрисованы здесь обывательски настроенные лицеисты, живущие без всяких увлечений, чуждые высоким стремлениям, равнодушные к идейным интересам. Нами уже отмечалось, что по сравнению с Малиновским или Куницыным прогрессивность Энгельгардта была весьма умеренной. Но и он, будучи захвачен «духом времени», старался поддерживать лучшие традиции Лицея. В одном из писем Кюхельбекеру он, например, писал: «...доколе человек не умер, он должен иметь беспрестанно в виду великую цель: споспешествовать к общему благу». Это расплывчатая терминология, однако она, подобно камертону, настраивала собеседника на привычный лад лицейских рассуждений об «общем благе»³.

Среди товарищей Пушкина по Лицею были такие, самый облик которых полностью противоречил идейным и нравственным нормам лучших лицеистов. Таков,

например, Костенский, который стал впоследствии заурядным чиновником. Его Энгельгардт характеризует следующим образом:

«Старый миф, который заставляет Прометея орошать слезами глину, превращая ее в людей, воплощен в нем наиболее материально; тяжелая и сырая глина, и ничего более, и ему не приходится бранить Прометея за воровство, так как для него Прометей не украл ни малейшей искорки небесного огня... * В своей внешности он проявляет много тщеславия, редко показывается иначе, чем упершись в бока руками. Так как он одарен от природы очень скудно, то его прилежание почти ни к чему не приводит»⁴.

Характеристики бесцветных воспитанников, данные Энгельгардтом, совпадают с той оценкой, которую давали им лучшие лицеисты. Например, Мясоедов (изображенный лицейским карикатуристом с ослиной головой на человеческом туловище и прозванный в «Национальных лицейских песнях» «Мясожоровым») получил в записях Энгельгардта такую характеристику: «Никто так хорошо и элегантно не одевается, никто так изящно не разглаживает своей челки, никто не умеет так изящно пользоваться своим лорнетом, никто не хотел бы так, как он, уже сейчас стать гусаром, но никто меньше его не пригоден и не имеет охоты к серьезным занятиям. Так как он все же исключительно высокого мнения о себе и о своих познаниях, то при выговорах он, где только смеет, бывает груб, и у гувернера и инструктора происходят с ним иногда сцены»⁵.

Не менее убийственно обрисован Энгельгардтом Тыров (лицейская кличка «Кирпичный брус»): «Его прежним воспитанием, должно быть, очень пренебрегали, так как на нем лежит печать пошлости. Велика его беспомощность, велико его невежество во всем. Но в нем нет совершенно ничего плохого, и, я думаю, он бы охотно что-нибудь совершил, если бы ему в этом постоянно не препятствовала его убого одаренная натура»⁶.

* В характеристиках, написанных Энгельгардтом, в качестве психологического фона не раз упоминается героический образ Прометея. Прометей был любимым образом лицейских поэтов, о нем говорилось немало в лекциях по словесности, эстетике, изящным искусствам. Миф о Прометее служил воспитанию героического характера, воодушевленного «высокой целью».

Рядом с такого рода совершенно бездарными и тупыми людьми в Лицее была прослойка воспитанников, хотя и находившихся на неплохом счету, но из-за своей бесцветности получивших прозвище «ни рыба ни мясо». Их успехи и поведение с точки зрения официальных педагогических требований были безупречными, и Энгельгардт, это отмечая, вместе с тем подчеркивает их ограниченность.

Вот Стевен, вечный молчальник, впоследствии Выборгский губернатор: «Очень добродушный и притом деятельный ученик. Не имея выдающихся способностей, он благодаря своему прилежанию принадлежит к лучшим ученикам. Осторожный и скромный в поведении, он редко подвергается наказаниям. Впрочем, в его физическом облике есть что-то беспомощное и тяжеловесное, что, по видимому, мешает и каждому его духовному порыву»⁷.

В этом же духе характеризуется и Бакунин. «Не имея больших талантов, — пишет Энгельгардт, — он сделал во многих предметах значительные успехи», но «его отпугивает всякое значительное затруднение», и он «изрядно надменен»⁸.

Совсем иной была другая группа лицеевцев, для которых жизнь получала смысл только в какой-либо «высокой цели», в политике, творчестве, широких замыслах. При всем первоначальном раздражении Энгельгардта против Пушкина (об их отношениях мы говорили в первой главе этой книги) он отмечает, что юный поэт на *творчестве* «основывает все и с любовью занимается всем, что с этим связано».

Горячее увлечение какой-либо идеей или делом сочувственно отмечено Энгельгардтом и у других лицеевцев. О Вольховском, этой, по словам Пушкина, «спартанской душе», Энгельгардт писал: «Из всех учеников этого надо оберегать меньше всего, так как перед его душой стоит прекрасный идеал (правда, еще в неясных очертаниях), к достижению которого он стремится твердо и настойчиво». Дальше он еще раз говорит о «твердом решении» Вольховского «подготовиться к серьезным жизненным делам», хотя и не раскрывает, какие это дела. Вероятно, Энгельгардт и не знал о политическом умонастроении этого воспитанника и тем более о его связях уже в то время с будущими декабристами, но все же эта характеристика симптоматична. Общественно-политические ин-

тересы лицеистов отмечаются в записях директора с явным одобрением. Эти интересы подчеркиваются как самое положительное и в характеристике Ломоносова. Энгельгардт признает поверхностность его суждений, объясняя это отчасти «юношеским легкомыслием» и тем, что «он раньше воспитывался французами». Но ценными он считает у Ломоносова следующие качества: «Политикой он интересуется очень живо... умеет направить разговор на наиболее высокие интересы человечества... часто думает о том, как он может быть им (людям. — Б. М.) наиболее полезен. От этого он тоже всегда был полон проектов и предположений, направленных обычно на преобразование армий, на установление новых порядков в министерстве, управление финансами и т. п.». Правда, «поверхностность» Ломоносова привела к тому, что этот воспитанник, прозванный за пронырливость «Кротом», быстро остыл к такого рода «проектам» и уже в 1820 году писал в одном из писем: «Представительный образ правления имеет более неудобностей, нежели полагают сочинители конституций, которые вошли в такую моду в Европе»⁹.

Любопытны характеристики ближайших товарищей Пушкина, данные Энгельгардтом в тех же записях. Весьма примечательна характеристика Кюхельбекера: «Читал все на свете книги обо всех на свете вещах; имеет много таланта, много прилежания, много доброй воли, много сердца и много чувства, но, к сожалению, во всем этом не хватает вкуса, такта, грации, меры и ясной цели. Он, однако, верная невинная душа, и упрямство, которое в нем иногда проявляется, есть только донкихотство чести и добродетели с значительной примесью тщеславия. При этом он в большинстве случаев видит все в черном свете, бесится на самого себя, совершенно погружается в меланхолию, угрызения совести и подозрения; и не находит тогда ни в чем утешения, разве только в каком-нибудь гигантском проекте»¹⁰.

Здесь тонко подмечены экспансивность и порывистость «Кюхли», его исключительная жажда знаний, его максимализм, выражавшийся в стремлении к «гигантским проектам». «Недостаток вкуса, грации, меры» — это действительные недостатки Кюхельбекера, которые вызвали непрестанные насмешки товарищей над «Вилей» в лицейских журналах и куплетах.

Если судить о Кюхельбекере на основании материалов лицейских журналов, то представление о нем создается одностороннее. Лицейские журналы были полны шуточными стихами и карикатурами, в которых высмеивались странности Кюхельбекера, его долговязая фигура, тяжеловесный стиль его ранних стихов. В шутках над «Кюхелей» принимал участие и Пушкин.

Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее, —

эта концовка стихотворения «Пирующие студенты» является далеко не самой обидной шуткой Пушкина над «Вилей» (достаточно вспомнить пушкинские эпиграммы «На смерть стихотворца» и «Тошней идиллии и холодней, чем ода»). Но шутки и столкновения забывались, а дружба, общность идейных стремлений крепла.

Говоря о Дельвиге, Энгельгардт подчеркивает, что у него все направлено «на какое-то воинствующее отстаивание красот русской литературы». «В русской литературе он, пожалуй, самый образованный». Эти слова подкрепляются позднейшими воспоминаниями Пушкина о Дельвиге: «Он знал почти наизусть собрание русских стихотворений, изданное Жуковским. С Державиным он не расставался».

В записях Энгельгардта отмечена, кроме пристрастия к русской литературе, и другая черта Дельвига: «В его играх и шутках проявляется определенное ироническое остроумие, которое после нескольких сатирических стихотворений сделало его любимцем товарищей»¹¹. О том, что это остроумие не было политически нейтральным, мы можем догадываться по позднейшей надписи Пушкина к портрету Дельвига:

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил
Что колы судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей воззил,
Нерон же без него правдиву смерть узрит.

Нужно учесть, что в начале XIX века Тит, в противоположность Нерону, символизировал образ просвещенного монарха-благотелья (Титом именовался в официальной литературе Александр I). Поскольку эти слова выражали убеждение Дельвига («всегда твердил»), можно думать, что он отрицательно относился не только к

открыто тираническим, но внешне смягченным формам так называемого «просвещенного» деспотизма.

Характеристика Пушкина в заметках Энгельгардта, к сожалению, очень скупа. Отмечая, что Пушкин был «в сущности хорошим молодым человеком», «вдумчивым, способным», он далее ограничивается указаниями на «несчастливые семейные обстоятельства» и какие-то романтические истории в Лицее. По-видимому, тогда еще Энгельгардт не сблизился с Пушиным, человеком, с которым затем всю жизнь дружил¹².

Много нового дает характеристика Яковлева, с которым Пушкин был в близких отношениях. В отзыве о Яковлеве отмечено, что он «талантлив во всем, особенно же в риторике, мимике и музыке». Это известно и из других источников. Но далее говорится: «У него есть склонность к сатире, но несравненно меньшая, чем у Пушкина. В науках он предался своего рода литературному патриотизму, этот протест против чужого принимает у него значение чего-то важного». Новое узнаем мы и в отзыве о Данзасе (которого Пушкин впоследствии избрал секундантом в дуэли с Дантесом). «В нем довольно много склонности к искусству», — пишет о Данзасе Энгельгардт¹³.

Очень интересна характеристика Илличевского, лицейского поэта, отличавшегося большой плодовитостью и слывшего среди товарищей чуть ли не первым стихотворцем. Пушкин называет его в своих лицейских стихах «любезным остряком», «милым остряком», «живописцем». Илличевскому принадлежат многие эпиграммы на лицейских наставников. Большое место в его творчестве занимала тема тяжелой судьбы поэтов. Встречается сатира на «нравы», высмеивается лицемерие, низкопоклонство перед «власть имущими» и т. д. Однако обличительная тема лишена у Илличевского политической остроты. Стихи его в большинстве слабые, а по идейному содержанию бледные; о них мы можем судить и по лицейским рукописным журналам и по его сборнику «Опыты в антологическом роде» (1827).

В честь Илличевского лицеисты сочинили гимн, где он именовался «бессмертным», «истинным поэтом», рожденным для «славы света». Отзыв Энгельгардта подтверждает, что репутация Илличевского как поэта была раздута. «В Германии был такой сладостный период, —

писал Энгельгардт, — когда многие молодые люди благодаря Геснеровым идиллиям, так же как Вертеру, Иорику, сентиментальным путешествиям и т. п., стали настолько сверхчувствительными, что их бледно-красные сердца по всякому поводу и без повода целиком и полностью таяли. На таких бессильных и сухих юношей, если не совсем, то во многом, к сожалению, походит Илличевский. Несколько самодельных рифм и чрезмерные и неосторожные похвалы, которые воздавались его незрелой музе, сделали свое слишком добросовестно. Фантазия дала теперь форме перевес над всеми его остальными интеллектуальными силами настолько, что он при всех своих талантах стоит во всех серьезных науках, за малым исключением, почти на той же ступени, что и при поступлении». Энгельгардт все же воздает должное тому, что «имеется в его поэтическом багаже», и отмечает: «В русской литературе (то есть по успехам в лицее. — Б. М.) он, если не первый, то очень близок к первому»¹⁴.

Илличевский высоко ценил Пушкина, а Пушкин при окончании Лицея посвятил ему стихотворение, но особенной близости между ними не было.

Сложные взаимоотношения сложились у Пушкина с другим лицейским сверстником — князем Александром Михайловичем Горчаковым. Это был человек весьма выдающийся по своим дарованиям, но совершенно чуждый передовым веяниям эпохи. Будущий министр иностранных дел и канцлер, одержавший крупные победы в области внешней политики, один из крупнейших дипломатических деятелей XIX века, он в то же время по своим политическим взглядам неизменно стоял на консервативных позициях. Еще в лицейские годы в его идеологии проявлялись черты, предвещавшие непримиримого противника всякого освободительного движения как в России, так и в Европе. Впоследствии Горчаков с гордостью вспоминал о том, как в день 14 декабря 1825 года он, сильно напудренный, проехал «сквозь толпу народа и солдат» в карете цугом с форейтором в Зимний дворец для присяги «новому государю императору Николаю Павловичу»¹⁵.

Интересные психологические детали запечатлел в своей характеристике Горчакова Энгельгардт: «Сотканный из тонкой духовной материи, он легко усвоил многое и чувствует себя господином там, куда многие еще с трудом стремятся. Его нетерпение показать учителю, что он

уже всё понял, так велико, что он никогда не дожидается конца объяснения. Если в схватывании идей он выказывает себя гениальным, то и во всех его более механических занятиях царят величайший порядок и изящество. Так как он с самого детства был подвержен всяким внешним и внутренним эмоциям, этот пыл подорвал его организм... Теперь его здоровье, по-видимому, совсем восстановилось, хотя его экспансивность несколько не уменьшилась. Так как и теперь, однако, пылкость — его стихия, то кажется, что она уничтожила все более спокойные и добрые свойства его души, и при его остром чувстве собственного достоинства у него проявляется немалое себялюбие, часто в отталкивающей и оскорбительной для его товарищей форме. Чаще всего он вступал в спор с Кюхельбекером. От одних учителей он отделяется вполне учтивыми поклонами, а с другими старается сблизиться, так как у них находит или надеется найти поддержку своему тщеславию. В течение долгого времени он непременно хотел оставить Лицей, так как он думал: в познаниях он больше не может двигаться вперед, а он надеялся блистать у своего дядюшки»¹⁶.

Дядюшка Горчакова, о котором упоминает Энгельгардт, — это сенатор А. Н. Пещуров, оказавший племяннику большую помощь в завоевании чинов и служебного положения. До нас дошли письма Горчакова из Лицея Пещурову, исполненные низжайшей почтительности, честолюбивых надежд и политического консерватизма. Светская мудрость Горчакова хорошо выражена его любимым афоризмом: «Не кажитесь никогда ни более мудрым, ни более ученым, нежели те, с кем вы находитесь» (из Гестерфильда). В письмах он прославляет *«его величество»* и порицает идеи просветительской философии. Руссо Горчаков критикует за то, что «он не заложил основ своего строения там, где бог имеет свой престол», и является более опасным врагом религии, чем Вольтер. Иначе, чем Пушкин, оценивал Горчаков все, что связано с идейным направлением Лицея¹⁷.

Три послания посвятил Пушкин Горчакову, и во всех этих посланиях главной темой является тема разных жизненных путей, разных идеалов и стремлений.

В старом пушкиноведении утверждалось, что противоречия между Пушкиным и Горчаковым — это противоречия между «плохим» и «хорошим учеником». Многие

прояснил в этом вопросе П. Е. Щеголев, однако совершенно неправильным является его утверждение, что у Горчакова с Пушкиным были «хорошие, товарищеские отношения». Взаимный интерес их друг к другу — это интерес не друзей, но антагонистов, которые совершенно по-разному глядели на мир. В литературе последних лет уже отмечалась ошибочность точки зрения Щеголева и указывалось, что из всех лицеистов Горчаков был человек наиболее чуждый, наиболее противоположный Пушкину¹⁸.

Первое из посланий Пушкина к князю Горчакову (1814) начинается с шутливой декларации, отвергающей традиционные отношения между князьями и поэтами:

Пускай, не знаясь с Аполлоном,
Поэт, придворный философ,
Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф;
Но я, любезный Горчаков,
Не просыпаюсь с петухами
И напыщенными стихами,
Набором громозвучных слов,
Я петь пустого не умею
Высоко, тонко и хитро
И в лиру превращать не смею
Мое гусиное перо!

Обычаю «придворных философов» подносить «вельможе знатному» оду полемически противопоставляется послание совсем иного рода:

Нет, нет, любезный князь, не оду
Тебе намерен посвятить;
Что прибыли соваться в воду,
Сначала не спросившись броду,
И вслед Державину парить?
Пишу своим я складом ныне
Кой-как стихи на именины.

Далее поэт останавливается перед вопросом, чего желать «от чиста сердца» другу: «богатства», «громких дней», «крестов», «алмазных звезд», «честей» или же, наконец, военных успехов. Эти перечисления, типичные для поздравительных стихов того времени, перебиваются ироническими строками:

Дай бог любви, чтоб ты свой век
Питомцем нежным Эпикура
Провел меж Вакха и Амура!

Совсем в другом плане — глубоких и серьезных размышлений — написано второе послание Горчакову (1817). Оно носит элегический характер. Тема разграничения двух жизненных путей все же намечена здесь с полной отчетливостью:

С надеждами во цвете юных лет,
Мой милый друг, мы входим в новый свет;
Но там удел назначен нам не равный,
И розно наш оставим в жизни след.

Но с особенной резкостью размежевание двух путей отражено в третьем послании к Горчакову. Оно было написано через два года после второго, когда Пушкин жил в кипучей атмосфере петербургских антиправительственных кружков и объединений. Пушкин — теперь уже политически определившийся поэт, автор «Вольности», «Деревни», политических эпиграмм. Горчаков же тотчас по окончании Лицея «пошел в гору» и быстро продвигался в Коллегии иностранных дел. Дядя Пушкина, Василий Львович, в письме к П. А. Вяземскому от 21 декабря 1819 года писал: «Молодой кн. Горчаков, товарищ племянника моего, получил чин или, лучше сказать, звание камер-юнкера». Для Пушкина (пребывавшего, кстати сказать, в чине чиновника 14-го класса) Горчаков — «питомец мод, большого света друг», человек иного лагеря¹⁹. В своем послании Пушкин поднимается до высокого пафоса социального обличения:

И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
.....
Чем вялые, бездушные собрания,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
.....
Я помню их, детей самолюбивых,
Злых без ума, без гордости спесивых,
И, разглядев тиранов модных зал,
Чуждаюсь их укоров и похвал.

Пушкин в отличие от Горчакова радовался своей отчужденности от «большого света»:

Не вижу я изношенных глупцов,
Святых чевежд, почетных подлецов
И мистики придворного кривлянья.

На предложение Горчакова оставить круг своих друзей для «большого света» Пушкин в свою очередь отвечает предложением:

И ты на миг оставь своих вельмож
И тесный круг друзей моих умножь,
О ты, харит любовник своевольный,
Приятный льстец, язвительный болтун...

Имеется вариант последнего стиха, резче подчеркивающий неискренность Горчакова:

Приятный *лжец*, язвительный болтун... *

Позднее пути двух лицейстов окончательно разошлись. Обращаясь к Горчакову в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 1825 года, Пушкин прямо об этом и говорит:

Нам разный путь судьбой назначен строгий;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись.

В этих же стихах содержится явное поэтическое преувеличение той обстановки, в которой происходило свидание Пушкина и Горчакова в Лямонове в сентябре 1825 года («Мы встретились и братски обнялись»). Об этом свидании Пушкин более откровенно писал Вяземскому: «Мы встретились и расстались довольно холодно, по крайней мере с моей стороны». Дальнейшее отношение Горчакова к Пушкину также известно. Горчаков в своих позднейших воспоминаниях пытался представить себя человеком, который своими советами наставлял поэта на «истинный путь». В 1870 году он отказался участвовать в комитете, организованном для сооружения памятника Пушкину.

Вокруг Горчакова, светско-утонченного юноши, хотя и внутренне чуждого Пушкину, но человека интересного и высоко одаренного, группировались лицеисты, которые уже никакого интереса для молодого поэта не представляли. Таков был барон Модест Корф (лицейское прозвище «Дьячок-мордан»), впоследствии крупный деятель правительственной бюрократии, автор реакционной книги о декабризме и клеветнических заметок о Лицее и Пушкине. Таков был Комовский («лисичка», «смола», «фи-

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

скал», — называли его товарищи), закадычный друг Корфа, оставивший после себя лицейский дневник, заполненный ханжескими записями. Между Пушкиным и такими людьми, конечно, не могло быть близости.

Сами лицеисты понимали, что круг их неоднороден. О различных жизненных путях и стремлениях говорится и в произведениях других юных поэтов в рукописных сборниках Лицея. В своих стихах друзья Пушкина высмеивают лицеистов, живущих мелкими обывательскими интересами. Одним из наиболее ярких стихотворений этого рода является «Подражание 1-му псалму» Дельвига с характерным обращением к «слепому глупцу»:

А ты, слепой глупец, иль новый философ!
О верь мне, и в очках повеса все ж повеса.
Что будет из тебя под сединой влосов,
Когда устанешь ты скакать средь экосеса?

Скажи, куда уйдешь от скуки и жены,
Жены, которая за всякую морщину
Ее румяных щек бранится на тебя?
Пример достойнейший и дочери и сыну!

Что усладит, скажи, без веры старика?
Что память доброго в прошедшем сохранила!
Что совесть... ты молчишь! беднее червяка,
Тебе постыла жизнь, тебя страшит могила!

Эта безотрадная картина будущей жизни «слепого глупца» высмеивается в целой серии стихов, помещенных в сборниках творчества лицеистов. Сюда же относятся стихи, высмеивающие карьеристские надежды на «чины», как, например, эпиграмма Илличевского:

Гуляй, mon Prince, на что учиться!
От книг беги, как от беды;
Разве должно над книгой биться?
Черт с ней. Сиятельный ведь ты:
Алмазы, денежки имеешь,
Как с сим чинов не получать?
Охота ж в Pension езжать?
Ведь ты parler français умеешь! ²⁰

Размежевание лицеистов отражалось и в их отношении к начальству, профессорам и наставникам. Министр просвещения Разумовский служил объектом насмешек в лицейских рукописных журналах. Разумовскому посвящена эпиграмма Пушкина, Горчаков же в письме

своему дядюшке именует министра истинным другом Лицея («наш верный друг граф Разумовский») ²¹. Вслед за Горчаковым Корф утверждал, что лицеисты «любили Разумовского», и в то же время с пренебрежением отзывался о Куницыне. Другой пример: Комовский горячо любил гувернера Чирикова, о котором Пушкин в эпиграмме сказал:

Вот карапузик наш, монах,
Поэт, писец и воин.
Всегда за все, во всех местах
Крапивы он достоин...

Среди лицейских преподавателей встречались люди настолько отвратительные, что ненависть воспитанников к ним была почти единодушной. Такого рода человеком был Фридрих Леопольд Матвеевич фон Гауэншильд. Этому «ужасному педанту» (слова Пушкина в стихотворении 1815 года «Воспоминание») в «Национальных лицейских песнях» посвящен целый куплет:

В лицейской зале тишина,
Диковинка меж нами:
Друзья, к нам лезет сатана
С лакрицей за зубами.
Друзья, сберемтесь гурьбой,
Дружнее в руки палку,
Лакрицу сплюснем за щекой,
Дадим австрийцу свалку... ²²

Существовавшие среди лицейстов подозрения, что Гауэншильд был австрийским агентом, полностью подтверждаются опубликованными позднее документами — депешей Меттерниха австрийскому послу в Петербурге и запиской Гауэншильда «Исторический взгляд на Сперанского». Из депеши Меттерниха следует, что Гауэншильд был послан в Россию для получения политической информации. Служба в Лицее, находившемся рядом с резиденцией царя, была для этого более чем подходящей. Вместе с тем Гауэншильд всячески старался подавить свободолобивые тенденции лицейского воспитания и без конца доносил министру просвещения о «непорядках». Любопытно, что Меттерних с проницательностью опытного реакционера отмечает Лицей как один из каналов свободомыслия. Говоря о восстании декабристов, он, между прочим, заявил: «Я потребовал у господина Гауэншильда составления подробной истории Царскосельского

лица. Эта история будет очень интересна. Она даст ключ к пониманию того странного феномена, что, так сказать, собственные дети несчастного Александра I стремились к его гибели и не останавливались даже перед возможностью его убийства» *. По-видимому, из информации Гауэншильда у Меттерниха сложилось впечатление, что лицеисты сплошь революционеры ²³.

Гауэншильд, помимо своего рептильно-шпионского облика, презирався лицеистами еще и потому, что свою специальность — немецкий язык — он преподавал... на французском языке. Русский язык был настолько ему не знаком, что в Лицее пришлось держать специального секретаря ему в помощь. В «мемориях» конференции Лицея за 1813 год записано о некоем «секретаре Венигеле»: «Члены конференции, иностранцы профессор Гауэншильд и адъюнкт Ренненкампф, по собственным словам их, весьма облегчены сим канцелярским служителем, который, зная языки, исправно переписывает их голоса и планы, притом объясняет им изустные препоручения и часто, в облегчение секретаря, переводит для них статьи из журналов и предписаний» ²⁴.

Несмотря на связи Гауэншильда с влиятельными чиновниками, победа в длительной борьбе с ним Энгельгардта осталась за Энгельгардтом: в конце концов он был уволен.

Но если по отношению к Гауэншильду лицеисты были, в общем, единодушны, то совсем иначе дело обстояло с С. С. Фроловым, отставным подполковником, тупым и невежественным человеком, служившим в Лицее сначала надзирателем, затем инспектором (некоторое время он даже замещал директора). Этому Фролову (его упоминает Пушкин в плане «Записок») лицеисты пели в лицо длинную песню, где, в частности, утверждалось:

Твой друг и барин Аракчеев...

Иначе относился к Фролову Горчаков. В письме к дяде он писал: «Степан Степанович Фролов, подполковник, кавалер орденов св. Анны 2-й степени и св. Владимира 4-й степени, почтенный человек, очень ко мне благосклонный...» ²⁵

Настоящий политический бой был дан лицеистами во

* Подлинник по-французски.

главе с Пушкиным надзирателю по нравственной части Мартыну Пилецкому-Урбановичу. В литературе о Пушкине сей воспитатель юношества известен как мистик и ханжа, применявший в Лицее иезуитские методы «наставления на путь истинный». В воспоминаниях современника он обрисован как личность поистине ужасающая — «с своей длинною и высохшею фигурою, с горящим всеми огнями фанатизма глазом, с кошачьими походкою и приемами, наконец с жестко-хладнокровною и ироническою, прикрытой видом отцовской нежности, строгостью»²⁶.

Неизданные материалы архивов добавляют к облику Пилецкого еще одну черту: он был полицейским шпиком в Лицее. Вероятно, этим и объясняется настойчивость, с которой Малиновский добивался увольнения Пилецкого. В секретном донесении министру Малиновский писал, что Пилецкий «не терпим многими наставниками» вследствие «некоторой антипатии, на противоположности правил основанной». Разумовский в конце концов согласился на увольнение. Пилецкого хотели было при этом наградить, но из той же секретной переписки следует, что об этом позаботилось другое ведомство: он был представлен к награде «чином» Министерством полиции²⁷.

Методы, применявшиеся Пилецким, ясны из его письменных инструкций гувернерам. Пилецкий обязывал своих сотрудников «по части нравственной и учебной» усиленно «надзирать» за учениками. Он требовал «наблюдения их лица», требовал предупреждать «ложные мнения», «примечать тайные их разговоры», «читать в каждого глазах и чертах лица (которое недаром названо зеркалом души) их желания». Цель воспитания, по его убеждению, заключается в том, чтобы «обрабатывать их волю *чрез* послушание, укрощать и направлять ее»²⁸.

Эти методы вызывали со стороны Пушкина и его друзей яростное сопротивление. В «Журнале о поведении воспитанников» за ноябрь 1812 года гувернер Илья Пилецкий описал «бунт», поднятый лицеистами против его брата, инспектора. Инициатором этого события был Пушкин. «23-го, когда я у г. Дельвига в классе г. Гауэншильда отнимал бранное на г. инспектора сочинение, в то время г. Пушкин с непристойной вспыльчивостью говорит мне громко: «Как вы смеете брать наши бумаги, — стало быть и письма наши из ящика будете брать...»

«Присутствие г. профессора, — продолжает гувернер, — вероятно, удержало его от худшего еще поступка, ибо приметен был гнев его». Описывая возмущение других воспитанников, гувернер особенно отмечает Кюхельбекера, который в этом деле «принял весьма широкое участие, даже с ожесточением», и Ивана Малиновского (сына директора). В другом «Журнале» сам Мартын Пилецкий описывает это же происшествие, где пишет, что Пушкин «упорнее всех», а о Кюхельбекере говорит: «Он произносил не менее бранные слова почти мне в глаза». Этот инцидент был начальством замят, но через несколько месяцев «заговор» вспыхнул с новой силой. Лицейсты собрались в конференц-зале, вызвали инспектора и выдвинули ультиматум: или он, или они должны покинуть Лицей. В тот же день иезуит выехал из Царского Села и вскоре поступил на службу по прямому назначению — следственным приставом петербургской полиции ²⁹.

В пушкинской программе «Записок» под 1811 годом значится: «Мы прогоняем Пилецкого». Пушкин, писавший эту программу много лет спустя, ошибся в дате: Пилецкий изгнан из Лицея не в 1811, а в 1813 году. Это изгнание явилось настоящей победой Пушкина и его друзей, возглавивших борьбу со шпиком. Лицей освободился, таким образом, от своего злейшего внутреннего врага.

2

Лицейсты называли свою школу «Лицейской республикой». Эта краткая, но выразительная формулировка часто встречается в письмах, а также в лицейских рукописных журналах. Нельзя считать неожиданностью, что так именует Лицей будущий декабрист В. Кюхельбекер. В письме к сестре (1814) он описывает период безначалия, наступивший после смерти первого директора, в следующих словах: «В нашей республике царствует некоторый беспорядок, который еще умножается разногласиями наших патрициев». Но так говорили о Лицее не только те, кто были известны своим вольномыслием, а иногда и воспитанники, ничем с этой стороны себя не проявившие. Эту же терминологию употребляет, например, и Н. Корсаков. Его письмо, посланное из Петербурга мо-

сковским товарищам по Лицею — Ломоносову и Горчакову (датировано 19 октября 1817 гда), начинается обращением: «Представителям единой и неделимой Лицейской республики в Москве». Эта терминология прочно установилась среди лицейстов: она встречается в рукописных лицейских журналах не только пушкинского, но и следующих выпусков (до разгрома Лицея). В журнале «Свободные часы» описывается в форме географической статьи «Малый Лицей» — младший курс Лицея (начавшийся в 1814 году и воспринявший терминологию от лицейстов пушкинского выпуска). «Малый Лицей, — говорится в этой статье, — есть совершенный Рим нашей республики, а следовательно, центр наук, художеств, политики и проч.». В статье такого же характера, помещенной в журнале «Сотрудник Мома», указывается, что «внутреннее управление имеет вид республиканский», лицейсты именуются везде гражданами. Борьбу с начальством за установление более свободных порядков лицейсты иносказательно именуют борьбой с «императором», «диктатором», «консулами» и т. д. Кроме этой терминологии, несомненно восходящей к лицейским лекциям о республиканских правлениях древнего и нового мира, в журналах лицейстов встречается терминология и лозунги французской революции (*liberté, égalité* *), упоминается о новгородской вольности, о народных сеймах и т. д.³⁰.

Иносказательную манеру лицейских рукописных изданий при всей ее условности нельзя рассматривать как «лицейские шалости». Республиканская терминология не была, разумеется, выражением какой-то сложившейся идеологии; смешно было бы именовать даже самых передовых лицейстов республиканцами. Но все же употребление этой терминологии воспитанниками — факт весьма примечательный. Идея равенства сознательно насаждалась и среди воспитанников и в общении между воспитанниками и профессорами; как уже говорилось, «частные правила», установленные в Лицее, запрещали высокомерное отношение даже к низшим служителям, «хотя бы они были их крепостные люди». Самая формулировка «Лицейская республика» находит аналогию в характерных для той эпохи наименованиях кружков

* Свобода, равенство (франц.).

и содружеств, объединявших людей прогрессивных, по своим взглядам враждебных абсолютизму. Так, петербургское Вольное общество любителей российской словесности негласно именовало себя «ученой республикой». Формулировка «Литературная республика» была в обиходе писателей декабристского и околodeкабристского круга; например, в одном из писем Рылеева Туманскому (1823) Пушкин именовался «Консулом нашей Литературной Республики». В этом духе следует понимать и формулу «Лицейская республика», как выражение общности стремлений³¹.

Политическое обоснование такого рода «республик», объединявших учащихся, писателей, ученых и т. д., содержится в любопытнейшей «Записной книжке для друзей человечества» (издана анонимно без указания года; судя по содержанию, относится к первому десятилетию XIX века). В отрывке «Нечто о вольности», помещенном в этой книге, сказано: «Если бы кто спросил невольника, пленного или галерного, чего он желает? Без сомнения получил бы ответ: вольности... Так говорит подданный тирану или, когда не смеет сего сказать, то вздыхает он более о вольности, нежели гражданин вольной державы. Вследствие сего примечания большее или меньшее желание свободы показывает больший или меньший недостаток оной». Поэтому люди стремятся обрести вольность хотя бы в «вещах, относящихся к *упражнению и роду жизни*». «Из сего,— заключает автор,— происходят разного рода вольности: *университетская*, республиканская, писателей, критиков». Анонимный автор всего лишь сформулировал подоплеку всякого рода вольнолюбивых объединений, кружков, дружеских «союзов», характерных для этого времени. Именно в качестве «вольности», «относящейся к упражнению и роду жизни», возникло наименование Лицея «Лицейской республикой»³².

Повторяем, было бы заблуждением делать из всего сказанного вывод о политическом направлении Царско-сельского лицея в целом. Совершенно особое место в «Лицейской республике» занимал пушкинский кружок. В юношеских стихах Пушкин отражает развитие своих отношений с теми сверстниками, которые были его действительными друзьями.

В стихотворении «Пирующие студенты» (1814) атмосфера пушкинского кружка ощущается с особенной

полнотой. «Пир студентов» изображен как собрание вольнолюбивых друзей:

Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут самые цари
Завидовать студентам!

Студенты именуются здесь «спартанцами». В первой редакции стихов имеются строки, противопоставляющие идею лицейского союза богатству и чинам:

Виват наш дружеский союз!
Виват, виват, студенты!
Не надобны питомцу муз
Ни золото, ни ленты...

Отдельные стихи обращены в «Пирующих студентах» к Дельвигу, Илличевскому, Броглио, Яковлеву, Малиновскому, Корсакову, Кюхельбекеру, но с особенной теплотой называется здесь Пушкин:

Товарищ милый, друг прямой...

Вообще же наиболее непринужденные, интимные стихи Пушкина-лицеиста адресованы Пушкину, Дельвигу, Кюхельбекеру. Кроме двух посланий Пушкину 1815 года («Любезный именинник» и «Воспоминание»), имя своего «первого, бесценного друга» Пушкин упоминает с любовью и в других стихах.

В 1817 году, при окончании Лицея, Пушкин написал стихотворение «В альбом Пушкину», которое оканчивается клятвенным заверением незыблемости союза «первых друзей» «пред грозным временем, пред грозными судьбами». Пушкин в своих воспоминаниях говорил об идейной основе дружбы с Пушкиным: «Он всегда согласен со мною мыслил о деле общем (res publica)...»³³.

В лицейской поэзии Пушкина мотивы героизма сочетались с мотивами наслаждения жизнью, а прославление свободы — с презрением ко всякому ханжеству и рутине. В ней отразилась идеология и психология молодого человека преддекабристской России. В годы учения мировоззрение поэта только еще формировалось, и поэтому этот период явился для него периодом исканий. Но, тем не менее, характерно, что его очень рано стали беспокоить вопросы о предназначении поэта, об опасно-

стях избранного пути и преодолении этих опасностей. Пятнадцатилетним мальчиком, в 1814 году, он пишет стихотворение «К другу стихотворцу», в котором трезво рисует положение писателя в современном ему обществе:

Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки.
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы;
Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камознс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он.
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

Через год в стихотворении «Лицинию» Пушкин осознает высокую роль поэта как обличителя:

Свой дух воспламеню Петроном, Ювеналом,
В гремющей сатире порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.

Тема о значении поэта и его судьбе в потомстве волновала Пушкина всю жизнь. Ею он начал и ею кончил свою творческую деятельность; в лицейском стихотворении 1815 года он восклицал:

Мои летучие посланья
В потомстве будут ли цвести?

А незадолго до смерти, как бы подводя итог своей жизни, писал, что к нему «не зарастет народная тропа». В том же стихотворении он ставил себе как поэту в заслугу верность свободе — тому идеалу, который впервые он воспел в годы отрочества.

Мотивы верности «союзу друзей» и высокого призвания поэта звучат как своеобразная поэтическая переключка Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера. В 1815 году Дельвиг напечатал в журнале «Российский музеум» стихотворение, заключающее в себе своего рода характеристику Пушкина. Здесь воплощен высокий образ независимого поэта; он «и в юности» «видит священную истину и порок, исподлобья взирающий». Образ поэта явился вместе с тем и образом гражданина: тот, кто осенен «миртом и лаврами» в «конгрессах не мудр-

ствует» («конгресс» — это, конечно, заседавший в это время реакционный Венский конгресс), он презирает купленное кровью тяжкое золото. Заканчивается стихотворение восторженными строками:

Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

Это стихотворение вызвало шуточный ответ Пушкина (стихотворение «К Дельвигу», 1815), который был, по-видимому, смущен столь торжественным панегириком его дарованию. Однако стихотворение Дельвига впервые прославляло имя Пушкина за пределами Лицея (до этого времени Пушкин напечатал за своей подписью только «Воспоминания в Царском Селе»; все остальное он печатал анонимно).

Незадолго до окончания Лицея Пушкин написал другое послание Дельвигу («Блажен, кто с юных лет...»). Здесь поэт под впечатлением каких-то тяжелых переживаний писал:

Так рано зависти увидеть зрак кровавый
И низкой клеветы во мгле сокрытый яд.
Нет, нет! Ни счастьем, ни славой
Не буду ослеплен. Пускай они манят
На край гибели любимцев обольщенных.
Исчез священный жар!

В ответном стихотворении «К А. С. Пушкину» Дельвиг осуждает минутную слабость своего друга и напоминает о великом призвании:

Как? житель гордых Альп, над бурями парящий,
Кто кроет солнца лик развернутым крылом,
Услыша под скалой ехидны свист шипящий,
Раздвинул когти врозь и оставляет гром?

Нет, Пушкин, рок певцов бессмертье, не забвенье...

Еще с большей энергией и политической остротой, чем у Дельвига, звучит тема поэта у Кюхельбекера, в произведениях которого поэт воспевается как героический борец с несправедливостью и злом мира. Образ поэта, воплощенный в поэзии Кюхельбекера, противопоставлен официальному «светскому» обществу, толпе льстецов и продажных рабов, жаждущих власти и богатства,

презирающих возвышенные чувства. Этот образ персонафицирован Кюхельбекером в стихотворении «К Пушкину», написанном после окончания Лицея:

Счастлив, о Пушкин, кому высокую душу Природа,
Щедрая Матерь, дала верного друга — мечту,
Пламенный ум и не сердце холодной толпы! Он всесилен
В мире своем; он творец! что ему низких рабов,
Мелких, ничтожных судей, один на другого похожих, —
Что ему их приговор. Счастлив, о милый певец,
Даже бессильною Завистью Злобы — высокий любимец,
Избранник мощных судеб! огненной мыслию он
В светлое небо летит, всевидящим взором читает
И на челе и в очах тихую тайну души.
.....
Так, от дыханья толпы все небесное вянет, но Гений
Девствен могущей душой, в чистом мечтании дитя!
Сердцем выше земли, быть в радостях ей непричастным
Он себе самому клятву священную дал!

Эти же мотивы в дальнейшем станут ведущими в творчестве Кюхельбекера и пройдут через все его поэтическое творчество, включая годы тюремного заключения и ссылки.

Стихотворение Кюхельбекера «Моим царскосельским друзьям», написанное при окончании Лицея, представляет собою горячее заверение в незыблемости дружбы и призыв к «твердости»:

Мы никому, друзья, не подвластны душою...

Среди стихотворений Пушкина, так или иначе связанных с именем Кюхельбекера, выделяется послание к нему 1817 года («В последний раз, в сени уединенья...»)

И необычно серьезный, даже торжественный тон послания, и клятвенное обещание, и особая символика — «святое братство» — все это явилось выражением каких-то новых черточек в отношениях Пушкина к Кюхельбекеру. Образ Вили озарился для Пушкина как бы новым светом. Одной из причин этого было, конечно, участие Кюхельбекера в так называемой «артели Бурцова», политическом и вольнолюбивом кружке, в который входили несколько будущих декабристов и о котором Пушкин вспоминал: «Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михаил), Бурцов, Павел Колошин и Семенов... Постоянные наши беседы о предметах

общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизил меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем». Ю. Н. Тынянов дополнил (на основании дневника Кюхельбекера) наши сведения об этом кружке именами трех лицестов — Кюхельбекера, Вольховского, Дельвига, но оставил открытым вопрос о Пушкине. Автор исследования «Священная артель», М. В. Нечкина, предполагает, что Пушкин бывал в этой «артели». Если сопоставить послание Пушкина «Кюхельбекеру» с дошедшими до нас сведениями о кружке Бурцова, то знакомство Пушкина с деятельностью этого кружка становится очевидно³⁴.

Возможно, что поэт вместе с лицейскими друзьями бывал там. Но во всяком случае он знал о направлении этого кружка и беседах, которые там велись. Клятва Пушкина в верности, свободе, дружбе «святому братству» — все это близко ритуалу и словарю «артели». Эту терминологию мы находим в документе, озаглавленном «Постоянство» (он был послан членами бурцовского кружка Николаю Муравьеву, уехавшему на Кавказ):

«Почтенный друг и товарищ! Дружба, постоянство и правота, сущность и основание артели, коея еси член, понудили нас, твоих братьев, лист сей к тебе послать... Да будет он тебе воспоминанием *святого братства* и верным залогом дружбы нашей!.. Бог да благословит тебя, честная душа, и любовь к отечеству да руководствует тобою, а воспоминание о неразрывной артели да уладит тебя во всех твоих трудах и начинаниях!»³⁵

Послания Пушкина Кюхельбекеру и Пушкину перед окончанием Лицея написаны совершенно в духе этого письма «священной артели» Бурцова: и здесь и у Пушкина — клятвы в верности, дружбе и в неизменности высоким идеям, призывы к постоянству заключенного «союза», «святого братства», которое остается неразрывным даже при разлуке его членов.

Кружок Бурцова был далеко не единственным каналом, по которому извне в Лицей проникали свободолобивые идеи. О положительном влиянии, которое в этом смысле оказывали на лицестов лекции ряда профессоров, мы уже говорили в предыдущих главах. Кроме того, это учебное заведение посещали люди, которые впоследствии стали известными как выдающиеся деятели револю-

ционного движения. Даже весьма скудные данные лицейского архива представляют в этом отношении исключительный интерес. Так, мы узнаем, что в 1815 году среди посетителей Лицея был «адъютант Пестель», который тогда был адъютантом Витгенштейна. Отмечены в лицейских ведомостях посещения «полковника Глинки», то есть Федора Глинки, члена «Союза спасения» и «Союза благоденствия». С Глинкой был тесно связан Кюхельбекер: он получал книги и от него непосредственно и через свою сестру Юстину Карловну (жену Г. А. Глинки), которая часто приезжала в Лицей. Учитывая пропагандистскую деятельность, которую развивал в те годы Федор Глинка, следует признать его одним из проводников вольномыслия в лицейскую среду. Любопытно, что в Лицее бывали родственники декабристов Муравьевых-Апостолов, Лунина, Якубовича. Отметим также, что в 1812 году Лицей посетили князья Ипсиланти: Александр Ипсиланти, который впоследствии стал вождем тайного греческого общества с целью освобождения Греции (его Пушкин близко знал в Кишиневе), и его брат Дмитрий, адъютант генерала Н. Н. Раевского-старшего³⁶.

Большое значение имело для Пушкина знакомство с офицерами лейб-гусарского полка, расположенного в Царском Селе. Пушкин часто посещал офицеров этого полка, их сборища и вечеринки, где царствовал дух вольнодумства, гусарского удалства, презрения к светской черни, которая

...не ведает, что дружно можно жить
с Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

(«К Каверину», 1817)

В надписи «К портрету Каверина» Пушкин с обычной точностью дал характеристику этого своего приятеля, отважного участника Отечественной войны:

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный был воитель,
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель.
И всюду он гусар.

Из друзей офицеров для Пушкина самым дорогим был П. Я. Чаадаев. Вольнолюбие и одаренность Чаадаева Пушкин высоко ценил («Он в Риме был бы

Брут, в Афинах Периклес...»). Поэт надолго запомнил дружбу с лейб-гусарами в то время, когда

...с Кавериним гулял,
Бранил Россию с Молоствовым,
С моим Чадаевым читал...

(«К Сабурову»)

Об общении лицейстов с внешним миром говорилось в полицейском доносе, поданном на Лицей («Нечто о лицейском духе»), где утверждалось: «В Царском Селе стоял гусарский полк, там живало летом множество семейств, приезжало множество гостей из столицы, — и молодые люди постепенно начали получать идеи либеральные, которые кружили в свете. Должно заметить, что тогда было в моде посещать молодых людей в Лицее; они даже потихоньку (то есть без позволения, но явно) ходили на вечеринки в дома, уезжали в Петербург, куликали с офицерами и посещали многих людей в Петербурге, игравших значительные роли... В Лицее начали читать все запрещенные книги, там находился архив всех рукописей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло к тому, что если надлежало отыскать что-либо запрещенное, то прямо относились в Лицей». «Посещение молодых людей в Лицее» лицами, которых доносчик не называл, — это, без сомнения, Ф. Глинка, Пестель, а позже И. И. Пущин, который, окончив Лицей, стал частым гостем этого заведения. «Запрещенные книги и рукописи» в действительности поступали в Лицей также и от офицеров гусарского полка. Недаром, когда в 1828 году Пушкин пытался отречься от написания «Гавриилиады», он показал на допросе по делу об этой поэме: «...в первый раз видел я «Гавриилиаду» в Лицее... рукопись ходила между офицерами гусарского полку, от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну». В Лицее Пушкин свободно мог знакомиться с русской и французской революционной литературой и с произведениями так называемой «рукописной словесности»³⁷.

Все это объясняет взволнованность воспоминаний Пушкина о лицейских годах, его преданность лицейскому «святому братству», которая отражена в стихах не только юношеских, но и позднейших лет. Под влиянием окружающей среды, жизненных впечатлений, ли-

цейского воспитания происходило формирование мировоззрения юноши-поэта, вырабатывалась система понятий, нашедших свое развитие во всем его творчестве.

Дальнейший путь Пушкина не был прямым: он был исполнен противоречий, отражавших всю сложность, все социальные противоречия эпохи. Но это был путь поэта-гражданина, для которого интересы процветания родины, развития национальной культуры, просвещения народа были первенствующими и который с первых же шагов своей творческой деятельности не мог примириться с современным укладом. Правда, непосредственно политические мотивы лирики Пушкина в общем потоке его лицейского творчества не занимают ведущего места: под влиянием поэзии Жуковского и Батюшкова он разрабатывал тогда главным образом мотивы мечтательного уединения, беспечных любовных наслаждений, мягкой грусти и т. п. Поэтические отклики на события 1812 года (о них см. ниже), стихотворение «Лицинию», несколько эпиграмм — этим ограничен круг собственно политических мотивов в обширном лицейском творчестве Пушкина. Свободолюбие поэта выражалось в то время преимущественно в форме самого общего противопоставления «правды» — «неправде», «благородства» — продажности и лицемерию круга «друзей», чуждых «этикету», презирающих суету «столиц, забот и грома» — кругу вельмож и прислуживающих им «высоко, тонко и хитро» придворных философов. Однако верность избранному пути, непреклонность в достижении цели, высоко развитое чувство личной независимости и собственного достоинства, ненависть к деспотизму, презрение к великосветской знати и ее низменным идеалам — все это нашло выражение уже в ранних произведениях Пушкина.

Недаром через весь творческий путь поэта проходят мотивы, тесно связанные с лицейским периодом его жизни. Подчас бывает даже невозможно понять конкретное идейно-политическое содержание некоторых из этих мотивов, без того чтобы не обратиться к терминологии, бытовавшей в «Лицейской республике». «Республиканская» терминология имеет глубокие корни в укладе Лицея и в той политической борьбе, которая предшествовала самому возникновению этого учебного заведения, а затем развернулась внутри него.

В 1824 году Кюхельбекер вспоминал о разговорах, «полных чувства и мечтания», когда сердца «сливались в выражениях, понятных только в кругу нашем, в милом семействе друзей и братьев». Лицейской терминологией пользовался и Пушкин в стихах, адресованных сверстникам. Выше мы показали, какое значение имели мотивы «лицейского союза», «святого братства», «общей пользы», «общего блага» и т. д. Но в этом свете по-новому раскрывается и такой, например, важнейший мотив, проходящий через всю пушкинскую лирику, как мотив гордости. На нем стоит остановиться ³⁸.

Понятие «гордости» в Лицее было равнозначно понятиям идейной независимости, непреклонности убеждений, верности однажды избранному пути. В таком духе разъяснял понятие «гордости» Куницын на уроках нравственности, отвергая в то же время «гордость» в смысле спеси, зазнайства, высокомерия, презрения знатными незнатных. В этом же духе писал о «гордости» Малиновский. В лекциях Георгиевского о «великих характерах» понятие гордости связывалось с героической самоотверженностью в борьбе за «благо общее и отечество». У «великого характера», говорил он, «любовь к славе и *благородная гордость* носят на себе печать особености». «Его честолюбие никогда не перерождается в жадность, любовь к славе — в детское тщеславие, *благородная гордость* — в высокомерие. Существовая только для великих и вечных благ человечества, совершенно теряя из виду свое ничтожное «я», со всею свободою погружаясь в бессмертные понятия, единственно в них полагает он свое честолюбие, свою славу и свое величие». В качестве примера в лекциях говорилось «о непреклонности *гордого* духа Катона», который покончил с собой, не желая пережить падение республики ³⁹.

В «Прощальной песне воспитанников Царскосельского лицея», написанной Дельвигом, был сформулирован обет лицейского союза:

...Храните, о друзья, храните
Ту ж дружбу с тою же душой,
То ж к славе сильное стремленье,
То ж правде — да, неправде — нет,
В несчастьи — *гордое терпенье* *,
И в счастье — всем равно привет! ⁴⁰

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Эта формула позже была использована Пушкиным в послании в Сибирь (1827):

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...

«Гордое терпенье» здесь — убежденность в своей правоте и в конечной победе правого дела:

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.

Пушкин говорил в данном случае с декабристами, находившимися на каторге (и в числе них с лицейскими друзьями), знакомым языком, где слова вызывали ряд ассоциаций, были точно сигналами. Ответ декабристов Пушкину (написанный Александром Одоевским) как бы подтверждал, что сигналы эти приняты и поняты:

Но будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой *гордимся* мы...

В тяжелейшие годы жизни, во второй половине 20-х годов, когда цепь цензурно-полицейского контроля замкнулась вокруг Пушкина, он вновь и вновь возвращался к этому мотиву. Трагическое стихотворение «Предчувствие» (1828) ставит вопрос о двух путях человеческой жизни — смирении или гордой борьбе с «роком»:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Эти строки писались в связи с политическим следствием о распространении стихов из «Андрея Шенье» и о «Гавриилиаде», когда Пушкину грозила новая ссылка или, быть может, заточение. Вот почему в заключительной строфе «Предчувствия» он вспоминает

Силу, *гордость*, упованье
И отвагу юных дней *.

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Конечно, Пушкин и его друзья проделали громадный путь от раннего, расплывчатого свободолюбия к тем идеалам, которые они отстаивали в зрелые годы. Надо было отрешиться от многих иллюзий лицейских лет, чтобы символы «гордого терпенья», стремления «к славе», борьбы «за правду» наполнились содержанием реальной действительности. Но вместе с тем именно в лицейские годы были заложены основы того свободолюбия, которое с такой силой проявилось затем у Пушкина и его ближайших друзей. Уже в Лицее складывался новый общественно-политический идеал Пушкина и его эстетический идеал, который являлся художественным, образным выражением нового отношения к жизни, нового враждебного феодально-крепостнической формации, политического мышления *.

-

* Подробнее об этом см. в разделе «Новый эстетический идеал».



Глава четвертая

РАЗГРОМ ЛИЦЕЯ. «ЛИЦЕЙСКИЕ ГОДОВЩИНЫ»

1

Лицей получил славу одного из центров вольномыслия прежде всего благодаря Пушкину: именно его творчество рассматривалось реакционными кругами как «плоды лицейского воспитания». Пущин справедливо заметил: Пушкин стоял «во главе литературного движения, сначала в стенах Лицея, потом и вне его...». «Литературное движение» Пущин понимал политически: он писал о Пушкине, что он «по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно и письменно, стихами и прозой». Поэтому разгром системы лицейского воспитания и высылка Пушкина из Петербурга в 1820 году оказались фактами, взаимно связанными ¹.

Политические стихи и эпиграммы, написанные Пушкиным вскоре после окончания Лицея — «Вольность», «Сказки (Noël)», «К Чаадаеву» и другие — невольно связывались в сознании современников с так называемым «лицейским духом». Мнение о «пылкости», «вольнодумстве» лицейских воспитанников стало распространенным. О «пылких учениках Лицея» говорил генерал П. Д. Киселев в письме к М. Ф. Орлову. Реакционные круги обращают внимание на то, что бывшие воспитанники Лицея группируются вокруг видных «либералистов». В Журнальное общество, организованное для издания журнала с целью пропаганды освободительных

идей, Н. Тургенев привлёк (как уже упоминалось выше), наряду с профессором Куницыным, бывших лицейстов — Пушкина, Пушина, Кюхельбекера. Издание журнала не состоялось, но общество обратило на себя внимание властей. А. Х. Бенкендорф, будущий шеф жандармов, а тогда начальник штаба гвардейского корпуса, доносил Александру I в мае 1821 года, что Тургеневу и Куницыну выразил желание помогать Кюхельбекеру — «молодой человек с пылкой головой, воспитанный в Лицее». Нашлись люди, которые поставили деятельность юных «либералистов» в прямую связь с «вредоносным» лицейским направлением. Особенно активно утверждал это один из публицистов александровского времени — В. Н. Каразин. Опубликованные в последнее время документы позволяют установить связь между высылкой Пушкина и последовавшими в Лицее событиями. Ещё в ноябре 1819 года Каразин записал в своём дневнике: «Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, в благодарность написал презельную оду, где доставалось фамилии Романовых вообще, а государь Александр назван кочующим деспотом». Здесь же Каразин отмечает «обычай Лицея злословить государя, называть его д[ураком] и т. д. и что между воспитанниками положено жесточайше наказывать того, кто выдаст этот образ мыслей». С возмущением писал Каразин о том, что в Лицее воспитываются «лютейшие враги» государя и «всех благомыслящих»: «Сии воспитанники — суть первые рекруты поганой армии вольнодумцев». А 2 апреля 1820 года Каразин писал, сообщая министру внутренних дел Кочубею:

«В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... Это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них — Пушкин — по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи поступили». Далее — примечание Каразина: «Кто сочинители карикатур или эпиграмм, каковые направлены *на двуглавого орла, на Стурдзу*, в котором высочайшее лицо названо весьма непристойно, и пр. Это лицейские питомцы! Кто знакомится с публикою соблазнительными стихотворениями в

летах, где честность и скромность наиболее приличны... они же!»²

Вскоре после всех этих доносов Каразина, в мае 1820 года, Пушкин был выслан из Петербурга. И в это же время начинается усиленный надзор за Лицеем.

31 июля 1820 года министр духовных дел и народного просвещения князь Голицын направляет в Лицей строжайшее предписание «о наблюдении с особенной точностью порядка, благонравия и повиновения между воспитанниками» и об исключении всех, кто окажется «худой нравственности». Министр требовал неотступно следить за поведением лицеистов и усилить преподавание «закона божия», без которого «все науки не только нимало не полезны, но даже вредны». Это предписание Голицын составил, по его словам, «исполняя сим монаршее повеление». Через несколько дней, 5 августа, тот же Голицын в секретном отношении к «законоучителю» Лицея Кочетову обязывает его взять в свои руки образование «нравственности» воспитанников, «доносить» в министерство свои «замечания». В то же время Голицын составил докладную записку о состоянии Лицея для Александра I, где указывает на «вреднейшие беспорядки... по части учебной и нравственной» и на недопустимость преподавания естественного права». Явно имея в виду Пушкина, Голицын отмечал у «некоторых выпущенных воспитанников недостаток доброй нравственности». В том же архивном деле находится оправдательная записка Энгельгардта, отвергающая обвинения Голицына и (как мы уже упоминали выше) оправдывающая Пушкина «пылкостью молодого таланта». В приложенном списке окончивших Лицей Пушкин значится не как сосланный, а как состоящий на службе «при генерале Инзове»³.

В 1822 году Лицей переходит из ведомства Министерства просвещения в Управление военно-учебных заведений, а в следующем году директором его назначается генерал-майор Гольтгоер *. Указом Александра I Лицей подчиняется цесаревичу Константину. Происходит полный разгром прежде существовавшей лицейской системы воспитания и образования. Программы занятий пересматриваются самым строжайшим образом. Из

* О нем см. стр. 47.

политических наук изгоняются даже отзвуки «вольнодумческих» идей. В преподавании законодательства слово «гражданин» заменяется словом «лицо». Происходит ревизия знаменитой лицейской библиотеки, откуда изымаются не только сочинения Вольтера и Руссо, но даже безобидная беллетристика. Разгром Лицея вызвал сильный общественный резонанс, и Грибоедов в своем «Горе от ума» устами Скалозуба совершенно точно отражает сложившуюся ситуацию:

Я вас обрадую. всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий,
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два
А книги сохранят так: для больших оказий.

Угроза «фельдфебеля в Вольтеры дать» полностью осуществилась.

Последовавшее через три года после всего этого подавление декабрьского восстания вызвало новый поход против системы пушкинского Лицея. Иезуиты наводнили иностранные газеты статьями, в которых объявили Лицей одним из источников декабристского вольномыслия. После ареста восьми бывших воспитанников Лицея (из которых были осуждены только двое) в Петербурге распространились слухи о том, что большинство участников тайных обществ лицеисты. Мерзкий доносчик Фаддей Булгарин, всего лишь несколько лет назад печатавший на страницах «Сына отечества» сочувственные заметки о Лицее и статьи Куницына, написал донос «Нечто о Царскосельском лицее и духе оногo», где, не считаясь с истиной, объявлял почти *всех* лицеистов сторонниками «конституций», врагами правительства.

В манифесте Николая I, 13 июля 1826 года, в связи с приговором декабристам, обращалось внимание также на «нравственное воспитание детей». В плохом воспитании усматривал царь «сие своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — гибель».

Далее последовали «меры» и по отношению, казалось бы, уже «усмиренного» Лицея. Новой реорганизацией его занялся назначенный 14 декабря 1826 года начальником военно-учебных заведений генерал-адъютант Н. И. Демидов, изувер, по тупости и жестокости конку-

рировавший с Аракчеевым Он в короткий срок превратил Лицей в настоящую тюрьму. Демидов лично инструктировал преподавателей и гувернеров и дошел до того, что запретил воспитанникам даже чтение... библии. Первейшим его требованием была тщательнейшая слежка за воспитанниками. Нередко он сам подвергал цензуре письма, которые они писали родителям. В специальной инструкции Демидов выработал, так сказать, типовое содержание писем, дозволенных лицеистам: они должны писать письма «поздравительные с высокочужественными или семейными праздниками; а также извещали бы о счастливейших событиях, по беспредельной милости государя к ним или к товарищам их оказываемых». В Военно-историческом архиве сохранилась официальная секретная переписка с расследованием «либерального образа мыслей» некоторых воспитанников и с инструкциями «о недопущении вольнодумного настроения». Директору Лицея предписывалось собрать сведения, кто из лицейских профессоров и воспитанников участвовал в тайных обществах. При этом указано, что не только участие в тайных обществах, но и разговоры с членами этих обществ — государственное преступление⁴.

«Новый порядок» в Лицее носил тюремный характер даже в быту. Так, лицеистам запрещалось «высовываться в форточки на улицу», и даже в своих комнатах они не имели права расстегнуть мундиры, «ибо на основании высочайшей воли им позволено только расстегивать воротники, и то во время стола и в классах»⁵.

Нашелся ли человек, который в кровавые декабрьские дни, в обстановке оголтелой реакции, поднял голос в защиту лицейской системы воспитания? Да, такой человек нашелся. Это был Пушкин, сам еле уцелевший от декабрьской катастрофы и только что амнистированный Николаем I в надежде, что поэт «исправится» и что его перо может быть «полезным».

По поручению Николая, Пушкин написал в 1826 году записку «О народном воспитании». Следует подчеркнуть обстоятельство, имеющее важное значение: ее поручили писать *бывшему лицеисту*, воспитаннику заведения, которое повсюду объявлялось одним из источников декабристского вольномыслия и которое в это время уже стало аракчеевской казармой. Николай, конечно, менее

всего ожидал советов по вопросу о «народном воспитании» от Пушкина: записка была только лишь поводом для политического экзамена человеку, служившему до этого времени самым ярким примером лицейского вольнодумства (кстати говоря, так и был назван Пушкин в болгаринском доносе на Лицей, на котором есть пометка: «Единственно для высочайшего сведения»). Бенкендорф, передавая Пушкину поручение царя составить записку, писал: «...предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания»⁶.

В литературе о Пушкине правильно отмечалось, что поэт был вынужден избрать в записке «О народном воспитании» вполне благонамеренный тон — результат условий, в которых она писалась. Несомненно также, что здесь отразились те кратковременные иллюзии о возможности «постепенных улучшений», которые Николай I внушил Пушкину своей лицемерной тактикой и лживыми обещаниями. Пушкин надеялся тогда, говоря словами этой же записки, «соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений».

Однако если рассматривать Записку в соотношении с принципами Лицея, в котором учился Пушкин, то станет ясным его стремление защитить основы педагогической системы, выработанной там. Домашнее воспитание Пушкин порицал за то, что «ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести». В этих словах чувствуются отзвуки высказываний Малиновского и Куницына, которые, как мы видели, отмечали растлевающее влияние рабства и выдвигали на первый план науку «о взаимных отношениях людей». В том же духе выдержаны замечания Пушкина, направленные против военизации образовательных учреждений (юношеству нужно «созреть в тишине учения, а не в шумной праздности казарм»), против телесных наказаний и «жестокости воспитания», которое делает из воспитанников «палачей, а не начальников».

Все эти утверждения Пушкина фактически оказались направленными против военно-полицейской реорганизации Лицея, проводившейся в это время главным начальником кадетских корпусов генералом Демидовым.

В свете этого особый смысл приобретают слова Пушкина о том, что «кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении».

Но особенно крамольной была защита Пушкиным системы идейно-гуманитарного воспитания, которую он испытал на себе. Программы занятий «в гимназиях, лицеях и пансионах при университете» представлялись Пушкину в таком же виде, как и в Лицее прежних лет. «Предметы учения в первые годы не требуют значительной перемены», — писал он, возражая лишь против того, что «языки слишком много занимают времени». Само содержание и методика преподавания политических наук, на которых настаивал Пушкин, полностью отвечает лицейской педагогике первого шестилетия. «Высшие политические науки, — писал он, — займут окончательные годы. Преподавание прав, политическая экономия по новейшей системе Сея и Сисмонди, статистика, история». Особенное внимание обращает Пушкин на историю: «История в первые годы учения должна быть голым хронологическим рассказом происшествий, безо всяких нравственных или политических рассуждений». Здесь Пушкин возражает против реакционной тенденциозности преподавания и против обычного в то время опорочения прогрессивных политических систем. «К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное?» — продолжает он. В окончательном курсе «преподавания истории» должны даваться оценки тех или иных систем, но и здесь не следует, в частности, порочить республиканские образы правления: «Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить; не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем». «Вообще, — заключает Пушкин, — не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны». Исследователь записки «О народном воспитании», А. Г. Цейтлин, комментируя это место, пишет: «Для Николая совершенно непонятно было, зачем

Кесаря, законного монарха, как-никак представлявшего в древнем Риме неограниченную власть, необходимо представить «честолюбивым возмутителем», а воспетого декабристами Брута «представлять защитником и мстителем коренных постановлений отечества»⁷.

Достаточно сравнить отчет конференции Лицея о первых шести годах обучения, то есть о периоде, когда учился Пушкин, с положениями его записки, чтобы увидеть, что он защищал характерные для своего времени установки преподавания в Лицее. В пушкинском Лицее изучение истории начиналось с хронологического изложения происшествий, а затем давалась «картина благоустройства гражданских обществ», причем «конференция поставляла в необходимую обязанность преподающему предлагать истины исторические со всею точностью и со всяким беспристрастием, достойным историка». Конечно, на деле «беспристрастия» не было и не могло быть, но само требование это было направлено (в условиях того времени) против реакционной педагогики, насаждавшей преклонение перед самодержавием в его самой деспотической форме. Что же касается требований Пушкина «не искажать республиканских рассуждений», «не позорить убийства Кесаря» и оправдать Брута, то в лицейских лекциях, как мы видели, проводились именно эти тенденции.

Несмотря на внешне благонамеренный тон записки, все же она была актом исключительной смелости. По поводу своей записки Пушкин сказал приятелю — А. Н. Вульфу: «Мне было бы легко написать то, чего хотели: но не надобно пропускать такого случая, чтобы сделать добро»⁸.

«Добра», однако, не вышло. На записке «О народном воспитании» появилось более сорока возмущенных вопросительных и восклицательных знаков, поставленных рукой императора*, а Бенкендорф передал Пушкину следующие его слова: «Принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило, опасное для об-

* Возле утверждения о том, что «дух народов — источник нужд и требований государственных», Николай поставил пять вопросительных знаков.

щего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей». Пушкину, следовательно, опять напоминалось, что он и его друзья — декабристы — жертвы предложенной в записке системы воспитания. А далее следовало назидание: «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному»⁹.

Смысл той системы просвещения, о которой писал Пушкин в своей записке, был разгадан. Николай I вводил в учебных заведениях, и в том числе в Лицее, как раз ту систему «жестокое воспитания», против которой возражал Пушкин. Любопытное совпадение: русский царь полностью сошелся с точкой зрения мракобеса Жозефа де Местра, в свое время критиковавшего принципы лицейского воспитания с тех же позиций борьбы против малейших проявлений свободомыслия. Пушкинская же записка «О народном воспитании», в которой звучал голос убежденного сторонника лучших традиций Лицея, вызвала лишь жандармский окрик.

2

Находясь в михайловской ссылке, Пушкин набросал в черновой рукописи послания Пушкину элегические строки:

Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы —
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды,
Где ж молодость? Где ты? Где я?
Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш Лицей...

Уже из этих строк видно, что в трактовке лицейской темы Пушкин никогда не замыкался в интимной элегии: в них проявилась замечательная способность поэта даже в личных мотивах отражать общественные настроения.

Лицейская тема в лирике Пушкина 1820—1830 годов стала темой верности идеям свободы и протеста против политических сил, враждебных «святому братству» вольнолюбивых друзей.

Выше мы показали, что «союз», «святое братство» в Лицее действительно существовало. Но после окончания Лицея воспитанники продолжали провозглашать идеи «лицейского союза», восхвалять его традиции публично. Стихи Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера, прославлявшие «святое братство» людей, связанных общностью убеждений, печатались на страницах «Сына отечества», «Невского зрителя» и других журналов; это была одна из форм пропаганды более широкой идеи сплочения прогрессивной молодежи. Кюхельбекер в письме «Лицейского ветерана к другу» (напечатано в «Сыне отечества», 1818) писал о роли Лицея в воспитании гражданской доблести и любви к отечеству. Куницын в конце своих статей о конституции и на другие политические темы неизменно делал пометку: «Царское Село». Куницын вместе с бывшими лицеистами (Пушкиным, Пушиным) встречался в 1819 году у Н. Тургенева на собраниях Журнального общества¹⁰.

Намеки на какие-то петербургские собрания, где участвовали «Пушкин и вся лицейская дружина», имеются в воспоминаниях Федора Глинки. Наконец, по свидетельству Энгельгардта, бывшие воспитанники первого выпуска частенько наведывались в Лицей. Особенно часто приезжал Пущин — в то время член тайного общества «Союза благоденствия», не упуская возможности пропагандистской работы среди воспитанников следующего выпуска под флагом «преемственности». Не случайно в лицейском рукописном журнале «Лицейские ведомости» (1817, № 1, 15 декабря) помещено объявление с предупреждением: «Тот, кто станет у новых поселенцев обнаруживать дерзкие и республиканские мысли, подвергнется жесточайшему наказанию»¹¹.

В сохранении и пропаганде свободолюбивых традиций была заинтересована, конечно, передовая группа бывших лицеистов.

Именно поэтому так называемые «лицейские годовщины» — ежегодное празднование дня открытия Лицея (19 октября) — служили поводом для политических деклараций, которые в обстановке александровской, а затем николаевской реакции не только напоминали о былом, но и свидетельствовали о живучести «лицейского духа».

Старое пушкиноведение обходило политическую сторону «лицейских годовщин». А между тем именно эта сторона представляет действительный интерес.

К. Грот в статье «Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него» (1909) пишет: «Без сомнения, обычай вспоминать день открытия Лицея (19 октября 1811 года) ежегодной сходкой на скромную товарищескую пирушку* установился у воспитанников I курса непосредственно по выходе из Лицея (в 1817 году), так как наверно и в стенах Лицея они привыкли по-своему чествовать этот день. Но о первых годовщинах, с 1817 по 1822 год, мы сведений не имеем». Теперь эти сведения нами обнаружены. Вместе с тем можно установить имена тех, кто особенно чтит лучшие традиции Лицея. Это Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер, Яковлев (его прозвали «Лицейским старостой») и наиболее активный из них Пущин. Из письма Н. Корсакова Горчакову от 28 октября 1818 года мы узнаем, что сходка воспитанников в первый год после окончания ими Лицея была организована у Пущина. Корсаков пишет: «19-го этого месяца в количестве 14 человек мы собрались у Пущина», «пели лицейские песни», «снова возвратились в доброе старое время». В других письмах разных лиц имеются сведения о собраниях в Москве и Петербурге, как организованных в честь 19 октября, так и независимо от этой даты. 19 октября 1817 года тот же Корсаков извещает «представителей единой и неделимой лицейской республики в Москве» (заголовок письма) о том, что накануне у него был «лицейский обед», где в числе других товарищей присутствовал Вольховский (в то время член «Союза благоденствия»). О частых встречах лицейцев и особенно о Пущине как хранителе «лицейской дружбы» упоминает Энгельгардт в письмах к Матюшкину, Горчакову, Вольховскому. Даже в Сибири Пущин не забывал дня 19 октября. А. Е. Розен в 1832 году писал Энгельгардту со слов Пущина (осужденному декабристу было запрещено находиться с кем-либо в переписке): «Грустно ему было читать в письме вашем о последнем 19-м октября... Передайте дружеский поклон Ивана Ивановича всем верным союзу дружбы;

* Характерное для Грота осмысление сущности годовщин.

охладевшим попеняйте. Для него, собственно, этот день связан с незабвенными воспоминаниями; он его чтит ежегодно...»¹²

В чем же выразилась политическая сторона «лицейских годовщин»?

Намеки на свободолобивые традиции Лицея имеются даже в стихах осторожного Илличевского, которые были прочтены на сходке 1822 года:

Доколе сердце в нас свободно,
И чести внятен строгий глас,
Дадим же руки ежегодно
Мы освещать сей день меж нас¹³.

Пушкин находился в южной ссылке, и эту годовщину праздновали без него. Но именно Пушкин в своих стихах, посвященных лицейским годовщинам, подчеркивал их политический характер.

Первое из своих стихотворений, посвященных лицейским годовщинам, Пушкин написал в 1825 году («Роняет лес багряный свой убор...») в глухой михайловской ссылке; отсюда упоминание о «горьких муках», об одиночестве, печали. Начальные строфы воспринимаются как проверка верности лицейским традициям:

Я пью один, и на берегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
*Кого от вас увлек холодный свет? **
Чей глас умолк на братской переключке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?

Далее подтверждается вольнолюбивая основа лицейского союза, вечного, неколебимого и свободного:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен.
Срастался он под сенью дружных муз...

Между окончанием Лицея и годовщиной 1825 года в жизни Пушкина произошли события, которые давали возможность проверить истинность дружбы.

Первым из тех, кто исполнил лицейскую клятву

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

дружбы и верности, был Пушкин, приехавший в Михайловское в январе 1825 года:

...Поэта дом опальный,
О Пушкин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнания день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

С нежностью говорит Пушкин и о другом своем друге — также приехавшем в Михайловское и оказавшем ему моральную поддержку:

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурю главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

Проникновенные строфы посвятил Пушкин Кюхельбекеру; «брат родной по музам, по судьбам», сам подвергшийся впоследствии опале, публично выразил сочувствие Пушкину. Когда в 1820 году стало известно о нависшей над Пушкиным грозе, Кюхельбекер напечатал стихотворение «Поэты» с клятвенным заверением:

...не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастье и в несчастье твердый...

Значение этой поэтической декларации заключается в утверждении, что гонителям невозможно усмирить поэтов:

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала! ¹⁴

Это стихотворение Кюхельбекера читалось на публичном собрании Вольного общества любителей российской словесности. Оно послужило поводом для политической демонстрации в защиту гонимого Пушкина.

Вспоминая близких своему сердцу друзей, Пушкин выражал надежду на встречу с ними в будущем году. Но 1826 год был годом последекабрьской реакции — самой суровой проверки «лицейского союза». Ведь многие

в тот период отказывались от своего вольнолюбивого прошлого. Как же была отмечена лицейская годовщина в этой обстановке отчаянья и тоски?

Если от некоторых из лицейских годовщин сохранились протоколы (два из них, 1828 и 1836 годов, написаны преимущественно Пушкиным), то сведений ни об участниках собрания 1826 года, ни о его содержании почти не осталось. Причины ясны: на этом собрании не могло не быть выражено отношения к декабрьским событиям, участниками которых были двое бывших лицеистов — Пущин и Кюхельбекер. И в самом деле, стихотворение Дельвига, которое было тогда прочитано, гласит:

Снова, други, в братский круг
Собрал нас отец похмелья,
Поднимите ж кубки вдруг
В честь и дружбы и веселья,

Но на время омрачим
Мы веселье наше, братья,
Что мы двух друзей не зрим
И не ждем в свои объятья.

Нет их с нами, но в сей час
В их сердцах пылает пламень.
Верьте. Внятен им наш глас,
Он проникнет твердый камень...

На том же листке написаны стихи Илличевского, также провозглашающие незыблемость лицейского союза:

Хвала лицейским! Свят обет
Им день сей праздновать свиданьем.
Уже мы розно девять лет,
Но связаны воспоминаньем!

И что же время нам? Оно
Расторгнуть братских уз не смеет,
И дружба наша, как вино,
Тем больше крепнет, чем стареет¹⁵.

Братский привет осужденным друзьям Пушкин послал позже. Он в день лицейской годовщины был в Москве и поэтому не мог принять участия в сходке. Своему другу «Жанно» (Ивану Пущину) Пушкин послал в Сибирь с женой декабриста Муравьева стихотворение «Мой первый друг, мой друг бесценный», проникнутое

глубокой любовью и братским сочувствием. Стихотворение помечено «13 декабря 1826 г.», то есть оно написано в канун годовщины декабрьского восстания. В конце говорится о «лицейских ясных днях», лучом которых поэт надеялся озарить заточенье друга. Тема Лицея и тема декабризма сближались, таким образом, в поэтическом сознании Пушкина. Такое же сближение сделано поэтом в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 1827 года: «Бог помочь вам, друзья мои».

Разлука, время, реакция не могли разрушить идейных уз «святого братства». В 1828 году Кюхельбекер в стихотворении на лицейскую годовщину восклицал:

Моих друзей далекий круг!
Вспомнит ли в сей день священный,
В день, сердцу братьев незабвенный,
Меня хотя единый друг?

А 20 октября 1830 года Кюхельбекер писал Пушкину из арестантских рот Динабургской крепости: «Вчера был лицейской праздник; мы его праздновали не вместе, но — одними воспоминаниями, одними чувствами»¹⁶.

Для Пушкина и его круга не только самый день 19 октября, но и воспоминание об осужденных товарищах были священными. С Кюхельбекером случайно встретился он около Боровичей 14 октября 1827 года: его друга перевозили из Шлиссельбургской крепости. Встреча эта описана Пушкиным в лаконичных, но исполненных глубокого трагизма строках.

С годами лицейская тема приобретала у Пушкина все более и более трагическое звучание. В 1831 году он не был на сходке (возможно потому, что не стало одного из его ближайших друзей — Дельвига и круг собравшихся после этого почти потерял для него интерес). Но и на эту годовщину он откликнулся стихами, лейтмотив которых — влияние мрачной, жестокой действительности на лицейскую семью:

Чем чаще празднует Лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш,
И наши песни тем грустнее.

Далее в зачеркнутой строфе вспоминаются события за двадцать лет: война 1812 года, смерть Александра, смерть Наполеона, борьба греков за независимость, французская революция 1830 года, свержение Карла X, июльское восстание. Строфа была откинута, по-видимому потому, что в этом контексте слишком ясными становились политические намеки третьей строфы, посвященной Пушкину и его друзьям:

...дуновенья бурь земных
И нас нечаянно касались,
И мы средь пиршеств молодых
Душою часто омрачались;
Мы возмужали; рок судил
И нам житейски испытанья,
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.

Этим же настроением было проникнуто уже упоминавшееся стихотворение Кюхельбекера «19 октября 1828 года», написанное на несколько лет раньше.

Какой волшебною одеждой
Блистал пред нами мир земной!
С каким огнем, с какой надеждой,
С какою детской слепотой
Мы с жизнью вступали в бой.
Но вскоре изменила сила...

Перечисляя потери среди лицейских друзей, Пушкин с особенной скорбью говорит о Дельвиге:

Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых...

Стихотворение все же оканчивается жизнеутверждающим мотивом:

Тесней, о милые друзья,
Тесней наш верный круг составим,
Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим...

Особенный интерес представляют пушкинские стихи на лицейскую годовщину 1836 года. В тот год по случаю двадцатипятилетия Лицея возникло предложение объединиться трем выпускам для ознаменования этого дня,

Пушкин резко выступил против такого объединения. Еще в 1825 году он писал:

Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?

Теперь он вновь подтвердил в записке М. Л. Яковлеву: «Нечего для двадцатипятилетнего юбилея изменять старинные обычаи Лицея. Это было бы худое предзнаменование. Сказано, что и последний лицеист * один будет праздновать 19 октября. Об этом не худо напомнить. № 14» **. Значение этих слов Пушкина (как и многих других фактов) попросту игнорировалось историками Лицея и биографами поэта.

За объединение всех выпусков выступил Модест Корф, которому идейная основа содружества передовых лицеистов была чужда. «Нет причины отказываться от соединения трех выпусков, — писал он Яковлеву — ...должен сознаться, что это будет несравненно *веселее*... лицейские воспоминания между нами всеми могут быть точно так же живы и *громки*, а о другом, постороннем, едва ли тут кто и затеет говорить, да и, кажется, и лета наши уже не те, чтобы опасаться иметь при нашем разговоре свидетелей». Последние слова явно выдают нежелание Корфа слышать разговоры «о другом, постороннем», то есть разговоры политические ¹⁷.

Но все же точка зрения Пушкина и его сторонников победила: на годовщину были допущены только лицеисты первого выпуска. Были и разговоры «о другом, постороннем». В протоколе этой сходки, между прочим, отмечено, что присутствующие читали «письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей». Кроме того, тогда же читали бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева, «поминали лицейскую старину», «пели национальные песни». О Пушкине сказано, что он «начинал читать стихи на 25-летие Лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не dokonчил; но обещал докончить, списать и приобщить к сегодняш-

* Подразумевается последний из лицеистов пушкинского выпуска.

** Пушкин подписался номером комнаты, в которой он жил, участь в Лицее.

нему протоколу». По другому свидетельству Яковлева (который закончил протокол, почти весь написанный Пушкиным), Пушкин начал читать стихи, но «слезы полились из его глаз. Он не мог продолжать чтение»¹⁸. Это вполне правдоподобно: стихотворение «Была пора...» принадлежит к самым трагическим произведениям Пушкина. Поэт, затравленный царем и придворной кликой, как бы дает отчет о событиях за двадцать пять лет. Безвозвратно кануло в прошлое время, когда «жили все и легче и смелей», когда молодой праздник «сиял, шумел и розами венчался». Теперь не то:

Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.

Прошедшие годы были годами бурных событий:

...Метались смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

Дальше Пушкин разворачивал историческую тему, но стихотворение осталось неоконченным. В последний раз присутствовал он на лицейской годовщине: менее четырех месяцев отделяли его от гибели. После дуэли, умирая, он с любовью и грустью вспоминал друзей юности. «Как жаль, — говорил он, — что нет теперь здесь ни Пушина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать»¹⁹.

Отклики лицейских друзей поэта на его смерть пронизаны идеей взаимной ответственности за судьбу каждого из членов «святого братства». Матюшкин писал М. Яковлеву в 1837 году: «Пушкин убит — Яковлев, как ты это допустил — у какого подлеца поднялась на него рука! Яковлев, Яковлев, как ты мог это допустить? — Наш круг редееет, пора и нам убираться». Еще ярче выражена та же мысль в письме И. И. Пущина к своему лицейскому товарищу И. В. Малиновскому: «... если бы при мне должна была случиться несчастная его (Пушкина. — Б. М.) история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь...»²⁰

С отчаянием писал Кюхельбекер в сибирском одиночестве о потере Пушкина, как о горе, после которого незачем и не для чего жить:

Последний пал родимый мне поэт...
И вот опять Лицея день священный;
Но уж и Пушкина меж Вами нет.

Пора и мне!.. ²¹

После гибели Пушкина лицейские годовщины теряют свой политический характер. Полностью обесцвечивается идейное содержание «лицейского союза». Иначе и не могло быть: время обнаружило с еще большей остротой враждебность взглядов передовой и консервативной групп лицейстов. В 1837 году Корф откровенно писал Вольховскому, что день 19 октября празднуется, но «без прежнего радушия: судьба и обстоятельства слишком раскидали и разрознили нас, чтобы струны далекой молодости звучали и отдавались так же согласно, как бывало прежде». Были, однако, люди, для которых «струны далекой молодости» звучали. Все еще продолжал поминать ветеран «святого братства» Иван Пущин в своих письмах «священный день» 19 октября, а Кюхельбекер еще много лет спустя, слепой, хилый, преждевременно постаревший, но сохранивший живость поэтической фантазии, писал в своих стихах о «гордом» времени Лицея, о союзе поэтов, о тени Пушкина. Но это были воспоминания одиночек, воспоминания, которые не были и не могли стать фактом общественной жизни и сохранились для истории лишь в пожелтевших, ветхих страницах семейных архивов ²².

Эти страницы рассказывают и об одном эпизоде, который мог бы показаться странным и неправдоподобным, если бы мы не знали, насколько сильной была для людей пушкинского круга идея «лицейского союза». В 1861 году Иван Малиновский, лицейский сверстник Пушкина и сын первого директора Лицея, обратился к А. М. Горчакову с любопытнейшим письмом. В день пятидесятилетней годовщины основания «Лицейской республики» Малиновский, 65-летний старик, живший в неизвестности в селе Каменка близ Изюма, потребовал в силу лицейских правил равенства у министра иностранных дел и человека, «особо приближенного к императору», отчет о том, как он выполнял клятвы «лицей-

ского союза». Перемежая слова лицейского гимна со стихами Пушкина, Малиновский писал:

«Мы пели:

Шесть лет промчалось как мечтанье
В объятьях сладкой тишины.

Теперь надо проверить нам себя, дать добросовестный отчет за 50 лет! Как состязались мы? — среди житейских бед! Было ль в нас: *К правде пылкое стремление* — сохранили ль мы: *Юную к славе кровь!*

В несчастьи гордое терпенье,
А в счастье всем равно любовь?

Вам есть возможность быть вместе, допросить каждого по-товарищески обо всем этом, а меня как мои 65 лет, так и настоящий сезон, при семейных обстоятельствах, лишают этой отрады. Приветствую вас. *Бог в помощь вам, друзья мои. В заботах жизни, царской службы.*

А о себе скажу:

Пожатый лавр на поле брани
Оставил формуляр мой пуст».

Отчитываясь в своем жизненном пути, Малиновский далее продолжал: «Всем видевшим меня на Украине в состязании 33 года могу смотреть прямо в глаза. По твоей умозрительности, достойный лицеист и князь, предоставляю разделить это с нашими *старыми* товарищами или положить под спуд. Подобною выходкою хотя трудно вас, сановников, вызвать на изложение подвигов служебной жизни вашей, но в оправдание девиза лицейской медали: «Для пользы общей», следовало бы дополнить:

Он взял Париж
И создал наш Лицей».

Малиновский предлагает, чтобы каждый из оставшихся в живых лицеистов отчитался бы в своих делах перед товарищами и ответил на вопрос: «А мы вот что сделали такое. Отлитографовать бы исповедь, сколько есть нас в живых первого курса, и размеяться».

Но время не приметно льется,
Наш круг все меньше и тесней.
Кому-то одному придется
Всех пережить своих друзей.

Осталось еще десять, если граф Броглио жив, — и, кажется, живем ладно.

...Храните, о друзья, храните
Ту ж дружбу с тою же душой.

Это двестише на 50-летний юбилей мой тост и спич, ибо в порочном сердце дружба не живет...

Пожми за меня искренно руку товарищам, у кого я остался еще в памяти, а я мысленно заключу вас в объятия. Толпа воспоминаний! Мир праху отшедшим, а радости живущим бог пошлет. Скажи мне слово о кончине нашего Энгельгардта или попроси Матюшкина, он, верно, знает.

С уважением тебе преданный *Иван Малиновский*.

4 июня 1861 г.

Село Каменка близ г. Изюма» ²³.

В этом письме все должно было казаться диким для сиятельного князя — министра: и дерзкое требование отчета в жизненных делах, и обращение на «ты», и колкое замечание: «трудно вас, сановников, вызвать на изложение подвигов служебной жизни». Но то ли искренний тон письма Малиновского, то ли ожившие воспоминания о лицейских годах заставили Горчакова откликнуться. В письме Малиновскому 23 июня 1861 года Горчаков уверял его: «Как ты, и я верен старой дружбе и старым воспоминаниям». Но от письма веет холодом, а монархически-официальные фразы, резко контрастирующие с лирическим тоном Малиновского, напоминают типичные назидания «вышестоящих лиц». «Моей исповеди тебе не посылаю, — писал Горчаков, — но прошу принять старую фигуру мою в прилагаемой карточке. Если не покажусь тебе красив, то не моя вина, зачем ты не дал случая показаться тебе до истечения более 40-летней разлуки. Благодарю бога, дух бодр и не унывает, голова светла, но физические силы истощаются... Будущность России огромна, но путь нелегок; но я надеюсь, что достигнем цели, и в этой надежде укрепляет меня вблизи дознанная великая душа государя (Александра II. — Б. М.) и пламенная любовь его к своей России» ²⁴.

«В прощальной песне воспитанников Лицея», написанной Дельвигом, о родине говорилось:

Мы дали клятву: все родимой,
Все без раздела — кровь и труд
Готовы в бой неколебимо.
Неколебимо — правды в суд.

Для иных из современников Пушкина за этими словами не скрывалось никакого реального содержания. Но для самого Пушкина, для его друзей-единомышленников здесь таился сокровенный, глубокий смысл. Облик Пушкина и в жизни и в литературе действительно определила позиция борца «за благо отчизны».

ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА



Время незабвенное!.. Как сильно билось
русское сердце при слове *отечество!*..

Пушкин.

Мы были дети 1812 года.

Декабрист М. И. Муравьев-Апостол.



Глава первая

СОВРЕМЕННОК ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ

1

14 декабря 1825 года восставшие против самодержавия гвардейские полки вышли на Сенатскую площадь под сенью георгиевских знамен, полученных «за отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году». В этом был великий исторический смысл. Декабристское движение глубочайшими своими корнями связано с героической эпопеей русского народа — войной 1812 года против наполеоновской Франции. Национально-освободительная война, обнаружившая перед всем миром свободолюбие, могучие силы, одаренность русского народа, взрастила декабристов, способствовала формированию взглядов будущих борцов с самодержавием. В годы победоносной борьбы против Наполеона стало особенно явственным противоречие между богатейшими возможностями русской нации и тем бесправным, угнетенным положением, в которое русский народ был поставлен феодально-крепостническим режимом. Идеи национальной свободы и национального самосознания, получившие яркое развитие в период войны 1812 года, имели громадное значение для всей общественной жизни России, для революционного движения, для культуры и литературы.

Об этом много говорили декабристы в своих письмах, в показаниях следственному комитету и в позднейших воспоминаниях, Александр Бестужев в письме из крепо-

сти к Николаю I писал: «Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия России». С. И. Муравьев-Апостол считал трехлетнюю войну, освободившую Европу от ига Наполеона, и ее политические последствия первыми «источниками революционных мнений». И хотя в таком признании имеется некоторая односторонность («революционные мнения» явились результатом не только войны, но и всей совокупности условий действительности и прежде всего роста антикрепостнического протеста в народе), все же эти слова одного из вождей декабризма знаменательны. Отечественная война заставила всех передовых людей России по-новому оценивать гражданскую доблесть человека, общественный долг. Сергей Трубецкой вспоминал: «Мы часто говорили между собой о бывших событиях, о славе государя, о чести имени русского, рассуждали, что уже, быв каждый по возможности своей полезен отечеству в военное время, не должны быть бесполезны и в мирное». Стало ясным: жить так, как жили до войны, больше нельзя. С. Волконский в своих записках рассказывает, что после героических походов 1812 года бесцветный общественный быт, «вахт-парадная» жизнь и «даже частная жизнь, тягостная, скучная, стали невыносимыми. Зародыш сознания обязанностей гражданина сильно уже начал выказываться в моих мыслях и чувствах, причиной чего были народные события 1814 и 1815 годов, которых я был свидетелем, вселившие в меня, вместо слепого повиновения и отсутствия всякой самостоятельности, мысль, что гражданину свойственны обязанности отечественные». Об этом же говорил и декабрист Лорер: «По возвращении из Парижа увидели в рядах своих новое поколение офицеров, которое начинало уже углубляться в свое назначение, стало понимать, что не для того только носят они мундиры, чтобы обучать солдат маршировке да выправке. Все стали стремиться к чему-то высшему, достойному, благородному»¹.

М. В. Нечкина в своей книге «Грибоедов и декабристы» справедливо замечает: «Отечественная война окончательно разбудила еще не вполне проснувшееся поли-

тическое сознание будущих декабристов». В самом деле, в среде передовой дворянской молодежи после войны политические интересы стали преобладающими. Оболенский показал на следствии: «Науки политические сделались по возвращении гвардии в 1814 году предметом общих разговоров». Один из участников Отечественной войны и виднейших членов «Союза благоденствия», Федор Глинка, в стихотворении, написанном много лет спустя, так обрисовал облик передового поколения этого времени:

Была прекрасная пора:
Россия в лаврах, под венками,
Неся с победными полками
В душе — покой, в устах — «ура!»,
Пришла домой и отдохнула.
Минута чудная мелькнула
Тогда для города Петра.

...Но перед вами отличался
Семеновский прекрасный полк.
И кто ж тогда не восхищался,
Хваля и ум его, и толк,
И человеческие манеры?
И молодые офицеры,
Давая обществу примеры,
Являлись скромно в блеске зал.
Их не манил летучий бал
Бессмысленным кружебным шумом:
У них чело яснилось думой,
Из-за которой ум сиял...
Влюбившись от души в науки
И бросив шпагу спать в ножнах,
Они в их дружеских семьях
Перо и книгу брали в руки,
Сбираясь, по служебном дне,
На поле мысли, в тишине...
Тогда гремел, звучней, чем пушки,
Своим стихом лицейский Пушкин...²

Огромное значение Отечественной войны 1812 года в развитии русского народа и русской культуры отмечали все виднейшие представители общественной мысли и революционного движения.

«Много славных и блестящих мгновений пережила молодая Россия — молодая и юная, несмотря на свою девятивековую жизнь, — писал Белинский — ...уже не раз опытом блестящих побед и славных торжеств сознавала она свои исполинские силы; но что все эти опыты перед

эпохой XII и XIV годов?.. Но что вся эта бодрственная, недреманная, полная трудов и деятельности жизнь перед той, для которой снова как бы пробудилась она страшным кликом: «Неприятель идет на Москву»? что все прежние ее восстания от сна перед тем, которое совершилось при зареве пылающей Москвы... И после того, какой блистательный ряд торжеств!.. У всякого народа — своя история, а в истории свои критические моменты, по которым можно судить о силе и величии его духа, и, разумеется, чем выше народ, тем грандиознее царственное достоинство его истории, тем поразительнее трагическое величие его критических моментов и выхода из них с честью и славой победы. Дух народа, как и дух частного человека, выражается вполне только в критические минуты, по которым одним можно безошибочно судить не только о его силе, но и о молодости и свежести его силы»³.

Как бы продолжая эту мысль Белинского, Герцен утверждал: «Новая Россия начинается с 1812 года». В книге «О развитии революционных идей в России» он писал, что «после этого кровавого крещения вся Россия вступила в новую фазу. Невозможно было сразу перейти от волнений национальной войны, от славной прогулки по всей Европе, от взятия Парижа к мертвому штилю петербургского деспотизма... Вскоре после войны в общественном мнении обнаружилась большая перемена»⁴.

Вопреки буржуазным историографам, считавшим, что литература — главный источник формирования общественных взглядов, классики революционно-демократической мысли подчеркивали определяющее значение самой жизни и в том числе одного из величайших исторических событий — разгрома наполеоновского нашествия. «Не книгами, не журналами, не газетами пробуждается дух нации, он пробуждается событиями, — писал Чернышевский — ...Не русские журналы пробудили к новой жизни русскую нацию, — ее пробудили славные опасности 1812 года»⁵.

Позднее в марксистской исторической науке было исчерпывающе вскрыто историческое значение народной борьбы против захватнических войн Наполеона. «Всеобщая война народов против Наполеона была реакцией национального чувства, которое Наполеон попирали ногами у всех народов», — писал Энгельс. Маркс указы-

вал, что в антинаполеоновских войнах разные классы ставили перед собой разные цели: «Все войны за независимость, которые в то время велись против Франции, носили двойственный характер: возрождения и реакции...» Сложность и противоречивость этой эпохи, ее историческое значение были вскрыты Лениным. «Империалистские войны Наполеона, — писал он, — продолжались много лет, захватили целую эпоху, показали необыкновенно сложную сеть сплетающихся империалистских отношений с национально-освободительными движениями. И в результате история шла через всю эту необычно богатую войнами и трагедиями (трагедиями целых народов) эпоху вперед...»⁶

Героическая эпопея 1812 года оказала влияние даже на тех передовых русских деятелей, для которых Отечественная война была известна лишь по воспоминаниям старших современников. Так, например, Герцен в «Былом и думах» писал: «Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей». Но если *рассказы* о войне 1812 года имели такое воспитательное значение, то можно заключить, как велико было ее влияние на непосредственных участников и свидетелей героических сражений!⁷

Знаменательно, что еще современники Пушкина упоминали имя великого поэта в ряду явлений, порожденных 1812 годом. Ближе всего подошел к теме «Пушкин и 1812 год» Герцен. Говоря о позднейших произведениях Пушкина — «Борисе Годунове» и «Истории Пугачева», — он заметил: «...В душе его звучали торжествующие, победные клики, поразившие его еще в детстве, в 1813 и 1814 годах»⁸.

В последние годы значение проблемы «Пушкин и 1812 год» особенно подчеркивается в литературоведении и выдвигается как одна из наиболее актуальных. Разработка ее необходима и для изучения более широкой проблемы становления национального самосознания поэта, его борьбы за самобытность русской культуры, вопроса о связи его патриотизма с прогрессивными тенденциями исторического развития. Необходимо выяснить, как отразились в мировоззрении и творчестве Пушкина непосредственные впечатления бурных военных лет, усилившееся после войны расслоение различных

общественных сил. Необходимо, наконец, проследить его позиции в политической борьбе вокруг оценки событий 1812 года, событий, горячо интересовавших поэта на всем протяжении его творческого пути.

2

Когда наполеоновские полчища четырьмя широкими потоками вторглись на русскую землю, Пушкин — великий современник великих событий — был всего лишь учеником младшего курса Царскосельского лицея. Волна общественного возбуждения не только не миновала мирный Лицей — военные события изменили в нем весь порядок жизни, стали главным предметом дум и разговоров. Были в Лицее и периоды особенно напряженные. В июле 1812 года стал известен приказ об эвакуации ценностей из Петербурга на случай нашествия французов. В сентябре министр просвещения Разумовский прислал директору Лицея тревожное предписание: «Как в настоящих обстоятельствах легко может случиться, что назначено будет отправить воспитанников Лицея в другую губернию, то необходимо принять заблаговременно нужные для сего меры». Опасность вскоре миновала, и Лицей остался на своем месте, но напряженность положения еще долго не ослабевала. Царскосельские дороги были дорогами войны. Иван Пущин, говоря о том, что «жизнь лицейская» сливалась с эпохой двенадцатого года, вспоминал: «Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвой, обнимались с родными и знакомыми — усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!»⁹

Продвижение русских войск к западным границам началось еще в феврале, до объявления войны. В конце февраля тронулся в путь лейб-гвардии гусарский полк, расположенный в Царском Селе. Затем проходили здесь же другие полки, направляясь через Царское Село в Гатчину и Лугу, на Порхов, Опочку и далее. В частности, 9 марта 1812 года по царскосельскому шоссе про-

шел прославленный гвардейский Семеновский полк. 9 марта он вступил в Царское Село, а 15-го был в Луге. В начале сентября лицеисты видели проходивший из Петербурга первый большой отряд ополченцев, за которым вскоре проследовал еще один отряд, численностью более семи тысяч человек. Эти впечатления остались у Пушкина на всю жизнь. В 1815 году он восклицал в стихотворении «Александрю»:

Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил...

А много лет спустя в стихотворении «Была пора...» (1836) он вспоминал о том же и с той же восторженностью:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

Эти строки были адресованы товарищам Пушкина, бывшим лицеистам, для которых Отечественная война также оставалась самым ярким событием юности. Иван Малиновский, уже будучи стариком, по поводу пушкинского стиха «Завидуя тому, кто умирать шел мимо нас» писал: «Да, именно так». Вспоминал о «патриотическом воодушевлении воспитанников» даже М. Корф: «Эффект войны 1812 года на лицеистов был действительно необыкновенный ...стихи Пушкина:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались, и пр.

были не поэтической прикрасою. Весною и летом 1812 года почти ежедневно шли через Царское Село войска, и нас особенно поражал вид тогдашней дружины с крестами на шапках и иррегулярных казачьих полков с бородами»¹⁰.

Особенно сильное впечатление на Пушкина и его товарищей произвел патриотизм русских воинов. Действительно, патриотический подъем был огромным.

Подлинные патриоты были проникнуты только лишь одним стремлением — отстоять родину. Декабрист А. Беляев говорил о самом начале войны: «Помню,

в какую ярость приходили все мы, оставленные в Петербурге, при мысли, что, может быть, гвардия пойдет на войну, а мы будем сидеть в городе». Армия также была охвачена патриотическим порывом. В дневнике В. И. Бакуниной в мае 1812 года было записано: «Все письма из армии наполнены желаниями войны и бодрости духа; уверяют, что и солдаты нетерпеливо хотят приблизиться к неприятелю, чтобы отомстить прошедшие неудачи». Сохранившаяся переписка современников подтверждает все эти свидетельства¹¹.

В «Записках касательно составления и самого похода Санктпетербургского ополчения», изданных в 1814 году будущим декабристом В. Штейнгелем, рассказывается, что к десяти тысячным отрядам ополченцев в Царском Селе присоединились и регулярные войска. «Несмотря на дожди и ужасно грязную дорогу, воины с веселым духом делали переходы... Пели песни и о том единственно помышляли, о том только говорили, скоро ли увидят злодея». Патриотическим воодушевлением были охвачены и толпы народа — родственников, друзей и попросту «граждан», которые сопровождали ратников. «Ополчение вышло через Московскую заставу в сопровождении многочисленных зрителей, благословлявших оное взорами и сердцами». Но провожающие здесь не оставались и пошли дальше... Проводы продолжались до самой границы С.-Петербургской губернии».

Хорошо передано в «Записках» настроение воинов к началу выступления:

«Когда ополчение взшло на Пулкову гору, с которой златыми шпиками, огромными зданиями и величественною Невою красящийся Петрополь, сквозь тонкий мрак, представился взору в низменной дали, как бы разостланный, подобно самому приятнейшему сонному призраку, тогда взоры всех обратились на сей вечный памятник преуспевания россиян, великими гениями управляемых... «Может быть, в последний раз мы любимся им, — говорили они. — Бог знает, кому определено возвратиться из нас на родину — прости! — прости!» — и выступившие невольно на геройские ланиты слезы были последней их данью слабости сердца человеческого. Град Петров скрылся из глаз — и уже в сердцах кипело одно мщение, одно желание скорее сразиться со врагом и победить его».

Штейнгель говорит о боевом настроении солдат, об их ненависти к захватчикам в тех же словах, что и Пушкин, который позднее, в десятой главе «Евгения Онегина», отмечал «остервенение народа». Штейнгель же писал, что, когда ополченцы узнали о занятии неприятелем Москвы, «всякий ощутил какое-то непонятное, мрачное остервенение, громко вопиющее сердцам: падите или отмстите!.. так что, наконец, известие сие придало новый дух, новый жар и новое мужество всем войнам. Взоры их, прѣдускоряя шаги, искали впереди врагов, чтобы побить их...

Соразмеряя взорами своими силы свои с жалким бесилием врагов, они кричали в один голос: «Не бось, батюшка! не положим на руку охулки: дал бы бог только дойти до них»¹².

Патриотическое воодушевление, овладевшее народом, горячее желание каждого истинного патриота положить жизнь на алтарь отечества захватили и Пушкина. В лицейских стихах он часто говорит о своем пребывании вне армии чуть ли не как о тягчайшей вине:

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни,
Вотще лишь гневом дух пылал!..

(«Воспоминания в Царском Селе», 1814)

Через год он вернулся к этому мотиву:

Я тихо расцветал, беспечный, безмятежный!
Увы! мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!
.....
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
Почто, сжимая меч младенческой рукою,
Покрытый ранами, не пал я пред тобою
И славы под крылом на утре не почил?

(«Александрю», 1815)

Мечта отдать жизнь во славу родины была у Пушкина и других лицейстов глубоко искренней. Недаром в то время была очень распространена легенда о детях

генерала Н. Н. Раевского. В июле 1812 года «Северная почта» сообщила о том, что в труднейшем, но победоносном сражении под Дашковым, где Раевский командовал корпусом, он послал в сражение двух сыновей десяти и четырнадцати лет. Само возникновение этой легенды характерно. Позже, во вступлении к «Кавказскому пленнику», посвященному младшему сыну генерала Раевского, Пушкин почти с благоговением вспоминал:

...в объятиях покоя
Едва, едва расцвел и вслед отца-героя
В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,
Младенец избранный, ты гордо полетел.
Отечество тебя ласкало с умилением,
Как жертву милую, как верный цвет надежд.

Если Пушкин писал так в 1821 году, то можно представить, какое впечатление произвели на юного лицеиста слухи о детях Раевского. Пушкин-лицеист не был одиноким в своем стремлении участвовать в военных действиях. В армию рвался тринадцатилетний Вильгельм Кюхельбекер, и его мать с трудом уговорила мальчика остаться на лицейской скамье. Сверстник Пушкина, сын первого директора Лицея, Иван Малиновский также переписывался с отцом на эту тему. 14 февраля 1813 года В. Ф. Малиновский писал: «Письмо твое, любезный сын, хорошо, потому что изъявляет любовь отечества, которую ты имеешь в сердце своем». Всячески одобряя патриотические чувства сына, Малиновский расценил их как проявление общего национального подъема. «Любовь отечества» «возбудила к делам геройским». Осторожно разъяснял он сыну необходимость подчиняться «наставлению и попечению» воспитателей. Вероятно, нелегко было Ивану Малиновскому, которого товарищи за удаль прозвали «казакom», выслушивать эти советы¹³.

Все помыслы воспитанников были связаны с войной. Интересен в этой связи эпизод, который рассказан Пушкиным в заметках о Дельвиге (1834): «Однажды вздумалось ему рассказать нескольким из своих товарищей поход 1807-го года, выдавая себя за очевидца тогдашних происшествий. Его повествование было так живо и правдоподобно и так сильно подействовало на воображение молодых слушателей, что несколько дней около него со-

бирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе». Здесь примечательна не столько сила фантазии Дельвига, сколько направленность интересов его и его друзей.

Все связанное с борьбой за родину было в центре внимания лицеистов с первого дня войны. «Когда начались военные действия, — вспоминал Пущин, — всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов: читались наперерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное». К этому можно добавить свидетельство М. Корфа о жадности, с которою «пожиралась и комментировалась каждая реляция»¹⁴.

«Реляции» — сообщения о ходе военных действий — только лишь в конце сентября 1812 года стали печататься более или менее регулярно в качестве «известий из армии», которые передавались из штаба Кутузова; до этого они представляли собою эпизодические сообщения.

О военных событиях лицеисты зачастую узнавали раньше, чем читатели официальных реляций: через Царское Село проезжали правительственные курьеры. Кроме того, лицеистов часто посещали родственники, доставлявшие свежие известия.

Одним из источников информации о политической жизни и военных событиях были для лицеистов и письма родных. Интересным свидетельством этого и вместе с тем отголоском лицейских споров о военных делах служит письмо матери В. Кюхельбекера от 24 августа 1812 года. В этом письме мать пишет сыну: «Благодарю тебя за твои политические известия». Далее из письма следует, что Кюхельбекер (как, по всей вероятности, и его друзья) был уверен в измене Барклая, тактика которого (отступление в глубь страны) вызвала тогда резкое недовольство в обществе. В письме матери Кюхельбекера обстоятельно рассказывается о судьбе Барклая: «Барклай теперь дает доказательство того, что любит свое отечество, так как по собственной воле служит в

качестве подчиненного, тогда как он сам был главнокомандующим». (Кстати, не лишено интереса, что Барклай был родственником матери Кюхельбекера и по его рекомендации Вильгельм был принят в Лицей.)¹⁵

Пристального внимания заслуживают слова Пущина: «Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий...» Все то, что нам теперь известно о лицейском воспитании, дает полное основание утверждать, что беседы профессоров не были политически нейтральными и освещали значение «дел и событий» в свойственном Лицею духе. Так, Кайданов, говоря в своих лекциях об итогах Отечественной войны, утверждал, что она «имела следствием освобождение Европы от политического рабства»¹⁶.

О том, в каком духе разъясняли события лицейские профессора, видно хотя бы из их статей. Например, «Послание к русским» Куницына (помечено: «Царское Село. Октября 28. 1812 г.», напечатано в «Сыне отечества») проникнуто горячим патриотизмом и свободолюбием. В нем резко осуждаются те страны Европы, которые «неминуемое рабство предпочли... сомнительной победе; в знак позорной неволи повергли к стопам завоевателя свои мечи, которые он превратил в оковы». Национальную независимость Куницын оценивал как первое условие народного бытия: «Пусть нивы наши порастут тернием, пусть села наши опустеют, пусть грады наши падут в развалинах; сохраним единую только свободу, и все бедствия прекратятся». Как лозунг, как священная клятва звучали проникнутые поэтическим пафосом слова послания: «Пусть земля, которую наши руки защитить не в состоянии, будет нам общею могилою; но мы умрем свободными в свободном отечестве!» Замечательное «Послание к русским» ярко отражает ту трактовку военных событий, которая внушалась воспитанникам Лицея. Эти же идеи развиты в статье Куницына «Замечания на нынешнюю войну», где, в частности, дана оценка превосходства стратегии Кутузова над стратегией Наполеона¹⁷.

Но характеристика источников, из которых лицеисты черпали сведения о происходящих событиях, была бы далеко не полной, если бы мы не учли все значение слов Пущина о том, что в газетной комнате лицеисты читали «наперерыв» журналы «при неумолкаемых толках и прениях».

Основными органами политической информации, оказывающими наибольшее влияние на общественное мнение, были два журнала: «Сын отечества» и «Русский вестник». Несмотря на недостаточно резкую еще в те годы дифференциацию политических направлений, в идеологических платформах журналов были весьма существенные различия. Эти различия отражали политические тенденции русской общественной мысли, по-своему воспринимавшиеся Пушкиным.

«Сын отечества» был, бесспорно, лучшим русским журналом военных лет. В нем печатались обзоры текущих событий, известия с театра военных действий и политические новости, статьи, посвященные анализу недавнего военного прошлого России и других стран, исторические статьи, повествующие о завоеваниях и войнах, интересных по аналогии с текущими событиями. В разделе «Смесь» публиковались рассказы (как тогда говорили «анекдоты»), характеризующие героизм и самоотверженность россиян, главным образом народа. Художественные произведения, помещенные в «Сыне отечества», как правило, также связаны с событиями Отечественной войны. Огромное пропагандистское значение имели напечатанные здесь в 1812 году басни Крылова. В числе их была и знаменитая басня «Волк на псарне», где в аллегорической форме выражалась популярная в народе мысль о том, что вступать в переговоры с врагом невозможно. Басни Крылова, связанные с темами Отечественной войны, играли огромную роль. Недаром Пушкин характеризовал великого баснописца как самого народного из русских поэтов того времени.

Прогрессивное направление «Сына отечества» нашло выражение прежде всего в том, что борьба с Наполеоном трактовалась как борьба за свободу против рабства, за национальную независимость против чужеземного «самовластия». Эта тенденция отчетливо выделяется в «Сыне отечества» (особенно за 1812 год). Правда, и в этом журнале не было последовательной позиции даже в пределах прогрессивного дворянского просветительства. Больше того, наряду с пропагандой национальной независимости и обличением деспотизма в нем иногда встречаются «благонамеренные» тирады, осуждающие Фран-

цию как родину революции и характеризующие Наполеона как «Робеспьера на коне» и т. д. Но заслуга «Сына отечества» заключается в том, что он все же помещал материалы, которые освещали войну 1812 года как войну народную, и пропагандировал прогрессивные политические идеи.

Можно с уверенностью сказать, что ни в одном русском издании этих лет идея народной войны не проводилась с такой смелостью, как в «Сыне отечества». Несомненно эту сторону журнала имел в виду реакционер Ф. Вигель, когда вспоминало «бешеных статья» «Сына отечества» военных лет. Этот журнал иногда доходил даже до прямых утверждений, что не правительство, а народ спас Россию и весь мир от порабощения Наполеоном. В статье «Положение и надежды Европы» (1813) утверждалось: «Правительство не имело надобности возбуждать или усугублять любви к отечеству и героизма, истребивших силы Наполеоновы; оно нашло их и только руководствовало и пользовалось ими с благодарумием. Собственно природною силою, подобно как из огнедышащего жерла, вспылал в груди российского народа священный огонь, истребивший врага. Когда неприятель был еще на Немане, русские крестьяне говорили: «Осмелся он войти в матушку Россию; убьем его, как волка!» Он осмелился — и обещание сие исполнилось во всем своем значении». На этом основании делался вывод о неизбежности будущего политического прогресса России, о развитии русской нации:

«Народ, одаренный сим характером и духом, пойдет исполинскими шагами и на стезе просвещения. Самая ужасная буря не могла бы умертвить сего разверзающегося цвета на древе совершенства человеческого, а бешеный изверг, по сожжении Москвы, восклицал в безумии и ярости: «Русская нация отброшена на целый век в просвещении своем»¹⁸.

Следует подчеркнуть, что именно на страницах «Сына отечества» победоносная борьба за национальную независимость трактовалась как начало новой политической эры внутри страны. Большой трактат «О порабощении и освобождении Европы», напечатанный в двух номерах журнала за 1814 год, развивает эту тему наиболее подробно. «Ныне открывается глазам нашим возвращение нового дня после продолжительной ночи, возобновление

жизни народов после долгого унижительного порабощения, великая брань соединенной Европы за свободу и правосудие». В таких тонах оценивались военные события. Национальный суверенитет и свободолюбие рассматриваются здесь в единстве. «Можно разрушить обветшалые здания царств, но нельзя поработить народа просвещенного, и хотя можно его покорить, но нельзя склонить к тому, чтобы он добровольно сносил иго рабства; всякий народ непобедим, когда решается быть независимым, и на то всяк решится, кто испытает над собою злополучие рабства; тиранству хотя и удастся отнять на некоторое время свободу действовать и мыслить и даже наложить оковы на общенародное мнение, но стесненные мысли свободного духа, наконец, воспламеняются и открываются в деяниях, превосходящих власть злодея» Таким образом, рассуждения о войне переросли в рассуждения о тирании, рабстве и свободе вообще, о перспективах политического устройства. Автор утверждает, что он не противник монархической власти, но он убежден в том, что с прошлыми порядками должно быть покончено: «Настоящее время с сопровождающими его явлениями предвещает не возвращение прежних веков, но только продолжение и развязку давно начавшейся новой эпохи». Пройдет еще несколько лет, и в этом же журнале появятся статьи Куницына с защитой конституции и критикой крепостничества¹⁹.

Иногда на страницах журнала проскальзывало и явное сочувствие республиканскому образу правления. В статье «Войны и завоевания французов» Наполеон обличается как враг свободы. Вот как оценивалось здесь «подлое насмешливое поведение» Наполеона с итальянскими республиками: «Он торжественно объявил их независимыми (29 июня 1797) и отказался от всех требований на распространение пределов Франции, а потом принудил их увенчать главу его железною короною. 14 июля, в день разрушения Бастильи, заставил он войско свое в Милане присягнуть в *непримиримой войне со врагами республики и в верности конституции 9 года*. Видно, что он сам не участвовал в сей присяге; ибо потом нарушил сию конституцию. «Воины! — говорил он тогда. — Горы отделяют нас от Франции, но вы с орлиною быстротою полетите туда для защищения свободы

и республиканцев!» Боже мой! куда девалась сия свобода!» — элегически заключал автор статьи. В другой статье («Можно ли и должно ли говорить о Бонапарте?») Наполеон порицался за ликвидацию политической свободы внутри Франции: «Французы, пребывшие верными республиканским правилам, не могут без негодования вспоминать о том, который уничтожил всю гражданскую и политическую свободу, поправ все права человечества и основал неограниченное самовластие». Таким образом, в журнале писали о Наполеоне не только как о захватчике чужих земель, но и как о императоре-самовластителе»²⁰.

Отсюда, естественно, читатель переходил к мысли о «свободном образе» правления применительно к России. Не случайно поэтому появился в том же журнале материал, обличающий самовластие и прославляющий борьбу за республику. Таковы отрывки из «Истории Нидерландов» (из Шиллера), где рассказывалось о том, как в Голландии XVI века «тиран лишен был трона» и «новые республики водрузили победоносное знамя свободы на земле, увлажненной кровью верных граждан». К этой теме примыкает и «Взгляд на республику Соединенных штатов американских областей», и другие статьи, затрагивающие вопросы американской революции или освещающие факты далекой древности. Например, Куницын перевел для журнала в 1812 году «Речь скифского посла Александру Македонскому» (из Квинта Курция), где говорилось: «Между владыкою и рабом не может быть никакой дружбы». Статья другого лицейского педагога И. Кайдакова «Освобождение Швеции от тиранства Христиана II, короля датского» развивает мысль о том, что «вся история рода человеческого есть изображение беспрестанного борения независимости и порабощения» и торжества борьбы против рабства и тиранов²¹.

В сопоставлении с отчетливо монархическим, охранительным по своему направлению «Русским вестником» эти тенденции «Сына отечества» вырисовываются с особой четкостью.

В некоторых литературоведческих работах последних лет заметно стремление к идеализации «Русского вестника» и его издателя Сергея Глинки. Псевдопатриотическая и псевдосвободолюбивая фразеология этого

журнала ввела в заблуждение ряд исследователей *. Если считать проявлением свободомыслия и прогрессивных устремлений все те писания, в которых иногда склонялись на все лады слова «тиран», «отечество», «свобода», «рабство», то придется к прогрессивным деятелям причислить прежде всего... Александра I. В первом же обращении Александра к войскам (13 июня 1813 года) указывалось: «Вы защищаете веру, отечество, *свободу*». В дальнейшем следуют еще более энергичные выражения: «Всемогущий ополчил народы, да *ею возвратит свободу народам*, да воздвигнет падшие». В другом месте, призывая народ к борьбе против Наполеона, царский манифест мотивировал это тем, что «чувство рабства незнаемо сердцу россиянина». Все обращения царя в действительности представляли собою грубую спекуляцию на стремлении народа к свободе²².

В «Русском вестнике» в статьях Сергея Глинки, в частности, мы видим, в общем, ту же политическую спекуляцию. Напечатанные там рассказы о героизме войска, о прошлом России отличались охранительной трактовкой фактов и событий. «Русский вестник» стал неофициальным органом официальной политики в 1812 году потому, что и до войны, еще в 1809 году, он прославлял «верность русских людей государю», обличал «лжеумствования» просветителей, пел дифирамбы Екатерине II, напечатал «отрывок из письма знаменитого сына отечества Аракчеева» и т. п. В период же войны Сергей Глинка пошел даже дальше царских манифестов и призывал сражаться не только за «веру, за царя», но и за «отца-помещика». «Русский вестник» стоял на позициях реакционных и охранительных и в оценке той роли, которую русский народ сыграл в Отечественной войне. Отрицать вообще роль народа в войне было бы в то время попросту невозможно (позже, как мы увидим, реакционная публицистика дошла и до этого). Более того, «Русский вестник» приводил немало фактов героизма людей из народа. Но участие народа в борьбе с французами объясняется в духе общей реакционной концепции: крестьянин, оказывается, «рад послужить царю

* Такова, например, книга С. Дурылина «Русские писатели в Отечественной войне 1812 г.», изд. «Советский писатель», М. 1943.

и богу, рад умереть за отца-помещика и за свою родную семью» («Крестьянский разговор») ²³.

В статьях исторических, помещенных почти во всех номерах журнала, героические страницы русской истории — славные подвиги праотцов освещались под определенным углом зрения: «С помощью веры и бога противоборствовали они много различным злключениям», притом «отнюдь не доверяя мнимой вольности». Именно этими чертами характеризуется древняя Русь и нравы предков в исторических статьях («Подвиг Прокопия Петровича Ляпунова», «Посольство в Россию графа Карлиля» и др.). «Коренные свойства русского народа, — утверждалось в журнале, — суть вера и послушание». Во время войны с французами исторические статьи перекликались с современными событиями. Многочисленные стихотворения, напечатанные в «Русском вестнике», варьируют на разные лады тему патриотизма в ультрамонархическом духе ²⁴.

Исключением из программы журнала являются «Письма русского офицера» Федора Глинки, напечатанные там вследствие родственных связей автора с издателем (они были братьями). Эти «Письма» резко контрастировали с основной линией «Русского вестника».

Зная, насколько сильным было патриотическое воодушевление Пушкина и его ближайших друзей, можно не сомневаться, что реакционная демагогия «Русского вестника» не пользовалась в этой среде популярностью. Пушкин не только понял суть этой демагогии, но в дальнейшем и выступал против нее. Но уже и в лицейских стихах поэта мы находим мотивы прославления роли русского народа как освободителя не только своей родины, но и всей Европы от наполеоновского ига.

Помимо журналов, главным источником официальной информации для Пушкина и лицеистов была газета «Северная почта». Из нее узнавали они подробности о сражениях, факты яростного сопротивления войска, эпизоды народной войны, вести о разорении французами русской земли. Для характеристики и стиля и характера сообщений, которые читали и комментировали лицеистам профессора, приведем одно из многочисленных «новейших известий», напечатанное в «Северной почте» 21 ноября 1812 года:

«Успехи российской армии в преследовании неприятеля час от часу становятся разительнее и быстрее. Каждый шаг ее вперед есть победа, погибельная для врагов нашего отечества, для врагов Европы. Теперь Россия представляет вселенной зрелище величественное, и смело можно сказать, что все племена, не выключая и тех несчастных рабов самовластья, которые вооружены против нее робостью и бессилием, ожидают побед ее в надежде приобрести от них мир и благоденствия. С одной стороны, мы видим мужественную армию: полки ее не расстроены; воинов ее оживляет возвышенное чувство мщения за родину, за расхищение отеческих городов и сел, мщение за человечество; их оживляет слава; они не знают изнурения, не терпят нужды, а если иногда и ощущают некоторый недостаток, почти неизбежный при стремительном преследовании врага, то сносят оный бодро, ибо имеют в виду победу. С другой — являются развалины страшного (наполеоновского) ополчения, в котором многочисленные нации иноплеменников соединены были воедино, дабы уничтожить могущественный народ в недре его отчизны. Их ободрял успех, но этот успех был обман. Один сильный удар привел в расстройство сию громаду: бегут, преследуемые ужасом; им сопутствует голод; не имея пищи, принуждены в бешенстве отчаяния пожирать мертвых лошадей... Все они, несчастные, осужденные погибнуть вдали от своего отечества, на разных языках проклинаят властолюбие, причиняющее их погибель... они сами сдаются целыми отрядами; бросают оружие при первом выстреле или сражаются из одного отчаяния. Таково положение двух армий, которыми теперь решится судьба толиких народов»²⁵.

«Северная почта» печатала материалы, свидетельствующие о том, что в России Европа видела своего избавителя.

В информации из Лондона от 23 июля 1812 года (перепечатка из английской газеты «The Courier») военному министерству Англии напоминалось, что в «прошлой войне России с Францией, к удивлению и негодованию целой Европы, мы (то есть англичане. — Б. М.) или пребывали в бездействии, или везде опаздывали... министры наши пребывали бездейственными зрителями той войны, предоставляя державам твердой земли рато-

борствовать одним между собою, как будто бы победы их не доставляли и нам выгоды, а их неудачи не наносили и нам ущерба». Далее газета «The Courier» высказывала надежду на то, что Англия изменит тактику загребания жара чужими руками. В дальнейших сообщениях из Лондона говорилось, что русский народ «столь твердый... что мы нимало не беспокоимся об успехе нынешней его войны» (11 сентября 1812 года). 30 октября того же года из Лондона было передано нечто вроде призыва: «Великодушный русский народ! Они (французы. — Б. М.) теперь в твоих руках. От тебя ждет Европа спасения». А 21 декабря «Северная почта» поместила посланное из Лондона сообщение о своеобразной реакции на победы русских войск: «Здесь (в Лондоне. — Б. М.) известия об успехах российского оружия, можно сказать, приводят в восторг всю Англию. Повсеместные пиршества изъявляют совершенно искренне участие в сих торжествах над общим неприятелем... Рюмки стучат, вино разливается повсюду изобильно; и если русские продолжают еще далее успехи свои, то они не только лишат неприятелей своих, французов, могущества их на твердой земле, но и у нас от сих побед совсем не станет вина, или по крайней мере оно очень вздорожает»²⁶.

Такого рода «кликание», конечно, вызывало улыбку у русских читателей.

Так или иначе, но факты говорили о том, что Россия действительно несла освобождение народам Европы, хотя это и противоречило интересам царского правительства. В октябре 1812 года «Северная почта» напечатала прокламацию испанского правительства. Там указывалось: зверства и вероломство Наполеона уверили Александра I «в том, что ему надлежало уже вступить за свободу и сохранение гражданственности не только северной, но и полуденной Европы. Мы, конечно, должны почитать его защитником Европы». Вскоре Пушкин мог видеть своеобразную демонстрацию по этому поводу. В апреле 1813 года, как сообщала та же «Северная почта», в Царском Селе состоялась торжественная присяга испанцев и португальцев, «с берегов Эбра буйством всеобщего врага привлеченных в Россию». В произнесенных речах звучали благодарность России, призыв к свободе и одновременно уверения в преданности «законным правителям Фердинанду VII и принцу-регенту Иоанну».

Надо учитывать, что в то время даже прогрессивные круги борьбу за восстановление монархической власти в странах, захваченных Наполеоном, рассматривали как стремление к торжеству «законных правительств»²⁷.

После перехода русских войск через Рейн и взятия Парижа, уже вся пресса была полна сообщениями о признательности разных стран мира России как спасительнице Европы от тирании Наполеона. Преклонением перед доблестью русских людей был охвачен поистине весь мир. В 1813 году «Сын отечества» сообщил о праздновании в честь русских побед в Северной Америке. Среди тостов на бостонском празднестве был следующий: «Москва! Пламя ее указало угнетенным народам путь к свободе, их притеснителям — путь к гибели!»²⁸

На все это Пушкин откликнулся в 1815 году следующими строками:

...Народы, падшие под бременем оков,
Тяжелой цепью с восторгом потрясали
И с робкой радостью друг друга вопрошали:
«Ужель свободны мы?.. Ужели грозный пал?..
Кто смелый? Кто в громах на севере восстал? »
И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колена окружила
Освобожденною от рабских уз рукой...

(«Александр») .

Как мы увидим далее, Пушкин вскоре освободился и от иллюзий относительно роли Александра I во всемирно-исторической победе русского народа. Но навсегда осталось у него убеждение, которое он выразил в 30-х годах:

...в бездну повалили
Мы гятеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир .

(«Клеветникам России»)

Глава вторая

ДВЕ РОССИИ

Все касающееся России в политическом отношении, т. е. в отношении к учреждениям и управлениям, казалось мне печальным и ужасным; все касающееся до России в статистическом смысле, т. е. до народа, свойств его и т. п., казалось мне великим и славным.

Декабрист Н. И. Тургенев.

1

Несгибаемость воли русского народа, его неустрашимость, твердость духа с восхищением отмечались современниками. Только реакционное дворянство намеренно извращало действительную роль народа в войне. Для всей передовой России стало ясно, что именно героический патриотизм и самоотверженность народа спасли родину и весь мир от порабощения Наполеоном. В стихотворении, где Пушкин впервые пытался дать развернутую картину войны, — «Воспоминания в Царском Селе» — народу посвящены самые проникновенные, пафосные строки:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщением возжены
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья...

Слова Пушкина: *«Их цель или победить, или пасть в пылу сраженья»*—передавали действительные настроения народа. Почти так же рассказывали об этих настроениях участники сражений. И. Лажечников в «Походных записках русского офицера» вспоминал: «Я видел, как молодые солдаты стремились опередить старых grenадер, как новобранцы, истреляв (не даром!) все патроны свои, прибегали к своим начальникам с просьбою дать им новые заряды и, получив их, спешили на свои места — *разить или умирать*». Другой современник, И. П. Липранди, писал о боях под Смоленском: «Ожесточение, с которым войска наши, в особенности пехота, сражались под Смоленском 15-го числа, невыразимо. Нетяжкие раны не замечались до тех пор, пока получившие их не падали от истощения сил и течения крови». Яркие картины народного патриотизма были даны в «Письмах русского офицера» Федора Глинки, присланных автором в Лицей вскоре же после появления их в свет отдельным изданием. Эту книгу Пушкин хорошо знал и помнил. Именно Ф. Глинка одним из первых указал на народный характер Отечественной войны. «Война народная, — писал он, — час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие села возжигают огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оружия оборонительные, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются!» Как пробуждение всего народа расценивал Ф. Глинка отпор Наполеону, задумавшему посягнуть на национальную самостоятельность земли русской: «Восстал дух русской земли! Он спал богатырским сном и пробудился в величественном могуществе своем. Уже повсюду наносит он удары злодеям. Нигде не сдается: не хочет быть рабом. Он заседает в лесах, сражается на пепле сел и просит поля у врага, готовясь стать и биться с ним целые дни». Почти во всех воспоминаниях декабристов отражена такая же восторженная оценка русского «ратника», рядового солдата, его «богатырской силы», его неустрашимости и наступательного порыва, — словом, тех качеств, которые воспеты в стихах Пушкина¹. Достаточно привести несколько примеров, чтобы увидеть, с какой точностью юный поэт запечатлел настроения народа в то время.

«Воины не уступали в храбрости своим офицерам, — писал в 1814 году Штейнгель. — При слове «Вперед!» бросались в град пуль и картечь и, сражаясь, как разъяренные львы, при самом сильном натиске неприятеля стояли, как неподвижные скалы. Случалось им целыми колоннами, крикнув «ура!», встречать конницу штыками и мгновенно опрокидывать ее»².

О решающей роли народа говорит И. Д. Якушкин:

«Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двенадцать языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!» В рядах, даже между солдатами, не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле»³.

Размышления о русском солдате, его духовном облике, отражены в многочисленных дневниках и письмах современников. «Русскими войсками довольны более всех. Русский солдат — великое и предостойное название!» — записывает в свой дневник Николай Тургенев. Н. В. Басаргин впоследствии писал: «12-й год и последняя война с англо-французами явно доказывает, на какие жертвоприношения готов русский народ, как мало он думает о своем достоянии, о своей жизни, когда дело идет об отечестве». Презрение солдат к смерти во имя защиты родины, сожжение крестьянами хлеба для того, чтобы он не достался врагу, партизанские подвиги стариков и старух — все это слагалось в величественную картину народной войны. Против иноземного врага встали не только войска, но и весь народ, и даже боевые генералы признавали решающую роль именно этого фактора. Так, например, генерал Н. Н. Раевский писал в письме гр. А. Н. Самойлову 23 октября 1812 года, что «мужики более, чем войска, победили французов»⁴.

Самоотверженный облик русского солдата вызывал преклонение Пушкина.

Особенно восторгала его героическая борьба «летучих отрядов», грозы французских войск. В «Письмах русского офицера» Ф. Глинка, отмечает, что рядом с обычного типа военными действиями в 1812 году велась «другого рода война», «весьма полезная для нас и крайне вредная для неприятеля». «Здесь говорится о малой войне или наездниках. Сии наездники—партизаны»⁵. Стихотворение Пушкина «Наездники» (1816) изображает партизан-«наездников» в типичных для поэзии этого времени чертах:

Уж полем всадники спешат,
Дубравы кров покинув зыбкой,
Коней ласкают и смирят
И с гордой шепчутся улыбкой.
Их лица радостью горят,
Огнем пылают гневны очи...

Романтическим ореолом остался навсегда овеванным для Пушкина образ организатора партизанщины «Дениса-храбреца» — Дениса Давыдова. В 1822 году поэт откликнулся на его «Опыт теории партизанского действия» дружески шутливым посланием:

Недавно я в часы свободы
«Устав наездника» читал
И даже ясно понимал
Его искусные доводы...

Огромное впечатление произвел на Пушкина факт, который в 1812 году облетел всю Россию. В «Сыне отечества» он был описан следующим образом:

«В армии Наполеона (как у нас на конских заводах) клеймят солдат, волею или неволею вступающих в его службу. Следуя сему обыкновению, французы наложили клеймо на руку одного крестьянина, попавшегося им в руки. С удивлением спросил он: для чего его оклеймили? Ему отвечали: это знак вступления в службу Наполеона. Крестьянин схватил из-за пояса топор и отсек себе клейменую руку. Нужно ли сказывать, что сей новый Сцевола был русский? Одна мысль служить орудием Наполеону или принадлежать к числу преступных исполнителей воли тирана, подвигала его к сему геройскому поступку»⁶. Именно этот эпизод имел в виду Пушкин, когда в

своем «Рославлеве» в уста Полины вложил восторженные слова о самоотверженности русского народа, который в борьбе с неприятелем «рубит сам себе руки» *.

С исключительной яркостью героический патриотизм русского народа сказался в дни временной потери Москвы. Сдача Москвы неприятелю была тяжелой жертвой для народа, жертвой гениального полководца Кутузова, который в сложившихся условиях был вынужден пойти на этот шаг для восполнения потерь, накопления резервов и подготовки контрнаступления, принесшего гибель противнику.

Потеря Москвы оставила сильнейший след в сознании Пушкина. В 1814 году он писал с душевной скорбью:

Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни.
Где мирт благоухал и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах,
В часы безмолвные прекрасной, летней ноши
Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях берега и светлы рощи:
Все мертво, все молчит.

(«Воспоминания в Царском Селе»)

В этих и позднейших стихах — «Наполеон на Эльбе», «Наполеон» и других — Пушкин расценивал пожар Москвы как событие, стократ увеличившее ярость народа. Горесть при вести о пожаре Москвы, которая так сильна в лицейских «Воспоминаниях в Царском Селе», охватила многих современников поэта. Николай Тургенев записал в своем дневнике 27 сентября 1812 года: «Теперь сижу я один и раздумался о положении моего отечества. Какое несчастье может сравниться с взятием и сожжением Москвы? Какое глубокое впечатление сделало это в моем сердце! Мне кажется, что я всего лишился на свете, и, право, остается только умереть. Горькие слезы текут из глаз и запечатлевают истину чувств

* Этот же эпизод был использован изобразительным искусством (антинаполеоновская карикатура Теребенева, скульптура неизвестного художника).

моих, ибо я сам не верю, что вижу и что, к несчастью, так верно. Москва! Россия! Я теряюсь в горести и иступлении». Но эти чувства не были тогда бессильными. они же вызывали другие чувства — стремление к яростному сопротивлению до победного конца, мести «коварному корсиканцу». В записках, напечатанных в 1814 году, Штейнгель писал: «Разнеслась жестокая весть о взятии французами Москвы. Невозможно описать, в какое она повергла всех огорчение и как мгновенно сие огорчение преобразилось в другое сильнейшее чувство — месть»⁷.

Вскоре стали известны подробности вступления Наполеона в Москву.

В «Сыне отечества» рассказывалось:

«Наполеон, тщетно ожидавший за городом депутатов с ключами московскими, решился, наконец, ехать сам их взять... Он въехал в город во вторник 3-го числа в половине одиннадцатого часа утра в Дорогомиловскую заставу. Арбат был совершенно пуст. Первые и единственные лица, которые видел на большой сей улице Наполеон, были у окна арбатской аптеки содержатель оной с своею семьею и раненый французский генерал, накануне к ним поставленный постоем. Подъехав ближе, Наполеон посмотрел на них вверх весьма злобно, окинул быстро глазами весь дом и, взглянув опять на бывших у окна, продолжал путь. Он сидел на маленькой арабской лошади, в сером сюртуке, в простой треугольной шляпе, без всякого знака отличия. В расстоянии ста сажень ехали перед ним два эскадрона конной гвардии. Свита маршалов и других чиновников, окружавших Наполеона, была весьма многочисленна... Таким образом, победитель Москвы доехал до Боровицких ворот, не увидя ни единого почти жителя. Негодование написано было на всех чертах Наполеонова лица. Он не брал даже на себя труда скрывать то, что происходило в душе его; однако же, сходя с лошади и посмотрев на кремлевские стены, он сказал с насмешкою: какие страшные стены! Удивительно, что он пренебрег обыкновенную свою комедию и что не приказал поднести себе московских ключей кем бы то ни было для провозглашения потом пышно церемонии сей в «Монитере».

Ожесточенный до крайности, видя ненависть и пренебрежение, оказываемые ему правительством и народом

российским, решившимися лучше уступить древнюю свою столицу его ненасытному честолюбию и алчности его орд, нежели преклонить пред ним выю, Наполеон повелевает, чтобы во всех полках, по очереди к грабежу назначенных, употреблять отборных солдат вместе с офицерами для доставления в Кремль съестных припасов всякого рода и чтобы русских обоюбого пола, не разбирая ни состояния, ни лет, употреблять для сего вместо лошадей». Вскоре все убедились, что сдача Москвы была не победой Наполеона, а этапом на пути к его поражению. В 1814 году один из современников писал: «Хитрый и пронырливый корсиканец, потеряв совершенно из виду движение своего противника и *сие умышленное отступление приписуя своей победе*, нарочно отверзтым путем беспрепятственно въезжает в Москву; въезжает — и алчный, надменный взор его, вместо ожидаемых приветствий и радостных кликов униженных и раболепных жителей, сретает одни пустые стены, коих глубокое молчание ознаменовало то совершенное презрение, какое Москва и вся Россия к нему чувствовала»⁸.

Эта же картина была впоследствии запечатлена в строках «Евгения Онегина»:

Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.

В полной мере Пушкин осознал значение московской эпопеи, конечно, в годы зрелости. В лицейский период он еще воспринимал гибель наполеоновских армий как возмездие за пожар Москвы:

.. туча грозная нависла над Москвою,
И грянул мести гром!..

Но в дальнейшем Пушкин трактовал эту же тему как великий, сознательно обдуманый замысел в борьбе с иноземными захватчиками. В стихотворении «Наполеон» (1821) он, обращаясь к тени завоевателя, восклицал:

...ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара;
Но поздно русских разгадал..

«Солнце Австерлица» померкло для Наполеона:

Настали времена другие
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб наш договор.

Поэтически-возвышенное чувство любви к Москве, которое Пушкин сохранил на всю жизнь, всегда было связано для него с памятью о великой жертве, о великом искуплении «матери градов России». Лирическое обобщение чувства и думы о Москве получили в взволнованных строках седьмой главы «Евгения Онегина»:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

2

Но Москва не была единой, как не была единой и вся Россия. Осмысляя впоследствии события Отечественной войны, Пушкин писал в «Рославлеве» о первых ее днях: «Москва взволновалась... народ ожесточился». Это *один*, народный, облик Москвы, грудью вставшей на защиту родины. А вот *другой* ее облик: «...гостинные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи... все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни».

Эта убийственная характеристика дворянства, его лживого «патриотизма», его трусости была дана Пушкиным в 1831 году. Она возникла у зрелого, великого художника, крупного мыслителя, пришедшего к выводу, что войну выиграли народные массы.

А между тем, официальные документы и реакционные литераторы и во время войны и после ее окончания на все лады старались убедить русское общество, что основная заслуга победы над Наполеоном принадлежала дворянству. Эта мысль переходила из одного царского

манифеста в другой. И если в 1812 году в манифестах демагогически пропагандировалась идея равного участия всех сословий в войне (при этом перечислялись «высочайшие лица, вельможи, дворяне, мещане и, в последнюю очередь, «поселяне»), то после победы Александр I объявил, что дворянство вынесло главную тяжесть войны. В манифесте от 30 августа 1814 года говорилось:

«Благородное Дворянство наше, верная и крепкая ограда Престола, ум и душа народа, издревле благочестивое, издревле храброе, издревле многократными опытами доказавшее ничем не нарушимую преданность и любовь к Царю и Отечеству, наипаче же ныне изъяснившее беспримерную ревность щедрым пожертвованием не токмо имущества, но и самой крови и жизни своей, да украсится бронзовою на владимирской ленте медалью с тем самым изображением, каковое находится уже на медали, учрежденной на 1812 год. Сию бронзовую, крепости духа их сообразную медаль да возложат на себя отцы или старейшины семейств, в которых, по смерти носивших оную, остается она в сохранении у потомков их яко знак оказанных в сем году предками их незабвенных заслуг отечеству. Впрочем, мы несомненно уверены, что хотя дворянство в необычайную нынешнюю войну сильно пострадало и претерпело великие убытки, но приобретенная им истинная и неувядаемая слава исцелит раны его, утешит в скорби».

О крестьянстве же сдержанно говорилось, что оно показало «дух православия, верности и мужества» и что за это оно «получит мзду свою от бога». Забота о «благосостоянии» крестьян «предупредится попечением о них господ их»⁹.

Эти идеи были поддержаны в годы войны большим количеством реакционных агиток, цель которых также заключалась в том, чтобы изобразить дворянство спасителем отечества. Одной из типичных агиток такого рода является «Краткое обозрение подвигов российского дворянства на поле брани и на поприще гражданском» А. Безобразова. «Нет сословия, которое бы более действовало в пользу и более бы успело во благо своего отечества, как знаменитое дворянство», — утверждалось в этой брошюрке, заодно защищавшей крепостное право как основу «общего спокойствия и внутренней безопасности». Подобные же идейки проводились в писавшихся

«для народа» так называемых «афишках» графа Растопчина, которые Пушкин впоследствии назвал «полицейскими объявлениями». Героиню пушкинского «Рославлева» — пламенную патриотку Полину — эти афиши «выводили из терпения — шуточный слог их казался верхом неприличия». Эти так называемые «сочинения для народа» представляли собою смесь оголтелой монархической пропаганды и ярмарочного паясничества. Растопчинские прокламации по существу принижали героизм русского народа и величие победы, утверждая, что французские солдаты — «карлики», которым «русского житья-бытья не вынести», ибо их «от капусты раздувает», они «от каши перелопаются, от щей задохнутся». Тот же Растопчин писал с возмущением в одном письме, что война преобразила «поселян»: «Умы сделались весьма дерзки и без уважения. Собственность не почитается, а привычка бить неприятелей преобразила большую часть поселян в разбойников»¹⁰.

Естественно, что царское правительство боялось вооружать народ. Генерал А. П. Ермолов в своих записках вспоминал о крестьянах смоленщины: «...в Смоленской губ. приняли нас, как избавителей. Невозможно было изъявлять ни более ненависти и злобы к неприятелю, ни более усердия к нам: жители предлагали содействовать, не жалея собственности, не щадя самой жизни. Поселяне приходили ко мне спрашивать, позволено ли им будет вооружиться против врагов и не подвергнутся ли они за то ответственности. Довольно сего доказательства, каких средств лишило себя правительство, не зная хорошо свойств народа. Легко было возбудить его, и неприятель в немалом нашелся бы затруднении». Об этом же говорил и Федор Глинка в «Письмах русского офицера»:

«Солдаты будут драться ужасно! Поселяне готовы сделать то же. Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании. «Повели, государь! все до одного идем!» Дух пробуждается, души готовы. Народ просит воли, чтобы не потерять вольности. *Но война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки.* До сих пор нет ни одной прокламации, позволяющей собираться, вооружаться и действовать, где, как и кому можно. — Дозволят — и мы, поселяне, готовы в подкрепу воинам. Знаем места, можем вредить; засядем

в лесах, будем держаться — и удерживать; станем сражаться — и отражать!» Далее с возмущением рассказано о том, как управитель одной усадьбы отобрал у крестьян «всякое оружие при приближении французов»¹¹.

Следовательно, и в годы войны под мнимым «единением всех сословий» таились противоречия между официальной Россией и Россией народной, зрела та борьба между передовым поколением дворянской молодежи и крепостниками, которая разгорелась затем с такой силой.

Общественно-политическая борьба отразилась и в поэзии военных лет.

Военные стихи Батюшкова, прославленного мастера «легкой поэзии» с ее темами любви и наслаждения жизнью, особенно ярко показывают, как обогатили героические годы внутренний мир поэта. В этих стихах звучит и сочувствие народному горю и призыв делом участвовать в борьбе с врагом:

Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагом сомкнутым строем —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды Музы и Хариты,
Венки, рукой любви свиты,
И радость шумная в вине!

(«К Дашкову»)

Некоторые мотивы приведенных выше строк затем перейдут в лирику Рылеева:

Мне не любовь твоя нужна,
Занятия ждут меня иные,
Отраднa мне одна война,
Одни тревоги боевые.

Любовь никак нейдет на ум:
Увы, моя отчизна страждет;
Душа в волненье тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет¹².

(«Ты посетить, мой друг, желала...», 1825)

Героика Отечественной войны вызвала к жизни и лучшие строфы стихотворения «Певец во стане русских

воинов» Жуковского, поэта, по общему направлению творчества далекого от жизни.

Немало рассеяно было в журналах, в рукописных копиях стихов, прославлявших мужество и свободолюбие русских воинов. Так, например, поэт Воейков писал, что русский народ подает пример того,

Как жизни не щадить, как смерть предпочитать
Ярму железному, цепям позорным рабства.

Эти стихи процитированы будущим декабристом В. Штейнгелем в записках о походе петербургского ополчения как пример верного понимания событий¹³.

Но в поэзии нашла свое выражение и реакционно-монархическая трактовка целей и движущих сил войны. С наибольшей откровенностью выразил эту тенденцию Карамзин:

Народы! власти покоряйтесь;
Свободой ложной не прельщайтесь;
Она призрак, страстей обман.
Вы зрели галлов заблужденье:
И своевольство и тиран
Отмстили им за возмущенье
Против законного царя,
Уставов древних, алтаря¹⁴.

Журналы военных лет были полны виршами, написанными в ложно-классическом стиле и на все лады воспевавшими верность царю, алтарю, «древним уставам». Эти стихи искажали историческое прошлое России. Пушкин в своих лицейских стихах едко высмеивал эту псевдо-поэтическую продукцию, длинные оды «бесмысленных певцов», «рифмотворов» (вспомним, например, сатирическое пушкинское определение поэта такого рода: «Холодных од поэт ретивый...»), среди них многие являлись переложением библейских сюжетов и псалмов. В поэме «Тень Фонвизина» Пушкин вышучивает эти оды, называя их «статей библейских преложенье». В ней же он пародирует «Лиро-эпический гимн 1812 года на прогнание французов из отечества», уже одряхлевшего Державина. Ироническое отношение вызывали у Пушкина и псевдопатриотические поэмы на исторические темы, написанные ранее, вроде поэмы Ширинского-

Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» (1807). О ней Пушкин писал:

Слог дурен, темен, напыщен —
И тяжки словеса пустые.

Эта эпиграмма написана вероятнее всего в 1813—1815 годах, когда ложновеличавые, напыщенные творения подобных виршеплетов появлялись одно за другим.

Реакционные поэты пропагандировали официозные лозунги войны. С. Глинка сочинил «Песнь русских поселян русским воинам», где крепостные крестьяне, оставшиеся в деревнях, обращались к своим вооруженным отцам, сыновьям, братьям с успокоительными речами:

Мы в довольстве, мы в приволье,
Есть хлеб-соль, спокойно спим...

А другой поэт, Н. Николев, в тон царским манифестам и реакционным агиткам писал о роли дворянства в двенадцатом году:

Чьи действия таковы, чья верность, доблесть, честь,
В ком чувствование столь сильно и велико?
Кого дивотворить за рвение толико?
Тебя, почтенное сословие дворян,
Тебя, орудие всех действий россиян,
Тебя, побед и славы знамен,
Громады царственной краугольной камень,
Законов твердый столп, порфиноносцев жезл,
Посредством коего властителя престола,
Стоя на высоте, дыханьем движут дола...¹⁵

На деле же поведение правящей верхушки и «светской черни» вызывало возмущение передовых людей того времени. «Всеобщее ополчение без дворян» — так охарактеризовал Грибоедов отношение дворянства в целом к защите родины. В дневнике В. И. Бакуниной в июле 1812 года была сделана любопытная запись, отражающая в самой непосредственной форме реакцию дворян на первое известие о войне: «Горесть, страх и отчаяние овладели всеми; со всех сторон получали мы страх наносящие известия... Разнесшиеся повсеместно о сем (угроза Петербургу. — Б. М.) слухи привели всех в недоумение и робость, стали думать о побеге из Петербурга, многие стали выезжать, другие собираться и укладываться. Вообще уныние и страх усугубились по получении здесь 10-го числа манифеста, коим призывал го-

сударь всех сынов России на защиту отечества». Примерно о том же рассказывает в своих записках Ф. Ф. Вигель, который писал: «Трудно объяснить состояние, в котором находились тогда умы; не видно было уныния, отчаяния, но также и смелой в себе уверенности: заметно было какое-то грустное чувство, не совсем лишенное надежды. Казалось, все думали, а многие говорили: ну, что делать, увидим, что-то бог даст! В высшем кругу старались веселиться, чтобы показать или придать себе более бодрости. Так иногда испуганные громко распевают, чтобы заглушить в себе страх». Здесь Вигель воспроизвел отношение к войне так называемого светского общества, которое действительно стремилось «заглушить страх» и выказывать напускную бодрость, вместо того чтобы на деле защищать отечество¹⁶.

Понятна сила негодования, владевшая Пушкиным, когда он много лет спустя обобщил эту картину на страницах «Рославлева». В официозной прессе для доказательства «патриотизма» помещиков часто приводились факты пожертвований ими крупных денежных сумм «на защиту отечества». Но эти (единичные) факты встречали в общей массе дворянства весьма своеобразную оценку. По поводу разговоров о «патриотических жертвованиях» Пушкин писал в «Рославлеве»: «Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим именем. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уж не такой завидный жених...».

«Светские балагуры», которые, как отметил Пушкин, проповедовали народную войну, собираясь «в саратовские деревни», были обеспокоены прежде всего спасением своего имущества и жизни. В своих гневных обличениях непристойного поведения дворянства Пушкин солидаризировался с мнением своих старших современников. С возмущением писал Ф. Глинка в «Письмах русского офицера» о том, что «по той же самой дороге, где раненные солдаты падают от усталости, везут на телегах предметы мод и роскоши. Увозят вазы, зеркала, диваны, спасают Купидонов, Венер, а презирают стоны бедных и не смотрят на раны храбрых!!!» В. Штейнгель добавил в записках, опубликованных в 1814 году, несколько других ярких штрихов: «Во всех каналах стояли нанятые дорогой ценой суда для помещения частных имуществ и для отплытия в море при первом известии о приближе-

нии врагов; и как у страха глаза велики, то люди праздные, и потому самые слабейшие духом, рассеивали слухи, что с одной стороны неприятель уже в Твери, а с другой в Великих Луках и Риге, и тем самым умножали в жителях сомнение, страх и беспокойство»¹⁷.

«Наполеон шел на Москву. Москва тревожилась; жители ее выбирались один за другим». В этот период получили широкую огласку факты, вызвавшие негодование у лучшей части дворянства и особенно в народных массах, наблюдавших паническое бегство тех, кто объявлял себя опорой государства. Общеизвестной стала отправка не только из Москвы, но также из Петербурга целых транспортов с имуществом высокопоставленных лиц. Так, министр внутренних дел Козодавлев при первом известии о том, что французы якобы собираются в столицу, упаковал в Петербурге свое имущество «и отправил в Тихвин, в монастырь, прося архимандрита поставить в самое безопасное место»¹⁸.

Ко всей этой панике народ относился далеко не безразлично. По свидетельству одного современника, дворяне, «удаляясь из Москвы, находили в пути своем большие неприятности или, лучше сказать, были в величайшей опасности от подмосковных крестьян, чрез селения которых должны были ехать. Они называли удалявшихся трусами, изменниками и бесстрашно кричали вслед тем, которые мимо селений ехали: «Куда, бояре, бежите вы с холопами своими? Али невзгодье и на вас пришло? И Москва в опасности вам не мила уже?» Многие из удалявшихся из Москвы на своих собственных лошадях возвращались опять в Москву пешими, лишившись дорожного и лошадей своих с экипажем и имущества». В этой обстановке происходили курьезные факты переодевания дворян, для того чтоб убраться восвояси в глубь России, избежав народной расправы. Один из таких эпизодов рассказывал московский старожил Толычев:

«Народ поглядывал с недоброжелательством на экипажи, теснившиеся у застав, и роптал против дворян, которые покидали столицу на поругание нехристей... Но отъезжающих тревожила новая забота: неудовольствие народа постоянно усиливалось, так что мужчины, покидавшие Москву, подвергались неприятностям и даже опасности. Что, если О—в будет задержан?.. Оставалось единственное средство к устранению беды: уговорили

О—ва надеть чепчик. За ночь все было уложено, и путешественники уселись в линейку и выехали благополучно за заставу, благодаря шляпке с лентами и шали, которую О—в прикрывал гладко выбритый подбородок. Но дальше они встретили толпу ратников, которые остановили их вопросом: «Куда едете?» — «К себе в имение», — отвечала Анна Петровна Юшкова. «Так уж, видно, все Москву покидают, — заговорили в толпе. — Видно, не жаль выдать ее врагу на разграбление»¹⁹.

Доходившие до Пушкина факты всеобщей трусости дворянства не могли не вызывать у него омерзения.

Картинки тыловой жизни светского общества, которые Пушкин дал в «Рославлеве», хорошо были известны ему из писем и родственников и родственников своих товарищей. Письма выехавших из Москвы родителей Пушкина и его дяди Василия Львовича до нас не дошли.

Можно полагать, что о быте Нижнего Новгорода, одного из центров эвакуации дворянства, рассказал Пушкину Батюшков, посетивший поэта в Лицее. Свои наблюдения Батюшков, между прочим, запечатлел в письмах к Вяземскому и Гнедичу. В письме к Вяземскому в октябре 1812 года из Нижнего Новгорода Батюшков сообщал с явной иронией и по адресу дяди А. С. Пушкина — Василия Львовича и по адресу остального общества.

«Здесь я нашел всю Москву... Алексей Михайлович Пушкин плачет неутешно: он все потерял, кроме жены и детей. Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына: книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти и насилу вчера мог прочитать Архаровым басню о слове. Вот до чего он и мы дожили! У Архаровых собирается вся Москва или, лучше сказать, все бедняки: кто без дома, кто без деревни... Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: *point de paix!* * Истинно много, слишком много зла под луною».

Вся эта картина произвела на Батюшкова столь удручающее впечатление, что в 1814 году он вновь вернулся к ней в письме к Е. Г. Пушкиной из Парижа: «...мысленно переношусь в Нижний, то на площадь, где между телег и колясок толпились московские франты и краса-

* Никакого мира! (франц.)

вицы, со слезами вспоминая о бульваре, то на патриотический обед у Архаровых, где от псовой травли до подвигов Кутузова все дышало любовью к отечеству, то на ужины Крюкова, где Василий Львович (Пушкин. — Б. М.) забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о *Наполеоне, гордящемся на стенах древнего Кремля*, отпускал каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым о преимуществе французской словесности, то на балы и маскарады, где наши красавицы, осыпав себя бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока в кадрилих французских, во французских платьях, болтая по-французски бог знает как и проклинали врагов наших»²⁰.

Эти черточки жизни бежавшего от опасности дворянства описаны впоследствии Пушкиным в «Рославлеве» (1831). Отец героини пушкинского романа, уехав из Москвы, «только и думал, чтоб жить в деревне как можно более по-московскому. Давал обеды, завел *théâtre de société**, где разыгрывались французские *proverbes***», и «всячески старался разнообразить удовольствия». Нарисованная Пушкиным картина обобщенно отражала дворянский быт во всех тыловых городах.

Вот характерное письмо одного помещика, повествующее о Казани 1813 года. Сначала автор письма рассказывает о борьбе его крепостных с врагом: «Гаврила мой, вооружа по приказанию моему дворовых людей и крестьян, перебил и в плен взял мародеров и фуражистов более 600 чел. Тем самым и деревни мои спаслись». И вслед за этим с бесстыдством идет рассказ о тыловой жизни: «В Казани жить не скушно, буде бы обстоятельства наши не были расстроены. Здесь балы и концерты всякую неделю, а 12-е число был маскарад у губернатора, где было 570 человек. Здесь заметить должно, что русскому государству никакое в сравнение иттить не может. И что дворянство русское много имеет твердого духа. В каком государстве можно найти при таковых обстоятельствах, какие случались с нами, чтобы публика собралась до 570-ти человек на праздник. Здесь сказать можно то дворянству: ура русскому дворянству!» То же самое происходило и в более мелких городах, как, на-

* Домашний любительский театр (франц.)

** Пословицы (франц.).

пример, в Пензе, где, по словам современника, «во всю зиму еженедельно раз у губернатора, раз у А. и два раза у Х. плясала вся Пенза». И чем шире и шумней развевалось это веселье, тем быстрее угас «при свете ламп и люстр огонь патриотического энтузиазма нашего», — заключаются воспоминания. В записках Ф. Вигеля рассказывается: «Всю осень, по крайней мере у нас в Пензе, в самых мелочах старались выказать патриотизм. Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки... Губернатор (кн. Ф. С. Голицын. — Б. М.) не мог упустить случая пощеголять новым костюмом; он нарядился, не знаю с чьего дозволения, также в казацкое платье, только темно-зеленого цвета с светло-зеленой выпушкой. Из губернских чиновников и дворян все те, которые желали ему угодить, последовали его примеру. Слуг своих одел он также по-казацки, и двое из них, вооруженных пиками, ездили верхом перед его каретою»²¹.

Все эти факты с еще большей силой обнажали пропасть, лежавшую между дворянством и народом. Передовые люди эпохи ясно видели, что Россия народная, исполинская, величественная, четко отделялась от России помещичьей, безразличной ко всему, кроме собственного благополучия. В этом смысле большой интерес представляет записанный декабристом Сергеем Волконским его разговор с Александром I:

«Каков дух армии?» Я ему отвечал: «Государь! от главнокомандующего до всякого солдата — все готовы положить свою жизнь к защите отечества и вашего императорского величества».

«А дух народный?» На это я ему отвечал: «Государь! вы должны гордиться им: каждый крестьянин — герой, преданный отечеству и вам».

«А дворянство?» — «Государь, — сказал я ему, — стыжусь, что принадлежу к нему — было много слов, а на деле ничего»²².

Даже Сергей Глинка, монархист и защитник «добрых помещиков», был вынужден, говоря о Нижнем Новгороде, признать:

«Нижний 1812 года обширную отмежевался полосой от того Нижнего 1612 года, когда на стогнах его гремел голос мясного продавца Козьмы Минина-Сухорукова:

«Продадим дома наши! зложим жен и детей!» На берегах Волги, при слиянии с нею Оки, в стенах Нижнего большого московский свет соединился с большим нижегородским светом. Были визиты, был бостон, были званые обеды. Представьте картину 1612 и картину нынешнего 1812 года, и вы увидите в исполинской России две России, различные внешним видом, нравами, обычаями и образом мыслей»²³.

Эти размышления Сергей Глинка заключал едва ли искренним вопросом: «Как это и отчего?» Но передовая Россия осознала в годы войны не только самое различие «нравов, обычаев и образа мыслей»; становился все яснее и ответ на вопрос: «Как это и отчего?»

3

Еще в лицейские годы Пушкин оценивал Отечественную войну как войну народную. Дальше происходило лишь углубление и развитие этого его взгляда. Иначе обстояло дело с отношением Пушкина к императору Александру.

В лицейских стихах Пушкина, связанных с военной тематикой, наряду с верной оценкой народного героизма («ты в каждом ратнике узришь богатыря») по отношению к Александру чувствуется некоторое влияние официальной патетики манифестов. Немалое значение имело и то обстоятельство, что стихи Пушкина, упоминавшие Александра, были заказными и предназначались для «особых случаев». Так, «Воспоминания в Царском Селе» были написаны для чтения на публичном экзамене по предложению профессора Галича, стихотворение «Александру» предназначалось для предполагавшейся торжественной встречи Александра I при возвращении из Парижа, стихотворение «Принцу Оранскому» сочинено по заказу для чтения на празднике в честь бракосочетания принца Оранского с сестрой Александра I Анной Павловной (при жизни Пушкина не печаталось) в Павловске у императрицы Марии Федоровны.

Тем более интересно дальнейшее отношение Пушкина к этим стихам.

Двенадцатая строфа «Воспоминаний в Царском Селе» кончалась переложением официального лозунга:

Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За веру, за царя.

В 1819 году, при подготовке сборника своих стихов, Пушкин устранил упоминание царя и переделал последний стих:

За Русь, за святость алтаря.

Тщательно выправлял Пушкин упоминание и хвалу Александру и в других местах этого стихотворения. В строфе 20-й первоначально было:

Но что я зрю? *Герой* с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.

«Герой» здесь — Александр, которого вся пресса прославляла тогда как организатора победы. В новой редакции вместо царя героем выступает русский народ:

Но что я вижу? *Росс* с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.

Чтобы избежать этого же, обычного в поэзии того времени, отнесения победы за счет «героя» — царя, Пушкин изменил и конец стихотворения. В стихе:

Но снова стройный глас герою в честь прольется

слово «герой» изменено на множественное: «героям». И, наконец, совершенно выброшенной оказалась целая строфа, посвященная Александру («Достойный внук Екатерины!» и т. д.). Понятно, что после всех этих поправок, носивших явно демонстративный характер, стихотворение в переработанной редакции не могло увидеть свет.

Стихотворение «Александру» * (1815) было написано Пушкиным по прямому заданию директора департамента народного просвещения Мартынова (Пушкин в письме Мартынову 28 ноября 1815 года прямо об этом говорит: «Вашему превосходительству угодно было, чтобы я написал пьесу на приезд государя императора; исполняю ваше повеленье» и т. д.). Идеи стихотворения, написанного после вступления русских войск в Париж, однако не определяются всего лишь стремлением

* Это стихотворение было напечатано без ведома автора его дядей в 1817 году, под заглавием «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.».

выполнить «заказ» в «нужном духе». Александр характеризуется в нем как царь, освободивший народы от «бремени оков» Наполеона, а сама война изображается здесь как «свободы ярый бой». Заблуждения такого рода были свойственны в то время не только Пушкину, но и многим из тех, кто затем, освободившись от либеральных иллюзий, стали известны как виднейшие деятели декабризма, главной целью своей жизни поставившие свержение императора. Но в те годы декабристы оказались ослепленными лицемерными фразами Александра и триумфом, которым он был встречен в Париже. Декабрист И. Д. Якушкин (впоследствии призывавший к убийству царя) говорил об Александре того времени: «Подвигаясь вперед с оружием в руках и призывая каждого к свободе, он был прекрасен в Германии; но был еще прекраснее, когда мы пришли в 14-м году в Париж». Другой декабрист, Николай Тургенев, под впечатлением пребывания Александра в Париже с гордостью писал в своем дневнике о том, что французы с восторгом произносят имя «сильнейшего государя в свете». Свое отношение к царю он тогда определил в следующих словах: «Имя России не должно быть разделяемо с именем Александра не потому, что он ее обладатель, но потому, что он — Александр, он повел с собой пруссаков против Наполеона, он заставил глупых австрийцев стрясти с себя гнусное иго, он показал Германии путь к чести и славе и вел их к цели не останавливаясь». Причины всех этих восторгов, так же как и временный характер их, декабрист Каховский определил в ясных и простых словах: «Некоторое время император Александр казался народам Европы их миротворцем и благодетелем; но действия открыли намерения, и очарование исчезло! Сняты золотые цепи, увитые лаврами, и тяжкие, ржавые железные давят человечество»²⁴.

Положительное отношение Пушкина к Александру в годы войны объясняется еще одним обстоятельством, а именно надеждой на то, что победа ознаменует собою новую эру всеобщего благоденствия. В стихотворении «Александру» дана картина будущего России такой, какой она рисовалась Пушкину. Он обращался к государю с призывом осуществить чаяния народа:

Склони на свой народ смиренья полный взгляд —
Все лица радостью, любовью блеснут...

После изображения радости побед следует еще одно обращение к Александру:

...оставь же шлем стальной
И грозный меч войны, и щит — ограду нашу;
Излей пред Янусом священну мира чашу
И, брани сокрушив могущею рукой,
Вселенну осени желанной тишиной!..

Далее, в стихотворении перечисляется все то, на что надеялся тогда поэт: улучшение судьбы крестьянина («счастливый селянин»), развитие промышленности и торговли, облегченной снятием континентальной блокады («суда... рассекут свободный океан») и наступление эры общего довольства («времена спокойствия златые...»).

Эти надежды опять-таки были характерны для всего передового поколения молодых людей — участников войны. Почти все дошедшие до нас заметки, письма, дневники и декабристов и людей околodeкабристского круга говорят об этих же напряженных ожиданиях решительных перемен во внутренней жизни — ликвидации крепостного права, введения конституции. «Все в это время говорили чрезвычайно свободно... о необходимости резких внутренних преобразований... Несмотря на тяжкие потери — естественную скорбь многих, общее настроение было, однако же, веселое; все ликовало, славилосвобожде-ние народов, совершенное Россиею, все ожидало наступления новой эры, все было преисполнено самых радужных надежд в будущем; никто не предвидел крутого поворота во внешней и внутренней политике; ничто подобное не считалось тогда возможным!» — вспоминал декабрист Завалишин. С советами и проектами «улучшить» положение России обращались к царю сановники, генералы, поэты. Слово «улучшить» трактовалось по-разному, но для всех, кроме крепостников и придворных льстецов, было ясно, что народ ждет перемены в своем положении. По свидетельству П. А. Вяземского, Батюшков написал в 1814 году «прекрасное четверостишие, в котором, обращаясь к императору Александру, говорил, что после окончания славной войны, освободившей Европу, призван он провидением довершить славу свою и обессмертить свое царствование освобождением русского народа». Менее

прямолинейно выражались тогда другие поэты, в том числе и Пушкин, призывавший царя склонить «на свой народ смиренья полный взгляд» и обеспечить процветание родины²⁵.

Но вскоре жизнь показала всю иллюзорность этих надежд. Вместо каких-либо «улучшений» наступила реакция. Идеализированный облик царя, ранее окруженный нимбом военных побед, потускнел. Пушкин увидел в царе деспота, причем деспота глупого и недалекновидного. Характерно, что Пушкин не включил стихотворения «Александру» в собрание своих сочинений, как и два других стихотворения в таком же духе — «Наполеон на Эльбе» (1815), отклик на события Ста дней, и «Принцу Оранскому» (1816). Поэт был недоволен всеми этими «заказными» стихами. В вариантах своего послания к «Шишкову» (1816), он, подразумевая их, писал:

...каюсь я — пустынный согрешил.
Простите мне мой страшный грех, поэты,
Я написал придворные куплеты...

Правда, и в Лицее Пушкин писал иронические и даже издевательские стихи об Александре. Эпиграмма «Двум Александрам Павловичам», вошедшая в рукописное «Собрание лицейских стихотворений», не без оснований приписывается Пушкину. Здесь и убийственное указание на то, что Романов «хромает головой», и напоминание об «Австерлице», сражении, которое было провалено по вине Александра. Двусмысленной и, конечно, неуважительной была пушкинская надпись «На Баболовский дворец» о любовных шашнях «российского полубога». Показателен и эпизод, случившийся с Пушкиным в Павловске 27 июля 1814 года на торжестве в честь возвращения победителей. В. Гаевский пишет, что «Пушкина особенно занимали устроенные между дворцом и павильоном триумфальные ворота, на которых, как будто в насмешку над их малым размером, были написаны два стиха:

Тебя, текуща ныне с бою,
Врата победы не вместят!»

Стихи эти взяты из «Песни Александру Великому, победителю Наполеона и восстановителю царств», изданной отдельно в 1814 году, а впоследствии помещенной в «Собрании стихотворений Анны Буниной». Пуш-

кин по этому поводу набросал пером рисунок, изображающий замешательство, происходившее будто бы у «победных врат»: лица, составлявшие шествие, видят, приближаясь к воротам, что они действительно «не вместят» государя, который притом еще пополнил в Париже, и некоторые из свиты бросаются рубить их. Остроумный рисунок, представлявший несколько портретов, скоро распространился и был подарен Пушкиным Карамзиной. Автора невинной шутки долго искали, но, разумеется, не нашли²⁶.

Однако все это еще не более как юношеское фрондерство. Настоящий же перелом в отношении Пушкина к Александру I, политическое обличение царя связаны с важнейшей фазой общественной борьбы; изменение его отношений к царю отразило те изменения в общественно-политической жизни страны, которые произошли после окончания войны.

Сатирическое стихотворение Пушкина «Сказки (Noël)» (1818) имело такой огромный успех, распространилось в таком колоссальном количестве копий именно потому, что явилось ярким обобщением настроений лучшей части общества, резко осуждавшей не только самодержца. «Кочующий деспот», сшивший себе «прусский и австрийский мундир», действительно был «делом не измучен». Праздное бездействие Александра I, по видимому, настолько возмущало Пушкина, что и в 1830 году он сказал о нем «враг труда». Если в 1812 году царь объявлял себя в манифестах пламенным патриотом, который и часа не может жить без России, то после войны его циническое равнодушие к своей стране, к ее нуждам, к чаяниям народа и вообще ко всему русскому проявилось в полной мере. «До слуха всех беспрестанно доходили изречения императора Александра, в которых выражалось явное презрение к русским. Так, например, при смотре при Вертю, во Франции, на похвалы Веллингтона устройству русских войск император Александр во всеуслышание отвечал, что в этом случае он обязан иностранцам, которые у него служат... По возвращении императора в 15-м году он просил у министров на месяц отдыха; потом передал почти все управление государством графу Аракчееву. Душа его была в Европе». Эти слова декабриста Якушкина показывают, как возмущена была вся передовая Россия. Из уст в уста переда-

вались слухи о равнодушии Александра к неостывшей еще от сражений земле, о его пренебрежении к памяти двенадцатого года. «Император не посетил ни одного классического места войны 1812 года — Бородина, Тарутина, Малого Ярославца и других, хотя из Вены ездил на ваграмские и аспернские поля, а из Брюсселя в Ватерлоо. Достойно примечания, что государь не любит вспоминать об Отечественной войне и говорить о ней, хотя она составляет прекраснейшую страницу в громком царствовании его», — говорит современник²⁷.

Оскорбление царем национального достоинства России усматривалось и в том, что, заключив в 1815 году «Священный союз» с европейской реакцией, он тем самым ронял в глазах всего мира мнение о стране, только что прославленной, как освободительнице народов. «Где же, кого спасли мы, кому принесли пользу? за что кровь наша упитала поля Европы? — спрашивал декабрист П. Каховский и отвечал: — Может быть, мы принесли пользу самовластию, но не благу народному. Нацию ненавидеть невозможно, и народы Европы не русских не любят, но их правительство, которое вмешивается во все их дела и для пользы царей утесняет народы». Этого вероломства не могли простить Александру не только современники; много позже смерти царя Герцен с ненавистью к самому его имени писал: «Он поставил Россию под одно знамя с Австрией, как будто между этой прогнившей и умирающей империей и юным государством, только что появившемся во всем своем великолепии, было что-нибудь общее, как будто самый деятельный представитель славянского мира мог иметь те же интересы, что и самый яростный притеснитель славян»²⁸.

Слова, которые Пушкин иронически вложил в уста Александра,

И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли, —

оказались «сказками». Но «сказкой», мифом оказался и облик русского императора как военного вождя. В начале 20-х годов, по-видимому после Веронского конгресса, Пушкин разоблачил в едкой эпиграмме легенду об Александре как герое Отечественной войны:

Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал. *

Итак, надежды, связанные с окончанием войны, развеялись, народ оказался обманутым. Однако ее революционизирующее влияние на умы продолжалось. Ненависть к врагу, который стремился поработить отечество, переплавилась теперь в ненависть к тому строю, который мешал осуществлению великих идей свободы на русской земле, освобожденной от иноземных захватчиков. В послевоенные годы крестьянские антикрепостнические волнения значительно усилились. Народный протест оказывал свое воздействие и на ту часть русского дворянства, из среды которой выдвигались будущие декабристы. В записке А. А. Бестужева «Об историческом ходе свободомыслия в России» связь войны 1812 года с ростом освободительного движения раскрыта с редкостной для своего времени полнотой:

«Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в дома, первые разнесли ропот в классе народа. «Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа»... Сначала, покуда говорили о том беспрепятственно, это расходилось на ветер, ибо ум, как порох, опасен только сжатый... Но с 1817 года все переменилось. Люди, видевшие худое, или желавшие лучшего, от множества шпионов принуждены стали разговаривать скрытно, и вот начало тайных обществ. Притеснение начальством заслуженных офицеров разгорячило умы. Тогда-то стали говорить военные: «Для того ли мы освободили Европу, чтобы наложить ее цепи на себя? Для того ли дали конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью первенство между народами, чтобы нас унижали дома?»³⁰

Патриотизм рождал сопротивление силам реакции. Лучшие люди искали пути освобождения родины от

* Интересно отметить, что и в народном творчестве высмеивалась трусость императора. В одной из песен, собранных П. В. Киревским, царю, «персонушка» которого при вести о замыслах Наполеона «переменилася», противопоставлен мужественный Кутузов, утешающий царя:

Не пужайся ты, наш батюшка, православный царь!²⁹

цепей деспотизма. Участники Отечественной войны—офицеры составили ядро тайных декабристских организаций. Декабрист Сергей Волконский говорит о своих переживаниях после возвращения из походов: «...кампании 12-го года и последующих 13 и 14 годов подняли наш народный дух... Более нежели когда, я понял тогда, что преданность к отечеству должна меня вывести из душевного и безвестного быта ревнителя шагистики и угоднического царедворничества». «С чувством своего достоинства и возвышенной любви к отечеству большая часть офицеров гвардии и генерального штаба возвратилась в 1815 году в Петербург», — свидетельствует другой декабрист — М. А. Фонвизин, замечая «повсюду царствующий произвол, — все это возмущало и приводило в негодование образованных русских и их патриотическое чувство». А декабрист А. Беляев с гордостью писал: «Первые члены тайного общества были большею частью военные, прошедшие победоносно всю Европу до Парижа». Понятно, почему первое тайное общество называлось «Обществом истинных и верных сынов отечества»³¹.

То же чувство патриотизма питало и все творчество Пушкина, его политическую поэзию. Когда он, обращаясь к участнику Бородинского сражения Чаадаеву, восклицал:

Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы, —

то слово «отчизна» наполнялось особым содержанием; это была земля, только что отвоеванная от иноземных поработителей и вызывающая об освобождении от ига деспотизма («отчизны внемлем призыванья»). Так поэзия Пушкина сливалась с декабристской идеологией не только по общей устремленности, но и по своим истокам. Она отразила и патриотическую гордость одержанными победами, и крушение либеральных иллюзий, и становление революционного сознания, и противоречия этого сознания. Она отразила также типично декабристское понимание связи Отечественной войны с борьбой за политическую свободу. В этом смысле следует понимать слова Пушкина о Наполеоне в 1821 году:

Хвада! Он русскому народу
Высокий жребий указал.

Иначе говоря, война с Наполеоном, *помимо* желания завоевателя, указала народу «высокий жребий», то есть пробудила народ к борьбе за «вечную свободу». Ту же мысль о великой роли Отечественной войны для России проводил Александр Бестужев в «Полярной звезде», когда в иносказательной форме писал: «Огнистая лава вырвалась, разлилась, подвинула океан — и застыла. Пепел лежит на ее челе, но в этом пепле таится растительная жизнь, и когда-нибудь разовьются на ней драгоценные виноградники»³². Замечательно, как глубоко понимал Пушкин связь событий 1812 года с революционным движением во всех странах. Об этом свидетельствует неоконченное стихотворение «Недвижный страж дремал...» (1824). За падением «великого кумира» — Наполеона вскоре последовало революционное брожение в Германии, революционные восстания в Италии и Испании.

Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа
Уж правила свобода
И самовластие лишь Север укрывал?

Александр здесь изображен как деспот, несущий миру «тихую неволю», как тиран, достойный уничтожения:

Вот Кесарь — где же Брут?..

Отсутствие Брута вызывало у Пушкина глубочайшее сожаление. Еще в 1821 году, в стихотворении «Кинжал», которое стало одним из сильнейших произведений декабристской пропаганды, Пушкин прославлял убийство Кесаря вольнолюбивым Брутом. Прямая связь этих двух стихотворений, «Кинжала» и «Недвижный страж дремал...», очевидна. Пушкин участвовал словом поэта в деле декабристов, в деле, начало которого он с исключительной проницательностью связал в десятой главе «Евгения Онегина» с «грозою двенадцатого года».

4

Время не только не ослабило, но усилило интерес Пушкина к Отечественной войне, ее людям, ее истории. Его понимание великого значения этой войны с годами углублялось.

Жизнь сталкивала его с многими участниками сражений, и поэт проявлял к ним неизменный интерес. В лицейские годы он тесно общался с офицерами лейб-гвардейского гусарского полка, который вернулся в Царское Село из походов 19 сентября 1814 года. Среди офицеров, с которыми Пушкин был близок, находились и бывшие ополченцы (как, например, Каверин, начавший свой военный путь в смоленском ополчении), и такие великолепно осведомленные о всем ходе и всех перипетиях войны люди, как Н. Н. Раевский (сын прославленного генерала Раевского), и В. Л. Давыдов, один из будущих активнейших декабристов Юга, и П. Я. Чаадаев, участник боев при Бородине, Тарутине, Малоярославце. После Лицея, в Петербурге, а затем в южной ссылке, Пушкин продолжал старые и завязывал новые дружеские отношения с участниками войны. На Юге Пушкин тесно сблизился с семьей героя войны генерала Раевского.

Там же на юге он в 1821 году узнал о смерти Наполеона. Это известие произвело на него сильное впечатление. Знакомый Пушкина П. И. Долгоруков 27 мая 1821 года записал в своем дневнике: «За столом у наместника Пушкин, составляя, так сказать, душу нашего собрания... начал рассуждать о наполеоновском походе, о тогдашних политических переворотах в Европе»³³.

Воспоминания об Отечественной войне возникали у Пушкина с новой силой во время путешествия в Арзрум, когда он встретился с многими сосланными декабристами, участниками Отечественной войны. Пушкин жил тогда в одной палатке с Н. Н. Раевским-младшим. В этой обстановке, конечно, возникали разговоры о двенадцатом годе. Вообще же к воспоминаниям о двенадцатом годе Пушкин возвращался в самой различной обстановке. Бывший адъютант генерала А. П. Ермолова П. Х. Граббе пишет о встрече с Пушкиным в январе 1834 года у Н. Н. Раевского: «Мы пообедали и провели несколько часов втроем... 12-й год был главным предметом разговора». Во второй половине 20-х годов Пушкин подружился с дочерью Кутузова Е. М. Хитрово. Сохранившиеся письма дают полное основание заключить, что политические темы занимали немалое место также в их личных беседах. Характеризуя Хитрово, П. П. Вяземский отметил в качестве лучших ее черт «доб-

лестные кутузовские традиции» и «горячую любовь ко всему, что составляет славу русского имени»³⁴.

Воспоминания о славном времени возникали у Пушкина и в дни, когда он бывал в знаменитой галерее двенадцатого года Зимнего дворца, где собраны портреты героев и участников Отечественной войны работы Доу. Лирически проникновенное описание Пушкиным этой галереи в стихотворении «Полководец» (1835) является вместе с тем и своеобразной политической декларацией. Историческая значительность этой галереи затмевает в глазах Пушкина все великолепие и роскошь царского дворца:

У русского царя в чертогах есть палата,
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистью свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстрокий.

В рукописи третья строка первоначально звучала острее: «Не в ней *алмазный скипетр* хранится за стеклом».

И далее:

Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот; а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года

Память двенадцатого года влекла поэта в эту дворцовую палату:

Нередко медленно меж ими я брожу,
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные клики

Но героика отошла в прошлое:

Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарелись и никнут в тишине
Главою лавровой...

Не случайно тема 1812 года привлекает особенное внимание Пушкина в 30-е годы, в годы самой глухой,

самой мрачной николаевской реакции, когда, казалось, все живое было задушено и когда чуть ли не всякое напоминание о прошлом вне связи с прославлением самодержавия казалось крамольным.

В этот период защита «священной памяти двенадцатого года» остается одной из главнейших тем пушкинского творчества. Эта тема красной нитью проходит у Пушкина и в поэзии, и в прозе. Она направлена своим острием против лагеря мракобесов, которые стремились принизить значение Отечественной войны, вытравить из общественного сознания ее всенародный национально-освободительный характер, ее славные традиции.

Начиная со второй половины 20-х годов и далее в тридцатые годы, в реакционной прессе и литературе утверждалось, что победу обеспечили Александр I, бог и морозы. Последняя причина, правда, особенно подчеркивалась иностранной прессой; обстоятельно опроверг эту легенду Денис Давыдов в статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?»³⁵

У Пушкина в десятой главе «Евгения Онегина» о двенадцатом годе, в частности, говорится:

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

Остальные десять строк этой строфы нам неизвестны, то есть как раз те строки, где, вероятно, давались ответы на вопросы о причинах победы. Но можно не сомневаться, что сами эти вопросы были поставлены Пушкиным с полемической целью. Выше мы показали, что именно «остервенение народа» он считал причиной победы. Упоминая о «морозах», Пушкин имел в виду, конечно, распространение этой клеветнической легенды не только за границей, но и в России. Ей верили и некоторые из людей, хорошо знакомых Пушкину. Так, например, в дневнике М. П. Погодина 1821 года (то есть в период, когда мировоззрение будущего реакционера только еще формировалось и он считался либералом) о двенадцатом годе сказано: «Не искусство действовало, а сила и морозы»³⁶.

Факты недавнего прошлого использовались верно-подданническими литераторами для доказательства, что

Россия и русский народ обязаны своим «благоденствием» только самодержавию. В монархическом духе выдержано и такое эпическое произведение как, «Александроида» бездарного поэта Свечина и мемуары вроде «Походных записок русского офицера» И. Лажечникова. Эта же тенденция проходит и в романе Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году». Реакционеры с новой силой начали повторять идею царских манифестов 1812 года о том, что героем войны и оплотом государства является дворянство. В романе, близком загоскинскому по названию, «Графиня Рославлева, или Супруга-героиня...» (1832) утверждалось: «Привязанность и врожденное повиновение властям — отличительные черты в характере русского народа. Дворянин любит царя и отечество, крестьянин — своего господина»³⁷.

Книги реакционных писателей если и содержали с фактической стороны верные описания военных событий, то главная тенденция в оценке причин победы все же оставалась неизменной. Так, например, в «Записках о 1812 году» Сергея Глинки (1836) русская армия именуется «ратью суда божия», о пожаре Москвы говорится: «...при Наполеоне Москва отдана была на произвол провидения. В ней не было ни начальства, ни подчиненных. Но над нею и в ней ходил суд божий. Тут нет ни русских, ни французов: тут огонь небесный»³⁸.

В связи с приближавшимся 25-летним юбилеем победы над французами реакционно-монархическое освещение событий Отечественной войны усилилось. Тон задавала, конечно, «Северная пчела», отражавшая правительственную политику. Как своеобразная идеологическая программа юбилея звучала следующая декларация, напечатанная в газете:

«Да, в книге судеб 1812 год, как исполин, будет выдвигаться перед всеми происшествиями. Причина ясная: здесь народ явил свою привязанность к государю... слова «государь» и «отечество» были словами, сильнейшими всех слов в мире. Нужно ли повторять, что царствование Александра благословенного есть новое звено в цепи сих событий, что он решил судьбу своего народа и целой Европы!» В статье о «Походных записках» Лажечникова болгаринская газета призывала: «Пусть появляются беспрестанно сказания о великой битве, решенной русским монархом». Поддержку и полное одобрение

газеты получили и другие книги с монархической трактовкой причин победы. Записки Сергея Глинки «Северная пчела» похвалила за то, что в его изложении Россия стала «на гряде первой державы в мире доблестью своих царей и любовью к ним народа». О книге официального историка Михайловского-Данилевского было сказано: «Поздравляем с нею россиян, дорожащих славою своих царей и своего отечества» и т. д. К юбилею Отечественной войны газета состряпала и псевдонародные фальшивки — воспоминания. Таково, например, «казацкое письмо», написанное в псевдонародном стиле якобы донским казаком к своим соотечественникам в связи с сооружением в Казанском соборе алтаря из трофейного серебра, пожертвованного казаками в 1812—1814 годах. Сие событие вызвало у «автора» письма, казака Гаврилы Еремеевича, такие чувства: «Да здравствует наш царь государь православный много лет на своем на великом государстве! А мы, донские казаки, постараемся и напредь заслуживать его милости великие и прославиться, подражая отцам-праотцам нашим, в благочестии»³⁹.

Ту же линию, что и «Северная пчела», проводил «Русский инвалид», без умолку трещащий о величии «самим богом вызванного» Александра I. Здесь рассказывались явно придуманные эпизоды из времен войны, рисующие личную храбрость царя, подвиги дворян. О народной войне и роли самого народа газета не только не писала, но извращала факты. Например, об обороне различных поселений рассказывалось так, что вся заслуга приписывалась городничему и дворянам. Эта тактика прославления царя и игнорирования народа проводилась всей реакционной прессой.

Позиция «Сына отечества» в 30-е годы не нуждается в пояснениях: его «душой» был тот же Булгарин в сотрудничестве с Гречем. Недалеко ушла от этого журнала и «Библиотека для чтения», утверждавшая, что в войне 1812 года «Александр являлся истинно великим во всех отношениях, — великим русским, как неутомимый, усердный, бесстрашный последователь русского национального чувства, великим политиком... великим полководцем... великим умом». «История... признает Александра первым гением того самого века, в котором жил Наполеон»⁴⁰.

В этой обстановке борьба с реакционно-монархическим освещением Отечественной войны становится важной политической задачей, и эту борьбу возглавил Пушкин.

Вести прямую полемику с теми, кто утверждал решающую роль Александра в войне, было невозможно. Все, что Пушкин написал о нем в эти годы, осталось, конечно, достоянием архива поэта. В 1829 году он сочинил надпись «К бюсту завоевателя» — по поводу бюста Александра I работы Торвальдсена. В ней поэт отмечает лицемерие царя:

Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

Основная мысль этой надписи («лик сей двуязычен») повторена в сохранившейся заметке Пушкина: «Торвальдсен, делая бюст известного человека, удивился странному разделению лица... верх нахмуренный, грозный, низ же выражающий всегдашнюю улыбку... Questa è una brutta figura»*.

Правда, иного рода характеристика Александра встречается в стихотворениях Пушкина, посвященных лицейским годовщинам (строки, говорящие о том восторге, с которым было встречено возвращение из Парижа «Агамемнона» и т. д.). Но это не что иное, как воспоминание о тех чувствах, которые были присущи поэту в Лицее. Истинное отношение Пушкина к царю было выражено, кроме упомянутых эпиграмм, также в десятой главе «Евгения Онегина» (которую он писал для себя и для очень узкого круга друзей): «властитель слабый и лукавый... нечаянно пригретый славой». О публикации же в печати такого рода характеристики, конечно, нечего было и думать; оставался только путь скрытой полемики, а также разъяснения действительных причин победы 1812 года. Этим задачам и отвечали произведения Пушкина, связанные с темой Отечественной войны, написанные в 30-х годах.

Стихотворения «Перед гробницею святой» (1831), «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»

* Это — отвратительное лицо (итал.).

(1831) чаще всего рассматривались как отклик на польско-русские отношения 1830—1831 годов. Но это лишь один из планов темы. Другой план (в связи с содержанием данной главы нас интересует только он) — это поэтическое утверждение Отечественной войны 1812 года как войны народной. Уже в первом из названных стихотворений — «Перед гробницею святой» — обнаруживается явная направленность против враждебной Пушкину трактовки Отечественной войны. Всем содержанием стихотворения подчеркивалось, что народным вождем являлся не «Александр благословенный», как кричала вся пресса, а Кутузов:

...сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов...

Военный вождь, вставший на защиту родины, вождь «северных дружин» — вот главное, что привлекает в Кутузове Пушкина. И дальше разворачивается характеристика Кутузова как спасителя России и национального героя, избранника народа:

В твоём гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

В другом стихотворении, «Клеветникам России», поэт воспекает Россию, пролившую кровь за вольность народов:

...в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир...

В «Бородинской годовщине» Пушкин, снова возвращаясь к теме Отечественной войны, вспоминает, как Россия противостояла мощным полчищам врагов:

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;

Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор...

Это описание «великого дня Бородина» созвучно
позднейшему стихотворению Лермонтова «Бородино»
с его концовкой, возвращающей нас к стихотворению
Пушкина:

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина.

Четыре года спустя Пушкин написал стихотворение
«Полководец», о котором мы уже говорили выше, по-
священное Барклаю де Толли, одному из соратников
великого Кутузова. Как известно, поэт дает очень высо-
кую, даже идеализированную, оценку заслугам Барклая
в Отечественной войне.

При изучении замысла этого стихотворения Пушкина
следует учесть, что он не ставил перед собой задачи
оценить военные заслуги Барклая. В письме Гречу по
поводу «Полководца» Пушкин писал о Барклае де
Толли: «Не знаю, можно ли вполне оправдать его в от-
ношении военного искусства; но его характер останется
вечно достоин удивления и поклонения». Пушкина как
поэта привлекали в образе Барклая «стоические» черты,
мужество, с которым он ушел с поста главнокомандую-
щего и продолжал честно и героически сражаться под
начальством Кутузова. В этом смысле и следует пони-
мать слова Пушкина о Барклае как «высокопоэтическом
лице». Но в стихотворении «Полководец» несомненно
был и сокровенный полемический смысл.

Напечатанное анонимно стихотворение это явилось
звеном в борьбе против официозной трактовки победо-
носной войны как дела рук Александра I. Пушкин вос-
певал действительных участников и героев войны, —
«начальников народных наших сил» (ни разу и словом
не обмолвившись об Александре). Эту цель ставил он
перед собой и в стихотворении о Кутузове как спасителе
России, и в заметке «О некрологии генерала от кавале-
рии Н. Н. Раевского», и в «Полководце». Выдвигая
фигуру Барклая как одного из полководцев «народных
сил», Пушкин вновь и вновь выражал идею, согласно

которой его оценка этого деятеля, оценка поэта, а не «слепого века», является истинной и найдет оправдание в потомстве:

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиление!

Кто же «ругался» над Барклаем и отказывал ему в каких-либо заслугах? Те же казенно-бюрократические, реакционные круги, которые сквозь зубы упоминали о заслугах Кутузова и для которых вся слава и могущество России, все величие победы в Отечественной войне воплощалось только в одном-единственном имени, в имени императора Александра I. Сооружение необыкновенной по своей монументальности Александровской колонны было предпринято, по словам Бенкендорфа, для того, чтобы ознаменовать, «сколь колоссальны были кампании 1812, 1813 и 1814 годов, в которых Россия и Европа стяжали столь блестящий успех благодаря лишь непоколебимой твердости покойного Александра». Отсюда и пышность церемонии открытия колонны 30 августа 1834 года в присутствии всей царской фамилии, дипломатического корпуса и около ста тысяч войск. Пушкин, как известно из его дневника, специально уехал из Петербурга, чтобы «не присутствовать при церемонии» (как камер-юнкер он обязан был быть на торжестве) ⁴¹.

Откликом на стихотворение Пушкина о Барклае была критическая брошюра Л. И. Голенищева-Кутузова (сына одного из видных деятелей екатерининской эпохи), упрекавшего Пушкина в том, что он, восхваляя Барклая, якобы умаляет роль Кутузова. Пушкин ответил на брошюру «Объяснением», где, признавая решающую и первостепенную роль Кутузова, — защищает свое право воздать должное и Барклаю. «Слава Кутузова, — писал Пушкин, — неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титул: спаситель России; его памятник: скала святой Елены!» Далее в «Объяснении» сказано о превосходстве военного гения Кутузова и о том, что «Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!» Но здесь же Пушкин заметил: «Неужели

должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая де Толли, потому что Кутузов велик?»⁴²

В своем «Объяснении» Пушкин опять ни словом не обмолвился о роли Александра I в войне. Тактика Пушкина в борьбе за правильную оценку событий 1812 года обнаружилась на этот раз с полной ясностью.

Как справедливо отметил Ираклий Андроников, пушкинское умолчание об Александре и вызвало статью Булгарина «Правда о 1812 годе, служащая к исправлению исторической ошибки, вкравшейся в мнение современников»⁴³.

Статья эта носит характер политического доноса. Булгарин утверждал, что вообще многие исторические события оказывались искаженными. Причина этого искажения — дух партий. Воспользовавшись пушкинской заметкой о «Полководце» как поводом, Булгарин с верно-подданническим возмущением указал на то, что в оценке 1812 года Пушкин принадлежал к «демократической партии».

«Кто спас Россию в 1812 году? — вопрошал Булгарин. — Прозаики и поэты запутали дело своими возгласами, восторгами, употреблением эпитетов и даже искажением самих событий. Тихий голос некоторых правдивых историков заглушен воплем памфлетистов и песнями поэтов». Булгарина, собственно, не интересует вопрос об оценке Кутузова и Барклая. С этой точки зрения «Объяснение» Пушкина по поводу «Полководца» его устраивает. Но в оценку Пушкина он вносит свое «исправление»: «...великие мужи могут совершать великие подвиги только при великих государях». И в противовес Пушкину Булгарин заявляет:

«Спрашивается: кто же спаситель России? Ответ находится на медали 1812 года: бог! Но кто исполнял волю божью на земле? Тот, который одобрил великую мысль Барклая, который избрал вождем Кутузова, который произнес незабвенные в истории слова: «Не вложу меча во влагалище, пока хотя единый враг останется на земле русской» и который приписал весь успех благодати божией — император Александр! Слава господа на небеси, а на земле царю русскому слава!»⁴⁴

Это один план булгаринской статьи. Другой ее план носил более частный характер. Булгарин не мог, конечно, забыть, что Пушкин несколько лет назад публично

разоблачил его как переметчика, поступившего в 1812 году на службу во французскую армию. В одной из своих статей («Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов»), напечатанной в «Телескопе» (журнале, кстати говоря, высоко ценившем значение Отечественной войны), Пушкин, имея в виду Булгарина, с негодованием писал о переметчиках, «для коих: ubi bene, ibi patria *», для коих все равно: бегать ли им под орлом французским, или русским языком позорить все русское, — были бы только сыты». В другой статье («Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», 1831) Пушкин приводит план нравственно-сатирического романа «Настоящий Выжигин» — пародию на болгаринский роман о Выжигине. В этом плане имеются, в частности, три главы: «Ubi bene, ibi patria», «Московский пожар. Выжигин грабит Москву» и «Выжигин перебегает». Тем самым Пушкин обличал уже не только личное поведение Булгарина, но и высмеивал те части романа Булгарина «Петр Иванович Выжигин», которые посвящены войне 1812 года. Во второй части этого романа Булгарина была дана оголтелая реакционно-монархическая оценка сил, участвовавших в войне. Рассуждения о двенадцатом годе пересыпаны здесь такими утверждениями: «простой народ пойдет на явную смерть по первому слову своего государя», «царь, отец России, заботится о нас более, чем мы сами», «добрая, благородная душа императора страдает за всех его подданных... за всех несчастных жертв войны», вольможи «первые подали пример усердия к престолу и любви к отечеству» и т. д.⁴⁵

Таким образом, статья Булгарина по поводу пушкинского «Полководца» явилась одним из актов мести Пушкину.

Что же касается утверждения Булгарина, что Пушкин принадлежал к «демократической партии», то, действительно, поэт был в этом вопросе не только выразителем, но и организатором передового общественного мнения; об этом свидетельствует линия, которая проводилась при участии Пушкина в «Литературной газете», а также тактика, которую он лично проводил в «Современнике».

Материалы о 1812 годе, напечатанные в «Литератур-

* Где хорошо, там и отечество (лат.).

ной газете», близки Пушкину по своей идейной направленности. Память великого полководца газета отметила стихотворением «Гробница Кутузова» (автор — Трилунный). Тема стихотворения — воспоминание о Бородине, о пожаре Москвы. Кончается оно сравнением могилы Кутузова, народного вождя, с одинокой могилой Наполеона:

Кутузов счастливее был!
Он не забвен надгробной тризной,
И храм святой вождя покрыл
Благословенною отчиной

В другом номере напечатано стихотворение о неприступности России для иноземного врага, однажды уже испытавшего богатырскую силу народа (автор тот же). Особый оттенок носили напечатанные в «Литературной газете» стихи Дениса Давыдова. Поэт-партизан, отстраненный от дел николаевской военщиной, в элегических тонах вспоминал о героическом прошлом, так непохожем на серые будни современного быта. Его стихотворение «Бородинское поле» начинается строками:

Умолкшие холмы, дол, некогда кровавый,
О, возвратите мне ваш день, день вечной славы,
Пыль, дым, громады войск, и сечу, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали наконец счастливы горделивы...

Среди героев войны он называет только Багратиона и Н. Н. Раевского. Кончается стихотворение трагическим обращением ко всем павшим друзьям:

Но где вы?.. слушаю.. Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, утихнул стук мечей,
И я, питомец их, склоняюсь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга.

Этим же настроением проникнуто послание Давыдова поэту-моряку Зайцевскому. Героике двенадцатого года противопоставлено губительное влияние «судьбы»:

...забвенье судьбу мою губит,
И лира немеет, и сабля не рубит ⁴⁶.

В «Литературной газете» напечатан ряд заметок о книгах, посвященных Отечественной войне (в частности, заметка Пушкина «О некрологии генерала-от-кавалерии Н. Н. Раевского»). Оценивая качество той или

иной книги, рецензент прежде всего интересовался тем, насколько правдиво изображены в ней события, показан ли героизм народа.

Но наибольший интерес представляет та последовательная линия в освещении двенадцатого года, которую Пушкин проводил в своем журнале, в «Современнике». Здесь тема 1812 года звучала как одна из главных и определявших лицо журнала.

Материалы, связанные с войной, Пушкин помещал в каждом номере «Современника». Все произведения об Отечественной войне были воодушевлены гордостью великим прошлым. Вместе с тем героика двенадцатого года противопоставлена в них серым будням николаевской действительности.

В первом же номере «Современника», по поводу вышедших тогда в свет «Походных заметок артиллериста», была напечатана своеобразная декларация: «Когда возвратились наши войска из славного путешествия в Париж, каждый офицер принес запас воспоминаний. Их рассказы все без исключения были занимательны; все наблюдаемо было свежими и любопытными чувствами новичка... Доныне, если бывший в Париже офицер, уже ветеран, уже во фраке, уже с проседью на голове, станет рассказывать о прошедших походах, то около него собирается любопытный кружок». Далее следует призыв к изучению и записи воспоминаний участников войны. «Но ни один из наших офицеров до сих пор не вздумал записать свои рассказы в той истине и простоте, в какой они изливаются изустно. То, что случилось с нами как с людьми частными, почитают они слишком неважным и очень ошибаются. Их простые рассказы иногда вносят такую черту в историю, какой нигде не дороешься. Возьмите, например, эту книгу: она не отличается блестящим слогом и замашками опытного писателя, но все в ней живо и везде слышен очевидец. Ее прочтут и те, которые читают только для развлечения, и те, которые из книг извлекают новое богатство для ума»⁴⁷.

Идеи, высказанные в этой статье, осуществлялись в практике самого журнала. Во втором номере «Современника» была напечатана с восторженным предисловием Пушкина 1 часть «Записок Н. А. Дуровой», «кавалериста-девицы», служившей в армии под именем корнета Александрова. В ней безыскус-

ственно и просто рассказано о 1812 году. Противопоставляя в походном дневнике боевую жизнь своему прежнему «светскому» существованию, Дурова писала: «Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь!.. Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу: о, в тысячу, в тысячу раз превосходнее теперешний род жизни!.. Балы, танцы, волокитства, музыка!.. о боже, какие пошлости, какие скучные занятия!» В той части «Записок», которая помещена в «Современнике», продолжена пушкинская линия игнорирования Александра I. В «Записках Н. А. Дуровой», как бы в пику официозным публицистам, не царь, а Кутузов назван «первым человеком в государстве», «славнейшим из героев России»⁴⁸.

В третьем номере журнала напечатана статья Дениса Давыдова «О партизанской войне». В ней на примере 1812 года опровергалось мнение, что партизанская война сводится к «мелким» набегам на врага или «разграбительным действиям». В понимании Дениса Давыдова партизанская война — одна из форм массовой, всенародной борьбы с неприятелем. Кончалась статья афоризмом, который впоследствии столь часто цитировался: «Еще Россия не подымалась на весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется!»⁴⁹

Но каким контрастом по отношению к бодрому, уверенному тону этой статьи звучало напечатанное в той же книжке журнала стихотворение Давыдова «Челобитная!» Тема его — гнетущая проза современной жизни, гнетущее для бывшего партизана соседство

Благочинной саранчи,
И торчащей каланчи.
И пожарных труб, и крючей!

Для него тесен «дом богатый»:

Сотоварищ урагана,
Я люблю, казак-боец.
Дом без окон, без крылец.
Без дверей, без стен кирпичных,
Дом разгулов безграничных
И налетов удалых...⁵⁰

Романтике славного прошлого здесь противопоставлялась скука обыденности, пошлость николаевской действительности 30-х годов. Та же мысль звучала в пер-

вой фразе статьи Вяземского (во втором номере) о поэме Э. Кине «Наполеон»: «Наши времена не эпические»⁵¹.

Дальнейшее утверждение Вяземского о том, что жизнь Наполеона «есть эпопея», требует пояснений. В «Современнике» образ Наполеона освещался двойственно: как романтическая личность («Ночной смотр» Жуковского, беглые строки о Наполеоне в пушкинском «Путешествии в Арзрум», статьи Вяземского о сочинениях Наполеона и о поэме Кине) и вместе с тем как самоуверенный, наглый захватчик, переоценивший свои способности и возможности (особенно резко в этом духе писала Дурова). Но именно таким противоречивым и было восприятие Пушкиным Наполеона в 20—30-е годы. Если в юности Пушкин считал Наполеона тираном и поработителем и противопоставлял ему Александра I, как освободителя, то вскоре после окончания Лицея поэт пересмотрел свое отношение к ним обоим. Послевоенные годы обнаружили, что тираном, поработителем, «врагом человечества» был по всему своему облику также Александр I. Наполеон же, по тонкому определению Пушкина, — «мятежной вольности наследник и убийца» (то есть деятель, начавший свой путь службой в революционных войсках, а затем ставший душителем французской революции). Именно в этом плане противопоставляется Наполеон Александру в стихотворении «Недвижный страж дремал». Официозную трактовку образа Наполеона как единственного врага человечества, «исчадия греха, лютого сына геенны» (стандартные определения «Русского вестника») отвергала, начиная с 20-х годов, вся прогрессивная дворянская общественность, начавшая исторически осмыслять произошедшее. Декабрист П. Каховский говорил о времени, наступившем после победы над Наполеоном: «Народы Европы вместо обещанной свободы увидали себя утесненными, просвещение сжатым. Тюрьмы Пьемонта, Сардинии, Неаполя, вообще всей Италии, Германии наполнились окованными гражданами... Вот случаи, в которых образовались умы и познали, что с *царями народам делать договоров невозможно*». Среди царей — «врагов человечества» вообще — Наполеон не казался, следовательно, исключением. Такое же осмысление Наполеона характерно для зрелого Пушкина⁵².

Общая точка зрения Пушкина на события Отечественной войны нашла отражение в напечатанных в «Современнике» двух произведениях о 1812 году: «Полководец» и «Рославлев» и в «Объяснении» на критику «Полководца». При этом Пушкину приходилось преодолевать всяческие цензурные трудности. Известно, что «Современник» вообще не имел права касаться политических вопросов, имевших злободневный характер. Поэтому по поводу материалов о двенадцатом годе то и дело возникали столкновения с цензурой. Так, существенные изменения были сделаны в статьях Дениса Давыдова «Взятие Дрездена» и «О партизанской войне». Пришлось сделать изменения и в «Отрывке из неизданных записок дамы» — первой части пушкинского «Рославлева». Опасаясь цензурных осложнений, Пушкин напечатал здесь наименее острую часть своей своеобразной полемики с реакционно-националистическим романом Загоскина «Рославлев», причем анонимно, да еще с пометкой: «Перевод с французского». Но и при этом, например, в обличительном рассуждении Пушкину пришлось заменить слова «светская чернь» на «светскую мелочь».

В этом отрывке образ Полины вырисовывался как образ истинной, пламенной патриотки, замечательной русской женщины, которая горячо любит «наш добрый, простой народ» и ненавидит светских «обезьян просвещения». Гневным обличением звучало то место «отрывка», где показано отсутствие национальной гордости у светской черни, которая, насмехаясь над «русскими бородами», думала угодить этим приезжей иностранке (мадам де Сталь, которая, как известно, была врагом Наполеона и высоко ценила героизм и мужество русского народа). Полина испытывала мучительный стыд от поведения русского дворянства (прославленного Загоскиным как оплот победы государства). В тех частях «Рославлева», которые Пушкин при жизни не смог напечатать, образ Полины раскрывается еще ярче. Она решительно выступает против мнения подруги о том, что политика — не женское дело. В ответ на утверждение: «...женщины на войну не ходят и им дела нет до Бонапарта», она восклицает: «Разве кровь русская для нас чужда?.. Нет! Я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное...» Всею душой стремясь

принять участие в борьбе с врагом, она готова пожертвовать собой, «явиться во французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук»*.

Если пушкинский «Рославлев» был бы закончен, русская литература имела бы одно из самых замечательных произведений об Отечественной войне 1812 года, которую поэт назвал «величайшим событием новейшей истории».

Величайшим событием явился двенадцатый год и для развития всей русской культуры.

Двенадцатый год обозначил новый этап в развитии русской литературы, ее идейных и художественных особенностей.

Двенадцатый год стал крупнейшей вехой в борьбе за дальнейшее развитие национальной самобытности русской культуры и литературы. В этой острой, сложной, запутанной борьбе (которая к тому же велась в условиях феодально-крепостнического государства) со всей силой сказалась гениальность Пушкина не только как художника, но и как одного из крупнейших мыслителей своего времени.

К характеристике этой борьбы и роли Пушкина в ней мы и перейдем.

* Эта же мысль приходила в голову, как известно, герою-партизану Отечественной войны Фигнеру.

**ПУШКИН
И ДЕКАБРИСТЫ
В СПОРАХ
О НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ**



Дело тайного общества бросило яркий свет на истинные нужды страны и на прогрессивное развитие культуры.

Декабрист М. Лунин.



Глава первая

ЛИНИИ БОРЬБЫ

Мировоззрение Пушкина формировалось в обстановке ожесточенных споров вокруг проблем, связанных с развитием русской национальной культуры.

Острая полемика по вопросам просвещения, литературы, искусства представляла собой характерную особенность общественной жизни первой четверти XIX века. Полемика велась не только в журналах, в литературных обществах и кружках, но и в частных домах, проникала в дружескую переписку. О боевом характере полемики свидетельствует уже сама терминология, которая мелькает в разговорах, в статьях, в стихах на эти темы.

Летите на врагов: и Феб и Музы с вами!

Разите варваров кровавыми стихами, —

восклидал Пушкин, призывая своих единомышленников обличать «спесивых риторов безграмотный собор», «зоилов», проповедников «тьмы». «Теперь страшная война на Парнасе», — констатировал Жуковский. «Две партии находятся всегда в своего рода войне, — кажется, что видишь дух мрака в схватке с гением света», — так охарактеризовал один из членов «Зеленой лампы», А. Д. Улыбышев, столкновения различных лагерей общественной мысли¹.

Эта борьба была связана с громадным поворотом в истории России, с перспективой ликвидации феодальных порядков, возникшей перед страной уже не как отвлеченная мечта, а как необходимость, диктуемая

процессами действительности. Углубились противоречия в экономическом строе, появились новые силы, способные к борьбе за практическое переустройство общества, усилилась и борьба идей. Начало поворота от старой России к России новой сопровождалось коренными изменениями в культуре. Своеобразие политической борьбы в стране, придавленной абсолютизмом, в стране, где цензура не только пресекала всякие проявления свободомыслия, но и стремилась проникать в «ухищрения пишущих», обусловило ярко политическую насыщенность споров, даже по частным, второстепенным вопросам культурного развития.

Уже в XVIII веке виднейшие представители русской общественной мысли и литературы, подвергая критике многие стороны культуры феодально-крепостнической российской империи, начали борьбу за национальные основы передовой культуры, за ее подъем. В эпоху Пушкина и декабристов, когда наступление на феодально-крепостнический уклад впервые в истории России приняло характер организованного революционного движения, непримиримость «старого» и «нового» в вопросах культуры приобрела небывалую ранее остроту. Возникли дотоле неизвестные сложные проблемы. Деятели декабристской России, продолжая славные традиции своих предшественников, прежде всего Радищева, борьбу за развитие национальной культуры соединяли с критикой абсолютизма и крепостничества, с пропагандой освободительных идей.

В этой связи возникает интереснейшая задача изучения роли и позиций Пушкина в борьбе за русскую национальную культуру.

Позиции Пушкина по отношению к русской национальной культуре и культуре мировой грубо искажались еще при его жизни. Реакционные националисты отказывали Пушкину даже в праве называться русским поэтом. Об этом сам он с горечью говорил:

Бывало, что ни напишу,
Все для других не русским пахнет...

Эти «другие» считали, что критика Пушкиным императорской России, которая, как мы знаем, была воодушевлена горячим чувством патриотизма, означала пренебрежение своей страной. Любовь и уважение поэта

к лучшим представителям зарубежной литературы они объявляли «слепой приверженностью иноземному». Таким людям Пушкин ответил стихотворением «Краев чужих неопытный любитель», по своим мотивам напоминающее и грибоедовское «Горе от ума», и «Гражданина» Рылеева, и лермонтовскую «Думу». Представители же лагеря, которые чуждались всего русского и предпочитали своему чужое только потому, что оно чужое, третировали Пушкина как раз за то, что в его творчестве отражена специфика родной страны, черты национального характера, проникновенная любовь к русской природе, русским песням.

И впоследствии различные литературные фальсификаторы продолжали искажать облик Пушкина, его позиции. Одни стремились объявить его сторонником национальной исключительности, оторвать от развития мировой культуры. Другие, наоборот, не замечая, что вся деятельность Пушкина явилась ответом на коренные вопросы русской жизни и порождена ею, рассматривали ее как результат иноземных влияний. Были и попытки отрицания патриотизма Пушкина; при этом соответственно истолковывались его негодующие слова о «свинском Петербурге», слова «черт догадал меня родиться в России с умом и талантом», сказанные в минуту отчаяния. Но при этом утаивались другие его признания, например, что он ни за что на свете не хотел бы переменить отечество (письмо П. Я. Чаадаеву, 1836). Были и другие неверные истолкования пушкинских позиций. Не способствовали пониманию подлинных позиций Пушкина, а лишь запутывали вопрос и апологеты теории «единого потока», которые пытались «ликвидировать» не только противоречия в мировоззрении Пушкина, но и вообще выровнять извилистый фронт борьбы различных общественно-политических лагерей пушкинской эпохи в единую линию приверженцев патриотизма и народности.

Воссоздание картины борьбы за судьбы национальной культуры в ее подлинности и позиций Пушкина важно не только для характеристики его деятельности, но и для верного понимания исторической сущности той борьбы «двух культур», о которых писал Ленин, культуры эксплуататорских классов и культуры, отражающей интересы и чаяния народа.

Еще современники Пушкина сознавали, что значение его деятельности выходит далеко за пределы собственно литературного развития. У декабристов мы встречаем характеристики Пушкина как крупнейшего выразителя духовных сил народа, основоположника передовой национальной культуры, выразителя специфики русской нации, чьи творения обозначили совершенно новый этап ее истории. «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают», — писал Рылеев Пушкину в 1825 году, за месяц до восстания ².

Революционные демократы при всех противоречиях в оценке идейных позиций Пушкина тем не менее характеризовали его деятельность в широком общекультурном плане. Добролюбов считал Пушкина «одним из вождей ее (России. — Б. М.) просвещения», а Чернышевский утверждал: «В истории русской образованности Пушкин занимает такое же место, как и в истории русской поэзии». Но только в наше время, когда проделана большая работа по изучению Пушкина и его эпохи, общее значение поэта как виднейшего деятеля национальной культуры раскрывается во всей полноте. Исследованию этого вопроса способствует и преодоление нашей наукой пережитков реакционной историографии, утверждавшей, что Пушкин был пассивным художником, жрецом «чистого искусства», далеким от идейно-политических боев. Теперь все более отчетливо вырисовывается облик Пушкина как страстного борца за свои идеи, отстаивавшего их в труднейших условиях духовного закрепощения страны ³.

История национальных культур во всех странах мира связана с общим историческим процессом ликвидации феодализма, начало которому было положено французской буржуазной революцией 1789 года. Это, по определению В. И. Ленина, «эпоха буржуазно-демократических движений вообще, буржуазно-национальных в частности, эпоха быстрой ломки переживших себя феодально-абсолютистских учреждений» ⁴. В новую всемирно-историческую эпоху центральными вопросами становления национальной культуры во всех странах были вопросы о ее исторических традициях и современных задачах, о критериях национальной самобытности и народности, о взаимоотношениях с культурой других народов, о путях развития литературного языка. Такие же вопросы вставали и перед деятелями русской культуры, но

решались они в соответствии с специфическими условиями русской жизни. Вокруг этих вопросов и шла борьба. В чем была ее сущность? Как соотносились позиции Пушкина с позициями не только враждебного ему лагеря, но и тех современников, которых он считал близкими себе? В чем своеобразие точки зрения Пушкина, в какой мере были оправданы его расхождения по некоторым вопросам с декабристами? Все это важно не только для изучения многосторонней деятельности Пушкина, но и для понимания его эпохи.

Живое участие Пушкина в спорах вокруг вопросов развития русской национальной культуры началось очень рано, еще в годы его формирования как поэта. В дальнейшем его позиция становилась все более активной, не только сливаясь по своему идейному содержанию с борьбой декабристов против всего реакционного и обветшалого, но во многом опережая свое время. Для того чтобы разобраться во всей сложности происходивших тогда споров и определить в них позиции Пушкина, необходимо обратиться к характеристике наиболее существенных этапов борьбы «старого» и «нового».



Глава вторая

«ГУБИТЕЛИ РОССИЙСКОГО СЛОВА»

27 марта 1816 года Пушкин писал П. А. Вяземскому из Царского Села: «...время нашего выпуска приближается; остался год еще... Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу *губителей* Российского слова». Так Пушкин с присущим ему остроумием именовал «Беседу *любителей* русского слова».

В письме Пушкина отразилось его нетерпение живее, активнее включиться в литературную борьбу, участником которой он уже был. Борьба с «беседчиками» проходит через все творчество Пушкина 10 годов. Все значение этой борьбы становится очевидно, если учесть литературно-политическую платформу «беседчиков».

Деятельность «Беседы любителей русского слова» и Шишкова рассматривалась чаще всего в связи с дискуссией о языке. Эта сторона вопроса обстоятельно освещена в истории литературы и истории русского литературного языка. Между тем «Беседа любителей русского слова» не была только литературной организацией: фактически она представляла собою политический блок правых элементов дворянства из непосредственного окружения царя. Именно потому (а не в силу только споров о стилистических тонкостях) полемика с «Беседой» обозначила целую полосу в истории русской общественной мысли и литературы.

Естественно, что для понимания борьбы за развитие национальной культуры существенна позиция «Беседы» и Шишкова в целом.

«Беседа» была создана в 1811 году для пропаганды реакционно-охранительных идей. Программная речь ее организатора и руководителя Шишкова была построена с явным учетом этой основной задачи. О литературе он говорил с точки зрения политической: «Подвигнутые монаршими деяниями, мы стремились вслед воле его и не способностями нашими, но духом его оживотворяемые течем по гласу его трудиться, сколько можем, над тем первоначальным учением, на котором всякое другое учение основывается и создается, то есть над языком и словесностью». Восхваление монархической власти проходит через все книжки «Чтений Беседы». В первом же номере были помещены дифирамбические стихи царю, из которых следовало, что без него и жизни нет на земле:

Но где же солнце теплотою,
Где, на каких берегах Скамандр
Пред нашей хвалится Невою,
Коль наше солнце Александр?!

Взгляды Шишкова простирались до такой беспредельной реакционности, что он в начале века возглавлял оппозицию Александру I... справа. Либеральные обещания, которые Александр давал на первых порах своего царствования и особенно его обещания реформ, — все это Шишков расценил как отступление от коренных основ «российских установлений».

Характерно, например, следующее высказывание Шишкова по поводу либеральных фраз Александра I: «Несчастное в государе предубеждение против крепостного в России права... внушено в него было находившимся при нем французом (швейцарцем. — Б. М.) Лагарпом и другими... воспитанниками французов». «Молодые наперсники Александровы, — вспоминал Шишков об этом времени, — напыщенные самолюбием, не имея ни опытности, ни познаний, стали все прежние в России постановления, законы и обряды порицать, называя устарелыми, невежественными. Имена вольности и равенства, приемлемые в превратном и уродливом смысле, начали твердить перед младым царем... С того времени отстал я от двора, уклонился от всех его козней». Но как

только Шишков убедился, что «либерализм» царя — это пустая болтовня, он вновь возвратился к активной политической деятельности, для того чтобы официальную политику направить «к надлежащей цели», о которой Шишков заявил еще в 1807 году, до организации «Беседы». Это, разумеется, столь любезная Шишкову верность к «прежним в России постановлениям, законам и обрядам»².

Задачи, которые ставил себе Шишков при организации публичных литературных «чтений», были, следовательно, куда шире, чем казалось современникам. Именно поэтому выступления Шишкова против карамзинской реформы языка подчинялись прежде всего требованиям общей политической тактики, выработке которой были посвящены узкие совещания, предшествовавшие организации «Беседы». Об этом с полной определенностью свидетельствуют дневники Жихарева. Из них мы узнаем, что на первом же таком совещании в доме Шишкова только Державин решился прервать затянувшиеся политические разговоры и напомнил, «что пора бы приступить к делу» (то есть к литературному чтению). О другом совещании Жихарев записал: «Вчерашний вечер у И. С. Захарова не похож был на вечер литературный. Кого не было! Сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и даже сам главнокомандующий С. К. Вязьмитинов». Литературная часть вечера была скучной и неинтересной. «Читали стихи какого-то Куклина... на случай избрания адмирала Мордвинова... в губернские начальники московской милиции. Стихи очень плохи». Далее Захаров читал переводы писем Фенелона о благочестии. «Слушая эти письма, гости дремали». «Сановные гости», в том числе Вязьмитинов, во время чтения удалились, и остались только те, «которым хотелось или ужинать, или читать стихи свои». Наконец на этом же собрании Жихарев читал стихи «К деревне», которые, по его собственному признанию, «не заключают в себе ничего, кроме одного набора слов...» «Много разговаривали прежде о политике, об отъезде государя, о Сперанском...» Наконец Жихарев окончательно убедился, что литературные интересы в этих собраниях на последнем плане: «В замену плохих стихов наслушался я умных речей и вдоволь насмотрелся на многих почтенных людей»³.

Частные собрания эти постепенно все более принимают характер организованного литературного объединения. Из литературного содружества Шишковым, наконец, образуется «высочайше утвержденная» «Беседа любителей русского слова».

По справедливому замечанию Вигеля, «Беседа» была организована таким образом, что «имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах»⁴.

Приведенный в первой книжке «Чтений Беседы любителей русского слова» список «особ, составляющих «Беседу», начинается с перечисления попечителей, которыми состояли крупнейшие сановники: гр. П. В. Завадовский, министр просвещения А. К. Разумовский, адмирал Н. С. Мордвинов и министр юстиции, поэт И. И. Дмитриев. Беседа была разделена на четыре разряда, председателями которых состояли Шишков, Державин, А. С. Хвостов и Захаров. Затем шли действительные члены, члены-сотрудники и почетные члены. Среди них: Шишков, Державин, А. С. и Д. И. Хвостовы, Захаров, адъютант Александра I Кикин, Дмитриевский, Карабанов, Вельяминов, Писарев. Большое внимание уделялось внешней стороне заседаний «Беседы», происходивших в специально приспособленной для этого зале квартиры Державина в весьма торжественной, почти церемониальной обстановке. 14 марта 1811 года состоялось первое торжественное заседание «Беседы» с участием гостей⁵.

Члены «Беседы» по своим литературным интересам представляли различные направления. Если не считать группы творчески бесплодных и бездарных литераторов, придерживавшихся канонов классицизма, можно с уверенностью утверждать, что единой собственно литературной платформы у членов «Беседы» не было. Ее не могли создать, разумеется, такие ничтожные стихотворцы, как А. П. Бунина и А. А. Волкова, которые «творили» по рецептам старых «пиитиков», или Ф. Львов, писавший стишки о «цветке» и «ручье» в стиле эпигонов карамзинской школы. В «Бесед» состояли люди, совершенно различные по своим литературным вкусам — Ширинский-Шихматов и Галинковский, Капнист и Марин, Николаев и Шаховской, Жихарев и Соколов. Бывал на

чтениях «Беседы» и Крылов, басни которого служили главной приманкой для публики: его, как и Державина (в то время уже совсем одряхлевшего), сумели убедить в том, что эти «литературные собрания» принесут «огромную пользу русской словесности». Но, будучи членом «Беседы», Крылов в своих баснях «Парнас» и «Демьянова уха» зло высмеял «Беседу» и Российскую академию, которая также была оплотом литераторов-староверов⁶.

Глава «Беседы» Шишков, стремясь направить всю ее деятельность против передовой национальной культуры, однако хитроумно маскировал свои действительные убеждения. Враждебно встречая каждое проявление творческой, новаторской мысли, всякие стремления порвать путы феодализма и крепостничества, он заполнял все свои писания внешне патриотической фразеологией. Главная идея программного «Рассуждения о любви к отечеству» Шишкова — необходимость сохранения «устоев». Любовь к отечеству Шишков определял не как сознательное, а как врожденное, физиологическое чувство, по аналогии с любовью зверей и птиц к месту своего рождения или с любовью, «какую природа вложила в один пол к другому». Без каких-либо колебаний он утверждал, что любовь к отечеству должна быть «пристрастной», «слепой». Слепота необходима для того, чтобы не видеть в существующем порядке никаких недостатков и не подвергать его никакому анализу. Анализ может якобы охладить любовь к отечеству, точно так же как он охлаждает любовь между мужчиной и женщиной: «Ум начнет рассуждать, сердце холодеть, и вскоре человек сей, ни с кем прежде не сравненный, сделается для нас не один на свете, но равен со всеми, а потом и хуже других. Так точно отечество». «Слепота», которую проповедовал Шишков, была на деле проповедью полного запрета критики существовавшего строя, апологией феодальной неподвижности и застоя. Всякое сравнение государственной системы стран Запада и самодержавно-крепостнической системы России Шишков рассматривал как измену православному царю и вере. Взгляды Шишкова выразились здесь с такой прямолинейностью, что даже граф Д. И. Хвостов, к «вольнодумству» уж ничуть не причастный, записал об этой речи в дневнике: «Члены «Беседы» были без памяти, но, право, речь худа... Местами писано сильно и недурно, но вообще

могла годиться при царе Михаиле Романове, а не потомкам его. Оттого один просвещенный муж (Ив. Ив. Дмитриев) сказал шутку, хваля ее: хотя бы митрополиту». Шишков был вскоре после этой речи назначен государственным секретарем, а с началом войны Александр поручил ему составление манифестов. Шишков явился творцом того «слога» манифестов, которым царизм пользовался для маскировки своих действительных намерений и для обмана народа. В своих манифестах он демагогически использовал понятие национальной гордости ⁷.

Национальными чертами русского характера Шишков считал приверженность царю и любовь к помещикам. Свободолюбие же народа, его ненависть к поработителям Шишков обличал как выражение якобы чужеземных влияний. Отвергая иноземную культуру, Шишков в то же время охотно использовал в ней то, что могло послужить на пользу реакции. Не случайно с взглядами Шишкова на национальный характер совпадали взгляды реакционера Жозефа де Местра и душиателя русской культуры Бенкендорфа. Не случайно также, что Шишков, метавший громы и молнии против французской революции и ее идеологов, всемерно пропагандировал в России произведения Франсуа Лагарпа, который после победы контрреволюции во Франции стал реакционнейшим публицистом.

Лицемерно-двойственным оказывался Шишков и в своей литературной деятельности. Он всемерно поносил великих французских просветителей и вообще передовую культуру Запада и одновременно подражал в своем литературном творчестве самым обветшалым французским и немецким писателям.

В свете всего этого становится ясно, почему Пушкин с такой яростью обличал Шишкова и его сподвижников как реакционеров, врагов русского просвещения, противников «ума»:

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов ⁸
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

В программном стихотворении «К Жуковскому» 1816 года (оно должно было открывать намечавшийся сборник стихотворений Пушкина), поэт противопоставляет два лагеря. В одном лагере враги «возвышенных творцов», «варягов строй», «враги наук»:

Те слогом Никона печатают поэмы,
Одни славянских од громады громоздят,
Другие в бешеных трагедиях хрипят...

В другом лагере истинные патриоты, проповедники просвещения, те,

Кто смело просвистал шутивою сатирой,
Кто выражается правдивым языком...

И далее у Пушкина следует призыв восстать на «дерзостных друзей «непросвещения», разить варваров «кровавыми стихами».

В других стихах Пушкина высмеиваются Рифматов (Шихматов), Графов (граф Хвостов), Бибрус (Бобров), дается собирательный образ «беседчиков» с их «напевом бессмысленных стихов», «трехстопным вздором». О «беседчиках» иронически говорится в стихотворении «К другу стихотворцу» (1814), в послании «К Галичу» (1815) обличается

...угрюмый рифмотвор,
Повитый мраком и крапивою,
Холодных од творец ретивый...

Этот поэт,

На скучный лад сплетая вздор,
Зовет обедать генерала...

Верноподданнический характер деятельности подобных поэтов, официозность их творчества осознавались Пушкиным. В стихотворении «Князю А. М. Горчакову» (1814) вновь сатирически изображен поэт «придворный философ», который

Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф...

Как бы в противовес облику такого поэта-«беседчика», «угрюмого рифмотвора», человека холодного и напыщенного, требующего соблюдения «светского кодекса»,

Пушкин выдвигал в эти годы иной облик поэта, свободного, независимого, равнодушного к «почестям» и чинам. Только «чернь» (чернь светская) не ведаёт

...что дружно можно жить
С Киферой, с портиком и с книгой и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Мы видели, что именно отсутствие «ума» Пушкин отмечал в своих сатирических нападках на «беседчиков». Необходимо учесть, что мотивы наслаждения жизнью, юношеского разгуля, прославления пиров — все это носило у Пушкина характер демонстративный, все это было ему необходимо для того, чтобы противопоставить себя и своих друзей сонму «угрюмых певцов». Именно в этом идейный смысл тех лирических стихотворений юного Пушкина, которые буржуазно-дворянское пушкиноведение трактовало лишь как эпикурейские.

Уже в эти годы Пушкин в своих произведениях высмеивает ложный патриотизм Шишкова и его приверженцев. Он чутко уловил суть псевдопатриотической трескотни «беседчиков», за которой скрывалось полное равнодушие и неприязнь ко всему действительно национальному, мнимую народность «славянороссов». В рукописи стихотворения «К Батюшкову» Пушкин с презрением и насмешкой говорит о том, как

...неуклюжий славянин,
Изменник ревностных дружин,
Варяжски песни *затекает **
Теперь на дудочке простой
И слогом древности седой
В деревню братьев приглашает...

Именно такая «народность», сочетаемая с призывом к нравам «древности седой», и воспевалась в стихах «губителей русского слова» — от самого Шишкова до его сподвижников вроде Буниной или Львова.

* «Варяжские песни», в словоупотреблении Пушкина, — это песни не русские, песни людей, умаляющих достоинство русского народа. Ср. в «Видении на берегах Леты» Батюшкова:

Слова их хоть немного жестки,
Но истинно варяго-росски⁸.

** Подчеркнуто мною. — Б. М.

Понятно, почему в главном из своих произведений, направленном против «беседчиков», — сатирической поэме «Тень Фонвизина» (1815) Пушкин делает именно Фонвизина, виднейшего деятеля передовой русской литературы XVIII века, судьей реакционных «славянороссов».

Прежде чем перейти непосредственно к литературной теме, Пушкин говорит о том, что и после Фонвизина порядки в России не изменились:

Всё так же люди лицемерят,
Всё те же песенки поют.
Клеветникам как прежде верят,
Как прежде все дела текут;
В окошки миллионы скачут,
Казну все крадут у царя,
Иным житье, другие плачут

.....
Спокойно спят архиереи,
Вельможи, знатные злодеи,
Смеясь, в бокалы льют вино,
Невинных жалобе не внемлют,
Играют ночь, в сенате дремлют,
Склонясь на красное сукно...

Убедившись в отсутствии перемен, Фонвизин восклицает:

Но где же братии-поэты....

Далее начинается смотр поэтов: здесь Кропов — А. Ф. Кропотов, издатель реакционного журнала «Демокрит», граф Хвостов, князь Шальной — сентиментальный Шаликов, орошающий свои стихи «нежною слезой»; за ними следует «славяноросс надутый» — Шихматов; Шишков, «попами воскормленный»; затем Державин, который на старости стал перекладывать стихами библию. Все они жестоко осуждаются Фонвизиним.

Неоднократно отмечалось, что в «Тени Фонвизина» сказалось некоторое влияние другого произведения, также направленного против шишковистов, — «Видения на берегах Леты». Это верно, но важно подчеркнуть, что у Батюшкова судьей поэтов является царь Минос, у Пушкина же поэма переведена из условно-мифологического в сугубо бытовой план. Осуждение «варяжских поэтов» русским писателем Фонвизиним имело принципиальное значение. Не случайно и то, что в пушкинской поэме с большим уважением упоминается «славный Ломоносов», поэт, наследие которого пытались присвоить себе шишковисты.

Стремление шишковистов сделать Ломоносова своим союзником настолько возмущало Пушкина, что он вернулся к этому вопросу много лет спустя. В одном из замечаний, сделанных поэтом в 30-х годах, он ясно показал, что шишковская трактовка творчества Ломоносова представляла собою извращение позиций или же тенденциозное использование слабых сторон поэзии великого представителя русской культуры XVIII века. «Знаю, — писал Пушкин, — что *Рассуждение о Старом и Новом Слоге* (Шишкова. — Б. М.) так же походит на *«Слово <о пользе книг церковных в российском языке>»* (Ломоносова. — Б. М.) — как псалом Шатрова на *«Размышления о вели<честве> божьем»*.

В рассуждениях Шишкова о языке кое-что могло, казалось бы, соответствовать позициям сторонников передовой русской национальной культуры. Так, он объявлял себя борцом с «галломанией» в русском языке. Еще в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803) он писал: «Всяк, кто любит российскую словесность и хотя несколько упражнялся в оной, не будучи заражен неисцелимою и лишающею всякого рассудка страстию к французскому языку, тот, развернув большую часть нынешних наших книг, с сожалением увидит, какой странный и чуждый понятию и слуху нашему слог господствует в оных». В позднейших высказываниях Пушкина получила свое завершение критика вредных увлечений языком французского аристократического салона во вред языку русскому, его самостоятельному развитию. «Я не люблю видеть в первобытном (то есть самобытном. — Б. М.) нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности», — писал Пушкин, имея в виду язык салона и в то же время отзываясь с большой похвалой о французском литературном языке как «языке мыслей».

Одной из причин, замедливших «ход нашей словесности», поэт считал «общее употребление французского языка и пренебрежение русского». Критика Шишковым изысканности и манерности языка карамзинского также, казалось бы, имеет точки соприкосновения с взглядами зрелого Пушкина. В особой главе «Рассуждения» Шишков приводит образцы витиеватого и манерного стиля карамзинистов и заменяет их более простыми выражениями (например, вместо: «когда путешествие сделалось потреб-

ностью души моей» — «когда я любил путешествовать» и т. п.). Пушкин также высмеивал писателей, которые вместо того чтобы сказать: «Это молодая хорошая актриса» — говорили: «Сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном» и т. д. Но за этими внешними совпадениями у Пушкина и Шишкова скрывались непримиримые противоречия. С одной стороны, основоположник русского литературного языка, созданного на основе синтеза живой, разговорной речи народа и языка письменности, а с другой — защитник церковнославянского языка⁹.

Еще будучи в Лицее, Пушкин с большой проницательностью определил, что «славянорусский» язык, который защищал Шишков, и русский язык в его современном понятии — вещи принципиально различные. Эта точка зрения Пушкина отразилась и в строках одного из его стихотворений 1816 года:

Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом
И над *славянскими* глупцами
Смеется *русскими* стихами...*

Критика Шишковым галломании и слезливого сентиментализма в литературе не достигала цели вследствие ее консервативной направленности. Он отрывал книжный язык от разговорного, деля при этом книжный язык на «простой», «средний» и «высокий» слог и прикрепляя к каждому из этих слогов определенный литературный жанр. Все это тянуло литературу назад, противоречило исторически назревшей задаче создания единого национального литературного языка, являлось выражением наиболее реакционной идеологии.

Отсюда и выпады Шишкова против введения в русский язык каких бы то ни было новых слов (как, например, эпоха, энтузиазм, катастрофа, развитие и т. д.).

Сущность обвинений Шишкова по адресу приверженцев «нового слога» была достаточно прозрачной. «Научные» доводы в пользу сохранения церковнославянского языка были тесно связаны с основной мыслью «Рассуждения» о необходимости сохранить в неприкосновенности весь строй старых идеологических понятий. В одном

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

месте «Рассуждения» мысль эта высказана со всей откровенностью: «...с одной стороны, в язык наш вводятся нелепые новости, а с другой — истребляются и забываются издревле принятые и многими веками утвержденные понятия». Следовательно, против новых слов Шишков возражал потому, что они выражали новое, враждебное феодально-крепостническому режиму содержание. «По мнению нынешних писателей, — утверждал он, — великое было бы невежество, нашед в сочиняемых ими книгах слово «переворот», не догадаться, что оно значит *révolution*». В другом месте Шишков прямо раскрывает свои позиции. К слову «революция» он сделал следующее примечание: «Слава тебе, русский язык, что не имеешь ты равнозначщего сему слова. Да не будет оно никогда в тебе известно, и даже на чужом языке не иначе, как омерзительно и гнусно». Основную политическую устремленность этих высказываний Шишкова Пушкин полностью понял позднее. В заметках по поводу «Слова о полку Игореве» он писал: «Сочинителю «Рассуждения о старом и новом слоге» было бы неприятно видеть, что и во время сочинителя «Слова о полку Игореве» предпочитали былины своего времени старым словесам»¹⁰.

Наиболее четкую характеристику полной несостоятельности взглядов Шишкова на русский язык мы находим у Пушкина в 30-е годы, когда он писал: «Убедились ли мы, что славенский язык не есть язык русский и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать: *да лобжет мя лобзанием* вместо *целуй меня* etc». Но еще в начале 20-х годов Пушкин записал старинную пословицу: «Иже не ври же, его же не пригоже» и заметил по этому поводу: «Насмешка над книжным языком: видно, и в старину острялись насчет славянизмов». Пушкин высмеивал и тупое стремление Шишкова выбросить из русского языка все слова иностранного происхождения, заменить, например, слово «кий» словом шаротык или слово «тротуар» — топталищем. В письме брату (1824) он иронически писал по поводу Шишкова. «Не запретил ли он *Бахчисарайского фонтана* из уважения к святыне Академического словаря и неблажно составленному слову *водомер?*» Употребление и закрепление Пушкиным в русском языке так называемых «обру-

севших» слов иностранного происхождения, конечно, насколько не ослабляло русский язык, а лишь способствовало расширению его словарного состава.

Отвергая националистическую нетерпимость Шишкова к каким бы то ни было словам иностранного происхождения, Пушкин вместе с тем требовал там, где это возможно, перевода иностранных слов. Возражал он и против *механического* перенесения в русский язык форм другого языка. Именно эту точку зрения поэта выразили его слова в адрес цензуры, вычеркнувшей слово «вольнолюбивый»: «Уж эта мне цензура! Жаль мне, что слово *вольнолюбивый* ей не нравится: оно так хорошо выражает нынешнее *libéral*, оно прямо русское...» (Письмо Гречу 21 сентября 1821 года.)

Политическая реакционность взглядов Шишкова, получившая частное выражение в его взглядах на язык, вызывала всемерное одобрение царя и правительственных кругов. Успех его определился уже «Рассуждением о старом и новом слоге». «Книга сия, — писал Шишков, — чрез министра просвещения поднесена была его императорскому величеству, и я осчастливлен был за оную знаком монаршего благоволения. Российская академия удостоила меня почестью медали. Многие духовные и светские особы, службою, летами и нравами почтенные, похвалили мое усердие»¹¹.

Иной прием получила эта книга у защитников «нового слога». Выступив с критикой Шишкова, издатель «Московского Меркурия» П. И. Макаров сразу же подметил политическую реакционность содержания «Рассуждения». «Неужели сочинитель, — восклицал он, — для удобнейшего восстановления старинного языка хочет возвратить нас и к *обычаям и к понятиям старинным?*» Это стремление Шишкова получает у Макарова резкий отпор: «Не хотим возвратиться к обычаям праотеческим, ибо находим, что, вопреки напрасным жалобам строгих людей, нравы становятся ежедневно лучше!» Вопросы развития языка Макаров рассматривает с исторической точки зрения: «Язык следует всегда за науками, за искусством, за просвещением». Он, так же как и Шишков, понимает, что новые слова несут с собой новое общественное содержание, но делает из этого противоположные Шишкову выводы. Вся статья Макарова настойчиво призывала продолжать работу над созданием языка, одинакового для

книг и для общества. Критиковал Шишкова также «Северный вестник», поместивший статью от имени «деревенского жителя» А. З. Критик «Северного вестника», так же как и Макаров, защищал преобразование русского языка, утверждая, что новые слова необходимы для выражения новых понятий, и едко иронизировал над лингвистическими наблюдениями Шишкова¹².

В ответ на критические статьи Шишков опубликовал «Прибавление к сочинению, называемому «Рассуждение о старом и новом слоге». Толкуя о «нравах и обычаях старинных», он переходит здесь уже на прямой политический язык. Верность старине — это «почитание царей и законов», следование «вере, научающей человека кроткому и мирному житию». Успехи «нового слога», заимствование новых понятий — результат проникновения в Россию «развратных нравов, которым новейшие философы обучили род человеческий и которых пагубные плоды, после толикого пролияния крови, и поныне еще во Франции гнездятся». Эта же мысль развивалась Шишковым в написанном позже предисловии к «Переводу двух статей из Лагарпа». При переводе второй статьи Лагарпа он использовал свои сочиненные на основе церковнославянского языка слова. Новое выступление Шишкова получило отпор в статье будущего арзамасца Д. В. Дашкова в журнале «Цветник» (1810, т. VII). Дашков посвоему показал несостоятельность «филологических» упражнений Шишкова. Но одним из наиболее остроумных мест в критике Дашкова явилось перечисление галлицизмов, которыми Шишков, сам того не подозревая, пользовался в своем переводе из Лагарпа¹³.

И Макаров и Дашков в какой-то мере сыграли полезную роль, выступая против Шишкова. Но этих выступлений было недостаточно, ведь на стороне Шишкова были, по его самодовольному признанию, «многие духовные и светские особы, службою, летами и нравами почтенные». Понадобилась длительная и упорная атака на позиции «Беседы», на идеологию «варварства». И здесь Пушкин оказался в союзе с арзамасцами, членами литературного объединения, среди которых нашлись люди и далекие и близкие ему.



Глава третья

ПУШКИН И КРУГ АРЗАМАСЦЕВ

Отрывок из стихотворной речи Пушкина, прочитанный на одном из заседаний «Арзамаса», начинается восторженными строками:

Венец желаниям! Итак, я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный Арзамас!

Эти строки относятся к сентябрю или октябрю 1817 года, когда Пушкин, окончив Лицей, переехал в Петербург и стал участником арзамасских собраний. До нас дошли только отрывки пушкинской речи, где упоминаются «беспечный колпак» (символическая красная шапочка французских революционеров), «лавры» (символ славы) и «розги» (символ обличения и наказания враждебных «Арзамасу» людей).

«Арзамас» возник в октябре 1815 года, а уже в ноябре в лицейском дневнике Пушкина появляется запись текста шуточной кантаты «Венчанье Шутовского», свидетельствующая о его интересе к этому обществу. В ней арзамасцы высмеяли увенчанье лавровым венком Шаховского, члена «Беседы», его единомышленниками — Шишковым и Буниной (факт, действительно имевший место). В декабре того же года Пушкин записал в дневнике свою эпиграмму на Шишкова, Шихматова, Шаховского («Угрюмых тройка есть певцов»). Его участие в борьбе против «Беседы» на стороне «Арзамаса» выразилось, как упоминалось выше, в ряде произведений. Связь с «Арза-

масом» до окончания Лицея Пушкин поддерживал через Вяземского, Жуковского, Карамзина, через своего дядю Василия Львовича, Александра Тургенева, а также через одного из лицеистов, С. Г. Ломоносова, который находился в переписке с Вяземским. Если формальное «посвящение» Пушкина в арзамасцы состоялось после выхода из Лицея, то фактически он был деятельным членом общества сразу же после его организации. В 1816 году имя Пушкина (с указанием его арзамасского прозвища «Сверчок») мы находим в перечне авторов задуманного «Арзамасом» литературного сборника. После переезда в Петербург он читал в «Арзамасе» свои произведения. Псевдонимами «Арзамасец», «Старый арзамасец», «Сверчок» он позднее, в 1818—1830 годах, подписал пять своих произведений. Со своей стороны, арзамасцы прекрасно понимали все значение участия в их обществе Пушкина. По воспоминаниям арзамасца Вигеля, «на выпуск молодого Пушкина (из Лицея. — Б. М.) смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них событие, как на торжество»¹.

Все это само по себе возбуждает вопрос о позициях Пушкина среди арзамасцев. Но изучение вопроса важно и в другом плане. В этом литературном объединении состояли члены тайного общества. Там же Пушкин ближе сошелся с людьми, с которыми был связан на протяжении всей своей жизни: Жуковским, А. Тургеневым, П. Вяземским и др. Отношения Пушкина с ними и различия во взглядах, которые обнаруживались в дальнейшем все отчетливее, придают теме «Пушкин и Арзамас» принципиальное значение.

В истории русской литературы и общественной мысли пушкинской поры «Арзамас» занимает особое место. Этот литературный кружок, в составе которого находились такие виднейшие писатели, как Батюшков, Жуковский, Пушкин, получил в историографии и критике самую различную оценку. Если П. В. Анненков считал, что «Арзамас» сыграл огромную роль в формировании мировоззрения Пушкина, то Писарев видел в деятельности «Арзамаса» лишь «игрушечные интересы». Противоречивыми оставались мнения и позднейших исследователей. А. Н. Пыпин назвал «Арзамас» знаменитым «не совсем по заслугам», в то время как В. Е. Якушкин рассматривал

это общество как «важное по своему могучему влиянию на литературу»².

Были и попытки рассматривать «Арзамас» как политическую организацию. В этом плане комментировались факты активного участия в ней декабристов Николая Тургенева, Михаила Орлова, Никиты Муравьева. Для такой трактовки использовалось также полицейское донесение, где с присущим документам этого рода преувеличением о некоторых арзамасцах говорилось, что, с их точки зрения, «каждая мера правительства, в которой они не принимают участия, — мерзкая... Этот несносный тон, это фрондерство всего святого, доброго и злого в смеси, без различия, по одним страстям, заразило юношество». Отсюда некоторыми литературоведами делался вывод, что «Арзамас» был чуть ли не тайным агитационным центром, имевшим большое влияние на молодое поколение³.

Столь противоречивые оценки объясняются главным образом скудностью материалов, находившихся в распоряжении исследователей. Основой для суждения об «Арзамасе» служили немногочисленные мемуарные данные. Но мемуаристы — члены «Арзамаса» — сами же давали материал для противоречивых оценок. С. Уваров утверждал, что в «Арзамасе» занимались строгим разбором литературных произведений, применением к языку и словесности отечественной всех (!) источников древней и иностранных литератур, изысканием начал, служащих основанием твердой самостоятельной теории языка, и пр. В то же время под влиянием «Арзамаса» создавались стихи Жуковского, Батюшкова, Пушкина. Иного мнения придерживался другой арзамасец — Вигель, писавший в своих воспоминаниях: «С какой целью составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, с тем чтобы проводить время приятным образом и про себя смеяться глупостям человеческим»⁴.

Дополнениями к воспоминаниям современников служили протоколы «Арзамаса», которые до недавней поры были опубликованы лишь частично. Поэтому как самые предметы занятий «Арзамаса», так и роль в нем отдельных участников (в частности, впоследствии вошедших в него будущих декабристов — Н. Тургенева, М. Орлова,

Н. Муравьева) устанавливались в значительной степени предположительно.

В 1933 году впервые стал известен ряд протоколов «Арзамаса», и суждения о его деятельности благодаря этому получили более прочную фактическую основу. Состав членов «Арзамаса» и круг их деятельности — все это может быть теперь охарактеризовано точнее и полнее. Многие проясняет и дошедшая до нас переписка членов «Арзамаса» (частью еще не опубликованная). В результате лицо «Арзамаса» вырисовывается сейчас определеннее. Прав Д. Д. Благой, который считает, что «в ряду общественно-литературных группировок того времени «Арзамас», несомненно, был группировкой общественно-передовой, прогрессивной»⁵.

В отличие от таких литературных организаций, как, например, Вольное общество любителей российской словесности, «Арзамас» объединил людей, связанных между собой не только литературными вкусами, но прежде всего дружескими отношениями. Основную группу членов составили сторонники Карамзина, активно выступавшие в литературной полемике против А. С. Шишкова и «Беседы любителей русского слова», — В. Пушкин, Дашков, Вяземский, Батюшков, Жуковский; к ним примкнуло несколько любителей, интересовавшихся литературой (Д. Н. Блудов, А. И. Тургенев, Ф. Ф. Вигель, А. А. Плещеев и др.).

Наконец в этом обществе встречались лица, совершенно чуждые литературе. Так П. И. Полетика, Д. П. Северин стали членами «Арзамаса» потому, что были сослуживцами Блудова и Дашкова по Министерству иностранных дел; близким к этой группе чиновников-сослуживцев был и Уваров — деятельный сотрудник руководившейся этим же министерством газеты «*Conservateur Impartial*» (не случайно поэтому министр иностранных дел гр. Каподистрия был избран почетным членом «Арзамаса»). Д. А. Кавелин, приятель Тургеневых и Жуковского, был введен в «Арзамас» Жуковским. Товарищескими отношениями были связаны между собой также А. И. Тургенев, С. П. Жихарев и А. Ф. Воейков. Таким образом, полностью подтверждается воспоминание П. А. Вяземского об «Арзамасе»: «Это было новое скрепление дружеских и литературных связей, уже существовавших прежде ме-

жду приятелями». Но такой принцип организации литературных объединений, весьма характерный для той поры, быстро обнаружил свою слабость. Объединение в одну группу таких различных по своим идейным воззрениям людей, как Северин, Кавелин, Блудов, настроенных консервативно, и левого (в эти годы) «либералиста» Вяземского не могло принести положительных результатов. Последующий приход в «Арзамас» будущих декабристов М. Ф. Орлова, Н. И. Тургенева, Н. М. Муравьева, предъявлявших к деятельности арзамасцев совершенно новые требования, окончательно показал, насколько идейно разнородным было это объединение⁶.

Необходимо остановиться на предыстории «Арзамаса», в свете которой проясняются и некоторые черты последующей деятельности кружка.

Основные литературно-полемические произведения арзамасцев, имеющие программный характер, написаны до 1816 года, в разгар полемики с Шишковым и «Беседой». Среди них прежде всего следует назвать уже упоминавшиеся критическую статью и брошюру Д. В. Дашкова. Эта статья вскрывала идеологическую основу реакционных попыток Шишкова противодействовать обновлению языка и пропагандировать феодально-церковное реставраторство в литературе. Выступления Дашкова сопровождал ряд стихотворных посланий, посвященных тому же. Своеобразным литературным манифестом явилось послание В. Л. Пушкина (впоследствии старосты «Арзамаса») «К В. А. Жуковскому» (1810). Это послание арзамасцев называли «манифестом о войне с противниками», а автора его — бойцом, который «первый водрузил хоругвь независимости на башнях халдейских». Посланию предшествовал эпиграф декларативного характера: «Всегда и было и будет позволено употребить слова, означенные обычаем. Как леса на склоне года меняют листья, и ранее появившиеся листья опадают, так проходит пора старых слов, и в употреблении цветут и крепнут вновь появившиеся». Далее В. Л. Пушкин формулирует свое отношение к русскому языку, совершенно отличное от шишковистов:

В славянском языке и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварский гоню и ненавижу⁷.

В. Л. Пушкин иронически использует тезис «раскольников-славян»:

Кто пишет правильно и не варяжским слогом,
Не любит русских тот и виноват пред богом *.

В дальнейшем ходе полемики он выступил с стихотворением «К Д. В. Дашкову» (1811). В нем В. Л. Пушкин еще более резко развивает мысль, что совместить патриотизм с ненавистью к просвещению невозможно («Ученым быть не грех, но грех во тьме ходить») ⁸.

С теми же идеями мы встречаемся в цикле посланий П. А. Вяземского 1813—1816 годов («К Батюшкову», «К друзьям», «К Жуковскому», «Ответ на послание В. Л. Пушкину» и др.) и Жуковского «Послание к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814), а также в обильной переписке будущих арзамасцев. В активе противников «Беседы» имелись также написанная Батюшковым еще в 1809 году сатира «Видение на берегах Леты», его же (в сотрудничестве с А. Е. Измайловым) «Певец в Беседе славнороссов» (1813) и упомянутая выше сатирическая поэма А. С. Пушкина «Тень Фонвизина» (1815). Осмеяние тупости и невежества Шишкова и его сподвижников, пародирование бездарных виршеписцев, обличение реакционного национализма — основное содержание этих произведений. Использовалась в полемике также сатира Воейкова «Дом сумасшедших» (осмеивавшая, впрочем, сторонников как одного, так и другого лагеря).

Уже из этого краткого перечисления авторов полемических произведений можно сделать вывод о сплоченности основного ядра будущих арзамасцев, начавших свои выступления под общими лозунгами почти за пять лет до организационного оформления своего кружка. Сплоченность этой группы ярко проявилась в защите Жуковского от нападок Шаховского. Пьеса Шаховского «Липецкие воды», поставленная на сцене в сентябре 1815 года и осмеивавшая Жуковского ** вызвала быструю и решительную контратаку. В «Сыне отечества» появляется написанное Дашковым резкое «Письмо новейшему Аристо-

* Ср. близкие строки в послании А. С. Пушкина 1816 года «К Жуковскому» (в рукописи подписано «Арзамасец»):

Кто выражается правдивым языком...

Он враг отечества, он сеятель разврата!

** Жуковский высмеивался здесь под именем балладника Фиалкина.

фану», где Шаховской обвинялся не только в зависти к талантам, но и в протаскивании своих пьес наперекор вкусам публики (Шаховской заведовал репертуаром). Дашков пишет «Кантату», сатирически изображающую «подвиги» «Шутовского». Вяземский печатает в «Российском Музеуме» «Письмо с Липецких вод», едко высмеивающее автора и героев комедии, а также целую серию эпиграмм в различных изданиях. Наконец Блудов пишет памфлет «Видение в какой-то огаде, изданное обществом ученых людей». Содержание «Видения» связано с именем города Арзамаса. В одном из арзамасских трактиров в определенные дни собиралось «общество друзей литературы, забытых Фортуною и живущих вдали от столицы». Однажды поздно вечером беседа этих друзей была прервана бормотанием, доносившимся из соседней комнаты, в которой остановился какой-то «тучный проезжий». Через широкую щель в перегородке друзья увидели проезжего, а затем слышали его «реляцию о каком-то своем видении». Эта «реляция» — рассказ проезжего о призраке, явившемся ему после возвращения с заседания «Беседы». Призрак произносит перед проезжим речь, в которой и содержалось обличение Шаховского («Омочи перо твое в желчь твою и возненавидь кроткого юношу, дерзнувшего оскорбить тебя талантами и успехами... и твою грязью природной обрызгай его и друзей его» и т. д.)⁹.

«Видение» было восторженно принято друзьями Блудова, а мысль об арзамасском кружке литераторов использована для организации «Арзамаса». Однако «Видение» Блудова явилось здесь лишь случайным, чисто внешним поводом. Необходимость организационного оформления противников «варягороссов» была давно осознанной. Так, Вяземский еще в 1813 году писал А. Тургеневу: «Зачем нашей братии скитаться?.. Посмотри на членов «Беседы»: как лошади, всегда все в одной конюшне, и если оставят конюшню, так цугом или четвернею заложены вместе. По чести, мне завидно, на них глядя... Когда заживем и мы по-братски: и душа в душу и рука в руку?»¹⁰

14 октября 1815 года в доме Уварова состоялось первое (организационное) собрание «Арзамаса», на котором присутствовали: Жуковский, А. Тургенев, Дашков, Жихарев, Блудов, Уваров. Уже на этом заседании был выработан ставший традиционным шутливый тон «Арза-

маса», а также ритуал заседаний. Как рассказывает протокол, присутствовавшие «торжественно отреклись от имен своих, дабы означить тем преобразование свое из *ветхих* арзамасцев, оскверненных сообществом с халдеями «Беседы» и Академии, в *новых*, очистившихся через потоп Липецкий. И все приняли на себя имена мученических баллад, означая тем свою готовность: 1-е, потерпеть всякое страдание за честь «Арзамаса», и 2-е, быть пугалами для всех противников его по образу и по подобию тех бесов и мертвецов, которые так ужасны в балладах» *. На этом же заседании была принята «формула торжественного обещания», а также постановлено, чтобы каждый из вновь вступающих читал ироническую «похвальную речь своему покойному предшественнику». Но за неимением собственных покойников, «новоарзамасцы... положили брать напрокат покойников между халдеями «Беседы» и академии, дабы им воздавать по делам их, не дожидаясь потомства». Отсюда понятен конкретный смысл слов Пушкина в письме к Вяземскому 27 марта 1816 года о желании участвовать «в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей российского слова» ** 11.

Пародирование обычаев чиновно-бюрократических учреждений типа «Беседы» или Российской академии, характерно для всей деятельности «Арзамаса». В отличие от сановных «беседчиков», установивших целую серию подразделений в «Беседе» (попечители, почетные члены, сотрудники), арзамасцы установили только один титул: «его превосходительство гений «Арзамаса», друг друга именовали «гражданин» и «согражданин», а свой кружок называли «обществом безвестных людей». Местом собраний «Арзамаса» «положено признавать всякое место, на коем будет находиться несколько членов налицо».

* Вот прозвища основных участников «Арзамаса»: Асмодей — Вяземский, Ахилл — Батюшков, Ивиков-Журавль — Вигель, Касандра — Блудов, Светлана — Жуковский, Старушка — Уваров, Эолова арфа — А. Тургенев, Сверчок — А. Пушкин, Армянин — Д. Давыдов и др. Прозвища брались из баллад Жуковского (Сверчок из «Светланы», Чу — прозвище Дашкова — восклицание из «Людмилы» и др.)

** В «Арзамасе» объектом критики были также и другие консервативные организации, в частности Общество любителей российской словесности при Московском университете (оно именовалось «Московская беседа»).

Торжественности заседаний «Беседы» противопоставлялся домашний характер собраний. Идеологическое размежевание с «халдеями» было отмечено также введением в церемонию «Арзамаса» красного колпака, который надевался на голову очередного председателя собрания (на арзамасца, совершившего какой-либо проступок надевали белый колпак).

Все эти «правила» неукоснительно выполнялись арзамасцами. Вступавшие в «Арзамас» произносили речи, в которых, пародируя слог «духовных книг», подвергали осмеянию членов «Беседы» и академии. Специальных речей арзамасцев «удостоились» А. А. Шаховской, Д. И. Хвостов, А. С. Хвостов, А. П. Бунина, И. С. Захаров, П. И. Голенищев-Кутузов, С. А. Шихматов, С. С. Филатов, П. И. Соколов. Однако все эти речи мало отличаются одна от другой, ибо авторы их старались подделываться под принятую в «Арзамасе» манеру. И если бы мы не знали, что все эти забавы имели под собой более серьезное основание — действительную ненависть к литературным реакционерам, защиту просвещения, обличение идеологии шишковистов, то вся деятельность «Арзамаса» в самом деле казалась бы игрой вроде «навязывания бумажки на Зююшкин хвост» (Писарев). Такому впечатлению от арзамасских заседаний (до прихода в «Арзамас» декабристов, о чем речь будет ниже) способствует также стиль некоторых протоколов, писанных секретарем «Арзамаса» Жуковским, в которых даже серьезным вопросам придана шуточная окраска. Эти протоколы не дают представления о существе, а только о предметах занятий. Например, предложение подвергать критическому разбору стихотворения членов кружка записано в такой форме: «Читать друг другу стишки, царапать друг друга критическими колкостями». В протоколах действительно встречаются ссылки на чтение и обсуждение произведений арзамасцев. Читаны были эпиграммы Вяземского, некоторые переводы Дашкова, стихотворения Жуковского («Певец в Кремле», «Овсяный кисель», «Вадим», «Красный карбункул»), «Вечер у Кантемира» Батюшкова. Есть указание, что читались главы из «Истории государства Российского» Карамзина. В письме П. А. Вяземскому (от 17 апреля 1818 года) В. Л. Пушкин сообщает: «...мой племянник пишет прекрасную поэму и читал из нее отрывки в последнем Арзамасе...» Из

этого можно заключить, что А. С. Пушкин читал в «Арзамасе» отрывки из «Руслана и Людмилы»¹².

Насколько деловой была в «Арзамасе» критика прочитанных произведений, по протоколам опять-таки судить трудно (например, по поводу чтения эпиграмм Вяземского в протоколе второго заседания отмечено: «Члены, восхищенные ими, восклицали: «Экой черт!»). Вероятно, и чтение произведений происходило в атмосфере не очень-то деловой¹³.

Все это вызвало вскоре неудовлетворенность ряда арзамасцев направлением кружка. Уже в середине 1816 года В. Л. Пушкин в послании «К арзамасцам» (написанном как раз в связи с критикой его стихов) пишет:

Прямая наша цель есть польза, просвещение,
Богатство языка и вкуса очищение,
Но должно ли шутя о пользе рассуждать?
Глупцы не престают возиться и писать.
Дурачить Талию, ругаться Мельпомене:
Смеемся мы тайком — они кричат на сцене.
Нет, явною войной искореним врагов!¹⁴

Насколько назрела необходимость изменения характера деятельности «Арзамаса», свидетельствует уже тот факт, что выйти на арену общественной борьбы («явною войной искореним врагов») призывал даже такой политически умеренный арзамасец, как В. Л. Пушкин. Такие же требования появляются и в речах других членов кружка. Раздаются голоса о необходимости издавать журнал (письмо Батюшкова Вяземскому 4 марта 1817 года и Вяземского А. Тургеневу 27 сентября 1816 года). Однако нужны были новые люди, для того чтобы с достаточной резкостью поставить вопрос о реорганизации «Арзамаса», о повороте к активной общественной деятельности. Такие люди нашлись. Именами Н. И. Тургенева, М. Ф. Орлова и Никиты Муравьева, вступивших в «Арзамас» в 1817 году, история этого кружка оказалась связанной с историей полулегальной агитационной работы деятелей ранних революционных организаций декабристов¹⁵.

Н. Тургенев (член «Ордена русских рыцарей», а затем один из активнейших членов «Союза благоденствия»), вернувшись в Петербург из-за границы в октябре 1816 года, естественно заинтересовался «Арзамасом», членом которого состоял его брат и в составе которого нахо-

дились видные писатели. С первого дня появления в «Арзамасе» (11 ноября 1816 года) он начинает готовить почву для того, чтобы использовать «Арзамас» в пропагандистских целях. Из разговоров с арзамасцами он убеждается, что «все согласны в необходимости уничтожить рабство». Но Тургенев хорошо понимал разницу между словами и делами. В дневнике он писал об арзамасцах: «Они говорят, что любят то же, что и я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь, того и *желать* надобно. Они же желают цели, но не желают средств. Все отлагают на время... Вопрос в том: должно ли то быть, что желательно? — Должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-либо в действо? — Есть... Итак, из сего следует, что надобно делать, — «дерзайте убо, дерзайте, людие божии». Не следует думать, что Тургенев призывал арзамасцев к революционной борьбе: речь могла идти об использовании легальных форм для широкой политической пропаганды. Направление, избранное «Арзамасом», решительно не удовлетворяет Тургенева. В его письме к С. И. Тургеневу 30 ноября того же года арзамасцы осуждаются за то, что «критика их, равно как и похвалы, относятся все к тем же вещам, как и прежде: вечный Шишков, над коим один только ум Блудова может смеяться новым образом; вечный Шаховской, над которым бы и смеяться не стоит труда; и, наконец, с противной стороны вечный Карамзин!»¹⁶

24 февраля 1817 года Н. Тургенев выступил в «Арзамасе» с речью, в которой пытался подражать традиционному шуточному стилю кружка, но в то же время провести в ней ряд серьезных политических идей. Первое плохо удалось, и остроты его явно вынужденны. Содержанием же речи является критика отчетного заседания Публичной библиотеки. Наиболее острое место речи — осмеяние утверждений Греча, что цензура является следствием существования благоразумной свободы. По этому поводу Тургенев замечает: «Я невольно вспомнил о том, как не только у нас, но и во всей Европе, приятными наименованиями стараются покрывать наготу деспотизма и порока». Эта речь своей политической злободневностью резко нарушила обычный тон арзамасских речей. В протоколе (как обычно, шуточном) выступление Тургенева было отмечено особым образом: «Лицо его пылало огнем геройства, и голова, казалось нам, дымилась, как

Везувий. Извержение черепа воспоследовало, пролилась река лавы»¹⁷.

Еще более энергично пытался перестроить деятельность «Арзамаса» М. Ф. Орлов, также член «Ордена русских рыцарей», впоследствии ставший крупным деятелем «Союза благоденствия». Орлов не только требовал расширить круг действия «Арзамаса», но также увеличить число членов и даже учредить небольшие отделения общества в местах, где окажется тот или иной арзамасец.

Большим событием явилась речь М. Ф. Орлова на заседании «Арзамаса» 22 апреля. Отметив, что его руке, «обыкшей носить тяжкий булатный меч брани», трудно «владеть легким оружием Аполлона», Орлов направил острие своей речи против журналов и в особенности против правительственной «Северной почты», способной «отвратить и от самого свободомыслия, ежели что-нибудь могло бы уклонить честного человека от полезных занятий». Заканчивается речь призывом к арзамасцам определить «цель, достойнейшую ваших дарований и теплой любви к стране Русской. Тогда-то Рейн * прямо обновленный потечет в свободных берегах «Арзамаса», гордясь нести из края в край, из рода в род не легкие увеселительные лодки, но суда, наполненные обильными плодами мудрости вашей и изделиями нравственной искусственности». Только после изменения направления «Арзамаса» для этого кружка начнется, по мнению Орлова, «тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный кризис предрасудков за пределы Европы»¹⁸.

Следствием усилий Орлова явилось решение арзамасцев об издании своего журнала. Журнал, по мнению Орлова, должен был играть роль пропагандиста свободлюбивых идей в декабристском духе. Об этом свидетельствует запись Жуковского речи Орлова на двадцатом заседании «Арзамаса» в июне 1817 года. Направление журнала символизируется здесь в образе некоего божества:

С яркой звездой на главе Гением тихим носилось
В свежем гражданском венке божество: *Просвещение*, дав руку
Грозной и мирной богине *Свободе*¹⁹.

* Арзамасское прозвище М. Орлова.

В наброске программы журнала фигурирует имя одного из самых замечательных деятелей тайного общества — Никиты Муравьева (Адельстана) как участника политического отдела журнала. Направление журнала, по справедливому замечанию М. В. Нечкиной, как бы предваряет направление будущего «Союза благоденствия» (членами которого М. Орлов и Н. Тургенев стали в 1817 году, то есть в последний период существования «Арзамаса»). Однако новаторские идеи Орлова далеко не у всех арзамасцев вызывали сочувствие. Если Н. Тургенев с восторгом отзывался о них в своем дневнике, то Северин в ответе Орлову ограничился обычной арзамасской болтовней, в которой содержалось недвусмысленное предостережение: «Умерьте пространство вашего плаванья; постарайтесь в месте сидения вашего не разливаться и не топить нас». Из сохранившегося в бумагах «Арзамаса» «Мнения» (письма) А. Тургенева о журнале (под этим «мнением» имеются подписи других арзамасцев) видно, что он явно старается направить политические установки Орлова в сторону более умеренную. Журнал, согласно этой декларации, должен быть «посредником между Европою и Россией... повествуя о новых успехах гражданственности». Но здесь же провозглашается необходимость доказывать, «что в руках благоразумия никогда факел света не превратится в факел зажигателя. Мы будем помнить, что наша святая обязанность не волновать умы, а возвышать их: действие «Арзамаса» да будет медленно, но мирно и благотворно». Таким образом, перед нами программа умеренного, осторожного либерализма. Но еще менее одобрял намеченный политический поворот «Арзамаса» Жуковский. Жуковский был наиболее последовательным сторонником принятого в «Арзамасе» шутивого направления, утверждая, что «арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье». Ему внутренне было свойственно стремление отстраниться от общественно-литературной борьбы. Еще в 1815 году, в разгар полемики, он писал в письме А. П. Елагиной-Киреевской: «Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и все молчали»²⁰.

Все же руководство «Арзамасом» в 1817 году фактически переходит к М. Орлову и Н. Тургеневу. В «законах», то есть в уставе «Арзамаса», целью общества опре-

деляется «польза отечества, состоящая в образовании общего мнения, то есть в распространении познаний изящной словесности и вообще мнений ясных и правильных». На заседаниях «Арзамаса» на квартире у Орлова, где обсуждались «законы» «Арзамаса» и программы журнала, бывал и Пушкин. Развивая свои идеи, М. Орлов предложил показать в журнале выгоды «представительной системы» правления, то есть конституционных порядков. Внимание членов кружка все более и более сосредоточивается на вопросах политических. Издание журнала казалось вначале делом вполне реальным. В архиве братьев Тургеневых сохранилось письмо И. И. Дмитриева, из которого следует, что на журнал уже началась было предварительная подписка²¹.

Однако поворот, который пытались придать «Арзамасу» будущие декабристы, оказался слишком крутым. В 1818 году «Арзамас» распался. Внешней причиной этого распада явился отъезд из Петербурга Дашкова, Полетики, Орлова, Вяземского и др. Внутренняя же причина была значительно более серьезной. «Арзамас», не представлявший собой, с точки зрения политической, прочного объединения, не мог существовать как общество с сложными литературно-общественными задачами. Именно потому и не состоялось издание арзамасского журнала, хотя для этого было вполне достаточно и оставшихся в Петербурге арзамасцев.

Не осуществилась и идея Орлова об учреждении в месте пребывания каждого члена, живущего вне Петербурга, как бы филиалов «Арзамаса», руководимых центральным петербургским кружком (эта идея явилась прямым отражением организационно-пропагандистских установок «Союза благоденствия»). Н. Тургенев с присущей ему проницательностью писал брату (С. И. Тургеневу) по поводу одного из арзамасцев — «дипломатического щенка» — Северина: «Но чего ожидать от таких и вообще от всех почти людей? Наш образ мыслей, основанный на любви к отечеству, на любви к справедливости и чистоте совести, не может, конечно, нравиться хамам и хаменкам... Все эти хамы, пресмыкаясь в подлости и потворстве, переменяв тысячу раз свой образ мысли, погрязнут, наконец, в пыли» (письмо от 25 апреля 1818 года). Время подтвердило и скептицизм С. И. Тургенева, который, зная о настроениях Северина

и ему подобных, писал Жуковскому в декабре 1817 года в связи с проектом арзамасского журнала: «...брат Николай будет едва ли не в пустыне проповедовать, или по крайней мере можно опасаться, как бы такие проповеди тем не кончились»²².

И действительно, вскоре большая группа арзамасцев перешла в другой лагерь. Северин, после попыток Н. Тургенева и Орлова перестроить «Арзамас», явно охладел к этому кружку. Об этом говорит следующая ханжеская записочка Северина с отказом участвовать в заседании «Арзамаса» (обнаружена нами в архиве Вяземского): «На этих днях я говел, любезный друг, и не могу позволить себе смеяться много накануне большого праздника. Каково признание? Не тебе бы, Асмодею, слышать... Жалей об этом, сколько хочешь, но не сердись на меня». В 1818 году Северин женился на сестре яркого монархиста Стурдзы и, гордясь новым родством, стал демонстрировать свое сочувствие реакционной политике. Д. А. Кавелин, будучи директором Петербургского университета, в 1821 году сыграл активную роль в позорной истории изгнания профессоров, обвиненных в «вольномудстве». Уваров в царствование Николая I стал одним из наиболее крайних выразителей и проповедников реакционной политики. Наконец Блудов оказался в 1826 году автором «Донесения следственной комиссии по делу о тайных обществах» и, следовательно, обвинителем тех, с кем вместе заседал в «Арзамасе»²³.

К числу наиболее левых по своим убеждениям арзамасцев принадлежал Вяземский. Он горячо откликнулся на предложение издавать журнал и даже написал программу его. Вероятно, именно поэтому М. Орлов обратился к нему из Киева 22 марта 1820 года с проектом возрождения «арзамасского братства» опять-таки на базе организации журнала для пропаганды необходимости конституции (характерно, что руководителем журнала предлагался Никита Муравьев). Письмо М. Орлова, последняя попытка возродить «Арзамас» наподобие и по образцу «вольных обществ» «Союза благоденствия», представляет большой интерес. В этом письме Орлов так излагал цели журнала:

«Самое настоящее место для издания журнала — это Варшава... Там хотя не существует еще вольное книгопечатание, но по крайней мере оное торжественно обе-

шано. Там ты имеешь свое пребывание постоянно. Сколько предлогов для издания журнала рождаются, так сказать, из самой сущности вещей? Не стыдно ли, что посюда польская конституция еще не переведена на российский язык? Не стыдно ли, что в России неизвестно, о чем поляки рассуждали на последнем сейме? Не стыдно ли, что непроницательная завеса неизвестности покрывает от нас все покушения поляков на Россию? Ты определен, кажется, судьбою, чтоб сорвать сию завесу, чтоб показать, с одной стороны, то, что делается для водворения свободного правления в Польше, а с другой — то, что предпринимается для уничтожения российской славы. Я знаю, как трудно сие исполнить, но у тебя есть голова и перо, у тебя родилось, судя по письму твоему, то священное пламя, которое давно согревало мое сердце и освещало мой рассудок. Тебе предстоит честь и слава.

Показавши цель, покажу и средства.

Проект журнала должен быть составлен в самом умеренном духе:

«Во-первых: в оном должно показать намерение сплести новый узел к соединению двух народов. *Во-вторых:* предварить, что будут помещены статьи о польской словесности, дабы познакомить с оною россиян. *В-третьих:* то же можно сказать и о постановлениях, опираясь на истину, что короткое знакомство есть основание дружбы между людьми, как между народами. *В-четвертых:* начать журнал переводом конституции, потом изложением последнего заседания, наконец переводом речей. К сему политическому изложению можно прибавить перевод каких-нибудь стихов, басенок и проч. *В-пятых:* известия о происшествиях в Европе гораздо скорее доходят до Варшавы, нежели до России, почему и можно будет помещать оные в подробности, опираясь в проекте на истину, что Россия перестанет платить значительную дань чужим землям за их журналы. Сие весьма нужно хотя единственно для соревнования с гимнами «Инвалида».

Форма журнала должна быть та же, что и французских ежедневных газет. Имя журнала предлагаю: *«Российский наблюдатель в Варшаве»*. На предприятие я сам внесу значительную вкладу. Остальной капитал можно набрать акциями.

Тебе надобно собрать сотрудников, из коих один решится, может быть, на сие дело. Он наш арзамасец, а именно *Никита Муравьев*. Он недавно оставил службу и, сколько я знаю, горит желанием быть полезным.

Я, Николай Тургенев, Дашков и Сергей Тургенев в Царьграде, Блудов в Англии и прочие арзамасцы будут твоими сотрудниками. Таким образом, самое разделение наше послужит к успеху.

Я с моей стороны один помещу (то есть размещу. — Б. М.) до двухсот экземпляров. По крайней мере надеюсь исполнить сие обещание.

Каков тебе кажется мой план? Чтоб не перебивать твоих мыслей, ни одного слова более не прибавлю. Оставляю сие на твое размышление и с нетерпением ожидать буду твоего ответа. Рейн»²⁴.

Характерно, однако, что Вяземский, занимая в «Арзамасе» левые позиции, пытался все же корректировать радикальные идеи, которые Орлов предлагал проводить. В замечаниях о программе журнала он протестовал против влияния на него революционных идей, подчеркивая, что цель политического отдела «сделать в китайской стене, отделяющей нас от Европы, не пролом, открытый наглости всех мятежных стихий, но по крайней мере отверстие, через которое мог бы проникнуть луч солнца»²⁵.

Проекту Орлова также не суждено было осуществиться. Знал ли Пушкин о нем? Как он вообще относился к проектам перестройки объединения? Хотя документальных материалов на эту тему и нет, на оба вопроса можно ответить утвердительно. Сохранился черновой набросок начала совместного письма Пушкина и Орлова арзамасцам, написанного в Кишиневе в 1820 году. Не может быть сомнений в том, что Орлов осведомил Пушкина о своих планах. Пушкин же, еще будучи лицеистом, больше всего ценил боевые выступления арзамасцев. Об этом свидетельствует письмо В. Л. Пушкину в декабре 1816 года, где он отмечает уменье арзамасцев не только обличать Шишкова и Шаховского, но

...с гневной музой Ювенала
Глухого варварства начала
Сатирой грозной осмеять...

Вся поэтическая деятельность Пушкина в годы существования «Арзамаса» свидетельствует о том, что он

мог только поддерживать самые радикальные проекты реорганизации кружка.

Но распад «Арзамаса» совершился бесповоротно. Роль руководителей литературного движения переходила к людям иного типа, к людям, связавшим свою судьбу с революционным движением, с деятельностью декабристских организаций.

К этим людям и примкнул Пушкин. Сближение Пушкина с деятелями тайного общества шло параллельно его идейному размежеванию с теми арзамасцами, которые обнаружили крайнюю шаткость своих позиций.

Отзывы Пушкина об арзамасцах отличаются обычной для него пронизательностью. К Николаю Тургеневу и М. Орлову он, как известно, относился с большим уважением и был с ними близок. Когда после разгрома декабрьского восстания разнеслись слухи о том, что Англия выдаст Н. Тургенева для расправы Николаю I, Пушкин написал скорбное стихотворение «Так море, древний душегубец». Образ Тургенева как человека, целиком захваченного идеей уничтожения рабства, преданного родине, намечен в десятой главе «Евгения Онегина».

Быстро разгадал Пушкин тех арзамасцев, которых Н. Тургенев называл «хамами и хаменками», готовыми переменить «тысячу раз свой образ мысли». По поводу реакционных «подвигов» Кавелина, его участия в разгроме прогрессивной профессуры, у Пушкина сказано:

...бедный мой Кавелин — дурачок,
Креститель Галича, Магницкого дьячок.

(«Второе послание к цензору»)

Блудова Пушкин иронически называл «маркизом» и выговаривал Жуковскому за то, что он прислушивается к блудовскому мнению. С «модным господином» Севериным Пушкин был во враждебных отношениях. Однажды между ними произошла ссора, при которой (по словам А. И. Тургенева) Пушкин «едва не поколотил его»²⁶.

Существенные различия были во взглядах Пушкина и тех арзамасцев, с которыми он был в близких отношениях — Жуковским, Вяземским, А. Тургеневым.

Это были люди, которые искренно любили Пушкина. Они оценили его дарование, когда юный поэт делал еще

первые шаги в литературе, гордились им и радовались его успехам. Пушкин в свою очередь испытывал к ним дружеские чувства. И тем не менее отношения между всеми этими людьми и Пушкиным не были отношениями безусловных идейных сподвижников, ратников одного лагеря, как это представлялось в старом пушкиноведении. По мере развития политических взглядов Пушкина, по мере того как обострялась общественная борьба, дифференцировались социальные слои, не только Жуковский или Александр Тургенев, но даже Вяземский все более отдалялся от идейных позиций Пушкина. Этого не могут опровергнуть ссылки на тесные отношения между Пушкиным и его друзьями. Несомненно, что в литературоведении будет продолжен пересмотр вопроса об идейных единомышленниках Пушкина, начатый П. Е. Щеголевым, который раскрыл роль Жуковского и Вяземского в создании после смерти поэта легенды о «смирившемся» Пушкине ²⁷.

Конечно, в период «Арзамаса» расхождения во взглядах между Пушкиным и некоторыми людьми из его окружения только еще намечались. Но тем важнее отметить элементы этих расхождений, получившие в дальнейшем развитие.

О принципиальных различиях между идейными и эстетическими позициями Пушкина и Жуковского нам уже приходилось писать, как и о попытках Жуковского «умерить» свободолобивую настроенность Пушкина, остепенить его. Подобного рода воздействие пытались оказать на Пушкина и другие арзамасцы, как, например, Вигель, которому Жуковский и Блудов поручили, по его словам, «войти в доверенность» к Пушкину и «отклонять его от неосторожных поступков» (то есть от проявления антиправительственных настроений). А. Тургенев при всем своем дружеском отношении к Пушкину и восхищении его талантом все же считал максималистскими политические взгляды Сверчка. В письме к Жуковскому от 12 ноября 1817 года А. Тургенев писал: «Посылаю послание ко мне Пушкина-Сверчка, которого я ежедневно браню за его леность и нерадение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, XVIII столетия. Где же пища для поэта?» Как мы видим, Тургенев, наряду с отеческим сегованием на «леность» и

«волокитство» * отрицательно оценивал умонастроение Пушкина — «площадное вольнодумство XVIII столетия» (намек на французскую революцию). И это не было случайным замечанием Тургенева. В 1819 году он говорит о стихотворении Пушкина «Деревня»: «Есть сильные и прелестные стихи, но и преувеличения насчет псковского хамства» (то есть насчет ужасов крепостничества). А когда в том же году Вяземский написал стихотворение, обращенное к крепостному поэту И. С. Сибирякову, которого его владелец, помещик Маслов, не отпускал без выкупа, А. Тургенев сообщил Вяземскому: «Пушкин бесится, что ты отнял у него такой богатый сюжет, а я этому рад, ибо он пересолит бы и само негодование». И в самом деле, стихотворение Вяземского не шло дальше выражения сочувствия Сибирякову и не приближалось к тем обобщениям о судьбе крепостного крестьянства, которое содержалось в «Деревне» Пушкина ²⁸.

В литературе о Пушкине можно встретить ссылки на то, что семья Гургуленовых оказала положительное влияние на формирование идеологии поэта. Известно, что ода «Вольность» написана Пушкиным у них на квартире. Но характер А. Тургенева, его благодушие и терпимость были противоположны цельности и устремленности Н. Тургенева, который действительно сыграл заметную роль в идейной биографии Пушкина. Не случайно А. Тургенев, общавшийся с молодыми вольнодумцами, несколько не смущался тем, что совмещает эти свои связи и членство в «Арзамасе» с обязанностями директора департамента духовных дел и секретаря Библейского общества. У Пушкина, дружившего с А. Тургеневым, это смешение «интересов» вызывало ироническое отношение. Оно сказалось в стихотворении Пушкина «Тургеневу», так же как и в наброске, связанном с назначением Тургенева камергером:

В себе все блага заключая,
Ты, наконец, к ключам от рая
Привяжешь камергерский ключ

Для характеристики своеобразия позиций Пушкина среди арзамасцев показательным отношением поэта к «бо-

* Кстати говоря, Пушкин вернул эти упреки в адрес самого Тургенева (см. стихотворение «Тургеневу», 1817).

жеству» «Арзамаса» — Карамзину. Дружба Пушкина с Карамзиным с годами ослабевала, глубокое уважение, которое юный поэт испытывал к главе русского сентиментализма и прославленному историографу, временами сменялось открытыми заявлениями о прямой реакционности карамзинских взглядов. Но об этом ниже. Пока же напомним, какое глубокое возмущение вызвала в кругу арзамасцев-карамзинистов пушкинская эпиграмма на Карамзина («В его истории изящность, простота...»). С другой стороны, лагерь карамзинистов многое не воспринимал в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». В «Руслане» для карамзинистов не мог быть приемлемым новый подход к проблеме народности, отказ от условной стилизации «народной старины» и фольклора, столь характерной и для самого Карамзина (например, для его «Ильи Муромца») и его последователей. Демократическая народность Руслана, боевой дух поэмы, ее «земная» основа, враждебная религиозности и мистицизму, — все это вызвало отрицательное отношение к ней не только литературных староверов, но и правоверных карамзинистов. И. И. Дмитриев писал Вяземскому: «Что скажете вы о нашем «Руслане», о котором так много кричали? Мне кажется, это недоносок пригожего отца и прекрасной матери (музы). Я нахожу в нем очень много блестящей поэзии, легкости в рассказе: но жаль, что часто впадает в *бюрлеск* и еще больше, что не поставил в эпиграф известный стих <Пирона> с легкою переменою: «La mère en défendra la lecture à sa fille» *. Дмитриев же утверждал, что в поэме нет «ни мыслей, ни чувств», есть лишь чувственность. Это была критика с позиций салонной эстетики. Да и сам Карамзин встретил «Руслана» сдержанно, именуя ее «поэмкой». «В ней, — писал он, — есть живость, легкость, остроумие, вкус; только нет искусного расположения частей, нет или мало интереса; все сметано на живую нитку»²⁹.

Характерно, что Пушкин в «Руслане и Людмиле» допустил полемические выпады против мистического романтизма Жуковского, пародировав его «Двенадцать спящих дев». Хотя Жуковский с действительной беспристрастностью откликнулся на «Руслана и Людмилу» над-

* Мать запретит дочери читать это (*франц.* — у Пирона — «предпишет»).

писью «Победителю-ученику от побежденного учителя», но идеологическую поддержку своей поэмы и своего направления Пушкин получил из среды писателей-арзамасцев только от Вяземского, который, как уже было сказано, в то время находился в передовом литературном лагере, отстаивал платформу прогрессивного романтизма, горячо пропагандировал творчество Пушкина и обличал мракобесов.

Время, однако, отнюдь не содействовало развитию прогрессивных убеждений Вяземского, и не случайно после разгрома восстания декабристов он сумел сравнительно быстро справиться с чувством возмущения, которое у него вызвала террористическая тактика Николая I. Карьера Вяземского, ставшего позднее крупным деятелем правительственной бюрократии, говорит сама за себя.

Таким образом, из литераторов-арзамасцев в полной мере только Пушкин оказался способным бороться за развитие тех передовых тенденций русской культуры, за которые боролись и будущие декабристы.



Глава четвертая **ВМЕСТЕ С ДЕКАБРИСТАМИ**

Деятельностью декабристов ознаменована одна из лучших страниц истории русской культуры. В их творчестве было воплощено высокое сознание гражданского долга, глубочайшая преданность родине — черты, которые в дальнейшем нашли свое развитие у всех подлинных представителей передовой русской культуры, литературы, искусства.

Буржуазно-либеральное литературоведение не смогло подняться до осознания органической связи позиций декабристов по вопросам культуры и литературы с их революционной борьбой. Выступления декабристов по этим вопросам рассматривались Н. Котляревским и другими историками литературы лишь как факты их индивидуальной биографии. Между тем все дошедшие до нас материалы говорят о том, что декабристы защищали здесь в основном единые принципы. Эти принципы, несмотря на споры и разногласия декабристов по отдельным вопросам, составляют вполне определенную программу, сущность которой раскрыта впервые в советском литературоведении. Продолжая традиции Радищева, декабристы стали рассматривать борьбу за развитие передовой русской культуры как составную часть организованной революционной борьбы. История тайных обществ 10—20-х годов XIX века самым тесным образом связана с историей русской культуры. Начав борьбу за коренное изменение существующего строя, выступив против основ

феодално-крепостнического строя, декабристы всем своим творчеством пропагандировали революционное понимание задач развития культуры, литературы, науки, искусства. В ходе борьбы с самодержавием и крепостничеством вопросы развития национальной культуры не могли не выдвинуться на одно из первых мест.

Многие из декабристов озаменовали своей деятельностью целую полосу в развитии русской культуры. Для большинства выдающихся деятелей декабризма был характерен энциклопедический интерес к науке, литературе, искусствам. Среди декабристов не была исключением широта интересов Пестеля, революционера и мыслителя, о котором Пушкин сказал: «...умный человек во всем смысле этого слова... Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» О широте кругозора декабристов свидетельствуют многие, в немалой степени еще не опубликованные материалы декабристских архивов (так в архиве Н. М. Муравьева остались материалы по истории России и зарубежных стран, по теории красноречия и военному делу, по статистике, экономике, педагогике; в архиве С. П. Трубецкого — по географии, грамматике, русскому языку, ботанике, праву, теории музыки и т. д.)¹.

Особенно большое место занимала в жизни и деятельности декабристов литература.

Имена Рыльева, Кюхельбекера, Александра Одоевского, Владимира Раевского, Александра и Николая Бестужевых, Федора Глинки, Катенина в большей или меньшей степени вошли в историю русской литературы. Но чем дальше развивается изучение декабризма, тем более расширяются наши знания и о литературных интересах декабристов. Теперь нам известно, что литературным творчеством (преимущественно поэзией) занимались и декабристы, не являвшиеся писателями в обычном смысле этого слова, — Николай Тургенев, Завалишин, Барятинский, Михаил Бестужев, Батеньков, Василий Давыдов, братья П. С. и Н. С. Бобрищевы-Пушкины, Сергей Муравьев-Апостол, Заикин, Чижев, Вадковский, П. А. Муханов, Басаргин, Ф. П. Шаховской и др. Для одних занятия литературой остались фактом их личной биографии и отражали их идейные искания. Таковы, например, юношеские стихи Николая Тургенева, в которых он прославляет «разум истинный, чистейший», призывает истину, мечтает о времени, когда погибнет фанатизм,

суеверие и человек будет счастлив. Другие декабристы, не обладая поэтическим дарованием, в меру своих способностей все же писали стихи с целью политической агитации. К такого рода произведениям относятся, например, несовершенные, но политически острые стихи Завалишина, которые он распространял среди моряков, стихи, оканчивавшиеся строками:

Ах, скоро ль кончится терпенье
И долго ль будем в рабстве жить;
Свободы нашей похищение,
Ах, долго ль будем мы сносить?!²

Но и среди декабристов, известных в качестве поэтов только в узком, своем кругу, были авторы произведений, в которых политическая острота соединялась с хорошей художественной формой. Такова популярная среди ссыльных декабристов песня Михаила Бестужева «Что не ветер шумит во сыром бору...», сатирические стихи Вадковского и Василия Давыдова, обличавшие следственный комитет и Николая I, и т. д.³

Большой интерес проявляли декабристы и к наукам; и в эту область культуры они внесли свой вклад. Особенно интересовали их общественные науки. А. А. Бестужев заявил на следствии: «По наклонности века наиболее принадлежал к истории и политике». Дошедшие до нас работы и высказывания декабристов в этой области (большинство этих работ не уцелели) говорят о самостоятельности и зрелости мысли; таковы исторические труды Н. М. Муравьева (о биографиях Суворова, об «Истории» Карамзина и др.), А. О. Корниловича (по истории России XVII и XVIII веков), Н. А. Бестужева, В. И. Штейнгеля и др. Имеются и не опубликованные до сих пор работы декабристов по истории (например, подробный план труда по истории французской революции И. Д. Якушкина). Выдающийся для своего времени труд по политической экономии «Опыт теории налогов» был выпущен в 1818 году Николаем Тургеневым. Михаилу Орлову принадлежит работа «О государственном кредите» (по поводу этой книги сохранились заметки Пушкина). Существуют также работы декабристов по философии, юридическим наукам, географии, военной истории, искусству. Но дело не только в том, что отдельным декабристам принадлежат те или иные произведения в

области литературы, науки. Для всего декабризма в целом было характерно стремление всемерно способствовать развитию русской национальной культуры во всех ее областях ⁴.

Прежде чем перейти к рассмотрению взглядов декабристов и Пушкина на задачи культуры, следует заметить, что само слово «культура» в пушкинское время еще не вошло в обиход: в то время это понятие заменялось термином «просвещение». В произведениях, статьях, письмах Пушкина слово «культура» ни разу не употребляется, но и для него слово «просвещение» означало совокупность достижений в различных областях знаний, в искусстве, в общественно-политическом устройстве.

И правительство и идеологи феодально-крепостнического строя всеми способами пытались задержать развитие прогрессивной русской культуры, препятствовать распространению ее среди народа, направить культуру по реакционному пути. Характерно, что само понятие «просвещение» искажалось приверженцами существовавших порядков. Для такого виднейшего идеолога консервативного дворянства, как Карамзин, просвещение — это «палладиум благонравия», «источник блаженства в собственной груди нашей», «лекарство для испорченного сердца и разума». Жуковский писал: «Что есть просвещение? Искусство жить, искусство действовать и совершенствоваться в том круге, в который заключила нас рука Промысла, — в самом себе находить неотъемлемое счастье». Академический словарь трактовал «просвещение» в следующем духе: «Наставление, очищение разума от ложных, предосудительных понятий, заключений». Само собой разумеется, что «ложными», «предосудительными» понятиями считалось все, так или иначе связанное с идеями ломки существовавших порядков, с борьбой за свободу. Между тем для декабристов и Пушкина понятия просвещения и политической свободы были неразрывно связанными ⁵.

Правые арзамасцы считали, что прогресс заключается в «постепенном ходе просвещения». Николай Тургенев придерживался противоположного убеждения: «Одно просвещение никогда не доведет до свободы... Напротив того, одна свобода неминуемо ведет к просвещению». И здесь же утверждалось, что истинный

патриотизм несовместим с признанием рабства. Эти его излюбленные мысли, беспрестанно повторявшиеся им в других письмах, в дневниках, были близки и Пушкину: в оде «Вольность» выражением подобных же идей явились строки о том, что рабство укрепилось «в сгущенной мгле предрассуждений», и призыв к «вольности святой». Не менее характерно и то, что в пушкинской же «Деревне» падение «рабства» рассматривается как условие «свободы просвещенной»⁶.

Как и декабристы, развитие культуры Пушкин всегда ставил в зависимость от политического устройства общества. Так, говоря о средневековой реакции в Европе, Пушкин писал: «Западная империя клонилась быстро к падению, а с нею науки, словесность и искусства. Наконец она пала; просвещение погасло. Невежество омрачило окровавленную Европу». В заметках по русской истории XVIII века (1822) о «народной свободе» говорится как о неминуемом следствии просвещения⁷. В этих же заметках разоблачается лицемерие Екатерины II, которая считалась в официозной историографии истинным другом просвещения. По ее адресу Пушкин иронически заключает: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространявший первые лучи его, перешел из рук Шешковского * в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами, и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность». Успехи культуры в России Пушкин связывал лишь с деятельностью ее лучших, прогрессивных представителей. Так, он считал, что ученые и писатели должны быть передовыми борцами за прогресс. С гордостью писал он в этом смысле не только о Радищеве, но и о великой роли Ломоносова в истории русской культуры: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения... Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник».

Приведенные выше мысли Пушкина о просвещении находят полную аналогию в документах тайных обществ и высказываниях декабристов на эту тему. В уставе

* Домашний палач кроткой Екатерины. (*Примечание Пушкина.*)

«Союза благоденствия» указывалось: «Союз всеми силами попирает невежество, и, обращая умы к полезным занятиям, особенно к познанию отечества, старается водворить истинное просвещение». На необходимость борьбы за истинное просвещение обращалось внимание и в несравненно более революционном, чем «Союз благоденствия», «Обществе соединенных славян» в «правилах» которого мы читаем: «Богиня просвещения пусть будет пенатом твоим... почитай науки, художества и ремесла. Возвысь даже к ним любовь до энтузиазма и будешь иметь истинное уважение от друзей твоих». Эта пылкая, возвышенная любовь к русской культуре, стремление слить ее с борьбой за политическую свободу, поднять ее на новую, высшую ступень было характерно для всех передовых людей эпохи. И прав был М. П. Бестужев-Рюмин, когда он, говоря о составе тайного общества, с гордостью заявил: «Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют»⁸.

Как уже отмечалось, и Пушкин и декабристы ставили вопрос о развитии культуры в зависимости от политического строя и от борьбы за свободу. Написанный Рылеевым и оставшийся в его бумагах план сочинения «Дух времени или судьба рода человеческого» содержит раздел: «Человек от деспотизма стремится к свободе; причиною тому просвещение». Здесь отразилось свойственное декабристам просветительское понимание закономерностей исторического процесса; но крупным завоеванием декабристской общественной мысли был *политический* подход к проблемам просвещения⁹.

В определении задач борьбы за передовую культуру, как и в трактовке самого понятия «просвещение», Пушкин находился на уровне, которого достигла идеология декабризма. Он придерживался характерной для нее политической трактовки понятия и вместе с тем разделял слабость этой трактовки, которая заключалась в определенном преувеличении силы идей, могущества «общего мнения».

О единстве взглядов Пушкина и декабристов на вопросы просвещения свидетельствует, между прочим, письмо Николая Тургенева брату Сергею, где он рассказывает об одном своем разговоре с Пушкиным: «Мы на первой станции образованности», — сказал я

недавно молодому Пушкину. «Да, — отвечал он, — мы в Черной грязи». Черная грязь — это, как известно, одна из станций, о которой Радищев говорит в своем «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Здесь я видел так же изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами»¹⁰.

Понятия «образованность» и «истинная просвещенность» у декабристов не совпадали. Н. А. Бестужев писал: «Какая разность между ученым и просвещенным человеком? Та, что науки ученому делают честь, а просвещенный делает честь наукам». Образованной была и Екатерина, но Пушкин, как мы видели, отказывал ей в просвещенности, поскольку она была врагом какого бы то ни было свободолюбия и преследовала деятелей передовой культуры — Новикова, Радищева, Княжнина. Мнение всего передового поколения выразил декабрист П. Г. Каховский, сказав: «Страна та будет счастлива, где просвещение сделается следствием свободы законной». Мысль о том, что *борьба* способствует расцвету культуры, что примирение враждебных сил, непротивление рабству, фанатизму, невежеству ведет к застою, прочно вошла в сознание передовых современников Пушкина. — «Горе стране, где все согласны! — восклицал Никита Муравьев. — Можно ли ожидать там успехов просвещения? Там спят силы умственные, там не дорожат истиною, которая, подобно славе, приобретается усилиями и постоянными трудами»¹¹.

Для передовых литераторов было очевидно, что вся система крепостнического государства в корне враждебна передовой культуре. Препятствия ее развитию явились одним из немаловажных факторов, которые вызвали рост революционного сопротивления реакционной политике царизма в целом. Так, литераторы-декабристы признавали в числе прочих побудительных мотивов вступления в тайные общества стеснительные условия для свободного развития русской литературы. Член Северного общества В. Кюхельбекер показал на следствии, что одной из причин его «неудовольствия настоящим положением было крайнее стеснение, которое российская словесность претерпевала в последнее время», подчеркивая при этом, что «такое до невероятия тягостное стеснение породило рукописную словесность»¹².

Но не только литераторы в своих показаниях значи-

тельное место уделяли положению литературы. Декабрист Якубович, говоря о том, что за «десять лет мирного спокойствия», прошедшие после войны, правительство Александра I ничем не содействовало прогрессу, отметил, в частности: «Изящные искусства не украсили отечество; но народная образованность значительно продвинулась вперед, и желание лучшего сделалось первым чувством каждого»¹³.

Глубочайшее возмущение препятствиями, которые царское правительство чинило развитию русской литературы, владело Пушкиным, когда он писал Вяземскому в 1823 году: «...стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий... подвержен самовольной расправе трусливого дурака (то есть цензора. — Б. М.). Мы смеемся, а кажется лучше бы дельно приняться за Бирюковых; пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим голосом — презрение к русским писателям нестерпимо; подумай об этом на досуге, да соединимся...» Считая, что притеснение писателей является одной из непосредственных причин роста недовольства правительством, Пушкин одно время даже опасался, что смягчение цензурного гнета может ослабить оппозицию правительству. «Хотелось мне с тобою поговорить о перемене министерства, — писал он Вяземскому в июне 1824 года. — Что ты об этом думаешь? я рад и нет. Давно девиз всякого русского есть *чем хуже, тем лучше*. Оппозиция русская, составившаяся благодаря русского бога из наших писателей, каких бы то ни было, приходила уже в какое-то нетерпение, которое я исподтишка поддразнивал, ожидая чего-нибудь». Эту же мысль он повторяет в письме к брату: «ожидая... перемены цензуры; а жаль... *la soupe était pleine...*» * Это долго не могло продлиться».

Своим творчеством декабристы содействовали развитию передовой русской культуры и новой русской литературы, вождем и знаменем которой был Пушкин. Пушкин и декабристы боролись за новую эстетику, утверждавшую гражданскую роль искусства, и на писателя они смотрели как на вождя общественного мнения, выразителя самых передовых идей своего времени **.

* Чаша была переполнена (*франц*)

** Подробнее об этом см. в разделе «Новый эстетический идеал».

Политическая программа декабристов, независимо от их взглядов на переустройство социального порядка, требовала отражения насущных проблем общественной жизни в литературе, пропаганды освободительных идей, борьбы за развитие национальной культуры в самом широком смысле этого понятия. Этим целям служили и литературные объединения, близкие к политическим тайным обществам декабристов. О значении этих объединений выразительно сказал А. Бестужев: «Чтения публичные в литературных обществах, возбуждая соревнование между молодыми писателями, *развивают и в публике вкус к родной словесности*. Нередко те, которые приезжают туда, возвращаются домой с *новыми понятиями и с полезнейшею охотою*». Эти многозначительные слова А. Бестужева в статье из «Полярной звезды» (1824) расшифровываются следующим его показанием следственной комиссии по делу декабристов: «В 1822 году... свел знакомство с г. Рылеевым, и как мы иногда возвращались вместе из общества Соревнователей Просвещ<ения> и благотво<рения>: то и мечтали вместе, и он пылким своим воображением увлекал меня еще более. Так грезы эти оставались грезами до 1824 года, в который он сказал мне, что есть тайное общество, в которое он уже принят и принимает меня». Конечно, далеко не все члены такого рода литературных объединений (и, в частности, того же литературного общества Соревнователей просвещения и благотворения) проделали подобный путь: для большинства «грезы» так и остались грезами, не претворившись в действие. Но несомненна агитационная роль этих объединений. Именно потому их организация и деятельность привлекали усиленное внимание тайных политических обществ 20-х годов¹⁴.

Направление деятельности литературного общества «Зеленая лампа», которое находилось под непосредственным влиянием «Союза благоденствия» и участие в нем Пушкина освещено в ряде литературоведческих работ. Еще П. Е. Щеголев отверг легенду об «оргиастическом» характере объединения и раскрыл его связь с пропагандистской программой тайного общества. Позиции «Зеленой лампы» были Пушкину несравненно ближе арзамасских. Показания председателя «Зеленой лампы» Я. Н. Толстого говорят о том, что из числа членов не

все были движимы «политическими видами». Стихи Пушкина, связанные с «Зеленой лампой», свидетельствуют о том, что он принадлежал к членам объединения, наиболее заинтересованным в политической его направленности¹⁵.

Семантика стихов, посвященных членам «Зеленой лампы», связана с семантикой всей вольнолюбивой лирики Пушкина. В послании «Юрьеву» мы читаем:

Здорово, рыцари лихие,
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники молодые,
Надежды лампа зажжена.

Эта же символика и в одном из наиболее революционных стихов Пушкина — «В. Л. Давыдову» (1821):

Ужель *надежды* луч исчез?

И позже, в послании, адресованном томившимся на каторге декабристам:

Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье... *

В пушкинских стихах воссоздана типичная для этого времени атмосфера, царившая на собраниях вольнолюбивой молодежи, где понятие политической свободы включало в себя и понятие личной независимости. «Младых повес веселая семья», поклонники «Вакха, муз и красоты» осознавали свой протест против «мертвой области рабов» как враждебность внешне благонамеренной, а по существу ханжеской этике «святых невежд», людей, у которых «холодом сердца поражены». Об этой атмосфере споров, стихов, восторженных тостов Пушкин говорил, что в ней не только царит неподдельное веселье, но и «ум кипит». Пушкин, который всегда искал возможности связаться с тайным обществом (как об этом свидетельствует И. И. Пущин), сохранил заинтересованность в судьбе деятелей «Зеленой лампы» и после своей ссылки на юг. К 1822 году, когда «Зеленая лампа» уже давно распалась, относится его письмо с стихотворением к Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша...»), где содержится горестный упрек: «Ты один из всех моих минутных друзей минутной молодости вспомнил обо мне.

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Кстати или некстати два года и шесть месяцев не имею от них никаких известий». Чувства и мысли Пушкина, связанные с «Зеленой лампой», отражены также в его неосуществленном послании «Зеленой лампе», которое реконструировано С. М. Бонди на основе черновых автографов. Невнимание «лампистов» к опальному поэту — сомнения в том, что «лампа горит», — все это связывалось в сознании Пушкина с угрюмой тишиной, царившей «окрест», говорило ему о спаде оппозиционных настроений¹⁶.

В годы, когда Пушкин находился в ссылке, развертывала свою деятельность другая, несравненно более широкая организация, чем «Зеленая лампа», легальный декабристский литературный центр — петербургское Вольное общество любителей российской словесности. Идейная направленность и его значение достаточно выяснены в литературоведении, и нет необходимости подробно на этом останавливаться. Вольное общество, состав которого вначале был пестрым, в 20-е годы завоевали литераторы-декабристы — Ф. Глинка, К. Рылеев, А. Бестужев, А. О. Корнилович и др. Вопреки консервативно настроенной части организации они использовали ее для обсуждения актуальных вопросов общественной жизни и литературы¹⁷.

Стремление связать литературу и политику характерно для литературных объединений и кружков, находившихся в сфере влияния тайных обществ и отдельных его представителей; в этом плане шли попытки перестроить «Арзамас»; этому была подчинена деятельность «Зеленой лампы» и намечавшегося под руководством Н. Тургенева Журнального общества — объединения, ставившего целью издание общественно-политического журнала для пропаганды конституционных и антикрепостнических идей.

В литературно-декабристских объединениях, так же как и среди литераторов-декабристов, встречались, повторяем, люди различных литературных вкусов и пристрастий. Но всем им была свойственна общность понимания высокой общественной роли искусства как одного из средств изменения существовавшего социального порядка. Все они с большей или меньшей последовательностью боролись против различных проявлений реакции в литературе, против всех тех направлений, которые ме-

шали развитию национальной русской литературы и отвлекали общественное внимание от актуальных вопросов политической жизни. Именно эта линия нашла свое выражение в изданиях 1820—1825 годов, находившихся в той или иной степени в сфере декабристских воздействий, — в «Соревнователе», «Сыне отечества», «Невском зрителе», в альманахах «Полярная звезда» и «Мнемозина». С формальной точки зрения только «Полярная звезда», издававшаяся Рылеевым и А. Бестужевым, может считаться органом, отражавшим литературную политику декабристов. Но фактически близки этой политике и в своей идеологической и литературной платформе в значительной степени все перечисленные издания. «Невский зритель» несомненно выражал позиции правого крыла «Союза благоденствия». В «Сыне отечества» 1819—1825 годах сотрудничал тот же круг писателей-декабристов и близких к ним людей. Наконец в «Мнемозине» В. Кюхельбекер (в явном противоречии со взглядами соиздателя альманаха В. Ф. Одоевского с его пропагандой немецкой идеалистической философии и эстетики) выступал против «германического» направления, за политическую, действительную роль литературы.

Пушкин принимал, в тех или иных формах, живое участие в этих организациях, журналах, альманахах. Лишь одно обстоятельство вызывает недоумение: отсутствие имени Пушкина в списке членов Вольного общества любителей российской словесности (в особенности если учесть, что председателем Общества был близкий знакомый Пушкина — Ф. Н. Глинка, а в состав Общества избирались не только известные, но даже и начинающие литераторы). Произведения Пушкина представлялись в Общество несколько раз Ф. Н. Глинкой и другими, читались на заседаниях, но избрания поэта в члены, которое обычно следовало за этим, в делах Общества не зафиксировано. Это можно объяснить только тем, что до ссылки Пушкина (1820) его приему как «политически неблагонадежного» противились правый фланг Общества и министерство народного просвещения, контролировавшее деятельность Общества (министр народного просвещения кн. А. Н. Голицын, — заклятый враг Пушкина, лично визировал дипломы вновь избранных членов). Когда же в руководстве Вольного общества оказались друзья Пушкина, о приеме поэта, находившегося

в ссылке, конечно, не могло быть и речи. Но имя Пушкина, его произведения фигурировали на заседаниях Общества, его произведения печатались и обсуждались в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». На основании изучения архива Вольного общества установлено, что произведения Пушкина служили предметом оживленного обсуждения и острой борьбы и что в связи с высылкой поэта из Петербурга передовые члены Общества устроили своеобразную политическую демонстрацию¹⁸.

При изучении взаимоотношения взглядов декабристов и Пушкина иногда вольно или невольно преуменьшается влияние декабристов на поэта, их инициатива в выдвижении тех или иных актуальных проблем. Встречаются утверждения (например, в статье Н. Н. Степанова «Исторические воззрения Пушкина»), что Пушкин был не только «поэтическим вождем декабризма», но и «одним из выдающихся его идеологов»¹⁹. Конечно, источники мировоззрения Пушкина и декабристов были общими. Конечно, гениальность Пушкина позволила ему не только быть на уровне самых передовых идей времени, но и видеть слабые места в рассуждениях некоторых из его декабристских друзей. Однако говорить, что Пушкин был одним из «выдающихся идеологов декабризма», то есть деятелем, который разработал основные принципы декабристского движения, значит впадать в явное преувеличение. Декабристы многому научили Пушкина, а деятельность тайных обществ, многими каналами связанная с общественной жизнью России, оказала живое и плодотворное влияние на развитие мировоззрения поэта. Под влиянием декабристов складывались взгляды Пушкина на историю. Проблемы исторической традиции, связанные с национальной спецификой, с становлением национальной культуры, очень волновали декабристов. Отсюда понятен и тот интерес к изучению русской истории и отражению ее в литературе, который был свойствен декабристам и Пушкину.

С особой остротой вопросы изучения русской истории встали в 1818 году. В это время вышли первые восемь томов «Истории государства Российского» Карамзина. Позднее Пушкин писал: «Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин)...

Все... бросились читать историю своего отечества... Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили» («Из автобиографических записок 1826 г.»).

«История» Карамзина представляла большой интерес прежде всего обилием фактического материала, занимательностью повествования. Но тогда же обнаружились в обществе резкие расхождения в оценке принципов освещения Карамзиным русской истории.

Защитники самодержавия были от концепции «Истории» Карамзина в восторге. Наиболее умеренные из круга арзамасцев, даже и расходившиеся с Карамзиным в его беспредельной преданности самодержавию, считали ее крупнейшим политическим событием. А. И. Тургенев, пытаясь соединить несоединимые понятия, писал, что «История» Карамзина «послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического управления и, бог даст, русской возможной конституции»²⁰.

Иначе отнеслись к карамзинской «Истории» передовые политические круги. Пушкин писал в автобиографических записках о некоторых критиках Карамзина:

«Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!.. Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он *какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян*, т. е. требовал романа в истории — ново и смело! Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью*, конечно, были очень смешны».

В чем же состояла критика Карамзина передовыми кругами? Никита Муравьев негодовал, что карамзинская «История» мирит «с несовершенством видимого порядка вещей как с обыкновенным явлением во всех веках», и писал по этому поводу: «Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищ всего земного; но история должна ли только мирить нас с несовершенством, должна ли погружать нас в нравственный сон квиетизма? В том ли

состоит гражданская добродетель, которую народное бытописание воспламенять обязано? Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом; добродетельные граждане должны быть в вечном союзе против заблуждений и пороков»²¹.

Подход Никиты Муравьева к изучению истории характерен для декабристского просветительства. Позже, в своем «Любопытном разговоре», он выдвинул свою философию истории, опять-таки просветительно объясняя происхождение угнетения: свобода была естественным состоянием человека, но одним «пришла несправедливая мысль господствовать, а другим подлая мысль отказаться от природных прав человеческих». И здесь же Муравьев проводит излюбленную декабристами мысль о том, что на Руси в древности правили «народные вечи» или «собрания народа». Хотя декабристы идеализировали древнюю Русь, не видели в ней противоречий, но самая мысль о том, что национальной традицией русского народа было свободолюбие, которое подавлялось чуждыми силами, — эта мысль была глубоко прогрессивной, враждебной всей концепции Карамзина. По убеждению Н. Муравьева, «размножение князей дома Рюрикова, их честолюбие и распри, пагубные для отечества», способствовали торжеству «татар, выучивших наших предков безусловно покорствовать тиранской их власти». После падения татарского ига «предания рабства и понятия восточные» укрепили «власть беспредельную» московских царей, подражавших татарским ханам²².

Несколько иначе отнесся к труду Карамзина Николай Тургенев. Поскольку Пушкин в то время с ним встречался, его точка зрения представляет для нас особый интерес. Тургенев, который считал Карамзина «хамом» (то есть, по его терминологии, реакционером), положительно оценивал «Историю» за обилие фактического материала, но и он упрекал историографа за «пренечестивые рассуждения» о самодержавии. Итоговая оценка Тургенева такова: «Карамзин хорош, когда он описывает. Но когда примется рассуждать и философствовать, то несет вздор»²³.

Пушкин писал о реакции декабристов на «Историю» Карамзина в тоне осуждения: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рас-

сказом событий, казались им верхом варварства и унижения». Но в свое время Пушкин несомненно соглашался с «якобинцами». Об этом сам он рассказал: «Однажды начал он (Карамзин. — Б. М.) при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: Итак, вы рабство предпочитаете свободе. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником».

Пушкину принадлежит эпиграмма на Карамзина, в которой вскрывается самая суть политической концепции историографа:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Авторство Пушкина долгое время оспаривалось, но эпиграмма, как мы видим, вполне согласуется с тем, что рассказал сам Пушкин о своем споре с Карамзиным.

К спорам об «Истории» Карамзина после выхода ее в свет относится и следующая запись Пушкина:

«Где обяз<анность>, т.<ам> и закон.

Г-н Кар.<амзин> неправ. Закон ограждается стр.<ахом> на<азания>. Законы нравственности, коих исполнение оставляется на произвол каждого, а нарушение не почитается гражданским преступлением, не суть законы гражданские».

Комментируя эту запись, Б. В. Томашевский указывает, что она связана с тем местом из «Истории» Карамзина, где утверждается необходимость самодержавия для России как «единственного устава государственного». Это место у Карамзина заканчивается сентенцией: «Самодержавие не есть отсутствие законов, ибо где *обязанность*, там и *закон*; никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастье народов». Следовательно, и эта пушкинская запись подтверждает согласие с монархической концепцией Карамзина ²⁴.

Принципиальное новаторство пушкинского историзма и его полная противоположность карамзинской философии истории ярко проявились в «Борисе Годунове» (1825). В старом пушкиноведении считалось, что в своей трагедии Пушкин следовал взглядам Карамзина. Наше литературоведение убедительно отвергло подобные утверждения. В комментариях Г. О. Винокура к «Борису Го-

дунову» и в монографии Б. П. Городецкого этот вопрос подвергнут обстоятельному рассмотрению²⁵. Пушкин, по его собственному признанию, «в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашних времен». Именно под влиянием Никоновского списка летописи возник и первоначальный вариант заглавия «Бориса Годунова»: «Летопись о многих мятежах...» О том, что Пушкин, реализуя свой замысел, сразу же порвал с карамзинской трактовкой проблемы отношений между народом и царем, свидетельствует уже самая завязка трагедии. В «Истории государства Российского» трагедия Бориса ограничена «наказанием свыше» за преступный захват престола. По Карамзину, в характере Бориса сплелись религиозность и преступные страсти. В Борисе его интересовали главным образом черты общечеловеческие. Пушкин же, по собственному признанию, смотрел на Бориса с политической точки зрения. Версия о том, что Годунов был виновником убийства Дмитрия-царевича, отраженная в трагедии, помогла ему вскрыть в образе царя типичные для самодержца черты и, в частности, ненасытное стремление к самовластию.

В первом монологе Бориса раскрывается сначала трагизм его мироощущения:

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе...

Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет...

«Нечистая совесть» — это лишь одна из причин душевной тревоги Бориса. В монологе на первое место выдвинуты мотивы политические:

...Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попечение...

Крушение своих попыток заслужить любовь народа Борис объясняет тем, что «живая власть для черни ненавистна». Но в ходе трагедии показано, что отдельные щедроты не могут заслонить от народа деспотизм цар-

ской власти. Так возникает основной конфликт трагедии — конфликт самодержца и народа.

Борис во время голода отворил народу житницы, «сыскал работы», «выстроил им новые жилища», но он не пытался и не мог сделать главного — дать народу свободу. Вот почему, по словам Гаврилы Пушкина, достаточно Самозванцу

Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

Вот почему народ, который «всегда к смятенью тайно склонен», противостоит царю как грозная, враждебная сила. С глубокой проницательностью Пушкин показывает, что главная задача самодержца — «удержать смятение и мятеж». Различные «благодеения» и «щедроты» должны служить именно этой цели, а не прямой заботе об улучшении положения народа. Эта логика и приводит Бориса к тираническому умозаключению:

Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ

Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

Пушкин, оставаясь верным своему принципу сложного, многостороннего раскрытия характера, создает истинно трагическую, потрясающую сцену смерти Бориса. В начале предсмертного монолога перед нами любящий отец:

...чувствую — мой сын, ты мне дороже
Душевного спасенья...

Но далее вновь подчеркивается основная черта царя, стремившегося к деспотической власти и завещающего сыну свою тактику борьбы с мятежами. Этой тактикой и продиктован совет Бориса сыну:

...Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни — можешь
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословляли дядю,
Когда престол он Грозного приял,
Со временем и понемногу снова
*Затягивай державные бразды**.
Теперь ослабь, из рук не выпуская...

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Вся пушкинская трактовка отношений между народом и царем противостояла господствовавшей тогда официально-монархической концепции русской истории.

Самодержавие и крепостничество чужды национальным традициям русского народа, позорят нацию — таков внутренний смысл выступления декабристов и Пушкина против Карамзина и апологетов реакционной исторической концепции. Карамзин считал национальной традицией русского народа, якобы сложившейся в ходе русского исторического процесса, смирение и покорность, народную преданность самодержавию как «единственную основу благоденствия». Декабристы и Пушкин считали традицией русского народа, ярко проявлявшейся в его многовековой борьбе, преданность родине и свободе. Спор об «Истории» Карамзина был, следовательно, спором о *национальных традициях*.

В суждениях декабристов сквозит стремление отделить в понятии национального то, что является прогрессивным, что отражает коренные интересы нации и обращено к будущему, от всего, что было направлено на закрепление отсталости России, ее начавшего дряхлеть феодального уклада. Именно поэтому декабристы требовали от писателей внимания к таким темам русской истории, которые помогли бы постичь подлинно русский национальный характер. Александр Бестужев в «Полярной звезде» призывал писателей изучать исторические повествования — песнь о полку Игореве, песнь о битве Донской и другие «древности нашего слова», «дабы в них найти черты русского народа»²⁶.

Пристальный, творческий интерес Пушкина к русской истории несомненно стимулировался прямым воздействием на него декабристов, ибо им принадлежит *инициатива* рассмотрения истории с точки зрения национальных традиций. И не случайно, что именно в период южной ссылки, когда Пушкин особенно тесно общался с декабристами, его исторические интересы по своему характеру входят в русло декабристских взглядов.

Особенно важным было общение Пушкина с В. Ф. Раевским. По воспоминаниям Липранди, последний «очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительнее историей и в особенности географией». Раевский в беседах с Пушкиным «утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из

мифологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима, что у нас и то и другое есть свое и т. п.». Из крепости, в 1822 году, тот же Раевский призывал Пушкина воскресить в своих произведениях прошлое русского народа именно в духе декабристского понимания национальных традиций:

.. Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священные времена,
Когда гремело наше вече
И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена

Пушкин говорил Липранди, что Раевский «упорно хочет брать все из русской истории»²⁷.

Как уже неоднократно отмечалось, Пушкин под прямым воздействием Раевского стал работать над поэмой и трагедией «Вадим», желая в декабристском духе воспеть новгородскую свободу, «народ нетерпеливый», который был питомцем «старинной вольности»²⁸.

Другим декабристом, оказавшим несомненное влияние на развитие исторических интересов Пушкина, был М. Ф. Орлов, который, так же как и Раевский, был членом кишиневской группы тайного общества. Получившее огромный резонанс выступление Орлова в 1819 году в Киеве обличало реакционеров — врагов прогрессивной русской культуры: «Любители не древности, но старины, не добродетелей, но только обычаев отцов наших, хулители всех новых изобретений, враги света и стражи тьмы, они суть настоящие отрасли варварства средних веков... история наша полна их покушений против возрождения России». Во взглядах Орлова ценно внимание к экономическим вопросам исторического процесса, хотя и он просветительно объяснял крепостное право — только лишь как нарушение «природных прав человеческих»²⁹.

Разрабатывать темы из русской истории призывали Пушкина и другие декабристы. С. Г. Волконский писал ему в 1824 году: «Соседство и воспоминания о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для вас предметом пиитических занятий — а соотечественникам вашим труд ваш памятником славы предков — и современника». Об этом же напоминал ему Рылеев в

1825 году. Мы не будем сейчас рассматривать расхождения Пушкина с декабристами по вопросу о принципах использования исторических фактов в художественном творчестве*, но важно отметить не только постоянное воздействие декабристов на Пушкина, но и их творческую инициативу. В поэзии 20-х годов первым обратился к русской истории Рылеев, печатавший свои «Думы» с 1821 года. С 1822 года началась активная деятельность декабристского историка Корниловича. В это же время Пушкин пишет своего «Вадима» и набрасывает заметки по русской истории XVIII века, которые справедливо оценены в советском литературоведении и исторической науке как яркое выражение декабристских взглядов на историю России³⁰.

Во взглядах Пушкина начала 20-х годов на историю сказались и слабые стороны, характерные для декабристов, выражавшие противоречия просветительской философии вообще: преувеличение роли «общего мнения», идеализация уклада древней Руси, непонимание классовой сущности общественных переворотов. Но вскоре в истолковании исторического процесса Пушкин оказался прозорливее многих своих декабристских друзей. Уже в Михайловском он, размышляя над объективными закономерностями исторического процесса, вступает на путь преодоления просветительского понимания хода событий только как воплощения сил «добра» и «зла». Самый же характер исторических тем, которые интересуют Пушкина, всегда остается чисто декабристским: это темы мятежей, восстаний, героических эпох и крупных потрясений, темы, выдвинутые декабристами и обоснованные в декабристской журналистике как единственно заслуживающие внимание и раскрывающие «истинный характер» народа.

В этом смысле и «Борис Годунов» — «повесть о многих мятежах» находится в русле декабристских исторических интересов, хотя Пушкин обнаружил здесь несравненно более глубокое историческое мышление, чем это было свойственно декабристам. Трагедия Пушкина имела и остро современное политическое звучание, но ее злободневность достигалась не системой иносказаний и намеков («аллюзий»), как это было свойственно декабрист-

* Об этом см. стр. 529—531.

ской романтической литературе, а иными средствами — путем реалистического раскрытия сущности исторических явлений. Ситуация, положенная в основу «Бориса Годунова», была в ряде основных моментов типичной для русской истории вообще. Типичным был, в частности, образ царя, взявшего престол преступным путем. Проблема «законности» царской власти, затронутая Пушкиным еще в лицейские годы, оживленно обсуждалась в 20-е годы среди декабристов и в околодекабристских кругах. Благодаря реалистической силе, с которой Пушкин раскрыл в «Борисе Годунове» сущность социально-исторических явлений, эта трагедия имела огромное познавательное значение для понимания закономерностей исторического процесса и сущности абсолютизма. Ведь объектом своей трагедии Пушкин избрал эпоху, которая была чревата решениями и событиями, имевшими значение для всего дальнейшего развития самодержавно-крепостнической России. Внутренняя политика Бориса Годунова, как известно, определялась целиком интересами основной массы дворянства: им были проведены мероприятия для дальнейшего и прочного закрепощения крестьян («заповедные лета», во время которых запрещался уход крестьян от одних господ к другим, пятилетний срок сыска беглых крестьян, установление крестьянской закрепощенности по писцовым книгам). Все это вызвало рост возмущения крестьян (в частности, восстание под руководством Хлопка, жестоко подавленное войсками Годунова, а затем, вскоре после его смерти, крестьянскую войну под руководством Болотникова).

Для раскрытия деспотизма, как неизбежного следствия абсолютистско-крепостнического режима, для показа того, что деспотизм со всеми его отвратительными проявлениями возникает даже независимо от тех или иных субъективных качеств личности государя, Борис Годунов был исключительно подходящей фигурой: в отличие от современных Пушкину самодержцев Александра I и Николая I он был очень образованным, умным и тонким политиком.

Проблема трагедии, с исторической верностью изображавшей прошлое, была в то же время глубоко современной и вследствие того, что типическими для самодержавия вообще были не только деспотические черты глав-

ного героя — царя Бориса, но и обстоятельства, в которые он действовал, — глухое недовольство и стихийный протест народа.

Проблема народа как субъекта истории в трагедии, конечно, не могла быть решена Пушкиным: время для этого еще не пришло. Но постановка этой проблемы здесь имеется. Знаменательны в этом отношении слова предка Пушкина:

Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помощью,
А мнением; да! мнением народным.

Сущность своего историзма Пушкин впоследствии определил в следующих словах: «Одна только история народа может объяснить истинные требования оного».

Как Пушкина, так и декабристов интересовала непосредственная связь исторических традиций народа с становлением национального сознания и национальной культуры. Эта проблема волновала еще деятелей «Зеленой лампы». В сохранившейся части архива этого кружка имеется ряд статей, посвященных истории России, «Список знаменитым людям российского государства», очерки об отдельных лицах (в частности, о Козьме Минине, о князе Игоре, о Федоре Волкове — «основателе и актере первого национального театра в России» и т. д.). Здесь же сохранился написанный рукой декабриста Сергея Трубецкого список сочинений, которые рекомендовались членам «Зеленой лампы» для изучения, преимущественно книги по национальной истории и литературе: «Пантеон российских писателей», «История Суворова» Фукса, «Деяния Петра Великого» Голикова, «Жизнь Петра Великого» Феофана Прокоповича и т. п., а также «иностранные лексиконы и истории». Рекомендуются для изучения также «всеобщие летописи и истории российские», «записки знаменитых путешественников по России», «периодические издания, где помещены жизнеописания славных мужей российских». Исторические занятия в «Зеленой лампе» были не только средством самообразования: по-видимому, результатом их должен был явиться исторический словарь русских деятелей. До нас не дошли сведения, на основании которых можно было

бы судить о степени участия Пушкина в этих занятиях *. Но о том значении, которое он придавал этой работе, говорит его замечание, сделанное в 1825 году: «...мы в биографиях славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается» ³¹.

Очень тонко ставится вопрос о национальных традициях в «Письме к другу в Германию», сохранившемуся среди бумаг «Зеленой лампы» (автор, как установлено Б. Л. Модзалевским, — А. Д. Улыбышев). «Письмо» — это лишь условная литературная форма (оно имеет подзаголовок «О петербургском обществе»). Перед нами произведение, которое представляет собою настолько глубокое истолкование сложных вопросов развития национальной культуры, что с ним нельзя сопоставить ни одну из публицистических статей 20-х годов ³².

Вопросы национальных традиций, национального характера, национальной самобытности рассматриваются здесь на фоне политической борьбы в русском обществе. Автор констатирует «большой раскол», существование «двух партий, которые находятся в своего рода войне». «Первые, которых можно назвать правоверными (погасильцами<?>), — сторонники древних обычаев, деспотического правления и фанатизма, а вторые — *еретики*, защитники иноземных нравов и пионеры либеральных идей». Позиции «правоверных» — «этих так называемых патриотов» — разоблачаются. Показана вся лживость их патриотизма. Их кумиры — «чины, кресты и ленты» — единственная цель существования, степень достоинства человека определяется ими табелью о четырнадцати классах **.

В числе признаков, характерных для «правоверных», отмечается националистическое презрение и ненависть к иностранцам и иностранной культуре, разговоры о «крайностях модного воспитания», о вреде заграничных

* С кругом интересов «Зеленой лампы» непосредственно связана статья Пушкина «Мои замечания об русском театре».

** Здесь же мы узнаем, что статья написана от имени человека, принадлежащего к низшему классу — «мелюзге»; с иронией рассказывается, что на приеме гостей у одного из «правоверных», он, в соответствии с этикетом, сидел за столом далеко от центра и получал от слуг только кости или совершенно пустые блюда.

путешествий, то есть темы, которые, как мы видели, были излюбленными у Шишкова и его сподвижников. В статье отмечается также крепостническая сущность нравов «правовверных» — «скифо-россов», — в доме которых прислуга многочисленна, плохо накормлена, плохо содержится.

Но отрицательное отношение автора статьи к реакционным националистам не означает, что его симпатии принадлежат «европейской части» высшего класса общества. В домах защитников иноземных нравов цариг «французское изящество», «социальное равенство, которое отдает предпочтение только уму и любезности», но все, включая манеры и разговор, лишь «создает иллюзию, похожую на очарование», которое понемногу рассеивается. Пустота, холодность и сухость разговора, узость интересов, которые замыкаются карточной игрой и гастрономическими увеселениями, — такова характеристика этой части общества.

Какова же позиция самого автора по отношению к национальным традициям и к иноземной культуре?

Он четко отграничивает свои взгляды от позиций националистов, заявляет о своем высоком уважении к французам, отмечает «их живость, гений их воображения», «общительность», пишет о необходимости взять у других народов все, что является нужным и полезным для России, но протестует против слепого подражания иноземному и призывает сохранить лучшие черты национального своеобразия. Именно в этом смысл следующих строк «Письма»: «Сохрани боже, чтобы я хотел прославить старинные русские нравы, которые больше не согласуются ни с цивилизацией, ни с духом нашего века, ни даже с человеческим достоинством; но то, что в нравах есть оскорбительного, происходит от варварства, от невежества и деспотизма, а не от самого характера русских. Итак, вместо того чтобы их (то есть нравы. — Б. М.) уничтожить, следовало бы упросить русских не заимствовать из-за границы ничего, кроме необходимого для содействия нравов европейскими, и с усердием сохранить все то, что составляет национальную самобытность». А национальную самобытность автор видит и в costume, и в русских песнях, и в русской истории. Принцип национальной самобытности он считает основополагающим и в литературе и в театре.

Наконец большой интерес представляет попытка ав-

тора раскрыть источники национального своеобразия. В числе их называются лишь два: климат и образ правления; именно они «могут наложить на характер народа печать национальности». Но важно, что автор, следовательно, стоит на точке зрения объективной обусловленности «национальных качеств».

Мы остановились на «Письме к другу в Германию» потому, что оно является наилучшим показателем высокого уровня, которого достигла передовая русская мысль декабристского периода в разработке вопросов становления национальной культуры.

Для декабристов и Пушкина характерен широкий подход к вопросам развития самобытной русской культуры и понимание ее как части культуры мировой. Безгранично богатым был круг источников, которые изучали декабристы, вырабатывая свою точку зрения на важнейшие проблемы современности; здесь не только русские писатели и мыслители, но и вся мировая культура. Поистине все было мобилизовано в борьбе за новую Россию: Плутарх и Цицерон, французские просветители XVIII века, в особенности Руссо и Вольтер, западная политическая литература XIX века, Бенжамен Констан, Делю де Траси и многие другие, труды по политической экономии Сея, Адама Смита, Сисмонди, современная зарубежная журналистика. Передовое поколение с такой тщательностью следило за движением общественной мысли, что иногда иностранные книги становились в России более известными и доступными, чем там, где они были изданы. Об этом Каховский говорил: «Строгая цензура, со всеми способами полиции и таможни, никак и нигде не может остановить ни ввоза книг, ни внутренних сочинений, и стоит только какое сочинение запретить, то оно делается для всех интересным и даже писаное разойдется по рукам. Во Франции запретится книга, и в самом скором времени в России она явится». Но жадное освоение предшествующей и современной литературы не носило характера всеядности, а было критическим: отбиралось действительно ценное для сопоставления с опытом и потребностями русской жизни, отбрасывалось все чуждое «духу преобразования» и прогресса³³.

Богатейший материал на эту тему имеется в дневниках и письмах современников. Ограничимся только одним типичным примером.

В сентябре 1818 года Н. Тургенев записывает свои замечания по поводу книги мадам де Сталь о революции («*Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française*») *. Он одобряет направленность книги против деспотизма, выраженную в ней «постоянную и пылкую любовь к свободе», защиту просвещения. Вместе с тем он осуждает те места книги де Сталь, где она, не сумев во время пребывания в России разобраться в тактике и облике Александра I, говорит об его «просвещенности и мудрости» и о «постепенном улучшении» порядков в стране. Через год Н. Тургенев возвращается к этой же книге мадам де Сталь по другому поводу, в связи с критикой ее реакционным французским публицистом виконтом де Бональдом. Он издевается над рассуждениями Бональда и защищает мадам де Сталь также и аргументами из русской жизни. Так, по поводу утверждения Бональда, что король ответствен только перед богом, Тургенев пишет: «И наши мужики могут жаловаться богу, но в том-то и беда, что они, кроме бога, никому жаловаться не могут» ** 34.

Типично для декабристов и Пушкина также и то, что они рассматривали события в России как звено в общей цепи мировых событий. В своих показаниях Пестель говорил о том значении, которое имели для мировоззрения передовых русских людей исторические перевороты начала XIX века, — процесс брожения, происходящий во всем мире «от Португалии до России, не исключая ни единого государства», в том числе «Англию и Турцию, сих двух противоположностей», и Америку ³⁶. В параллель этому можно было бы привести стихотворение Пушкина «Недвижный страж дремал на царственном пороге»

* Размышления о важнейших событиях французской революции (франц.).

** Любопытно и одно из критических выступлений Пушкина, связанных с мадам де Сталь. В 1825 году в «Сыне отечества» появилась статья А. М. (А. Муханова), содержащая грубые, недоброжелательные замечания об этой выдающейся представительнице французской литературы и публицистики. В ответ Пушкин напечатал в «Московском телеграфе» свои возражения Муханову. Пушкин встал на защиту мадам де Сталь и с одобрением упомянул ее книгу «Взгляд на французскую революцию». Свою статью он закончил словами: «Уважен хочешь быть, умей других уважить» ³⁵.

В письме П. А. Вяземскому по поводу этой же статьи Муханова Пушкин заметил: «M-me Staël наша — не тронь ее».

(1824), где в лаконичных строках дана широкая картина освободительного движения во всем мире:

Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал.
За Пиренеями давно ль судьбой народа
Уж правила свобода,
И самовластие лишь Север укрывал?

Революционные восстания в Испании, Неаполе, Пьемонте вызывают у Пушкина и его современников живейший интерес, каждое крупное событие находит живую реакцию в самых разнообразных формах (вроде эпизода, когда Пушкин показывал в театре портрет Лувеля с надписью «Урок царям»). В литературных произведениях — статьях, стихотворных экспромтах, эпиграммах и т. д. — обличаются мракобесы и их пособники, которые негодовали по поводу каждой удачи в движении за свободу и радовались каждому успеху реакции. Вспомним, с каким возмущением обрушивался Пушкин на «льстеца», который, желая угодить царю, радовался казни испанского революционера Риго («Сказали раз царю...»). С сочувствием отнесся Пушкин и люди его круга к борьбе греков за независимость. Восторженное письмо Пушкина 1821 года о греческом восстании (повидимому, В. Л. Давыдову), его вдохновенное стихотворение, воспевающее героическую гибель грека в борьбе за национальную свободу — за «великое, святое дело» («Гречанка верная! не плачь — он пал героем...»), совпадают по настроению с откликами декабристов. И это движение Пушкин рассматривает в исторической перспективе, в связи с судьбами России, с современной политической обстановкой. О восстании греков он писал из Кишинева, что оно будет «иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы», а В. Ф. Раевский надеялся, что оно «пробудит... народный сон и гидру дремлющей свободы» («К друзьям в Кишинев»). Сознание того, что борьба за свободу объединяет народы различных стран, было одной из сильнейших сторон мировоззрения Пушкина и декабристов³⁷.

Декабристы понимали также, что и искусство, будучи национальным, вместе с тем объединяет человечество. «Гений красноречия и поэзии, гражданин всех стран...» — так говорил Александр Бестужев о художественном

творчестве в своем «Взгляде на старую и новую словесность в России». В другой статье — «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года» — он писал о важности переводов иностранных книг, совпадая с «законоположением» «Союза благоденствия» как в этом, так и в своей критике слепого подражания иноземному в ущерб национальной самобытности, в осмеянии тех, кто «невыпадал вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залезли в тридевятую даль по-немецки»³⁸.

Интересно ставит вопрос о соотношении мировой и русской литературы В. Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Он выступает за освоение, говоря современным термином, Россией всей мировой культуры, и (что очень важно) не только западноевропейской, но и народов Востока: «При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия ...могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фирдоуси, Гафиз, Саади, Джами ждут русских писателей». Но далее Кюхельбекер предупреждает, что недостаточно «присвоить себе сокровища иноплеменников», ибо для славы России необходима «поэзия истинно русская», «песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности». Говоря о самобытности, он пишет: «Станем надеяться, что, наконец, наши писатели, из которых особенно некоторые молодые одарены прямым талантом, сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими. Особенно имею в виду А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая, дают великие надежды». Здесь характерно, что Пушкин выделен как надежда национальной литературы³⁹.

Борьба с подражанием иноземному, за оригинальность и самобытность велась в это время и в других странах. Французский историк Лемонте, говоря о том, что подражание проявлялось и во французской, и в немецкой, и в других литературах, опровергал литераторов, которые «легкомысленно заключали по первым усилиям русских, что они способны только к подражанию». «Сколь ни молода их словесность, — заключал он, — но она не в меньшей мере соразмерности предоставляет собственных произведений, как и всякая другая». Обосновывая

тезис о национальной самобытности, русские критики учитывали также опыт литератур других народов. Вяземский, О. Сомов и другие литераторы прогрессивного лагеря, участвовавшие в разработке проблемы народного, национального, ссылаются на сочинения де Сталь, которая критиковала французский классицизм, указывая, что подражание античному противоречило самим принципам народности ⁴⁰.

Интересно, что в русских журналах печатались статьи зарубежных критиков, где подымались вопросы, сходные с теми, которые выдвигались потребностями русской литературы. Эти статьи нередко принаравливались издателями к русским условиям, сопровождалась подстрочными замечаниями, — и одобрительными и критическими. В параллель к мыслям Пушкина о вреде, который принесло русской литературе подражание, можно привести суждения французских критиков, осуждавших в собственной литературе те же пороки. Так, например, в 1825 году в «Сыне отечества» была напечатана статья Арто из «Revue Encyclopédique» «О духе поэзии XIX века», где отчужденность французской литературы от народа объяснялась ее академизмом, «педантским подражанием и церемонным этикетом». Автор, подчеркивая значение Шекспира, при этом писал: «Дело не в том, чтобы подражать Шекспиру, но в том, чтоб сочинять сходно с духом нашего века, как сочинял Шекспир для своего. Будем ровесники нашему времени! Подражание не произвело ничего великого. Правила тащатся следом за гением, гений спрашивается только своих сил. От сего-то нет гениев без оригинальности, нет оригинальности без самобытности» (кстати, статья эта, возможно, переведена А. Бестужевым: в конце статьи пометка: «Пер. А. Б.») ⁴¹.

Повторяем, борьба с подражанием, за национальную самобытность, не снимала вопрос о взаимодействии и взаимном обогащении национальных литератур. Пушкин в 1822 году высказывал удовлетворение тем, что «английская словесность начинает иметь влияние на русскую», полагая, что оно будет полезнее влияния робкой и жеманной поэзии таких французских стихотворцев, как Флориан и Легуве, которых перепевали карамзинисты. В том же году Пушкин в конспективной заметке «О французской словесности» заканчивает критическое перечисление русских подражателей иноземной литературе

словами: «...есть у нас свой язык: смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.».

Взгляды Пушкина на все эти вопросы в своей основе совпадают с тем, о чем писали и думали декабристы. Мы уже говорили о том, что авторы многих работ о Пушкине доказывали, будто поэт еще в первой половине 20-х годов в своем идейном развитии опередил декабристов, и их роль в эволюции Пушкина невольно преуменьшается. Между тем факты биографии Пушкина с достаточной убедительностью подтверждают, что наиболее революционные его стихи относятся к периоду тесного общения с декабристами на юге России. Тогда он высказывал и самые острые суждения о самодержавии, о помещиках (вспомним хотя бы дышащие революционной страстностью разговоры Пушкина, которые приведены в дневнике его кишиневского знакомого Долгорукова). К этому же времени он распрощался с иллюзиями о возможности решительных изменений существующих порядков «по манию царя». Тогда же в стихотворении В. Л. Давыдову он выразил сочувствие революционным методам борьбы:

.. мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся...

Не случайно в этом же стихотворении вспоминаются встречи в Каменке — одном из центров, где собирались декабристы. В это время Пушкин утверждал, что

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

В стихотворении «Кинжал», воспевающим убийство Кесаря Брутом и подвиг Карла Занда, вместе с тем содержатся строки, оправдывающие Шарлотту Кордэ и, следовательно, внушающие мысль, что Пушкин не изменил свое отношение к французской революции XVIII века (ведь в оде «Вольность» о казни Людовика говорилось как о нарушении законности и действии «преступной секиры»). Но в действительности это изменение произошло. В письме Н. И. Тургеневу 1 декабря 1823 года Пушкин приводит в качестве «самых сносных строф» своего стихотворения «Наполеон» именно те строфы, в которых дана яркая положительная оценка французской революции:

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал, —

Тогда в волненьи бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.
В свое погибельное счастье
Ты дерзкой веровал душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой.

День, когда царский труп лежал во прахе, оценивается здесь как «день великий, неизбежный». Уничтожение же завоеваний французской революции рассматривается поэтом как порабощение народа, усмирение юной буйности. Стихотворение, написанное в 1821 году в Кишиневе, в период наиболее интенсивной работы кишиневской ячейки «Союза благоденствия» и деятельности масонской ложи «Овидий», читалось в доме М. Ф. Орлова. На усиление революционных настроений Пушкина влияли и политические события и вместе с тем та атмосфера тайных обществ, которая окружала поэта.

После переезда в Михайловское, когда непосредственное общение Пушкина с декабристами было прервано, первостепенное значение для изучения идейного влияния декабристов на Пушкина имеет его переписка с Рылеевым и А. Бестужевым. Письма вождя Северного общества были для поэта, оказавшегося в глухой ссылке, не только моральной поддержкой, но и постоянным напоминанием о гражданском долге, о необходимости следовать по однажды избранному пути. Прав Ю. Г. Оксман, который в своем комментарии к первому из дошедших до нас писем Рылеева к Пушкину отмечает: «Рылев обращался к Пушкину не просто как собрат по перу, единомышленник и почитатель великого поэта, к тому же еще и едва знакомый с ним лично, а как вождь тайной организации, имеющий тем самым право рекомендовать Пушкину определенное политическое и литературное поведение». Действительно, оценка, которая дана

Пушкину в первом же письме Рылеева (около 6 января 1825 года), по своему тону и характеру весьма примечательна. В письме Рылеев обращается к Пушкину: «Я пишу к тебе: *ты*, потому что холодное *вы* не ложится под перо: надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям». При оценке значения Пушкина Рылеев говорит не только от своего имени. Поздравляя его с «Цыганами», он пишет: «Они совершенно оправдали наше мнение о твоём таланте. Ты идёшь шагами великана и радуешь истинно русские сердца». В письме упоминается и о том, что революционные патриоты ждали от Пушкина: «...ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы». Письмо это было привезено Пушкину в Михайловское Пушковым, и многозначительные слова Рылеева: «Пушин познакомит нас короче», — содержат безусловный намек на дополнительную информацию, которую нельзя было доверить даже письму, посланному с верной оказией⁴².

Сохранившиеся письма Рылеева и ближайшего друга его А. Бестужева к Пушкину говорят о том, что декабристы всеми силами стремились способствовать тому, чтобы своим творчеством поэт продолжал непосредственно служить общему делу — «русской свободе». Если сопоставить эти письма с письмами, которые одновременно писали Пушкину Жуковский и даже Вяземский, то мы увидим картину напряжённой борьбы за Пушкина, картину противоположных влияний, идущих из разных общественных лагерей, дифференциация которых усиливалась по мере обострения политического положения в стране.

Начиная с весны 1824 года, Жуковский и Вяземский усиливают нажим на Пушкина, уговаривая его изменить линию своего поведения по отношению к правительству, смириться. В конце мая 1824 года Вяземский пишет Пушкину: «Ты довольно сыграл пажеских шуток с правительством; довольно подразнил его, и полно! А вся наша оппозиция ничем иным ознаменоваться не может, que par des espiègleries *. Нам не дается мужествовать против него; мы можем только ребячиться. А всегда ребячиться надоест». Через несколько дней (1 июня) более туманно,

* Как только проказами (*франц.*).

но в таком же «сдерживающем» духе пишет письмо Пушкину Жуковский. Когда же Пушкин, будучи сосланным в глухое Михайловское, пытался воспользоваться болезнью, чтобы выбраться из ссылки, друзья проявили полное непонимание его замысла. Жуковский вновь требует, чтобы Пушкин в корне изменил свой образ мыслей. Он уверяет, что теперешняя слава Пушкина «никуда не годится», что он должен «заслужить благодарность» (апрель 1825 года). И через несколько месяцев, вновь требуя «уняться», он же пишет о жизни Пушкина: «Она была очень забавною эпиграммою, но должна быть возвышенною поэмою» (август 1825 года). Особенно показательно в этом отношении письмо Вяземского, написанное 26 августа и 6 сентября 1825 года. Оно преисполнено советами и укорами: «Будь доволен... Попробуй плыть по воде: ты довольно боролся с течением... Без содрогания и уныния не могу думать о тебе, не столько о судьбе твоей, которая все-таки уляжется когда-нибудь, но о твоей внутренности, тайности!.. не сам ли ты частью виноват в своем положении?.. Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом». Вяземский требует, чтобы Пушкин не отвергнул «из упрямства и прихоти милости царской» (то есть издевательского разрешения Александра I на поездку в Псков для лечения)*. И, как бы в противовес Рылееву, который писал о великом значении Пушкина — гордости России, примере для всего молодого поколения, Вяземский заявлял: «...может быть, находишь людей, которые подтачивают твоим итогам, но и ты и они ошибаются. Пушкин по характеру своему; Пушкин как блестящий пример превратностей различных ничтожен в русском народе». И эту часть своего письма Вяземский заключает сравнением Пушкина с Дон-Кихотом и цитатой из Сумарокова:

Молола мельница, и что же молола? -- Ложь!..

Так зачеркивалось все, что было для Пушкина самым дорогим...

Из письма Жуковского, написанного Пушкину в сентябре 1825 года, явствует, что Жуковский знал об этих

* Пушкин понимал, что поездка в Псков даже ухудшит его положение, так как он там находился бы под непрерывным полицейским надзором (см. письмо Вяземскому от 13 и 15 сентября 1825 года).

Естественно, что позиция, занятая Жуковским и Вяземским, отдаляла их в идейном отношении от Пушкина, и поэт еще больше сближался с декабристами.

Но изучать соотношение взглядов Пушкина и декабристов значит говорить не только о том, что не вызывало между ними разногласий, но и о том, что служило предметом споров. Атмосфера горячих дискуссий характерна для людей пушкинского круга. До нас дошло лишь немного материалов, которые дают возможность судить об этих спорах. Они свидетельствуют о том, с каким вниманием Пушкин относился к выступлениям соратников по литературной борьбе, с какой строгостью проверял основательность суждений и своих собственных и тех людей, с которыми общался. «Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродно мыслящему созданию. *Бескорыстное* признание в оном требует душевной силы», — писал Пушкин А. Бестужеву 24 марта 1825 года.

В переписке между Рылевым и Бестужевым, с одной стороны, и Пушкиным — с другой содержится полемика по ряду принципиальных вопросов, среди которых особенно важным был вопрос о независимом положении писателя.

А. Бестужев в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года» опровергал мнение, согласно которому малочисленность литературных дарований объясняется «недостатком ободрения». «Так его нет, и слава богу!» — восклицал Бестужев. Далее он иллюстрировал свою мысль примерами самоотверженной деятельности великих писателей, творивших в условиях гонений, нищеты или безвестности и тем не менее проявивших независимость. Отрицание официальных «ободрений», корыстных ласк меценатов, влияния света, богатства и связей — таково содержание этой части статьи Бестужева⁴⁵.

Казалось бы, что с рассуждениями Бестужева об «ободрении» Пушкин мог только согласиться: и в своих поэтических декларациях, и в своей творческой практике он проводил эти же идеи. Но в письме к Бестужеву (конец мая — начало июня 1825 года) Пушкин темпераментно защищал «ободрение». Он привел в примеры Державина, Дмитриева, «которые в *ободрение* сделаны министрами», напомнил, что «ободренными» были

Карамзин, Жуковский, Крылов, Гнедич (имея, очевидно, в виду, что все они получали пенсию: Жуковский — 4000 р., Карамзин — 2000 р., Крылов — 1500 р., Гнедич — 3000 р.).

Смысл этих столь странных на первый взгляд возражений Пушкина может быть понят только в том случае, если принять во внимание ситуацию, в которой он оказался. Как раз в этот период он прилагал все усилия для того, чтобы как-нибудь выбраться из Михайловского и всеми способами уговаривал друзей дать понять царю всю недопустимость своего положения изгнанника. «Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю: слава богу!» — писал Пушкин в том же письме Бестужеву, подразумевая свою собственную судьбу и судьбу Баратынского как двух опальных поэтов. Выше мы видели, какое возмущение вызвали у Пушкина уговоры Вяземского и Жуковского быть довольным своим положением. На этом фоне *печатное* заявление Бестужева в альманахе, имевшем широкий резонанс, — «ободрения нет, и слава богу!» — было воспринято Пушкиным как совпадение в какой-то мере с успокоительными письмами Жуковского и Вяземского (хотя аргументация Бестужева была совершенно противоположной по своему политическому содержанию рассуждениям Вяземского и Жуковского на эту тему). Более правильным было бы, с точки зрения Пушкина, публичное обличение преследований писателей правительством. С другой стороны, Пушкин считал, что не следовало по тактическим соображениям заявлять в альманахе, известном своим вольнолюбием, о том, что отсутствие ободрения и преследования способствует росту протеста *. На это он намекал в письме к Рылееву: «Мне досадно, что Рылеев меня не понимает — в чем дело. Что у нас не покровительствуют литературу и что слава богу? зачем же об этом говорить? *pour réveiller le chat qui dort?*» ** Равнодушию правительства и притеснению цензуры обязаны мы духом нашей словесности». «Разбудить кота» — здесь означает навести правительство на

* «Порох на воздухе дает только вспышки, но, сжатый в железе, он рвется выстрелом и движет и рушит громады», — писал Бестужев ⁴⁶.

** Чтобы разбудить кота, который спит? (*франц.*)

мысль, что покровительством можно ослабить оппозиционные настроения в литературе.

Противоречивость этих рассуждений Пушкина очевидна. С одной стороны, он за «ободрение», правда подразумеваемая под этим создание условий, позволяющих писателю работать (такое ободрение, как утверждал Пушкин, не мешает писателю следовать по избранному пути: Вольтер написал «Орлеанскую девственницу» под покровительством Фридриха, «Тартюф» Мольера был защищен королем и т. д.). С другой стороны, он же считает, что отсутствие ободрения играет положительную роль, так как способствует оппозиционному духу литературы. Но какими бы ни были субъективные мотивы полемики Пушкина с Бестужевым и Рылеевым, более правы были они. Рылеев, присоединяясь в письме Пушкину к точке зрения Бестужева, писал: «Сила душевная слабеет при дворах и гений чахнет; все дело добрых правительств состоит в том, чтобы не стеснять гения; пусть он производит свободно все, что внушает ему вдохновение. Тогда не надобно ни пенсий, ни орденов, ни ключей камергерских». Но и сам Пушкин хорошо знал, что «гений чахнет» при дворах; именно таков один из мотивов его стихов о роли поэта, именно так он отнесся и к тому, что Жуковский стал воспитателем наследника⁴⁷.

Независимость русских писателей, отсутствие в русской литературе «печати рабского унижения» Пушкин объяснял тем, что «русские писатели взяты из высшего класса общества», «аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием». В связи с этим он упомянул и о себе как о шестисотлетнем дворянине. На это Рылеев отвечал: «Ты сделался аристократом; это меня рассмешило». И в другом письме: «Преимущества гражданских не должно существовать, да они для поэта Пушкина ничему и не служат ни в зале невежды, ни в зале знатного подлеца, не умеющего ценить твоего таланта... Чванство дворянством непростительно, особенно тебе». Переписка между Пушкиным и Рылеевым после этого письма (оно было написано за месяц до декабрьского восстания) если и продолжалась, то не сохранилась, и мы не знаем, как далее развивался спор⁴⁸.

Однако в спорах с Рылеевым и Бестужевым во многих вопросах Пушкин бывал прав. Он указывает на

слабость их позиции, на промахи и явные ошибки. Он критикует рецидивы сентиментализма в «Полярной звезде», где Бестужев, вступая в противоречие с своей собственной тенденцией — рассматривать литературу в связи с развитием общества, неожиданно заявлял, что «главнейшая причина» слабости литературы — «равнодушие прекрасного пола» к родному языку⁴⁹.

Возражение вызывает у Пушкина догматический подход Бестужева и Рылеева к проблеме жанров. Понятно желание декабристов в преддверии задуманного ими государственного переворота направить литературу только по одному руслу — восхваления гражданского подвига и, следовательно, выдвижения высоких жанров — оды, героической поэмы. Но несомненно более широкой и более соответствующей интересам развития русской литературы была точка зрения Пушкина, для которой литература больших мыслей и чувств была литературой многих, а не одних только «высоких» жанров. Точно так же защищая право художника на изображение прозы жизни (в споре об «Евгении Онегине»), Пушкин был более дальновиден, чем Бестужев, считавший, что делу борьбы за свободу служили в то время лишь произведения, в которых «мечта уносит поэта из прозы описываемого общества»*.

Пушкин отвергал также другие поспешные выводы и схематические построения Бестужева, не оправданные фактами литературного развития. Он указывает на принципиальную ошибку — отсутствие имени Радищева в обзоре русской словесности, напечатанном в «Полярной звезде» («Кого же мы будем помнить?» — многозначительно замечает Пушкин), критикует субъективные оценки Бестужевым некоторых писателей, не соглашаясь с утверждением: «У нас есть критика, а нет литературы». Состояние критики Пушкин оценивает с точки зрения ее руководящей роли в формировании «мнения в публике» и отсюда делает вывод о том, что критики еще нет. Наконец, убедительные опровержения концепции истории мировой литературы, предложенной Бестужевым в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года» содержатся

* О споре Рылеева и Бестужева с Пушкиным на эту тему см. ниже, стр. 565—568.

в письме Пушкина к Бестужеву (конец мая — начало июня 1825 года) и в его неоконченной полемической заметке на эту тему. Бестужев утверждал, что «словесность всех народов, совершая свое круготечение, следовала общим законам природы», что за «возрастом сильных чувств и гениальных творений» следовал век посредственности, удивления и отчета». Пушкин опровергает этот надуманный «закон», игнорирующий национальное своеобразие литератур, конкретными историческими фактами. Полное одобрение Пушкина вызывают лишь части статьи, посвященные защите национальной самобытности, обличающие страсть к подражанию, пороки воспитания⁵⁰.

Для выяснения как общности взглядов Пушкина и декабристов на литературу, так и различий между ними, особенно важно понять их трактовку вопросов, связанных с народностью литературы.

Выдвижение этой проблемы — большая историческая заслуга передового поколения декабристской эпохи. Буржуазные литературоведы объясняли возникновение проблемы народности лишь внутренним развитием самой литературы, то есть чисто идеалистически; необходимо было «обновить» устаревшие жанры, уничтожить «отживший классицизм» и т. д. Следствия рассматривались как причины. На деле причиной была сама действительность, изменения в общественном укладе, в политической жизни страны и в самой народной среде. Народные массы были в эту эпоху еще лишены идейной сознательности, отягчены патриархальными, в том числе царистскими, иллюзиями («Крепостная Россия забита и неподвижна», — писал об этом времени Ленин⁵¹). Но все же война 1812 года во многом пробудила народ, роль которого в решении судеб государства неизмеримо возросла. И нарастание антикрепостнических настроений в массах и появление людей, способных бороться за интересы народа (в той мере, в какой это могли делать дворянские революционеры), обусловили крупнейшее значение проблемы народности в литературе.

В разделе «Гроза двенадцатого года» были приведены факты, которые свидетельствуют не только о героизме русского народа, освободившем мир от наполеоновской деспотии, но и о новых чувствах и мыслях,

пробудившихся у патриотически настроенных просвещенных офицеров общением с солдатами — крестьянами в шинелях. Как ни далеки были даже передовые деятели дворянской культуры от народа, но тем не менее именно в 1812 году они вошли в непосредственное соприкосновение с народом, прониклись восхищением к его замечательным качествам и сочувствием к угнетенному положению крепостного крестьянства.

Беспримерный в истории героизм народа в Отечественной войне превосходил в сознании современников книжные, заимствованные из литературы образы и примеры героической доблести древнего мира. В 1813 году в журнале «Сын отечества» появилась характерная декларация: «С самых тех отдаленных времен, в которые Ксеркс с бесчисленным воинством нашел на Грецию, бытописание не являет еще ни единой брани, которая бы с большим достоинством, с большею славою продолжалась. Какое высокое, славное имя героев древности не найдет себе достойного соперника в продолжение войны сей, среди которой вера и любовь к отечеству возбуждала спартанскую храбрость в груди каждого русского поселянина?» Эту идею журнал развивает с энергией и последовательностью. В другом номере (также за 1813 год) по поводу итогов войны было, в частности, сказано:

«Мы удивляемся тем мужам древности, о которых история нам повествует, и часто сожалеем, что мы не современники их; но справедливо ли сие? Уступает ли сила русского характера мужеству древних греков и римлян, особливо в сию вечно памятную эпоху? Долг каждого сына отечества есть замечать и собирать все сии черты для составления потомству картины русских заслуг и добродетелей». Облик простого русского солдата восторгает современников войны 1812 года своими высокими моральными качествами. Тот же «Сын отечества» сетовал на недостаточность внимания к характеру тех, кто спас Россию от Наполеона:

«Отличной силы и духа простые воины часто теряются из виду в толпе своих товарищей; но сколь многие из них заслуживают отличия и предпочтения как по физическому сложению, так особенно по душевной их силе». С другой стороны, сохранились и свидетельства о том,

что общение с народом во время войны облагораживало передовую дворянскую молодежь:

«1812, 1813 и 1814 годы нас познакомили и сблизили с нашими солдатами, — вспоминал декабрист М. И. Муравьев-Апостол. — Все мы были проникнуты долгом службы... Каждый из нас чувствовал свое собственное достоинство, поэтому умел уважать его в других. Служба отнюдь не страдала от добрых отношений, установившихся между солдатами и офицерами. Единодушие последних между собою было беспримерное»⁵².

Сохранились также скупые, но выразительные свидетельства, говорящие о том, что представление о крестьянстве начала XIX века как о сплошной темной массе, не интересовавшейся вопросами общественной жизни, неверно. О влиянии Отечественной войны на политическое развитие солдат писали декабристы Якушкин, Завалишин, Розен и др. Характерен успех прокламаций, распространявшихся в Семеновском полку во время волнения. Из показаний солдат — участников восстания декабристов — мы узнаем, что некоторые рядовые находились в переписке с С. И. Муравьевым-Апостолом⁵³.

В. Н. Каразин в беседе с министром внутренних дел Кочубеем сказал: «Между солдатами есть люди весьма умные, знающие грамоте... Есть... и из дворовых весьма острые и сведущие люди; есть и управители, стряпчие и прочие из господских людей, которые за дурное поведение или за злоупотребление отданы в рекруты. Они, так как и все, читают журналы и газеты». Об уровне политических представлений в среде крепостного крестьянства почти не осталось фактических данных, но те, которые остались, весьма любопытны. Так, декабрист Митьков, передавая свои разговоры с крестьянами, пишет: «...в них столько здравых мыслей и истины в суждениях, что если только сообразоваться с их языком, то они скоро и легко поймут как права, так и обязанности свободного крестьянина»⁵⁴.

Пусть такого рода свидетельства немногочисленны. Но именно подобные факты давали основание наиболее левым элементам из оппозиционных кругов ставить вопросы о необходимости политического просвещения солдат.

В задачи просвещения декабристы включали также революционное просвещение, пропаганду освободительных идей. Эта пропаганда была рассчитана по условиям времени прежде всего на передовые круги дворянства, которые, по мысли декабристов, должны были добиться преобразования существовавшего строя и облегчить положение народа.

Программы декабристов заключали в себе требования ликвидации крепостного права и замены самодержавия республикой (а более умеренные программы — конституционной монархией). Конечно, классовая ограниченность дворянской революционности ставила непреодолимые преграды слиянию декабристов с народом, ибо основная тактика декабристов заключалась в том, чтобы бороться за благо народа, но без непосредственного участия народа как самостоятельной силы. И все же, повторяем, в своих наиболее передовых устремлениях декабристы отражали, пусть в урезанном виде, народные чаяния. Осуществление даже умеренных декабристских программ нанесло бы серьезное поражение феодально-крепостнической системе и объективно ускорило бы дальнейшее развитие борьбы за действительное и полное освобождение народа. Думы о народе, горячее желание видеть его просвещенным и свободным от цепей крепостничества — все это иногда приводило наиболее левых декабристов вопреки их классовой ограниченности к прямому обращению к народу с революционной проповедью. В таком духе действовали некоторые деятели Южного общества, Общества соединенных славян. Наиболее изучена пропагандистская работа основателя бессарабского ответвления тайного общества В. Ф. Раевского, в дивизии М. Ф. Орлова, 32-м егерском полку. В ланкастерской школе для рядовых солдат и в дивизионной школе для юнкеров Раевский разъяснял принципы конституционного правления, рассказывал о западноевропейских революциях и их вождях, о «правлении демократии» в древнем Новгороде. В 1822 году он был арестован за революционную пропаганду среди солдат и юнкеров дивизионной школы. К революционной пропаганде прибегал и С. И. Муравьев-Апостол. В его прокламации «Православный катехизис» были использованы в целях пропаганды даже религиозные предрассудки народа. Так, в ней доказывалось, что

«цари похитили свободу» и «поступают вопреки воле божьей». Попытки революционной пропаганды среди солдат предпринимались и другими декабристами. Их пропагандистская деятельность еще ждет тщательного изучения историков. Нелегальные политические стихотворения Пушкина имели для пропаганды декабристов первостепенное значение: они распространялись не только в кругах передового дворянства и офицеров, но проникали также и в среду «низших чинов» армии и даже простых солдат⁵⁵.

В этом ряду должны рассматриваться и известные агитационные песни Рылеева и Бестужева, обличавшие деспотизм самодержавия, говорившие о рабстве и нищете народа. В некоторых из них содержатся прямые призывы к народному восстанию, например в песне «Уж как шел кузнец».

В литературе о поэтах-декабристах обычно с излишней доверчивостью приводится следующее показание А. А. Бестужева следственной комиссии: «Сначала мы было имели намерение распустить их (агитационные песни. — Б. М.) в народе, но после одумались. Мы более всего боялись народной революции, ибо она не может быть не кровопролитна и не долговременна; а подобные песни могли бы оную приблизить. Вследствие сего, дурачась, мы их певали только между собою... В народ и между солдатами никогда их не пускали; это бы, кроме нравственного вреда нашей цели, могло скоро нас обнаружить, а осторожность была нашим девизом». Спору нет, декабристы боялись народного восстания, «новой пугачевщины». Но попытку Бестужева доказать, что агитационные песни, написанные им совместно с Рылеевым, остались только достоянием тайных дружеских пирушек, можно объяснить лишь желанием не усугубить ответственности перед царским судом. Конечно, в крепостной деревне эти песни не распространялись, но среди городского населения, а также среди солдат и матросов имели хождение. В воспоминаниях другого декабриста Н. А. Бестужева, мы читаем: «Хотя правительство всеми мерами старалось истребить сии песни, где только могло находить их, но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые в них видели верное

изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем... Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображались в них простыми словами, но верными красками. В самый тот день, когда исполнена была над ними сентенция, и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавя, что у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева»⁵⁶.

Из следственных дел декабристов известно, что агитационные песни Рылеева и Бестужева были переправлены С. Г. Волконским на юг, в район расположения Второй армии. Интересен и следующий факт. В неопубликованном дневнике А. И. Тургенева отмечено, что полиция запретила в Петербурге петь песню «Ох, тошно мне на своей стороне» (вариант романса Ю. А. Нелединского-Мелецкого). Это запрещение, как мы полагаем, явилось реакцией на распространение нелегальной антикрепостнической песни Рылеева и Бестужева «Ах, тошно мне и в родной стороне» (где первые две строки варьируют начало романса Нелединского-Мелецкого). Распространение агитационных песен в народе (как и попытки революционной агитации среди солдат, предпринимавшиеся отдельными декабристами), разумеется, не могли изменить характера декабристского движения как движения дворянских революционеров. Именно эта исторически обусловленная ограниченность и привела тогда к неудаче революционного переворота. Но самые попытки, пусть робкие и непоследовательные, расширения освободительной пропаганды, весьма примечательны⁵⁷.

В агитационных песнях затрагивались также темы, связанные с вопросами распространения просвещения в народе, обличались порядки, направленные на то, чтобы удержать народ в невежестве. В песне «Царь наш, немец прусский...» иронически отмечалось: «Школы все — казармы». В другой редакции этой же песни о царе говорится:

Враг хоть просвещенья,
Любит он ученье,

В песне «Ах, где те острова» выражена мечта о свободном общежитии, в котором «Магницкий молчит» *.

Любопытная агитационная песня декабристов обнаружена недавно:

Уж вы вейте веревки
На барские головки;
Вы готовьте ножей
На сиятельных князей;
И на место фонарей
Поразвешивать <царей>;
Тогда будет тепло
И умно, и светло.
Слава! ⁵⁸

В ней понятным для народа языком разъяснялась декабристами идея о необходимости уничтожения самодержавия как об обязательном условии распространения просвещения.

В период Отечественной войны и в послевоенные годы передовые люди эпохи видели, что между «просвещенными людьми» и народом существует пропасть. Это не могло не волновать их. Об отдаленности от народа, от народных обычаев, народного языка писал в своем партизанском дневнике Денис Давыдов. Не без горечи признавался он в том, что даже в русских офицерах крестьяне во время войны иногда подозревали неприятеля. Рассуждения Давыдова на эту тему весьма любопытны.

«Даже места, не прикосновенные неприятелем, немало представляли нам препятствий, — писал прославленный поэт-партизан. — Общее и добровольное ополчение поселян преграждало путь нам. В каждом селении ворота были заперты; при них стояли стар и млад с вилами, кольями, топорами, и некоторые из них с огнестрельным оружием. К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту православной церкви. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаху топор, от ударов коих судьба спасала нас. Мы могли бы обходить селения, но я хотел

* Не все агитационные песни писались с учетом возможности их широкого распространения. Эта песня, где упоминается, кроме реакционера М. Л. Магницкого, писатели Греч, Булгарин, Измайлов, рассчитана на узкую аудиторию.

распространить слух, что войска возвращаются, утвердить поселян в намерении защищаться и склонить их к немедленному извещению нас о приближении к ним неприятеля, почему с каждым селением продолжались переговоры до вступления в улицу. Там сцена переменялась: едва сомнение уступало место уверенности, что мы русские, как хлеб, пиво, пироги подносились солдатам. Сколько раз я спрашивал жителей по заключении между нами мира: «Отчего вы полагали нас французами?» Каждый раз отвечали они мне: «Да, вишь, родимый (показывая на гусарский мой ментик), это, бают, на их одежду схоже». — «Да разве я не русским языком говорю?» — «Да ведь у них всякого сбора люди!» Из всего этого Денис Давыдов делал выводы весьма и весьма примечательные: «Тогда я на опыте узнал, что в народной войне должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях...»⁵⁹

Резкий разрыв между умонастроениями, языком, обычаями дворянства и народа с великой скорбью отмечен Грибоедовым в его «Загородной поездке». Говоря о классе дворян как «поврежденном классе полуевропейцев», он далее продолжал: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами». «Народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки», — пессимистически восклицал Грибоедов. Определение «класс полуевропейцев» с художественным блеском раскрыто в «Горе от ума», произведении, в котором с такой яркостью отстаивается национальная самобытность⁶⁰.

Все это имеет прямое отношение к проблемам национальной культуры. «Разрозненность», разобщенность сословий является характерной чертой феодального уклада. Борьба за общность сословий — особенность складывающегося буржуазного общества. Конечно, «общность» не означает гармонию различных классовых интересов. Классовая борьба (в том числе в области культуры) при капитализме входит в новую фазу именно вследствие новых, более тесных, хотя и антаго-

нистических отношений между трудящимися и имущими, отношений, при которых противоположность интересов труда и капитала обнаруживается с полной ясностью и определенностью. В период, когда буржуазные преобразования являлись исторически прогрессивными, когда поборники этих преобразований отражали народные интересы, требование общности сословий было большим шагом вперед в общественном развитии и служило формированию национального самосознания. Этот процесс происходил в России в условиях движения революционеров-декабристов и стихийного крестьянского протеста; что придавало лозунгу народности особые черты.

Естественно, что в такой исторической обстановке проблемы народности не могли не волновать Пушкина. Он посвящает этому вопросу статью «О народности в литературе» (1825), оставшуюся в рукописи. Статья начинается с признания путаницы, которая содержалась в трактовке понятия народности. Он отмечает, что хотя разговоры о народности вошли в обыкновение, «никто не думал определить, что разумеет он под словом народность». Далее он возражает критикам, которые полагают, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории. Действительно, этот признак народности выдвигался в 20-е годы в качестве определяющего; о нем говорили и литераторы декабристского лагеря — Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, Катенин. Пушкин отвергает этот критерий, прибегая, как обычно, к языку фактов; он напоминает, что в «Отелло», «Гамлете», «Мера за меру» и других произведениях Шекспира, в произведениях Кальдерона, Ариосто, Расина сюжеты взяты отнюдь не из отечественной истории, но «мудрено, однако, у всех сих писателей оспаривать достоинство великой народности». Здесь Пушкин вспомнил и предисловие Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану», где критик, пропагандируя народность, отрицал ее в эпических поэмах Ломоносова и Хераскова и в то же время признавал народной трагедию Озерова «Дмитрий Донской». Против этого Пушкин протестовал в своей статье. Соглашаясь с Вяземским, что «кроме имен» в «Россиаде» и «Петриаде» нет ничего народного, Пушкин спрашивал: «Что есть народного в Ксении (из трагедии Озерова. — Б. М.), рассуждающей шестистопными

ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?»

По сравнению с взглядами критиков 20-х годов на проблему народности, в том числе А. Бестужева и Кюхельбекера, взгляды Пушкина отличались несравненно большей глубиной, четкостью и последовательностью. Бестужев и Кюхельбекер главными критериями народности считали борьбу с подражаниями иноземному и обращение писателя к темам и материалу русской действительности (преимущественно историческому). «Безнародность», согласно Бестужеву, — это «удивление только к чужому». Отсюда, по контрасту, конструируется понятие народности, основами которой является «богатое, неисчерпанное лоно старины и мощного свежего языка». «Вот стихия поэта», — восклицает Бестужев, говоря о задачах создания самобытной литературы. Примерно таков же и ход мыслей Кюхельбекера в его статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Пушкин был согласен с критикой слепого подражания иноземному, он в неоконченной заметке 1824 года «О причинах, замедливших ход нашей словесности» продолжал мысль Бестужева об увлечении французским языком и пренебрежении языком родным как одной из причин, замедливших «ход нашей словесности». Но для Пушкина *решающим* критерием народности был *угол зрения* писателя, отражение им специфических особенностей национального характера. В самом деле, ведь против подражания иноземному, за обращение к историческим темам, за русский язык ратовали (разумеется, демагогически) и реакционные националисты, сподвижники Шишкова, чуждые национальной культуре. Выступлений против самобытности, в защиту подражателей в журналах первой четверти XIX века попросту не было: борьба велась по вопросам содержания национальной культуры и ее формы. В этом направлении и шли попытки Пушкина определить народность: главное в народности — это умение писателя воспроизвести неповторимое своеобразие народа как результат совокупности объективных исторических признаков. Эти признаки Пушкин и пытался суммировать в следующем определении: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в

зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу»⁶¹.

Отдельные элементы этой формулы мы встречаем в современной Пушкину критике. На «веру праотцов», «нравы отечественные» (наряду с летописями, песнями и сказаниями народными) указывает Кюхельбекер как на «вернейшие источники нашей словесности». Об «отпечатке не только народа, но века и места» как о признаке «образцовых дарований» упоминали Бестужев, Вяземский. Ближе других к пушкинскому пониманию народности подошел связанный с декабристами литератор О. Сомов в статье «О романтической поэзии» (1823). Отличительные качества народной поэзии Сомов видит в «духе языка, в способе выражения», в свежести мыслей, в нравах, наклонностях и обычаях народа. Но эти элементы народности не были осмыслены критиками как некое единство, а в творческой практике поэтов-романтиков оказывались лишь средствами расцвечивания художественного творчества «местными красками», просто-народными выражениями и оборотами, образами народной фантастики, картинами природы и т. д. (именно исходя из этой мерки, Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии» утверждал, что «печатью народности» ознаменованы во всей русской поэзии лишь некоторые места в «Светлане» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина). Такой широкой постановки вопроса о народности, как в статье Пушкина, в критике тех лет не было. Пушкин понимает народность как национальное своеобразие («особенную физиономию народа») ⁶².

Возникает, однако, вопрос, кто является носителем этого своеобразия, что подразумевается в понятии «народ»?

В критике и публицистике того времени, затрагивавшей проблемы национальной культуры, четкости в трактовке понятия «народ» не было. Но замечательно, что у представителей передовой общественной мысли под понятием «народ» подразумевалась преобладающая часть общества, различные сословия, противостоявшие феодальной аристократии. С таким пониманием народа мы встречаемся в самом выдающемся документе той эпохи —

«Русской правде» Пестеля. В нем указано, что в народе имеется «до двенадцати» различных сословий, в числе которых дворянство, купечество, мещанство, крестьяне и т. д. «Отличительная черта нынешнего столетия ознаменовывается явную борьбою между народами и феодальной аристократией, во время которой начинает возникать аристократия богатств, гораздо вреднее аристократии феодальной». Таким образом, в состав народа входит и дворянство (исключая, по терминологии Пестеля, «закосневших в своих враждебных противу массы народной предрассудках») ⁶³.

В условиях феодально-крепостнической России начала XIX века такая постановка вопроса носила явно прогрессивный и даже революционный характер, так как была основана на буржуазно-демократической идее равенства сословий. Но в идеологической системе декабристов «простой народ» — крестьянство, — которое было главным носителем специфических особенностей национального характера, еще не заняло своего места. Поэтому несколько расплывчатым, нечетким было и употребление самого термина «народ».

Как соотносится декабристская трактовка понятия «народ» (которая нашла выражение не только в «Русской правде» Пестеля, но и во многих произведениях декабристов) со взглядами Пушкина на народность литературы? Его статья о народности не дает материала для ответа на этот вопрос, но в других статьях он затрагивается непосредственно.

На первое место здесь следует поставить замечательнейшую статью Пушкина «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825). Изданием на французском и итальянском языках басен Крылова с предисловием Лемонте Пушкин воспользовался как поводом для изложения своих взглядов на основные вопросы национальной культуры и литературы. Именно в этой статье Пушкин, касаясь проблемы народности, не только имеет в виду народ в смысле народной массы, но и впервые ставит вопрос об антинародном, растлевающем влиянии на литературу аристократических верхов общества и двора. Лемонте в своем предисловии заметил, что исключительное употребление французского языка в образованном кругу русского общества способствовало тому, что русский язык, обслуживавший «про-

стонародные нужды», невольно сохранил свежесть, простоту и чистосердечность выражений. Пушкин подхватил эту мысль и придал ей острое социальное содержание. По мысли Пушкина, исключительное употребление французского языка русской аристократией и ее равнодушие к родной литературе имело и свою положительную сторону: аристократия тем самым не могла оказывать вредное влияние на «язык и словесность». Свою мысль Пушкин иллюстрирует примерами из французской литературы: он напоминает, что придворные Людовика XIV напудрили и нарумянили «Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля», что аристократический салон навел холодный лоск вежливости на произведения писателей XVIII века. К этому положению Пушкин возвращался неоднократно. В частности, в 1834 году, в статье «О ничтожестве литературы русской», он отметил наднациональный характер литературы, опутанной покровительством двора Людовика XIV*, и заключил: «Отселе вежливая, тонкая словесность, блестящая, аристократическая — немного жеманная, но тем самым понятная для всех дворов Европы — ибо высшее общество, как справедливо заметил один из новейших писателей, *составляет во всей Евр<one> одно семейство*»**. Таким образом, и аристократия и ее литература характеризовались как совершенно чуждые народу и лишённые национального своеобразия⁶⁴.

В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» Пушкин назвал Крылова представителем духа русского народа. Это мнение Пушкина совпадало и с отзывами литераторов-декабристов — Бестужева, Кюхельбекера, но вызвало резкое возражение Вяземского, который по этому поводу писал: «...что такое за представительство Крылова?.. Как ни говори, а в уме Крылова есть все что-то лакейское». Вяземский считал возможным именовать представителями русского народа Державина, Потемкина, пушкинскую же характеристику Крылова назвал ошибкой, а в государственном отношении

* Любопытно, что Пушкин в данном случае по существу повторяет мысль Рылеева и Бестужева о вреде покровительства («ободрения») и приводит те же примеры, что в полемическом письме к Рылееву в 1825 году (Мольер, Расин), но уже не для доказательства необходимости «ободрения», а с обратной целью.

** Подчеркнуто мною. — Б. М.

даже «преступлением de lèse-nation» *. Пушкин в ответном письме Вяземскому отшучивался: он, по-видимому, считал, что переубедить его невозможно. Спор имел свою историю. Пушкин еще в 1824 году упрекал Вяземского в том, что он унижает «нашего Крылова». Точка зрения Пушкина совершенно ясна. Он считал, что Крылов в своем творчестве отражал существенные особенности русского национального характера. «Отличительная черта в наших нравах, — пишет Пушкин, мотивируя свою оценку, — есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» ⁶⁵.

В постскрипуме к своей статье Пушкин отметил ошибочность сопоставления Крылова с Карамзиным. Это краткое замечание было понятно лишь тем, кто читал предисловие Лемонте, где о роли Карамзина и Крылова в развитии русского языка говорится: «Первый из них возвышает ту часть сего языка, которая прилична достоинству истории, второй изощряет в нем то, что способно к описанию нравов. Можно сказать, что г. Карамзин дает избираемым словам грамоты на благородство, а г. Крылов наделяет слова своего выбора патентами на ум». Сближение Крылова с Карамзиным Пушкин охарактеризовал как «ни на чем не основанное» ⁶⁶.

Здесь же Пушкин по-новому связывает вопрос о языке литературы с проблемой народности. В статье «О народности в литературе» он в отрицательном смысле упомянул критиков, которые «видят народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения». Пушкин отказывался видеть в языке *источник* народности литературы и дал в статье «О предисловии г-на Лемонте» точное определение языка как «*материала словесности*». Концепция развития русского языка, которую кратко, но с гениальной глубиной сформулировал Пушкин, прямо противоположна той, которую изложил в своем предисловии Лемонте. Принимая отдельные замечания Лемонте, Пушкин подверг критике его мнение о том, что владычество татар повредило развитию русского языка. Началами улучшения каждого языка, как утверждал Лемонте, являются «употребление его в высшем обществе и труды ученых».

* Оскорбление нации (франц.).

Свою крайне произвольную характеристику развития русского языка Лемонте заключил словами: *«Такова стихия, данная русским для сообщения их мыслей»*. Пушкин же пишет в своей статье, что сущность процесса развития русского языка заключается в *слиянии простонародного и книжного языка* и подчеркивает, полемически используя слова Лемонте: *«Такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей»*⁶⁷.

Как отмечает академик В. В. Виноградов, Пушкин был в эту эпоху «в области русской языковой культуры бесспорным ее руководителем... Пушкинское творчество разрешило все основные спорные вопросы и противоречия, возникшие в истории русского литературного языка допушкинской эпохи и не устраненные литературной теорией и практикой к первому десятилетию XIX века». Эти слова можно распространить и на роль Пушкина в борьбе вокруг споров, связанных с развитием русского литературного языка⁶⁸.

Уже отмечалось, что никогда борьба по вопросам о судьбах русского литературного языка и его основах не достигала такой остроты, как в первой четверти XIX века.

В начале XIX века в России дворянская аристократия, оторвавшаяся от народа, стремилась использовать язык в своих интересах, пыталась всячески воспрепятствовать тому, чтобы литературный язык служил орудием борьбы за разрушение феодально-крепостнического строя. С этой целью космополитические круги дворянства стремились утвердить в литературе своей салонный жаргон и засорить русский язык иностранными словами, обеднить его словарный состав, исказить правильное понимание важнейших терминов. Другая группа реакционного дворянства — националистическая, возглавляемая Шишковым, — пыталась утвердить в качестве литературного языка книжный церковнославянский, тем самым выступая против «общепонятности» (Пушкин) и желая воспрепятствовать обновлению словарного состава русского языка.

Подобные попытки нельзя, разумеется, квалифицировать как создание особого дворянского языка. В конечном счете это были бессильные потуги заменить могучий, богатый, русский общенародный, национальный язык жаргоном «для немногих». Несомненно, что все эти

попытки были направлены против национально-самобытной русской культуры (формой которой является национальный язык) и мешали демократизации литературы. Поэтому против подобных попыток решительно восстали передовые силы русского общества.

В старой историографии борьба противоположных линий развития русского литературного языка рассматривалась обычно как борьба «Беседы любителей русского слова», возглавленной Шишковым, и Карамзина с его сторонниками. Карамзин, таким образом, признавался основателем «нового слога», то есть реформатором, обозначившим новую эпоху в развитии русского языка, непосредственным предшественником Пушкина.

Было бы неверным отрицать прогрессивную роль Карамзина в приближении языка литературы к разговорной речи. Эту роль Карамзин безусловно сыграл, хотя политические взгляды его и были реакционными. Наиболее объективная оценка роли Карамзина в развитии языка была дана Белинским, который писал:

«Он преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи...» И в другом месте: «Погрешность его в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников». «Язык самого Карамзина, — говорит Белинский, — далеко не русский (в смысле ненародный. — Б. М.): он правилен, как всеобщая грамматика без исключений и особенностей, лишен руссизмов или этих чисто русских оборотов, которые одни дают выражение и определенность, и силу, и живописность»⁶⁹.

Роль, которую сыграл Карамзин в развитии русского литературного языка, была исторически полезной, но узкой, ограниченной только небольшим отрезком времени, и уже с появлением первого большого произведения Пушкина «Руслан и Людмила» это обнаружилось с полной очевидностью. Сыграв прогрессивную роль до появления Пушкина, Карамзин в дальнейшем оказался в стороне от основной линии развития русского литературного языка. Это подтверждается прежде всего отношением Карамзина к народной речи. Язык народа не признавался им источником и основой русского литературного языка. Девиз Карамзина — нужно писать так, как

говорят, — по существу был ограничен именно по отношению к языку народа. Этот девиз подразумевал приоритет аристократического дворянства в установлении норм русского языка на основе вкусов именно этой группы. Устная народная речь не только третировалась за «грубость», но народу вообще отказывалось в «умении говорить» (соответственно представлениям верхушки дворянской аристократии). Любопытно, что в своих куплетах для «Сельской комедии» Карамзин вкладывал в уста земледельцев следующие признания:

...Мы счастливы,
Славим барины-отца,
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее:
Их искусство — говорить,
Что ж умеем мы? Сильнее
Благодетелей любить! 70

В полном единении с такого рода оценкой умения народа «говорить» находятся и следующие слова карамзиниста И. И. Дмитриева: «Какое же удовольствие найдет благовоспитанная девица, слушая ссору одного дворянина с его женою, брань дурака с дураком, которых каждое слово несносно для нежного слуха?.. Какая вообще нужда знатнейшей части публики... знать, что происходит в трактирах, на сельских ярмарках и в хижине однодворцев, которые известны только их старостам и управителям? У них свои обыкновения, свои предрассудки и свои пороки». Слова Дмитриева интересно сопоставить с утверждением Пушкина о том, что на ярмарках следует учиться писателю «простонародному наречию», что московские просвири «говорят удивительно правильным и чистым языком»⁷¹.

Жеманность, манерность, сглаженность, обесцвеченность, бедность языка карамзинистов, крайне ограниченное использование словарного состава русского литературного языка, засоренность иностранными словами и оборотами оказывали отрицательное влияние на русскую литературу 10—20-х годов. Свое отношение к языку они пытались превратить в *норму* для всей русской литературы. Линия Карамзина в развитии русского литературного языка вела к сужению круга читателей до узкого круга дворянства. И в то же время линия Кры-

лова, Грибоедова, Пушкина вела к дальнейшему расцвету русского литературного языка и развитию русской литературы по реалистическому пути.

Пушкин сыграл гигантскую роль в истории русского литературного языка именно потому, что он явился выразителем самых передовых общественных сил своего времени, сыном своей эпохи.

Огромное значение в борьбе с антинародными позициями дворянской аристократии в вопросе о путях развития русского языка имели Отечественная война 1812 года и декабристское движение. В ходе войны для передовых слоев дворянства со всей очевидностью обнаружилась враждебная народу сущность и вред аристократического, салонного жаргона. Борьба за широкое распространение и развитие национально-самобытного русского литературного языка нашла яркое отражение в программных документах тайных декабристских организаций и в литературно-критической деятельности декабристов.

Понимание государственной важности преобразования литературного языка на основе принципа общепонятности для всех слоев общества выразилось с предельной ясностью в «Русской правде» Пестеля, где мы читаем: «Законы должны быть ясны, понятны, справедливы и просты. Ясность необходима для того, чтобы каждый гражданин мог их понимать и потом свои поступки с ними без дальних затруднений сообразовать. Для того должен непременно каждый закон таким образом быть написан, чтобы он никаких толков не требовал, никаких недоразумений не допускал и ни под каким видом в двояком смысле не мог бы быть принят». В уставе «Союза благоденствия» указывалось на необходимость обращать «особенное внимание на обогащение и очищение языка»⁷².

Пушкину, как и декабристам, был свойствен политический подход к проблеме развития литературного языка. В 1822 году он пишет Вяземскому из кишиневской ссылки о необходимости образования «метафизического» языка в «тиши самовластья», прозрачно намекая, что он ждет времени, когда наступят политические перемены и «люди, которые умеют читать и писать... будут нужны России». В статье «О предисловии г-на Лемонте...» он ставит вопрос: «Какое действие имеет на

порабощенный народ сохранение его языка?» — и многозначительно замечает вместо ответа: «Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко». Более чем вероятно, что Пушкину был знаком текст лекции, которую Кюхельбекер прочел в Париже в 1821 году * и где о русском языке сказано: «Свободный, сильный, богатый, он возник раньше, чем установилось крепостное рабство и деспотизм, и впоследствии представлял собою постоянное противоядие пагубному действию угнетения и феодализма... Доныне слово *вольность* действует с особой силой на каждое подлинно русское сердце». С этим строем чувств связан известный афоризм Пушкина, который гласит, что только революционная голова может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык ⁷³.

Борьба за демократизацию литературного языка, за его самобытность проходит в качестве одной из главных тем литературных выступлений писателей-декабристов. В первом же своем обзоре, напечатанном в «Полярной звезде» на 1823 год, Бестужев писал: «Век галлицизмов настал в царствование Елизаветы, и теперь только начинает язык наш отрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий». Летописи, народные песни, сказки, лучшие произведения книжной словесности — вот на что указывал Бестужев как на источник развития русского литературного языка. Обзор заключался многозначительными словами: «Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, лежащий теперь на поле русской словесности, хотя мешает побегу, но дает большую твердость колосьям и обещает богатую жатву». В других обзорах Бестужев вновь подчеркивал значение «мощного свежего языка как стихии поэта», отмечал в «Горе от ума» невиданную ранее «природу разговорного русского языка в стихах». Последовательно боролся за национально-самобытный русский литературный язык против салонных жаргонов и диалектов В. Кюхельбекер. С негодованием писал он о тех, кто «из слова... русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благо-

* За эту лекцию Кюхельбекер был выслан русским посольством в Россию.

пристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для *немногих* язык, un petit jargon de coterie *. Без пощады изгоняют из него все речения и обороты славянские и обогащают его... германизмами, галлицизмами и барбаризмами⁷⁴.

Что же касается отношений декабристов к использованию в литературе элементов церковнославянского языка, то наиболее четко оно выражено в следующих словах Александра Бестужева: «Язык славянский служит теперь для нас арсеналом: берем оттуда меч и шлем, но уже под кольчугой не одеваем своих героев бычачьей кожей, а в охабни рядимся только в маскарад. Употребляем звучные слова, например *ветроград*, *ланиты*, *десница*, но оставляем червям старины *семо* и *овамо*, *говядо* и т. п.». Более сложными были в этом вопросе взгляды Кюхельбекера, который, обличая элегически-сентиментальный стиль поэзии Карамзина, не мог отличить свою позицию от позиции Шишкова, также критиковавшего Карамзина. К тому же стиль стихотворений Кюхельбекера, особенно раннего периода, был засорен церковнославянизмами. Однако характерно, что в «Обзрении российской словесности 1824 г.» Кюхельбекер отделяет свои принципы от шишковских. Главным же водоразделом между позициями Шишкова и Кюхельбекера было их отношение к простонародному языку. В этом вопросе к Кюхельбекеру присоединился и Пушкин. Отвечая на обвинения дворянских критиков в простонародности языка «Полтавы», в употреблении «низких», «бурлацких» слов, Пушкин писал: «Низкими словами я, как В<ильгельм> К<юхельбекер>, почитаю те, которые подлым образом выражают какие-нибудь понятия; например, *нализаться* вместо *напиться пьяным* и т. п.; но никогда не пожертвую искренностью и точностью выражения провинциальной чопорности и боязни казаться простонародным, славянофилом и тому под.»⁷⁵.

Пушкин был солидарен с декабристами по ряду основных вопросов развития языка. Однако никто из декабристов не смог подняться до такого понимания роли «простонародного языка» в развитии языка литературного, которое было свойственно Пушкину, утверждавшему, что литературный язык — это обработанная, наи-

* Маленький кружковый жаргон (франц.)

более совершенная форма общенародного языка. В самом отношении декабристов к языку были элементы и увлечения архаизмами и пережитки сентиментализма (вспомним иронические слова Пушкина в письме к А. Бестужеву 1823 об отрывке из «Братьев разбойников»: «...если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц Полярной звезды, то напечатай его»). Более глубокая и последовательная трактовка Пушкиным понятия народности литературы отразилась и в его подходе к вопросам развития литературного языка.

Роль декабристов в спорах по основным проблемам развития русской национальной культуры была исключительно велика. Мировоззрение Пушкина складывалось под могучим воздействием декабристского движения. Но уже в первой половине 20-х годов Пушкин подошел ближе, чем кто-либо из его современников, к пониманию роли народа как носителя национальной специфики и выразителя духовных богатств русской нации, от развития которых зависели и судьбы литературы и судьбы литературного языка. Пушкинское понимание народности было самым высшим завоеванием русской культуры, самым важным итогом литературного движения эпохи декабризма.



**ПОСЛЕ
ДЕКАБРЬСКОГО
ВОССТАНИЯ**





Глава первая

ПУШКИН В ХОДЕ СЛЕДСТВИЯ И СУДА НАД ДЕКАБРИСТАМИ

Советское пушкиноведение много сделало для изучения проблемы «Пушкин и декабристы». Работами советских ученых показана органическая идейная связь Пушкина с декабристским движением, раскрыты его взаимоотношения с отдельными декабристами, охарактеризовано значение пушкинской политической лирики в агитационно-пропагандистской деятельности тайных обществ¹.

Материалы о личных взаимоотношениях Пушкина с декабристами позволяют заключить, что Пушкин на протяжении всей истории тайных обществ находился в связи с выдающимися деятелями движения, что сначала он догадывался, а затем был осведомлен о существовании тайного общества. С несомненностью установлено также, что он бывал на «сходках» декабристов и, не являясь членом тайного общества, оказался фактически связанным с его деятельностью как в Петербурге, так и на Юге.

Советское пушкиноведение во многом прояснило и вопрос о том, почему Пушкин не был членом тайного общества. Все дошедшие до нас свидетельства современников, а также факты, говорящие о настроениях Пушкина, подтверждают, что он желал стать членом тайного общества. Вопрос о его приеме возникал и в среде декабристов. Основная причина, заставлявшая их воздержаться от положительного решения этого вопроса,

заклучалась в нежелании подвергать опасности жизнь гениального поэта. Об этом свидетельствуют и вновь опубликованные данные — сообщение сына декабриста С. Г. Волконского М. С. Волконского, который писал Л. Н. Майкову:

«Пушкин, гений которого освещал в Сибири мое детство и юность, был мне близок по отношению его к отцу и к Раевскому, так что я всю жизнь считал его близким себе человеком. Не знаю, говорил ли я вам, что моему отцу было поручено принять его в общество и что отец этого не исполнил. «Как мне решиться было на это, — говорил он мне не раз, — когда ему могла угрожать плаха»².

Ряд важных вопросов, связанных с темой «Пушкин и декабристы», требует дальнейшего изучения. Среди них специального рассмотрения заслуживает вопрос — Пушкин в ходе следствия над декабристами. Эта проблема как таковая до сих пор не служила предметом исследования. Правда, различного рода выписки из следственных дел широко привлекались литературоведами, но они не ставили перед собой задачу выяснить, с какой закономерностью имя Пушкина возникало во время следствия, была ли у декабристов определенная линия поведения по отношению к Пушкину в ходе выяснения его роли в деятельности тайных обществ. Мы поставили перед собой задачу изучить с этой точки зрения следственные дела декабристов.

После того как произошло восстание декабристов, слухи о том, что Пушкин был одним из виднейших деятелей тайного общества, получили широчайшее распространение. Об этом говорят многие письма и свидетельства. Так, например, рядовой дворянин П. А. Болотов в одном из писем из Кром, Орловской губернии, адресованных отцу, писал:

«В числе сих возмутителей видим имена известного Рылеева, Бестужевых, Кюхельбекеров как модных журнальных стихотворцев, которые все дышали безбожною философиею согласно с модным их оракулом Пушкиным, которого стихотворения столь многие твердят наизусть и, так сказать, почти бредят ими». Пушкин здесь, следовательно, «оракул декабристов»³.

Сведения о том, что Пушкин замешан в дело декабристов, просочились даже за границу. Чешский писатель Челяковский в феврале 1826 года писал из Праги своему корреспонденту:

«Из России приходят печальные вести. В этом проклятом заговоре замешаны также знаменитые писатели Пушкин и Муравьев-Апостол. Первый — лучший стихотворец, второй — лучший прозаик. Без сомнения, оба поплатятся головой»⁴.

Декабриста М. И. Муравьева-Апостола, одного из вождей восстания, Челяковский здесь спутал с писателем М. Н. Муравьевым, но представление о том, что Пушкин замешан в заговоре, весьма показательно. Само имя Пушкина возникало в этой связи не случайно. Когда был опубликован список привлеченных к следствию, агент тайной полиции И. Локателли доносил фон Фоку:

«Все чрезвычайно удивлены, что знаменитый Пушкин, который всегда был известен своим образом мыслей, не привлечен к делу заговорщиков»⁵.

Слухи о том, что происходит в следственном комитете, что там то и дело всплывает имя Пушкина, должны были широко распространиться в Петербурге, а затем и в других местах. Ведь в комитете были лица, тесно связанные с такими близкими к Пушкину людьми, как Жуковский, А. Тургенев и др. В частности, полный доступ к следственным делам имел бывший арзамасец Блудов. Управляющим делами комитета был А. Д. Боровков (один из руководителей Вольного общества любителей российской словесности). В следственном комитете работал чиновником также А. А. Ивановский, связанный в прошлом с литературными кругами и оказавший помощь многим декабристам в процессе следствия.

В результате, вскоре же после начала следствия, стало известно, что стихи Пушкина имеются во многих следственных делах, что ранее они распространялись декабристами в качестве своеобразных воззваний, листовок. Так, когда при допросе члена Общества соединенных славян прапорщика Саратовского пехотного полка И. Ф. Шимкова комитет потребовал объяснения, откуда Шимков достал найденные у него «дерзостные произведения», Шимков ответил: «Стихи найдены мною в местечке Белой Церкви 1824 года, в августе месяце...

На первом и втором номере было написано П. ш. н, сие я почел за Пушкин»⁶.

Как известно, имя Пушкина часто упоминалось в ходе следствия. Декабристы в своих показаниях неоднократно говорили о значении стихов Пушкина для революционной пропаганды.

Необходимо, однако, поставить вопрос: почему декабристы называли на следствии имя Пушкина и признавали его роль в агитации за свободу? Ведь эти признания делались следственному комитету, тюремщикам декабристов! Значит ли это, как уверял М. Н. Покровский и другие историки его школы, что декабристы раскаялись, растерялись, проявили малодушие и что в силу этого они не остановились и перед тем, чтобы привлечь Пушкина к процессу?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, надо прежде всего выяснить некоторые особенности следствия над декабристами.

14 декабря 1825 года, в то время, когда с камней Сенатской площади еще соскребывали кровь, а тела не только мертвых, но и раненых солдат спускали под лед Невы, Зимний дворец превратился в нечто подобное полицейскому участку. Следствие фактически началось в тот же день, причем Николай I, который был главным организатором следствия и главным сыщиком, применял очень сложную, чисто инквизиторскую систему допросов. Он не останавливался ни перед какими средствами, чтобы вырвать признание у арестованных.

Иногда Николай I прикидывался другом народа, реформатором, который готов мирным путем выполнить программу декабристов. При этом он оказался таким актером, что даже столь убежденный декабрист, как П. Каховский, с жаром говорил ему о бедствиях народа и, услышав слова о его намерении быть «отцом отечества», поддался обману. Каховский писал царю из крепости: «Добрый государь, я видел слезы сострадания на глазах ваших». Иногда Николай действовал даже «лаской». Так, декабристу Гангеблову он «отечески» говорил: «Что вы, батюшка, наделали». На иных он пытался воздействовать «заботой» о семьях и т. д. Только утонченным лицемерием царя можно объяснить то, что декабристы, находясь в крепости, писали ему письма и

советовали, каким образом можно и нужно реформировать Россию⁷.

Таков один из приемов обращения царя с декабристами во время следствия. По отношению же к другой группе декабристов Николай применял угрозы сгноить в крепости, заковать в кандалы, посадить на хлеб и воду, разнообразные приемы деморализации, подавления воли и т. д. И были люди, которые либо поверили в царя, либо не выдержали пыток и смалодушничили.

Однако изучение следственных дел говорит о том, что, несмотря на сложную систему допросов, декабристы в своем большинстве придерживались единой линии по отношению к Пушкину, стремились всеми силами выгородить поэта, скрыть его несомненные связи с отдельными членами тайных обществ, скрыть, что пути распространения стихов Пушкина в конечном счете вели к самому автору.

Возникал ли в процессе следствия вопрос о том, был ли Пушкин членом тайного общества? Изучение следственных дел показывает, что такой вопрос возникал неоднократно.

Одному из первых он был задан ближайшему другу Пушкина — И. И. Пущину. Николай I, лично допрашивая Пущина 17 декабря, спросил его, посылал ли он своему родственнику Пушкину письмо о готовящемся восстании. На это Пущин ответил, что он «не родственник нашего великого национального поэта Пушкина, а товарищ его по Царскосельскому лицу; что общеизвестно, что Пушкин, автор «Руслана и Людмилы», был всегда противником тайных обществ и заговоров». Итак, Пущин, подчеркивая, что Пушкин — великий национальный поэт, вместе с тем стремился внушить мысль о его полной непричастности к деятельности тайных обществ⁸.

Вопрос о том, был ли Пушкин членом тайного общества возник и при допросе члена «Союза благоденствия» Горсткина. Горсткина спросили: «Когда и у кого бывали вы на совещаниях общества? В чем заключались эти совещания? Кто разделял их и кто вообще были известные вам члены?»

Рассказывая об этих совещаниях, Горсткин показал, что был два-три раза у Ильи Долгорукова и что у него

же «Пушкин читывал свои стихи, все восхищались остротой»⁹.

Как уже отмечалось М. В. Нечкиной при опубликовании этого документа, признание Горсткина подтверждает, что в десятой главе «Евгения Онегина» Пушкин исторически достоверно, на основании собственных впечатлений писал о декабристской сходке:

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Им резко Лунин предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Нозли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал... *

Итак, из показаний Горсткина (человека малодушного) следственному комитету стало известно: Пушкин бывал на совещаниях декабристов. Показания даны 28 января. А несколько месяцев спустя следственный комитет задал иезуитский вопрос М. И. Муравьеву-Апостолу: пародировал ли Пушкин «Боже, спаси царя» на собрании членов общества в Петербурге. На это Муравьев-Апостол ответил: «При сем совещании не было Пушкина, который никогда не принадлежал обществу». Так окольным путем комитет пытался получить подтверждение показанию о том, что Пушкин бывал на совещаниях общества¹⁰.

Наконец, привлеченный к следствию капитан 5-й конноартиллерийской роты М. И. Пыхачев заявил, что М. П. Бестужев-Рюмин «раздавал членам» стихи Пушкина и что он, Пыхачев, полагает Пушкина членом общества¹¹.

Таким образом, из привлеченных к следствию только двое называли Пушкина (Горсткин косвенно, Пыхачев прямо) членом тайного общества.

В то же время в следственных делах имеется значительное число упоминаний о революционизирующей роли политической поэзии Пушкина и об использовании ее в ходе декабристской пропаганды. Однако следует отме-

* Подчеркнуто мной. Б. М.

тить, что упоминания о Пушкине, не вынужденные ходом следствия, насчитываются в показаниях декабристов единицами. Большею частью эти упоминания сформулированы таким образом, чтобы представить Пушкина как можно менее причастным к декабристскому движению. Изучение материалов следствия приводит к выводу, что только Пыхачев назвал имя Пушкина по своей инициативе. Но Пыхачев явился случайным элементом среди декабристов и никакого участия в движении не принимал. Недаром он находился в крепости всего два месяца, затем был перечислен в другую роту, а впоследствии получил повышение в чине.

И все же остается вопрос: почему имя Пушкина все-таки то и дело всплывало на следствии, было ли это инициативой самих декабристов, или результатом иных причин? Для ответа на этот вопрос следует обратиться опять-таки к системе следственного делопроизводства.

В начале следствия всем допрашиваемым задавалось семь вопросов. Седьмой из этих вопросов гласил:

«С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей: от сообщества или внушений других, или от чтения книг, или от сочинений в рукописях и каких именно? Кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?»

Этот чрезвычайно опасный для судьбы Пушкина вопрос, который задавался всем декабристам, преследовал, конечно, чисто сыские задачи: ответы на этот вопрос должны были, согласно замыслу комитета, обнаружить как можно больше участников движения и «прикосновенных» к нему.

Были декабристы, которые прямо уклонялись от ответа на седьмой вопрос. Так, Лунин сказал: «Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить». Однако в некоторых случаях положение отвечающих было более сложным. У ряда декабристов были найдены стихи Пушкина, и они вынуждены были этот факт объяснить¹².

И все же друзья и ближайшие знакомые Пушкина, которым он читал и передавал свои стихи и с которыми был лично связан, проявили исключительную стойкость и не только не называли его имени как автора «крамольных» политических стихотворений, но не назвали его даже в числе своих знакомых.

Одним из первых был допрошен на следствии Рылеев. В ответ на седьмой вопрос Рылеев заявил, что источником его свободомыслия являются заграничные походы и заграничная публицистика, причем закончил так: «Поистине себя одного должен обвинять во всем»¹³.

Своим ответом Рылеев фактически отрицал влияние на формирование своих взглядов русской литературы и влияние Пушкина (хотя, как уже говорилось, всего за месяц до восстания Рылеев писал Пушкину: «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают»). И в дальнейшем Рылеев ни разу не упомянул имени Пушкина в ходе следствия¹⁴.

Александр Бестужев, отвечая на седьмой вопрос, показал, что свободомыслие он заимствовал из книг, но упомянул лишь иностранных писателей (в частности, Герена и Бенета). Бестужев прибег к такому ходу: «Что же касается до рукописных русских сочинений, они слишком маловажны и ничтожны для произведения какого-либо впечатления. Мне же не случилось читать из них ничего, кроме «О необходимости законов» (покойного Фонвизина), двух писем Михаила Орлова к Бутурлину и некоторых блесков А. Пушкина стихами...» Это говорит Бестужев, который не только в письмах к Пушкину, но в обзорах «Полярной звезды» с патриотической гордостью говорил о русской литературе, о Пушкине, о влиянии его стихов¹⁵.

Такого рода ответы на седьмой вопрос следственной анкеты свидетельствуют о тонкой тактике выгораживания декабристами Пушкина и других вольнолюбивых поэтов. Называя в качестве главного источника вольнолюбия только зарубежную литературу, декабристы тем самым освобождали себя от необходимости называть имена русских современников.

С занимающей нас точки зрения большой интерес представляет дело Кюхельбекера. Когда Кюхельбекер был арестован при попытке перейти границу, одним из первых вопросов был вопрос о его знакомствах. С кого же он начинает перечень своих знакомых? С Греча и Булгарина! Затем идут такие благонамереннейшие люди, как Жуковский, Карамзин, слепой поэт Козлов... Пушкина Кюхельбекер так и не назвал¹⁶.

В дальнейшем, отвечая на вопрос о причинах свободомыслия, о влиянии рукописных сочинений, о своих

знакомых, Кюхельбекер уклончиво заявил, что был «увлечен общим потоком», что никто его не увлекал¹⁷.

И. И. Пущин, в своих позднейших мемуарах восторженно писавший об огромном влиянии пушкинских политических стихов, отвечая на седьмой вопрос, сказал, что он стал человеком вольнолюбивым по естественному ходу духа времени. «Никто, — писал он, — не способствовал к укоренению сих мыслей во мне»¹⁸. Имя Пушкина в ходе следствия по делу Пущина ни разу не возникало.

Весьма показателен ответ П. Я. Чаадаева. Чаадаева задержали в августе 1826 года при возвращении из-за границы. И вот этот ближайший друг Пушкина, которому адресовано знаменитое послание «Любви, надежды, тихой славы...» при допросе по поводу найденных у него стихов Пушкина заявил, что получил их от кого-то в Швейцарии, «не обращал никакого внимания на их содержание, сохранил их единственно у себя за достоинство их в литературном смысле»¹⁹.

Однако порой при ответе на седьмой вопрос анкеты давались иногда косвенные, а иногда и прямые указания на революционизирующее влияние пушкинской поэзии.

Очень остроумно ответил на седьмой вопрос Петр Бестужев, двадцатитрехлетний мичман, самый молодой из замечательной семьи Бестужевых. Он показал: «Мысли свободные зародились во мне уже по выходе из корпуса, около 1822 года, от чтения различных рукописей, каковы: «Ода на свободу», «Деревня», «Мой Аполлон», разные «Послания» и проч., за которые пострадал знаменитый (в других родах) поэт наш А. Пушкин»²⁰.

Здесь характерны два момента: названы стихотворения, за которые Пушкин уже «пострадал» (то есть был отправлен в 1820 году в ссылку). Далее отмечается, что Пушкин-поэт «знаменитый в других родах», то есть подразумевается, что прошлые «грехи» поэта не определяют его облика. Следовательно, здесь мы сталкиваемся с таким упоминанием Пушкина, которое само по себе не носит криминального характера.

Барон В. И. Штейнгель признался: «...разные сочинения (кому не известные?) Баркова, Нелединского-Мелецкого, Ясвижского (?), кн. Горчакова, Грибоедова, Пушкина. Сии последние вообще читал из любопытства и решительно могу сказать, что они не произвели надо

мною иного действия, кроме минутной забавы: подобные мелочи игривого ума мне не по сердцу». И здесь налицо намеренное снижение значения пушкинских стихов пред лицом следственного комитета: «мелочи игривого ума». Но позже Штейнгель, обманутый Николаем I и деморализованный следствием, писал царю из Петропавловской крепости: «...высшее заведение для образования юношества, Царскосельский лицей дал несколько выпусков. Оказались таланты в словесности; но свободомыслие, внушенное в высочайшей степени, поставило их в совершенную противоположность со всем тем, что они должны были встретить в отечестве, при вступлении в свет... Непостижимо, каким образом... пропускались статьи, подобные «Волынскому», «Исповеди Наливайки», «Разбойникам братьям» и пр. ... Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой»²¹.

В делах имеются сведения, что декабристы сжигали стихи Пушкина накануне ареста. Так, сжигали пушкинские стихи Лорер и Гориславский. Тем самым уничтожались и улики, которые могли вовлечь в следствие и самого Пушкина.

Характерная деталь: декабрист Н. И. Лорер в своих показаниях следственному комитету упорно отрицал показания А. И. Майбороды о том, что он перед арестом сжег сочинения Пушкина. Лорер делал вид, что не знает, будто «стихи Пушкина сомнительны», указывая на их распространенность: «...насчет же сочинений Пушкина я чистосердечно признаюсь — я их не жег, ибо я не полагал, что они сомнительны; знал, что почти у каждого находятся, — и кто их не читал?» Были, как уже говорилось, и прямые указания на влияние стихов Пушкина в начале следствия. Мичман В. А. Дивов показал: «Свободный образ мыслей получил... частью от сочинений рукописных; оные были свободные стихотворения Пушкина и Рылеева и прочих неизвестных мне сочинителей». В таком же духе и показания прапорщика Бечаснова: «Зная, что я охотно занимаюсь книгами и поэзией, советовали <офицеры> бросить романы как не заслуживающие потери времени, предлагая читать хороших писателей — трагедии — стихи соч. Пушкина и других, постепенно разгорячавших пылкое воображение»²².

Штаб-ротмистр М. Н. Паскевич писал в своем ответе: «Первые либеральные мысли заимствовал я прошлого 1825 года частью от попавшихся мне книг и от встречи с людьми такого мнения, а более от чтения вольных стихов господина Пушкина; я, признаюсь, был увлечен его вольнодумством и его дерзкими мыслями, но, не находя в самом себе подобных чувств, я по малодушию моему и без всякого ж к тому таланта хотел было подражать ему и перевел вышенаписанные стихи» ²³.

Но наибольшая опасность для Пушкина возникла при проведении следствия по делу Михаила Бестужева-Рюмина, одного из самых выдающихся деятелей движения.

При допросе Бестужева-Рюмина Николай I применил особо жесткие меры. Об этом свидетельствует отчаянное письмо Бестужева-Рюмина, который писал Николаю I: «Единственная милость, о которой я хотел бы Вас просить, не принуждать меня назвать имена лиц — и взамен этого я имел намерение умолять Ваше Величество сделать меня ответчиком за все то, что могли замысливать члены общества, в котором я состоял». И дальше: «Прошу у Вас о том, чтобы Вы не наводили на меня страх» ²⁴.

И вот оказалось, что самое острое положение для Пушкина возникло при допросе Бестужева-Рюмина. В январе, отвечая на седьмой вопрос следственного комитета, Бестужев-Рюмин показал, что «первые либеральные мысли почерпнул в трагедиях Вольтера». Далее упоминаются занятия естественным правом, политической экономией и т. д. А затем следует такая фраза: «Между тем везде слыхал стихи Пушкина, с восторгом читанные. Это все более и более укореняло во мне либеральные мнения» ²⁵.

Но сама по себе эта фраза о Пушкине в таком контексте поэту ничем не грозила. Опасность возникла из-за другого. Упомянутый выше Пыхачев, называвший Пушкина членом тайного общества, заявил, что Михаил Бестужев-Рюмин «раздавал всем членам» стихи Пушкина. Другой из привлеченных к следствию, некий Петр Громницкий, поручик Пензенского пехотного полка, сказал, что Бестужев-Рюмин, агитируя за цареубийство, читал стихи Пушкина «Кинжал». «Предложенные мне теперь высочайше утвержденным комитетом вопросы привели мне на память обстоятельство, о котором умолчать не

желаю, — показал Громницкий. — В лагере же при Лещине Бестужев, случившись у М. М. Спиридова (члена Общества соединенных славян. — Б. М.), где и я был с А. И. Тютчевым, в разговорах своих выхвалял сочинения Александра Пушкина и прочитал наизусть одно, приписывая оное ему, хотя менее дерзкое, чем стихи М. Н. Паскевича, но не менее вольнодумное. Вот оно...» (Далее следует стихотворение Пушкина «Кинжал», позже тщательно зачеркнутое.) «...Произнесши стихи сии, Бестужев спросил: «Не желаете ли кто иметь их?» И, немедленно переписав, вручил их Спиридову, у которого я после брал, с тем чтоб переписать, но, носивши при себе несколько дней, я потерял оные и теперь написал только то, что мог вспомнить. Но Бестужев должен знать их, ибо он очень твердо перечитывал их наизусть»²⁶.

Показание Громницкого о том, что Бестужев-Рюмин пользовался стихами Пушкина для агитации за царевубийство, было поддержано в общей сложности на следствии шестью человеками (Пыхачевым, Громницким, Тютчевым, Лисовским, Спиридовым и Ивановым, у которого эти стихи были найдены). Таким образом, выяснилось, что Бестужев-Рюмин самым активным образом распространял пушкинские стихи: читал их в разных местах, сам переписывал, давал переписывать другим и т. д.

В связи с этим следственный комитет в апреле 1826 года заставил Бестужева-Рюмина ответить на следующие три вопроса.

Первый: когда и где он получил стихотворение Пушкина «Кинжал»?

Второй: кому из членов, кроме упомянутых, он давал это и другие подобные стихотворения и от самого ли Пушкина его получил?

И третий: был ли Пушкин членом тайного общества и в каких отношениях он находился с самим Бестужевым-Рюминым и с Сергеем Муравьевым-Апостолом?²⁷.

Можно без преувеличения сказать, что эти вопросы были решающими для судьбы Пушкина.

Что ответил на них Бестужев-Рюмин? Он не мог не признаться в распространении стихов Пушкина, поскольку шесть человек засвидетельствовали этот факт и самые стихи оказались в деле. Но источника получения стихов он не назвал, отделившись общей фразой: «Большую часть вольнодумческих сочинений Пушкина,

Вяземского и Дениса Давыдова нашел у него (то есть у Пыхачева. — Б. М.)». И здесь далее следовали известные строки: «Рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло»²⁸.

Когда последние строки цитировались литературоведами и историками изолированно от прочих следственных материалов, получилось, что Бестужев-Рюмин своим признанием намеренно «набросил тень» на Пушкина. Однако, как мы видим, это заявление, если учесть весь ход следствия, нисколько не компрометирует Бестужева-Рюмина. В отношении Пушкина он держался стойко и отказался назвать источник получения «Кинжала» и других стихов.

Что касается вопроса о членстве Пушкина в тайном обществе, то Бестужев-Рюмин заявил: «Мне совершенно неизвестно». А по поводу личного знакомства он ответил, что встречался с Пушкиным в 1819 году, когда был ребенком (ребенком он не был, ему было в 1819 году 18 лет; кроме того, есть основание полагать, что с Пушкиным он встречался и на юге России)²⁹.

Следственный комитет не поверил этим ответам Бестужева-Рюмина, устроил ему очную ставку с Пыхачевым (который заявил, что Пушкин — член тайного общества и что Бестужев-Рюмин раздавал стихи Пушкина членам тайного общества). Очная ставка состоялась 26 апреля в присутствии комитета. Однако Бестужев-Рюмин «остался при своем показании». Никаких новых данных он не открыл и от кого получил стихотворение «Кинжал» не указал³⁰.

Насколько серьезным для Пушкина был этот эпизод в ходе следствия, косвенно свидетельствует тот факт, что в обвинительном заключении по делу Бестужева-Рюмина в числе пунктов, мотивирующих приговор — смертную казнь, значится: «Читал наизусть и раздавал приглашаемым в общество (возмутительные вольнодумческие) сочинения Пушкина и других»³¹.

Вторым, чреватым большими опасностями для Пушкина, было дело другого виднейшего деятеля декабризма — Матвея Муравьева-Апостола. Его допрашивали о путях распространения пушкинских стихов, пытались выяснить, бывал ли Пушкин на совещаниях тайного общества и состоял ли он его членом. Однако и

Муравьев-Апостол нужных следственному комитету данных не сообщил. По поводу того, что Пушкин на одном из совещаний декабристов взялся писать «вольномысленную песню» Муравьев-Апостол, как уже упоминалось, показал: «При сем совещании не было Пушкина, который никогда не принадлежал к обществу».

Интересная деталь: отвечая на этот вопрос, Муравьев-Апостол написал сначала: «Сейчас не принадлежал к обществу», затем слово «сейчас» он зачеркнул и написал вместо него «никогда»³².

Итак, из обзора следственных дел, имеющих касательство к Пушкину, можно заключить, что следственному комитету не удалось добиться данных, устанавливающих прямые связи Пушкина с декабристскими организациями. Не удалось также установить, по каким каналам «Кинжал» и другие стихи проникали от их автора, Пушкина, в среду декабристов. Все главные деятели декабристского движения, лично знавшие Пушкина, встречавшиеся с ним, в том числе и декабристы — близкие друзья поэта, держались исключительно стойко и всячески старались вывести Пушкина из сферы внимания следственного комитета. Подавляющее большинство упоминаний о Пушкине в ходе следствия было вынужденным или обстоятельствами следствия, или показаниями третьестепенных членов тайного общества, или даже случайно вовлеченных в следствие лиц (как Пыхачев). Только благодаря сознательной тактике декабристов, непосредственно связанных с Пушкиным и стремившихся уберечь поэта от опасности, важнейшие факты, касающиеся его политической биографии, оказались утаенными от Николая I и его помощников.

Последний раз имя Пушкина косвенным образом всплыло в следственном комитете в мае 1826 года, когда приводилось в исполнение повеление Николая I «из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». Они были сожжены. Осталась только запись стихотворения «Кинжал»: на обороте листа были следственные показания. Этот текст был густо зачеркнут «с высочайшего соизволения», как указано в деле военным министром Татишевым.

Каково же было состояние Пушкина в период следствия, что знал он о следствии, какой тактики он придерживался?

Д. Д. Благой в книге «Творческий путь Пушкина» справедливо отмечает, что Пушкин в это трудное для него время проявил стойкость и мужество. Письма поэта свидетельствуют о том, что его прежде всего беспокоила судьба «братьев», «товарищей» (как он называл декабристов)³³.

Не может быть двух мнений по вопросу, знал ли Пушкин о заговоре. 20 января 1826 года, уже будучи осведомленным о ходе следствия по официальным документам, опубликованным в печати, и по сведениям, которые просачивались в Михайловское, Пушкин писал Жуковскому:

«Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел, но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявляли о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? о заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно».

Таким образом, сам Пушкин опасался того, что на следствии его могли уличить в «политических разговорах» с обвиненными. В таких случаях от жандарма действительно уйти не удавалось. Как показывает ход следствия, установление факта разговоров о свержении правительства или о цареубийстве приводили к осуждению обвиняемых на каторгу или в ссылку в Сибирь.

Итак, Пушкин, по его собственному признанию, о заговоре знал. Далее он писал о том, что с нетерпением ждет решения судьбы своих друзей.

Следует учитывать, что письма, которые он посылал почтой, носили иной характер, чем пересылаемые оказией. Приведенное выше письмо к Жуковскому было послано с оказией; в письмах же, которые проходили цензуру, Пушкин намеренно подчеркивал, что молодой царь, может быть, смиростивится, что судьба заключенных, вероятно, будет смягчена и т. д.

Но как же Пушкин представлял свое собственное положение, что думал он о своей судьбе? Как мы видели, он считал вполне возможным привлечение его к следствию. Об этом говорит и его признание в другом письме Жуковскому о том, что он был в связи с «большей частью заговорщиков». Пушкин явно готовился к возможному аресту. Показательно, например, что, получив сведения о восстании, он сжег большую часть автобиографических записок.

Большинство друзей и знакомых Пушкина сразу же после восстания перестали ему писать. Во второй половине января он жаловался Плетневу: «Что делается у вас в Петербурге? я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит». В этом же письме Пушкин просит узнать у Жуковского, может ли он надеяться на возвращение из ссылки, на «высочайшее снисхождение». Об этом Пушкин пишет также Жуковскому, но не дает понять, что заступничество за него перед государем небезопасно: «Не хочу охмелить тебя в этом пиру». И здесь же, обращаясь к Жуковскому и другим друзьям, заявляет: «...Вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.».

Думая о возможности улучшения своей участи и возвращения из ссылки, Пушкин надеялся в то же время на смягчение «участи несчастных» (то есть декабристов) и сохранял политическую независимость. Ни о каком раскаянии, то есть отказе от своего образа мыслей, он и не думал заявлять.

27 февраля в Михайловское приходит письмо Плетнева, очень обнадеживающее в отношении судьбы Пушкина. Плетнев передает ему следующую просьбу Жуковского: «...Его к тебе комиссия состоит в том, чтобы ты написал к нему письмо серьезное, в котором бы сказал, что, оставляя при себе образ мыслей твоих, на кои никто не имеет никакого права, не думаешь играть словами никогда, которые бы противоречили какому-нибудь всеми принятому порядку». Это письмо должно было быть показано государю. Передавая намерения Жуковского, Плет-

нев здесь же писал о нем: «После этого письма он скоро надеется с тобою свидеться в его квартире»³⁴.

Следует подчеркнуть, что не сам Пушкин выработал формулу «примирения» с Николаем I. Ее подсказал ему Плетнев по указанию Жуковского.

Из ответного письма Пушкина Плетневу видно, что Пушкин не считает свою судьбу решенной в смысле привлечения к следствию. 3 марта Пушкин вновь задает Плетневу вопрос: «Невинен я или нет?»

7 марта Пушкин пишет официальное письмо Жуковскому, где следует предложенной Плетневым формуле, но варьирует ее таким образом, что независимость взглядов его подчеркивается со всей резкостью: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

Разница между формулой Плетнева — Жуковского и формулой Пушкина весьма существенная! К тому же Пушкин в письме Жуковскому, предназначенном для демонстрации Николаю I, ни от чего не отрекается и ни в чем не раскаивается, признавая достойным порицания (и то в качестве «легкомысленного суждения») лишь перехваченное в свое время письмо атеистического характера.

Письмо к Жуковскому от 7 марта было послано при письме Плетневу. Желая обратить внимание Плетнева на вынужденный характер своего официального письма, Пушкин иронически сообщает, что оно «в треугольной шляпе и в башмаках». И здесь же Пушкин с горечью замечает о своем будущем: «Не радуйся нашед, не плачь потеряв!»

Итак, требуемое официальное письмо было послано и Жуковским получено. После этого наступило длительное молчание. Что было в это время с письмом Пушкина неизвестно. Но вот 12 апреля приходит паническое письмо от Жуковского, которое содержит резкое осуждение политической поэзии Пушкина и ее влияния: «Наши отроки (то есть все зреющее поколение) при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестию поэзии мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать»,

Тот самый Жуковский, который месяц тому назад обещал хлопотать о возвращении Пушкина из ссылки с уверенностью в успехе, теперь советует ему «не напоминать о себе»³⁵.

Чем же вызвана эта перемена настроения, эта паника? Мы находим объяснение ее только в следующем. Через Блудова и других лиц, имевших доступ к делам следственного комитета, Жуковскому стало известно, что в ходе следствия нередко возникает имя Пушкина, что при допросах М. П. Бестужева-Рюмина в связи с распространением стихотворения «Кинжал» особенно остро встал вопрос о причастности Пушкина к деятельности тайного общества. Изменение намерений Жуковского в отношении Пушкина объяснялось и тем, что круг привлекаемых к следствию все более и более расширялся.

Что касается «примирительного» письма, которое Пушкин написал Николаю I с ходатайством о разрешении ехать для лечения «в Москву или в Петербург, или в чужие края», то на замечание Вяземского: «Оно... сухо, холодно»³⁶ — Пушкин 14 августа ответил: «Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы». «Теперь» — это после опубликования приговора, о котором Пушкин в том же письме Вяземскому писал: «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна».



Глава вторая

ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ

Поскольку следственному комитету не удалось выявить причастность Пушкина к тайному обществу в такой степени, чтобы его навсегда обезвредить, перед царем и его приспешниками встал вопрос: как быть с поэтом?

Тогда и возник коварный замысел использовать Пушкина в интересах самодержавия. В марте 1826 года этот замысел был изложен жандармским полковником И. П. Бибиковым в донесении Бенкендорфу. Бибиков утверждал, что следует по отношению к вольнолюбивой молодежи применять не одни только меры строгости, а искать другие способы «укрощения».

«Выиграли ли что-нибудь от того, что сослали молодого Пушкина в Крым? Эти молодые люди, оказавшись в одиночестве в таких пустынях, отлученные, так сказать, от всякого мыслящего общества, лишённые всех надежд на заре жизни, изливают желчь, вызываемую недовольством, в своих сочинениях, наводняют государство массою мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания во все состояния и нападают с опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии, этой узды, необходимой для всех народов, а особенно для русских (см. «Гавриилиаду», сочинение А. Пушкина)».

Далее Бибиков предлагал «полюстить тщеславию этих непризнанных мудрецов — и они изменят свое мнение»¹.

Так началась та линия Николая I и его окружения по отношению к Пушкину, которая заключалась в стремлении обезоружить поэта, обмануть его, заставить его «изменить свое мнение». Этим и только этим можно объяснить, что Николай I вернул Пушкина из ссылки. Аудиенция во дворце была демонстративным актом «милости» царя. Содержание разговора, происходившего между царем и опальным поэтом, осталось неизвестным. Но, по словам современника, Николай I спросил Пушкина: «Что сделали бы вы, если бы четырнадцатого декабря были в Петербурге?» — «Стал бы в ряды мятежников», — отвечал поэт. В виде особой «милости» царь обещал Пушкину, что он сам будет цензором его произведений. Смысл этой «милости» (которая, как оказалось вскоре, еще больше затруднила Пушкину работу) раскрывается в донесении Бенкендорфа Николаю I от 12 июля 1827 года, где о поэте сказано: «... если удастся направить его перо и его речи, в этом будет прямая выгода». Как отметил еще Герцен, император «своей милостью... хотел погубить его (Пушкина. — Б. М.) в общественном мнении, а знаками своего расположения — покорить его»².

Ситуация, в которой оказался Пушкин после разгрома восстания, была необычайно сложной.

День 14 декабря 1825 года стал историческим рубежом для дальнейших судеб России. «В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма...» — говорил Ленин. Воспитательное значение этого исторического события для последующих поколений было огромным. Вместе с тем восстание декабристов способствовало дальнейшей поляризации общественных сил. Резко проявились действительные позиции тех, кто случайно оказался в русле политического подъема послевоенных лет, и тех, кто подделывался под «свободолюбцев», учитывая возможность успеха противников деспотизма, и, наконец, тех, кто пытался быть в стороне от идейно-политической борьбы. Декабрьская катастрофа отчетливо разделила дворянское общество на два лагеря — людей, тайно сочувствовавших этой первой попытке штурма самодержавия, и явных сторонников старой России, получившей теперь нового самодержца — Николая I. «Первые годы, следовавшие за 1825-м, — писал Герцен, — были ужасны... Людьми

овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние. Высшее общество с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей...» И. Гончаров об этом же времени говорил: «Тогдашние либералы, вследствие крутых мер правительства, приникли, притихли, быстро превратились в ультраконсерваторов...» Всегда консервативно настроенный, но не любивший резкостей Жуковский впадал буквально в ярость, рассуждая о декабристах. В письме А. И. Тургеневу 16 декабря 1825 года он называл их «шайкой разбойников», «изменниками» и доходил почти до площадной брани. Карамзин со злорадством писал И. И. Дмитриеву: «Первые два выстрела рассеяли безумцев с «Полярной звездой», Бестужевым, Рылеевым, и их достойными клеветами». Жуковский всеми силами стремился уговорить Пушкина капитулировать: его письма Пушкину полны упреков, выговоров за вольнодумство и призывов к смирению. Карамзин уговаривал Вяземского даже в разговорах «не вступаться за несчастных преступников», ибо они виновны, как он писал «по всемирному, вечному правосудию»³.

Какую же позицию занял Пушкин в этой страшной и сложной последекабрьской обстановке?

Все факты биографии поэта, которыми мы теперь располагаем, опровергают утверждения вульгарных социологов о том, что он после неудачи декабрьского восстания отказался от идеалов своей юности и поправел. Пушкин, хотя и заблуждался в оценке тех или иных фактов политической жизни (об этом ниже), остался верным заветам своих друзей-декабристов. Известно, как бережно он хранил письма декабристов. Всего лишь за месяц до восстания Пушкин читал обращенные к нему слова Рылеева: «Будь Поэт и гражданин». Теперь, после 14 декабря, эти слова звучали наказом друга, а после казни Рылеева приобрели значение завещания⁴.

После восстания многое предстало для Пушкина в новом свете. Самим ходом событий на поэта возлагалась великая историческая миссия, ибо после разгрома декабристского движения из всех крупнейших деятелей передовой России уцелел только Пушкин. На его долю выпала роль хранителя и продолжателя декабристских традиций в этот период. Он был во главе движения передовой России после декабря. Говоря о значении Пуш-

кина для России после 14 декабря, Герцен писал: «Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее»⁵.

О том, что Пушкин не «поправел», а в своем развитии шел вперед, свидетельствует прежде всего его творчество, выдвижение в его произведениях острейших вопросов современности (об этом мы будем говорить в следующей главе — «На рубеже двух эпох» и в разделе «Новый эстетический идеал»).

Вскоре после восстания декабристов, 30 декабря 1825 года, вышел сборник стихотворений Пушкина. В ряде изданий неоднократно помещались объявления о продаже «Стихотворений Александра Пушкина». Такие сообщения были напечатаны несколько раз в «Московских ведомостях», в «Московском телеграфе». Выход сборника приобрел в это время значение политического события. Вокруг сборника разгорается борьба. В то время как реакционеры ругают Пушкина (как, например, Д. И. Хвостов, писавший, что в стихотворениях Пушкина «шутки часто плоски или подлы»), молодая Россия зачитывается его стихами и раскупает их нарасхват⁶.

12 января 1826 года А. Я. Булгаков писал К. Я. Булгакову в Петербург: «Здесь раскупили все экземпляры стихотворений Александра Пушкина. Пришли мне экземпляр, хочется посмотреть, что это за хваленые стихи»⁷.

Характерная деталь: эпитафия к этому сборнику стихов Пушкина гласил: «*Aetas prima canat veneres, extrema — tumultus*»^{*}.

В дни следствия над декабристами этот эпитафия получил неожиданно острое звучание. Когда в январе Карамзин прочитал в принесенном ему Плетневым сборнике стихов Пушкина этот эпитафия, он увидел в слове «смещения» намек на современные политические события — восстание декабристов и воскликнул: «Что это вы сделали? Зачем губите себя, молодой человек?» Плетнев пытался успокоить Карамзина тем, что под словом «смещения» поэт подразумевал не политические, а душевные смещения⁸.

^{*} Первая молодость воспевают любовь, более поздняя — смещения (латин.).

Имеются и другие свидетельства того, какое значение получил этот сборник в то время. Декабрист А. С. Гангеблов, сидя на гауптвахте, с большим наслаждением читал помещенные в сборнике стихотворения. Вспоминая об этом много лет спустя, он не забыл об эпиграфе, получившем столь острое звучание. Грибоедов, находившийся под арестом в Главном штабе по делу декабристов, в одном из писем просил: «Пришли мне Пушкина стихотворения на одни сутки». В январе Баратынский и Вяземский читали вместе этот сборник Пушкина и, по свидетельству Баратынского, проглотили всю книгу в один присест⁹.

Передовая Россия и после крушения декабризма видела в Пушкине своего поэта. Об этом говорит и восторженный прием, который был оказан ему в Москве после возвращения из ссылки. Современник вспоминает о посещении Пушкиным Большого театра 12 сентября 1826 года: «...Пушкин вошел в театр, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторяющий это имя. Все взоры, все внимание обратилось на него. У разъезда толпились около него...» Во время гулянья под Новинским, по словам очевидца, «толпы народа ходили за славным певцом Эльборуса и Бахчисарая, при восхищениях с разных сторон: «Укажите, укажите нам его»¹⁰.

Поэтесса Е. П. Ростопчина так описывала появление Пушкина на этом гулянье:

Вдруг все стеснилось — и с волненьем,
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед...
И мне сказали: «Он идет!»
Он, наш поэт, он, наша слава,
Любимец общий! Величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел *он* быстро предо мной...¹¹

Весть о возвращении Пушкина из ссылки, о том, что он уцелел после разгрома декабристского восстания, вызывала радость самых разнообразных слоев общества, так или иначе оставшихся в оппозиции к самодержавию. Дельвиг писал Пушкину из Петербурга, что у него даже «люди», то есть дворовые, услышав новость о Пушкине, прыгали от радости. В. В. Измайлов писал Пушкину из

подмосковной деревни 29 сентября 1826 года: «Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта... Извините, я забываюсь. Пушкин достоин триумфов Петрарки и Тасса; но москвитяне не римляне и Кремль не Капитолий»¹².

Большим событием для культурной и общественно-политической жизни Москвы было чтение Пушкиным своих произведений у Веневитиновых 12 октября 1826 года. Пушкин читал на этом собрании свои песни о Стеньке Разине и трагедию «Борис Годунов». О впечатлении, которое произвело чтение трагедии и сама личность автора, М. П. Погодин писал:

«Представьте себе обаяние его имени, живость впечатления от его поэм, только что напечатанных, «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника» и в особенности мелких стихотворений, каковы: «Празднество Вакха», «Деревня», «К домовому», «К морю», которые просто привели в восторг всю читающую публику, особенно нашу молодежь, архивную и университетскую. Пушкин представлялся нам каким-то гением, ниспосланным оживить русскую словесность. Он обещал прочесть всему нашему кругу «Бориса Годунова», только что им конченного. Можно представить, с каким нетерпением мы ожидали назначенного дня. Наконец настало это вожащенное число. Октября 12 числа поутру спозаранку мы собрались все к Веневитинову и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. Наконец в двенадцать часов он явился.

Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. До сих пор еще — а этому прошло сорок лет — кровь приходит в движение при одном воспоминании...

Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущение усиливалось...

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздавался смех, полились слезы, поздравления... О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь! Не помню, как мы разошлись, как закончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь, так был потрясен весь наш организм»¹³.

Политические стихи Пушкина «Вольность», «Деревня» и другие продолжали ходить по рукам. Об этом сви-

детельствуют и слова шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа в его всеподданнейшем отчете: «Кумиром партии», пропитанной либеральными идеями, мечтающей о революции и верящей в возможность конституционного правления в России, «является Пушкин, революционные стихи которого, как «Кинжал», «Ода на вольность», и т. д. переписываются и раздаются направо и налево»¹⁴.

В 1827 году жандармский генерал-майор А. А. Волков доносил Бенкендорфу: «Редкий студент Московского университета не имеет сейчас противных правительству стихов писатели Пушкина». На распространенность пушкинских стихов в Харьковском университете жаловался в том же году ректор университета Кронеберг. Тогда же Бенкендорф, выполняя распоряжение Николая I, организовал полицейское обследование этих университетов, откуда, по его словам, «распространяются по стране запрещенные стихи Рыльева и Пушкина». К этому следует добавить, что именем Пушкина подписывались политические стихи, ему не принадлежавшие. Распространялись также его стихи с переделками, приновренными к декабрьским событиям. Таковы строфы из «Андрея Шенье» с надписью «На 14 декабря», вызвавшие судебный процесс лиц, эти стихи распространявших, — штабс-капитана лейб-гвардии, конноегерского полка Алексева, прапорщика коннопионерного эскадрона Молчанова и «русского учителя» Леопольдова. С новым переосмыслением распространялись и стихи Пушкина «Свободы сеятель пустынный». В своих стихах юнкер Зубов, арестованный в Москве в ноябре 1826 года, использовал заключительные строки пушкинской оды «Вольность»:

Взойдет ли, наконец, друзья,
Среди небес родного края
Давно желанная заря —
Заря свободы золотая?
Придет ли сей великий день,
Когда для русского народа
Исчезнет деспотизма день
И встанет гордая свобода?

Дальше выражена уверенность в том, что этот день придет:

И месть за месть, и кровь за кровь
И все мучительные казни.
И не спасешься ты, тиран...¹⁵

Все это говорит о том, что передовое русское общество продолжало видеть в Пушкине вольнолюбивого поэта, выразителя передового общественного мнения.

Имя Пушкина как певца свободы мелькало то в одном, то в другом следственном деле людей, считавших себя продолжателями декабристов. В 1827 году Московской полицией был раскрыт тайный политический кружок братьев Критских. Петр Критский показал на следствии, что любовь к свободе и ненависть к деспотизму были возбуждены в нем чтением стихов Пушкина и Рылеева. В 1829 году в Шлиссельбургскую крепость был заключен шестнадцатилетний граф Ефимовский. Он придумал для себя герб с изображением на нем всевидящего ока, сломанного скипетра, меча и с надписью на щите: «На обломках самовластья напишем имена свои» — несколько измененные строки из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву».

Пушкин умел находить легальные формы для того, чтобы выразить свое отношение к декабризму. Стихотворение «Пророк» (1826) продолжало декабристскую традицию в понимании высокой роли поэта — провидца и учителя, призванного глаголом жечь сердца людей. Оно должно было восприниматься не только как литературная, но и как политическая декларация Пушкина. Написанное вскоре после приговора над декабристами, оно явилось как бы откликом на тайные мысли многих современников Пушкина о роли поэта в новых исторических условиях.

Царское правительство было заинтересовано в том, чтобы представить Пушкина капитулировавшим, раскаявшимся. Тем самым дискредитировалось его имя в глазах всей передовой России. Вот почему слухи о том, что Пушкин в восторге от милости царя, очарован им, предан ему, так охотно сообщались агентами III отделения Бенкендорфу с самыми нелепыми подробностями (хотя одновременно туда же поступали и иные сведения, о том, что вольнолюбивый Пушкин продолжает быть «кумиром» молодого поколения) ¹⁶.

Однако Николай I своим лицемерным поведением мнимого «реформатора» и «отца отечества» (как назвал его обманутый декабрист Каховский в письме из крепости) смог все же, хотя и кратковременно, внушить Пушкину иллюзии о своих намерениях. В результате по-

явились «Стансы» («В надежде славы и добра...», 1826), в которых великая преобразовательная деятельность Петра I ставилась в пример Николаю I *. В конце «Стансов» поэт призывал нового царя, подобно Петру, быть «памятью незлобным» (намек на необходимость смягчения участи осужденных декабристов).

Не зная, разумеется, о действительных планах Николая I и Бенкендорфа, Пушкин готов был, по его собственному выражению, «условливаться» с правительством. Он видел, что с устранением декабристов с политической арены исчезла та общественная сила, на которую он рассчитывал и которой помогал словом поэта. Тяжело переживая неудачу восстания, глубоко скорбя о судьбе «друзей, братьев», «товарищей», он понимал, что самодержавие вследствие «силы вещей» победило надолго. Соглашаясь на «договор» с царем, Пушкин, однако, не отказывался от своих убеждений. Знаменательно, что в приведенном выше письме Пушкина Жуковскому от 7 марта 1826 года, предназначенном для демонстрации царю, поэт уже говорит о себе и царском правительстве как бы о двух договаривающихся сторонах. В такой постановке вопроса сказались свойственные мировоззрению Пушкина противоречия: социальный утопизм и в то же время непокорность, достоинство и мужество.

В годы жестокой реакции и расправы с передовыми силами Пушкин не видел иных путей, кроме воздействия словом писателя на общественное мнение. Вместе с тем он пытался было склонить Николая I на путь реформ. Подобного рода попытки русских писателей и общественных деятелей были известны в прошлом, особенно в первые годы александровского царствования, когда царю представлялись проекты различных политических реформ. Эти попытки отражали слабые стороны дворянской оппозиционности и были практически безрезультатны. Теперь Пушкин, обманутый лицемерным отношением царя, решил повлиять на него в таком же на-

* Вследствие лицемерного поведения Николая I вначале верили в возможность появления в его лице «нового Петра Великого» и некоторые декабристы. Например, А. Бестужев писал Николаю I из крепости: «Я уверен, что небо даровало в вас другого Петра Великого» ¹⁷.

правлении. Ходившие в то время слухи о задуманных правительством реформах убеждали поэта в правильности занятых им позиций. О предстоящих преобразованиях Николай I говорил Пушкину во время свидания с ним.

Манифест Николая I от 13 июля 1826 года содержал в своей «программной» части демагогические строки о «постепенном усовершенствовании» и о том, что «всякое скромное желание к лучшему, всякая мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к нам путем законным, для всех отверзтым, всегда будут приняты нами с благоволением»¹⁸.

Пройдя через мучительные колебания и решившись на своеобразный политический компромисс, Пушкин вначале верил в возможность сохранения независимости своих взглядов. Впервые он выступил в новой роли в записке «О народном воспитании», написанной им в ноябре 1826 года по предложению Николая I. Несмотря на крайнюю осторожность, проявленную Пушкиным, записка, как уже говорилось, была отвергнута Николаем I. Общее направление пушкинской записки было истолковано как декабристское по своей сути.

Вторая попытка Пушкина воздействовать на царя нашла выражение в «Стансах», стихах, столь повредивших поэту в общественном мнении. На замысел стихотворения, как уже отмечалось в биографиях Пушкина, оказало влияние распространившееся известие об учреждении секретного комитета для проведения некоторых важных правительственных мероприятий в области политики и просвещения.

Письма из крепости, которые писали Николаю декабристы, призывавшие его к реформаторской деятельности, так же как и «Стансы» Пушкина, основаны на антиисторическом по своему существу понимании роли личности в истории. Согласно этому, в корне ошибочному, внеклассовому пониманию, личность, обладающая законодательной властью, может произвести, если пожелает, коренные изменения существующих порядков по «доброй воле». Корни этого заблуждения — в тех отступлениях к либерализму, которые порою были свойственны дворянской революционности. Отсюда логически вытекала

идея о необходимости влиять на царя и склонить его к переменам.

«Стансы», не оправдав надежд поэта, в то же время вызвали в различных кругах русского общества разговоры о «лести» Пушкина царю, об его отходе от своих былых идеалов. На эту тему распространилась даже клеветническая эпиграмма. Ответом на все это явилось стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю...», 1828), в котором появление «Стансов» мотивировалось тем, что

Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

Здесь подразумевались внешнеполитические акции России в начале царствования Николая (аккерманская конвенция 1826 года и успешная война с Персией), а также некоторые действия царя внутри страны (например, отставка Аракчеева, указ о составлении свода законов и т. д.). В последних строфах этого стихотворения Пушкин в ответ на упреки «друзей» противопоставляет себя льстецам, которые призывают к «презрению народа», к подавлению просвещения * и ограничению «милости». Тем самым поэт предлагает свою программу: ограничение самодержавной власти, защита народных прав и просвещение. Однако попытка Пушкина «договориться» с Николаем I была ошибочной. Иллюзии поэта, отразившиеся и в «Стансах» и в стихотворении «Друзьям», вскоре рассеялись.

Одним из свидетельств этого является стихотворение 1830 года «Герой», написанное в связи с приездом Николая I в Москву во время холерной эпидемии. Поэт воспеваает Наполеона, посетившего во время египетского похода госпиталь больных чумой. Друг поэта прерывает его, напомнив, что историк опровергает этот факт, и под-

* В стихотворении этом есть намек на отношение Николая I к записке Пушкина «О народном воспитании». В уста «льстеца» вложены слова:

...просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный!

Именно таков смысл назиданий, которые Бенкендорф от имени царя передал Пушкину в ответ на его записку.

виг Наполеона существует только в вымысле поэта, его мечтах, несоответствующих исторической правде:

Мечты поэта —
Историк строгий гонит вас! *

Несмотря на то, что в споре с другом поэт защищает право на возвышающий обман:

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран... —

замысел «Героя» для нас ясен. В образе поэта отразились мысли и настроения самого Пушкина, еще недавно возлагавшего на царя «надежды славы и добра», а теперь видящего в нем тирана. В «Стансах» поэт мечтал о том, что Николай может быть сходным с «вечным работником» на троне — Петром I. А в дневнике 1834 года, который Пушкин писал как «историк строгий», бывшие свои иллюзии он опровергает иронической формулировкой: «В нем много от прапорщика и немножко от Петра Великого».

Позиция Пушкина второй половины 20-х годов по отношению к царю была неправильно понята некоторыми из современников. Будучи связанным обязательством «не противоречить своими мнениями» «общепринятому порядку», Пушкин остался, однако, одним из немногих людей России, сохранивших в годы свирепого последекабрьского террора верность идеалам политической свободы.

Пушкин не переставал ощущать идейную связь с декабристами. Послание «Во глубине сибирских руд» (1827) явилось своего рода переключкой между ссылными декабристами и лучшими людьми России, оставшимися верными передовым идеям 20-х годов. Оно распространилось в России в большом количестве экземпляров, причем имело различные названия, и среди них такие: «К страдальцам 1826 года», «В Сибирь, сосланным после 14 декабря», «Послание к друзьям», «Послание в Петровский завод» и т. д.

Читатели позднейших поколений настолько привыкли к тексту стихотворения Пушкина еще с детских лет, что не всегда могли осознать огромное значение, которое оно имело в страшные годы после разгрома декабрь-

* Пушкин осторожно ссылается в стихотворении на мемуары Бурьена, опровергавшие эту легенду о Наполеоне. Впоследствии эти мемуары признаны поддельными.

ского восстания. Между тем в литературоведении существовала трактовка этого стихотворения как весьма умеренного по своему политическому содержанию. Так, например, в комментариях «Во глубине сибирских руд», помещенных в собрании сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова, мы читаем: «Стихи Пушкина, призывающие к терпению и надежде, заставили их (декабристов. — Б. М.) вспомнить о мече, и от собственных мечей они продолжали ждать свободы вернее, чем от любви и дружбы. Поэт обещает декабристам только амнистию и восстановление в правах, а не осуществление их заветного политического идеала, и в крепком рукопожатии, которым простился Пушкин с женой декабриста (А. Г. Муравьевой. — Б. М.), проявилось не сочувствие этому идеалу, а только соболезнование горькой участи дорогих и близких людей»¹⁹.

Подобное мнение встречалось в литературоведении не только дооктябрьском, но и более поздних работах о Пушкине.

Каковы основные идеи этого произведения?

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

В этой строфе декабристы действительно призываются к терпению. Однако слово «терпенье» здесь употреблено не в смысле примирения с существующим положением вещей, не в смысле смирения. Пушкин говорит о *гордом* терпенье, подразумевая при этом стойкость, мужество, сопротивление.

Именно в этом смысле упоминается терпенье и в другом стихотворении 1828 года «Предчувствие» (написанном в связи с привлечением Пушкина к секретному следствию по делу о поэме «Гавриилиада»):

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье *
Гордой юности моей?

Именно терпенье в смысле стойкости и подразумевает Пушкин в первой строфе стихотворения «Во глубине

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

сибирских руд», где он говорит о том, что «скорбный труд» и «дум высокое стремленье» декабристов не пропадут, что их идеалы станут действительностью.

В дальнейших строфах выражена горячая надежда на то, что дело декабристов в конце концов победит:

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа.
И братья меч вам отдадут.

Здесь выражены те же идеи, те же надежды, что и в стихотворении «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»). Речь идет вовсе не об амнистии, не о помиловании, а о том, что «темницы рухнут» и борцы обретут вновь свое оружие («меч»).

Знаменитый ответ декабристов Пушкину, написанный Александром Одоевским («Струн вещей пламенные звуки») является непосредственным развитием идей пушкинского послания.

Словам Пушкина: «Не пропадет ваш скорбный труд» непосредственно соответствуют слова Одоевского: «Наш скорбный труд не пропадет». Призыву Пушкина — «Храните гордое терпенье» соответствуют строки Одоевского:

Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой *гордимся* мы... *

Словам Одоевского «К мечам рванулись наши руки» соответствуют слова Пушкина: «...братья меч вам отдадут».

Послание Пушкина нельзя рассматривать только как выражение его личного отношения к декабристам. Оно, несомненно, явилось отражением настроений оппозиционных слоев передового русского общества.

Несмотря на жестокий террор, передовые русские люди продолжали бороться, продолжали протестовать, продолжали демонстрировать свое сочувствие декабристам.

* Подчеркнуто мною. — Б. М.



Из мемуарной литературы мы знаем, что дело иногда доходило до прямых стычек между теми, кто сочувствовал декабристам, и теми, кто радовался их осуждению.

В этот период из уст в уста передавали рассказы о восстании декабристов, о следствии и суде над ними, об их пребывании на каторге и в ссылке. Эти рассказы, которые сохранились в неполных, отрывочных записях современников, носили явно антиправительственный характер. Они свидетельствуют о большой степени осведомленности населения (в том числе солдат) об основных целях декабристов, о ходе следствия и суда над ними, о мучительной казни пятерых вождей движения. Сочувствие декабристам иногда принимало и публичный характер. Во время церемонии разжалования осужденных моряков в Кронштадте нашлись офицеры, пожимавшие им руки и приветствовавшие их. С теплотой принимало население осужденных во время их перехода в Сибирь.

Немалое распространение получили в то время размножавшиеся в рукописных копиях листовки, клеймившие Николая I — палача декабристов, призывавшие к мести, к расправе с деспотом (таковы листовки, рассылавшиеся штабс-капитаном Ситниковым по разным городам России, такова ода-прокламация «Свобода», которая разбрасывалась во Владимирской губернии). Большое агитационно-пропагандистское значение имело распространение портретов декабристов. В связи с этим III отделение дало указание, чтобы портреты декабристов и их жен изымались. В одном из полицейских донесений утверждается, что портреты жен декабристов почитались как иконы и на них молились. Вокруг жен декабристов группировались люди, враждебные самодержавию. Так, в полицейском доносе, написанном вскоре после казни вождей восстания, говорится: «Между дамами две самые непримиримые и всегда готовы разорвать на части правительство — княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат сосредоточением для всех недовольных, и нет брани более той, какую они извергают на правительство и его слуг». Пропагандистское значение имели также письма декабристов, которые распространялись в копиях. Распространению писем вначале содействовала надпись на конвертах: «От государственного преступника». Но и после того, как III отделение, догадавшись, что эта

надпись только лишь способствует распространению писем, дало указание их не делать, все же письма продолжали просачиваться. Пути распространения были очень сложными, но несомненно, что большую роль здесь играли родственники декабристов²⁰.

Имелись факты и прямой мести за декабристов. Так, не лишено интереса, что полицейский агент Бошняк (тот самый, который в 1825 году приезжал в Михайловское для того, чтобы арестовать Пушкина, если бы удалось найти мотивы для этого) в 1831 году был убит. Вот что говорит об этом официальное сообщение:

«Служа с пользой отечеству, неожиданно с кучером и камердинером, при переезде из места в место, был злодейски застрелен за открытие в 1825 году заговора»²¹.

Николай I полагал, что, повесив вождей и загнав остальных участников восстания на каторгу и в ссылку, он заставит русское общество забыть о них, а оставшиеся в живых декабристы отступятся от своих идеалов.

Консервативные историографы декабризма, а также и позднейшие историки вульгарно-социологического направления с особой внимательностью регистрировали случаи отступничества в среде декабристов на каторге и в ссылке, проявления душевного надлома, скептицизма. Все это в действительности имело место. Однако только вследствие полного пренебрежения к фактам М. Н. Покровский и его последователи смогли утверждать, что декабристы после декабрьской катастрофы «сожгли свои корабли» и полностью капитулировали. На самом же деле, хотя среди декабристов произошло известное расслоение, хотя среди них в ходе следствия обнаружились люди деморализованные и малодушные и даже прямые ренегаты, тем не менее в основной своей массе они остались верны своим вольнолюбивым идеалам. Доказательства этому многочисленны. Достаточно внимательно пересмотреть документы, мемуары, литературные произведения декабристов периода каторги и ссылки.

Многие декабристы не только сохранили свои революционные убеждения, но зачастую делали в тех или иных формах попытки оказывать сопротивление.

Наиболее яркой попыткой такого рода является замысел открытого восстания, который принадлежал

И. И. Сухинову, декабристу, приговоренному к смертной казни, замененной затем вечной каторгой. Пройдя по этапу (он шел восемнадцать месяцев) на каторгу в Зерентуйский рудник, он вскоре же стал организатором заговора. По плану Сухинова, заключенные должны были захватить оружие, сжечь каторжный поселок и освободить декабристов всего Нерчинского округа. Это восстание провалилось потому, что один из каторжан (кстати, не политический, а уголовный) выдал заговор (за это он был убит заговорщиками). Суд приговорил Сухинова к смертной казни, как и некоторых его сообщников. Однако, не желая погибнуть от руки палача, он накануне казни повесился на кандалном ремне ²².

Есть и другие факты, которые говорят о попытках бегства декабристов из тюрем и в одиночку и группами, причем зачастую эти попытки замышлялись заключенными не только для спасения жизни, а преследовали и политические цели. Так, Лунин стремился бежать, для того чтобы, по его словам, «огласить правду о нашем деле и настоящее положение России» ²³.

Свидетельством верности декабристов своим идеалам является священная память о дне 14 декабря, который отмечался заключенными. Об этом же говорит и так называемая «каторжная академия» — своеобразный дискуссионный клуб декабристов в Сибири. В том же ряду стоит такой единственный в своем роде факт, как агитационная деятельность декабриста М. С. Лунина, который в форме писем к сестре создал блестящие публицистические произведения, обличавшие политику Николая I и распространившиеся в копиях по России.

Оставшиеся в живых писатели-декабристы не прекратили своей литературной деятельности. В. Ф. Раевский, В. Кюхельбекер, А. Бестужев написали в заключении яркие и сильные произведения, прославлявшие идеи свободы, любовь к отчизне; стихотворцами стали и декабристы, ранее не занимавшиеся литературой.

Пережить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности! —

говорилось в песне, сочиненной Михаилом Бестужевым и распевавшейся узниками Петровского острога. На каторге вернулось мужество к Александру Одоевскому, в период следствия впадшему в покаянные настроения.

Советское литературоведение доказало, что приписанные ранее Одоевскому верноподданнические и покаянные стихотворения, якобы написанные на каторге, ему не принадлежат. В этом свете огромное значение приобретает характеристика Одоевского Лермонтовым как поэта, сохранившего «веру гордую в людей и жизнь иную». Уверенность в конечном торжестве правого дела — один из основных мотивов поэзии Одоевского.

За святую Русь неволю и казни —
Радость и слава, —

эти слова звучали, подобно клятве. В стихах Одоевского возникает страдальческий образ родины-матери, для которой декабристы принесли себя в жертву и которая стала им еще милее:

В цепях и крови ты дороже сынам,
В сердцах их от скорби любовь возрастает...

Мечта о возмездии тиранам не покидала декабристов и в казематах. Об этом Одоевский говорил в стихотворении «Тризна» словами скальда:

Утештесь! За павших ваш меч отомстит.
И где б ни потухнул наш пламенный жизни,
Пусть доблестный дух до могилы кипит,
Как чаша заздравная в память отчизны²⁴.

Тема «Декабристы после декабря» еще ждет своей всесторонней разработки. За последние годы появились новые материалы. Так, В. Шадури опубликовал данные, из которых следует, что ряд ссыльных декабристов пытался захватить в свои руки «Тифлисские ведомости», газету, которую редактировал Санковский, где сотрудничали Грибоедов, Бестужев-Марлинский, Сухоруков, Бурцов — литераторы-декабристы, определявшие прогрессивное направление газеты. Весьма характерно, что эта газета выступала против реакционной журналистики, против Булгарина. В. Шадури справедливо заключает: «Изучение материалов лишний раз убеждает нас в том, что «дух протеста», охвативший передовую общественность России, не был уничтожен с разгромом восстания на Сенатской площади.

Паскевич недаром писал, что у сосланных в Грузию декабристов «дух сообщенства существует, который по слабости своей не действует, но с помощью связей между собою живет»²⁵.

Мы не можем более подробно останавливаться на теме о декабристах после декабря, ибо это увело бы нас от основной задачи исследования. Но из приведенных фактов можно с полным основанием заключить, что стихотворение Пушкина «Во глубине сибирских руд» явилось глубоким отражением чувств и переживаний всего передового русского общества:

Творчество Пушкина не только будило сознание нового поколения лучших людей России, но и поддерживало осужденных декабристов.

Пушкин свято хранил память о декабристах. Он использовал все возможные формы для того, чтобы напоминать о них русскому обществу.

Декларацией верности Пушкина освободительным идеалам звучит стихотворение 1827 года «Арион». Как отмечено Т. Г. Цявловской, оно написано в годовщину казни декабристов. Словами «Я гимны прежние пою» Пушкин подтверждал свою идейную связь с друзьями, томившимися в «каторжных норах». Мотивы близости поэта к декабристам, его кровной заинтересованности в их судьбе проходят и в ряде других стихотворений. В послании декабристу И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный...») Пушкин вспоминает приезд к нему Пущина в Михайловское в 1825 году. В написанном к лицейской годовщине стихотворении «19 октября 1827» вспоминаются друзья, находившиеся на каторге — «в мрачных пропастях земли».

Декабристы с волнением воспринимали все то, что было связано с ними в пушкинских произведениях. О заключительной строфе «Евгения Онегина» с ее полными скорби строками о друзьях («Иных уж нет, а те далече»), о «роке», который так много «отъял», Кюхельбекер заметил в своем дневнике: «Эпилог, лучший из всех эпилогов Пушкина»²⁶.

Пущин впоследствии писал: «Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу (5 января 1828 года. — Б. М.) призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает

листок бумаги, на котором неизвестной рукой написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!»

(Псков, 13 декабря 1826 года) ²⁷

Декабристы следили за произведениями Пушкина, появлявшимися в печати. Пушин свидетельствовал в воспоминаниях: «В тюрьме мы следили за литературным развитием Пушкина, мы наслаждались всеми его произведениями, являвшимися в свет» (известно, что с 1828 года декабристам было разрешено получение журналов). Петр Бестужев, оценивая в одном из своих писем 1829 года произведения Пушкина, признавался: «Новые произведения любимых поэтов согревали нас и в вьюгу зимы, и в зной лета, и в пылу битвы». Иносказание достаточно прозрачное ²⁸.

Декабристы часто мыслили образами пушкинских стихов, находили в них созвучные настроения. Так, например, А. О. Корнилович в одном из писем 1832 года говорит о своем настроении словами Пушкина из стихотворения «К Овидию»:

Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их... ²⁹

Это же стихотворение, написанное Пушкиным в южной ссылке и выражающее душевное состояние и непреклонность изгнанника, вспоминает и Кюхельбекер.

Декабристы были в Сибири пропагандистами творчества Пушкина. Так, например, о популяризации Пушкина Пушиным в Ялуторовске один из современников рассказывает: «Больше других о прошлом говорил И. И. Пушин. Он часто рассказывал о своей дружбе с А. С. Пушкиным, о самом поэте, о литературных собраниях, на которых Александр Сергеевич читал друзьям свои стихи. У Пушина было много собственноручных писем и рукописей Пушкина, которые Иван Иванович показывал собеседникам» ³⁰.

В стихотворении «19 октября 1836 года», присланном Пушкину тайно, с оказией, Кюхельбекер, обращаясь к нему, восклицает:

Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? — Как перуны
Сибирских гроз, его золотые струны
Рокочут... Песнопевец, это ты!
Твой образ свет мне в море темноты³¹.

Кюхельбекер находил пути для тайной переписки с Пушкиным. Он писал ему из Сибири: «А вот же Пушкин оказался другом гораздо более дельным, чем все. Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать все благородство твоего поведения; не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного; но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось»³².

Встает, однако, вопрос: почему некоторые из ссыльных декабристов отрицательно отзывались о Пушкине?

Наиболее резким был отзыв члена Общества соединенных славян И. И. Горбачевского. Горбачевский утверждал, будто бы членам общества было воспрещено Верховной думой общаться с Пушкиным, когда он жил на юге, вследствие его легкомыслия. Факты дружбы Пушкина с декабристами свидетельствуют о том, что это утверждение — результат какой-то путаницы*. Важно, однако, другое: чем мотивировал Горбачевский свое отношение к Пушкину и насколько эти мотивы были справедливы.

Отрицательную оценку Пушкина Горбачевский дал много лет спустя после смерти поэта, в 1861 году, основываясь главным образом на известном письме Жуковского к С. Л. Пушкину (1837). Доказывая, что Пушкину не следовало доверять, Горбачевский пишет: «Теперь я в этом совершенно убежден, и он сам при смерти это подтвердил, сказавши Жуковскому: «Скажи ему, если бы не это, я был бы весь его» (подразумеваются мнимые слова Пушкина, которые он якобы просил Жуковского передать царю. — Б.М.). Что это такое? Это сказал

* П. Е. Щеголев в статье «Декабрист И. И. Горбачевский о Пушкине» указал, что здесь память изменила Горбачевскому. Такое постановление Верховной думы Южного общества не могло быть дано ранее сентября 1825 года. Между тем Пушкин уже в августе 1824 года был в ссылке в Михайловском³³.

народный поэт, которым именем все аристократы и подлипали так называют»³⁴.

Итак, главным источником суждения Горбачевского служило письмо Жуковского о смерти Пушкина, в котором Жуковский в совершенно ложном свете изобразил отношение Пушкина к Николаю I. Это же письмо произвело гнетущее впечатление даже на такого ближайшего друга Пушкина, каким был Пущин. В письме к Энгельгардту 4 декабря 1837 года Пущин писал: «О Пушкине давно я глубоко погрузился; в «Современнике» прочел письмо Жуковского; это не помешало мне и теперь не раз вздохнуть о нем, читая (воспоминания. — Б. М.) Спасского и Даля». Александр Бестужев также писал брату Павлу: «Отчего Пушкин худо умер; это мне пишут люди с понятием». Несомненно, под впечатлением свидетельства Жуковского о якобы имевшем место примирении Пушкина с Николаем I, написаны и те строки о Пушкине, которые имеются в «Воспоминании о Рылеве» Николая Бестужева. Всем этим отрицательным отзывам о Пушкине способствовали и распространенное еще при его жизни неправильное понимание смысла «Стансов», а также слухи о том, что Николай I оказывал поэту всяческие милости, слухи, которые, как уже говорилось, намеренно поддерживались реакционными кругами и широко распространялись не только в Москве и Петербурге, но, безусловно, доходили и в Сибирь³⁵.

Общественная реакция на назначение поэта камерюнкером говорит о том, насколько драматичным оказалось положение Пушкина.

Глубочайшее возмущение поэта этим гнусным поступком царя было известно лишь очень узкому кругу лиц. По рукам ходила эпиграмма, где Пушкин именовался «придворным лизоблюдом». Она могла быть написана только враждебным ему человеком. Но вот что думали, например, даже близкие Пушкину люди.

В 1826 году Н. Языков сообщал П. М. Языкову: «Пушкин в большой милости у государя...» В феврале 1833 года Плетнев писал Жуковскому, что Пушкин «возит жену свою по балам не столько для ее потехи, сколько для собственной». В марте 1833 года А. Н. Вульф записывает в дневнике: «В Байроновом «Пророчестве Данте» остановился я на мысли, что тот, что входит го-

стем в дом тирана, становится его рабом... Мысля об этом, я рассчитываю, как мало осталось вероятностей к будущим успехам Пушкина, ибо он не только в милости, но и женат». О непонимании истинного положения, в котором оказался Пушкин в 30-е годы, об одиночестве поэта свидетельствуют также недавно найденные письма Карамзиных — людей, хорошо знавших его и, несмотря на это, обнаруживших поразительную слепоту в оценке драматической ситуации, сложившейся в последние годы его жизни. Что же касается восприятия в широкой демократической среде самого факта назначения Пушкина камер-юнкером, то достаточно напомнить о словах Белинского, писавшего, что, стоило Пушкину «надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви». Эти слова были плодом трагического недоразумения и, конечно, не выражали ни в коей мере общей оценки Пушкина Белинским, который высоко чтит его как великого народного поэта. Но все же непонимание современниками политических позиций Пушкина является фактом несомненным³⁶.

Женитьба Пушкина на Гончаровой и его «камер-юнкерство» вызвали и у некоторых декабристов серьезную тревогу. И. Пущин писал об этих фактах биографии своего друга: «И то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена-красавица и придворная служба пугали меня за него». Сведения о мнимых успехах Пушкина в свете вызвали резкую реакцию у Александра Бестужева, который пытался через разных лиц сообщить поэту о своих опасениях, напомнить ему о гражданском долге. В январе 1831 года Бестужев писал матери: «Он писатель, заблудившийся из XVIII века в наш, и жаль, писатель, который своим даром мог бы...» Через два года он же пишет К. А. Полевому: «Я готов, право, схватить Пушкина за ворот, поднять его над толпой и сказать ему: «Стыдись! Тебе ли, как болонке, спать на солнышке перед окном на пуховой подушке детского успеха?» Особенно характерно письмо Бестужева Н. А. Полевому 9 марта 1833 года. В нем и горячая любовь к Пушкину и тревога за него. «Давно ли, часто ли вы (видитесь. — Б. М.) с Пушкиным? — писал Бестужев. — Мне он очень любопытен. Я не сержусь на него именно потому, что его люблю. Скажите, что нет

судьбы! Я сломя голову скакал по утесам Кавказа, встретя его повозку: мне сказали, что он у Бориса Чиляева, моего старого однокашника; спешу, приезжаю — где он?.. Сейчас лишь уехал, и, как нарочно, ему дали провожатого по ново окольной дороге, так что со мной и не встретился!.. Я рвал на себе волосы с досады, — сколько вещей я бы ему высказал, сколько узнал бы от него, и случай развел нас на долгие, может быть на бесконечные годы. Скажите ему от меня: ты надежда Руси, не измени ей, не измени своему веку; не топи в луже таланта своего; не спи на лаврах: у лавров для гения есть свои шипы — шипы вдохновительные, подстрекающие; лавры лишь для одной посредственности мягки, как маки»³⁷.

Совершенно ясно, что подобные представления о позициях Пушкина — результат трагического недоразумения: как раз в то время, когда поэт оказывался во все более и более тяжелом положении, когда он становился во все более острые отношения с царем, III отделением, светским обществом, некоторые из его друзей полагали, что он благополучен и доволен.

И все же, несмотря на приведенные выше отдельные отрицательные суждения, общее отношение декабристов к Пушкину после декабря было, как мы показали выше, не только положительным, но и восторженным. Тот же Александр Бестужев, который с откровенной резкостью писал в приведенных выше письмах о своих тревогах по поводу позиций Пушкина, в известной статье 1833 года писал: «...дерзкий Пушкин, почти ровесник своему веку и вполне родной своему народу»³⁸. Опасения же, что светские круги, с которыми волей-неволей соприкасался Пушкин, могут оказать на него свое растлевающее влияние, были вполне законными. Ведь и сам Пушкин восклицал в лирическом отступлении шестой главы «Евгения Онегина», обращаясь к «младому вдохновенью»:

Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И, наконец, окаменеть
В мертвящем упоеньи света

Гибель Пушкина потрясла декабристов: это была потеря незабвенного друга и величайшего национального

гения. Как о павшем в сражении герое, писал в сибирской ссылке Кюхельбекер о смерти Пушкина:

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
В середине поприща побед и славы,
Исполненный несокрушимых сил!
Блажен! Лицо его, всегда молодое,
Сиянием бессмертия горя,
Блестит, как солнце вечно золотое,
Как первая эдемская заря³⁹.

По воспоминаниям Пуштина, весть о гибели Пушкина «электрической искрой сообщилась тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина, об общей нашей потере...»⁴⁰

Пушкин остался в глазах декабристов поэтом-товарищем, славой и гордостью России.



Глава третья

НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ

Итак, при всей остроте политической ситуации, сложившейся в России после разгрома восстания декабристов, Пушкин не только не отступил от своих убеждений, но был во главе тех людей, которые напоминали о героике прошлого, разжигали недовольство существовавшими порядками и укрепляли веру в лучшее будущее. Это была мучительная борьба «с платком во рту», но все же *борьба*, а не смирение и не капитуляция. Обстановка жесточайшего террора, созданная полицейско-бюрократическим аппаратом николаевской России, шпионаж, проникавший в общественную и личную жизнь, откровенно циничные призывы цензуры улавливать «ухищрения пишущих» (то есть контролировать не только результаты работы писателей, но и их скрытые намерения) — все эти тягчайшие условия времени своеобразно отразились и в литературе. Наперекор всем силам реакции Пушкин в эти годы не только продолжает традиции декабризма, но и выдвигает новые проблемы, диктуемые новыми условиями общественной жизни, обращается в своем творчестве к изображению демократических низов, простого люда и, наконец, разрабатывает самую острую тему современности — тему крестьянских восстаний.

Трагизм положения, в котором Пушкин оказался после поражения декабрьского восстания, заключается не только в том, что он подвергался ожесточенной травле

царским правительством, придворными кругами, реакционной журналистикой; эта сторона его биографии освещена с наибольшей полнотой, и нет необходимости здесь на ней останавливаться. Меньше внимания обращалось исследователями на мучительные переживания Пушкина, которые были вызваны непониманием современниками существа его политических позиций. Эти позиции во всей их истинности могут быть прояснены только теперь, когда достоянием всякого, кто изучает мировоззрение поэта, является все его наследие, включая переписку и дневники, когда стали известными ранее засекреченные архивные материалы, полностью раскрывающие гнусную, коварную политику Николая и его приближенных по отношению к Пушкину. Но при жизни Пушкина его истинные позиции во многих существенных моментах не были известны широким кругам передового русского общества и, более того, как уже упоминалось выше, искажались.

Ликвидация движения декабристов означала поражение реальной силы, которая организованно боролась за уничтожение самодержавия и крепостничества. Но проблема революционных переворотов остается основной в размышлениях Пушкина о ходе исторического развития. Ей посвящены наброски большого оставшегося незавершенным труда по истории французской революции. Об интересе к этой проблеме говорит и напряженность, с которой Пушкин следил за июльской революцией 1830 года, и интерес, проявленный им ко всем политическим известиям, которые приходили с Запада и свидетельствовали о нарастании во всем мире глубоких социальных конфликтов. Но особенно интересовала Пушкина стихия крестьянских восстаний. Крестьянские волнения охватили после декабрьских событий всю Россию и достигли такого размера, что среди дворянства начались разговоры о «новой пугачевщине».

Особенно взволновало правительственные круги стремление крестьян поддержать восстание Черниговского полка на Украине: в Белой Церкви на его поддержку встали около четырех тысяч крестьян. О размахе крестьянского движения и страхе правительства свидетельствует манифест Николая I от 12 мая 1826 года, изданный по случаю крестьянских волнений с угрозами наказывать восставших «по всей строгости законов»¹. О некоторых фак-

тах этого рода Пушкин несомненно знал во всех подробностях. Так, во время его пребывания в Михайловском в 1826 году, в Псковской губернии прокатилась волна крестьянских бунтов. Вот один из характерных эпизодов. Весной 1826 года в имении Цеэ сорок крестьян в течение трех дней выдержали осаду вызванной туда военной команды. К ним на помощь решили прийти крестьяне, бывшие вне осады, мужчины и женщины. С этой целью они подожгли одно из усадебных строений в надежде, что при тушении пожара удастся освободить осажденных, но военной команде запрещено было тушить пожар. Все же осажденные пробились вперед и пустили в ход огнестрельное оружие. В имении другого псковского помещика, Наинского, восстали около шестидесяти крестьян, вооруженных ружьями и пиками. На их усмирение также была послана военная команда².

В 30-е годы Россия была взбудоражена севастопольским бунтом, волнениями горнозаводских крестьян Урала, «холерными бунтами» и, в частности, мощным восстанием в новгородских военных поселениях летом 1831 года. В конце 20-х — начале 30-х годов многочисленные волнения произошли в губерниях Петербургской, Московской, Вологодской, Новгородской, Могилевской, Воронежской, Вятской, Симбирской, Пензенской и др., причем часто против восставших применялась военная сила. Увеличивались с каждым годом побегов крепостных, участились случаи поджога усадеб, убийства помещиков. Напуганный всем этим Николай I, преувеличивая размах событий, сравнивал их с «бывшей французской революцией». В «Обзрении расположения умов и различных частей государственного управления в 1834 г.» говорилось: «Год от года распространяется и усиливается между помещичьими крестьянами мысль о вольности. В 1834 г. много было примеров неповиновения крестьян своим помещикам, и почти все таковые случаи... единственно от мысли иметь право на свободу»³.

В напряженной обстановке 30-х годов у Пушкина возник ряд замыслов, объединенных единой проблемой. Положение русского крестьянства, причины, формы и судьбы крестьянского протеста — таковы темы, которые легли в основу «Истории села Горюхина», «Дубровского», «Истории Пугачева», «Капитанской дочки», «Путешествия из Москвы в Петербург».

Первые четыре произведения подвергались в советском литературоведении более или менее обстоятельному изучению как в общих работах о Пушкине, так и в специальных монографиях и диссертациях.

В советские годы впервые было определено идейное значение «Истории села Горюхина» (1830). Установлено также, что, работая над этим произведением, Пушкин использовал свои собственные наблюдения (в черновиках имеются названия деревень Псковской губернии — Дериглазово, Перкухово). В повести даны картины обездоленной и разоренной крепостной деревни, некогда вольной, но обедневшей «от тиранства». Описание крепостного быта деревни выросло в сатиру на всю Россию, страну, «по имени столицы своей Горюхиным называемую». Все изображение деревни с бесчеловечным хозяйничаньем помещиков и крайней нищетой крестьян логически подводило к вопросу о восстании крепостных. В плане окончания повести намечено кратко, но выразительно: «Бунт»⁴.

Анализируя пушкинскую «Историю Пугачева» (1833), исследователи (Ю. Г. Оксман, А. И. Чхеидзе и другие) показали, что в этом своем историческом труде Пушкин осветил пугачевское восстание как результат столкновения противоположных классовых интересов, доказал, что его причины коренятся в нещадном угнетении крестьянства, дал яркую, обобщенную характеристику поднявшегося на борьбу народа и его предводителя Пугачева. Как установлено А. И. Грушкиным, пушкинская «История Пугачева» в завуалированном виде была полемически направлена против реакционной дворянской историографии, злобно клеветавшей на Пугачева и русское крестьянство. В то же время большинство исследователей справедливо указывают, что стихийность крестьянского восстания, его методы расправы с помещиками не принимались Пушкиным⁵.

В числе произведений, примыкающих к теме крестьянского протеста, часто называется «Дубровский» (1832—1833). Однако это верно только до некоторой степени.

Сюжетной основой этой повести является не вражда помещиков и крестьян, а конфликт между представителями двух слоев русского дворянства, принадлежавшим к «новой знати», — Троекуровым и выходцем из ста-

ринного рода Владимиром Дубровским. Мотивировкой выступления крепостных крестьян является их сочувствие Дубровскому, решившему отомстить Троекурову за совершенное беззаконие и оскорбление отца. Со своей стороны, Владимир Дубровский вступает в союз с крестьянами по личным мотивам. Понимая, что ненависть крестьян к дворянству имеет более глубокие корни, чем его конфликт с Троекуровым, и убедившись в невозможности дальнейшего продолжения борьбы в нужном ему духе, он оставляет крестьян.

Такое построение конфликта не давало возможности глубоко раскрыть сущность крестьянского движения и суживало рамки центральных событий, связанных с действиями крестьян. Это, вероятно, было одной из причин того, что повесть осталась неоконченной⁶.

«Капитанская дочка» — произведение, в котором тема крестьянского восстания является центральной. Как установлено Ю. Г. Оксманом, проблема дворянина, соединившего свою судьбу с восставшими крепостными, связывала в известной степени «Дубровского» с замыслом «Капитанской дочки»: по первоначальному плану, героем романа должен был быть дворянин, перешедший на сторону крестьянской революции. Образ этого героя был подсказан Пушкину историческими материалами. Однако в дальнейшем ходе работы над романом первоначальный план подвергнулся изменениям. Выдвижение дворянина в качестве участника пугачевского восстания было прежде всего неприемлемым с цензурной точки зрения. Вместо Шванвича (фамилия дворянина-пугачевца) в роман были введены два героя — Гринев и Швабрин. В окончательном тексте Гринев изображен как дворянин, оставшийся до конца верным екатерининской монархии и лишь случайно попавший к Пугачеву. В рукописи же существует вариант, по которому Гринев сам едет к Пугачеву с сознательным намерением просить заступничества за любимую девушку после того, как оренбургский губернатор отнесся к рассказу о ее судьбе с циническим равнодушием⁷.

Оценка образа Гринева в исследовательской литературе последних лет в общем не являлась дискуссионной: человек «благонадежный», преданный императрице и вместе с тем по-своему честный. Честность заставляет его признать ум и достоинства вождя крестьянского восста-

ния Пугачева. Швабрин же является в романе персонажем целиком отрицательным. Его переход на сторону Пугачева вызван не идейными мотивами, а беспринципным предпочтением более сильной стороны. Моральный облик Швабрина характеризуют также его клеветнические измышления о Маше, невесте Гринева.

Весь ход повествования в «Капитанской дочке» свидетельствует о том, что Пушкин, не будучи сторонником крестьянской революции (это особенно ясно из так называемой «пропущенной» главы), вместе с тем безоговорочно осуждал систему рабства, чудовищную жестокость помещиков, методы кровавого усмирения восставших. Благодаря глубокому реалистическому подходу к исторической действительности он воспроизвел в «Капитанской дочке» существенные черты екатерининской монархии, общественные отношения и психологию ее современников⁸. Могучий размах крестьянского восстания вызвал у Пушкина восхищение*.

Если интерпретация «Истории села Горюхина», «Истории Пугачева», «Дубровского», «Капитанской дочки» в исследовательской литературе о Пушкине в основном представляется убедительной, то пересмотра требует существующая оценка «Путешествия из Москвы в Петербург» — одного из самых загадочных произведений Пушкина, в котором, как в фокусе, отразились тенденции дальнейшего развития взглядов поэта, вся сложность и противоречивость его мировоззрения. Это произведение имеет первостепенное значение и как попытка Пушкина разъяснить широким кругам русского общества свои политические позиции, попытка рассеять те ложные представления, о которых говорилось выше, и как постановка острейших вопросов современности и прежде всего крестьянского вопроса.

Над «Путешествием из Москвы в Петербург» Пушкин работал в 1833—1835 годах⁹. Он не закончил этого своего сочинения. В старых изданиях оно называлось «Мысли в дороге». В рукописи заглавия нет. Однако более чем вероятно, что Пушкин печатал бы это произведение именно под заглавием «Путешествие из Москвы в Петербург». Написанные главы «Путешествия» соответствуют главам радищевского «Путешествия», но в обрат-

* Об этом см. ниже, стр. 639 и далее.

ном порядке. Во вступлении к нему Пушкин пишет, что по дороге из Москвы в Петербург стал читать книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» с последней главы. «...таким образом, — говорит Пушкин, — заставил Радищева путешествовать со мною из Москвы в Петербург».

Первая глава пушкинского «Путешествия» «Шоссе» в черновой рукописи называлась «Дорожный товарищ», то есть Пушкин сразу же заявлял, что книга Радищева заменила ему дорожного товарища. Этот заголовок, важный для нас с точки зрения отношения Пушкина к Радищеву, был, однако, отброшен, и это существенно повлияло на конструкцию всего произведения. Пушкин в черновике пишет о радищевском «Путешествии»: «Радищев написал несколько отрывков безо всякой связи и порядка. Вы можете читать их как вам угодно». Пушкин, вероятно, не думал о строгой последовательности глав: не только в черновике нет этой последовательности, но и в беловой рукописи пропущена глава «Завидово».

Казалось бы, что самый жанр пушкинского произведения целиком определяется радищевским «Путешествием». Однако это не совсем так.

В пушкинском «Путешествии» реальных подробностей поездки нет (за исключением первой вводной главы). Так, в отличие от Радищева Пушкин не говорит о своих отъездах или переездах от одной станции к другой. Поездка является здесь только поводом для записи размышлений, перемежающихся цитатами, воспоминаниями, различного рода отступлениями. Эта жанровая особенность была для Пушкина чрезвычайно важна, так как позволяла свободно варьировать мотивы радищевского «Путешествия», останавливаясь на одних темах, пропуская другие, переходить неожиданно от одной мысли к другой, заставляя читателя досказывать мысль за автора и т. д. Только учитывая эту специфику пушкинского «Путешествия», можно понять его нарочитую отрывочность или появление обширного рапорта Ломоносова о его занятиях с 1751 по 1757 год (очень интересного самого по себе, но к поездке из Москвы в Петербург непосредственного отношения, разумеется, не имеющего). Все это говорит о том, что Пушкин не ставил своей задачей создавать параллельное Радищеву «Путешествие» (как это принято считать). Начав свое «Путешествие»,

он думал довести его до печати и, следовательно, не писал бы книгу, параллельную радищевскому «Путешествию» или даже наводившую мысль на какие-то соответствия. Не входила в его задачу и общая характеристика Радищева, которую он впоследствии дал в отдельной статье «Александр Радищев» *.

Написанные Пушкиным главы (не только в черновой, но и в белой рукописи) исключительно злободневны по своему содержанию. Поэт говорит о крепостном праве и положении крестьянства, о политических и экономических изменениях, происшедших в России, о независимости и чести писателя, о сословности, о покровительстве и меценатстве, о цензуре и свободе книгопечатания, о западноевропейском буржуазном строе. Уже из этого краткого перечня можно заключить, что перед нами попытка поставить в публицистической форме самые важные проблемы русской действительности 30-х годов. Эта точка зрения укрепляется при изучении творческой истории произведения.

Вокруг пушкинского «Путешествия» почти столетие не умолкают горячие споры. Одни исследователи считали, что Пушкин в этом сочинении сочувствует Радищеву, но старается «перехитрить» цензуру; другие же пытались доказать, что Пушкин выступает здесь открытым противником Радищева и никаким эзоповским языком вообще не пользуется¹⁰.

Как нам представляется, в самом подходе к изучению «Путешествия» допускались существенные ошибки. Нельзя согласиться с тем, что главной целью Пушкина в его «Путешествии» была полемика с Радищевым; такое заключение, как мы видим, не вытекает из пушкинского произведения — оно не является преднамеренным «ответом» Радищеву. Не учитывалось также, что Пушкин ведет свое повествование не от своего имени. Наконец не учитывалось в достаточной степени, что «Путешествие» не только не является законченным произведением, но и написанные главы не отделаны. Поэтому замысел Пушкина может быть раскрыт с наибольшей полнотой в его динамике, то есть путем изучения процесса

* Правда, как уже говорилось, в черновике главы «Шоссе» у Пушкина возникла мысль дать характеристику Радищева, но была им отброшена.

создания «Путешествия», на основании сохранившихся рукописей и использованных Пушкиным материалов *.

Для наиболее полного понимания пушкинского «Путешествия» существенно следующее обстоятельство. Работая над этим произведением, Пушкин внимательно изучал тот самый экземпляр радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву», который был в тайной канцелярии. На этом экземпляре имеется надпись: «Экземпляр, бывший в тайной канцелярии, заплачено двести рублей. А. Пушкин»¹¹. На полях книги и кое-где в тексте красным карандашом подчеркнуты все те места, на которые Екатерина указала в своих известных замечаниях. Пометы скорее всего сделаны самой Екатериной или же с точностью скопированы для уголовной палаты. Сопоставление помет Екатерины с теми местами пушкинского «Путешествия», где цитируется Радищев, показывают, что Пушкин в ряде случаев вступает в скрытую полемику с Екатериной.

Так, например, на полях страницы 288 «Путешествия» Радищева отмечены крестиками и подчеркнуты слова: «...власть со свободой сочетать должно на взаимную пользу». По поводу этих слов Екатерина в своих замечаниях на «Путешествие» писала: «Сие думать можно, что целит на французский развратный нынешний пример. Сие тем более вероятно становится, что сочинитель везде ищет случай придаться к царю и власти». Пушкин в главе «Этикет» пишет: «Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу. Истина неоспоримая».

На странице 249 Екатериной отмечено место, где Радищев говорит: «...свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободы поборствовать, все величие отчиники, и свободы не от их совета ожидать должно, но от самой тяжести порабощения». В замечаниях по поводу этих слов Екатерина пишет, что Радищев возлагает надежду на бунт мужиков. Пушкин, приведя из радищевского «Путешествия» отрывок, который дал повод Екатерине для этого заключения, говорит: «Следует картина, ужас-

* В составе пушкинского архива, в настоящее время целиком воссоединенного в Рукописном отделении Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, имеется беловая рукопись «Путешествия», писарская копия, правленная Пушкиным, и черновики, содержащие большое количество вариантов.

ная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на *сей раз соглашаюсь поневоле...*»

При изучении пушкинского «Путешествия» необходимо также принять во внимание, что отрицательные формулировки, которыми герой пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург» пользовался при характеристике Радищева, являются заимствованными и ему не принадлежат. Это — формулировки Екатерины, с замечаниями которой Пушкин был несомненно знаком (повидимому, по материалам архива Воронцова в Одессе), формулировки из официального постановления по делу Радищева и, наряду с этим, из манифеста Николая I 1826 года. Приведем несколько примеров. Путешественник Пушкина говорит о произведении Радищева: «Желчью напитанное перо» — у Екатерины: «желчи нетерпение разлилось». Слова «полуистина», «полупросвещение» ведут к формулировкам у Екатерины: «полумудрец», и в манифесте: «полупознание». Далее формулировка о «дерзких мечтаниях» почти дословно взята из манифеста («дерзостные мечтания»). В пушкинском черновике имеется и такая (зачеркнутая впоследствии) характеристика Радищева: «Он хуже Пугачева». Эти слова Екатерины были записаны Храповицким (с дневником Храповицкого Пушкин также был знаком: выписка из этого дневника приложена к статье «Александр Радищев»). Все эти ходячие официозные формулы, конечно, не отражали взглядов самого Пушкина. Эти формулы были введены в «Путешествие» для усыпления бдительности цензуры и характеризуют образ мышления героя пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург»¹².

Самый факт обращения Пушкина в 30-х годах к наследию Радищева, при всех разногласиях поэта с великим революционером, должен быть поставлен в прямую связь с общими тенденциями демократизации пушкинского творчества — с разработкой темы народных мятежей и восстаний.

Изучение соотношений взглядов Пушкина с взглядами Радищева во всей полноте представляет собой тему отдельной работы¹³. Следует, однако, подчеркнуть, что иное, чем у Радищева, отношение к проблеме крестьянской революции (об этом ниже) не ослабляло

в сознании Пушкина уверенности в том, что он является преемником великих традиций Радищева, обличителя деспотизма и крепостничества, друга народа.

Несомненно, что, работая в 1833—1835 годах над своим «Путешествием», а в 1836 году пытаясь провести через цензуру статью «Александр Радищев», Пушкин одной из своих задач ставил воскрешение в памяти читателей этого запрещенного в то время имени. Но изучение текста пушкинского «Путешествия» показывает, что его замысел этим не ограничивается. *Перед нами опыт политической декларации* Пушкина 30-х годов по острейшим вопросам современности.

Осуществление этого замысла было чрезвычайно сложным. Автографы «Путешествия» отражают мучительный творческий процесс. Ни одна рукопись Пушкина не содержит столько противоречивых, даже взаимоисключающих вариантов одних и тех же формулировок, столько оговорок и всевозможных ухищрений с целью обойти цензуру.

Весьма важным является то, что в пушкинском «Путешествии» образ путешественника не тождествен Пушкину.

Пушкинский путешественник некоторыми своими чертами близок к Ивану Петровичу Белкину. Это — в полную противоположность Пушкину — смиренный домосед, 15 лет не пускавшийся в путь и вообще не склонный к переездам (в черновике он признается в своей изнеженности), человек, любящий мирно пофилософствовать. Он, например, по-обывательски рассуждает о преимуществах скучной книги для путешественника или для тюремного заключенного и радуется тому, что вместо холодной телятины взял с собой книгу Радищева¹⁴. Возможно, что самый замысел «Путешествия» возник у Пушкина в 1830 году, в процессе создания «Повестей Белкина». В этом нас убеждают следующие признания рассказчика в «Станционном смотрителе»: «Любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени». И в рукописи пушкинского «Путешествия» мы находим некоторые намеки на специфический облик путешественника, который помнит еще екатерининские времена. Все это подтверждает, что Пушкин, конечно, не печатал бы «Путешествие» от своего имени и не отождествлял бы себя полностью с ге-

роем этого произведения — путешественником. Созданный им образ путешественника давал простор для самых разных суждений. Среди них были и такие, которые совершенно не соответствовали пушкинским взглядам и, продиктованные цензурными соображениями, отражали иногда самые ходовые, заимствованные из различных источников мысли. Но вместе с тем в «Путешествии» сохранялся и второй план, пользуясь которым, Пушкин высказывал и свое собственное мнение по важнейшим вопросам. Подлинный автор пушкинского «Путешествия», конечно, стал бы известен читателю (как стал известен и автор «Повестей Белкина», несмотря на их анонимность). Поэтому наряду с чуждым Пушкину голосом «Путешественника» здесь должен был звучать и другой голос — голос самого Пушкина. Отсюда та противоречивость суждений, которая изумляла исследователей этого произведения и которая была вызвана особенностями замысла. И все же основная тенденция произведения — попытка создать нечто подобное политической декларации — выступает здесь со всей очевидностью.

Глава «Шоссе» является вступительной. В ней наметен тот образ героя-путешественника, о котором мы говорили выше. Уже здесь имеются рассуждения на политические темы, вложенные в уста смиренного путешественника-обывателя. В черновом тексте после размышлений о состоянии шоссейных дорог сказано: «...не могу не заметить, что со времен восшествия на престол Романовых... правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно». Мысль о том, что «правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения», была распространенной в публицистике 20—30-х годов. В нее вкладывалось различное содержание. Если, например, у М. П. Погодина она звучала как апология самодержавия, то Пушкин использовал ее иронически, для обличения дворянского общества, равнодушного к судьбам своей страны, ее прогрессу и просвещению (именно так и раскрывает он эту мысль в позднейшем письме Чаадаеву). В черновиках «Путешествия из Москвы в Петербург» эта мысль дана в различных вариантах. Слова воображаемого путешественника о том, что в России правительство «впереди на поприще образованности», сначала предваряются словами:

«Я начал записки свои не для того, чтоб льстить властям, товарищ, избранный мной (то есть Радищев. — Б. М.), худой внушитель ласкательства, но не могу не заметить...» Однако для выступающего в этой главе тишайшего домоседа-путешественника слова о «лести властям» как-то неожиданны: поэтому Пушкин их вычеркивает. В этой же главе фразу о доме Романовых, находившихся якобы «впереди на поприще просвещения», Пушкин в одном из вариантов уточнял: «... от Михаила Федоровича до Николая I». Казалось бы, что эти слова рассчитаны на то, чтобы уверить цензуру в политической «надежности» путешественника. Но в черновике далее имеется такая расшифровка данного утверждения, которая сразу же обнаруживает совсем противоположный смысл. После слов, из которых следует, что просвещение в народе распространяется слабо, в черновике написано: «Вот что и составляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и каменьями, и английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму». Мысль здесь такова: распространение просвещения приводит к революционизированию народа. Поэтому Пушкин в конце концов по цензурным соображениям совсем убирает и слова о Николае I и фразу о связи народного просвещения с политическим движением.

Существенное значение для характеристики мировоззрения Пушкина имеет следующая глава «Путешествия» — «Москва». Программа этой главы гласит:

«Что была Москва? Мнение Екатерины. Что Москва теперь? Отчего сие происходит? Чем Москва еще держится. Сравнение Москвы с боярством. Что из нее будет? Литература. Московский университет. «Горе от ума». Намеченная программа не вполне выдержана Пушкиным, однако глава в целом представляет большой интерес. Характеристика Москвы вначале дается как бы с точки зрения все того же путешественника-домоседа, который, «покидая смиренную Москву и готовясь увидеть блестящий Петербург... заранее встревожен при мысли переменить... тихий образ жизни на вихрь и шум...»

Тема Москвы, начиная со второй половины 20-х годов, приобрела особый политический характер. Москва тревожила правительство Николая I своими новыми

веяниями и свободомыслием в большей степени, чем Петербург. В составленном Бенкендорфом для царя «Кратком обзоре общественного мнения за 1827 год» говорилось: «Главное ядро якобинства находится в Москве»¹⁵.

Говоря о Москве, Пушкин все время имеет в виду свободолюбивые традиции Москвы, фондирующей и протестующей против деспотизма. Чтобы завуалировать главную мысль, описание Москвы он перебивает характеристикой и картинами быта, но основную идейную тенденцию он все же проводит до конца, противопоставляя независимую Москву аристократическому, «чопорному Петербургу». Если выделить места, на которые опирается политическая тенденция главы, то ее общая направленность становится очевидной.

«Москва! Москва! — восклицает Радищев на последней странице своей книги и бросает желчью напитанное перо, как будто мрачные картины его воображения рассеялись при взгляде на золотые маковки Москвы белокаменной».

«Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые...».

«Невинные странности москвичей были признаком их независимости».

Пушкин пишет далее об упадке Москвы как следствии упадка русского дворянства, и здесь у него звучат элегические ноты. Но вслед за тем он указывает, что «Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова».

Мысли, высказанные в главе «Москва», во многом близки сравнительной характеристике Москвы и Петербурга, написанной Гоголем (она была включена в «Петербургские записки 1836 года», напечатанные анонимно в вышедшем после смерти Пушкина VI томе «Современника»). Здесь у Гоголя наряду с легкой фельетонной обрисовкой различия между Москвой и Петербургом можно

отметить и принципиальные — в плане пушкинской главы «Москва» — моменты. Гоголь подчеркивает народность Москвы, ее простоту, в противоположность светскому Петербургу, где и в журналах толкуют о благонамеренности. Среди беглых определений Москвы и Петербурга 30-х годов имеется и следующая мысль: «Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия». Официальность светского Петербурга, чуждого общественным интересам — эта тема развивается и в других замечаниях Гоголя¹⁶.

В главе «Ломоносов» Пушкин дает высокую оценку этому замечательному деятелю русской национальной культуры. Он называет Ломоносова «великим человеком», «самобытным сподвижником просвещения», который не только «создал первый университет», но и «сам был первым нашим университетом». Приведенный здесь же рапорт Ломоносова о его «упражнениях с 1751 года по 1757» раскрывает всеобъемлющую гениальность русского ученого. Но особую актуальность имела для Пушкина тема независимости поэта, и ее он в главе «Ломоносов» трактует с подчеркнутой заинтересованностью.

Стремясь защитить свою позицию независимого поэта, Пушкин как бы снова отвергал те обвинения по своему адресу, на которые ранее откликнулся в стихотворении «Друзьям». Развивая тему о независимости и принципиальности писателя, Пушкин замечает, что Ломоносов «не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей». Пушкин приводит слова Ломоносова Шувалову: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у господ моего бога дураком быть не хочу». Эти же слова Ломоносова Пушкин неоднократно повторяет в применении к самому себе в дневнике и в своих письмах.

Позиция истинной политической независимости обосновывается здесь Пушкиным в противовес беспринципности блока Полевого и Булгарина. Эти имена не названы, но они легко угадываются в словах: «Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвалебным объявлением заманить покупателей. Нынче последний из писак, готовый на вся-

кую приватную подлость, громко проповедует независимость и пишет безыменные пасквилы на людей, перед которыми расстилается в их кабинете». В черновике главы «Ломоносов» к словам «проповедует независимость» Пушкин сделал от имени путешественника примечание, направленное против Полевого, написавшего памфлет в связи с появлением стихотворения Пушкина «К вельможе». Примечание гласит: «Все журналы пришли в благородное бешенство, восстали против стих<отворца>,* который (о верх унижения!) в ответ на приглаш<ения> кн<язя>+⁺ <извинялся в стихах>, что не может к нему приехать и обещался к нему приехать на дачу! Сие несч<астное> послание было предано все-народно проклятию, и с той поры, говорит один журналист, слава +⁺ упала совершенно!»

Следует отметить, что Белинский в отзыве об XI томе Посмертного собрания сочинений Пушкина указал, что среди вновь опубликованных пушкинских статей «особенно интересна превосходная статья «Ломоносов»¹⁷.

В главе «О цензуре» Пушкин, несмотря на оговорки, исходит из основных требований, которые выражены им же в его двух посланиях к цензору (1822 и 1824 года). В черновом тексте главы о цензуре имеются прямые совпадения с этими посланиями. Так, например, в главе о цензуре мы читаем: «Цензор есть важное лицо в государстве, сан его имеет нечто священное. Место сие должен занимать гражданин честный и нравственный, известный уже своим умом и познаниями...» В пушкинском же послании цензору 1822 года этим словам соответствует:

...цензор гражданин, и сан его священный;
Он должен ум иметь прямой и просвещенный.

Основная идея этой главы — защита свободы мысли, хотя бы в пределах пресловутой «законности». Необходимо учитывать, что в обстановке идеологического террора 30-х годов даже соблюдение цензурного устава принесло бы некоторое облегчение литературе: цензоры в своем стремлении препятствовать малейшему проблеску самостоятельной мысли, хотя бы самой невинной, превышали и без того суровые требования устава.

* Вариант: осыпали ругательствами Пушкина.

В этой связи и следует рассматривать имеющееся в черновом тексте замечание. «Несостоятельность Закона столь же вредит правительству... как несостоятельность денежного обязательства».

Вообще в черновике главы о цензуре Пушкин чаще, чем в других главах, теряет спокойный тон, который он всемерно старался выдержать в «Путешествии». Перед нами за литературным образом смиренного путешественника, который глубокомысленно замечает, что «безнравственные книги суть те... кои целию имеют распаление чувственности приапическими изображениями», то и дело возникает сам Пушкин с его остротой, непримиримой и уже ничем не прикрытой ненавистью к николаевской цензуре. В том месте рукописи, где говорится о роли и задачах цензуры как контролирующего органа, имеется такой вариант: «Слишком было бы жестоко подвергать двойной и тройной ответственности писателя... под предлогом злоумышления, бог ведает какого». Далее начата фраза: «Негодование писателя было бы справедливо». Фраза не закончена, но затем следует: «...цензора не должно запугивать, придираясь к нему за мелочи, неумышленно пропущенные им, и делать из него уже не стража государственного благоденствия, а грубого жандарма, поставленного у веревки на перекрестке, с тем чтоб не пропускать народа». В беловой рукописи все это, конечно, отсутствует. Автобиографичность этих слов была слишком ясна: Пушкин подвергался «тройной ответственности», тройной цензуре — царя, шефа жандармов и цензуре обыкновенной.

Особое место занимает в этой главе обоснование силы печатного слова: «Что значит аристокрация породы и богатства в сравнении с аристокрацией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая мысль, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда».

Мы остановились на некоторых главах «Путешествия», интересных с точки зрения изучения литературно-политических позиций Пушкина 30-х годов. Однако первостепенный интерес представляют главы, материал которых весьма существен для выяснения одного из спорных вопросов пушкиноведения — об отношении Пушкина в 30-х годах к проблеме крестьянской революции. Проблемы, связанные с положением русского крестьянства, с кре-

постным правом, с протестом крепостных, являются центральными в пушкинском «Путешествии». Им посвящены целиком пять глав этого произведения: «Браки», «Русская изба», «Рекрутство», «Медное», «Шлюзы».

В начале главы «Русская изба», которая своим заголовком претендует, казалось бы, на этнографическое описание избы, Пушкин приводит отрывок из радищевского «Путешествия», рекомендуя его словами: «Замечательно описание русской избы». В этом отрывке говорится и о внешнем виде избы, лишенной света даже в полдень, заросшей сажей и, вследствие необходимости держать здесь же скот, настолько лишенной воздуха, что в ней «горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется». В этом же отрывке повествуется о голодном существовании крестьянина, который даже «пустые шти» не всякий день имеет, о его убогой утвари («деревянная чашка и кружки, тарелками называемые»), о жалком подобии одежды и обуви¹⁸.

Еще более острым является второй отрывок из Радищева, приведенный Пушкиным в главе «Рекрутство». Радищев описывает сцену прощания старой крестьянки с единственным сыном, отданным в рекруты. Она обречена теперь скитаться по миру. Здесь же Радищев рисует образ крепостного, который предпочел солдатчину — судьбе раба. «Трудна солдатская жизнь, но лучше петли», — так рассуждал этот крестьянин, сравнивая с петлей свою жизнь у помещика и признаваясь, что лучше пойти в солдаты, чем умереть у помещика, как это часто бывает, «под батожем, под кошками, в кандалах, в погребке, нагу, босу, алчушу, жаждушу, при всегдашнем поругании...»¹⁹

И здесь, так же как и в предыдущем отрывке, частная тема перерастает в широкое обобщение судьбы крепостного крестьянина.

Третий отрывок, приведенный Пушкиным в главе «Медное», посвящен продаже крепостных с публичного торга. процитировав это место, Пушкин отмечает правдоподобие воспроизведенной далее Радищевым «ужасной картины» и заключает: «Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле...» Что же это за мечтания? Пушкин рассчитывает здесь на знание произведения Радищева. В конце главы «Медное» Радищев

говорит, что освобождения крестьян следует ожидать не от помещиков, а «от самой тяжести порабощения»²⁰.

Наконец четвертый отрывок из Радищева, приведенный в главе «Шлюзы», рисует заядлого крепостника-помещика, который стал «знаменитым земледельцем», привел свое имение в цветущее состояние путем беспощадного ограбления и выжимания всех соков из своих крестьян, низведя их до положения бессловесных и безвольных «орудий». Пушкин вспоминает по аналогии своего знакомого помещика, такого же, как у Радищева, тирана «по системе и убеждению». Примечателен контекст, в котором приводится рассказ об этом помещике. Пушкин говорит, что знал его «лет пятнадцать тому назад», то есть приблизительно в 1819 году. «Молодой мой образ мыслей и пылкость тогдашних чувствований отвратили меня от него...» — признается Пушкин. Эти биографические детали в совокупности с характеристикой знакомого Пушкину помещика, который лишил своих крестьян всякой собственности, заставил их пахать «барскою сохой», привел их в «жестокое положение», непосредственно связывают данную главу пушкинского «Путешествия» с его же стихотворением «Деревня», написанным в 1819 году и содержащем сходную картину положения крестьянина. Тем самым Пушкин как бы подтверждал неизменность своего отрицательного отношения к крепостному праву, отношения, выраженного им в пору «молодого образа мыслей»²¹.

Мы можем, следовательно, заключить, что функция цитат из Радищева о крестьянстве, введенных Пушкиным в свое «Путешествие», состояла не только в резком протесте против крепостничества, но и в выражении солидарности с радищевскими обличениями рабства. В итоге в сознании читателя должна была сложиться картина абсолютно невыносимого, противоречащего самым элементарным требованиям человечности отношения помещиков к крепостным. Общее впечатление беспросветности жизни крестьянина дополняется главой «Браки», в которой дана характеристика «самовластия господ», установивших для крепостных систему «браков поневоле». Здесь Пушкин аргументирует не только доводами Радищева, но и ссылкой на русские народные свадебные песни, которые поэтому «унылы, как вой похоронный»²². И как прямой вывод из всего, что сказано в пушкинском «Путе-

шествии» о крепостном крестьянстве, следует в главе «Шлюзы» признание законности мести крестьян жестоким помещикам. После описаний жестокостей крепостника-тирана, о котором мы упоминали выше, Пушкин саркастически заметил о нем: «Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить... Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара».

Но наряду с этим ясно и отчетливо выраженным отношением к крепостному праву и помещикам-крепостникам в «Путешествии» имеются суждения половинчатые, сентенции о том, что «судьба крестьянина улучшается с каждым днем», что лучшие и прочнейшие изменения происходят не от «потрясений», а от «одного улучшения нравов» и т. д. Эти сентенции и назидания принадлежат путешественнику. Стремясь ввести в заблуждение цензуру, Пушкин вслед за какой-либо цитатой из Радищева дает алогичные, явно противоречащие истине и здравому смыслу размышления путешественника. Например, после отрывка из Радищева в главе «Русская изба» упоминается рисунок русской избы XVII века Мейерберга, напечатанный в радищевском «Путешествии», и далее следует утверждение: «Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году». Иначе говоря, ничего не изменилось в деревне по сравнению не только с временем Радищева, но даже с XVII веком! Но далее вступает в свои права глубоко-мыслие воображаемого путешественника: он оговаривается, что с тех пор все же произошли улучшения, особенно «на больших дорогах». В чем улучшения заключаются? В каждой избе появилась труба, стекла заменили натянутый пузырь, стало «более чистоты, удобства, того, что англичане называют comfort». По сравнению с процитированным в этой же главе отрывком из Радищева эти вялые размышления путешественника явно рассчитаны на то, чтобы вызвать у читателя по меньшей мере ироническую улыбку, так же как и фразы о том, что налагаемые на крестьянина повинности «вообще не тягостны», «барщина определена законом», «оброк не разорителен». А при сопоставлении положения русского крестьянина с якобы худшим положением рабочих за рубежом в числе доказательств лучшей материальной

обеспеченности русского крестьянина отмечено, что он умывается по несколько раз в день. После этих слов и следует заключение: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения...»

Интересно, что в черновом тексте главы «Русская изба» сравнительная характеристика положения русского и французского крестьянина прямо противоположна тому, что написано в окончательном тексте. В окончательном тексте сказано, что судьба русского крестьянина счастливей судьбы французского земледельца, в черновике же мы читаем: «...французский земледелец ныне счастливее русского крестьянина». В окончательном варианте об оброке сказано, что он «не разорителен», в черновике же доказывается обратное: «...строки Радищева навели на меня уныние. Я думал о судьбе русского крестьянина». И далее цитируются строки из басни Крылова «Крестьянин и смерть»:

К тому ж подушное, боярщина, оброк —
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек?..

Перейдем к самому острому и дискуссионному вопросу: в какой степени отражают взгляды самого Пушкина то место «Путешествия», в котором говорится о путях изменения положения крестьянина?

Напомним это место, вызвавшее столько споров в пушкиноведении: «Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно, должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества».

Разберем это место.

Первую из высказанных здесь мыслей о зависимости благосостояния крестьян от благосостояния помещиков Пушкин высказывал неоднократно. Он считал, что разорение помещика ведет к еще большей эксплуатации крестьян, к позорной распродаже крестьян с торга и т. д. Иллюстрации к этой мысли Пушкина можно привести и из его писем, из «Истории села Горюхина», из того же «Путешествия». Эта его мысль, таким образом, совершенно ясна,

Слова о том, что «должны еще произойти великие перемены», выражают глубокое убеждение Пушкина в необходимости и неизбежности уничтожения крепостничества. Доказательство этому он видел в самом ходе событий «деятельного времени». «Великие перемены» в словоупотреблении Пушкина, да и всей передовой публицистики того времени — русской и зарубежной — это не частичные улучшения существующего положения, а решительный поворот.

Что же касается отрицания «насильственных потрясений политических», то это положение требует конкретного рассмотрения. Легче всего было бы объяснить это отрицание лишь данью цензуре, а Пушкина представить сторонником крестьянской революции, как это делается до сих пор в ряде работ о Пушкине.

Однако утверждать, что рассуждение Пушкина о том, что изменение положения крестьянства должно произойти без «насильственных потрясений», является незначимым и случайным, нельзя уже потому, что сам поэт считал его весьма существенным. Это рассуждение в разных вариантах встречается несколько раз в его произведениях. Сначала мы находим фразу: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — в главе, где изображено крестьянское восстание в имении Гринсва (в тексте этой главы Гринев еще называется Буланиным). Эта глава не была включена в окончательную редакцию «Капитанской дочки», но фраза о русском бунте вошла в главу XIII. Слово «бессмысленный» означало — не приносивший реальных изменений прежде всего в положении самого народа (с этим связана фраза в первом варианте этой главы: «Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных», а также картина раскаяния крестьян после ликвидации бунта в имении Гринева, — картина, столь характерная не только для XVIII века, но и для крестьянских бунтов даже в периоды более поздние *).

* Как известно, формулу Пушкина использовал в 1899 году В. И. Ленин, когда он, отмечая наличие революционных элементов в крестьянстве, писал: «Мы несколько не преувеличиваем силы этих элементов, не забываем политической неразвитости и темноты крестьян, несколько не стираем разницы между «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», и революционной борьбой...»

По существу близко этому рассуждению Пушкина и приведенное выше место из «Путешествия из Москвы в Петербург». Необходимо лишь иметь в виду, что мотивировка отрицательного отношения к «насильственным потрясениям»: *«страшные для человечества»* последствия означает, в пушкинском понимании, — не совместимые с гуманизмом * (в этом смысле в «Путешествии», в главе «Шлюзы», о жестокостях помещика-тирана говорится как о «презрении к человечеству»).

Рассматриваемые нами суждения Пушкина отразились и в VI главе «Капитанской дочки», озаглавленной «Пугачевщина». В ней мы снова встречаемся с утверждением: «...лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Однако контекст, в котором находятся эти слова, таков, что они звучат как сочувствие восставшим. Следуют они после описания жесточайшей пытки комендантом Белогорской крепости башкирца, семидесятилетнего старика, от которого хотели добиться сведений о Пугачеве. Избиение старика плетью описано в повести с глубоким сочувствием к нему:

«Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся, — тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок».

Из описания этой сцены и следует вывод о том, что «лучшие и прочнейшие изменения» те, которые происходят «от улучшения нравов, без насильственных потрясений». Сцена расправы с башкирцем перекликается с историей умирения восставших яицких казаков, предпринятого генерал-майором Траубенбергом, следствием чего было «варварское убиение Траубенберга, своевольная пере-

(В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 223). Самый факт цитирования пушкинской формулы Лениным говорит о том, что она свидетельствует об определенных, действительно существовавших явлениях в крестьянском движении.

* Термин «гуманизм» в пушкинском понимании, как известно, весьма далекий от лживой и пустой сентиментально-филантропической трактовки его, означал прежде всего глубокое и действенное сочувствие народу, его страданиям и горестям.

мена в управлении, и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями». Иначе говоря, в конечном счете стихийный крестьянский бунт не приводил к облегчению положения народа. Именно это соображение было для Пушкина *основным* при оценке результатов крестьянских восстаний, хотя он осуждал также «варварство», «жестокости» в ходе расправы восставших с помещиками (об этом свидетельствует и приложенный к «Истории Пугачева» «весьма неполный», по словам Пушкина, список дворян «и прочих званий людей», убитых Пугачевым и его товарищами; о «жестокостях» с осуждением говорил Пушкин и в письмах 30-х годов, касаясь крестьянских волнений).

Было бы грубой ошибкой считать, что рассмотренные выше положения Пушкина дают хотя бы в какой-то степени основания сближать его взгляды с взглядами либералов-постепеновцев. Во-первых, Пушкин, в полную противоположность позднейшим либералам признавал сопротивление крестьян закономерным, вызванным объективными причинами — их угнетением и жестокостью помещиков; во-вторых, он сочувствовал народу и горячо желал его освобождения, восхищался его самоотверженностью, размахом его протеста; в-третьих, он отрицал не восстание и бунт вообще, а «бунт *бессмысленный*». Далее распространение просвещения в пушкинском смысле — это не пошлое культуртрегерство; самый термин «просвещение» Пушкин трактовал в декабристском духе, в политическом аспекте, как идеологическую подготовку «политических перемен». Не случайно в том же «Путешествии» Пушкин дает высокую оценку общественной роли «аристократии пишущих талантов», «типографическому снаряду». И, наконец, можно ли сомнения, противоречия, поиски Пушкина, возникшие в атмосфере подавленной реакции России 30-х годов, в период отсутствия революционной ситуации, рассматривать независимо от этих исторических условий? Тщетно искать в его произведениях отчетливого, ясного ответа на вопрос о путях коренного переустройства существовавшего строя, тщетно потому, что сама действительность тогда еще не подсказывала этих путей. Но Пушкин не переставал размышлять о них, изучать опыт революционных движений России и других стран мира, сопоставлять опыт прошлого с современной жизнью.

Пушкин не только выражает сочувствие народу, он часто отражает точку зрения народа на события текущей жизни. Это видно даже в пушкинских дневниках, в которых встречаются записи о том, что Кочубей и Нессельроде, получившие по двести тысяч на прокормление голодных крестьян, оставят деньги у себя, что дворянство и купечество устраивают балы по случаю совершеннолетия наследника, в то время как народ умирает от голода, что «церковь и при ней школа полезней александровской колонны с орлом и длинной надписью, которую безграмотный мужик наш долго еще не разберет» и т. д. Новая точка зрения обусловила самые сильные страницы пушкинских произведений, освещенных новыми критериями, новым эстетическим идеалом, восхищением народной героикой *.

На какие же социальные силы, с точки зрения Пушкина, можно было возлагать надежды как на руководящие в борьбе за прогрессивное развитие страны?

Естественно, что Пушкин много размышляет о роли дворянства в современных условиях. Дворянами были не только декабристы; преимущественно из этого же класса выдвигались деятели освободительного движения и после крушения декабризма. Рассуждения Пушкина о дворянстве отчетливо показывают, что он противопоставлял «просвещенное дворянство» — дворянству, которое было оплотом самодержавно-крепостнической системы. Его концепция «просвещенного дворянства» заключается, если ее сформулировать кратко, в следующем: «Просвещенное дворянство» должно быть представителем и защитником народных интересов перед лицом властей. Политическая независимость «просвещенного дворянства» гарантируется тем, что оно — «потомственное сословие», «новая» же аристократия, которой окружает себя деспотизм, — это наемники, выскочки, они представляют собою оплот тирании.

Представления Пушкина о роли родовитого «просвещенного дворянства» были иллюзорными. Элегический тон, в котором Пушкин пишет о падении родовитого дворянства, сожаления по поводу вызолоченных, но приходящих в ветхость гербов, по поводу дряхлеющих барских

* См. далее, в разделе «Новый эстетический идеал».

домов, которые отдаются внаймы или продаются, — все это говорит о генсалоогических предрассудках поэта.

Переходя же от отвлеченных постросний роли родовитого дворянства к историческим фактам, Пушкин сам себя опровергал. Так, в заметках «О дворянстве» он отмечал «трусость высшего дворянства», назвал оппозицию Долгоруких нелепой, «вроде оппозиции Панина».

Два момента делают рассуждения Пушкина о дворянстве по существу резко враждебным этому классу в целом. Пушкин защищает права наследственного (и притом «просвещенного») дворянства *только* по отношению к самодержавию, видя в этих правах гарантию для политической оппозиции. Кроме того, он не считает, что само по себе дворянское звание должно давать исключительные привилегии в какой-либо области. Утверждая, что выходцы из старинных родов вправе гордиться своим древним происхождением, он вместе с тем думал, что решающими в оценке какого-либо деятеля являются его реальные заслуги перед родиной и народом: «Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные».

Из всего написанного Пушкиным о «просвещенном дворянстве» в 30-е годы следует, что, по его мнению, «просвещенное дворянство» еще не сыграло своей исторической роли. «Кто был на площади 14 декабря? — спрашивал он и отвечал: — Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много» (Запись в дневнике 22 декабря 1834 года). Но, взвешивая трезво конечные результаты этого «возмущения», в случае даже его успешного исхода, Пушкин заключал: «Чем кончится дворянство в республиках? Аристократическим правлением. А в государствах? Рабством народа. $a = b$ » («О дворянстве»). Размышляя об общих итогах развития дворянства, Пушкин в этих заметках вынужден был признать наличие «глубокого презрения к сему званию». Подобные противоречия суждений свидетельствуют, конечно, не только о противоречиях личной мысли или о логической непоследовательности, но о том, что стройная система воззрений на дворянство не могла сложиться у Пушкина в силу необычайной сложности переходного времени 30-х годов.

После изучения истории пугачевского движения Пушкин пришел к заключению, что руководство дворянами крестьянским движением невозможно. В общих замечаниях к «Истории Пугачева» он писал: «Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны».

Из опыта западноевропейских революций следовало, что руководящей силой в ниспровержении старых порядков было «третье сословие» (*tiers état*). Этот вопрос разрабатывался представителями так называемой французской исторической школы и, в частности, Гизо, труды которого Пушкин высоко ценил. Суждения Пушкина о результатах революций на Западе весьма примечательны.

Как отмечалось выше, уже в стихотворении «Наполеон» отразилось изменение взгляда Пушкина на французскую революцию XVIII века по сравнению с тем, которое выражено в оде «Вольность». Нотки сочувствия некоторым завоеваниям французской революции сквозят даже в подцензурном стихотворении «К вельможе» (1830): революция характеризуется как «союз ума и фурий», но рядом — строка, звучащая в духе торжественной, высокой оды: «Свободой грозною воздвигнутый закон». Непринятие методов плебейской, якобинской расправы с аристократией совмещалось в сознании Пушкина с признанием исторической закономерности и необходимости революции 1789 года. «В крике *Les aristocrates à la lanterne**, — писал он, — один жалкий эпизод французской революции — гадкая фарса в огромной драме» («Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», 1830).

Бесспорно, Пушкин видел отрицательные стороны буржуазного прогресса. В «Путешествии из Москвы в Петербург» повествуется об ужасающем положении английских фабричных рабочих (глава «Русская изба»), об оборотной стороне «представительной системы правления» (то есть буржуазного парламентаризма), о колониальном угнетении и т. д. (черновики этой же главы).

И в статье «Джон Теннер» (1836) Пушкин пишет о том, что исследование «нравов и постановлений американских» приводит к выводу, что не все так хорошо в их

* Аристократов на фонарь! (франц.)

«уложении», как кажется на первый взгляд. Он перечисляет пороки американской демократии с ее «отвратительным цинизмом», жестокими предрассудками, «рабством негров посреди образованности и свободы», родословными гонениями в народе, алчностью и завистью избирателей и т. д. Из этого следует, что и американский политический строй начала XIX века не был для Пушкина решением вопроса о путях достижения действительной свободы. Но все же из этой статьи ясно, что буржуазный строй Пушкин считал более высоким этапом исторического развития. Говоря об исчезновении дикости при приближении цивилизации, Пушкин замечает: «Таков неизбежный закон». И далее он говорит о том, как пространные степи обратятся в обработанные поля, а необозримые реки, в которых гибнущие остатки древних обитателей Америки добывали себе пищу сетями и стрелами, превратятся в гавани, где задымятся пароходы («пиротскафы»).

Все это было важным для Пушкина в ходе его размышлений и о путях дальнейшего развития своей страны.

Считая, что процессы исторического развития Запада не могут быть целиком перенесены в Россию ввиду своеобразия ее истории, Пушкин вместе с тем отмечал: «В России не было феодализма, и тем хуже». «Тем хуже» потому, что не было укрепления городов, не сложилась буржуазия и не появилась, следовательно, сила, способная совершить революционный переворот, который смог бы ниспровергнуть абсолютизм и уничтожить крепостное рабство.

Из всего сказанного явствует, что нет никаких оснований считать, что отношение Пушкина к буржуазным революциям и к нарождавшемуся в России капитализму было целиком отрицательным.

Пушкин предчувствовал неизбежность «великих перемен» именно вследствие разрушения старого хозяйственного строя и экономической деградации дворянства. В «Путешествии из Москвы в Петербург» он с одобрением говорит о промышленном развитии Москвы, одновременно отмечая «обеднение русского дворянства, происшедшее *частью* от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, *частью* от других причин...»

О купечестве как силе, которая могла бы оказать в то время какое-то влияние на борьбу за политическое

преобразование страны, разумеется не могло быть и речи. Оно было слишком патриархальным, политически и культурно отсталым. «Третьего сословия» (в западно-европейском смысле этого понятия) в России тогда вообще не было. Но характерно, что мысль Пушкина двигалась в направлении, которое соответствовало общему ходу исторического процесса. Ниспровержение феодальных порядков путем союза народа с образованными представителями «третьего сословия» было предметом его пристального внимания в 30-е годы. Ярчайшим свидетельством этого являются «Сцены из рыцарских времен» (1835).

Хотя пьеса эта осталась незавершенной, но сохранившиеся планы и части «Сцен» дают полное представление о замысле замечательного пушкинского произведения. В литературе о Пушкине «Сцены» долгое время не занимали подобного места. Симптоматично, что на протяжении истории русской литературы лишь Чернышевский, со свойственной ему проницательностью, заметил, что эти «Сцены» должны быть оценены не ниже «Бориса Годунова», а может быть, и выше²³.

О глубине творческого замысла и политической остроте пьесы дает представление уже сохранившийся черновой план ее (оригинал по-французски):

«Богатый торговец сукном. Сын его (поэт) влюблен в знатную девицу. Он бежит и становится конюхом в замке отца девицы, старого рыцаря. Молодая девушка им пренебрегает. Является брат с претендентом на ее руку. Унижение молодого человека. Он выгнан братом по просьбе девушки.

Он приходит к суконщику. Гнев и увещания старого мещанина. Является брат Бертольд. Суконщик журит и его. Брата Бертольда хватают и сажают в тюрьму.

Бертольд в тюрьме занимается алхимией — он изобретает порох. Восстание крестьян, возбужденное молодым поэтом. Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь — воплощенная посредственность — убит пулей. Пьеса кончается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)».

Таким образом, основной идейно-тематический стержень пьесы — это борьба двух миров, феодального и буржуазного.

Раскрывая здесь антагонизм двух враждебных социальных групп — рыцарства и буржуазии, к которой примыкают и крестьяне, Пушкин показывает обреченность феодализма. Борьбу решает техника: рыцарь убит пулей, замок взрывает изобретатель пороха. Книгопечатание — «своего рода артиллерия» — заканчивает разгром старого мира.

Характеристика деградирующего рыцарства и враждебных социальных флангов введена Пушкиным в самое начало пьесы и служит фоном как бы для дальнейшего развития действия. Старый буржуа Мартын, обращаясь к своему сыну Францу, говорит:

«Тебе бы только гулять с господами, которые нас презирают да забирают в долг товары. [Презирают! А того не ведают нахалы, что старый Мартын не променяет своей лавки, где он меряет испанское сукно и никого не боится, на их голые каменные замки, где они с голоду свищут да побрякивают шпорами, придумывая, где бы им занять]».

Центральными образами пьесы являются сын торговца сукном Франц и неутомимый новатор Бертольд. Оба ищут социальной справедливости.

В начале «Сцен» Франц обрисован как «блудный сын», который стыдится своего «низкого» происхождения и хочет приблизиться к рыцарям, презираемым его отцом. Но уже вскоре отщепенство Франца раскрывается как протест против буржуазной ограниченности своей среды. Воплощением этой ограниченности является Мартын, чуждый каким бы то ни было порывам, если за ним не таятся возможности обогащения. Мартын видит предназначение своего сына, поэта Франца, лишь в продолжении торговли и мечтает только о том, чтобы под конец жизни передать ему «и счетные книги и весь дом». Ограниченность и самодовольство Мартына высмеиваются. Существо буржуазной ограниченности глубоко вскрыто Пушкиным в разговоре между Мартыном и Бертольдом, мечтавшем об открытии вечного двигателя для того, чтобы сломать все преграды «творчеству человеческому». Противопоставление двух типов мировоззрения дано Пушкиным в скупых, но полных философского смысла репликах:

«Бертольд. Золото мне не нужно, я ищу одной истины.

Мартын. А мне черт ли в истине, мне нужно золото».

Меркантильность, буржуазная ограниченность, отсутствие горизонтов, свойственные Мартыну, и вызывают у Франца, для которого «честь дороже денег», стремление покинуть свою среду. Францу чужда «низкая» профессия отца («купец, сидя за своими книгами... клянется, хитрит перед всяким покупщиком»), и он рвется в замок, ибо «рыцарь... волен, как сокол... он идет прямо и гордо, он скажет слово, ему верят...» Но, раскрывая далее образ Франца, Пушкин показывает, что и рыцарская среда с ее жестокостью и деспотизмом находится в резком противоречии с идеалами чести и справедливости. Недаром рыцари устами крестьян названы «кровопийцами», «разбойниками».

Франц в замке ведет себя независимо и гордо. Когда рыцарь грозит ему побоями, Франц, поступивший к нему конюхом, замечает: «посмотрим, кто кого», а на оскорбление отвечает организацией крестьянского восстания. И образ героя, который вначале выступает перед нами как честолюбивый отщепенец, стремящийся приблизиться к «благородным» рыцарям, наполняется богатым и сложным содержанием.

Покидая замок, Франц замечает: «Я переносил унижения, я унился в глазах моих — я сделался слугою того, кто был моим товарищем, я привык сносить детские обиды глупого, избалованного повесы... Я, который не хотел зависеть от отца, — я стал зависим от чужого... И чем все это кончилось? — боже... кровь кидается в лицо — кулаки мои сжимаются... О, я им отомщу, отомщу...» Благородство Франца оттенено его отказом от наследства в пользу подмастерья отца. Не сдаётся Франц и перед угрозой смерти после неудачи крестьянского восстания. От ответа на вопрос Клотильды: «Не правда ли, что если тебя помилуют, то уже более бунтовать не станешь?» — Франц уклоняется.

На этом развитие образа Франца обрывается, но тем не менее смысл его ясен. В лице Франца символизировано просветленное «третье сословие», которое в союзе с крестьянством и при помощи новейшей техники наносит решительный удар феодальному миру. С этой точки зрения «Сцены из рыцарских времен» примыкают к произведениям Пушкина, посвященным теме мятежей и восстаний и роли народного движения в историческом процессе («Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка»).

«Сцены из рыцарских времен» с необычайной ясностью показывают, как эволюционировало мировоззрение Пушкина. И феодальная и буржуазная формы угнетения человеческой индивидуальности противоречили пушкинским идеалам гуманизма и социальной справедливости. Глубокого смысла исполнен диалог Франца и Бертольда:

«Франц. Разве мещанин недостойн дышать одним воздухом с дворянином? Разве не все мы произошли от Адама?

Бертольд. Правда, правда. Но видишь, Франц, уже этому давно: Каин и Авель были тоже братья, а Каин не мог дышать одним воздухом с Авелем — и они не были равны перед богом. В первом семействе уже мы видим неравенство и зависть. [Каин рыл землю, Авель властвовал]».

Пушкин мечтал об ином общественном строе, о строе, реальные контуры которого тогда были еще неясны для него и самые размышления о которых были оборваны гибелью поэта.

«Сцены из рыцарских времен» ни в какой мере нельзя считать какой-то аллегорией, непосредственно связанной с современной Пушкину Россией; но в них несомненно нашли выражение и его интерес к роли «среднего сословия», значению недворянских слоев в общественной жизни. Понятно поэтому то внимание, с которым Пушкин относился к проникновению разночинцев в общественно-литературное движение 30-х годов. Он рассматривал это как важный признак грядущих перемен в лагере прогрессивной общественной мысли.

В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин пытался по-новому определить свою позицию в обстановке, когда «литературные аристократы» резко выступали против молодого разночинно-демократического лагеря в литературе. В черновике главы «Путешествия», озаглавленной «Ломоносов», мы читаем:

«Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия. Писатели-дворяне... постепенно начинают от них удаляться под предлогом какого-то *неприличия*. Странно, что в то

время, когда по всей Европе готический предрассудок противу наук и словесности... почти совершенно исчез, у нас он только что начинает показываться. Уже один из самых плодовитых наших писателей провозгласил, что литературой заниматься он более не намерен, потому что она *дело не дворянское*. Жаль! Конечно, не слишком лестное товарищество некоторых новичков отчасти тому причиною, но разве бесчестное поведение двух или трех выслужившихся *проходимцев* может быть достаточным предлогом для всех офицеров оставить шпагу и отречься от честного звания воинов!»

Эта декларация Пушкина бросает новый свет на всю его позицию в полемике о так называемой «литературной аристократии». В то время как, например, Вяземский все больше обнаруживал реакционно-консервативную дворянскую основу своих позиций, непримиримую вражду к писателям-разночинцам, для Пушкина упомянутая полемика была своеобразной формой действительной защиты подлинного демократизма в литературе и борьбы с реакционной мещанской журналистикой, вождем которой был Фаддей Булгарин. Это основное направление полемических выступлений Пушкина 30-х годов вырисовывается со всей отчетливостью, несмотря на то, что грубые нападки Полевого и Булгарина на поэта порой отождествлялись им с демократией вообще (отсюда слова о «демократическом копыте» в «Родословной моего героя»). Трудно пока с достаточной степенью достоверности указать, кого именно имел в виду Пушкин, говоря о «плодовитом писателе», провозгласившем свой отказ от занятия литературой, ибо «оно дело не дворянское». В 30-х годах рассуждения на эту тему попадают часто и в стихах, и в статьях, и в переписке ряда современников. Так, например, в 1832 году Баратынский писал в одном из писем Киреевскому: «Будем мыслить в молчании и оставим писательское поприще Полевым и Булгариным». Мы полагаем, что Пушкин, говоря о «готическом предрассудке», подразумевал именно Вяземского, в позициях которого в 30-х годах вырисовывалась тенденция защиты антидемократического дворянского искусства (характерно «Послание графу Сологубу» Вяземского 1834 года, где выражено презрение к литераторам, идущим «тропой простонародной») ²⁴.

Принципиальное значение имело и признание Пушкиным прогрессивности развития промышленности. Это коренным образом отличало его от дворянской поэзии и критики, кричавшей о наступлении «железного века», разрушающего искусство» *.

Все это не значит, конечно, что Пушкин переходил в лагерь демократических писателей-разночинцев; такой вывод означал бы антиисторическую идеализацию его взглядов. Но все развитие мировоззрения Пушкина свидетельствует о явной *тенденции* к дальнейшему преодолению сословных предрассудков и о тяготении к новым общественным силам, которые заявили о себе выступлениями Белинского.

Тема «Пушкин и Белинский» в последние годы привлекла к себе пристальное внимание советских литературоведов. Автор диссертации на эту тему, И. В. Сергиевский, на основе рассмотрения всей суммы историко-литературных фактов, пришел к заключению, что положительное отношение Пушкина к Белинскому было фактом не случайным, а возникло в силу внутренних закономерностей идейной эволюции поэта ²⁵.

В стремлении Пушкина к союзу с Белинским несомненно выражалось начало решительного расхождения с кругом так называемых «литературных аристократов» (хоть связь с ними и раньше скреплялась у Пушкина преимущественно интересами борьбы против булгаринской журналистики, а не тождеством идейной позиции).

Еще в 1827 году Пушкин писал Дельвигу по поводу «Московского вестника», журнала, в котором он временно участвовал и где сотрудничали писатели, впоследствии активно включившиеся в борьбу с демократической литературой: «Ты пеняешь мне за Московский Вестник — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а черт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — все это хорошо для немцев... — Московский Вестник сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая». В 30-е годы противоречия между Пушкиным и такого рода писателями

* Эта позиция реакционного дворянства была выражена в программной статье Шевырева «Словесность и торговля».

возросли. Стремление к союзу с Белинским характеризует принципиальность Пушкина, литературно-журнальная тактика которого в то время не была понята критиком (вскоре он, как известно, исправил свои ранние оценки). В пушкинской статье («Письмо к издателю»), напечатанной в третьем томе «Современника» за подписью «А. Б.», имеются сочувственные строки о Белинском: «Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного». В мае 1836 года Пушкин через своего приятеля Нащокина послал Белинскому том «Современника» «тихонько от наблюдателей» и просил передать Белинскому свое сожаление о том, что «не успел увидаться с ним в Москве».

Слова «тихонько от наблюдателей» весьма значительны. «Московский наблюдатель» — это журнал, сплотивший таких литераторов, как, например, Шевырев, Погодин, Мельгунов, Хомяков, — людей антидемократического направления, ранее в какой-то степени стремившихся сблизиться с Пушкиным, но в 30-е годы все более к нему охладевавших. Позиции этого журнала были так определены «Телескопом» (в котором сотрудничал Белинский): «По мнению «Наблюдателя» литература должна говорить языком высшего общества, держаться паркетного тона, быть эхом гостиных; и в этом отношении он простирает до фанатизма свою нетерпимость ко всему уличному, мещанскому, чисто народному». Пушкин, который буквально в таких же выражениях высмеивал в своих статьях «паркетный тон», вкусы «гостиных» и защищал народность в литературе, мог, конечно, только сочувствовать обличению позиций «Наблюдателя»²⁶.

После закрытия «Телескопа» Нащокин стал вести с Белинским переговоры о переезде в Петербург для работы в пушкинском «Современнике». «Теперь, коли хочешь, — писал Нащокин Пушкину в конце 1836 года, — он (Белинский. — Б. М.) к твоим услугам. Я его не видал, но его друзья, в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать». Это письмо было написано в конце 1836 года, незадолго до дуэли Пушкина.

. Демократизация пушкинского творчества постепенно ослабляла внутренние связи между Пушкиным и некоторыми из тех людей, которые были его друзьями: под покровом дружбы (иногда долголетней) здесь таились резкие противоречия. Отрицательное отношение Жуковского к идейному направлению пушкинского творчества, которое определилось к первой половине 20-х годов, теперь только прогрессировало. Отчетливо стали проявляться в 30-е годы, как уже упоминалось выше, принципиальные различия в позициях Пушкина и Вяземского, уже освободившегося к тому времени от вольнолюбивых увлечений молодости. Свидетельством принципиальных разногласий в непосредственном пушкинском окружении является и попытка В. Ф. Одоевского (вместе с Краевским) реорганизовать «Современник», ограничив руководство Пушкина журналом. В случае отказа Одоевский и Краевский намеревались прекратить свое участие в журнале²⁷.

Характерны и отрицательные оценки творчества Пушкина рядом его бывших единомышленников и почитателей. Баратынский в 1832 году осуждает «Евгения Онегина» как ученическое произведение и даже о Татьяне пишет, что она «не имеет особенности» (письмо И. Киреевскому). Языков в письмах к родственникам порицает за реализм «Полтаву», «Евгения Онегина», порицает сказки («не в пример хуже всего, что написано в сем роде Жуковским»), с недоброжелательством отзываясь о занятиях поэта историей Пугачева. Все большее укрепление Пушкина на путях народности и реализма способствовало охлаждению его отношений и к кругу литераторов, с которыми он ранее объединился в «Московском вестнике». В дневнике и переписке Погодина все отчетливее становится нарастание идейной вражды к Пушкину. Еще в 1826 году Погодин записывает свое первое впечатление от встречи с ним в злобных словах: «Ничего не обещающий снаружи человек». В дальнейшем положительно отзываясь о «Борисе Годунове» и некоторых других произведениях Пушкина, Погодин вместе с тем солидаризируется со статьями Надеждина, называвшего Пушкина «литературным Робеспьером» и осыпавшего его ругательствами за «простонародность» и «ничтожество предметов». Отрицательно оценивал Погодин и «Онегина». Титов в письмах к Погодину солидаризовался со

своим корреспондентом, а Мельгунов в письмах к Шевыреву оценивал творчество Пушкина в 30-х годах как уход от служения Аполлону²⁸.

Резко расходятся с такой оценкой творчества Пушкина отзывы о нем Белинского 30-х годов. «Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества; но мира русского, но человечества русского», — писал Белинский. Правда, и он в те годы, не зная ряд запрещенных цензурой пушкинских произведений, ошибочно пришел к выводу об упадке пушкинского творчества последнего периода. Однако он считал это явление временным. «Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних», — говорил Белинский в «Литературных мечтаниях». В дальнейшем под влиянием более глубокого постижения пушкинского творчества, а также той демонстрации всенародного гнева в связи с убийством Пушкина, которая нашла свое отражение в стихотворении Лермонтова «На смерть поэта», Белинский пересматривает свое раннее, неоправданно резкое и несправедливое мнение о том, что творчество Пушкина 30-х годов не отвечало требованиям времени. Глубоко потрясенный вестью о гибели Пушкина, Белинский писал Краевскому:

«Бедный Пушкин! вот чем кончилось его поприще!.. Как не хотелось верить, что он ранен смертельно... Один истинный поэт был на Руси, и тот не совершил вполне своего призвания. *Худо понимали его при жизни, поймут ли теперь?*»²⁹

Озабоченность тем, «поймут ли Пушкина теперь», проходит и в других письмах Белинского. Он приступает к переоценке его творчества. Изучение высказываний Белинского о Пушкине показывает, что переломным моментом в его взглядах на историческое значение поэта явился 1837 год. В письме к М. А. Бакунину от 16 августа 1837 года Белинский писал: «Пушкин предстал мне в новом свете, как будто я его прочел в первый раз». В письме к нему же от 1 ноября 1837 года Белинский сообщает: «Скоро примусь за статью о Пушкине; это должно быть лучшею моею критическою статьею». Вскоре он приходит к мысли о громадном значении Пушкина для современности: «Пушкин... выразил и исчерпал собою всю глубину русской жизни...», «... в раны Пуш-

кина, — продолжает он, — мы можем влагать персты, чтобы чувствовать боль своих и врачевать ее (русскую жизнь. — Б. М.)». В статьях и заметках, печатавшихся в эти годы, Белинский встал на защиту Пушкина, опровергая клеветнические измышления Булгарина и Греча, выступая против тех, кто пытался «поколебать треножник, на котором горит пламя поэзии великого национального поэта»³⁰.

В знаменитых одиннадцати статьях Белинского 1843 — 1846 годов оценка великого поэта произведена с позиций поколения революционных демократов. Белинский установил бессмертное, непреходящее значение творчества Пушкина не только в его время, но и для грядущих поколений, предсказал наступление эпохи, когда «он будет поэтом *классическим*, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство». Белинский говорил также о тех сторонах мировоззрения Пушкина, которые связывали его с прошлым; так, он подчеркнул генеалогические предрассудки Пушкина и утверждал, что он — поэт, «одною стороною принадлежащий настоящему и будущему... а другою своему настоящему... которое для нас уже прошедшее». Эта сложность мировоззрения и творчества Пушкина была обусловлена тем, что он оказался на рубеже двух эпох исторического развития России. Но он «принадлежал к числу тех великих исторических натур, которые, работая для настоящего, приготавливают будущее». Именно потому в 30-е годы мы видим, как в его взглядах и творчестве, несмотря на противоречия, возникают тенденции, ведущие вперед, к новому этапу передовой русской общественной мысли и русской литературы. Вот почему творчество Пушкина сыграло немалую роль в формировании взглядов молодого Белинского и молодого Герцена³¹.



НОВЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ



Пушкин у нас начало всех начал.

М. Горький



Глава первая

ПЕРЕВОРОТ В ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Цель художества есть идеал...

Пушкин

Изучение эстетического новаторства художников прошлого имеет свои особые трудности. Бессмертные пушкинские творения всегда будут волновать, учить, доставлять величайшее наслаждение, но восприятие их новаторской сущности осложняется рядом причин. Произведения Пушкина, которые в свое время показались дерзким нарушением канонов, теперь знакомы и привычны всем с детства. Открытые же им эстетические принципы, обогащенные достижениями его преемников, давно стали достоянием русской литературы. Рядом с Пушкиным в нашем сознании находятся его великие продолжатели — Лермонтов и Гоголь, Некрасов и Щедрин, Тургенев и Толстой, Чехов и Горький. Каждый из этих писателей внес в художественную культуру свое новое, качественно отличное от предшественников, но их пути — это пути, открытые Пушкиным, пути художественного реализма.

Все мыслящие современники воспринимали Пушкина как новатора, создателя нового мира искусства. Белинский, вспоминая о впечатлении, которое произвели в свое время первые поэмы Пушкина, писал, что они «отметили своим появлением *новую эпоху* в истории русской поэзии. Все, не только образованные, даже многие просто грамотные люди, увидели в них не просто новые поэтические

произведения, но *совершенно новую поэзию*, которой они не знали на русском языке не только образца, но на которую они не видали даже намека. И эти поэмы читались всею грамотною Россиею; они ходили в тетрадках, переписывались девушками, охотницами до стишков, учениками на школьных скамейках, украдкою от учителя, сидельцами за прилавками магазинов и лавок. И это делалось не только в столицах, но даже и в уездных захолустьях».

Далее Белинский продолжал: «Явись теперь на Руси поэт, который был бы неизмеримо выше Пушкина, его появление уже не могло бы наделать столько шума, возбудить такой общий, такой страстный энтузиазм, — потому что после Пушкина поэзия уже не невиданная, не неслыханная вещь». Другой современник, И. А. Гончаров, вспоминал много времени спустя о своем знакомстве с поэзией Пушкина опять-таки как об открытии совершенно нового мира: «Боже мой. Какой свет, какая волшебная даль открылась вдруг и какие струи правды и поэзии и вообще жизни, притом современной, понятной, хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках!»¹

Расширение читательской аудитории, о которой вспоминал Белинский, и новаторство Пушкина были явлениями исторически связанными.

Я хочу, чтоб меня поняли
Все от мала до великого, —

эти слова Пушкина (мельком сказанные им в одном из ранних произведений и явившиеся тогда скорее еще смутным стремлением, чем осознанной декларацией) выразили настойчиво диктуемую жизнью тенденцию к демократизации искусства, к расширению его идейного содержания, тем и образов.

Новые веяния в литературе и искусстве, если их рассматривать вне связи с движением жизни, с развитием самой действительности, всегда будут представляться как нечто случайное, лишенное внутренних закономерностей. Именно так, например, зачастую освещался в дореволюционном искусствознании крупнейший поворот в русском художественном творчестве начала XIX века к новому объекту искусства — человеку из народа с его представ-

лениями, думами, чаяниями, — явление, столь необычное для эстетики феодально-крепостнического общества. В то время в живописи, нарушая привычные каноны, вместо императоров, полководцев и вельмож стали появляться полотна, изображающие труд и быт крестьян, чудесные образы деревенских ребятишек и вместе с этим русский пейзаж — не декоративный, подстриженный дворцовый пейзаж, а именно естественный, высокопоэтический в своей простоте и задушевности. Чем было вызвано такое новшество? Касаясь этого вопроса, Александр Бенуа восклицал: «Откуда появился наш Венецианов?» Бенуа утверждал, что «ничто в русской живописи как будто не предвещало его появления». Между тем появление Венецианова предвещала жизнь. Не случайно Венецианов участвовал как художник в Отечественной войне 1812 года; к крестьянской теме он перешел в начале 20-х годов, когда подъем освободительного движения отразился на всех сторонах русской жизни².

В героическую эпоху Отечественной войны и декабристов формировался открывший новые пути русской музыкальной культуры гений М. Глинки. Еще в начале творческого пути он использовал в своих произведениях русский музыкальный фольклор, в частности народные песни смоленских партизан, а для своего первого монументального оперного произведения выбрал сюжет о простом русском крестьянине Иване Сусанине, тот же сюжет, что в одной из Дум Рылеева.

И еще пример, из области, казалось, наиболее отдаленной от общественно-политической борьбы. Подъем национального самосознания внес изменения даже в такой «консервативный» вид искусства, как балет. На балетных сценах петербургских и московских театров, где раньше допускались преимущественно феерические представления и где порхали нимфы и купидоны, также стали появляться образы простых русских людей, причем в сюжетах, непосредственно связанных с современностью — с войной 1812 года. Так, в скорбные для всей России дни занятия Москвы Наполеоном в Петербурге шло балетное представление «Любовь к отечеству» о крестьянах в народном ополчении, сопровождавшееся патриотическими манифестациями³.

В свое время вульгарные социологи в искусствознании и литературоведении не замечали этих изменений, так

как единственным критерием прогрессивности искусства пушкинского времени для них было выраженное только в прямой, непосредственной форме обличение крепостного права и абсолютизма. Поэтому они не могли понять и того, что при всей идейной ограниченности мировоззрения Венецианова или Тропинина изображение ими крестьян объективно связано с самыми передовыми политическими идеями пушкинского времени. Точно так же и значение творчества Пушкина вульгарные социологи видели только в прямом обличении существующих политических порядков, хотя очевидно, что историческое значение его не ограничивается только этой, правда сыгравшей огромную роль функцией. Вульгарно-социологические ошибки подобного рода давно стали ясны, и все же пережитки их ощущаются до сих пор, и не только, например, при изучении Пушкина в средней школе (где его произведения еще рассматриваются преимущественно как иллюстрации к гражданской истории, безотносительно к их эстетической ценности), но и в освещении такой важной проблемы, как реализм Пушкина. При этом остается совершенно непонятым, почему не Радищев, а именно Пушкин ознаменовал новую эпоху в художественном развитии: ведь Радищев более последовательно, открыто и остро обличал самодержавие и крепостничество (к тому же Радищев иногда и характеризуется как реалист). Непонятым остается тогда и другое — почему стихи Пушкина, обличающие крепостное право, продолжают волновать наших современников, хотя оно давным-давно ликвидировано. Здесь на помощь обычно приходит спасительная формула о «художественном совершенстве» произведений Пушкина, о мастерстве, которое чаще всего рассматривается как мастерство формы, — поэтического языка, сюжета и т. д. При всем богатстве и ценности ряда существующих работ о новаторстве и мастерстве Пушкина — до сих пор еще мало изучен вопрос о сущности переворота, который Пушкин совершил в эстетических представлениях своего времени, о его эстетическом идеале, открывшем новую эпоху искусства и сохранившем свое значение на века. Задача это сложная и трудная, и она может быть решена во всем своем объеме только коллективными усилиями многих ученых. Но совершенно несомненно, что достижения советского литературоведения подготовили почву для ее разрешения.

При характеристике новаторства Пушкина как художника понятие эстетического идеала с первого взгляда может показаться узким и ограниченным. Сам термин этот, в свое время захватанный и опошленный сторонниками идеалистической эстетики, долгое время вызывал испуганную настороженность и вообще не употреблялся в критике и литературоведении. Только теперь он обретает права гражданства. Только теперь мы начинаем задумываться над смыслом слов Пушкина — «цель художества есть *идеал*», начинаем вспоминать, что вопрос об идеале и его эстетическом содержании волновал многие поколения выдающихся писателей, критиков, представителей передовой эстетической мысли. Но как говорил Декарт (и эти слова любил повторять Пушкин), «определяйте значение слов, и вы избавите свет от половины заблуждений». Поэтому, прежде чем перейти к вопросу об эстетическом идеале Пушкина, условимся о содержании самого термина.

Эстетический идеал — разновидность общего понятия «идеал», под которым подразумевается обобщение стремлений и целей, вдохновляющих человеческую деятельность. Понятие идеала является вместе с тем и критерием, мерой оценки человеком своей деятельности и всего окружающего. Известно, что идеалы людей — прогрессивные и реакционные — определяются их мировоззрением, классовым положением в обществе, что идеалы меняются в зависимости от смены исторических эпох и вместе с тем сохраняют определенную преемственность, что одни идеалы являются реальными, опираются на тенденции развития жизни, а другие — ложными и неосуществимыми. Известна также огромная роль идеалов в общественном развитии. Быть может, наиболее проникновенно сказал об этом Салтыков-Щедрин, обратившийся к читателям с призывом: «...воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень». Передовые идеалы — это не воздушные замки, не беспочвенные мечтания; «в сущности же они представляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а результат всего лучшего и человеческого, заветного первым и вырабатывающегося в последнем»⁴.

Эстетический идеал — это специфическая форма общественного идеала. Он проявляется в идейно-направленных

эстетических оценках явлений действительности — одних как прекрасных, других как уродливых, безобразных или же как совмещающих те и другие черты. Эстетические оценки свойственны не только искусству, они являются одним из элементов человеческой практики вообще, элементов познания окружающего мира *.

Эстетический идеал в искусстве — это прежде всего эстетически оценочное представление о человеке, о его жизненных целях и стремлениях, о соответствии его облика понятиям, отвечающим интересам данного класса. Если этот класс (или общественная группа) является в той или иной степени представителем народных интересов, то и эстетический идеал в таком случае отражает народные представления о прекрасном в жизни. Следовательно, одним из первых моментов изучения эстетического идеала является определение его социального содержания, степени соответствия объективным тенденциям исторического развития, степени его народности. При этом следует учитывать, что эстетический идеал в искусстве не обозначает, как это утверждали философы-идеалисты, ограничение сферы искусства только изображением прекрасного. Отражая все многообразие действительности, в том числе уродливые и отрицательные явления, художник оценивает их в свете определенного эстетического идеала. Как показал еще Чернышевский в споре с С. Дудышкиным, идеал вовсе не должен обязательно представляться писателю гармонирующим с окружающей его жизнью, примиренным с действительностью. Более того, в истории были эпохи, когда раскрытие трагизма противоречия между идеалом и действительностью имело первостепенное общественное значение, если писатель исходил из желания видеть жизнь иной, преобразованной, видеть человека лучшим, чем он есть, воодушевить его желанием *борьбы* за воплощение идеала в действительность⁵.

При изучении эстетического идеала Пушкина мы исходим также из общего методологического положения о взаимной зависимости содержания *эстетического идеала* и *художественного метода* изображения жизни в произведениях искусства. На наш взгляд, эта взаимная зависи-

* Более подробно эта тема рассматривается в моей книге «Вопросы литературы и эстетики».

мость является одной из объективных закономерностей искусства. В книге, посвященной специальной теме — Пушкину, нет возможности, разумеется, подробно обосновать этот тезис и поэтому придется ограничиться несколькими примерами (существенными, впрочем, и при изучении пушкинской художественной системы).

Взаимная зависимость содержания эстетического идеала и метода его воплощения в художественном творчестве сказалась в сильных и слабых сторонах античного искусства. Эстетический идеал античности с его критериями гармоничной уравновешенности, законченной пластичности, умиротворенной просветленности как высшей красоты, идеал, воплощенный в «Илиаде» и «Одиссее», в скульптурных образах Зевса, Аполлона, Венеры Милосской, в олицетворяющих гражданскую доблесть эпических образах Греции и Рима, во фронтонах и портиках Парфенона, — этот идеал будет всегда вызывать восхищение и будить возвышенные чувства. Но «прекрасное детство человечества», как говорят об эпохе античности, отличается не только очарованием детства, но и ограниченностью представлений, ограниченностью видения мира. Ведь и то время, как мы знаем, не было лишено трагических диссонансов, непримиримых противоречий, и тогда жизнь человеческая протекала не только в гармонической уравновешенности форм, а представляла собою поток, в котором одновременно существовали и смешивались в нечто единое трагическое и комическое, «высокое» и «низкое», добро и зло, логически оправданное и случайное, — все то, что на следующих этапах человеческой истории, с развитием общественных противоречий, достигло несравненно большей остроты. В древности мифология, как заметил Маркс, была почвой искусства, и действия человеческой личности объяснялись божественными силами. Все это вместе взятое обусловило и особенности творческого метода в искусстве античности, не позволявшего глубоко вскрывать различия между внешностью явления и его внутренней сущностью, метода, исходившего в изображении человека из заранее установленных норм должного, располагавшего только такими средствами типизации, которые очень ограничивали внимание к индивидуальному своеобразие личности, к разнообразию обстоятельств, определяющих различные проявления характера. Поэтому в дальнейшем

идеал античности обнаружил свою односторонность. Бурные столкновения классовых интересов, все более нараставший антагонизм между народом и его угнетателями, новые, исторически более высокие, чем в античности, общественные идеалы, расширение борьбы «низов» и «верхов», сил реакции и прогресса до всемирных масштабов и невиданный ранее драматизм событий — все это в последующие эпохи постепенно отдаляло идеал античности от современности, усиливало на нем налет «музейности». Прав был Герцен, восторгавшийся античным искусством, но в ответ на вопрос о том, удовлетворяет ли оно всему, чего жаждет душа, отвечавший: «В греческих статуях везде выражается спокойное наслаждение, торжество меры, торжество равновесия, торжество красоты, но с тем вместе вы видите, что покой достигнут, потому что требование было неполно, потому что олимпийцы удовлетворялись немногим». А говоря об искусстве Возрождения, он же сказал: «В очах нового идеала светилась иная глубина, иная мысль, нежели *в открытых глазах без зренья греческих статуй*»⁶.

Выдвижение нового эстетического идеала, открывающего новые пути искусства, всегда связано с крупнейшими поворотами в общественном развитии. Так, возникновение реализма в качестве художественной системы, нового принципа изображения действительности, связано с эпохой Возрождения, ознаменовавшей новую всемирную эпоху человеческой истории. В это время, по определению Энгельса, «возникла новая, первая современная литература». Идеал человека Возрождения, впервые осознавшего возможность изменения жизни в результате собственных усилий, не зависимых от божественных сил, человека, воодушевленного пафосом новаторства, героическими стремлениями, обладающего неиссякаемой творческой энергией, могучей силой жизнеутверждения, непримиримой враждой ко всем средневековым регламентациям, — этот идеал требовал для своего воплощения нового художественного метода. В битве двух миров, — феодального и буржуазного, когда буржуазия еще представляла народные интересы, метод реализма помог выполнить великую роль срывания всех покровов с овеванного религиозной романтикой, но жестокого, антигуманистического мира средневековья, разрушить иллюзорность упований на неземное счастье, раскрыть подлинный

лик рыцаря и феодала, показать, что плебеи своими нравственными качествами превосходят тех, кто ими повелевают. С другой стороны, величие эстетического идеала нового времени, воплощенного тогда прежде всего в творчестве Шекспира, заключалось в том, что он утверждался в процессе изображения людей не идеализированных, а воспроизведенных во всей противоречивости их мыслей, чувств, поведения, противоречивости, вызванной определенными обстоятельствами и вместе с тем получающей ясную и четкую оценку художника. Великая практическая роль такого способа изображения жизни заключалась в том, что искусство стало, как никогда раньше, помогать познанию людей; бесконечное разнообразие людских характеров, обусловленное различием индивидуального склада, классовой и национальной принадлежностью, могло быть отныне сведено к определенным типам, действия которых получили объяснение в практических мотивах, устанавливаемых при помощи художественного анализа. Как и общественные идеалы вообще, новые эстетические идеалы утверждались в борьбе со старыми, реакционными, причем эта борьба происходила не только в сфере духовной, но принимала также и свое, так сказать, вещественное выражение. Достаточно напомнить преследования прогрессивных художников в эпоху Возрождения или такие факты, как сожжение религиозными фанатиками живописных полотен, которые придавали образу мадонны чисто человеческие, «земные» черты⁷.

Развитие эстетических идеалов и художественных методов изображения жизни, зависящее в конечном счете от изменения экономической структуры общества со всеми его надстройками, имеет и свои закономерности. Этими закономерностями объясняется неравномерность развития искусства в различных странах на одинаковых стадиях развития общественных формаций, а также противоречия между содержанием эстетического идеала и художественным методом искусства. В определенные эпохи содержание новых эстетических идеалов опережает развитие нового художественного метода, что отражается в различного рода противоречивости художественного творчества, сказывается на его эстетической ценности. Такого характера противоречивость свойственна, например, творчеству А. Н. Радищева. Произведения его по уровню идеалов, в том числе идеала эстетического, наиболее полно и ярко

выражали народные интересы не только в XVIII веке, но и вплоть до появления эстетики революционных демократов 40—60-х годов XIX века. Но художественный метод его — это не реализм, как система, а оригинальный сплав просветительского рационализма, классицизма с элементами сентиментализма (этот сплав, однако, нельзя рассматривать как эклектическую систему, а как попытку создать нечто новое). Г. П. Макогоненко в монографии «Радищев и его время» на большом материале убедительно доказал, что демократизм взглядов Радищева отражает подъем крестьянского движения в конце XVIII века, что его оценки современной действительности выражают стремление к революционной ломке существовавших общественных отношений. Л. И. Кулакова в монографии, посвященной эстетическим взглядам Радищева, охарактеризовала материализм этих взглядов. Радищев исходил из убеждения, что основой признания предмета прекрасным являются качества самого предмета, что «красота мира» живет независимо от человека, но он — «венец сложный вещественных» — может творить новые образцы красоты. Эстетический идеал Радищева был направлен против господствовавших в то время взглядов, против «выуряненного благоличия» классицизма, против эстетических основ дворянского сентиментализма. Многие во взглядах Радищева предвосхищает эстетику реализма: его признание активности человеческой личности, понимание определенного влияния общественной среды и обстоятельств на характер, отказ от взгляда на искусство как «украшенное подражание природе»⁸.

Все это у Радищева не сведено в систему и высказано в форме отдельных замечаний, мыслей, догадок, но тем не менее свидетельствует о том, что в понимании сущности задач, принципов искусства он далеко опередил свое время. С эстетическим идеалом Пушкина в самый зрелый период его развития можно сопоставить выдвижение Радищевым образа героя из народа в качестве объекта искусства, отказ от взгляда на изображение жизни социальных низов как «низких», недостойных искусства «предметов», оценку фольклора как источника познания «души нашего народа» и т. д. Самым главным свидетельством преемственности Пушкина по отношению к Радищеву является его собственное признание: «...вслед Радищеву восславил я свободу...» То, что

Радищев был литературным спутником Пушкина на всем протяжении его творческой деятельности, теперь уже достаточно доказано. Но эстетический идеал Радищева требовал для своего воплощения именно реалистического метода творчества, который в русской литературе еще не выработался по условиям времени. Кроме того, для этого нужен был художественный гений, подобный гению Пушкина. Все это объясняет, почему творчество Радищева, имевшее колоссальное значение во многих отношениях, тем не менее не явилось утверждением новой эпохи искусства, почему не Радищев, а Пушкин стал родоначальником новой русской литературы. Оценки Пушкиным художественных недостатков «Путешествия из Петербурга в Москву» своей резкостью смущают исследователей и заставляют искать этому какие-то внешние причины (вплоть до желания умиротворить цензуру), но справедливость некоторых из этих оценок (о тяжелом и «высокопарном слоге» многих мест книги, об элементах сентиментализма — «чувствительности» и др.) трудно оспаривать: ведь художественная форма «Путешествия» во многом принадлежит все же XVIII веку. Поэтому кажутся искусственными современные попытки представить художественную систему Радищева как реалистическую (речь может идти лишь о реалистических элементах и тенденциях). Здесь сказывается свойственное многим литературоведческим работам отождествление понятий «реализм» и «правдивость». Но, по верному замечанию Я. Е. Эльсберга, «правдивость свойственна не только реализму, но в нем она неразрывно связана с изображением типических, глубоко индивидуализированных характеров в типических обстоятельствах»⁹.

Переворот в эстетических представлениях, предполагающий выдвижение нового эстетического идеала, новых художественных средств, происходит в условиях, когда действует совокупность ряда исторических факторов; среди них, кроме условий непосредственно политического характера, кроме связи искусства с освободительным движением, с настроениями народных масс, необходимым условием является освоение духовных ценностей, накопленных и соотечественниками и деятелями культуры других народов. В эпоху, когда складывалась художественная система Пушкина, ее возникновению способствовали все эти факторы. Признаки (хотя еще в начальной стадии)

разложения феодально-крепостнического строя; слияние национального подъема (вызванного победой над наполеоновской Францией) с борьбой против феодальных пут во всех областях общественной жизни; кристаллизация противоречий между крепостниками и крестьянской массой, при которой отчетливо выступала антигуманистическая сущность всего существовавшего строя; непрекращающиеся крестьянские восстания и выступление первых русских революционеров; стойкая традиция просветительства и демократизма в предшествующей русской литературе — все это было предпосылками коренных изменений, внесенных деятельностью Пушкина в эстетические представления своего времени.

Художественная система Пушкина, сложившаяся на почве национальной, имеющая своими корнями русскую действительность, явилась вместе с тем результатом критического освоения и переработки опыта не только предшествующей русской, но и всей мировой культуры. Оценки Пушкиным различных этапов развития мировой литературы интересны не только своей верностью и проницательностью, но важны и с другой точки зрения: они свидетельствуют о высоте того критерия, исходя из которого Пушкин как новатор, создающий новую художественную систему, судил о литературе прошлого. Этим критерием было единство правдивости («истины»), идейности, народности и художественности. Нарушение любого из элементов этого единства чутко отмечено Пушкиным в его суждениях о литературе.

Разумеется, этот критерий, о котором упомянуто выше, окончательно сложился у Пушкина в пору творческой зрелости, но к нему поэт шел, начиная с первого периода своей творческой деятельности. Так, античность первоначально была воспринята Пушкиным в аспекте мифологической символики, своей декоративно-мифологической, номенклатурной стороной. Вторжение мифологической символики в стихи лицейского периода ограничивало изображение действительного мира. На явления повседневного быта накладывались «кальки», стиравшие их своеобразие, затруднявшие проникновение в их сущность. Так, даже в стихотворном обращении юного лицеиста к крепостной девушке мелькали Купидоны, Зефиры, Амуры, а живые лица приобретали условные облики Клита, Дориды, Ариста и т. д., поэты именовались «Фе-

бовыми жрецами», воины—«чадами Белоны» и т. д. Однако, как отметил Д. П. Якубович, уже в Лицее Пушкин «ярко и оригинально прорывается к глубокому пониманию ряда реальных явлений античности, а не только их условной или живописно-мифологической стороны». Он различает в благополучной античности гул «народного волнения», столкновение сил свободы и угнетения («Лицинию»), постепенно усваивает традиции гражданской патетики античного искусства, переосмысляя их в духе требований современной русской жизни. Нормативность античной образности и условная мифологическая символика, ограничивающая возможности поэзии, с дальнейшей эволюцией Пушкина все полнее осознаются им как противоречащие новым требованиям изображения действительности: в его послелицейском творчестве резко сокращаются, а затем почти исчезают приемы подобного рода использования античных мотивов и античной символики. В его поэзии античные образы возникают или в их непосредственности (а не условности), или в системе политических иносказаний и намеков на современность (большей частью вынужденных цензурными условиями). «Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову» (1825) является не только остроумной и злой пародией на конкретных поэтов—современников Пушкина, но и осуждением самого принципа игры мифологическими именами, чуждого подлинному восприятию античности и несовместимого с требованиями изображения окружающей жизни в ее бытовой конкретности. Но никогда Пушкин не переставал ценить «великолепную, классическую, поэтическую Грецию, где все дышит мифологией и героизмом», классическую ясность, гармоническую стройность античного искусства — то, что вошло как элемент в его поэтическую систему¹⁰.

В аналитическом отборе всего ценного, в критике устаревшего и мешающего борьбе за новый эстетический идеал и новый художественный метод выражалось и отношение Пушкина к западным литературам. В статье «Пушкин и западные литературы» В. М. Жирмунский пишет: «Отношение Пушкина к западным писателям было различным на разных этапах его творчества»¹¹. Это заключение можно распространить на отношение Пушкина к эстетическим идеалам и художественным методам различных писателей Запада. Юный Пушкин по традиции с благоговением упоминает имена классиков французской

литературы XVII века — Расина, Мольера, Буало. Не отрицая и в дальнейшем исторического значения этих писателей, но, подходя к ним с позиции более высокой в смысле идейно-эстетическом, Пушкин вскрывает социальную узость классицизма. В 1823 году он призывает Вяземского уничтожить в критической статье «маркизов классической словесности», а в 1834 году дает тончайший анализ социальных причин, обусловивших аристократический характер французского классицизма: «Словесность сосредоточилась около трона... Академия первым правилом своего устава положила: хвалу великого короля». В таких условиях, как отмечает Пушкин, и образовалась «вежливая, тонкая словесность, блестящая, аристократическая — немного жеманная, но тем самым понятная для всех дворов Европы». Признавая достоинства французских классиков этой эпохи — «истинно великих писателей, покрывших таким блеском конец XVII века», Пушкин вместе с тем решительно отвергал их эстетическую систему в основных ее принципах: «пристрастие к королям», отказ от изображения народа и отдельных его представителей в высоких жанрах, однолинейность характеров, сведение конфликтов к борьбе страстей вместо раскрытия обстоятельств, обуславливающих поступки, и т. д. Пушкин не отрицал прогрессивных элементов, которые были в трагедиях Расина и Корнеля, прославлявших величие подвига во славу отчизны, понятия чести, долга, самоотверженности. Это давало основание Пушкину заметить: «Расин велик, несмотря на узкую форму своей трагедии». Пушкину было, конечно, известно, что великие деятели Франции видели в произведениях своих классиков не только аристократические пристрастия, иначе Робеспьер не ездил бы смотреть Расина в *Théâtre Français* и не читал бы его трагедию «Британик» своей Эленоре.

Конечно, гражданственность классицизма не выходила за рамки идеологии просвещенного абсолютизма, но ведь в то время, по определению Маркса, «абсолютная монархия выступает в качестве цивилизующего центра, в качестве основоположника национального единства». Цивилизующую роль выполнял и классицизм во многих отношениях и, в частности, выступая против мистической туманности и церковной схоластики средневековья. Пушкин отдавал должное «смелости изобре-

ния» Мольера, высоко ценил «Тартюфа», противопоставлял ясность Буало запутанности образной системы французских романтиков. Но тем не менее и эстетический идеал французских классиков XVII века, насколько он был выражен в выборе героев, и их художественный метод, «боязливые правила» их поэтики были для Пушкина в основе своей неприемлемы и консервативны¹².

Более сложным представляется с этой точки зрения отношение Пушкина к французскому просвещению XVIII века. Ему был дорог и близок свойственный этому великому движению пафос новаторства, критицизм, четкая идейная направленность литературного творчества, социальная определенность характеров. Именно это он имел в виду, когда писал об условиях возникновения французского просветительства: «Новые мысли, новое направление отозвались в умах, искавших новизны. Дух исследования и порицания начинал проявляться во Франции». Деятельность просветителей и особенно Вольтера — «великана сей эпохи» — Пушкин расценивает как прямую духовную подготовку французской революции: «Старое общество созрело для великого разрушения». Замечания о французских просветителях, рассыпанные в пушкинских статьях, заметках, письмах, художественных произведениях, говорят о том, как много родственного видел Пушкин в их идеале, включавшем в себя политическое и религиозное вольнодумство, веру в мужество человеческого разума и в силу передовых идей, пафос новаторского отрицания всего, что связано с ограничением свободы личности. Но он ясно видел неполноценность художественного метода просветителей XVIII века, отмеченного отвлеченным рационализмом и поэтому сводившего искусство большей частью к беллетризированной иллюстрации умозрительных истин. Именно так нужно понимать слова Пушкина: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя». Разъясняя эту свою мысль, Пушкин упоминает Вольтера и пишет: «Он 60 лет наполнял театр своими трагедиями, в которых, не заботясь ни о правдоподобии характеров, ни о законности средств, заставил он кстати и некстати выражать правила своей философии». В своей оценке Вольтера как художника Пушкин сделал исключение только для «Орлеанской девственницы»: здесь он «однажды в своей жизни становится поэтом». Влияние

Вольтера, по мнению Пушкина, в итоге двойственное. Его «разрушительный гений» положил начало новому направлению в литературе, остро обличительному, критическому. Тем самым был положен конец идеалу незыблемости старого порядка, который был утвержден литературой при Людовике XIV. Но дидактизм Вольтера как художника сказался отрицательно на развитии искусства, в частности и в том, что «роман делается скучной проповедью».

Во всей предшествующей Пушкину мировой литературе наиболее высоко ценил он творческие принципы Шекспира, — «отца нашего», по его выражению. Об оценке Пушкиным шекспировского творческого метода мы подробнее поговорим далес. Пока же отметим, что существенно новым в развитии искусства Пушкин считал не только открытые великим английским драматургом «законы драмы», но его широкий демократизм, его народность. «Это был гениальный мужичок!» — сказал однажды о Шекспире Пушкин (по записи Кс. Полевого). Эти слова не будут восприниматься как парадокс, если мы вспомним, как ценил Пушкин «низкий» (по мнению пуристов) шекспировский слог, а также как возмущался он «исправительными переводами» Шекспира, которые делались приверженцами салонной «благопристойности»¹³.

Таким образом, из оценки Пушкиным предшествующей ему мировой литературы следует, что, воспринимая все ее богатство и отбрасывая, не считаясь с авторитетами, то, что казалось устаревшим и ненужным, он внимательно учитывал все, что могло служить делу развития национальной русской литературы, что было важно для борьбы за новую, оригинальную, неповторимую в своем своеобразии художественную систему.

Белинский, характеризуя новаторство Пушкина, говорил, что *«стих Пушкина, в самобытных его пьесах, вдруг как бы сделавший крутой поворот или резкий разрыв в истории русской поэзии, нарушивший предание... явил собою, что-то небывавшее, не похожее ни на что прежнее...»* Развивая эту мысль, Белинский утверждал, что Пушкин был первым поэтом, который приобщил Россию к литературе как художеству, как искусству¹⁴.

Как следует истолковывать эту мысль Белинского? Означает ли она, что до Пушкина в России не было ис-

кусства слова? Конечно, нет. И до Пушкина в России были крупные писатели — представители разных школ и направлений.

Классицизм в России, как и на Западе, был явлением исторически закономерным и прогрессивным. В пору своего расцвета он утвердил в литературе критерий оценки действий человека с точки зрения разума, логической оправданности, государственной необходимости. Передовым представителям русского классицизма, и прежде всего Кантемиру, Ломоносову, Державину, принадлежит огромная заслуга в разработке темы патриотизма, прославления могущества русского государства, силы, одаренности, великой будущности русского народа. Но неразвитость общественной жизни в XVIII веке обусловила ограниченность классицизма, препятствующего дальнейшему прогрессу искусства.

Согласно правилам классицизма, в художественном творчестве все оказалось регламентированным: и темы, и объекты изображения, и жанры, и литературные стили. Рассудочность классицизма, будучи возведенной в догмат, явилась серьезнейшей преградой для свободного и полного воплощения в литературе самой специфики искусства, чувственного, конкретно-образного изображения действительности.

В поэтике классицизма художественность понималась преимущественно как украшение логически развиваемой идеи, а не как органическое развитие самого образа. Тем самым элемент творческий поэтика классицизма сжимался до предела. Это сказывалось на всем — на композиции произведения, на способе развертывания сюжета, на структуре образа. Так, автор поэмы был обязан заявить в ней о своей теме, о цели произведения, мотивировать выбор объекта, разъяснить характер его трактовки. Естественное развитие художественных образов подменялось логизированным развитием главной и побочных идей, на которые как бы *навешивались* для большей впечатляемости элементы образности. Не доверяя читателю, автор подытоживал в эпилоге содержание поэмы¹⁵. Эстетический идеал классицизма заключался не в том, чтобы раскрывать прекрасное в движущейся и изменяющейся действительности, а в том, чтобы рисовать идеальных героев согласно заранее определенным нормам.

Пушкин неоднократно высмеивал эти принципы. В третьей главе «Евгения Онегина» он так говорил о классицизме с его пониманием идеального героя:

Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда несправедливо гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

А в седьмой главе «Евгения Онегина» пародируется обычное начало поэмы классицизма:

*Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкривь
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступление есть.*

Сатирическое задание этого «вступления» подчеркивается тем, что им *заканчивается* седьмая глава.

Догматы классицизма в корне противоречили принципам художественного реалистического мышления. Однолинейность образа, описание, а не картинное изображение явления в его существенных чертах — все это ограничивало возможности художественного творчества. Писатель, который последовательно придерживался принципов классицизма, не ставил перед собой задачу сложного раскрытия человеческого характера с его иногда глубоко скрытыми чертами. Типы чаще всего определялись номенклатурно: достаточно было именовать героя «Ханжахин» или «Взяткин», чтобы облик его сразу стал ясен. Развитие характера подменялось описанием поступков героя для доказательства его положительной или отрицательной сущности.

При таком подходе к искусству поэма могла заключать не только сотни, но даже тысячи стихов, ибо размер поэмы диктовался не задачей полного развития характеров, обусловленного обстоятельствами, и не органическим развитием сюжета и образов, а количеством логических доказательств и развертыванием «украшенных» суждений и умозаключений.

Главной задаче искусства — всестороннего раскрытия внутренней сущности явления и его развернутой эстетической оценке — противоречили и те принципы классицизма, согласно которым изображение явления или предмета подменялось описанием его признаков. Так, Тредиаковский, задумав «Оду в похвалу цветку розе», подробно описывает розу путем перечисления ее свойств, и хотя в стихотворении почти шестьдесят строк, оно все-таки не воссоздает конкретно-чувственного образа розы. Стоит только сопоставить это стихотворение Тредиаковского с юношеским стихотворением Пушкина «Роза», в котором одно только короткое поэтическое определение *«дитя зари»* говорит о прелести и вместе с тем недолговечности розы, чтобы ощутить два принципиальных различных метода изображения.

Консервативные элементы классицизма, стеснявшие развитие искусства, были закреплены в качестве норм эстетикой господствующего класса. Именно эти нормы не допускали в область литературы так называемые «низкие предметы» и «низких героев», ограничивали кругозор художника только изображением парадной, часто даже официозной стороны жизни, исключали изображение противоречий действительности.

Утверждая, что Пушкин был первым поэтом, открывшим России поэзию как искусство, Белинский имел в виду воплощение в произведениях Пушкина нового художественного метода, позволявшего воспроизводить в литературе жизнь во всей ее полноте, сложности и многообразии, в живописно яркой, образной форме¹⁶.

Принципы реалистического художественного мышления не могли раньше стать достоянием искусства в силу неразвитости общественной жизни. Только общественное движение, в котором так или иначе отражался мощный подъем народной жизни, могло вызвать новую эпоху в искусстве, эпоху художественного реализма. Этой эпохой и явились первые десятилетия XIX века. Но свою

художественную систему Пушкин создавал, основываясь на лучших традициях всей предшествующей ему литературы. Этому не противоречит резкость, с которой он судил о недостатках даже самых выдающихся писателей прошлого, оценивая их не только с точки зрения их значимости для эпохи, когда они были написаны, но и рассматривая их объективные художественные ценности с позиции современных требований. Эти особенности критического подхода Пушкина определили и характер его кажущихся с первого взгляда противоречивыми высказываний о Ломоносове. Пушкин на протяжении всей своей жизни отзывался о Ломоносове как о человеке, который «обнял все отрасли просвещения», был «первым нашим университетом», величайшей гордостью русской культуры, «отцом русской поэзии»; он отмечал его огромную роль в развитии русского языка. Но, начиная с середины 20-х годов, когда Пушкин переходит на реалистические позиции, он начинает критиковать поэзию Ломоносова. Хваля «слог его ... цветущий и живописный», Пушкин подчеркивал, что главным занятием Ломоносова были науки точные, а стихотворство же представлялось «иногда забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувства и воображения». Обо всем этом Пушкин говорил в 1825 году, а в 30-х годах он повторил и развил свою оценку. Если подытожить все, что Пушкин писал о Ломоносове как поэте, то мы приходим к следующему выводу: поэтические произведения Ломоносова имели в свое время большое значение. Но в дальнейшем развитии русской поэзии зачастую сказывалось влияние не только их лучших сторон, но и свойственные им усложненность, риторизм, высокопарность, изысканность. Чрезвычайно характерно, что в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», в которой Пушкин начал свою переоценку поэзии Ломоносова, он ставит высоко Крылова как поэта истинно народного и в числе его народных достоинств отмечает «насмешливость» (применительно к Крылову это следует понимать как сатирическую направленность творчества) и «живописный» способ выражаться (то есть образность).

Наиболее ценной для дальнейшего развития русской литературы струей в литературном наследии прошлого Пушкин (так же как впоследствии и Белинский) считал

сатирическую струю, и в этом отношении Ломоносов — поэт, писавший стихи преимущественно в одическом жанре, — непосредственно противопоставлялся зачинателю русской сатиры — Кантемиру (в одном из набросков Пушкина по истории русской литературы с сожалением замечено: «Влияние Кантемира уничтожается Ломоносовым»). О том, как ценил Пушкин сатирическую струю в русской литературе не только с точки зрения ее критицизма, но и за художественное достоинство произведений писателей этого направления, говорит его отношение к Фонвизину и, в частности, к комедии «Недоросль». Фонвизина Пушкин сопоставил с Грибоедовым как автором «Горя от ума»; его же он вспоминал, извещая читателей «Современника» о выходе в свет «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя: «Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!» Комедию «Недоросль» Пушкин определил как «единственный памятник народной сатиры». Значительность «Недоросля» для русской литературы и заключалась в типизации (хотя и ограниченной рационалистичностью и схематизмом), которая позволила и Пушкину рассматривать образы комедии как обобщающие.

В том же 1825 году, к которому относится критический пересмотр Пушкиным своих прежних оценок предшествующей литературы, он, заново перечитав Державина, сформулировал в письме к Дельвигу свое мнение о нем. На этот раз он судит о поэте с высоты нового эстетического идеала. И здесь мы видим эволюцию отношения от панегирического и безотчетно-хвалебного в лицейские годы к аналитическому — в зрелый период. Пушкин подчеркивает, что у Державина имеются «мысли, картины и движения истинно поэтические», но тут же добавляет: «Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника». Он утверждает: «Державин, со временем переведенный, изумит Европу», но тут же пишет, что он «не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии», «должен бесить всякое разборчивое ухо», «гений его можно сравнить с гением Суворова — жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом...» И здесь кажущееся противоречие. В действительности и этот отзыв Пушкина вскрывает

внутреннюю художественную противоречивость поэзии Державина, в которой многое предсказывало совершенно новые пути поэтического творчества. Но это новое было столь невыдержанно, сочеталось с таким архаическим отношением к слову и образу, что многие стихи Державина часто действительно кажутся «дурным вольным переводом с чудесного подлинника», хотя оригинальность этого поэта совершенно очевидна.

В творчестве Державина некоторые явления действительности изображены с небывалой ранее яркостью, непосредственностью. Он открыл в русской поэзии возможности отражения жизни в конкретной, чувственной форме, изображения предметного, красочного, звучащего мира. В его произведениях встречаются отрывки, которые являются как бы преддверием пушкинской поэзии, настолько они поражают своей образностью, художественными достоинствами. Таковы знаменитые строки в державинском «Видении Мурзы».

На темно-голубом эфире
Златая плавала луна,
В серебряной своей порфире
Блещаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.

Но в этом же произведении содержатся строки, которые совершенно противоречат элементарным требованиям художественности. Появление с облаков богини-царицы изображается следующим образом:

Одежды белая струилась
На ней серебряной волной,
Градская на главе корона,
Сиял при персях пояс злат;
Из черноогненна виссона,
Подобный радуге, наряд,
С плеча десного половою
Висел на левую бедру...¹⁷

Уже на основании этого стихотворения можно заключить, насколько прав был Пушкин, говоря, что «Державин, со временем переведенный, изумит Европу»: перевод, разумеется, сгладит свойственный Державину

стилистический разнотой, и поэтическая идея произведения выступит во всей своей художественной яркости и полноте. Понятен и отзыв Пушкина о Державине в письме к А. Бестужеву: «Кумир Державина, 1/4 золотой, 3/4 свинцовый, донныне еще не оценен». Может быть, эти пропорции «золота» и «свинца» Пушкин оценил слишком строго, но чистейшее золото поэзии, легкость и осязаемость образа действительно соседствовали у Державина с свинцовой тяжеловесностью, надуманностью, выпренности описаний, то есть с тем, что так отталкивало Пушкина в классицизме. «Высокое» и «низкое» не объединялось в художественное целое, получалось противоречие, большей частью разрушающее художественный образ, а иногда производящее даже комический эффект.

Резкость, с которой Пушкин осуждал пороки классицизма как художественной системы, может показаться не вполне оправданной, обращенной к уже не существующим противникам: ведь в эпоху, когда выступил Пушкин, классицизм как художественная система уже не имел ни одного выдающегося, активно действующего в литературе представителя. Как *направление* в искусстве классицизм был мертв. В письме к Вяземскому в 1824 году Пушкин писал: «Старая... классическая (поэзия. — Б. М.), на которую ты нападаешь, полно существует ли у нас? это еще вопрос?.. где столпы классические?» Действительно, «столпов» не было, но ставшие мертвыми и реакционными *нормы* классицизма искусственно поддерживались официозными кругами; с позиций классицизма велась и атака на Пушкина реакционной критикой. Если в пушкинский период система классицизма и не была представлена крупными писателями, то отдельные консервативные принципы и элементы этой системы проявлялись в литературе очень долго. Вот почему Пушкин не только в 20-х, но даже в 30-х годах выступал против классицизма и его пережитков.

Более живым направлением в эпоху Пушкина был сентиментализм, сыгравший на рубеже XVIII и XIX веков положительную роль в качестве переходного этапа в литературном развитии, когда господство классицизма уже кончалось, а время романтизма и тем более реализма еще не наступило.

Повести главы русского сентиментализма Карамзина * способствовали ниспровержению догматических правил классицизма, приближению литературы к жизни, утверждению права писателя на выбор тем из повседневного быта и на изображение внутреннего мира человека, его чувств и переживаний. О заслугах Карамзина именно в этой связи Пушкин писал М. П. Погодину в 1827 году: «У нас не то, что в Европе — повести в диковинку. Они составили первоначальную главу Карамзина». После тяжелого педантизма, напыщенности, торжественности ложноклассических произведений повести Карамзина воспринимались как нечто совершенно новое. Да и сам Карамзин подчеркивал противоположность своих принципов классицизму. Демонстративный, в этом плане, характер имел и его призыв «наслаждаться чувствительностью», и выдвижение темы «простого героя», «селянина» («Пусть Вергилии прославляют Августов! Пусть красноречивые льстецы хвалят великодушные знатных! Я хочу хвалить Фрола Силина, простого селянина»). Знаменитый афоризм Карамзина: «И крестьянки любить умеют» приобрел тогда значение девиза именно вследствие своей внутренней полемической направленности против врагов человечности. И все же деятельность Карамзина как художника не привела к разрыву со старым эстетическим идеалом, а знаменовала лишь изменения (правда, весьма существенные) в господствовавших взглядах. В качестве критика Карамзин иногда делал тончайшие замечания о путях художественного творчества. Так, недостатком трагедий Сумарокова он считал то, что драматург старался более описывать чувства, нежели представлять *характеры* в их эстетической и нравственной истине, а называя своих героев именами древних русских князей, «не думал соотносить свойства, дела и язык их с характерами времени». Но сам Карамзин был бессилен воплотить в жизнь сформулированные им принципы. Социальное содержание эстетического идеала дворянского сентиментализма ставило непреодолимые преграды раскрытию характеров «в их эстетической и нравственной истине», в их зависимости от «характера

* Элементы художественной системы сентиментализма, которые в другой идеологической функции нашли свое выражение в творчестве Радищева, не дают основания, разумеется, относить ни самого Радищева, ни близких ему писателей к этому направлению.

времени». В произведениях сентименталистов, идеальная человеческая личность сожалеет о мирском зле, но это сожаление меланхолическое и никогда не перерастает в активное сопротивление злу и в борьбу за его искоренение. Соответственно и художественный метод сентиментализма исключал аналитическое воспроизведение действительности, создание характеров, основанных на принципах, коренным образом противоположных классицизму. Вот почему даже в лучшей повести Карамзина «Бедная Лиза» разрешение конфликта не противоречит в своей основе принципам классицизма: бесконечные страдания Эраста — фактически убийцы Лизы — как бы искупают его вину. Добродетельные начала в герое торжествуют, порок наказан, а в эпилоге к тому же говорится о возможном примирении Лизы и Эраста за гробовой чертой. Вопрос о выяснении обстоятельств, порождающих подобные социальные драмы, и, следовательно, об устранении этих обстоятельств, то есть о преобразовании действительности, снимается Карамзиным, поскольку в его эстетической системе все, что служило объектом искусства, превращалось лишь в повод для чувствительных излияний; как утверждал Карамзин, что бы ни писал автор, он всегда будет писать лишь «портрет души и сердца своего». Идеал искусства охарактеризован Карамзиным в следующих строках:

...нежный вкус к поэзии имея,
Читай стихи — и верь единственно тому,
Что нравится тебе, что сказано прекрасно
И что с потребностью души твоя согласна.
Читай, тверди, хвали: хвала стихам венец.
*Поэзия цветник чувствительных сердец.*¹⁸

Эстетика сентиментализма исключала все выводящее поэта «из состояния приятной меланхолии», которая и признавалась высшим проявлением прекрасного (см. стихотворение Карамзина «Меланхолия»). Сентименталисты избегали изображать не только какие-либо политические потрясения, но даже «пожар природы». Отсюда уость, камерность, сюжетный характер лирики Карамзина (не случайно и сам он назвал свой сборник «Бездежки») и особенно его эпигонов — всякого рода Шаликовых, собирательный образ которых Пушкин иронически запечатлел еще в лицейском стихотворении «К Дельвигу» (1815);

«Ах! сударь, мне сказали,
Вы пишете стихи,
Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, ручейки,
Конечно, василечек,
Иль тихий ветерочек,
И рощи, и цветки...»

Все сказанное выше поясняет, почему прогрессивные элементы сентиментализма имели ограниченное временем значение, почему даже лучшие произведения Карамзина, сыгравшие в свое время положительную роль, были эстетически неполноценными, почему Пушкин, признавая заслуги Карамзина, отрицательно относился к принципиальным основам сентиментализма.

Окончательный разрыв Пушкина с сентиментализмом, элементы которого были свойственны его ранней лирике, отчетливо обозначился в конце 10-х годов. Одним из самых ярких показателей не только этого разрыва, но и активной борьбы с эстетическим идеалом и художественным методом сентиментализма, является разоблачение Пушкиным свойственных данному направлению представлений о крепостной деревне. Стихотворение «Деревня» (1819) внутренне полемическое и по своему идейному содержанию и по композиции. В первой части его дана типичная и для сентименталистской поэзии картина счастливого сельского бытия:

...ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты;

Везде следы довольства и труда.

Содержащееся здесь же признание поэта в разрыве с «порочным двором цирцей», с «толпой непросвещенной» подготавливают читателя ко второй части стихотворения, опровергающей идиллические представления о деревне.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает..

Далее гневно осуждена жестокость, бесчеловечность самой системы рабства, безмятежная интонация описания сменяется ораторски-обличительной. О деревне, которая кажется «приютом спокойствия», сказано словами

не только поэтически-выразительными, но и поразительно точными, вскрывающими даже экономическую суть феодально-крепостнических отношений:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца *.

Своими обличительными мотивами «Деревня» связана с картинами крепостничества в радищевском «Путешествии из Петербурга в Москву». Даже самый принцип раскрытия того, что скрывается за внешне ласкающей взгляд картиной деревни, восходит к Радищеву. Так, в статье Радищева «Описание моего владения» (вошло в его собрание сочинений 1811 года) картины деревенской «юной природы», предстоящей «оку очарованному», совмещаются с мотивами, представляющими собой почти полное сходство с некоторыми мотивами пушкинской «Деревни»: «Блаженны, блаженны, *если бы весь плод трудов ваших был ваш*. Но, о горестное напоминовение! *ниву селянин возделывал чуждую и сам, чужд есть, увь!*»¹⁹

Все, что связано в «Деревне» с «барством диким», с «неумолимым владельцем», отнявшим у крестьянина его труд, собственность, время, превратившим его в раба, окрашено гневом такой силы, что даже сейчас делает почти незаметными некоторую риторичность и архаичность формы стихотворения. Все, что связано с миром крестьян, окрашено в сочувственные тона. Контрастность прекрасной самой по себе природы «цветущих нив и гор» и жизни уродливой, управляемой «без чувства и закона», рождает мечту о «прекрасной заре» свободы, восходящей над отечеством.

Такова внутренняя логика отношения к народу, выраженная в пушкинском стихотворении и столь чуждая морали Карамзина, которая не шла дальше снисходительно-прекраснодушных признаний того, что «и крестьянки любить умеют».

Борьба Пушкина с литературными нормами карамзинизма обстоятельно проанализирована в книге В. В. Виноградова «Язык Пушкина». Роль Пушкина как борца с нормативной системой салонных стилей и вкусов «светской дамы» В. В. Виноградов раскрывает на фоне

* Подчеркнуто мною — Б. М.

общего процесса развития национально-самобытной русской литературы, ее демократизации, сближения с реальной действительностью²⁰. Poleмическая направленность не только против классицизма, но и против сентиментализма сказалась в первой поэме Пушкина «Руслан и Людмила». Так, несомненно poleмический характер носит посвящение поэмы «красавицам». Используя обычную для сентименталистской поэмы форму, Пушкин придает ей явно вызывающий характер. Об этом говорят следующие строки посвящения:

Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.

С точки зрения блюстителей салонной эстетики сентиментализма песни «Руслана и Людмилы» были действительно «грешными» песнями.

С 20-х годов отрицательное отношение Пушкина к эстетике и поэтике сентиментализма получает теоретическое обоснование. Черты карамзинистского перифрастического стиля, затемнявшие подлинную сущность изображаемых явлений, Пушкин тонко вскрыл в заметке «О прозе» (1822), высмеяв писателей, которые, «почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами». «Эти люди, — продолжал Пушкин, — никогда не скажут *дружба*, не прибавя: «сие священное чувство, коего благородный пламень и проч.». Должно бы сказать: рано поутру, — а они пишут: «Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба...» И после этого следовало заключение: «Ах, как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее». Подобным принципам Пушкин противопоставляет здесь «точность», «краткость», обилие мыслей. «Точность» раскрывается Пушкиным в его собственной художественной практике и критических суждениях как адекватность сущности явления — его словесному выражению.

Итак, эстетическая система Карамзина и сентиментализма, будучи направленной против классицизма в целом, носила, однако, характер переходный, двойственный. Она не явилась коренным поворотом, обозначавшим совершенно новую эпоху в искусстве и не воспринималась Пушкиным в качестве таковой.

В противовес и эстетике классицизма и эстетике сентиментализма эстетический идеал Пушкина складывается на основе обобщения положительных тенденций непрерывно развивающейся жизни, на основе обобщения особенностей национального характера русского народа, на основе изучения действительности во всей ее сложности и многообразии. Показательна и сама трактовка Пушкиным понятия «идеал». В его произведениях оно употребляется в различных аспектах, но всегда остается чуждой той трактовке, которая была свойственна мистико-идеалистической поэзии и эстетике. Большей частью это понятие означает в словоупотреблении Пушкина высшую степень совершенства и является критерием оценки того или иного явления. Пушкинским идеалом было такое содержание жизни, которое делает существование человека осмысленным, одухотворенным высокой целью. В таком смысле употребляется это понятие в десятой главе «Евгения Онегина» при характеристике патриотического пафоса декабриста Н. Тургенева:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал...

Понятие идеала конкретизировалось у Пушкина также и в представлении о положительном герое; таково определение Татьяны Лариной: «милый идеал». В. В. Виноградов, приводя в своей книге «Стиль Пушкина» примеры употребления Пушкиным слова «идеал», замечает: «Распространившееся под влиянием идеалистической эстетики великих философов начала XIX века слово *идеал* в стиле Пушкина выходит далеко за пределы его первоначального романтического употребления». С этим словом у Пушкина связывалось «представление о наиболее полном и совершенном отражении действительности»²¹. В самом деле, ни в произведениях Пушкина, ни в письмах нет понимания идеала как мечты, не связанной с жизнью, обращенной в «неземной», «потусторонний» мир. Такого рода «идеал» Пушкин решительно отрицал. В набросках стихотворения «К кн. Козловскому» он иронически противопоставляет «мечту» и «бледный идеал» сатирам Ювенала. Любопытны варианты этих стихов. Вместо стиха (неполного): «Простясь с мечтой и бледным идеалом», первоначально было: «с туманным идеалом», «с германским идеалом».

Поэтому же Пушкин иронически упоминает об идеале в связи с изображением «поклонника Канта» — Ленского.

На модном слове *идеал*
Тихонько Ленский задремал.

Поскольку для Пушкина идеал являлся отражением реальных целей и стремлений человека своего времени, постольку и понятие прекрасного пронизано в трактовке Пушкина стихийным материализмом. Для эстетического сознания Пушкина было в высокой степени свойственно понимание огромной роли истинной красоты и ее влияния на человека. Пушкин говорил о «самовластной красоте», о «мощной власти красоты», «святыне красоты», но при воспроизведении действительности прекрасное, красота были для него отражением самой жизни, объективных свойств явлений и предметов.

Пушкинский эстетический идеал претерпел сложную эволюцию, связанную с эволюцией его мировоззрения и художественного метода: об этом и пойдет речь в следующих главах книги. Ниспровергая чуждые ему представления об искусстве, разрывая с устаревшими эстетическими нормами и сурово критикуя в собственном творчестве все, что казалось ему противоречащим идеалу, к которому он стремился, Пушкин своей многосторонней деятельностью совершил переворот в эстетических представлениях своего времени и основал новую школу национального русского реалистического искусства, явившегося огромным вкладом в культуру человечества.



Глава вторая

РОЛЬ ИСКУССТВА. ОБРАЗ ПОЭТА

Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов!

Пушкин

Во все эпохи исторических поворотов в общественной жизни одним из самых животрепещущих вопросов эстетической теории и художественной практики оказывался вопрос о роли искусства в новых условиях. Громадное значение приобрел он в эпоху падения феодальной формации, когда происходил сложный процесс переоценки духовных ценностей, когда закладывались основы национальных культур и, в противоположность установленному классицизмом универсальному, единому для всех времен и народов, идеалу красоты, возникали новый эстетический идеал и новый художественный метод. В XVIII и начале XIX века в литературах различных стран вопрос о цели искусства и роли художника становится предметом оживленных споров, предметом политической борьбы, темой не только эстетических трактатов и литературных манифестов, но и художественных произведений. Образ поэта, возникавший в ту пору в бесчисленных поэмах и стихотворениях, имел более широкое значение, чем чисто литературное, являясь как бы воплощением определенного отношения к жизни, норм поведения, которые защищались теми или иными классами и социальными группами.

Перелом во взглядах на значение искусства и роли поэта связан в истории мировой литературы с всемирно-историческим поворотом, получившим яркое выражение во французской революции 1789—1794 годов. По определению В. И. Ленина, «весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции» Конечно, задача уничтожения феодально-абсолютистского режима, которая ставилась революцией во Франции, решалась в каждой стране как результат внутренних противоречий, на основе специфических особенностей каждого народа, его исторических традиций и его новых требований Но деятели культуры во всех странах мира не могли не откликнуться по-своему на революционный опыт Франции, страны, где впервые борьба против феодализма была доведена до конца и где произошло, говоря словами Пушкина, «великое разрушение», где обнаружилось, что общенациональные задачи требуют ликвидации старых порядков, старой идеологии, что господство абсолютизма и аристократии вовсе не является нормой общественного устройства. Выдвижение новых идей и форм во всех областях культурной жизни и в том числе в искусстве, смелое ниспровержение казавшихся незыблемыми правил и норм, связанных с мировоззрением старого мира, сказывалось нередко в деятельности людей, далеких от якобинизма, но в той или иной степени охваченных тем «духом преобразования», который, по словам Пестеля, распространился по всему миру¹.

«Дух преобразования» сказался и на переменах, которые происходили в литературе. Причина этих перемен и их политическая сущность были ясны передовым людям эпохи. Из документов на эту тему, сохранившихся от пушкинского времени, быть может наиболее интересным является письмо одного из пяти, впоследствии казненных, вождей декабрьского движения, — С. И. Муравьева-Апостола, написанное за месяц до восстания на Сенатской площади. Противопоставляя поэтов французской революции М. Ж. Шенье и Лебрена поэтам эпохи абсолютизма, Муравьев-Апостол говорил о них: «Оба автора (т. е. Шенье и Лебрэн. — Б. М.) писали в лирическом и элегическом жанре. Но были ли

они талантливее своих предшественников — Малерба, Шолье и Жана-Батиста Руссо? Я не думаю. Однако у обоих этих поэтов вы встретите идеи более высокие, чувства более возвышенные и именно потому более истинные, и какой-то — сказал бы я — порыв, который пробуждает вас от апатии и увлекает к деятельности». Далее Муравьев-Апостол раскрывал силу и новое содержание поэзии М. Ж. Шенье и Лебрена как результат влияния революционной действительности: «Такое направление их поэзии следует, думается мне, отнести за счет эпохи, полной событиями, в которую они жили. В самом деле, было невозможно, чтобы в эпоху, когда рушилось столько ложных идей и старых предрассудков, умы, освободившиеся от оков, не устремились к мыслям, открывающим горизонты более широкие, и сердца к чувствам, более благородным и деятельным. Среди стольких событий, которые каждого ставили на его место, люди узнали счастье, более достойное высокого назначения человека, и поэзия заговорила языком более мужественным. И движение это, раз возбужденное, не могло замереть вопреки всем препятствиям и должно было в наши дни породить Байронов и Муров»².

«Движение», о котором говорил Муравьев-Апостол, — движение против средневековья и абсолютизма, — вызвало к жизни в разных странах резкую критику аристократического искусства и свойственной ему нивелировки талантов. На литературу стали смотреть как на отражение общественной жизни и неповторимого своеобразия нации. По-новому рассматривается роль поэта, долг которого правдиво изображать современность и участвовать в ниспровержении старых кумиров. Литература французской революции, оставаясь, по художественному методу, в пределах старого метода классицизма, хотя и наполненного новым идейным содержанием, обозначала все же шаг вперед. Об этом свидетельствуют гражданские трагедии М. Ж. Шенье, революционные гимны, творческие завоевания Давида, речи, которые произносились в Конвенте в защиту республиканского искусства. Насколько велико было значение французской революции для мировой культуры и эстетической мысли, свидетельствуют и наиболее значительные выступления противников старого, связанного с эпохой феодализма искусства — провозвестников искусства

нового. Достаточно напомнить в этой связи о книгах высоко ценимой Пушкиным Жермены де Сгаль, разоблачавшей «пудреную пиитику» и защищавшей принципы национального своеобразия литературы, или знаменитый эстетический трактат Стендаля «Расин и Шекспир», где уважение к идеалам искусства французской революции сочеталось с предсказанием грядущей «революции в поэзии». В то же время, преимущественно в Германии, возникла в литературе аристократическая реакция на французскую революцию, которая выразилась в пропаганде отрешенности поэта от «вещественного мира», от участия в общественной борьбе, в походе против принципов искусства гражданского подвига.

В обстановке общеевропейского (включавшего и Россию) процесса борьбы за национальные литературы нового типа на очередь дня ставился особенно резко вопрос о цели искусства. В период классицизма этот вопрос казался решенным и совершенно ясным, поскольку художник исходил из predetermined norms. В плане собственно идейном вопрос этот казался ясным и в новых условиях общественного развития: передовой художник должен бороться против всего обветшалого в жизни и литературе, быть проповедником новых идей. Но тут вставала необходимость, во-первых, воплотить эти задачи в литературной практике, исходя из национальных условий данной страны, и, во-вторых, решить их как задачи не только чисто политические, но одновременно и художественные.

Понятие «пользы» искусства в том смысле, как оно было установлено классицизмом, рушилось. Раньше критерием достоинства литературного произведения было его соответствие отвлеченным требованиям «разума», поэтому в художественном творчестве *общие идеи* о людях и предметах большей частью замещали живое и всестороннее *изображение* самих людей и предметов. На деле это вело к ослаблению поэзии как искусства, и хотя «Коран» Буало (так назвал его эстетический трактат Пушкин) назывался «Искусство поэзии», искусство в итоге сводилось здесь к умению почти с математической правильностью построить произведение. Характерный факт времени: поэт и драматург Ламот настолько не понимал сущности поэзии, что назвал ее «искусством, которое люди придумали со специальной целью

лишить себя возможности точно выражать свои мысли». Это отречение от поэзии как искусства во имя отвлеченного разума, отречение во имя достигаемой риторикой «пользы» и дало основание Пушкину говорить об «антипоэтичности» французской поэзии. Литература, выступившая против тирании эстетики старого общества, должна была стать литературой, оправдывающей свое высокое назначение именно как *художественная* литература новых идей и именно потому необходимая, именно потому ничем не заменимая.

Пушкин решал проблемы художественного творчества на почве русской, национальной, исходя из потребностей русской жизни, но в общем русле мировой культуры. Вопрос о цели и задачах искусства волновал его на всем протяжении творческого пути. Можно сказать без всякого преувеличения, что этот вопрос был для него одним из самых главных: он нашел отражение не только в его статьях и письмах, но и в произведениях всех жанров — в лирике, драмах, прозе. Те решения, к которым приходил Пушкин, явились результатом не только его теоретических размышлений, но и обобщением художественной практики: гений мыслителя и художника на редкость сочетались в творческом облике Пушкина. Точка зрения пушкинистов прошлого, П. В. Анненкова, Н. О. Лернера и других, утверждавших, что Пушкину было чуждо теоретическое мышление, опровергается всем его наследием и, в частности, его литературно-критическими статьями и заметками, в которых заключены поистине гениальные мысли, охватывающие крупнейшие явления русской и всей мировой литературы. Но понять, какое место занимал вопрос о цели искусства в художественной системе Пушкина можно лишь при одновременном исследовании его эстетических суждений и художественных произведений. При этом необходимо учитывать конкретную направленность его полемических выступлений, их обусловленность определенными фактами общественного и литературного движения. К решениям вопроса о сущности и задачах искусства, решениям, которые легли в основу дальнейшего развития русской литературы, Пушкин пришел путем поисков. Для понимания характера этих поисков большой интерес представляет образ поэта, который он создал в своих художественных произведениях, эволюция этого образа³

Проще всего было бы принять устоявшуюся в литературоведении точку зрения, согласно которой пушкинское понимание роли поэта и назначения искусства явилось прямым, непосредственным продолжением взглядов, выраженных в предшествующей ему передовой литературе; ведь она всегда отстаивала высокую роль искусства и обязанности поэта-гражданина — и, следовательно, решительного поворота во взглядах на этот вопрос Пушкин не произвел... Но в действительности дело обстояло сложнее. И здесь он был новатором, обогатившим предшествующую русскую национальную традицию новыми решениями.

Одним из первых и самых горячих пропагандистов гражданской роли поэзии в России был еще Антиох Кантемир. «Все, что я пишу, — пишу по должности гражданина, отбивая все то, что согражданам моим вредно быть может», — заявлял он. Кантемир писал не в силу должностных или каких-либо иных посторонних соображений, а в силу сознания своего долга. «...не писать мне нельзя: не могу стерпеть», — говорил он в своих сатирах. Кантемир обосновал с позиций просветительства воспитательную роль поэзии, которая должна приносить «пользу народу», утверждал «голой правды силу», необходимость называть вещи своими именами («Свинью свиньей, а льва львом просто называю»). Эстетика Кантемира, выраженная в его сатирах, явилась высшим достижением русской эстетической мысли XVIII века до Радищева. Утверждение поэзии общественно-значимой в противовес узко интимной, камерной лирике, начатое Кантемиром, было затем энергично продолжено Ломоносовым (в частности, в его знаменитом стихотворении «Разговор с Анакреоном»). Но, по сравнению с Кантемиром, Ломоносов ограничил круг тем поэзии. Он считал, что задача поэзии — одическое прославление исторических героев, благоденствия, процветания современной ему России*. Более широко понимал назначение поэзии Державин. Такие его стихотворения, как «Вельможа» или «Властителям и судьям», дали Пушкину основание сказать о нем:

Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачал кумиры.

* Речь здесь идет о взглядах Ломоносова на поэзию: творчество его было, конечно, шире.

Писатель в представлении Державина — смелый и верный сын отечества, стоит за правду, «друг он общего добра». Но самое понятие гражданской поэзии у Державина и вообще в поэзии XVIII века, исключая Радищева, не трактовалось как выступление поэта против основ существовавшей системы: «гражданственность» означала прославление государственного могущества России, защиту законности, критику исполнителей верховной власти, творящих беззакония, не защищающих «бессильных» от произвола. Идеалом и для Ломоносова и для Державина оставался просвещенный абсолютизм, и всякие нарушения гармонии между этим идеалом и действительностью (гармонии, конечно мнимой) не касались основ существовавшей системы. Между тем назревшая к концу XVIII — началу XIX века задача борьбы против самодержавия и крепостничества влекла за собой новую постановку вопроса; поэт-гражданин должен был встать в прямые враждебные отношения с абсолютистской государственной системой, иное, более глубокое содержание должны были получить понятия «правды», «истины», «мужества», защищавшиеся лучшими поэтами XVIII века. Предшественником новой, возникшей в XIX веке трактовки роли и задач литературы был как выше говорилось, Радищев. Пушкин, во многом споря с ним, полностью соглашался с его взглядами на роль «мужественных писателей», заслуживающих признательность и в тех случаях, когда они «не могли избавить человечество из оков и пленения»⁴.

Продолжив лучшие традиции своих предшественников, Пушкин должен был не только определить задачи развития литературы в новых условиях со стороны ее содержания: ему предстояло совершенно по-иному решить вопрос о самом существе поэзии именно как поэзии. В XVIII веке еще не смотрели на поэзию как на особый вид деятельности, благодаря своей художественной специфике обладающей могучей силой воздействия. Кантемир говорил о своих стихах: «Умным понравится голой правды сила», и пояснял в примечании: «Умным людям понравится содержащая в вас правда, хоть она гола, сиречь не украшена слогом красивым». Это верно, но раз нет необходимости «украшать слогом» правду, то есть, переводя на современный язык, воплощать ее художественно, то следовал логический вопрос: зачем нужны

стихи?.. Именно поэтому для Ломоносова, например, поэзия была зачастую изложением в стихах умозрительных истин. Так появилась дидактическая «эпистола» о пользе стекла, для своего времени весьма замечательная, но местами похожая на научную статью, переложенную стихами. У Ломоносова еще не выработался взгляд на искусство, как на область, имеющую и свой предмет и свои задачи. Все это исторически было оправдано, но с изменением исторических условий потребовалось иное решение, иной подход к вопросу о соотношении идеи и художественной формы и в связи с этим другой более широкий взгляд на «цели» и «пользу» искусства⁵.

К новым решениям Пушкин пришел далеко не сразу, он размышлял над ними всю жизнь. В его раннем творчестве встречаются стихотворения, в которых понимание искусства восходит к традиционным формулам классицизма. Так, в стихотворении «К Батюшкову» (1814) тематика поэта ограничивается, совершенно в духе классицизма, возможностью воспевать «кроваву брань» (то есть писать на темы о военных сражениях) или пробовать свои силы в сатирическом жанре, трактуя его опять-таки в традиционном старинном духе:

...Рази, осмеивай порок,
Шутя, показывая смешное
И, если можно, нас исправь.

Правда, с такими представлениями о сатире соседствует и иное. Так, в оде «Лицинию» (1815) содержатся декларативные строки:

Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.

Здесь мы тоже видим традиционную формулу изображения порока, но эта традиционность нарушается вдохновенным прославлением пафоса свободолюбия («Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода») и обличением рабства («Свободой Рим возрос, а рабством погублен»). Традиционными являются размышления Пушкина о судьбе поэта в стихотворении, целиком посвященном этой теме, — «К другу стихотворцу» (1814).

В качестве образцов для поэтов здесь называются Дмитриев, Державин, Ломоносов, обычные и примеры горестного жребия поэтов: Руссо (Жан-Батист) «родился наг и наг ступает в гроб», нищий Камознс, Костров, безвестно умерший на чердаке. Здесь еще нет ни политического понимания роли передового поэта, ни сознания его враждебности всей существующей системе (в других стихах этого периода позиция Пушкина определена пока еще отказом следовать хвалебно-одической придворной поэзии). Но характерно, что одна из идей, которая затем будет настойчиво защищаться Пушкиным, выражена в стихотворении «К другу стихотворцу» очень энергично:

Хорошие стихи не так легко писать,
Как Витгенштейну французов побеждать.

Полушутливо предостерегая Ариста, решившего вступить в число «служителей Парнаса», Пушкин напоминает об участи поэтов бездарных, чуждых поэзии как искусству, последователей Тредиаковского — автора «Телемахида», «бессмысленных певцов», убивающих «громадою стихов», рифмоплетов, которых никто не читает. Эта мысль развита несколько позднее в стихотворении «К Жуковскому», но уже в таком направлении, которое в дальнейшем станет определяющим для Пушкина. Здесь «друзья непросвещения», реакционеры характеризуются вместе с тем как люди, которые не могут познать прелести искусства, которые куют прозу и стихи, но сами к поэзии «все глухи, лишь не немые»,

...отверженные Феба;

Ни прозы, ни стихов не послан дар от неба.

Хотя противопоставление двух типов отношения к поэзии дано здесь как противопоставление беседчиков арзамасцам, но значение этого стихотворения шире, чем его тема, связанная с конкретным эпизодом современной литературной борьбы; в нем заложена мысль, которая затем будет с таким блеском развита Пушкиным, мысль о том, что преданность искусству, понимание прекрасного, поэтическое вдохновение — это качества, которыми могут обладать только люди возвышенных

стремлений, воодушевленные любовью к свободе, враги всякого угнетения, а защитники «тьмы», поборники застоя не могут понять ни красоты, ни истинной поэзии. Противопоставление «возвышенных творцов» людям, «отверженных Фебом» подкрепляется историческими аналогиями. Вновь вспоминается «стопосложитель хилый» — Тредиаковский с его «Телемахидой» и

...холодный Сумароков,
Без силы, без огня, с посредственным умом...

Но эти отдельные сентенции, не всегда оригинальные, еще не выражали принципиально новой поэтической концепции. Жизненный опыт юного поэта, еще не находившегося в кипучей атмосфере политической борьбы, был еще мал, ограничивало его и преклонение перед литературными авторитетами. С переездом Пушкина в Петербург, где он оказался в обстановке политического брожения, идейных споров, кругозор его расширялся с редкостной быстротой.

Окончательный перелом в понимании Пушкиным задач поэзии и роли поэта отражен в оде «Вольность» (1817), — первом его произведении, где роль поэта поставлена в прямую связь с борьбой за свободу и проповедью ненависти к тиранам⁶. Идеал поэзии, непосредственно выраженный в этой оде, не отделим от прославления политической вольности. Первая же строфа синтезирует обе темы, противопоставляя при этом разные типы поэзии, — изнеженной, удаленной от борьбы с одной стороны, и поэзии *обличения* царей, *гражданского подвига* — с другой:

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок*.

Говоря об «изнеженной лире», Пушкин имел в виду, конечно, и такие свои стихи предшествующего времени,

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

как «Мечтатель» (1815) *. Но дело не только в моменте автобиографическом. Речь шла о двух направлениях поэтического творчества, и ода «Вольность» явилась утверждением магистрального пути передовой русской поэзии, начало которой восходит к Радищеву (как восходит к радищевской оде «Вольность» и пушкинская ода, — факт, в пушкиноведении давно установленный). Громадное значение имела утвержденная в пушкинской оде позиция смелого и бесстрашного поэта-борца, врага рабства и деспотизма, певца вольности, обладающего правом суда и приговора. Этот взгляд на роль поэта поддерживается и в заключительной части оды, посвященной убийству Павла I:

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец.

Образ поэта, озабоченного думами о судьбах истории, одержимого мечтой «сердца тревожить», полон глубокого смысла. Поэт становится примером гражданского бесстрашия и правдивости, защитником угнетенного народа.

Вся система идейно-эстетических оценок в оде «Вольность» такова, что сочувствие поэта оказывается целиком на стороне народа. Этому не противоречит осуждение казни Людовика XVI. Хотя в отношении Пушкина к этому акту и выразилось характерное для него отрицание революционного террора, но субъективная логика такого отрицания все же не имеет ничего общего

* Стихи были написаны под явным влиянием поэзии сентиментализма. В них выведен образ поэта-мечтателя, чуждого жизненным бурь и светской суеты, поэта, который предается фантазии в сельском уединении:

Нашел в глуши я мирный кров
И дни веду смиренно;
Дана мне лира от богов,
Поэту дар бесценный,
И муза верная со мной:
Хвала тебе, богиня!
Тобою красен домик мой
И дикая пустыня.

с роялистскими пристрастиями: Пушкин осуждает казнь Людовика не только как нарушение «вечного закона», но и потому, что она принесла народу новое порабощение — диктатуру Наполеона («злодейская порфира на галлах скованных лежит»). Лейтмотив стихотворения:

Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внимлите
Восстаньте, падшие рабы! —

поддерживается в дальнейшем образами напряженного эмоционального содержания. Обобщающий характер носит картина страданий народа:

...Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуджений
Воссела — рабства грозный гений
И славы роковая страсть *.

Слова о «падших» (в смысле «отчаявшихся», павших духом) рабах подкрепляется эпитетом «*немощные слезы*», а обличение насильственной власти тиранов — однотипными оценками («самовластительный *злодей*», «*злодейская порфира*», «увенчанный *злодей*»). Пути достижения вольности — в духе программы умеренной (в это время проекты конституционной монархии оживленно обсуждались и будущими декабристами), но сила стихотворения в прославлении *цели*, к которой направлены мечты поэта: «*народов вольность и покой*».

Ода «Вольность» была рождена в атмосфере усиления оппозиционных настроений. Только Пушкин сумел выразить эти настроения и связанное с ними понимание задач поэтического творчества с такой художественной силой, что произведение это действительно обозначало рубеж и в литературном развитии и в общественно-политическом движении.

Сама идея необходимости связать литературу с политикой именно в этот период все с большей настойчивостью выдвигается и в переписке представителей передового поколения и в документах тайных обществ, причем зачастую в формулировках, характерных своей

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

общностью. Во многих работах о Пушкине доверчиво цитируется рассказ Вигеля о создании оды «Вольность», из которого следует, что она возникла потому, что кто-то из «молодых вольнодумцев», находясь вместе с Пушкиным в квартире Тургеневых, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвению брошенный дворец, «шутя предложил Пушкину написать на него стихи». Пушкин проворно вскочил «на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать... окончив, показал стихи, и не знаю, почему назвали их «Одой на свободу». Так создание произведения, которое стало вехой в творчестве Пушкина и всей русской поэзии, сведено с обычной для Вигеля легкомысленностью к какому-то случайному экспромту. На самом деле, каковы бы ни были внешние обстоятельства создания оды «Вольность», она явилась не случайно. Заключение в ней мысли обобщали то, что уже назрело в обществе и требовало своего выражения. В 1816 году один из будущих вождей декабрьского восстания С. И. Муравьев-Апостол порицает К. Батюшкова за «меланхолический и скупающий тон», которым проникнуто его творчество, осуждает поэзию, где царствует существо «всегда одинокое, всегда преданное само себе». Муравьев-Апостол, в завершение своей характеристики такого рода поэзии, призывает Батюшкова бояться «сих зачумленных пределов, проклятых богами», и обратить внимание на призрачные бедствия, на те, «которые неотъемлемы от человечества». Новые требования к искусству сформулированы в программе — «законоположении» «Союза благоденствия», предлагавшего «изыскать средства изящным искусствам дать надлежащее направление, состоящее *не в изнеживании чувств*, но в укреплении, благородствовании и *возвышении* нравственного существа нашего». Членам тайного общества предлагалось «убеждать, что сила и прелесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мысли, ни в непонятности изложения, но в живости писаний... а более всего в непритворном изложении *чувств высоких...*» Здесь мы видим терминологию такую же, как в оде «Вольность». Там поэт призывает разбить «*изнеженную* лиру», здесь отвергается искусство, состоящее в «*изнеживании чувств*». Там говорится о «*возвышенном галле*» как певце свободы — здесь задачей искусства

провозглашается «возвышение нравственного существа нашего», изложение «чувств *«высоких»* (и там и здесь, конечно, «возвышенность», «высокость» означает вольнолюбие). Эта терминологическая общность говорит не о прямых заимствованиях, а об общности идейных стремлений Пушкина и передовых людей того времени⁷.

Пушкинская ода «Вольность» явилась началом пропаганды «высокой» (в декабристском смысле) роли литературы в новых условиях, пропаганды, которая принимала формы и нелегальные и легальные.

Бедущее значение имела эта тема и в творчестве В. Кюхельбекера. Характерно, что одно из его стихотворений, где образ поэта-борца впервые развернут с наибольшей отчетливостью, — «Поэты», — (1820) связано с именем Пушкина. Поводом для его написания послужила ссылка Пушкина. Замысел стихотворения замаскированный, но явно политический. В начале стихотворения говорится о борьбе «злодеев и глупцов» против «дел высоких и стихов». «Сычи орлов повсюду гнали» — смысл этих слов раскроет позднее сам Кюхельбекер в одном из стихотворений периода сибирской ссылки, когда он скажет о себе (в стихотворении, посвященном памяти декабриста Якубовича), что он принадлежал к «орлиной стае». В стихотворении «Поэты» перечисляются имена гонимых — Мильтона, Озерова, Торквато Тассо. При всем трагизме судьбы этих поэтов, конечно, имена их не соответствуют политическому замыслу стихотворения: воспеть поэта — борца за свободу. Но для Кюхельбекера важна не конкретность биографии этих поэтов, а те ассоциации, которые вызывают их имена в сознании читателей (стихотворение было подцензурным, оно напечатано в «Соревнователе»). Поэтому когда Кюхельбекер называет «певца Руслана», то по ассоциации он тоже ставится в ряды гонимых. В стихотворении существенно не только горячее сочувствие Пушкину, но и обоснование неизбежности тяжелых испытаний для смелых певцов — «пророков истин возвышенных». О силе поэзии сказано стихами, которые непосредственно связывают дело поэта с борьбой за свободу:

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит.
И власть тиранов задрожала.

Стихотворение утверждает, что союз певцов, «и в счастья и в несчастья твердый», непобедим. В другом стихотворении Кюхельбекера, «А. П. Ермолову» (1821), союз поэтов — «союз прекрасный прямых героев и певцов», за поэтами остается право суда и приговора, ибо

В поэтов верует народ.
Мгновенный обладатель трона,
Царь не поставлен выше их⁸.

Образ независимого поэта-гражданина, преданного искусству, верного высоким идеалам, несмотря на любые гонения, характерен и для творчества Рылеева: он проходит в послании Н. И. Гнедичу (1821), в стихотворении «На смерть Бейрона» (1824—1825) и в других произведениях, но наиболее развернут в думе «Державин», опубликованной в 1822 году. Как и в некоторых других «думах» Рылеев не считался с реальным обликом исторического лица и создал идеализированный образ Державина, превратив его в революционного борца. Значение этой «думы» в том, что в ней воплощен декабристский идеал поэта. Долг поэта быть

...в родной своей стране
Органом истины священный.

В представлении Рылеева поэт — это высший пример гражданского героизма, преданности народу; он

Везде — Певец народных благ,
Везде — гонимых оборона,
И зла непримиримый враг...

Поэту

...неведом низкий страх;
На смерть с презрением взирает,
И доблесть в молодых сердцах
Стихом правдивым зажигает.

В рукописной редакции этим строкам предшествовали слова, которые непосредственно связывали дело поэта с делом революционной борьбы:

Греметь грозой противу зла
Он чтит святым себе законом
С спокойной важностью чела
На эшафоте и пред троном.

Вот почему, как утверждал Рылеев, «нет выше ничего предназначения поэта»⁹.

По мере расширения освободительного движения новый взгляд на роль литературы получает свое обоснование в критических статьях, приобретает характер программности. О принципиальной новизне решения этого вопроса говорит выдающийся критик декабристского направления А. Бестужев в своем «Взгляде на русскую словесность в течение 1823 года», напечатанной в «Полярной звезде». Он подчеркивает, что если «в старину науки зажигали светильник свой в погасающих перунах войны», то теперь положение изменилось: «В наши времена мы видим совсем противное... гром отдаленных сражений одушевляет слог автора и пробуждает праздное внимание читателей... воображение, недовольное сущностью, алчет вымыслов и, под политической печатью, словесность кружится в обществе». «Гром отдаленных сражений» — это революционно-освободительная борьба в Европе, восстания в Италии, Испании, Греции. В условной, эзоповской форме Бестужев призывал непосредственно связать литературу с требованиями освободительного движения. В другом месте он указывал на «феодалную умонаклонность многих дворян» (то есть на их приверженность существующим порядкам) как на причину, мешающую расцвету литературы. И здесь же он противопоставил этим дворянам представителей своего поколения. «Новое поколение людей,— писал он,—начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время... обещает богатую жатву». В таком же духе выдержана трактовка этого вопроса в статье В. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824), напечатанной в «Мнемозине». В свойственном Кюхельбекеру несколько архаическом стиле здесь защищается гражданское призвание поэта, который «вещает правду», «торжествует о величии родимого края, мечет перуны в супостатов, блажит праведника, клянет изверга». И здесь мы встречаем обличение поэтов противоположного направления, авторов «изнеженных произведений»¹⁰.

Происходившая на страницах журналов борьба за новое понимание задач поэзии имела, конечно, большое значение в литературном развитии. Но определяющую роль в этом отношении сыграли произведения Пушкина, произведения, в которых ясность мысли соединялась с художественным воссозданием образа поэта.

Первым произведением Пушкина, целиком посвященным теме предназначения поэта, был «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824). Раньше эта тема входила лишь в качестве подчиненной в различные его стихотворения (исключение составляет лицейское послание «К другу стихотворцу»).

«Разговор книгопродавца с поэтом» представляет собою произведение сложное, внутренне полемическое по отношению к старым представлениям о цели художественного творчества. Вместе с тем оно направлено против возникавшей в новых исторических условиях опасности подчинения искусства власти «железного века». В то время в России вообще только еще начинался переход от феодальных отношений к буржуазным, только еще начиналась профессионализация писателей, и поэтому сама постановка Пушкиным такой темы в первой половине 20-х годов (она будет интересовать его и в дальнейшем) является еще одним свидетельством свойственной поэту глубокой проницательности и острого чувства современности.

Образ книгопродавца обычно рассматривается как символ «здорового ума», который в конце концов побеждает поэта своей логикой. Такой подход к этому произведению в пушкиноведении ведет свою традицию от комментариев в дореволюционном академическом издании Пушкина, где мы читаем: «Разговор» служит свидетельством того, каким жизненным вопросом был для Пушкина вопрос о поэзии и как настойчиво он старался разъяснять его, устраняя те кажущиеся противоречия, которые других приводили в недоумение. Поэт исходит из той мысли, которую он настойчиво поддерживал перед своими друзьями и на которую еще недавно указывал своему бывшему начальству, что он пишет стихи для денег»¹¹. Конечно, Пушкин порвал с аристократическим презрением к литературе как профессии и отвергал мнение, что плата за стихи будто бы унижает поэзию. «Я уже поборол в себе отвращение писать и продавать свои стихи для того, чтобы иметь средства к жизни», — говорил Пушкин. Он утверждал, что пишет «только под прихотливым влиянием вдохновения» (то есть независимо от всякого рода внешних соображений, не связан-

ных с высоким назначением поэзии), но, продолжал он здесь же шутливо, «раз стихи уже написаны, — я смотрю на них уже только как на товар, по столько-то за шутку» (письмо А. И. Казначееву в июне 1824 года).

В другом письме, адресованном Вяземскому, — поэту, который был достаточно обеспеченным, чтобы не думать о таких «низменных» вещах, как средства к жизни, — Пушкин писал, сохраняя тот же полушутливый тон: «Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне; на конченную свою поэму я смотрю, как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом...» Все это в известной мере соприкасается с содержанием «Разговора книгопродавца с поэтом», но сводить стихотворение только к этой теме значит не только сузить философское и эстетическое значение произведения, но и создавать неверное представление об образах и поэта и книгопродавца.

Эти образы противоположны друг другу и по отношению к жизни, и по взглядам на поэзию. Поясняя в примечании замысел стихотворения, Пушкин отводит наивные предположения, что поэт является автопортретом. Он пишет: «Заметим для щекотливых блюстителей приличия, что Книгопродавец и Поэт оба лица вымышленные. Похвалы первого не что иное, как *светская вежливость, притворство* (подчеркнуто мною. — Б. М.), необходимое в разговоре, если не в журнале». Поэтому видеть в образе книгопродавца представителя «здорового смысла», «житейской трезвости», противопоставленной якобы беспочвенным, «романтическим мечтаниям» поэта не приходится.

В первоначальных набросках стихотворения замысел его выступает особенно отчетливо. Позиция поэта выражена здесь в строках, не вошедших в окончательный текст, но ясно формулирующих идейное содержание образа. О своих стихах поэт говорит:

Я их [писал] слезами, кровью *,
Все дышит в них моей тоской
И непритворною любовью.

* Вариант: «Мои стихи <писались> желчью» (то есть подразумеваются сатирически-обличительные стихи),

Здесь же набросан и противоположный мотив, слова, которые в дальнейшем развитии замысла будут вложены в уста книгопродавца:

Стихи питомца Граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук тяжелых ассигнаций
Его листочки превратим.

Из этого следует, что вначале, по-видимому, еще не была намечена форма диалога: о поэте здесь говорится в третьем лице («его листочки»). Развертывая дальше замысел, в окончательном варианте Пушкин изображает книгопродавца не только как профессионального торговца, но и как типичного выразителя господствовавших в тогдашнем обществе взглядов на поэзию. Он рисует его человеком, который совершенно не может понять действительную сущность того, о чем говорит ему поэт. Эти взгляды выражены в первых же словах книгопродавца:

Стишки для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть,
Уж разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть:
Поэма, говорят, готова,
Плод новых умственных затей.
Итак, решите; жду я слова:
Назначьте сами цену ей.

Такое пренебрежительное представление о поэзии и о творческом труде сразу же создают вполне определенный отрицательный облик тупого человека. В противоположность книгопродавцу воссоздается романтический образ вдохновенного поэта, вспоминающего яркие виденья прошлого, когда

Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье...

В ответ на эти возвышенно-поэтические речи, книгопродавец говорит о славе как импульсе творчества, но и понятие «славы» в его устах превращается в синоним пошлого успеха, заменяющего «мечтанья тайного отрады». Поэт возражает книгопродавцу:

Что слава? шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?

Книгопродавец вновь «утешает» поэта и, продолжая излагать свое традиционное понятие задач поэзии, упоминает восхваление женщин, ибо их ушам «приятна лесть Анакреона». Это вызывает целый рой воспоминаний и мыслей поэта, разочарованного легкой и ветреной любовью. Но книгопродавец верен себе. Ему не дано понять мир чувств и переживаний, и в ответ на горькие речи поэта о любви вновь звучит пошлая тирада:

...но исключений
Для милых дам ужели нет?

Реплика «для милых дам» приобретает более точный смысл, если учесть, что слова Поэта «Пускай их юноша поет» первоначально читались: «Пускай их Шаликов поет». «Il a bien mérite du sexe, et je suis bien aise de m'en être expliqué publiquement»*, — иронически писал Пушкин Вяземскому об этой строке из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом». Упоминание имени Шаликова — сентиментального поэта, должно было показать, в каком духе понимал книгопродавец тему любви. Это понимание было полной противоположностью страстной и преданной, романтической любви поэта к избраннице, которая одна лишь могла бы его понять:

Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви!
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужно ей.

Эти смятенные признания о трагической влюбленности оцениваются книгопродавцем как утомление любовью («Итак, любовью утомленный»...).

На вопрос: «Что ж изберете вы»? — поэт отвечает: «Свободу». Смысл этого краткого ответа ясен из всего, что поэт говорил ранее о «черни лицемерной», «презренной черни», гоненье «низкого невежды» (в автографе «знатного невежды»). Но книгопродавец и свободу понимает по-своему:

* У него большие заслуги перед прекрасным полом, и я очень рад публично заявить об этом (франц.).

Прекрасно. Вот же вам совет,
Внемлите истине полезной:
Наш век — торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.

.....
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!

Правда, книгопродавец спешит смягчить циничный смысл своего предложения:

Предвижу ваше возраженье... .
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

Неожиданна и по существу и по форме заключительная реплика поэта: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся». Этот переход от стихотворной речи к прозаической имеет большое смысловое значение. Хотя в словах книгопродавца о том, что только деньги в «железный век» могут дать независимость поэту, есть доля горькой правды, но все же весь облик книгопродавца с его взглядами так чужд поэту, что разговаривать с ним на языке поэзии бесполезно. Толкование заключительной реплики поэта как капитуляции перед логикой книгопродавца опровергается всем содержанием стихотворения. Неверно и понимание замысла стихотворения как декларации о разрыве Пушкина с романтизмом и переходе к житейской прозе. Против оценки «Разговора» как отречения от романтизма говорит и воодушевление, с которым поэт вспоминает время, когда он писал «из вдохновенья — не из платы», и самая фразеология, при помощи которой осуждается образ мыслей книгопродавца:

...Музы сладостных даров
Не унижал *постыдным торгом*...

В действительности произведение это выражает тревожное состояние души поэта, его смятение, его враждебное отношение к «светской черни» и ее взглядам на поэзию, его стремление к свободе.

Вполне понятно, что критика прогрессивно-романтического лагеря встретила «Разговор книгопродавца с поэтом» восторженно. А. Бестужев писал в «Полярной звезде», что это произведение «кипит благородными

порывами человека, чувствующего себя человеком». Одобрительным был и отзыв В. Кюхельбекера. Для критиков и писателей других направлений замысел этого произведения оказался или попросту непонятным, или же был воспринят в духе пошлых рассуждений книгопродавца. Так, А. Измайлов глубокомысленно заметил: «Желательно, чтобы всегда говорили у нас так умно, как здесь, не только Книгопродавцы, но и Поэты...» П. Шаликов написал в ответ на «Разговор» стихотворение «К А. С. Пушкину (на его отречение петь женщин)», заглавие которого само говорит за себя¹².

Другим крупным произведением Пушкина первой половины 20-х годов, в котором продолжается разработка образа поэта, является стихотворение «Андрей Шенье». Оно написано в мае 1825 года (то есть менее чем через год после написания «Разговора книгопродавца с поэтом») и разрешает тему уже в непосредственно политическом плане. Для взглядов Пушкина на роль поэзии и поэта оно имеет значение первостепенное.

В июле 1825 года Пушкин писал Вяземскому: «Читал ты моего А. Шенье в темнице? Суди об нем, как езуит — по намерению». А в первых числах декабря, после того как пришла весть о смерти Александра I, Пушкин в письме к Плетневу оценил «Андрея Шенье» как пророчество. Эти замечания вполне определенно говорят о двупланности стихотворения, о том, что замысел его требует расшифровки, что в нем заключается нечто, отражающее личные переживания Пушкина, острые намеки на русскую действительность, хотя тема произведения — переживания французского поэта А. Шенье перед казнью.

Выбор такой темы с внешней стороны должен был явиться надежной гарантией от цензурного запрета и всякого рода подозрений: А. Шенье, как предусмотрено сообщал Пушкин в примечании к стихотворению, «прославлял Шарлотту Кордэ, клеймил Колло д'Эрбуа, нападал на Робеспьера». Но на самом деле идейный облик и политическая биография Шенье были весьма сложными; в примечании говорится лишь о последнем этапе его жизни. Шенье — автор ряда ярких революционных произведений, написанных и до революции и в первые ее месяцы (таких, как «Свобода», «Гимн справедливости», «Игра в мяч» и др.). Первое время он примыкал к революции. Лишь впоследствии,

став противником тех, кто стоял за ее развитие, он выступал против якобинцев, видя в их тактике бессмысленный террор, и был казнен накануне контрреволюционного переворота. Но образ Шенье в стихотворении Пушкина существен не подробностями политической биографии: в трактовке личности Шенье, конечно, отразилось свойственное Пушкину неприятие якобинизма, но пафос стихотворения все же не в этом, а в прославлении борьбы за свободу. Вот почему цензура не пропустила в стихотворении строки 21—64, содержавшие восторженные воспоминания Шенье о ниспровержении старого режима во время французской революции (от слов «Приветствую тебя мое светило!» до «И буря мрачная минет»). В 1826 году эти же строки распространялись нелегально в рукописных копиях с надписью «На 14 декабря», что вызвало, как известно, политический процесс, окончившийся для Пушкина установлением секретного полицейского надзора.

Как уже говорилось, стихотворение «Андрей Шенье» описывает думы и переживания поэта накануне казни. Но стихотворение имеет и второй план: Пушкин выражал в нем свои собственные переживания, связанные с положением опального поэта, осужденного томиться в михайловской ссылке (на этот второй план указывает уже эпиграф: «Ainsi, triste, et captif, ma lyre toutefois s'éveillait...» *).

Главная идея произведения — апология верности вольнолюбивым идеям. Вся семантика стихотворения — в основном та же семантика гражданской поэзии, которая характерна для политических стихов Пушкина, начиная от оды «Вольность». Стихотворение в основе своей построено как лирический монолог. Пушкинским настроением звучат те места «Андрея Шенье», где говорится об участии поэта в прославлении вольности и борьбе за ее торжество:

Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило
Я славил твой священный гром ..

* Так, когда я был печальным и пленным, моя лира все же пробуждалась. (франц.)

Для развития главной идеи стихотворения важна прежде всего его вторая часть, которая посвящена размышлениям Шенье о правильности избранного им пути политического, а не камерного поэта. «Рожденный для любви, для мирных искушений», он ушел затем от жизни «ленивой и простой» в мир политической борьбы, то есть вступил на путь, который привел его к гибели. Это по существу вставная элегия, сменяющая всем своим интонационным строем предыдущую часть монолога, выдержанную в духе революционной оды. Но далее элегия вновь сменяется энергичными, торжественными одическими интонациями:

О нет!
Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-эвмениду!

Так же, как и начало монолога («Приветствую тебя, мое светило...»), эти строки содержат прозрачные намеки на биографию Пушкина. Начав с воспевания «вольности», «закона» и «равенства» (ода «Вольность») и поплатившись за это ссылкой, Пушкин не только «не поник главой послушной», но продолжал быть верным своим убеждениям и писать новые политические стихотворения. В строках: «Ты пел Маратовым жрецам кинжал и деву-эвмениду!» безусловно содержится намек на стихотворение Пушкина «Кинжал». Это подтверждается фразеологическими и смысловыми совпадениями отдельных мест:

«Андре Шенье»
Ты звал на них, ты славил
Немезиду...

«Кинжал»
Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Неме-
зиды...

или:

Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-эвмениду

И вышний суд ему * послал
Тебя и деву-эвмениду.

Автобиографический характер этой части монолога Шенье подтверждается и тем, что стихотворение Пушкина «Кинжал», будучи революционным по своему замыслу, однако содержит отрицательную характеристику якобинского террора и положительную — Шарлотты Кордэ. Но, как отмечалось выше, основной смысл стихотворения «Андрей Шенье» — не в оттенках отношения к разным этапам французской революции (тем более, что в царской России тягчайшим преступлением было прославление того ее этапа, который Пушкин горячо одобрял, — уничтожения абсолютизма), а в воспевании политической борьбы.

По мотивам, по настроению «Андрей Шенье» связан со стихотворениями В. Ф. Раевского «Певец в темнице» и «К друзьям», а также с набросками неосуществленного ответа Пушкина на эти стихи Раевского.

Ближайший друг Пушкина В. Ф. Раевский, арестованный в 1822 году в Кишиневе за революционную деятельность, написал тогда же в тюремном заключении стихотворение «Певец в темнице», сюжетное движение и форма которого (лирическая исповедь) во многом близка пушкинскому «Андрею Шенье» (озаглавленному, кстати, в рукописи «Андрей Шенье в темнице»).

Стихотворение Раевского представляет собою размышление пред лицом грозной опасности:

О мира черного жилец!
Сочти все прошлые минуты;
Быть может, близок твой конец
И перелом судьбины лютой!

Ты знал ли радость? — светлый мир
Души награду непорочной?
Что составляло твой кумир —
Добро иль гул хвалы непрочной?

Читал ли девы молодой
Любовь во взорах сквозь ресницы?

Далее Раевский говорит о своей суровой жизни, не знавшей ни «неги», ни «любви, как страсти нежной»,

* То есть Марату.

о жизни, целиком посвященной одной высокой цели — борьбе за свободу. Второе стихотворение, «К друзьям», тематически связано с первым; оно содержит уверения в том, что поэт приемлет свой жребий «с твердостью железной» и остается верен своим идеалам:

...я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственные жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны ¹³.

В стихотворении содержался призыв к Пушкину — продолжать дело гражданского поэта, певца свободы.

Наброски ответа Пушкина Раевскому по форме также должны были явиться лирической исповедью. В первых набросках основная мысль такова: поэт гордится не тем, что он

• ..[привлекать] умел стихами
[Вниманье] [пламенных] [сердец],
Играя смехом и слезами,

не тем, что иногда

...коварные напевы
Смиряли в мыслях юной девы
Волнение страха <и> стыда,

не сатирически-обличительными стихами и известностью изгнанника:

Иная, [высшая] [награда]
Была мне роком суждена
[Самолюбивых дум отрада
Мечтанья суетного сна!..]

Стихотворение не окончено, и поэтому неизвестно, о какой «награде» идет речь, но представляется правильным предположение М. А. Цявловского, что «последние два стиха намечают тему бессмертия поэта в потомстве». Возможность такого разрешения замысла поддерживается и следующими строками из стихотворения Раевского «Певец в темнице»:

Поверь протекший путь над бездной,
Измерь ее — и дай ответ
Потомству с твердостью железной ¹⁴.

Строки одного из набросков ответа Пушкина Раевскому совпадают с последней частью монолога Андрея Шенье:

...у столба сатиры
Разврат и злобу я казнил,
...грозящий голос лиры,
Неправду в ужас приводил.

В автографе первоначально эти строки читались:

...мой кинжал
Казнил презренного злодея

Сравните с этим строки из последней части монолога Шенье:

Ты презрел мощного злодея;
.....
Твой бич настигнул их, казнил,
Сих палачей самодержавных...

Второй набросок ответа Пушкина Раевскому («Ты прав, мой друг») тематически близок средней, элегической части монолога «Андрея Шенье». В этом наброске мы читаем:

...Я знал досуг, беспечных муз удел
И наслажденья лени сонной...
Я дружбу знал...
Я знал любовь...

Сравните в монологе Андрея Шенье воспоминания о жизни, в которой он покидал

...друзей и сладостную лень,

о жизни, в которой его «досуг» делили «музы чистые».

Совпадения эти (их можно умножить) важны общей эмоциональной тональностью. Но набросок Пушкина «Ты прав, мой друг» окрашен разочарованием. Здесь отражен тот духовный кризис, который поэт пережил в 1823 году. Он был вызван сложной общественной ситуацией — ослаблением широкой либеральной оппозиции в России, поражением европейских революций, (ср. также стихотворение «Свободы сеятель пустынный»). Этот кризис Пушкин преодолел, о чем ярко свидетельствует и стихотворение «Андрей Шенье», где Пушкин в иносказательной форме повторил идею своей оды «Вольность» о великом назначении поэта. Если в оде

«Вольность» Пушкин утверждал в противовес «изнеженной лире» музу гражданскую, то в стихотворении «Андрей Шенье» он, развивая эту же мысль, расширил ее до темы жизненной судьбы поэта. Говоря, что он в «Андрее Шенье» оказался «пророком», Пушкин имел в виду строки, в которых намекается на отношение к нему Александра I и предсказывается близкая гибель царя:

Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет... и он уж недалек.
Падешь, тиран!..

В этих стихах Пушкин дал волю своему чувству ненависти к царю, которое глухо прорывалось и в его письмах к друзьям. Конкретный автобиографический смысл имело для Пушкина восклицание: «Гордись, гордись, певец...» Доведенный до отчаянья невозможностью вырваться из Михайловского, Пушкин, однако, не внял советам смириться. Он не пошел и на то, чтобы просить у Александра I снисхождения или прощения. Еще в 1821 году в стихотворении «К Овидию», сравнивая свою судьбу с судьбой римского поэта, изгнанного из Рима и умолявшего императора Августа о прощении, Пушкин говорил о себе:

...не унижил век изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

Эта же идея стойкости поэта нашла свое полное развитие в «Андрее Шенье». Думая о своей судьбе изгнанника, Пушкин в одном из писем 1825 года к Вяземскому восклицал: «Грех гонителям моим! И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: Il y avait quelque chose là...» * (эта же фраза приведена Пушкиным в примечании к стихотворению «Андрей Шенье»: «На месте казни он ударил себя в голову и сказал: «Pourtant j'avais quelque chose là»). Так Пушкин вновь намекал на автобиографический характер стихотворения «Андрей Шенье».

* Здесь кое-что было (франц.).

Из всего этого можно заключить, что взгляды Пушкина на роль поэзии, на высокое призвание поэта сложились уже в первой половине 20-х годов. Эти взгляды, выраженные в его стихотворениях, статьях, письмах, оказывали большое влияние на общее литературное движение. «Могу сказать, что в последнее пятилетие царствования покойного государя я имел на сословие литературное гораздо более влияния, чем министерство, несмотря на неизмеримое неравенство средств», — признавался Пушкин, имея в виду царствование Александра I. И в дальнейшем Пушкин продолжал развивать свои взгляды на огромную роль поэта и значение литературы для общественной жизни. От «Пророка» (1826) до написанного незадолго до гибели стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» — таков диапазон эволюции в творчестве Пушкина образа поэта, призванного «глаголом жечь сердца людей».

3

Мысль о роли писателя в борьбе за общественный прогресс, о его великом гражданском долге находит в статьях и заметках Пушкина 30-х годов наиболее полное выражение. «Дружина ученых и писателей, — писал он в 1830 году, — ...всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности». Любопытна примененная здесь терминология: дело писателей — «дружины» — сравнивается с военными набегами. В размышлениях Пушкина о литературе эта терминология не случайна. Ее он использовал и при характеристике процесса поэтического творчества в шуточной, по своему замыслу, поэме «Домик в Коломне».

Однако этим взглядам Пушкина противоречит, как казалось, ряд его же критических суждений и стихотворных произведений 20-х—30-х годов, которые трактовались во многих литературоведческих работах (особенно дореволюционных) как отступление от защиты позиций поэта-гражданина. В качестве аргумента приводились отрицательные отзывы Пушкина о принципе

«пользы» в искусстве и цикл его стихотворений 20 — начала 30-х годов о «поэте и толпе»: «Поэт и толпа» («Чернь»), «Поэту», «Поэт». Между тем и критические высказывания Пушкина и упомянутые выше стихотворения по существу являлись, несмотря на известные противоречия, защитой его прежних взглядов на роль поэзии и предназначение поэта, а не пересмотром этих взглядов.

Действительно, осуждение принципа «пользы» в искусстве выражено в ряде статей, писем, произведений Пушкина. Еще в 1825 году, в ответ на критику Жуковским поэмы «Цыганы», как произведения, в котором нет цели, Пушкин писал: «Ты спрашиваешь, какая цель у «Цыганов»? Вот на! Цель поэзии — поэзия...» Позже он возвращался к теме «цели» и «пользы» неоднократно. В стихотворении «Поэт и толпа» (1828) поэт восклицает, обращаясь со словами обличения к «Черни»: «Тебе бы пользы все...» В 1830 году Пушкин касается этого вопроса в плане теоретическом: «Между тем как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, мы все еще остаемся при понятиях старого педанта Готшеда; мы все еще повторяем, что *прекрасное* есть подражание изящной природе и что главное достоинство искусства есть *польза*». И через год Пушкин пишет снова: «Поэзия... по высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя...» Примеры такого рода суждений Пушкина можно умножить. Но в то же время у Пушкина имеются и суждения противоположные. Так, на полях второй части «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова, по поводу «Послания к И. М. Муравьеву-Апостолу», он заметил: «Цель послания не довольно ясна; недостаточно то, что выполнено прекрасно», а под стихотворением «Странствователь и домосед» приписал: «Конец прекрасен. Но плана никакого нет, цели не видно — все вообще холодно, растянуто, ничего не доказывает и пр.». Следовательно, в понятие «цели» и «пользы» Пушкин вкладывал в каждом случае особое конкретное содержание.

Изучение рассуждений Пушкина на эту тему приводит к заключению, что критика «цели» и «пользы» носила в его статьях и художественных произведениях глубоко прогрессивный характер как в плане непосредственно политическом, так и в развитии литературы.

Общей чертой этой критики является ее направленность против того понимания «пользы», которая развивалась теоретиками лжеклассицизма, вроде упомянутого Пушкиным Готшеда. Эти теоретики понимали «цель» и «пользу» искусства как дидактику, как подчинение художественного произведения заранее установленному заданию. Такой подход к искусству приводил к нарушению гармонии между идеей и образом; образы представляли собою не воплощение определенных идей в ходе живого воспроизведения действительности, а служили средством расцвечивания идеи, украшения ее или иллюстрирования. Подобное понимание «цели» обедняло искусство во всех отношениях: литература превращалась в нечто подобное элементарной педагогике. Именно такие взгляды имел в виду Пушкин, когда высмеивал критиков, которые «о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие», или когда обращался к таким критикам со словами: «Почему же статуи раскрашенные нравятся нам менее чисто мраморных и медных? Почему поэт предпочитает выражать мысли свои стихами? И какая польза в Тициановой Венере и в Аполлоне Бельведерском?» Как бы продолжая в 1836 году свои размышления на эту тему, Пушкин утверждал, что теория, гласящая «будто бы польза есть условие и цель изящной словесности» — это «мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риториками», а «цель художества есть *идеал*, а не нравоучение». Если сопоставить все эти суждения Пушкина с его многочисленными замечаниями о значении мысли в художественном произведении, то мы приходим к окончательному выводу о том, что критика Пушкиным «цели» и «пользы» была критикой, направленной против старых, обветшалых эстетических норм, мешавших развитию искусства больших идей и жизненной правды.

Он высмеивал французских драматургов 1820-х годов (таких, как Жуи, Арно, Пиша), которые писали свои трагедии о героях древности под влиянием последних номеров «*Constitutionnel*» или «*Quotidienne*», заставляя римлян шестистопными стихами говорить

* Французские газеты «Конституционная» и «Ежедневная».

о политических деятелях XIX века. «От сего затейливого способа на нынешней французской сцене слышно много красноречивых журнальных выходов, но трагедии истинной не существует», — заключал Пушкин. Интересные иллюстрации к мыслям о том, как вредит искусству не естественное, вынужденное теми или иными обстоятельствами подчинение произведения ложной тенденции, содержится в отзыве Пушкина о французском поэте Иосифе Делорме (псевдоним Сент-Бева). Говоря об эволюции этого поэта, Пушкин сочувственно отозвался о книге «Жизнь, стихотворения и мысли Иосифа Делорма», отмеченной «искренностью вдохновения», свежестью, непосредственностью. Как известно, в стихах этого сборника причина разочарованности героя, его недовольства объяснялась и моментами социальными, ненормальными общественными условиями, контрастами роскоши и нищеты. Во второй же книге, «Утешения», где поэт примирился с противоречиями жизни, чувствуется «холод предначертания, натяжка, принужденность». Отсутствие искренности в этой книге Пушкин объясняет тем, что поэт нарочито подчинил свои стихи предвзятым идеям; так, если он раньше отвергал «утешения» религии, то теперь сказал себе: «Будем религиозными», решив исправиться под влиянием «людей степенных». Отсюда совершенно ясен смысл заключения, которое содержится в отзыве Пушкина о Делорме: поэзия «не должна иметь никакой цели, кроме самой себя», то есть убеждения поэта должны выражаться в его стихах естественно, иначе неизбежен «холод предначертания».

В своих статьях Пушкин выступает за высокую идейность, против реакционной тенденциозности. В условиях николаевской России, когда брались под подозрение не только писатели, прямо заявлявшие о своем нежелании восхвалять существующие порядки, но занимавшие более или менее самостоятельную позицию, защита Пушкиным независимости от «указующего перста» носила ярко окрашенный прогрессивный характер. Эта позиция Пушкина особенно ясно отразилась в статьях 1836 года, напечатанных в «Современнике». В статье «Французская академия» обличаются поэты, которые пишут, применяясь ко вкусу публики, а «не вследствие вдохновения независимого, не из бескорыстной любви к своему искусству!» Важным этапом борьбы против навязывания

литературе реакционной тенденциозности явилась статья Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной». Статья направлена против писателя, драматурга и переводчика М. Е. Лобанова, выступившего в Российской Академии с обличением французской литературы за «разрушительнейшие мысли», связанные с «ужасами революции». Он обличал также и русскую литературу, в которой усматривал «влияние подобных мыслей». С яростью нападал Лобанов на критику, указывая в тонах политического доноса на ее «совершенную безотчетность, бессовестность, наглость и даже буйство». Здесь подразумевался прежде всего Белинский, который уже тогда считался среди реакционеров «разрушителем авторитетов». Лобанов предлагал, чтобы цензура проникала «все ухищрения пишущих» и чтобы Академия ей в этом помогала¹⁵.

В речи Лобанова Пушкина возмутил и ее реакционный политический смысл и стремление ограничить свободу художественного творчества догматическими правилами. Выступление Пушкина против речи Лобанова носило явно демонстративный характер: требованию Лобанова изгнать из литературы «разрушительнейшие мысли», связанные с «ужасами революции», Пушкин твердо противопоставил прославленную свободу поэта: «Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других».

К выступлениям Пушкина, связанным с темой политической независимости писателя, относится и статья «Вольтер». Она написана в форме рецензии на изданную во Франции «Переписку Вольтера с президентом де Броссом». Говоря о взаимоотношениях Вольтера с прусским королем Фридрихом II, о назначении Вольтера камергером прусского двора, Пушкин безусловно намекал на оскорбительное отношение к себе Николая I, назначившего его камер-юнкером.

«К чести Фридриха II скажем, что сам от себя король... не надел бы на первого из французских поэтов шутовского кафтана, не предал бы его на посмеяние света...» — писал Пушкин. Только учитывая этот автобиографический аспект статьи, можно верно понять размышления Пушкина, которыми он заключает изложение

эпизода с назначением Вольтера камергером: «...настоящее место писателя есть его ученый кабинет... независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы».

Защищая независимость писателя, Пушкин осуждает взгляд на литературу как на средство наживы, житейского успеха и т. п.

В непосредственной связи с защитой Пушкиным «прямого вдохновенья», враждебного всякого рода низменным интересам, приспособлению к официозным требованиям, погоне за «минутной славой», почестями, деньгами возникли стихотворения «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), которые вызвали столько кривотолков в истории литературы и в литературной критике.

Для правильного понимания истории замысла цикла стихотворений о «поэте» и «толпе» нужно учитывать обстановку, в которой оказался Пушкин после поражения декабрьского восстания. С момента возвращения из ссылки Пушкин испытывал все возрастающий нажим со стороны правительства и реакционных литературных кругов, требовавших от поэта перехода на сторону самодержавия. С каждым годом усиливает ожесточенную травлю Пушкина реакционный «Вестник Европы», для которого поэт был чуть ли не вождем литературного нигилизма, покушавшегося «ниспровергнуть до основания священный оплот общественного порядка и благоустройства». В «Вестнике Европы» утверждалось, что «поэзия Пушкина есть просто пародия», а он сам — «гений на карикатуры». Во время военных кампаний 1828—1829 годов реакционная критика предъявляла Пушкину прямое требование стать официозным поэтом, «воспеть успехи нашего оружия» и «великие подвиги современных русских героев». Освобождение от цензуры, которую обещал царь, на деле превратилось в тройную цензуру. На страницах консервативной прессы грубо поносились наиболее зрелые произведения Пушкина: «Полтава», «Евгений Онегин» и др.

В свете такого рода фактов стихотворения «Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту» и другие, примыкающие к ним по теме, приобретают характер протеста. Развитый в них мотив независимости поэта позже конкретизирован в стихотворении «Из Пиндемонти» (1836):

...Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

Однако идейная и эстетическая концепция этих стихотворений сложна и не лишена противоречий. Тем не менее нет никакого основания утверждать, что произведения эти связаны с эстетикой субъективного идеализма, противопоставляющей искусству реальной действительности поэзию «чистой красоты», не зависимой от общественной жизни. Извращенно комментируя стихотворения «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», представители идеалистического литературоведения — от П. В. Анненкова до М. О. Гершензона — и их вольные или невольные последователи рассматривали эти произведения изолированно от всей системы взглядов Пушкина на роль поэзии и предназначение поэта. Доказательства принадлежности Пушкина к сторонникам «чистого искусства» ограничивались главным образом столь многократно цитированными строками стихотворения «Поэт и толпа»:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Трактовка стихов «Поэт и толпа» как декларации сторонника «чистого искусства» укрепились, с другой стороны, не без влияния авторитета Писарева, который зачеркивал значение творчества Пушкина-реалиста и, опираясь на стихотворение «Чернь» (под этим заглавием печаталось стихотворение «Поэт и толпа»), отводил поэту роль жреца «звуков сладких и молитв». Писарев утверждал также, что в этом стихотворении «чернью» именуются «неимущие соотечественники» и даже «все трудящееся человечество»¹⁶.

Убедительная критика писаревского толкования стихотворения «Чернь» («Поэт и толпа») была дана Плехановым, который показал, что Пушкин обращался, конечно, не к народной толпе, а к толпе светской, к светской черни (кстати говоря, у Пушкина встречается и само определение «светская чернь»; см., например, «Евгений Онегин», глава четвертая, строфа XIX). Однако Плеханов все же был не прав, соглашаясь с тем, что

после декабристского восстания Пушкин стал «приверженцем чистого искусства». Плеханов писал: «Пушкину не раз предлагали писать полезные для славы отечества нравоучительные произведения. Он *предпочитал «чистое» искусство* и именно этим доказал, что был выше ходячей тогда морали». Что Пушкин отказывался выполнять реакционные «заказы», это, конечно, так. Но значит ли это, что Пушкин — художник, никогда не избегавший житейского волнения, — «предпочитал чистое искусство»? Как с этим примирить тот факт, что стихотворения, в которых защищается свобода поэта от притязаний «толпы», написаны Пушкиным в те годы, когда он в противовес певцам «звуков сладких и молитв» затрагивал в своем творчестве острейшие проблемы истории и современности, обращался к изображению «прозы жизни»? Ведь если считать стихотворения 20-х годов о «поэте и толпе» декларациями Пушкина, то декларациями являются также стихотворения «Пророк», «О муза пламенной сатиры», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Позиции чистого искусства противоречат и многочисленные высказывания и суждения Пушкина этого же времени, в которых он защищает великую общественную роль искусства. Наконец как согласовать с мнением о переходе Пушкина в лагерь сторонников «чистого искусства» и другой факт — усилившуюся в эти годы травлю его консервативной критикой за измену «чистой лире Аполлона», предостерегающе заявлявшей поэту: «Мало ли в природе вещей, которые совсем нейдут для показу?.. Дай себе волю... пожалуй, залетишь и — бог весть куда! — от спальни недалеко до девичьей; от девичьей — до передней; от передней — до сеней; от сеней — дальше и дальше!..»¹⁷

Не возражая в принципе против мнения о принадлежности Пушкина к сторонникам теории «чистого искусства», Плеханов находил этой его позиции историческое оправдание, так как считал что «*в известные исторические эпохи нежелание метать бисер перед холодной и неразвитой толпой необходимо должно приводить умных и талантливых людей к теории искусства для искусства*». Исходя из этого положения, Плеханов пришел к выводу, что теория «искусство для искусства» в эпоху Пушкина — эпоху «общественного индифферентизма и упадка гражданской нравственности» — играла положительную роль.

Это положение Плеханова, конечно, не может быть принято, ибо, как известно, теория «чистого искусства» во все эпохи играла роль отрицательную, так как даже в самые трудные времена не прекращалась пропаганда в литературе передовых идей, борьба с реакцией (чему свидетельство и творчество Пушкина). Но в рассуждениях Плеханова имеется рациональное зерно: Пушкин в стихах о «поэте и толпе» отстаивал свою независимость. Можно добавить к этому, что упомянутые его стихотворения защищают верность поэта своим убеждениям, верность избранному пути. Но это не был путь холодного «чистого искусства», удаленного от жизни¹⁸.

В чем же своеобразие цикла стихов о «поэте и толпе»?

Прежде всего следует сказать, что образ поэта, созданный в нем, — это образ человека гонимого, одинокого, человека, который подвергается тяжчайшим испытаниям, но остается тверд и непоколебим. Такие же черты в образе поэта мы отметили и в стихотворениях, написанных ранее, в первой половине 20-х годов. Только теперь эти черты приобретают более трагический оттенок: резче подчеркнуто одиночество поэта, обреченного на «суд глупца», вынужденного слушать «смех толпы холодной», поэта, которого толпа «бранит», «плюет на алтарь», где горит его огонь, священный огонь поэзии. В автографе стихотворения «Поэту» этот мотив варьируется несколько раз: «Пускай перед тобой беснуясь чернь кричит», «Так пусть тогда толпа неистово кричит», «Так пусть его тогда надменно чернь хулит». Позиция поэта в этом стихотворении — позиция мужества, бесстрашия:

...останься тверд, спокоен и угрюм.

С мотивом «твердости», мужества связан и другой мотив — верности своему образу мыслей:

...Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум...

Теме одиночества поэта и враждебного отношения к нему света посвящено и стихотворение «Ответ анониму» (1830), которое носит непосредственно автобиографический характер (оно является ответом на приветственное анонимное послание в связи с женитьбой

Пушкина). О чувствах, вызванных этим посланием, говорит горькое признание поэта:

К доброжелательству досель я не привык —
И странен мне его приветливый язык.
Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой, —
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагодарною кивает головой.

К этой же теме одиночества поэта, совершающего свой подвиг благородный в окружении равнодушия или враждебности, примыкает и стихотворение «Эхо»; поэт откликается на все — ему же «нет отзыва». Сравнение поэзии с эхом у Пушкина встречается не впервые. (Ср. в лицейском стихотворении 1816 года:

..неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.)

Несмотря на имеющиеся в стихах цикла о «поэте и толпе» различия, их роднит один мотив — защита идеи высокого предназначения поэта. Поэт, говорится в стихотворении «Поэт», может иметь человеческие слабости, пока он погружен в заботы суетного света:

...меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он...

Но, призванный к «священной жертве», к творчеству, поэт должен быть непогрешимым в своей чистоте, в благородстве своего подвига, в исполнении своей миссии пророка — такова мысль этого стихотворения, утверждающего все ту же любимую идею Пушкина о высокой роли поэта. Полные глубокого смысла слова о поэте:

К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы... —

имеют в первопечатном тексте любопытный вариант: вместо «народного кумира» — *«светского кумира»*. Таким образом, логически очевидно и, кроме того, доказывается историко-литературным анализом, что призыв этого стихотворения: «Поэт, не дорожи любовью народной!» — имеет в виду не отношение поэта к народным массам,



которые не могли знать его стихов уже потому, что были сплошь неграмотными. Существенны для раскрытия замысла стихотворения первоначальные заголовки сонета в автографе: «Хвалы», «Награды». Пушкин, следовательно, хотел подчеркнуть заголовком мысль о равнодушии поэта к похвалам светской толпы, к ее наградам.

Стихотворение «Поэт» непосредственно связано с написанным годом ранее стихотворением «Пророк» и своей идеей и художественной символикой. Представления о поэзии как священной жертве, сравнение души поэта с пробудившимся орлом — все это близко образной системе «Пророка». Однако основная идея «Пророка» — предназначение поэта «глаголом жечь сердца людей» — сформулирована здесь в отличие от других стихов этого цикла не иносказательно, а прямо.

С защитой высокого облика поэта-пророка связан и сонет «Поэту» опять-таки и своей символикой — «алтарь» (в смысле «жертвенник»), «огонь», «треножник» — и мыслью о высоком, чистом, благородном облике поэта. Образы гонимого пророка и гонимого поэта, которого оскорбляет и осмеивает толпа, в данном контексте безусловно ассоциируются. Все это важно для понимания внутренней общности замысла стихотворений «Пророк», «Поэт», «Поэту», нисколько, следовательно, не противоречащих одно другому по идейной направленности: все они объединены темой высокого общественного предназначения поэзии, великого призвания поэта.

Как уже отмечалось, в том же аспекте, хотя и с внутренним противоречием, решается эта тема в стихотворении «Поэт и толпа». И оно некоторыми своими деталями связано с темой поэта-пророка; поэт — «божественный посланник», которого окружает (как и в стихотворении «Поэту») «хладный и надменный», «непосвященный народ». И здесь та же символика: «алтарь», «жертвоприношение», — слова, которые являются как бы сигналами, вызывающими в сознании читателя высокий образ поэта. Единство замысла «Пророка» и «Поэт и толпа» подтверждается также тем, что первоначально эпиграф ко второму стихотворению был выписан Пушкиным не из Горация: «Procul este, profani» *, а из Иова: «Послушайте глагол моих...», то есть вновь возникала как и в «Пророке»,

* Отойдите, непосвященные (лат.).

тема «глагола» — слова не «лукавого» и «праздного», а проникновенного, поучающего.

Все, кто рассматривали стихотворение «Поэт и толпа» как манифест «чистого искусства», исходили из убеждения, что здесь Пушкин отказывался от провозглашенного им в «Пророке» тезиса: долг поэта «глаголом жечь сердца людей». Но при этом совершенно не обращалось внимания на три важных момента, определяющих замысел стихотворения.

Во-первых, в нем поэт отказывается от «служения» не вообще народу, а «хладной и надменной черни», отказывается потому, что *ей* чужда и враждебна его поэзия. «Чернь» отнюдь не считает его «песнь» — песнью для самого себя; нет, «чернь» признает, что свободная песнь поэта «сердца волнует, мучит», но она осуждает ее именно потому, что песня эта для *нее*, «черни», не нужна, бесполезна. Этот момент настойчиво подчеркнут в словах «черни» о поэте:

К какой он цели *нас* ведет...
О чем бренчит? чему *нас* учит?
.....
Как ветер песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза *нам* от ней?

В том, что этот акцент — результат не субъективного чтения текста, а его действительного звучания, убеждает автограф, где слово «нам» выделено с большей интонационной резкостью:

И нам *какая* ж польза в ней.

В автографе имеется разработка мотива власти поэта над сердцами, но власти, не приемлемой для черни:

Сердцами играя,
Куда влечет...
.....
И слух и сердце поражая,
К чему он нас зовет
.....
Игра его смела, свободна...

Светская чернь хочет видеть в поэте *своего* поэта, который давал бы ей уроки (в рукописи «сладкоречивые уроки»), «ближнего любя». Однако поэт питает к «черни»

не любовь, а ненависть, и эта ненависть с предельной ясностью проявилась в той самооценке, которую Пушкин вложил в уста черни:

Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем холодные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки.

В рукописи Пушкин, не скупясь на эпитеты, добавил еще характерные признаки светской черни: «скоты», «жалкие глупцы», «душой рабы», «ленивцы», «гордецы», «тираны», «подлецы», «грабители», «подлые скопцы» и т. д. Поэтому вполне оправдан отказ поэта следовать призыву, с которым «чернь» обращается к нему:

Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй...

«Чернь» вызывает у поэта только отвращение и гнев, она несправима. Так получают полное оправдание его гневные слова:

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!

Интересно движение замысла стихотворения, раскрывающее его истинную направленность. В первоначальном наброске первая же строфа не оставляет сомнений в том, что стихотворение адресовано именно светской толпе:

Толпа надменная поэта окружала,
И равнодушно ей задумчив он внимал
И звучной лирою рассеянно бряцал.

Этими строками воссоздавалась атмосфера светского салона.

Полемическая направленность стихотворения против понятий «цели» и «пользы» в искусстве, в смысле догматической дидактики, вряд ли нуждается в доказательствах после того, как выше уже выяснен характер критики этих понятий Пушкиным. Поэт иронизирует по поводу призыва «черни» «исправлять пороки». Эта формула встречалась в то время на страницах вполне благонамеренных журналов, трактовавших «исправление» как

«улучшение нравов», без «посягательств» на так называемые «священные основы».

Но есть в стихотворении и еще один мотив, который важен не только как полемический выпад против дидактической трактовки «пользы» искусства, но и как защита искусства от натуралистического опошления:

...тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

Это низменно-прозаическое приращение искусства, подход к явлениям искусства с критерием повседневно-бытовой, так сказать потребительской ценности (в рукописи о «черни» сказано: «Лишь низких выгод алчешь ты») столь же враждебен истинно прекрасному, как и аристократическое презрение к «прозе жизни». Любопытно, что два года спустя после написания стихотворения «Поэт и толпа» Пушкин в своей статье «О народной драме...», посвященной обличению искусства аристократического, придворного и защите драмы народной (цель которой: «Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная») в тех же выражениях полемизировал с плоским, убогим пониманием пользы.

Итак, стихотворения цикла «поэт и толпа» не выражали позицию сторонника «чистого искусства». Однако в них все же заключено внутреннее противоречие, которое дало возможность эстетам уцепиться за него для пропаганды своих по существу абсолютно чуждых Пушкину взглядов на поэзию. Это противоречие заметил Белинский, когда он, вскрывая направленность стихотворения «Чернь» против «хладных скопцов», требующих от поэта «общих нравоучительных мест», в то же время осуждал способ самозащиты Пушкина от притязаний светской черни. Белинский писал: «Он (Пушкин. — Б. М.) презирает чернь и на ее приглашение — исправлять ее звуками лиры, отвечает словами, полными благородной гордости и энергического негодования... Но если до истины можно доходить не тем, чтоб соглашаться с глупцами, то и не тем, чтоб противоречить им, — а тем, чтоб, забывая о их существовании, смотреть на предмет глазами разума». Внутренняя полемичность стихотворения была облечена

в столь общую форму что, слова о поэте, рожденном «не для житейского волнения», «не для битв», могли восприниматься как отказ поэта откликаться на животрепещущие вопросы современности, отказ вмешиваться в жизненную борьбу¹⁹.

Неверное истолкование стихотворений о «поэте и толпе» опиралось, кроме того, на легенду о том, что Пушкин будто бы написал их под влиянием русских сторонников немецкой идеалистической эстетики, сгруппировавшихся вокруг «Московского вестника». Легенда эта имеет своим первоисточником воспоминания одного из основных сотрудников «Московского вестника» С. П. Шевырева, утверждавшего, что Пушкин «объявил свое живое сочувствие тогдашним молодым литераторам, в которых особенно увлекала его новая художественная теория Шеллинга», и что «под влиянием последней, проповедовавшей освобождение искусства», были написаны стихи «Чернь». Такая же точка зрения развивалась П. В. Анненковым, который был сам сторонником теории «чистого искусства». Она поддерживалась и в ряде работ, вышедших уже в советские годы. Так, по поводу эстетических взглядов Пушкина В. А. Васильев писал в 1937 году: «Если мы обратимся к художественной практике Пушкина, то факт сильного воздействия кантовских и шеллингианских эстетических установок на творчество Пушкина явится несомненным». И далее: «Несомненно кантовское определение красоты как целесообразности без цели оказало большое влияние на Пушкина». Представление о влиянии эстетической теории сотрудников «Московского вестника» — «любомудров» — на Пушкина отразилось даже в комментариях к массовым изданиям сочинений Пушкина. Например, в примечаниях к стихотворению «Поэт и толпа» в однотомнике сочинений Пушкина, изданного Гослитиздатом в 1949 году, читаем: «Стихотворение написано в период сближения Пушкина с московскими любомудрами и отражает их идеи о призвании поэта к свободе художественного творчества»²⁰.

Со всем этим согласиться нельзя. Пушкин, вступивший в союз с «Московским вестником», в надежде что он может определять платформу журнала, вскоре убедился в нереальности этого и в конце концов отошел от него. В практике журнала были и положительные стороны:

там печатались произведения Пушкина, переводы из Гете, Шекспира, Шиллера, Вальтера-Скотта и других писателей; интересные статьи встречаются в отделе «Наука». Статья И. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина», выступления против Булгарина, критика пережитков классицизма — все это имело безусловно прогрессивное значение. Но в вопросах философии и эстетики основной линией «Московского вестника» была пропаганда идеализма, религии и мистики. В ряде статей «Московского вестника» утверждалось, в духе шеллингянской эстетики, что искусство — средство познания «абсолюта», божественное откровение, что источник искусства — не действительность, а мистические «глубины духа». В статьях и стихотворениях «Московского вестника» встречается та же терминология, которую использовал и Пушкин в своей критике понятия «цели» и «пользы» искусства. Но в то время как Пушкин отстаивал независимость поэта в борьбе с реакционной тенденциозностью, в борьбе за реализм, «Московский вестник» ратовал за уход от жизни и ее противоречий в мир эстетически-уравновешенного созерцания. Так, в статье В. Титова «О достоинстве поэта» говорилось: «...Поэт живет отшельником от действительного мира, в мире своей фантазии», ибо «всечастный, горестный опыт убеждает нас, что счастье нельзя искать в предметах внешних». Автор другой статьи («S») доказывал, что первым признаком поэзии должна быть таинственность, и призывал создавать «мистическую поэзию», начало которой — «в недостижимом святилище творческой души». Выступая против дидактики и морализирования классицизма, «Московский вестник» зачастую приходил, однако, к отрицанию реализма, общественной роли искусства. Все это выражало стремление к примирению с действительностью, характерное для основных сотрудников журнала — Погодина, Шевырева, Хомякова, Титова и других «любомудров», после 14 декабря отрекшихся от каких бы то ни было элементов политического вольномыслия. В статье «О возможности найти единый закон для изящного» Шевырев писал, что этот закон заключается в чувстве, которое «примиряет нас со всем миром», ведет «к согласию с самим собою и со всем миром, нас окружающим». Эти рассуждения составляли фило-

софское обоснование полного отказа от борьбы с социальным злом ²¹.

Тот же Шевырев в «Обозрении русской словесности за 1827 год» утверждал, что «не дело поэта преподавать уроки нравственности», а в другой статье — что поэзия «существует самобытно и имеет свою цель, независимую ни от каких других отношений». Развертывая эти свои положения применительно к русской литературе, Шевырев отрицательно отзывался о том ее направлении, которое ведет начало от Кантемира, направлении сатирическом, обличительном. «Каких же благодетельных последствий ожидать можно от поэзии, если она при начале своем объявит войну жизни и свету?.. Не поэзии дело истреблять плевелы, она положительно действует на человека...» В журнале встречаются выступления против воспроизведения в искусстве жизни рядовых людей, повседневного быта и вместе с тем против мятежной романтики Байрона и Пушкина. Таким образом, идеал «чистого искусства», отрешенного от действительности, сочетался в эстетической программе журнала с борьбой против реализма. Статьи, противоречащие этой программе, были в «Московском вестнике» исключением ²².

Для Пушкина же борьба за независимость искусства, против реакционно-тенденциозной трактовки понятий «цели» и «пользы» была вместе с тем борьбой за реализм, за сближение литературы с жизнью, за ее демократизацию. Это подтверждается теми его произведениями, где эстетические декларации сочетаются с реалистическим изображением действительности. Такова, например, поэма «Домик в Коломне». Первоначальный набросок вступления к этому шуточному произведению свидетельствует о явно полемической направленности против тех, кто упрекал поэта за «бесцелье» и требовал подчинения творчества вполне определенной цели — восхваления официозной героики:

Пока меня без милости бранят
За цель моих стихов — иль за бесцелье
И важные особы мне твердят,
Что ремесло поэта — не безделье,
Что славы прочной я добьюся вряд,
Что хмель хорош, но каково похмелье?

И что пора б уж было мне давно
Исправиться, хоть это мудрено.

Пока сердито требуют журналы,
Чтоб я воспел победы россиян
И написал скорее мадригалы
На бой или на бегство персиян...

Вступление к «Домику в Коломне» Пушкин написал другое, но две заключительные строфы окончательного текста поэмы — диалог критика и поэта — посвящены той же теме — о «пользе», «цели», «нравоучении»:

xxxix

«Как, разве всё тут? шутите!» —
«Ей-богу». —
«Так вот куда октавы нас вели!
К чему ж такую подняли тревогу,
Скликали рать и с похвальбою шли?
Завидную ж вы избрали дорогу!
Ужель иных предметов не нашли?
Да нет ли хоть у вас нравоученья?» —
«Нет... или есть: минуточку терпенья...

xl

Вот зам мораль: по мнению моему,
Кухарку даром нанимать опасно:
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно:
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себе, что несогласно
С природой дамской... Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего...»

Еще более полемическая направленность ощущается в неоконченной поэме Пушкина «Езерский». Герой поэмы из обедневшего старинного рода, бедный чиновник — коллежский регистратор. Отстаивая право на выбор именно такого, «ничтожного героя» в споре с критиком, Пушкин повторяет ряд мотивов, которые содержатся в цикле стихотворений о «поэте и толпе».

Исполнен мыслями златыми,
Не понимаемый никем.
Перед распутиями земными
Проходишь ты, уныл и нем.
С толпой не делишь ты ни гнева,
Ни нужд, ни хохота, ни рева,
Ни удивленья, ни труда.

Глупец кричит: *куда? куда?*
Дорога здесь. Но ты не слышишь,
Идешь, куда тебя влекут
Мечты златые; тайный труд
Тебе награда; им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.

Разумеется, никакой защиты «чистого искусства», удаленного от «низменной жизни», нет в этой декларации, которая введена в поэму о судьбе маленького человека, живущего на тесном чердаке. Так обнаруживается смысл отстаивания Пушкиным свободы поэта во имя сближения поэзии с жизнью.

4

В 30-е годы Пушкин продолжает разработку образа поэта в своих художественных произведениях — не только в лирике, но также в драматургии и прозе.

Глубокими философскими идеями — о разных типах художников, о цели искусства, о красоте и правде, о прекрасном и возвышенном проникнута трагедия «Моцарт и Сальери».

Исследователями этого произведения выяснены источники, из которых Пушкин заимствовал сведения об отравлении Моцарта: в этом плане установлено много интересного. Теперь уже можно считать бесспорным подвергавшийся раньше сомнению самый факт отравления и виновность Сальери. По новому рассматривается в новейших работах и проблематика произведения: она выходит далеко за пределы художественного изображения эпизодов из биографии Моцарта и Сальери и связывает трагедию с важнейшими вопросами искусства и, в частности, с идеями, выраженными в цикле стихов Пушкина о поэзии и поэте. Неверно (как справедливо отметил Б. П. Городецкий, подчеркнувший задачу изучения «маленьких трагедий» в связи с современной Пушкину действительностью) рассматривать «Моцарта и Сальери» как воплощение отвлеченной темы зависти²³.

Основной вопрос, поставленный в трагедии, вопрос о совместимости «гения» и «злодейства». Недаром он повторяется в самом конце трагедии, в последних словах Сальери:

Ты заснешь
Надолго, Моцарт! но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Ответ на вопрос о совместимости «гения» и «злодейства» дан самим развитием действия и трактовкой характеров Моцарта и Сальери. В трагедии Пушкина отчетливо показано, что Сальери не гений. Не следует путать пристрастие к искусству, которое он чувствовал с ранних лет, и гениальность (в смысле творческой одаренности, самостоятельно открывающей новые пути в искусстве). Сальери сам говорит, с какими трудностями он овладел профессией, с какой сухой рационалистичностью постигал он ее законы:

...Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп.

Грубо натуралистический характер сравнения музыкального анализа с вскрытием трупа, может быть, больше говорит о характере Сальери, чем его откровенно эгоистическое признание о том, почему его гложет зависть к Моцарту.

Сальери, начав творить, не стал открывателем, а смог лишь идти за теми, кто являлся действительными творцами.

...Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

Только идя по следам Глюка (причем идя с *«усильным, напряженным постоянством»*), Сальери достиг успеха. Но в упорстве, с которым Сальери овладевал искусством, была не только одержимость увлеченного человека, но иная, посторонняя искусству цель, погоня за

славой, и об этой цели, бессознательно разоблачая себя, говорит в первом же монологе Сальери:

Я стал творить, но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять еще о *славе*.

И дальше:

...*Слава*
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям.
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, *славой*...

В развитии сюжета мотив славы становится для Сальери определяющим в его решении отравить Моцарта. В лучах славы гениального Моцарта померкнет известность, успех, которого так добивался Сальери; этим пытается он оправдать надуманное преступление:

...я избран, чтоб его
Остановить, — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей *глухою славой*...

Далее в рассуждениях Сальери появляется еще один мотив: решение убить Моцарта он подкрепляет утверждением о бесполезности его существования:

Что *пользы*, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Что *пользы* в нем? Как некий херувим
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желание
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Эти слова напоминают слова «черни» из стихотворения «Поэт и толпа» о поэте:

Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато, как ветер и бесплодна:
Какая *польза* нам от ней? *

Так Сальери толкует понятие цели искусства и пользы. Толкование это глубоко чуждо Пушкину. Рас-

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

крывая образ Сальери, Пушкин продолжал, следовательно, ту критику чужеродных искусству представлений о «цели» (будь то дидактика, погоня за славой или что-либо иное) и «пользе», о которой говорилось выше.

Иначе, чем Сальери, думает Моцарт. Его слова об искусстве представляют полную противоположность суждениям Сальери:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих *презренной пользой* *
Единобожного прекрасного жрецов.

В этих словах нет, конечно, и тени аристократизма: отвращение к «презренной пользе», бескорыстная любовь к искусству даны здесь в том идейно-психологическом контексте, как и в стихотворениях Пушкина о «поэте и толпе». Именно Сальери, а не Моцарту свойственна аристократическая узость во взгляде на жизнь. Об этом говорит и сцена со слепым музыкантом и простота, с которой держится Моцарт, его глубокая человечность. Характерна и его речевая манера, отличная от сухой, напыщенной манеры Сальери. Сравним, например, такие реплики:

С а л ь е р и

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

М о ц а р т

Ба! право? может быть...
Но божество мое проголодалось.

Осуждение Сальери не только как убийцы Моцарта, осуждение его отношения к искусству, к жизни звучит у Пушкина с тем большей силой убедительности, что этот образ дан не однолинейно, а в сложной гамме переживаний, попыток самооправдания, гнусного лицемерия в минуты отравления Моцарта. «Злодейство» Сальери не только в отравлении человека, который восхищал его

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

своей музыкой. Сам характер Сальери — характер человека, злобного по своей натуре: восемнадцать лет носил он с собой яд, не один раз думал он воспользоваться им, проводя время с «гостем ненавистным», но не решался, ожидая появления самого злейшего врага, и вот он найден — найден в лице Моцарта:

И я был прав! и наконец нашел
Я моего врага...

Слова, которые произносит Сальери, когда говорит, что яд перейдет в «чашу дружбы», ярче всего раскрывают его характер. И Моцарт, не подозревающий коварства Сальери, говорит, выпивая стакан с ядом:

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз...

Идея о несовместимости «гения» и «злодейства» является по существу развитием излюбленной Пушкиным идеи, о которой говорилось выше: действительная, искренняя, беззаветная любовь к прекрасному не может быть свойственна людям с низменными чувствами и мыслями, людям с темными помыслами, с злобной душой, людям, которые не любят жизни (как не любит ее и Сальери; вспомним его слова: «...мало жизнь люблю...») и ненавидят всякого, кто обладает душевной чистотой, кто превосходит их в чем-либо. Какими бы словами ни говорил Сальери о своей преданности искусству, сколько бы ни лил слез, слушая музыку Моцарта, любовь к искусству не является для него главным, определяющим в его отношении к жизни, иначе он никогда не решился бы отравить того, кого сам назвал «богом». Беспредельная любовь к искусству воплощена в кристально чистом, поэтически возвышенном, исполненном благородной красоты образе Моцарта.

Другим художественным произведением Пушкина 30-х годов, связанным с темой роли поэта, является неоконченная повесть «Египетские ночи». При изучении ее (как и «Моцарта и Сальери») главное внимание уделялось вопросу об источниках. Откуда Пушкин заимствовал сведения о любовных похождениях Клеопатры, какими материалами он пользовался, создавая образ итальянца-импровизатора, — вот что интересовало прежде всего литературоведов. Между тем в тех частях

повести, которые были написаны Пушкиным, тема Клеопатры возникает только в импровизации итальянца; все же ее содержание посвящено изображению чувств и переживаний петербургского поэта Чарского, его пониманию роли художника, его взаимоотношению с светским обществом и т. д. Трудно сказать, как дальше развивался бы замысел, но во всяком случае повесть в дошедшем до нас виде — это произведение, в котором самые дорогие для Пушкина идеи о поэте и поэзии нашли свое художественное претворение, причем материалом для разрешения этой темы послужили конкретные условия русской жизни 30-х годов.

В повести использованы мотивы другого произведения, озаглавленного «Отрывок» («Несмотря на великие преимущества...»), который написан в 1830 году. Пушкин предполагал его печатать; об этом свидетельствуют заключительные слова: «Сей отрывок составлял, вероятно, предисловие к повести, не написанной или потерянной. Мы не хотели его уничтожить». Содержание отрывка — тяжелое положение поэтов в современном обществе. Здесь говорится об их «гражданском ничтожестве и бедности», «о зависти и клевете братья, коих они делаются жертвами, если они в славе, о презрении и насмешках, со всех сторон падающих на них», о суждениях глупцов и т. д. В «Отрывке» был ряд автобиографических моментов, а также намеки на события, связанные с современной литературной борьбой. Так, упоминалось требование, предъявляемое поэту, воспеть «победы» (требования эти были обращены к Пушкину после его возвращения из путешествия в Арзрум), говорилось о литераторах, опасных «по своему двойному ремеслу» (намек на Фаддея Булгарина — агента III отделения) и т. д. Однако «Отрывок» носит характер публицистического, а не художественного произведения. По-видимому, Пушкин не напечатал его, решив разработать эту тему в произведении художественном.

Те места «Египетских ночей», где характеризуется отношение светского общества к поэту, даны в духе «Отрывка», а также стихов о «поэте и толпе» (например: «Публика смотрит на него (стихотворца. — Б. М.), как на свою собственность, по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия»). Унизительное положение, в которое был поставлен Чарский как поэт, заставляло его

скрывать свои мысли и чувства под маской светского человека: он вел самую рассеянную жизнь, делал все для того, чтобы «сгладить с себя несносное прозвище» — прозвище поэта, и был в отчаянии, когда кто-нибудь из светских друзей заставлял его с пером в руке. Но эту шепетильность, доходившую до мелочей, Пушкин отметил лишь для того, чтобы подчеркнуть, что в сфере творчества Чарский был, однако, подлинным поэтом, что, только работая в своем кабинете, он знал подлинное счастье: «...он был поэтом и страсть его была неодолима...» Когда приходило время творческого подъема, то «и свет, и мнение света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи». Так развертывал Пушкин мотивы стихотворения «Поэт» («Пока не требует поэта...»). Неодолимая страсть к поэзии, преданность своему труду, заставляющая забывать все «невзгоды», придает романтическую, в самом лучшем смысле слова, возвышенность образу Чарского. Эти его особенности проявились и в отношении к импровизатору-итальянцу.

Облагораживающая сила искусства показана Пушкиным и в развертывании характера импровизатора. Итальянец при денежных расчетах обнаружил дикую жадность, а на вечере в зале княгини казался чуть ли не заезжим фигляром в своем театральном одеянии, особенно когда начал говорить с «господами посетителями» робким и смиренным голосом. Но как только он стал творить, весь его облик изменился и приобрел черты высокого романтизма: «...импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак музыкантам играть. Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла. Импровизация началась».

Как ни различны характеры Чарского и итальянца-импровизатора, их объединяет представление о высокой роли поэзии, о независимости поэта. Эта общность ярко проявилась в сцене, где итальянец импровизирует для одного Чарского. Тема, которую предложил ему Чарский, по существу является основной темой стихов Пушкина о «поэте и толпе»: «поэт сам избирает предмет для своих

песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением». Импровизация итальянца на эту тему — проникновенная защита независимости поэта от толпы, защита свободы поэтической фантазии.

Поэт идет — открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его:
«Скажи, зачем без цели бродишь?
Едва достиг ты высоты,
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет».
— Зачем крутится ветер в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пенъ? Спроси его,
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт; как Аквилон
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир для сердца своего.

Эти стихи переработаны Пушкиным из соответствующего отрывка поэмы «Езерский»²⁴. В рукописном тексте повести они отсутствуют, но несомненно, что Пушкин хотел использовать их для импровизации итальянца.

Смысл сцены импровизации ясен: Чарский и импровизатор, люди, столь, казалось бы, далекие по своему положению, взглядам, характеру, оказались родственными натурами в самом главном, что определяет художника; иначе итальянец не смог бы реализовать с такой силой и полнотой тему, предложенную Чарским. Чарский был

изумлен, растроган, потрясен. В ответ на вопрос Чарского, сумеет ли импровизатор обойтись без публики, без грома рукоплесканий, итальянец отвечает: «Пустое, пустое! Где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне целой бури рукоплесканий». Из этой же главы становится понятным, что жадность и приниженность итальянца — не прирожденные свойства его натуры, а следствие условий, в которые он был поставлен.

В «Египетских ночах», следовательно, размышления Пушкина о роли поэта и поэзии впервые воплотились не в форме общих лирических деклараций, а в конкретном образе петербургского стихотворца. Не все в этом образе автобиографично: Пушкину, в частности, были чужды свойственные Чарскому дендизм, аристократическое предубеждение против отношения к поэзии как профессии и т. д. Но в самом главном — в отношении к свободе поэта от светского общества, в ощущении счастья, которое дает творчество, — Пушкин воплотил свой личный опыт, свои переживания.

Итогом размышлений Пушкина о роли поэта является стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», созданное им за пять месяцев до смерти. Стихотворение написано на тему, которая имеет громадную традицию: ему предшествовали сотни произведений о бессмертии поэта, существовавших в мировой литературе. Пушкин дал свое совершенно новое решение темы.

Пушкинский «Памятник» непосредственно соотнесен с «Памятником» Горация (на что указывает эпитафия «*Exegi monumentum*») и с «Памятником» Державина. Указание на Горация было сделано Пушкиным, по видимому, лишь для того, чтобы напомнить самую традицию. Поэты, следуя Горацию, придерживались, как правило, установленной им схеме в ее последовательности: нетленность созданного поэтом памятника по сравнению с металлом, камнем, стихиями; бессмертие поэта в веках; распространенность славы поэта; его основная заслуга перед потомством; торжественная, одическая концовка. В пределах этой схемы поэты разных эпох и народов создавали свои произведения. Ближайший к Пушкину по времени и по структуре написания «Памятник» Державина прославляет могущество государства и ее главы: поэт может войти в века только через восхва-

ление великих деяний монарха. Если поэзия Державина в целом не укладывается в рамки хвалебно-одической поэзии феодальной формации, то его «Памятник» характерен именно этой идейной направленностью. Вот главное, что ставит себе в заслугу поэт:

Слух обо мне пройдет от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк помнить будет то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о бже
И истину царям с улыбкой говорить²⁵.

Поэт не только не противостоит абсолютистской власти, но тем и славен, что возгласил о добродетелях Фелицы — Екатерины II. Память поэта сравнивается с твердостью металла, высотой пирамиды, но в пределах мировоззрения Державина не могло даже возникнуть сравнения его с памятником славы царицы.

Совершенно иная, прямо противоположная концепция «Памятника» Пушкина возникает уже в первой строфе:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрйского столпа

Здесь дано новое решение темы «поэт и царь» и поставлена новая тема: «поэт и народ». Памятник поэта вознесся выше монумента, воздвигнутого в честь Александра I и с небывалой помпезностью открытого 30 августа 1834 года в присутствии Николая I, всего двора, дипломатического корпуса, ста тысяч войск и т. д. Возможно, что, создавая «Памятник» и прибегнув к сопоставлению своей славы со славой Александра I, Пушкин вспомнил оду Державина на женитьбу Александра (1793):

Ваш памятник да *вознесется*,
Звезд вашим именем коснется
И вас прославит в род и род²⁶.

Александровская колонна, как утверждали современники, превосходила по своей величине все известные тогда памятники. Но нерукотворный памятник поэта «вознесся»

выше, причем вознесся выше главою *непокорной*: так подытоживается путь поэта, не покорившегося, отказавшегося смириться²⁷. Критерием же бессмертия провозглашается отношение народа, сохранившего память о поэте, к памятнику которого «не зарастет народная тропа». Характерно для Пушкина, что в его стихах обоснование заслуг поэта перед народом дано как единство гражданского подвига и подвига поэта. Его будут помнить за то, что «чувства добрые» он «*лирой* пробуждал», за то, что этой лирой восславил свободу и призывал «милость к падшим». В утверждении нетленной силы искусства смысл строк:

И славен буду я, доколь в подлунном мире,
Жив будет хоть один пиит.

Пушкин безгранично расширяет обычные представления о географии «Руси великой». Здесь нет понятия «народ» в условно-отвлеченном словоупотреблении одической традиции: конкретно названы не только «гордый внук славян», но и «финн», «ныне дикий тунгуз», «калмык» (а в автографе еще «киргизец» и «грузинец»). То, что эти народы названы здесь на равных правах в составе «Руси великой», еще раз говорит о широте мышления Пушкина, о его вере, что в будущем поэзия окажет огромное влияние на все, даже отсталые в его время народы.

Строфа четвертая, которая содержит политическую самооценку заслуг поэта, примечательна точностью характеристики:

...в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал

Эпитет «жестокий» прежде всего подчеркивает самоотверженность поэта, восславившего свободу именно в такое суровое время. Далее эта строфа несомненно указывает, что слова «милость к падшим призывал» (в автографе: «милосердие воспел») имеют в виду попытки Пушкина смягчить участь декабристов. Мотив памятника первоначально возник еще в рукописи второй главы «Евгения Онегина». Пушкин писал там:

...Быть может, этот стих небрежный
Переживет мой век мятежный,
Могу ль воскликнуть, о друзья,
Ergo monumentum я!

В первой половине 20-х годов эпитет «век мятежный» был оправдан; в 1836 году, когда Пушкин писал «Памятник», слово «век» приобретает иной эпитет — «жестокий». Полагаю, что в словах «милость к падшим» слово «падшим» следует понимать в смысле «побежденным» (ср., например, в стихотворении «Бородинская годовщина»: «В бореньи *падиший* невредим»), а не в смысле «падшие духом» (как, например, «падшие рабы» в оде «Вольность»).

Строфа эта связана с Радищевым не только потому, что в автографе сказано: «Вослед Радищеву восславил я свободу». Как было установлено еще В. П. Семенниковым, она опирается на следующую строфу из радищевской оды «Вольность»:

Но нет, где рок судил родиться,
Да будет там и дням предел;
Да хладный прах мой осенится
Величеством, что днесь я пел;
Да юноша, взалкалый славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувством вещал:
Под игом власти сей рожденный,
Нося оковы позлащены
Нам вольность первый прорицал

Как указывает Семенников, слова Пушкина «вослед Радищеву» соотносятся с радищевскими «первый прорицал» и соответственно: «в мой жестокий век» — у Пушкина и «под игом власти» — у Радищева; «восславил я свободу» — у Пушкина и «вольность... прорицал» — у Радищева²⁸.

В литературе, посвященной пушкинскому «Памятнику», не было отмечено, что *все это стихотворение* является своеобразным итогом творческого пути Пушкина в свете именно тех критериев, которые были выдвинуты Радищевым в следующих словах «Путешествия из Петербурга в Москву»:

«Не столп воздвигнутый над тлением твоим сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. Слово твое живущее присно и во веки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит в устах народных, за необозримый горизонт столетий». «...доколе слово Российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь».

«Нет, не холодный камень сей поветствует, что ты жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да поветствуют нам о том, житие твое да скажет по что ты славен»²⁹.

Нет необходимости приводить в параллель к этим словам Радищева текст пушкинского стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Разительное совпадение идей этого стихотворения с приведенным выше отрывком радищевского «Путешествия» совершенно очевидно. Пушкин продолжил здесь радищевскую патристическую идею о значении поэта в потомстве, о величии русского языка, о подвиге вдохновенного независимого гения во славу земли русской и ее народа.

Последняя строфа пушкинского «Памятника» посвящена целиком современности, позиции поэта. Здесь речь идет не об увенчании, не о триумфе; как у Горация, который писал:

Первый я предложил песню Эолии
В италийских ладах. Гордость заслуженно,
Мельпомена яви, — мне ж, благосклонная,
Кудри лавром обвей, ветвью дельфийскою³⁰.

(Перевод Н. Шатерникова)

Нет у Пушкина и той спокойной уравновешенности, которая заключает «Памятник» Державина:

О муза! Возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай³¹.

Слова о гордости «заслугой справедливой» являются у Державина продолжением предыдущей строфы, где речь идет о восхвалении Фелицы и умение «истину царям с улыбкой говорить». Следовательно, здесь подразумевается конфликт поэта не с системой и ее сторонниками, а с теми, кто не признает этой заслуги поэта. Иное у Пушкина. После строфы, где в заслугу поэту ставится прославление свободы в жестокий век, следует:

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца,

Как и все стихотворение в целом, эта строфа подытоживает предыдущие стихи Пушкина о роли поэта и может быть понятна в контексте привычных для него образов и семантики. Слова «веленью божью» возвращают нас к стихотворению «Пророк»: ³²

И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь и внемли,
Исполни волю моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей» *.

Другие строки этой строфы вызывают в памяти стихотворение «Поэту»: поэт следует своей дорогой, «не требуя наград» (ср. в «Памятнике»: «не требуя венца»), презирая «суд глупца» (ср. в «Памятнике»: «не оспори-вай глупца»), «хвалу и клевету» приемля равнодушно. Ясно, о чьей «клевете» говорит Пушкин в «Памятнике»: это все те же «клеветники, рабы, глупцы», которые за-клеймлены в стихотворении «Поэт и толпа». Так, в «Памятнике» нашло свое наиболее полное выражение пуш-кинское понимание роли поэта-гражданина, бесстрашно совершающего свой подвиг благородный, несмотря на невзгоды и лишения, которые нес ему «жестокий век».

* Подчеркнуто мною. — Б. М.



Глава третья

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ГЕРОЯ

Вращается весь мир вокруг человека, —
Ужель один недвижим будет он?

Пушкин.

1

Новаторская постановка проблемы современного героя принадлежит к величайшим заслугам Пушкина. Идейное и эстетическое содержание этой проблемы связано с особенностями эпохи, с историческим развитием, с общественно-политической борьбой. При всем своеобразии каждого из этапов творческой эволюции Пушкина, при всем различии, которые свойственны каждому из таких «поворотных» произведений, как «Кавказский пленник», «Цыганы», «Евгений Онегин», они представляют собою как бы звенья единой цепи. Думы, стремления, драматизм судьбы современного человека; причины, мешающие свободному развитию человеческой личности; общественные условия, уродующие жизнь людей, воодушевленных высокими мечтами, поэтическими идеалами; конфликты, возникающие между героем и средой, — все это остро интересовало Пушкина на всем его творческом пути. Представления Пушкина об идеале человеческой личности отражали тенденции, которые складывались в самой действительности и вместе с тем находились в тесной зависимости от развития его художественного метода, от изменений в художественной системе, эстетических

принципах. В отличие от литературы классицизма и сентиментализма Пушкин создавал образы своих героев без догматических правил, предопределяющих решение той или иной творческой задачи. Поэтому путь Пушкина от «Кавказского пленника» к «Евгению Онегину» — это путь напряженных поисков современного героя, постепенной кристаллизации наиболее типичных его свойств и индивидуальных особенностей. От романтической отвлеченности характеров Пушкин приходит к таким принципам художественного изображения, которые давали возможность раскрыть характер и идеалы героя в его отношении не к какой-либо одной, а к самым разнообразным сторонам и проявлениям жизни, в его взглядах на мир, на общественную жизнь, на «вечные» вопросы бытия. При этом проблема героя всегда была для Пушкина и проблемой эстетического идеала, поскольку эстетический идеал в искусстве воплощается с наибольшей полнотой в образе человека, в изображении характеров, действий, переживаний людей.

Первые опыты создания характера были предприняты Пушкиным в жанре поэмы, радикально им преобразованной на основе нового подхода к проблеме героя и преодоления устаревших эстетических представлений.

Демонстративный разрыв Пушкина со старой эстетикой, со вкусами и требованиями светского общества нашел выражение уже в поэме «Руслан и Людмила» (1817—1820), появление которой явилось существенным этапом в борьбе за национальную самобытность русской литературы. Несмотря на далекий от современности, сказочный сюжет, поэма благодаря своей идейной направленности стала крупным фактом общественно-литературной борьбы того времени. Ее внутренние задания отражали насущные потребности передовой, развивающейся литературы. Казалось бы, что связь с современностью ограничивается в этой поэме полемикой с Жуковским и отдельными лирическими признаниями. Но в действительности эта связь глубже. Прежде всего она выразилась в боевом характере поэмы. Поэт заявлял в ней о своем разрыве с «почтеннейшей публикой», представлявшей старые вкусы, с защитниками старых эстетических норм и обращался к *новым* читателям, к передовой, вольнолюбивой молодежи. Постоянные обращения к «друзьям» в тексте всей поэмы дополняются в начале третьей песни прямым

противопоставлением этого *нового* круга читателей — «бледному критику», о котором говорится:

Ты видишь, добрый мой читатель,
Тут злобы черную печаты!

Разрыв Пушкина с «почтеннейшей публикой» и ее взглядами был отчетливо понят противниками новаторства. Поэма вызвала шумную полемику. Пушкина упрекали в «оскорблении хорошего вкуса» и в подмене поэзии как «чистого удовольствия» такими картинками и сравнениями, которые «могут нравиться более грубому, необразованному народу», в измене поэзии как подражанию «изящной природе». Читая поэму, «просвещенная публика» оскорбляется площадными шутками. «Стихотворный язык богов, — писал другой критик, — должен быть выше обыкновенного, простонародного». Хотя «простонародность» поэмы такого рода критиками преувеличивалась, но характерна нетерпимость, с которой они отнеслись к этому произведению¹.

Вся структура поэмы была рассчитана на совершенно иной тип отношений между читателем и автором, чем в поэмах классицизма. В старых эпических поэмах авторы стремились избегать всего, что потребовало бы от читателя «домыслить» те или иные мотивировки и ситуации, всего, что опиралось бы на активную деятельность фантазии читателя. Своеобразное недоверие к творческому воображению читателя сказывалось и в педантичном стремлении исчерпать все, даже второстепенные, мотивировки, а также в системе всякого рода авторских разъяснений и комментариев (вплоть до раскрытия в примечаниях к поэмам метафорических, «неясных» образов или иносказаний). В «Руслане и Людмиле» Пушкин встал в принципиально иные отношения с читателем: поэма строилась так, что облик автора, присутствующего в ней, сразу же делался интимно-близким читателю. Само повествование велось в таком тоне, как будто читатель был хорошо знаком с автором, а мироощущение автора и читателя, к которому он обращался, предполагалось однородным (отсюда постоянные дружеские обращения к читателю в поэме и наименование героев не только «витязь мой», «моя Людмила», но и «наш витязь», «наша дева»).

В эпилоге поэмы автор представал перед читателем как жертва гонений (слова о «туче грозы незримой» воспринимались как иносказательный рассказ Пушкина о своей высылке из Петербурга). В этом же плане звучали строки эпилога о дружбе, сохранившей поэту

...свободу,
Кипящей младости кумир!

Вместе с тем рассказчика не следует во всем отождествлять с самим Пушкиным: это образ лирического героя, в котором обобщены переживания и черты Пушкина, но который является образом объективированным. В частности, сентиментально-идиллические размышления рассказчика, рассыпанные в поэме, не следует рассматривать как выражение *credo* поэта.

Постоянные напоминания о современной действительности связаны не только с образом рассказчика: ими перемежалось повествование и в тех местах, где Пушкин говорил о журналистах, о современной литературной борьбе — «рыцарях парнасских гор», о театре и т. д. Это непривычное вторжение современности в поэму вызвало осуждение критика «Невского зрителя», заметившего: «Я желал бы быть очарован, забыться — и в то же время поэт останавливает мои восторги, и вместо древности я узнаю, что живу в новейшие времена»².

Поэма в сознании Пушкина была настолько соотнесена с окружающей действительностью, с «земными», а не фантастическими представлениями и переживаниями, что он иногда забывал о сказочном содержании поэмы и придавал своим героям черты, которые скорее вязались с обликом современных юношей и девушек, чем изображаемых персонажей (вспомним хотя бы элегию, которую Пушкин вложил в уста Руслана, «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями...» или описания Людмилы).

Связь поэмы с современностью заключалась и в трактовке Руслана: в этом фантастическом образе были черты, отражающие характерные особенности национального характера, черты, которые имели весьма существенное значение для процесса становления образа положительного героя в передовой русской литературе.

Мужественный, бесстрашный борец со всеми злыми силами был глубоко симпатичен тем читателям, которым

адресована поэма. Ассоциациями и связями с мироощущением не фантастического, а реального, «земного» юноши-героя проникнута вся трактовка образа, иногда же сопоставления с текущей жизнью даны непосредственно:

...князь красавец был не вялый,
Не то что витязь наших дней, —

говорится в поэме о Руслане.

Связь поэмы с современностью заключается и в прямых ассоциациях с недавними событиями Отечественной войны. Эти ассоциации вызвали эпизод осады Киева печенегами, рассказ о сражении, когда Руслан «пал на басурмана», как «божий гром», и о ликовании освобожденного русского города — Киева.

Поэма основана на сказочной фантастике, но воплощенный в ней эстетический идеал отражает народные, жизненно-практические представления о прекрасном. «Во всякой сказке, — заметил В. И. Ленин, — есть элементы действительности»³. Эстетическое выражение этих элементов заключается в том поэтическом пафосе, с которым народ в устном своем творчестве говорит о всех борцах с злыми, темными силами, о всех, кто умел бесстрашно постоять за правду и справедливость. И в то же время в фольклоре с замечательной энергией и страстностью заклеено все отрицательное, всё, что несет в себе черты, противоположные народным представлениям о прекрасном. С этим связаны и те специфические средства типизации, которыми создаются положительные и отрицательные фольклорные образы и в которых фантастика служит целям заострения, гиперболы. Все эти особенности фольклора привлекали Пушкина с юных лет. В 1816 году он вспоминал о детстве:

Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...

(«Сон»)

В литературоведческих работах о «Руслане и Людмиле» подробно прослежена история создания поэмы, освещена связь с другими сказочными поэмами, зарегистрированы фольклорные источники (не только действительные, но зачастую и мнимые), которые мог знать или

использовать Пушкин. Но связь поэмы с фольклором заключается не в заимствовании тех или иных мотивов. Пушкин выступил не подражателем устной народной поэзии, а творцом новых образов на основе глубокого усвоения приемов фольклорной типизации, духа народной поэзии. Эту связь с фольклором не докажешь сопоставлениями и параллелями, но ее ощущали современные, даже враждебные Пушкину критики. Консервативный критик «Вестника Европы», поносивший поэму за ее сказочные мотивы и образы, писал: «Живо помню, как все это, бывало, я слушал от няньки моей; теперь на старости сподобился вновь то же самое услышать от поэтов нынешнего времени!»⁴

Живому восприятию современниками поэмы способствовало то, что все повествование выдержано в форме лирического рассказа. Стремление к слиянию лирики и эпоса, изображения событий с открытой авторской оценкой их, воплощена уже в этой первой поэме Пушкина. Переворотом в эстетических представлениях было совмещение в поэме на равных правах «высокого» и «низкого», а также любовных эпизодов, о которых повествуется в непринужденном шутливо-ироническом тоне, с «героическим» батальным повествованием о сражении русских с печенегами, изображение переходов настроений, бытовая конкретность обрисовки героев, совершенно необычная в произведениях подобного жанра.

Тенденции демократической народности в «Руслане и Людмиле», ее «земная» основа, враждебная религиозности и мистицизму, бьющая ключом жизнерадостность — все это вызвало одобрение передового поколения.

Однако в своей первой поэме Пушкин не ставил задачу изображения современного героя. А между тем в те годы проблема эта все настойчивее выдвигалась самой жизнью. Актуальность ее подтверждается тем вниманием, которое уделялось декабристскими организациями и их деятелями пропаганде положительного героя и в жизни и в литературе.

Идея о необходимости воспитания людей, которые смогли бы самоотверженно бороться за свободу и были бы образцами гражданской доблести, пронизывает программу «Союза благоденствия», призывавшего своих членов доказать «делами своими» приверженность отечеству. Эти «дела» требовали характера мужественного,

целестремленного, героического. Поэтому в «законоположении» «Союза благоденствия» указывалось, что союз, «имея целью *общее благо*, приглашает к себе всех, кои честною своею жизнью удостоились в обществе доброго имени и кои, чувствуя все величие цели союза, готовы перенести все трудности, с стремлением к оной сопряженные». Отмечая черты, отличающие «истинного сына отечества», правила этого тайного общества обличали «малодушие», подвергали критике пороки светской дворянской молодежи. С сожалением говорилось здесь о том, «сколь мало теперь пекутся об истинном воспитании и как бедно заменяет его наружный блеск, коим стараются прикрыть ничтожность молодых людей». Поэтому общество декабристов считало, что «науки при воспитании должны ограничиваться способствованием к образованию рассудка и сердца, то есть к приуготовлению молодого человека не к другому какому-нибудь званию, но вообще к званию гражданина и добродетельного человека»⁵.

Проблема положительного героя в пушкинскую эпоху была настолько волнующей, актуальной, что к ней неоднократно возвращались в своих произведениях, дневниках и письмах многие современники поэта. Пожалуй, с наибольшей полнотой эта проблема отразилась в дневниках одного из ближайших друзей Пушкина — декабриста Н. И. Тургенева. Его размышления на эту тему особенно интересны также и потому, что они относятся к годам его непосредственного общения с Пушкиным.

Запись в дневнике Тургенева 29 июня 1817 года является развитием его излюбленных мыслей о тех обязанностях, которые родина возлагает на молодое поколение.

«То, что мы предпринимаем, должно быть рано или поздно начато и совершено. Что скажут те, кои после нас предпримут то же дело, когда не найдут ни в чем себе предшественников? Что скажут внуки наши о своих предках, прославившихся многим, когда не найдут одного важного цветка в венце их славы? Предки наши, скажут они, показали доблести свои в действиях за честь и гремящую славу отечества, но где дела их в пользу гражданского счастья отечества? Неужели народ, родивший столько героев, показавший столько блестящего ума, характера, добродушия, столько патриотизма, не мог иметь в себе людей, которые бы, избрав себе в удел

действовать во благо своих сограждан, постоянно следовали своему предназначению, которые, не утратившись препятствий, сильно действующих на людей бесхарактерных, но воспламеняющих огонь патриотизма в душах возвышенных, стремились бы сами и влекли за собою всех лучших своего времени к святой, хотя и далекой цели гражданского счастья? Какое сердце не содрогнется при таких упреках? Какие парадоксы могут их опровергнуть?»

Тургенев уверен в том, что «придет то время, когда люди познают истинное свое назначение и найдут его в любви к отечеству, в стремлении к его благу, в пожертвовании себя и всего в его пользу»⁶.

Размышления о высоком предназначении человека, посвятившего себя цели «гражданского счастья», соседствуют в дневниках Тургенева с горькими сетованиями по поводу разлада между идеалом и действительностью. В записи, относящейся к декабрю 1818 года, Тургенев отмечает пассивность современников, в результате которой «все остается в идеях; ничто не переходит в действительность». Противоречие между словами и делами, равнодушие большинства к тому, что происходит вокруг, к наступлению реакции вызывает у Тургенева настроения скепсиса и разочарования (которые очень важны для понимания причин разочарованности, свойственной герою романтической поэмы Пушкина «Кавказский пленник»). 21 июня 1819 года Тургенев записывает в дневнике:

«Какое-то общее уныние тяготит Петербург в сие время. Едва мелькают гуляющие, но и они не гуляют, а передвигают свои ноги, и если думают, то, конечно, не о приятностях сей жизни. Между тем время проходит, и молва о происшествиях, долженствующих оживлять, потрясать сердца граждан, как тихий ветер, пролетает сквозь или мимо голов здешних жителей, не касаясь их воображения. Иные ничего не понимают или, лучше сказать, ничего не знают. Другие знают, да не понимают. Иные же понимают одни только гнусные свои личные выгоды»⁷.

31 декабря 1819 года Тургенев записывает в дневнике: «Итак, с мыслию о тебе, о Россия, мое любезное и несчастное отечество! провожаю я старый и встречаю новый год. Ты — Единственное Божество мое, которое я постигаю и которое ношу в моем сердце, — ты одна только можешь порождать сильные чувства в моем сердце! Что

люди? Где они? Я их не знаю. Я знаю только сынов твоих! Но где и сыны твои? Где их искать посреди торжествующего порока и угнетенной добродетели?» Однако в заключение он восклицает: «Но нет, никогда Россия не перестанет быть для меня священным идеалом, к нему, для него, ему — все, все, все!..»⁸

Борьба за свободу, понятия — родина, долг, честь связывались в сознании вольнолюбивой молодежи с категориями «возвышенного», «прекрасного». В «законоположении» «Союза благоденствия» отмечалось, что «истинно изящное есть все то, что возбуждает в нас высокие и к добру увлекающие чувства», что «прелесть стихотворений» заключается «более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих». Николай Бестужев, формулируя впоследствии эстетический идеал декабризма, писал, что стремление «пробудить в душах своих соотечественников чувствования любви к отечеству, зажечь желание свободы» носит уже само по себе «отпечаток поэзии». «Сама природа влагает в нас понятие о свободе, и это понятие, этот слух так верны, что, как бы ни заглушали их, они отзовутся при первом воззвании. В чем же другом заключается поэзия, как не в побуждении отголоска на песни ее в нашем сердце?»⁹

Эти характерные для передового поколения декабристской эпохи взгляды на соотношение прекрасного в жизни и в литературе отразились и в вольнолюбивой политической лирике Пушкина. В стихотворении «К Чаадаеву» незрелые мечты о «тихой славе», такой славе, достижение которой возможно без борьбы за свободу, имеют обманом. Высокую эстетическую оценку получают здесь стремления к «вольности святой» и эти стремления сливаются с горячими патриотическими чувствами («отчизны внезем призванье»). Категория прекрасного становится в пушкинской лирике реальным качеством реального человека:

Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Высокий романтический образ «звезды *пленительного* счастья» получает реалистическую, по своему содержанию, трактовку, как итог борьбы, венцом которой явится гибель «самовластья» и торжество свободы.

Под влиянием самой жизни и под прямым воздействием пушкинской лирики в поэзии декабристов развивается образ вольнолюбивого героя, воспевается непоколебимая преданность делу свободы, бесстрашие и смелость в борьбе, готовность стоически перенести любые испытания. Образ героя-борца создавался декабристами в контрастном противопоставлении равнодушному к судьбе отечества и народа большинству дворянской молодежи. Наиболее отчетливо это противопоставление выражено в стихотворении Рылеева «Гражданин», обличающем юношей, которые

...с холодной душой бросают холодный взор
На бедствия своей отчизны,

не хотят постигнуть «предназначенья века» — борьбы за свободу, — позорят «гражданина сан».

Мотивы «Гражданина» предвосхищало другое стихотворение Рылеева «Стансы» («Не сбылись, мой друг, пророчества...»), напечатанные в «Полярной звезде» на 1825 год. В лирике Рылеева жалобы на «горький жребий одиночества», на тяжелую грусть кажутся с первого взгляда отступлением от традиций поэта-гражданина. «Стансы» кончаются признанием:

Всюду встречи безотрадные!
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы холодные
Иль бессмысленных детей...

Критик «Сына отечества», рецензируя «Полярную звезду», не задумываясь отнес это произведение к стихам о погибшей молодости. Вновь найденная строфа «Стансов» проясняет, однако, политический смысл стихотворения. О людях, разочаровавших поэта, в ней говорится:

Все они с душой бесчувственной
Лишь для выгоды своей
Сохраниют жар искусственный
К благу общему людей¹⁰.

Здесь тот же мотив, что и в «Гражданине».

Воспевая «гражданское мужество», Рылеев создает гимн герою — борцу с «коварной несправедливостью».

Такого рода мужество воспевается здесь как самое высочайшее:

...подвиг воина гигантской
И стыд сраженных им врагов
В суде ума, в суде веков —
Ничто пред доблестью гражданской ¹¹.

Декабристы отвергали христианскую мораль смирения и требовали решительного отпора всякому злу и всякой несправедливости.

Раскрывая в своей лирике черты героя-борца, декабристы подчеркивали стойкость как характернейшую черту его облика. Эта тема имела особое значение, так как многие из декабристов сознавали возможность неудачи задуманного ими переворота, но готовы были пожертвовать собою во имя будущих поколений, во имя пробуждения родины.

Декабристское понимание гражданской доблести связано с требованием подчинить все помыслы, чувства, всю жизнь единой цели — «общественному благу». Отсюда и произведенная в декабристской поэзии переоценка всех традиционных представлений, в том числе о семье, дружбе, любви. Словами Наливайки, обращенными к Лободе, Рылеев определил свое понимание соотношения между долгом семьянина и гражданина:

Но ты отец, но ты супруг,
А уж давно пора, мой друг,
Быть не мужьями, а мужами.
Всех оковал какой-то страх...

В духе декабристской эпохи определял Рылеев и обязанности женщины-матери. Ее долг

Прекрасных чад образовать.
Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой.

(«Вере Николаевне Столыпиной») ¹²

Однако образ гражданина-борца за «общественное благо», поэты-декабристы воплощали в своих произведениях вне времени. Образ современника они не создали.

Попытку отразить особенности характера положительного героя Рылеев предпринял в своих «Думах»;

хотя содержание «Дум» относится к историческому прошлому, но обращение к прошлому, как правило, служило для поэта лишь поводом для так называемых «приноровлений» к современности. Однако размышления и поучения героев «Дум», вполне уместные для декабриста, человека 10—20-х годов XIX века, часто оказывались несходными с характерами и обликом конкретных деятелей, именами которых была названа каждая «дума» (это несходство дало основание Пушкину заметить, что «Думы» Рылеева целят «невпопад»).

Как отмечалось в предисловии к первому изданию «Дум», намерение автора заключалось в том, чтобы воспеть «подвиги добродетельных или славных предков». В недавно обнаруженной первой редакции предисловия революционно-просветительская цель «Дум» выражена несравненно ярче, чем в редакции цензурной. Говоря о том, что народное просвещение непримиримо с деспотизмом и поэтому вызывает злобу у «друзей тиранов», Рылеев заканчивает предисловие признанием, что он желал своими «Думами» заставить «простой народ» «еще более любить родину свою», «пролить в народ наш хотя каплю света». В таком же духе раскрывал замысел «Дум» А. Бестужев, утверждая, что целью Рылеева было «возбуждать доблесть сограждан подвигами предков». В «Думах» Рылеев пропагандировал чисто декабристские лозунги. Таковы, например, строки в думе «Дмитрий Донской»:

Доколь нам, други, пред тираном
Склонять покорную главу...

или призыв возвратить народу

Святую праотцев свободу
И древние права граждан.

В «Думах» герои произносят речи, выражающие самые основы декабристского мирозерцания, как, например:

...за победы заслужив
Благословения отчизны —
Нам смерть не может быть страшна;

(«Смерть Ермака»)

Кто русский по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!

(«Иван Сусанин»)

Когда защитник нам закон
И совесть сердца не тревожит,
Тогда ни ссылка — думал он, —
Ни казнь позорить нас не может,

Своей покорствуя судьбе,
Быть твердым всюду я умею ..

(«Артемон Матвеев»)

Богдан Хмельницкий мечтает в темнице об освобождении от цепей для возмездия тирану, а Наталья Долгорукова, поехавшая в Сибирь, чтобы разделить с мужем его судьбу, совсем по-декабристски рассуждает о долге¹³.

Некоторые думы, подобно «Исповеди Наливайки», являются как бы размышлениями самого поэта о возможном трагическом конце своей судьбы.

Пафос вольнолюбия придавал «Думам» лирическую взволнованность, заражал читателей «возвышенными стремлениями». С художественной точки зрения «Думы» страдают существенными недостатками. Пушкин писал Рылееву о «Думах», что они «слабы изобретением и изложением. Все они на один покррой: составлены из *общих мест* (Loci topici). Описание места действия, речь героя и — нравоучение» (письмо Рылееву 1825 года). Художественное впечатление нарушалось обилием в «Думах» анахронизмов. Модернизация истории Рылеевым не была результатом сознательного пренебрежения фактами, а находилась в соответствии с романтической теорией. А. Бестужев так объяснил особенности «Дум»: «Дума не всегда есть размышление исторического лица, но более воспоминание автора о каком-либо историческом происшествии или лице и нередко олицетворенный об оных рассказ». «Воспоминание автора» могло быть и субъективным. Но замечание Пушкина о том, что в «Думах» «национального русского нет ничего.. кроме имен», не следует распространять на все содержание «Дум». Это замечание верно в том смысле, что в большинстве дум нет национального колорита в изображении конкретных героев, исторических обстоятельств и т. д. (именно поэтому Пушкин, говоря об отсутствии в «Думах» «национального, русского», оговорился: «исключая «Ивана Сушанина»). Но при всех погрешностях против исторической истины, «Думы» Рылеева сыграли свою роль

в выдвижении проблемы положительного героя. Герои «Дум» — преданные патриоты, люди негибаемой воли, стойкие в борьбе за свободу и в обличении несправедливости, пылающие ненавистью к тиранам и изменникам родины¹⁴.

Стремясь раскрыть характер положительного героя, поэты-декабристы часто прибегали к форме монолога, произносимого от имени автора или какого-либо исторического лица, за которым стоит автор. Но признание этой особенности декабристской лирики еще не определяет ее специфику. Для субъективистской аполитичной поэзии такие формы художественного творчества, при которых единственным лицом выступает автор с своими размышлениями и переживаниями, ведут к разрыву с окружающим миром, к узкому индивидуализму. Кюхельбекер, также писавший стихи в форме преимущественно лирического монолога, критиковал, однако, поэтов, которые говорят «о самом себе, о *своих* скорбях и наслаждениях», подразумевая при этом поэтов, занятых только собою. В поэзии же Кюхельбекера, Рылеева, как и других поэтов этого круга, лирический герой интересен именно тем, что он выступает как представитель целого поколения русского общества, является носителем черт реально существовавшего современника. Но объективизировать образ современного героя поэтам-декабристам не удавалось. Для лучшего из своих произведений — поэмы «Войнаровский» — Рылеев также избрал исторических героев, и хотя эта поэма была несравненно выше по своим достоинствам, чем «Думы» («Войнаровский полон жизни», — писал Пушкин Рылееву), тем не менее и в ней сказалась модернизация истории¹⁵.

В первой половине 20-х годов Пушкин предъявлял к образу положительного героя те же требования, что и декабристы, но подход его к изображению этого образа был иным. С самого начала он стал на путь создания не «идеального», то есть не идеализированного, героя, а современника, характеру которого свойственны противоречия, вызванные эпохой. Раскрытие этих противоречий имело огромное значение.

Своеобразный подход Пушкина к изображению современного героя сказался уже в первой из южных поэм — «Кавказском пленнике» (1820—1821).

Пушкин, по его собственному признанию, думал воспроизвести в образе пленника типические черты современного героя. «...Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века», — писал Пушкин в 1822 году В. П. Горчакову. Этому замыслу не противоречила трактовка образа пленника как положительного, вольнолюбивого: разочарованность героя была результатом расхождений между идеалом и действительностью, стремлением к идеалу и невозможностью его осуществить. Идеал героя выражен ясно и четко в словах (в прижизненных изданиях исключенных цензурой):

Свобода! он одной тебя
Еще искал в подлунном мире...

Несмотря на расплывчатость и романтическую зыбкость образа, очевидно, что биография героя типична для вольнолюбивой молодежи того времени:

...пламенную младость
Он гордо начал...

Герой «гоним судьбою», «обнял грозное страданье» и

...бурной жизнью погубил
Надежду, радость и желанье... *

Его «увядшее сердце», увядшее в неволе, таило, однако, высокие чувства и упования:

...жар мятежный
В душе глубоко он скрывал.

О протестующем, непримиримом, бесстрашном, мужественном характере героя говорится:

Любил он прежде игры славы
И жаждой гибели горел.
Невольник чести беспощадной,
Вблизи видал он свой конец,
На поединках твердый, хладный,
Встречая гибельный свинец.

Героический, в своей основе, характер пленника, раскрывается на фоне грозных картин кавказской природы:

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

...на долы дождь и град
Из туч сквозь молний извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые, —
А пленник, с горной вышины
Один, за тучей громовую,
Возврата солнечного ждал,
Недостигаемый грозою,
И бури немощному вою
С какой-то радостью внимал.

Пленника привлекают героические черты горцев. Их жизнь изображена в поэме через восприятие пленника. Это подчеркнуто в описательной части поэмы:

Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту... *

Далее отмечены и такие восхищавшие пленника черты черкеса, как смелость, отвага, «вид непобедимый, непреклонный». Близость героических элементов в характере пленника и горцев выражена в строках:

...Беспечной смелости его
Черкесы грозные дивились,
Щадили век его молодой
И шепотом между собой
Своей добычею гордились.

Но характер пленника, глубоко затаившего «движенья сердца своего», был вместе с тем характером человека охлажденного, живущего «без упоенья, без желаний». О причинах этой охлажденности, разочарованности повествуется, в соответствии с романтически-отвлеченной концепцией поэмы, в самых общих чертах, но тем не менее читателю было ясно, что причины эти таятся в окружающей среде:

Людей и свет изведal он
И знал неверной жизни цену,
В сердцах друзей нашед измену,
В мечтах любви безумный сон...

Герой разорвал со средой, не желая

...жертвой быть привычной
Давно презренной суеты...

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Герой поэмы — «отступник света», пострадавший от «неприязни двуязычной и простодушной клеветы» и покинувший родной предел «с веселым призраком свободы», — был отражением настроений свободолобивой молодежи 20-х годов.

Разочарования героя не касались, однако, идеала свободы:

...Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волнением песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.*

Разочарованность героя не имела, следовательно, ничего общего с той, не лишней самолюбования, разочарованностью светского молодого человека, пресыщенного удовольствиями, погруженного только в узкий мирок своего «я», — героя, переживания которого воспевались в эпигонской, унылой и безвольной лирике, не подымавшейся выше сетований о быстротечности жизни и уходящей молодости.

«Разочарованность» героя поэмы явилась следствием типичного для этих лет противоречия между героикой Отечественной войны и связанными с ней надеждами, с одной стороны, и атмосферой послевоенной реакции, пустой бессмысленной жизнью «светского общества» — с другой.

Итак, Пушкин показал конфликт вольнолюбивого героя с окружающей средой. Обманувшийся в «надеждах» пленник уехал в кавказский «далекий край», манивший его героикой войны и вольной жизнью. Отдельные черты образа пленника автобиографичны («...в нем есть стихи моего сердца», — признавался Пушкин). Так, в «Посвящении», адресованном другу Пушкина Николаю Раевскому, говорится:

Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;
Я жертва клеветы и мстительных невежд!..

Близкие пленнику характеры находились и среди современников Пушкина. Например, сообщая в письме к Вяземскому о критике образа пленника Чаадаевым (считавшим, что пленник недостаточно «blasé» — пресыщенный), Пушкин заметил: «Чаадаев, по несчастью,

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

знаток по этой части: оживи его прекрасную душу, поэт!» Кюхельбекер в одном из своих стихотворений сравнил свою судьбу с судьбой «Кавказского пленника». Вяземский писал в «Сыне отечества» о герое поэмы, что «подобные лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении общества». Все это говорит о том, что образ пленника был подсказан русской действительностью. Много позднее (в «Путешествии в Арзрум») Пушкин заметил, что в «Кавказском пленнике» «многое угадано и выражено верно»¹⁶.

В романтической отвлеченности поэмы были свои сильные и слабые стороны. Отсутствие индивидуализации в образе пленника и каких-либо конкретных мотивировок его биографии, полной лишь смутных намеков, позволяли современникам «дополнять» все недосказанное личным опытом, собственными переживаниями. Недосказанность была сознательным принципом романтической системы. Когда Вяземский упрекал Пушкина за то, что пленник не горюет о погибшей черкешенке, Пушкин отвечал: «...что говорить ему — *«все понял он»* выражает все; мысль об ней должна была овладеть его душою и соединиться со всеми его мыслями — это разумеется — иначе быть нельзя; не надобно все высказывать — это есть тайна занимательности» (письмо Вяземскому 6 февраля 1823 года).

Слабые стороны поэмы заключались в том, что проблема разочарованности была лишь поставлена, но не решена именно в силу ограниченности романтического метода. Гениальность теоретического мышления Пушкина обнаружилась в том, что в 1822 году, то есть в период романтизма, он подверг «Кавказского пленника» критике с позиций, которые можно охарактеризовать как реалистические. В числе недостатков поэмы он отметил неясность характера, черты которого не показаны как обусловленные определенными обстоятельствами: «Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в несчастиях, неизвестных читателю... легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собой истекали бы из предметов» (черновик письма Н. И. Гнедичу). Если сопоставить это признание Пушкину с его же словами о том, что он хотел в образе пленника воспроизвести «равнодушие к жизни» как отличительную черту молодежи XIX века, то

мы придем к заключению, что Пушкин, создавая свою поэму, ставил перед собою по сути дела реалистическое задание, то есть задание художественного анализа, определяющего характер героя. Это задание Пушкину не удалось осуществить не только потому, что он сам, по его словам, не годился «в герои романтического стихотворения» (слово «романтического» здесь употреблено в смысле «элегического»); неудачу в изображении характера пленника Пушкин видел в том, что он не смог показать в своем герое «равнодушие к жизни» как отличительную черту молодежи XIX века. Главная причина этой неудачи заключается в том, что средствами романтического метода поставленная Пушкиным задача не могла быть разрешена в том плане, о котором он писал в упомянутом черновике письма к Гнедичу. Но все-таки эта поэма явилась огромным завоеванием, новым словом и в литературе романтизма, ибо герой представлен здесь не олицетворением отвлеченного идеала, как в поэзии декабристов, а исполненным противоречий; хотя эти противоречия не были до конца раскрыты, но само указание на них было открытием и влекло за собой постановку вопроса об их преодолении.

Внутренняя логика, присущая эволюции творчества Пушкина, выразилась в единстве проблематики поэм «Кавказский пленник» и «Цыганы»; после того, как в «Кавказском пленнике» выдвинут образ нового героя — «отступника света», естественно было перейти к углубленному анализу психологии этого героя и *причин* его конфликта со светом. И в «Цыганах» герой воспринимался как герой современный, но в меньшей мере условный, чем в «Кавказском пленнике». Алеко, по определению Вяземского, «прототип поколения нашего, не лицо условное»¹⁷.

В «Цыганах» герой раскрывается не только в противопоставлении с враждебной ему средой. Обрисованы противоречия самого героя и художественно мотивированы их социальные причины.

Все содержание поэмы проникнуто отрицанием основ светской жизни и защитой вольности. Алеко изображен как «беглец» из «света», человек, преследуемый «законом», протестант, ненавидящий «неволю душных городов», где люди

Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,

Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.

Хотя эта характеристика и отвлеченная, она носит не только моралистический, но и политический характер. В рукописи о «свете» сказано еще резче: «Торгуют вольностью, развратом и кровью бледной нищеты».

Ярка и свежа по сравнению со светской жизнью, — «как песнь рабов однообразной», — «дикая воля» цыган.

В изображении цыганской жизни воссозданы черты идеала народной жизни вообще. Вольность и труд, мирная жизнь обыкновенных людей с ее поэзией повседневности — все это описывается в поэме лаконично, но в резко-контрастном сопоставлении с той «неволей» светской жизни, от которой бежал Алеко.

Как *вольность*, весел их ночлег
И мирный сон под небесами.
.
.
.
Все живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недалкий,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни *.

Спасительная для человека «естественная» близость к природе противопоставлена в поэме, в духе руссоистского утопизма, развращающему влиянию цивилизации. Черновая рукопись «Цыган» содержит любопытный с этой точки зрения монолог Алеко, обращенный к сыну. В этом монологе, не вошедшем в окончательный текст поэмы, мы читаем:

Расти на воле без уроков,
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.
Под сенью мирного забвенья
Пусть цыгана бедный внук
Лишен и неги просвещения
И пышной суеты наук,
За то беспечен, здрав и волен...

Положительную эстетическую оценку приобретает все связанное с этой беспокойной, нищей, но живой, овеянной «вольностью» жизнью, все, включая «изодранные

* Подчеркнуто мною — Б. М.

шатры», «убогий ужин старика», пестроту «лохмотьев ярких». В черновике по поводу этой картины сказано: «*Все полно прелести чудесной*». Как противопоставление двух идейно-эстетических планов — «живого» и «мертвого» раскрывается противопоставление жизни цыган и света. У «детей вольности»

Все скучно, дико, все нестройно;
Но все так *живо-непокойно*.
Так чуждо *мертвых* наших нег... *

По-народному просто звучат слова старика, обращенные к Алеко, слова человека, для которого возможность предаваться «жизни праздной» представляется невыносимой:

Примись за промысел любой.
Железо куй иль песни пой
И села обходи с медведем.

Народный образ мышления и народная проницательность сквозят и в других словах старика:

...не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен.

И в самом деле, Алеко, ненавидящий «неволю душных городов», сам сложился под влиянием этой «неволи», он носит на себе ее клеймо. Несмотря на всю ненависть Алеко к оставленному им миру, страсти, связанные с этим миром, играли «его послушною душой». Казалось, Алеко теперь «вольный житель», но среди вольной цыганской жизни

Его порой волшебной славы
Манила дальная звезда,
Нежданно роскошь и забавы
К нему являлись иногда.

Индивидуалистическому герою противопоставлен старый цыган, с присущим ему человеческим достоинством осуждающий эгоизм Алеко. Алеко «для себя лишь хочет воли», и для него, добровольно покинувшего свет, неизбежен новый конфликт, на этот раз с «детьми вольности». Ему, воспитавшемуся в иной среде, нельзя «опроститься», отказаться от желания утвердить свое неписаное

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

«право» хотя бы путем насильственного подавления воли других людей. Этим «правом», сложившимся в том обществе, от которого бежал Алеко, психологически мотивировано совершенное Алеко убийство молодого цыгана и Земфиры. И романтическая поэма, в которой с такой красочностью изображены картины вольной жизни людей, признающих лишь «естественные права», оканчивается трагическими строками:

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Значение поэмы для современности заключалось не только в остро злободневном существе воплощенного в ней конфликта, но и в том, что в ней решалась проблема создания сильного характера. Актуальность этой проблемы настойчиво подчеркивалась декабристской критикой, например А. Бестужевым, который жаловался на «безлюдье сильных характеров». Именно потому поэма была восторженно встречена и тем же Бестужевым, и Рылевым, поэтому же ею зачитывались и восторгались ссыльные декабристы¹⁸. Свойственные Алеко смелость, мстительность, непримиримость осуждаются в поэме не сами по себе; осуждается лишь конкретное выражение мстительности — убийство Земфиры. Только сочувствие могло вызвать у передового поколения читателей признание Алеко, характеризующее его как сильного «гордого» героя:

...Нет, я не споря
От прав моих не откажусь!
Или хоть мщеньем наслажусь.
О нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея,
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.

Это признание, выходящее своей обобщенностью далеко за пределы темы ревности, должно рассматриваться в общем идейно-психологическом контексте представлений о справедливом мщении «злодеям», представлений, которые нашли отражение в поэзии Пушкина и декабри-

стов. Достаточно напомнить в этой связи хотя бы стихотворение Пушкина «Кинжал» или думу Рылеева «Рогнеда», где героиня обрисована как убежденная мстительница не только за оскорбленную честь женщины, но и за угнетенную отчизну:

С какою б жадностию я
На брызжущую кровь глядела,
С каким восторгом бы тебя,
Тиран, угасшего узрела!.. —

говорит Рогнеда, сожалея о том, что ей не удалось убить князя Владимира¹⁹. Сопротивление злу, согласно убеждениям Пушкина и декабристов, не должно ограничиваться пропагандой высоких нравственных принципов, а требует прежде всего активной борьбы в различных ее формах. Поэтому не следует полагать, что в поэме «Цыганы» осуждение, которое высказывает старик отец поведению Алеко («Оставь нас, гордый человек»), выражает основную идею произведения и что идеал Пушкина воплощен в признании старика: «Мы робки и добры душою», — то есть в смирении и непротивлении. Такое истолкование поэмы было возведено в принцип, якобы свойственный русской национальной философии, Достоевским, обобщившим свое понимание «Цыган» в реакционном лозунге, который впоследствии был подхвачен веховцами: «Смирись, гордый человек... Не вне тебя правда, а в тебе самом... Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе»²⁰. Этот тенденциозный вывод Достоевского игнорирует замысел и структуру пушкинской поэмы, игнорирует трактовку в ней образа Алеко как трагического²¹. Ведь герой вызывает сочувствие у читателя драматизмом своей судьбы. Сочувствует ему и автор. Это особенно сильно выражено в конце поэмы, где судьба Алеко сопоставляется с судьбой одинокой, подстреленной птицы:

Так иногда перед зимою,
Туманной утренней порою,
Когда подьмется с полей
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несется,
Пронзенный гибельным свинцом
Один печально остается,
Повиснув раненым крылом

Прямого ответа на вопрос о путях решения противоречий между моралью Алеко и моралью старого цыгана в поэме не дано. Чтобы ответить на этот вопрос надо было преодолеть романтически-абстрактное противопоставление «свободы» «неволе душных городов», раскрыть закономерности и причины, определяющие мироощущение и психологию современного героя, воплотить новый идеал средствами не романтического, а реалистического метода изображения жизни. Но величайшее значение поэмы заключается в разоблачении иллюзорности надежд на возможность достижения «счастья» путем простого ухода героя от «света», разрыва с людьми, которых так темпераментно заклеил поэт.

«Цыганы» обычно рассматриваются в пушкиноведении как завершение романтического периода в творчестве Пушкина. Действительно, Пушкин к этому времени создает совершенно новую художественную систему. В его творчестве вместо исключительных романтических героев, таких, как Пленник, Алеко, возникают герои типические, характеры определяются их действиями, поступками, которые диктуются обстоятельствами. Противоречие между идеалом и действительностью осознается теперь не как результат разлада отвлеченных романтических стремлений героев с окружающей их действительностью; пути к разрешению этих противоречий Пушкин начинает искать в самой действительности, в положительных тенденциях жизни, в исторических традициях народа. Все это так. Однако в работах, рассматривающих эволюцию Пушкина от романтизма к реализму, до сих пор встречается недооценка своеобразия его романтизма. Сама эта эволюция оценивается обычно как окончательный разрыв с прошлым. Эта схема была бы верной, если бы романтизм Пушкина питался не современной действительностью, а лишь субъективистской фантазией художника. Но своеобразие пушкинского романтизма заключается в том, что он, как мы видели, в конечном счете отвечал задачам, диктуемым самой жизнью, что дыхание современности всегда ощущалось и в романтических произведениях Пушкина. Хотя романтический метод не позволял Пушкину достигнуть исторической конкретности образов, *проблемы*, поставленные в «Кавказском пленнике» и в «Цыганах», были настолько актуальны для современности, что они перешли в его произведения реалистиче-

ского периода; это проблемы жизненного пути современного героя, свойственного ему разлада со средой, его протеста против существующего общественного уклада, противоречивости его мироощущения. И в романтических произведениях Пушкин в конечном итоге отправлялся от объективной действительности (об этом говорит и его приведенное выше признание о замысле «Кавказского пленника»).

Своеобразие пушкинского романтизма особенно явно в сравнении с принципами другой, субъективно-идеалистической ветви русского романтизма, наиболее ярко представленной в этот период творчеством одного из учителей Пушкина В. А. Жуковского. Спор о соотношении романтизма Пушкина и Жуковского, который на протяжении многих лет ведется в нашем литературоведении, может быть решен, на наш взгляд, если исходить не из дружеских связей между этими поэтами, не из частностей литературных отношений, а из оценки основных идейно-эстетических принципов их творчества и борьбы *направлений* в русском романтизме: прогрессивного, с одной стороны, консервативного — с другой (следует лишь иметь в виду, что термин «консервативный» в применении к романтизму не должен трактоваться как механическое перенесение категорий политической консервативности в изучение художественно-эстетической системы; при этом «консервативность» понимается нами в смысле ориентировки художника на прошлое, а не на будущее, в смысле защиты им идеалов, находящихся в обратном отношении к тенденциям исторического развития, к революционному преобразованию общественных порядков). Бесспорна художественная ценность переводов Жуковского из западноевропейских поэтов, бесспорна его историческая роль в истории возникновения в русской литературе психологической лирики, в разработке способов поэтического воспроизведения сложных человеческих переживаний, в развитии поэтического языка. Но бесспорно также, что эстетические принципы Жуковского были основаны на разрыве связей между субъектом и объектом, на идеале мистического совершенства, противопоставленной живой жизни, на понимании прекрасного как явления сверхчувственного мира. Поэзия, в понимании Жуковского, — это «таинственный посетитель», снизошедший с небес на землю для того, чтобы, точно зарница, на миг

осветить ее отблеском потустороннего мира. Выраженное в стихотворении «Лалла Рук» (1821) понимание красоты как мистического откровения по существу является воплощением на языке поэзии субъективно-идеалистического мировоззрения.

Ах! не с нами обитает
Гений чистой красоты:
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
Неразлучен с сердцем он!

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия бывает к нам,
И приносит откровенья,
Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало,
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой²².

Идеи, выраженные в этих стихах, непосредственно близки шеллингианской философии искусства. Посылая А. И. Тургеневу «Лаллу Рук», Жуковский сопроводил стихи комментарием, в котором утверждал, что «прекрасно только то, чего нет». Пушкину эстетическая программа, отраженная в стихотворении «Лалла Рук» была глубоко чужда. «Жуковский меня бесит, — писал он Вяземскому, — что ему понравилось в этом Муре?.. Вся «Лалла рук» (Мура. — Б. М.) не стоит десяти строчек Тристрама Шанди (романа Лоренса Стерна. — Б. М.); пора ему иметь собственное воображение и крепостные вымыслы». Впоследствии Пушкин в стихотворении «Я помню чудное мгновенье...» реалистически переосмыслил (как это раскрыто В. В. Виноградовым) образы «Лаллы Рук» и придал иную, чисто земную трактовку мотиву «гений чистой красоты»²³.

Жуковский в своем творчестве не был последователен. В его произведениях вопреки основной тенденции его же эстетики находили отражение отдельные черты реальной жизни, душевного мира человека, картин природы. Эту противоречивость видел и Пушкин. Так, например в одном из писем 1825 года (Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу) он восторженно отозвался о двух стро-

фах стихотворения Жуковского «Мотылек и цветы»: «Он мнил, что вы с ним однородные» и следующей», но здесь же добавил: «Конца не люблю».

Вот понравившиеся Пушкину строфы о мотыльке и о цветах:

Он мнил, что вы с ним однородные
Переселенцы с вышины,
Что вам, как и ему, свободные
И крылья и душа даны;
Но вы к земле, цветы, прикованы;
Вам на земле и умереть;
Глаза лишь вами очарованы,
А сердце вам не разогреть.

Не рождены вы для внимания;
Вам непонятен чувства глас;
Стремишься к вам без упования;
Без горя забываешь вас.
Пускай же к вам, резвясь, ласкается,
Как вы, минутный ветерок;
Иною прелестью пленяется
Бессмертья вестник мотылек...

Однако в следующих строфах Жуковский переводит лирическое изображение в план абстрактно-мистической символики — прием, обычный для его творчества, но противоположный пушкинскому романтизму. А это типичная для эстетики Жуковского декларация:

О милое воспоминание
О том, чего уж в мире нет!
О дума сердца — упование
На лучший, неизменный свет!
Блажен, кто вас среди губящего
Волненья жизни сохранил
И с вами низость настоящего
И пренебрег и позабыл²⁴.

Противопоставление «волненья жизни» и «низости настоящего» мистическому «неизменному свету» было, конечно, чуждо всей системе мировоззрения Пушкина. В отзыве Пушкина об этом стихотворении отчетливо отразились его эстетические критерии.

Пушкин, связанный с Жуковским дружбой, многим обязанный ему, считавший себя в общем с ним литературном лагере, не выступал против поэтических принципов Жуковского в печати. Исключением является полемика Пушкина с Жуковским в «Руслане и Людмиле» в связи с поэмой Жуковского «Двенадцать спящих дев»; полемика эта носит характер принципиального несогла-

сия с исходными творческими принципами Жуковского, хотя и облечена в шутливую форму. Именно отрыв Жуковского от действительности имел в виду Пушкин, когда говорил о нем: «Могил и рая верный житель» и обличал «во лжи прелестной». И хотя позже Пушкин сожалел об этой полемике (учитывая и мотивы литературно-тактические: он утверждал, что непростительно было пародировать Жуковского «в угождение черни»), тем не менее очевидным является принципиальное различие, даже противоположность «земной», несмотря на свой фантастический сюжет, поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» «бесплотной» поэме Жуковского. Подтверждением того, что Пушкин возражал против критики и пародирования Жуковского по соображениям прежде всего тактическим, является и следующий факт. В 1825 году Пушкин, упрекая Кюхельбекера за пародирование Жуковского в «Шекспировых духах», писал: «Милый, вспомни, что ты, если пишешь для нас, то печатаешь для черни; она принимает вещи буквально. Видит твое неуважение к Жуковскому и рада». «Чернью» здесь, конечно, именуются чернь журнальная и литературные архаисты, отвергавшие поэзию Жуковского с позиций реакционных. Пушкин полагал, что всякие выступления в печати против Жуковского играют на руку таких людям. В письмах же к друзьям Пушкин, при всем уважении к Жуковскому, сам критиковал его, иногда весьма резко.

Уточнения требует и обычная трактовка спора о Жуковском между Рылеевым и Пушкиным. В письме Рылееву 25 января 1825 года Пушкин писал: «...не совсем соглашаюсь с строгим приговором (Бестужева. — Б. М.) о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его остается всегда образцовым». Эти слова Пушкина понимаются обычно как его безоговорочное несогласие с оценками Жуковского Бестужевым как поэта, который «дал многим из своих творений германский колорит, сходящий иногда в мистику», и как вождя «германизма» в русской поэзии. Но следует обратить внимание на то, что Пушкин не во всем отвергал взгляды Бестужева на Жуковского («...не совсем соглашаюсь»). С тем, что Жуковский представлял противоположную его поэзии ветвь романтизма, Пушкин

внутренне не мог не соглашаться, так как сам отрицательно относился к тому романгизму, который, по его собственному определению, был ознаменован печатью «германского идеологизма» (кстати, через несколько лет Пушкин согласился с И. Киреевским, который охарактеризовал идеализм поэзии Жуковского как начало иное, чем творчество Пушкина, — поэта действительности)²⁵.

Рылеев в ответе Пушкину признавал, что Жуковский «имел решительное влияние на стихотворный слог наш — и мы за это навсегда должны остаться ему благодарными»; он хвалил прекрасные переводы Жуковского «из Байрона, Шиллера и других великанов чужеземных», в то же время не одобряя *«влияние его на дух нашей словесности»*. «Мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали», — писал Рылеев. «Зло», которое увидел вождь Северного общества, заключалось в том, что поэзия Жуковского отвлекала от борьбы за улучшение жизни на земле, призывая находить утешение лишь в таинственном «там». То, что эта ложь Жуковского была «прелестна», то, что она была облечена в мелодические, легкие стихи, только усиливало с точки зрения Рылеева вред, который его поэзия приносила в ходе борьбы за сильного, мужественного героя, способного на борьбу с социальным злом. Речь, следовательно, шла не только об оценке достоинств произведений Жуковского, а о *судьбах и направлении русской поэзии*.

Надо сказать, что позиция декабристов и близких к ним критиков по отношению к Жуковскому не всегда была однородна; в период, когда в памяти еще были живы произведения Жуковского, связанные с войной 1812 года, его «Певец во стане русских воинов», когда он еще не терял связей с современностью и воспринимался как деятельный участник борьбы с литературными староверами, вся передовая критика восторженно отзывалась о нем. Переоценка значения Жуковского началась в 1822—1824 годах, когда определилась его общественная позиция и когда стали появляться его эстетические декларации, проповедовавшие отрешенность искусства от жизни, мистицизм, религиозное смирение, предпочтение веры разуму. Любопытно, что впоследствии Белинский, оценивший Жуковского более исторично, чем декабристы, ока-

зался тем не менее близок Рылееву в критике идейной направленности поэзии «Колумба русского романтизма». Великий подвиг Жуковского, по мнению Белинского, заключается в том, что «благодаря ему, для русского общества стала не только доступна, но и родственна и романтическая поэзия средних веков и романтическая поэзия начала XIX века». Белинский вместе с тем отмежевывал «средневековый романтизм» Жуковского от направления пушкинской поэзии и писал, что поэзия Жуковского «чужда всякого исторического созерцания всякого чувства прогресса, всякого идеала высокой будущности человечества». Здесь ощущается та же позиция сторонника высокого назначения поэзии в развитии общественной жизни, роли поэта-гражданина, что и в критике Рылеевым мистицизма Жуковского²⁶.

В полемике о романтизме, которую вели в то время Вяземский, Бестужев, Кюхельбекер, Рылеев и другие писатели, Пушкин занимал самостоятельную позицию. «Сколько я ни читал о романтизме, все не то, — писал он к Бестужеву, — даже Кюхельбекер врет» (30 ноября 1825 года). Пушкин все яснее осознавал, что под знамя романтизма пытаются объединить различные по существу направления.

Преодолевая слабые стороны романтического метода, Пушкин внимательно учитывал опыт западноевропейской литературы, сопоставлял задачи, выдвигаемые развитием русской жизни, русской национально-самобытной литературы с движением романтической литературы в других странах.

Если в поэзии Байрона, при всей ее романтической односторонности, Пушкин никогда не переставал ценить дух отрицания и героизма, «таинственную прелесть» созданного в ней характера, то иначе относился он к немецким и французским романтикам. Что касается первых, то краткие отзывы о них у Пушкина всегда отрицательны. Он решительно не согласился с Вяземским, который в предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» возвел романтизм в русской литературе к немецким источникам. В отличие от современных ему критиков он считал, что неправильно относить к романтизму «все, что кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных».

Но и творчество современных французских романтиков он оценивал весьма критически. «Все сборники новых стихов, именуемых романтическими, — позор для французской литературы», — писал он Вяземскому в 1824 году. Отрицательное отношение Пушкина к новой романтической школе во Франции начала 20-х годов понятно, поскольку на творчество ее представителей наложила тогда известный отпечаток эпоха Реставрации. Подходя к представителям французской школы с собственными критериями романтизма, Пушкин попросту не считал их романтиками. Он писал в том же письме Вяземскому: «Век романтизма не настал еще для Франции... Вспомни мое слово: первый гений в отечестве Расина и Буало ударится в такую бешеную свободу, в такой литературный карбонаризм, что что твои немцы — а покамест поэзии во Франции менее, чем у нас». Не принимал Пушкин и трактовку романтизма, которая существовала во французской критике, относившей к романтизму «все произведения, носящие на себе печать уныния и мечтательности». Шла ли речь о Ламартине, французском поэте-романтике с его меланхолической мечтательностью и благочестием, или о любом другом поэте, к которому можно было применить слова, сказанные в «Евгении Онегине» по поводу элегии Ленского,

Так он писал *темно и вяло*,
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут нimalo
Не вижу я) —

Пушкин решительно не причислял их к «романтикам».

Что же касается увлечения Пушкина Байроном, то оно относится к началу 20-х годов. В это время творчество английского поэта приобретает общеевропейское значение и восторженно приветствуется прогрессивными кругами всех стран как выражение политического вольномыслия. Личность Байрона, — изгнанника родины, участника карбонарского движения и затем греческой революции — сливалась в сознании современников с его поэзией, воссоздавшей романтический образ мятежного героя, разочарованного в окружающем обществе. Его почитали и как политического сатирика, обличавшего вдохновителей реакции. В России борьба вокруг Байрона отразила противоположность политических устремлений враждующих лагерей как в литературе, так и в обще-

ственной мысли. Для иллюстрации сущности этой борьбы достаточно напомнить мнения о Байроне, с одной стороны, известного реакционера, «гасителя просвещения» Д. П. Рунича, утверждавшего, что поэзия Байрона «родит Зандов и Лувслей», и, с другой стороны, Вяземского, восторгавшегося красотами байроновского романтизма, сливавшегося «с красками политическими». Идейный пафос поэзии Байрона, протест против современных социальных устоев, поэтизация сильной личности, сильных страстей, отрицание косности, религиозных предрассудков — все это привлекало Пушкина, совпадало с его собственными настроениями. «Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая — твой истинный удел», — писал он А. А. Дельвигу (23 марта 1821 года). Однако уже в южных поэмах Пушкина, в самом их построении заключались элементы, которые предвещали его отход от романтического субъективизма Байрона: простота и естественность повествования (например, в «Кавказском пленнике» все, исключая романтическую смерть черкешенки, естественно, «может быть, слишком естественно», как писал Вяземский), самостоятельное значение «фона» действия героев (описания быта цыганского табора), стремление к обрисовке героев не только как «рупоров» авторских переживаний, но как характеров объективно существующих, не порожденных лишь «мечтательным воображением»²⁷.

Следует подчеркнуть, что романтизм в представлениях Пушкина — это не только художественная система, но также определенные качества человеческого характера — страстность и напряженность мировосприятия, мятежность и вольнолюбие, устремленность к будущему, неукротимость исканий, порыв к идеалу, героическая непреклонность. Черты такого характера Пушкин видел, например, в облике А. И. Якубовича, будущего декабриста, которого он назвал героем своего воображения, замечая при этом: «В нем много, в самом деле, романтизма» (письмо А. А. Бестужеву 30 ноября 1825 года).

В ходе преодоления романтической системы Пушкин пересматривает и свое отношение к Байрону: продолжая высоко ценить сильные стороны его творчества, он подвергает критике принципы, которые определяли подход Байрона к проблеме героя, и прежде всего романтический субъективизм. В 1825 году он замечает, что Бай-

рон-трагик «создал всего-навсего один характер», распределив между своими героями черты собственного характера (письмо Н. Н. Раевскому-сыну; подлинник на французском языке). В 1827 году, развивая эту же мысль, он отмечает: «Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого» («О драмах Байрона»).

Обобщая свои размышления о сущности романтизма, Пушкин приходит к формуле «истинный романтизм». Признаки «истинного романтизма» Пушкин теоретически осознает, изучая творчество Шекспира, а также предисловие Гизо к французскому изданию Шекспира и курс драматургии А. Шлегеля (французский перевод). Итоги своих размышлений об истинном романтизме Пушкин изложил в беловом и черновом текстах письма Н. Н. Раевскому-сыну в июле 1825 года и в ряде набросков. Если суммировать все, что Пушкин писал об «истинном романтизме», то окажется, что признаками такого романтизма Пушкин считал прежде всего верность изображения, правдивость, отличающуюся от внешнего правдоподобия классицизма и выраженную во всех элементах произведения, в том числе в языке героев, которые должны говорить, «как в жизни». Далее непременным признаком романтизма является индивидуализация характеров («Каждый человек любит, ненавидит, печалится, радуется, но каждый на свой лад — почитайте-ка Шекспира»). И, наконец, характеры героев должны определяться их действиями, продиктованными обстоятельствами. Наряду с этими, общими признаками «истинного романтизма» были для Пушкина оригинальность, новаторство, народность, демократическая направленность художественного творчества в противоположность «аристократической жеманности» классицизма.

Современному читателю может показаться странным, что представителем «истинного романтизма» у Пушкина оказывается Шекспир — писатель, творивший за несколько веков до появления романтического направления в литературе. Но для Пушкина романтизм не был явлением, прикрепленным к определенной литературной школе и ограниченными хронологическими рамками, а представлялся направлением, по своим принципам противоположным поэзии древних и классицизму.

Теории романтизма Пушкин касается и в оставшейся неоконченной статье «О поэзии классической и романтической» (1825). Поставив вопрос, «какие же роды стихотворения должны отнести<сь> к поэзии ром<антической>», он дал на него следующий ответ: «Те, которые не были известны древним и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими». Такой ответ может показаться весьма односторонним, поскольку он касается только вопросов формы, связанных с развитием романтизма. Однако для понимания сущности рассуждений Пушкина следует учесть, что в понятие *формы* он вкладывает здесь особый смысл. В статье утверждается, что новые формы возникали в связи с новым содержанием под влиянием исторической действительности и в связи с развитием народной поэзии. Начало европейской романтической поэзии Пушкин относит к нашествию мавров, к крестовым походам: под влиянием мавров возникли в поэзии «приверженность к чудесному и роскошное красноречие востока», «исступление и нежность любви», рыцари же сообщили литературе «свои понягья о геройстве», «свою набожность и простодушие». Как бы ни оценивать этот взгляд на истоки романтической поэзии, важно, что корни ее Пушкин видит, следовательно, в самой жизни.

Не менее важна другая глубочайшая мысль Пушкина о том, что поэты нового времени имели своей предшественницей народную поэзию. «В Италии и в Гишпании народная поэзия уже существовала прежде появления ее гениев. Она пошла по дороге, уже проложенной». Эти гении — Данте, Ариосто, Кальдерон. Что касается Англии, то она «противу имен Dante, Ариосто и Кальдерона с гордостью выставила имена Спенсера, Мильтона и Шекспира». Во Франции же вместо романтизма было «романтич<еское> жеманство, облеченное в строгие формы классические».

Какие же выводы следовали для русской литературы из хода рассуждений Пушкина? Очевидно, необходимо обратиться к историческим традициям народа, к национальной жизни и народной поэзии. Следовательно, хотя Пушкин и считал неверной попытку связать романтизм только с «предрассудками и преданиями простонородными», он вместе с тем подчеркивал в народной поэзии те своеобразные черты, которые и должны при-

вести к «истинному романтизму» «Читая жаркие споры о романтизме, — писал он в «Письме к издателю «Московского вестника», — я вообразил, что и в самом деле нам наскучила правильность и совершенство классической древности и бледные, однообразные списки ее подражателей, что утомленный вкус требует иных, сильнееших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках новой, народной поэзии». Из этого исходил Пушкин в своем обосновании творческих принципов «Бориса Годунова». Переходя непосредственно к своей трагедии, Пушкин писал: «Отказавшись добровольно от выгод, мне представляемых системою искусства, оправданной опытами, утвержденной привычк<ою>, я старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием историч<еских> характеров и событий — словом написал трагедию истинно романтическую». По существу понятие «истинного романтизма» в период работы над «Борисом Годуновым» стало настолько широким, что приблизилось к содержанию возникшего много позже понятия «реализм» (термин «реальная поэзия» был, как известно, впервые употреблен Белинским в 1835 году).

В свете всего сказанного выше очевидна необходимость пересмотра распространенной в литературоведении оценки творческой эволюции Пушкина в 20-х годах как полного, безоговорочного разрыва с идейно-эстетическими принципами периода южных поэм, как замены одного эстетического идеала совершенно другим, даже противоположным. Нередко эта эволюция представляется как отказ от мятежного героя во имя героя, чуждого всякого рода романтическим мечтаниям, во имя «маленького», «смирненного» человека; отказ от увлечения возвышенно-романтическими образами во имя «пестрого сора» «фламандской школы»; замена очарований пылкой юности «трезвой» житейской опытностью, которая предпочитает поэзии «смирненную прозу».

В буржуазно-дворянском пушкиноведении эта схема служила для реакционного истолкования идейно-творческого пути Пушкина. Например, профессор А. И. Незеленов рассматривал пушкинский романтизм как полосу «ошибок юности», «политических увлечений» и фантастических упоований. Незеленов пытался опереться, в частности, на следующие строки из шестой главы «Евгения Онегина»:

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но, так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я наслаждался... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

(Строфа XLV)

Эти строки Незеленов рассматривал как декларацию Пушкина о «конце юности» и начале новой жизни, в которую поэта умчал... присланный Николаем I в Михайловское фельдъегерь²⁸. Незеленов при этом как бы забывал строки из той же шестой главы «Евгения Онегина», которые являются продолжением приведенных выше и противоречат его абсолютно неверной и убогой концепции:

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь.
И, наконец, окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!

Советское литературоведение разоблачило лживость схемы, сочиненной Незеленовым и его последователями. Но трактовку эволюции пушкинского творчества как полного отречения от романтизма южных поэм можно встретить в исследованиях и статьях вплоть до последнего времени. Сдержанное и даже несколько опасливое отношение к пушкинскому романтизму имеет своей причиной и общую недооценку романтизма классической литературы как крупного идеологического и художественного

явления. Известно, что около десяти лет назад в нашей печати велась дискуссия о романтизме в советской литературе. В итоге дискуссии подверглись критике те ее участники, которые пытались выделить в социалистическом реализме какое-то самостоятельное романтическое течение и утверждали, что романтизм должен якобы «возвышать» действительность. Такая трактовка романтизма, конечно, неверна: романтизм как творческий метод, в свое время сыгравший большую историческую роль в литературном развитии, в дальнейшем, когда сложился реализм как целостная система, потерял свое самостоятельное значение и вошел в реализм в качестве элемента (речь идет о романтизме революционном). Однако из итогов дискуссии некоторые литературоведы стали делать выводы об ущербности романтизма как такового, безотносительно ко времени его существования, безотносительно к определенным типам романтизма. Между тем романтизм Пушкина, порожденный не отрешенностью от жизни, а самой действительностью, связанный с освободительным движением, сыгравший огромную роль в борьбе с феодально-крепостнической идеологией и эстетикой старого общества, был направлением живым, исторически оправданным и именно потому его романтические произведения сохранили непреходящую идейную и эстетическую ценность. Преодоление Пушкиным в дальнейшем своем развитии романтизма как художественного метода не означает, что он не удержал и не углубил ценные элементы романтизма. Сложность этого процесса, в котором содержалось не только отрицание, но преемственность разных этапов творческого развития, не следует преуменьшать.

Стремясь доказать, что при переходе к реализму Пушкин решительно отказался от прежнего эстетического идеала, некоторые литературоведы ссылаются на лирические признания самого Пушкина, заимствованные из «Евгения Онегина». Кроме приведенной выше строфы «Так полдень мой настал», с этой целью цитируются следующие строки:

Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет.

(Гл. I, строфа LIX)

Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат..

(Гл. III, строфа XIII)

Но в качестве наиболее распространенного доказательства разрыва Пушкина с прошлым и с идеалами «романтической юности» приводится обычно лирическое отступление, которое содержится в «Отрывках из путешествия Онегина». Как ни памятна читателю эта исповедь Пушкина, необходимо остановиться на ней, чтобы разобраться в ее действительном смысле.

Начинается она с воспоминаний о вдохновенной поре юных поэм, поре упоения могучей красотой гордой природы Крыма и Кавказа, поре могучих стремлений мятежной души:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля,
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном,
Сияли груди ваших гор,
Долин, деревьев, сёл узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь!
Но, муза! прошлое забудь

Эти строки проникнуты такой любовью к прошлому, пробудившему «жар» в душе поэта, таким сильным ощущением очарования жизни, родившей «волшебную тоску» («тоску» в смысле стремлений, упований), что нельзя не почувствовать горечь, боль последних слов, которыми резко обрываются воспоминания: «Но, муза! прошлое забудь». Таким же ощущением прошлого проникнуто и лирическое отступление в начале восьмой главы, которое носит уже непосредственно политический характер; здесь Пушкин говорит о своей жизни до изгнания, о

круге вольнолюбивых друзей. Вспоминая об этом времени, Пушкин пишет:

...Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась -
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

Эти строки писались в годы свирепой реакции, следовавшей после ликвидации декабрьского восстания, и поэтому совершенно понятно, *кого* Пушкин имел в виду, вспоминая «молодежь минувших дней», молодежь, увлеченную «буйными спорами» и его стихами, теми стихами, за которые он поплатился ссылкой... В десятой главе «Евгения Онегина» прямо сказано об этих спорах, о сходках «за чашею вина», где «читал свои ноэли Пушкин». Не имея возможности говорить об этом открыто в подцензурной восьмой главе, Пушкин тем не менее вслед за воспоминаниями о Петербурге декабристской поры все же переходит к воспоминаниям о своей ссылке на Юг. Поэт оказался насильно вырванным из среды вольнолюбивых друзей:

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал...

В белой рукописи о постигшей Пушкина каре было сказано более прозрачно:

Но рок мне бросил взоры гнева
И вдаль занес...

Преднамеренно ослабив эти «крамольные» с точки зрения цензуры стихи, Пушкин дальше говорит о своей музе, сопровождавшей его в изгнании, услаждавшей его путь «волшебством тайного рассказа». В этих воспоминаниях отражены те же чувства, что и в лирической исповеди «Отрывков из путешествия Онегина».

Но вернемся к этой исповеди. После полного печали обращения к музе («прошлое забудь») следует:

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне — теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал *.

Эти строки написаны в годы, когда Пушкин преодолел романтическую художественную систему (слова «*безыменные* страданья» в этом смысле весьма выразительны), когда содержание его творчества неизмеримо расширилось; по сравнению с новым этапом творческой биографии та пора, когда идеалом поэта была «гордая дева» романтических поэм, казалась давно прошедшей. Но не все чувства той поры «прошли»: они также «изменились». Разумеется, не могло быть и речи об отречении от самого дорогого, того, о чем он говорил выше, от идеалов свободы, поэзии, творчества, возвышенных стремлений, по-прежнему дорогих, но принявших иную форму, иное, более глубокое, более близкое действительности, более близкое народной жизни содержание. Смирились «высокопарные мечтанья», а не «мечтанья» вообще. Высокая поэзия открылась Пушкину не только в гордой природе юга (прелесть ее всегда захватывала поэта; достаточно напомнить о его романтических стихотворениях 1829 года «Кавказ», «Обвал», «Монастырь на Казбеке»), но прежде всего в жизни народа, в русской природе, в деревенской России.

Те же критики и литературоведы, которые понимают слова Пушкина о прощании с идеалами прошлого и о «смирении» буквально, всерьез толкуют как его декларацию также и следующее признание:

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания покой,
Да щей горшок, да сам большой.

При этом совершенно упускается из виду один из принципов композиции «Евгения Онегина»: постоянное переключение повествования из серьезной тональности в ироническую. Если считать, что Пушкин всерьез считал своим идеалом «покой» и, отрекаясь от мятежных мечтаний в пользу «смирения», символизировал свой новый идеал в словах «щей горшок», то с таким же успехом можно принимать всерьез и такие, высказанные в романе сентенции, как «любите самого себя» или восхваление Зарецкого как «истинного мудреца», который «укрывшись от бурь»,

Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.

На самом же деле в «Евгении Онегине» отразился не разрыв с идеалом прошлого, а его изменение, преобразование. На протяжении всего романа мятежные порывы надежды, мечты, волнения гордой юности противопоставляются жалкой прозе смирения и покоя, скептицизму «благоразумных» людей, которым была чужда мечта об иной, свободной жизни, чужд пафос борьбы и протеста. О педантах, которым непонятны высокие порывы, которые по-молчалински избегают всего, что связано с тревогами, дерзанием, риском, в романе говорится:

...Жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова..
Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил!

С презрением, граничащим с ненавистью, отзывался Пушкин о «благоразумии» тех,

Кто странным снам не предавался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат...
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

Великое значение «Евгения Онегина» заключается в том, что критическая направленность романа неотъем-

лема от его «положительного» содержания, от воссоздания идеала, что само отрицание в романе — это отрицание во имя идеала.

Идеал воплощен в этом романе не только в прямых декларациях автора или героев, как это было в южных поэмах, где стремления героев выражались в общих сентенциях (например: «Свобода! он одной тебя еще искал в подлунном мире»). В «Евгении Онегине» найдены новые художественные принципы воплощения идеала через сложную систему образов и лирических отступлений. В романтизме первенствующим элементом считалось «чувство»; картина переживаний и самый облик героев слагались обычно в итоге воспроизведения потока чувств героев. Аналитический элемент, позволяющий подвергать не только эмоциональной, но и всесторонней жизненно-практической оценке окружающую действительность, в романтизме был выражен слабо. Иное в «Евгении Онегине». Здесь Пушкин исходил из системы, основанной на единстве «мысли» и «чувства». Об этом говорится в вступлении к роману, который характеризуется как итог

*Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет **

Та же мысль о союзе «волшебных звуков, *чувств и дум*», о новом подходе к искусству повторяется и в IX строфе первой главы. В этом смысле «Евгений Онегин» выражает высший синтез, в котором аналитическое изображение жизни посредством нового метода — реализмического — сочетается с развитием ценных элементов романтизма южных поэм, этот синтез следует понимать не как «слияние» романтизма и реализма, необходимое будто бы для возвышения жизни средствами романтизма. Нет, романтизм как художественную систему, как творческий метод Пушкин в «Евгении Онегине» преодолел. Речь идет о новой художественной системе, в которой, однако, достижения предшествующего периода — идейные и художественные — не отброшены, а сохранены в новом качестве.

В годы, когда Пушкин работал над первыми главами «Евгения Онегина», он по-новому, совсем не так, как романтики, решает вопрос о природе вдохновения. В чер-

* Подчеркнуто мною.— Б. М.

новом конспекте «Возражений на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине» Пушкин определял вдохновение как «расположение души к живейшему принятию впечатлений, следст<венно> к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных». «Объяснение понятий», то есть аналитический подход к изображаемому, является, следовательно, одним из требований искусства. «Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии», — поясняет Пушкин, словно опровергая всякого рода теории бессознательной, интуитивной сущности искусства, якобы отличающейся своей «бессознательностью» от науки. В стремлении подчеркнуть значение мысли, «ума», анализа изображаемого заключается смысл разграничения «восторга» и «вдохновения»; «...восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей части в их отношении к целому».

Но для того, чтобы искусство не перестало быть искусством, чтобы избежать рассудочности, ум должен сочетаться с «воображением», «мысль» должна находиться в единстве с образностью. Именно этот принцип искусства и воплощен в «Евгении Онегине» с непревзойденным мастерством. Явления действительности, изображенной в романе, раскрыты с необыкновенной точностью и полнотой.

Отражая современность в самом точном и полном смысле этого слова до мельчайших деталей, роман вместе с тем ставит проблемы, значение которых распространяется далеко за пределы данной эпохи.

В «Евгении Онегине» Пушкин открыл принципы типизации, которые позволяли глубоко проникнуть в сущность современных общественных отношений и в характеры представителей различных социальных слоев. Особенности героев раскрываются здесь не только в описаниях и в прямых характеристиках, которые дает им автор: подобные примеры характерны в равной мере для классицизма и романтизма.

Новый подход Пушкина в «Евгении Онегине» к проблеме героя заключался прежде всего в том, что герои, их образ мышления, чувства, действия, поступки мотивированы не как результат своеволия страстей, а как обусловленные историческими обстоятельствами, временем, средой, показаны как вытекающие с безусловной

необходимостью из конкретных ситуаций, как связанные с коренными особенностями типических и вместе с тем индивидуальных характеров. Герои изображались в таких сюжетных ситуациях, при которых они не могут не обнаружить основных, хотя бы и глубоко скрытых особенностей своего образа мыслей и чувств; поэтому решающими моментами и в движении сюжета и в характеристике героев являются письмо Татьяны и реакция Онегина на это письмо, дуэль Онегина с Ленским и последнее свидание Онегина с Татьяной.

Совершенно новое значение приобрели в системе изображения характеров детали. Благодаря реалистическому искусству типизации детали несут важнейшую функцию раскрытия обстоятельств, в которых действуют герои, и вместе с тем с редкостной полнотой и точностью воспроизводят изображаемую эпоху. Поэтому деталями романа может воспользоваться для характеристики эпохи и историк, и экономист, и исследователь русского быта. К. Маркс, внимательно изучавший «Евгения Онегина», при характеристике основных типов отношений к товару, воспользовался первой главой романа, в которой упоминается, что Онегин

...умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда *простой продукт* имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

В работе «К критике политической экономии» Маркс по поводу этой строфы пишет: «В поэме Пушкина отец героя никак не может понять, что товар — деньги. Но что деньги представляют собою товар, это русские поняли уже давно...»²⁹ Во множестве деталей Пушкин изображает специфические особенности феодально-крепостнической России. Черты эксплуатации крестьян даны в романе с предельным лаконизмом. Онегина, заменившего оброком «ярем барщины старинной», соседи сочли «опаснейшим чудаком». Характеристике положения и быта крепостного крестьянина в равной мере служат и «затея сельской остроты» — сбор ягод девушками, которые «хором по наказу пели», и упомянутое мимоходом битье служанок, и исполненный драматизма рассказ няни

о своем замужестве, и бритье лбов матерью Татьяны, и сатирические строки о Гвоздине:

...хозяин превосходный,
владелец нищих мужиков...

Не всегда такого рода штрихи удалось сохранить по условиям цензурным. Так, например, Пушкин изменил в беловом тексте сравнение унылой зимней поры в деревне с «крепостной нищетой» (гл. IV, строфа XLIII). Подобные штрихи и детали не имели в «Евгении Онегине» самостоятельного значения. Но в бытовых зарисовках, служащих фоном для психологии героев, иногда несколькими штрихами подчеркнуты весьма существенные моменты жизни России. Именно такую роль играют они в картинках Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода с его «меркантильным духом», пестрого одесского быта, такова и превосходная характеристика международной торговли России, мимоходом данная в описании кабинета «воспитанника мод» Онегина, где находилось

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по балтийским волнам
За лес и сало возит нам...

Характерно, что чрезвычайно лаконичными средствами Пушкину удавалось выразить внутреннюю сущность того или иного явления.

Краткое определение «разочарованный лорнет» выразительнее длинных описаний говорит о равнодушии и скептицизме, с которым его владелец смотрит на «чуждый свет»; точно так же мимоходом брошенное замечание:

И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам, —

с чудесным лаконизмом рисует домашний уклад Лариных, пытавшихся соблюдать светский этикет применительно к своим гостям — Буяновым и Петушковым.

Обилие, разнообразие, разнохарактерность фактов и явлений действительности, изображенной в романе, обусловили и своеобразие его построения, которое можно было бы, пользуясь музыкальным термином, назвать полифоническим. Разнообразие и разнохарактерности жизненного материала соответствовало и разнообразие

лирических сфер изображения, разнообразие интонаций, то гневных, то иронических, то скорбных, то мечтательно-печальных. Поэтому Пушкин сказал о романе: «...пишу пестрые строфы романтической поэмы» (письмо В. Г. Кюхельбекеру<?>, апрель—первая половина мая 1824 года). Под «пестротой» здесь подразумевалось недопустимое в поэтической системе классицизма соединение в одном произведении разнохарактерных тем, окрашенных притом противоположными настроениями. Такое толкование приведенных выше слов Пушкина можно подтвердить и следующими строками посвящения:

Прими собрание *пестрых* глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных *

«Собрание пестрых глав» — это целостное единство, объединенное не только сюжетом, но и наличием лирического героя, проходящего с своими чувствами и думами через все произведение. В романтических поэмах образ основного героя произведения и лирическое «я» автора часто сливались. В «Евгении Онегине» резко подчеркивается «разность» между автором и героем романа; иронически отвергается байронический принцип превращения героя в рупор авторских переживаний:

Как будто нам уж невозможно
Писать другой предмет любя,
Как голько про самих себя

Объективированность образа Онегина подтверждается с самого начала и тем, что автор представляет его читателям как своего приятеля:

Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас..

Отвергая, таким образом, возможность отождествления Онегина с авторской личностью, Пушкин вместе с тем столь же подчеркнуто вводит в роман лирического героя знакомого Онегина, который выражает настроения автора, но в то же время не тождествен ему. Лирический герой выступает в романе то с признаниями

* Подчеркнуто мною — Б. М.

автобиографического характера, причем иногда явно политического содержания (например, намеки на ссылку: «Вреден север для меня» и др.), то с воспоминаниями или размышлениями на разные темы, то с оценками персонажей романа или их поступков. Во всех случаях лирические отступления способствуют «энциклопедизму» романа, широте и многосторонности охвата явлений русской жизни той эпохи. Они создают ощущение современности, острой злободневности.

Новая художественная система Пушкина, которая нашла свое претворение в «Евгении Онегине», не была понята сторонниками романтизма и воспринималась как отказ от «высокого» идеала в искусстве во имя изображения только отрицательного и безобразного. В предисловии к первой главе Пушкин предвидел возражение критиков, которые «станут осуждать... антипоэтический характер главного лица»... Действительно, в этом была суть откликов Н. Раевского, А. Бестужева и др. на первую главу романа, вышедшую в свет в 1825 году. По словам Пушкина, Раевский «бранит» роман; он ожидал «романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчихал» (письмо брату в начале 1824 года). С критериями романтизма подошла к оценке «Евгения Онегина» и декабристская критика. А. Бестужев одобрительно отозвался только о тех местах первой главы, «где говорит чувство», «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества...» И здесь же Бестужев отмечал, что лучшее произведение Пушкина — поэма «Цыганы». Бестужев полагал, что изображение светской жизни, противоречившей понятиям «высокого», не является достойным предметом для поэта. Полемизируя с Пушкиным, отстаивавшим право поэта на изображение светской жизни, Бестужев писал ему 9 марта 1825 года: «...для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку?» Этим Бестужев хотел сказать, что Онегин слишком ничтожный герой для романа (обложка первой главы была украшена, вместо виньетки, изображением бабочки, которое Бестужев понял как аллегорический намек на сущность героя). «Что свет можно описывать в поэтических формах — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? Поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? Я вижу франта, который душой и телом предан моде,

вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность, и мизантропия, и странность теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, но они не полны, ты схватил петербургский свет, но не проник в него». Письмо Бестужева, написанное в пору его активной деятельности в Северном обществе, отражает серьезную тревогу декабриста, полагавшего, что Пушкин, в руках которого «ружье-талант», который обладает «резцом Праксителя», растрчивает свои силы на то, чтобы, подобно браминам индийским, искусно вырезать изображения из яблочного семечка³⁰.

Рылеев, хотя и признавал, что первая глава «Онегина» в целом «прекрасна», все же резюмировал так свою оценку: «...Онегин, сужу по первой песни, ниже и Бахчисарайского фонтана и Кавказского Пленника» (12 февраля 1825 года). А 10 марта он вновь писал Пушкину: «Не знаю, что будет Онегин далее... чем дальше в лес, тем больше дров; но теперь он ниже Бахчисарайского Фонтана и Кавказского Пленника». «Несогласен и на то, что Онегин выше Бахчисарайского Фонтана и Кавказского Пленника, как творение искусства»³¹.

Правда, отзывы критиков-декабристов основываются на впечатлениях от первой главы, содержание которой ограничено преимущественно негативной задачей, — характеристикой тех условий светской жизни, которые создали Онегина как человека, преданного «безделью» и томившегося «душевной пустотой». Чего же хотели они от романа? Характерно, что ими были одобрены те места первой главы, «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества»³². Это прежде всего строфа:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприятной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

В этой строфе Пушкин говорит о своей ссылке и о стремлении вырваться на свободу. Символика моря и бурной природы служила для Пушкина, как и для других поэтов революционно-романтического направления, средством воплощения вольнолюбивых мечтаний. Здесь А. Бестужев узнавал Пушкина-романтика. Но в лице Онегина Бестужев ожидал в первой же главе найти нечто подобное Алеко, то есть героя, которого можно было бы поставить в «контраст с светом». Иначе говоря, Бестужев, верный романтической догме, признавал задачей искусства создание исключительных характеров, а не таких, как Онегин, которых он, по его словам, «встречал тысячи».

Расхождения между Пушкиным и Бестужевым были расхождениями реалиста и романтика. Но известная парадоксальность этого спора заключалась в том, что критическое изображение Пушкиным среды, обусловившей характер Онегина как типа, безусловно соответствовало той критике, которая шла из лагеря декабристов; вспомним приведенные выше тирады на эту тему из «Законоположения Союза благоденствия», из дневников Николая Тургенева, из стихотворения Рылеева «Гражданин». Любопытно, что в той же самой статье Бестужева, где содержится отзыв о первой главе «Евгения Онегина», дана такая характеристика воспитания и самого типа светского молодого человека, которая поразительно напоминает содержание первой главы пушкинского романа. Вот что писал Бестужев: «Мы учимся припеваючи и оттого навсегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли; но связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в случае, ни в привычке. У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал; а едва придет истинный возраст ума и ученья, он уже в службе, уже он деловой — и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним напряжением, и он целый век остается гордым учеником оттого, что учеником в свое время не был. Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролетная тень облака». Причины этой «душевной дремоты» и пустоты Бестужев видит в общественных

условиях: «Да и что в прозаическом нашем быту на безлюдье сильных характеров может разбудить душу? что заставит себя почувствовать? Наша жизнь — бестенная китайская живопись: наш свет — гроб повапленный». Далее Бестужев продолжал: «Но кроме пороков воспитания, кроме затейливого однообразия жизней нашей, кроме многосторонности и безличия самого учения (*quand même*), которое во все мешается, все смешивает и ничего не извлекает, — нас одолела страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновки, потом любезничали по-французски. Теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? когда будем писать по-русски?»³³

Характерно, что Пушкин весьма одобрительно отзывался об этих местах статьи Бестужева. Он писал ему: «Все, что ты говоришь о нашем воспитании, о чужестранных и междуусобных (прелесть!) подражателях, — прекрасно, выражено сильно и с красноречием сердечным» (конец мая — начало июня 1825 года).

Несмотря на эту общность идеологической позиции, выразившуюся в столь близких оценках условий общественной жизни, Бестужев так и не мог понять перелома, который совершился в творчестве Пушкина.

9 марта 1825 года Бестужев ставил в пример Пушкину Байрона и его сатиру (в «Дон Жуане») ³⁴. В ответе Бестужеву (24 марта 1825 года) Пушкин отводит его упреки, ссылаясь на то, что он смотрит на Онегина «не с той точки»: в «Дон-Жуане» нет ничего общего с «Онегиным». Кроме того, политическая сатира, которую ждал Бестужев, была невозможна и по цензурным условиям: «Ты говоришь о сатире англичанина Байрона, и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня *сатира*? о ней и помину нет в *Евгении Онегине*. У меня бы затрещала набережная (то есть набережная Зимнего дворца. — Б. М.), если б коснулся я сатиры». Не отказываясь в принципе от сатиры, Пушкин многозначительно замечал: «Дождись других песен».

Основная идейная проблема, которой посвящен «Евгений Онегин», была настолько значительна, что Пушкину, естественно, казались узкими те рамки, в которые рекомендовали втиснуть замысел, пусть с самыми лучшими намерениями, его вольнолюбивые друзья.

В первые годы работы над романом Пушкин «еще неясно различал», к какому концу должна привести логика тематических и сюжетных линий, преследуя лишь цель правдивого рассказа. На протяжении восьми лет (1823—1830 годы) замысел претерпевал различного рода изменения. Эти изменения касались как сюжета (например, по одному из вариантов Онегин влюблялся в Татьяну), так и общего направления романа. Впервые в русской литературе Пушкин шел путем художника-реалиста, таким путем, когда автор не может «своевольно» решать, что делать героям, а должен сообразоваться с обстоятельствами, в которых он ставит героев и развитие которых имеет свою внутреннюю логику.

Решительное отрицание прежнего идеала, прежнего представления о счастье, которые были свойственны феодальному обществу, определяет позицию Пушкина в романе. В ходе развертывания сюжета перед читателем все яснее вырисовывались начавшийся в России раскол, противоположность нового и старого, отрицательно оценивается все, что было связано с обнаруживавшей свою реакционность системой общественных отношений.

В первой главе образ жизни Онегина приближался к господствовавшему идеалу, к норме общества того времени. Жизнь героя проходила в наслаждении, в роскоши, сопровождалась блистательным успехом в свете, благосклонностью «кокеток записных». Не «мелочная близорукость» описаний, а желание с наибольшей полнотой показать абсолютное внешнее благополучие Онегина руководило Пушкиным, когда он с такой подробностью рассказывал о времяпрепровождении Онегина, его жизни, представлявшей собою, казалось бы, сплошную цепь наслаждений.

Однако всем ходом повествования Пушкин показывает, что при всем этом Онегин — «забав и роскоши дитя», — вопреки господствовавшим понятиям о счастье, был *несчастлив*.

В XXXVI строфе первой главы Пушкин прямо ставит вопрос:

Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,*

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?

В следующей строфе ответ на этот вопрос дан с такой же категорической прямоотой: «Нет...» Онегин был несчастлив, ибо счастье заключается не во внешнем благополучии, не в роскоши, не в мимолетных наслаждениях, пусть самых изысканных, а в возможности жить так, как это соответствует высокому призванию человека.

Онегин остро ощущал пустоту общества, к которому принадлежал, скучая равно «среди модных и старинных зал». Деревня, в которую он приехал, обрисована не только как «прелестный уголок», но и как типичная феодальная усадьба, «почтенный замок»:

Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах,
Все это ныне обветшало

(Гл. II, строфа II)

«Царей портреты на стенах» — это столь же обветшало, как изразцы... Обобщение столь смелое, что Пушкин в беловом автографе исправил эту строку — «Портреты дедов на стенах», заметив в сноске: «Для цензуры».

Далее во второй главе следует сатирическая картина оскудения этого усадебного мирка, нарисованная с такой силой, что она при всем своем лаконизме предвосхищает страницы «Мертвых душ», изображающие полнейшую духовную нищету поместного дворянства. Онегин получил в наследство «замок», где до него

...деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил...

Духовный кругозор «деревенского старожилы» характеризуется тем, что в его «покое» не было «нигде ни пятнышка чернил», а единственным чтивом его были тетрадь расхода и календарь 1808 года, то есть одиннадцатилетней давности (действие первой главы относится к 1819 году).

С едким сарказмом изображена в романе жизнь русского среднего и высшего дворянства. Бесцветной и пошлой предстает перед читателем жизнь провинциальных помещиков Пустьковых, Гвоздиных, Скотининых, героев

фонвизинского «Недоросля». Но с еще большей ненавистью изображен поэтом высший свет с необходимыми глупцами, клеветниками, чопорными «бальными диктаторами». Причем в рукописи восьмой главы цвет столицы характеризуется чертами еще более резкими, чем в окончательном тексте: здесь и князь М., вступивший в корыстный брак с «куклой чахлой и горбатой», и «правленья цензор», лишенный места за взятки, и «сенатор соинный» — картежник, «для власти нужный человек».

На протяжении всего романа Пушкин показал, как эта общественная среда калечила даже лучшие, одаренные натуры, стремившиеся вырваться из-под ее растлевающего влияния. Легкая ирония лирических отступлений сменяется скорбной интонацией, когда поэт говорит о жизни, в которой «свежие мечтанья» истлевают, «как листья осенью гнилой». Обличительный пафос доходит до высшего напряжения в последних строфах шестой главы (напечатанных целиком в 1828 году отдельным изданием, но значительно ослабленных Пушкиным при подготовке к печати полного издания в 1833 году), где говорится о жизни, грозящей душе окаменением.

...В мертвящем упоенье света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,

XLVII

Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопов добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердой суеты.
Среди досадной пустоты
Расчетов, душ и разговоров...

Прямолинейная оценка Онегина как отрицательного героя, развитая во многих работах и статьях о романе (в том числе даже в статье такого тонкого исследователя, как В. О. Ключевский, который заявил, что Онегин — «это не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая»), никак не согласуется с пушкинской сю-

жетной трактовкой образа³⁵. Мироощущение Онегина двойственно. Человек незаурядный, высококультурный, с острым критическим умом (не случайно упоминание о его язвительном споре, о «шутке с злостью пополам», о «злости мрачных эпиграмм»), недовольный окружающим, хорошо знающий цену «свету», он, однако, не может порвать с ним и тем более перейти на путь активного протеста.

Великое открытие Пушкина-реалиста в том и заключалось, что Онегин, внутренне чуждый окружающему его миру и презиравший его, не только не мог с ним разорвать, но в силу объективных причин — зависимости человека от среды, определяющих характер, — оказался подверженным его тлетворному влиянию. Против прямолинейного восприятия Онегина как отрицательного героя предупреждает уже авторская рекомендация его в первой главе:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум

И в дальнейшем, особенно в тех местах романа, где говорится о наиболее отрицательных поступках Онегина, Пушкин предупреждает против односторонне отрицательной оценки. Такова строфа XVIII главы четвертой, которая следует после объяснения Онегина с Тагьяной. Здесь с осуждением сказано о людях, «недоброхотство» которых «не щадило ничего» в Онегине:

Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк

Более энергично защищается Онегин в главе восьмой (строфа IX). После предположений о том, кем же вернулся Онегин после путешествия («Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой...») следует:

Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность

Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

Любопытно, что эту «защиту» героя Пушкин первоначально предполагал дать в форме самооправдания Онегина. «Альбом Онегина», оставшийся в рукописи, начинался с следующих стихов:

Меня не любят и клеветуют,
В кругу мужчин несносен я,
Девчонки предо мной трепещут,
Косятся дамы на меня
За что? За то, что разговоры
Принять мы рады за дела,
Что вздорным людям важны вздоры,
Что глупость ветрена и зла,
Что пылких душ неосторожность,
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит
Что ум, любя простор, теснит

Отказавшись от «Альбома», Пушкин переработал эти стихи для приведенной выше строфы восьмой главы.

Индивидуализм Онегина и все его отрицательные черты определены теми же общественными условиями, которым он был внутренне враждебен, которые иссушили его сердце. Ему свойствен самоанализ, сознание неправильности, даже безнравственности некоторых своих действий и поступков, которые он, однако, совершает, ибо так поступают все. Онегин, «как все», лицемерит у постели дяди, оставившего ему наследство, но сам называет это «низким коварством» (в рукописи вариант: «как глупо унижать себя», «притворством унижать себя» и т. п.). Он обвиняет себя в истории с Ленским в том, что довел его до дуэли, и понимает, что,

Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом

Но роковая власть светских обычаев и нравов заставляет принять вызов приятеля, ибо для Онегина, несмотря

на весь его скептицизм, решающим явилось все же мнение таких людей, как сплетник Зарецкий. Цитируя «Горе от ума», Пушкин по этому поводу заключает:

И вот общественное мнение!
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

И здесь, следовательно, Онегин поступил, «как все». Но были в нем черты, резко отличающие его от всех. Причина его разочарованности не только в «пресыщенности» жизнью и ее наслаждениями, но в скептицизме, вызванном трезвой оценкой «света» и всего связанного с ним. Онегин не просто жил, но «жил и *мыслил*»; он понял пустоту и ложь обмана, именуемого любовью, а на самом деле представляющего собою игру в любовь; обмана, именуемого дружбой или родством, а в действительности прикрывающего зависть, злословие или даже прямую вражду; обмана, который кажется политическим свободомыслием, но в этом кругу сводится к чистой условности.

Политическая разочарованность Онегина в романе мотивирована с крайней осторожностью, но все же мотивирована. Как человек, самостоятельно мыслящий и критически относящийся к окружающей действительности, он не мог остаться в стороне от политических проблем, волновавших передовую дворянскую молодежь. Несмотря на цензурные зашифровки, мы можем догадываться о содержании споров между Онегиным и Ленским: это были споры о религии («предрассудки вековые»), о «естественных правах» («племен минувших договоры»), о политических преобразованиях, рассматривающихся просветителями как результат прогресса культуры («плоды наук»). В рукописи названы и такие темы: «Всё в мире», «Судьба души, судьба вселенной», «цари». В черновой рукописи первой главы отражены политические интересы Онегина; он был готов

Вести ученый разговор
И даже мужественный спор
О Бейроне, о Манюэле,
О карбонарах, о Парни,
Об генерале Жомини.

Все это не вошло в окончательный текст, где сказано, что Онегин «с ученым видом знатока» умел «хранить молчанье в важном споре». Но в строфе XXXVII остался осторожный намек на бывшие политические инте-

ресы Онегина. Интересы эти не были глубокими, ибо рождались в той атмосфере самого поверхностного либерализма, которая была свойственна, например, большинству членов «Зеленой лампы», атмосфере, о которой в отрывках десятой главы сказано: «Все это были разговоры между Лафитом и Клико». Именно таков контекст и XXXVII строфы первой главы, где упоминаются неизменные спутники пирушек фрондирующей молодежи — страсбургский пирог и шампанское и говорится о том, что Онегин в свое время сыпал «острые слова». Во второй главе об Онегине в этой же связи сказано:

Людей он просто не любил
И управлять кормилом мнений
Нужды большой не находил,
Не посвящал друзей в шлионы,
Хоть думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права —
Одни условные слова.
Он понимал необходимость
И миг покоя своего
Не отдал бы не для кого.

В черновой редакции причина политической разочарованности Онегина указана более определенно:

Не думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права —
Для оди звучные слова,

то есть не думал, что эти понятия — красивые слова и не больше.

Хотя Онегин

...уважал в других решимость,
Гонимой славы красоту,
Талант и сердца правоту,

но борцом-гражданином он не стал. Помешал скептицизм. Причины его общественного скептицизма сложны. Онегин, наученный опытом, знал, что даже самые высокие вольнолюбивые идеалы в светской среде часто оказываются попросту пустой фразой («одни условные слова»). Другая причина онегинского скептицизма — неверие в возможность существенных перемен в данных условиях: «Он понимал *необходимость*». И рядом с этим — безразличие, пассивность, которой заразила Онегина окружающая среда, желание «покоя».

Все эти обстоятельства и придали онегинскому скеп-

тицизму форму той «хандры», того «равнодушия к жизни», которое Пушкин, по его признанию, думал показать еще в образе Кавказского пленника. Недаром о равнодушии упоминается и в эпиграфе к «Евгению Онегину». «Равнодушие» привело к полному опустошению всего внутреннего мира Онегина — лишний человек в обществе, «чужой для всех». В отсутствии какой-либо «цели» или «труда», делающего жизнь осмысленной, — причина внутренней опустошенности, тоски Онегина, с таким блеском раскрытой в его полных беспредельного отчаяния размышлениях о своей судьбе в отрывках из «Путешествия»:

Зачем я пулей в грудь не ранен?

Я молод, жизнь во мне крепка;

Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Социальная глубина образа и его художественная сила несомненно выиграли оттого, что характер Онегина у Пушкина противоречив, что даже в его охлажденном сердце еще тлеют какие-то мечты, что ему не чужды проблески чувства, хотя им и не суждено разгореться в пламя.

Так было, например, при первом впечатлении от письма Татьяны.

...получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинный
*Им на минуту овладел . **

Эти переживания были искренни, но мимолетны. Искренними были и слова Онегина о Татьяне:

...Нашед мой прежний идеал,
Я, верно, б вас одну избрал...

«Прежний идеал» — это идеал того времени, когда на Онегине еще не сказалось растлевающее влияние «света».

Но и теперь простота, чистая, пламенная душа, искренность, доверчивость Татьяны трогают Онегина.

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

И все же он мог откликнуться на письмо Татьяны только резонерски, опять-таки потому, что его чувства окаменели, потому, что «свет» лишил его сердца:

Мечтам и годам нет возврата,
Не обновлю души моей...

И в этом трагизм его судьбы. О трагизме судьбы героя сказано словами стихов «Альбома Онегина»:

Цветок полей, листок дубрав
В ручье кавказском каменеет:
В волненьи жизни так мертвеет .
И ветреный и нежный нрав.

Характер Онегина в романе вовсе не статичен, а дан в развитии. Прежде всего очевидно, что Онегин не всегда был таким, каким он является в первой главе, томясь «душевной пустотой». О другом Онегине, с душой поэтической и непосредственной, повествует строфа XLVII этой главы, посвященная воспоминаниям Онегина и его собеседника:

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы.
Вспомня прежних лет романы,
Вспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

Контраст между мечтами «начала жизни молодой» и уже «охлажденным» Онегиным подчеркнут здесь с достаточной резкостью.

Но с развитием сюжета романа мы узнаем, что характер Онегина и в дальнейшем не остался неизменным.

Его апатия и хандра были прерваны неожиданным трагическим событием:

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест...

Оставив свое селенье, где ему каждый день являлась окровавленная тень Ленского, Онегин

...начал странствия без цели,
Доступный чувству одному...

Как известно, сначала путешествие Онегина должно было быть описано в седьмой главе, непосредственно после появления Татьяны в усадьбе Онегина и его кабинете. Онегину была посвящена и следующая глава, восьмая. В девятой он возвращается в Петербург, где происходила его встреча и объяснение с Татьяной. В дальнейшем (судя по дошедшим до нас отрывкам из десятой главы и воспоминаниям современников) Онегин попадал, по-видимому, в круг декабристов и, вероятно, погибал. Совершенно очевидно, что при таком развитии замысла цензура не пропустила бы роман, и поэтому Пушкин писал 28 ноября 1830 года в предполагавшемся предисловии к двум последним главам (включая «Путешествие»): «Вот еще две гл<авы> «Евгения Онегина» — последние по крайней <мере> для печати». В 1831 году Пушкин вообще отказался от включения в текст путешествия Онегина, соответственно изменив окончание романа, но счел нужным приобщить отдельные отрывки из путешествия (большая часть их составляла лирические отступления) к изданию последней, восьмой, главы, а затем и полного издания романа. При этом мотивировка отказа от публикации главы, посвященной путешествию, была загадочной для читателей: «Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России... Автор... решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики». Введение «Путешествия» в роман безусловно расширило бы представление об облике Онегина, так как окончательный итог оценки героя был бы результатом не только впечатлений от новой встречи с Татьяной, но и его поведения во время странствий по России.

О характере путешествия можно судить по черновикам. Онегин едет; он, деливший свое время между кабинетом, театром и балами, увидит, наконец,

Святую Русь: ее поля,
Селенья, грады и моря.

Он ближе знакомится со своей страной, и это не могло не оказать на него влияния. Онегин увидел «Новгород-великий», некогда мятежные площади, пред ним возникают картины исторического прошлого —

...тени древних Вел<иканов>
...Законодатель Ярослав
С четою грозной Иоан<нов,>
И вокруг поникнувших царей
Кипит народ минувших дней.

В той же черновой рукописи упоминается, что Онегин видит «мятежный Волхов». Среди теней «прошлых поколений» отмечен образ вольнолюбивого Вадима. Далее Онегин мчится «по гордым волжским берегам»:

[Струится] Волга — бурлаки
Опершись на багры стальные
Унылым голосом поют
Про [тот] разбойничий приют
Про те разъезды удалые
Как Стенька Разин в старину
Кровавил волжс<кую> волну...

В качестве одного из мотивов, характеризующих мироощущение героя, и здесь звучит знакомый мотив: «Тоска, тоска...» Но среди причин, вызывающих эту тоску, проявляется нечто новое: Онегина волнует противоречие между героическим прошлым России и пошлой прозой современности³⁶. Строфы о поездке Онегина в Новгород подверглись в рукописи следующей переработке:

Он видит Новгород великой,
Смирились площади — средь них
Мятежный колокол утих,
Не бродят тени великанов...

В другом месте это противоречие между прошлым и настоящим подчеркнуто с еще большей резкостью. Онегин стремится в Нижний, в «отчизну Минина». Но что же находит он в городе, прославленном именем народного героя?

Сюда жемчуг привез Индеец,
Поддельны вины Европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик — спелых дочерей,
А дочки — прошлогодни моды,
Всяк суетится, лжет за двух
И всюду меркантильный дух.

Следующее за тем восклицание «Тоска!» приобретает особую остроту, звучит как противопоставление воспоминаний о героических днях истории, в которые погру-

жается Онегин, — «меркантильному духу» современности. Именно во время путешествия по России впервые был нарушен равнодушный скептицизм Онегина. Приехав на Кавказ, как отмечается в рукописи, ощутив близость войны, увидев величественные пейзажи гор,

Онегин тронут в первый <раз>.

Не менее характерно, что только в рукописи «Путешествия Онегина» возникают слова о том, что он

Быть чем-то хотел,

слова дважды исправленные далее: «переродиться захотел», «преобразиться захотел». Из желания «переродиться» и возник его замысел поездки по России. Отсюда же, как мы полагаем, и та возможная декабристская линия развития Онегина, которую Пушкин (как свидетельствует его современник М. Юзефович) думал развить в десятой главе³⁷. Этот вариант развития образа Онегина, связанный с путешествием, дошел до нас в черновых отрывках и набросках. Однако и в окончательном тексте восьмой, заключительной, главы все же показано, что, вернувшись из путешествия, Онегин не остался тем же, кем был. Прежде всего несравненно резче, чем раньше, ощущается его полное одиночество и чуждость светскому обществу; попав на светский раут, он

...в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный...

Но и окружающее общество относится к нему теперь, как к чужому: «Для всех он кажется чужим». Изменения в отношении со «светом» явные — достаточно сопоставить впечатления «света» от Онегина в первой главе:

...Свет решил,
Что он умен и очень мил.

Теперь же итог его отношений со «светом» выражен в форме совершенно определенного социального отрицания:

Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.
(Гл. VIII, строфа XI)

Сравнение с Чацким («попал, как Чацкий, с корабля на бал») основано не только на общности внешней сюжетной ситуации — возвращения из путешествия. Онегин, подобно Чацкому, чужд в этой среде, хотя и не поднялся до уровня политического сознания героя грибоедовской комедии. Вспомним, кстати, что и в первой главе соседи Онегина говорят о нем как о белой вороне и осуждают его почти теми же словами, какими осуждается московским светом Чацкий: «сумасброд», «фармазон», «опаснейший чужак».

Изменения в характере Онегина нашли отражения и в его отношении к Татьяне. Искренность и сила любви Онегина — нечто совершенно новое, совершенно неожиданное для него, человека, который еще в ранней юности овладел наукой «страсти нежной» и давно разочаровался в любви, человека, о котором известно, что «рано чувства в нем остыли». Самое яркое свидетельство изменений в характере Онегина — это изменения, которые делают его ближе к духовному облику Татьяны. Это, как мы уже упоминали, его более острое, чем раньше, ощущение себя чужим «свету» («чужой для всех») и особенно новые мечты, грезы, новая поэзия. Он «читает без разбора» книги иностранных и русских писателей, но думает о другом:

Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. *В них-то он*
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказания,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой *.

Так начала открываться Онегину новая для него духовная сфера. Здесь уже возникают точки соприкосновения с романтическим миром, в который была погружена Татьяна и которому, казалось бы, так противоречит весь облик Онегина.

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Эти проблески пробуждения души Онегина воспринимаются как возможность его преображения через любовь к Татьяне. Тема возрождения человека через любовь неоднократно воплощалась в лирике Пушкина. Вершинное выражение она получила в стихотворении «К А. П. Керн» («Я помню чудное мгновенье») с ее широкой трактовкой любви как пробуждения души:

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Но для Онегина любовь не может быть таким возрождением, так как слишком отравлен он всей прошлой жизнью, и поэтому новые движения, пробудившиеся в его душе; «холодной и ленивой», не привели к коренному изменению характера.

Однако Пушкин все время говорит об искренности, влюбленности Онегина, свежести его чувства. Сила его любви подчеркнута с помощью психологических деталей. Он, изощренный в светских манерах, в непринужденном тоне, он, избалованный успехом у женщин, с Татьяной теряется: он входит с трепетом в ее салон, угрюм, неловок, «едва-едва ей отвечает». О силе чувства особенно говорят строки письма Онегина, которые принадлежат к самым проникновенным и страстным любовным признаниям в русской лирике:

Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

«Мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петлю на шею», — сказал Маяковский, цитируя эти строки ³⁸.

Но как думал Пушкин завершить образ Онегина? Куда должны были привести его раздумия о жизни и любви? Сказать трудно.

Дошедшие до нас материалы о планах написания поэтом десятой (декабристской) главы слишком скупы, чтобы делать какие-то определенные предположения о

возможностях дальнейшего развития образа Онегина. Но и на этом этапе, на котором остановился Пушкин, образ Онегина имел глубокий общественно-исторический смысл. Этот смысл заключается в раскрытии многообразных последствий «душевной пустоты», «равнодушия», которое трагически сказывается не только на личной судьбе Онегина (томившегося «без цели, без трудов», в «бездействии досуга», осужденного на бессмысленное существование), но и для жизни общественной (поскольку драматизм судьбы Онегина рассматривается как результат условий жизни общества с его определенными нормами политики, морали и т. п.).

Чутьем гениального художника Пушкин уловил огромную социальную опасность «равнодушия», о котором впоследствии с горечью писал в письме к Чаадаеву 19 октября 1836 года: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние» (подлинник по-французски). Проблема общественного индифферентизма, которую Пушкин открыл «Евгением Онегиным», затем была продолжена и развита, в соответствии с изменившимися историческими условиями, виднейшими русскими реалистами вплоть до Чехова.

Многостороннее значение имеет в структуре романа образ другого современного героя — Ленского. Этот образ важен и для полного раскрытия характера основного героя — Онегина и для решения проблемы романтизма — романтизма прежде всего в жизни, а не только в литературе.

Характер Ленского — типичный для определенного круга современников; недаром в литературе велись споры о прототипе Ленского. Первоначально Пушкин намеревался придать образу Ленского более конкретные черты вольнолюбивого героя того времени. В одной из сохранившихся редакций XXXVIII строфы шестой главы как об одном из возможных вариантов судьбы Ленского говорится, что он мог бы быть «повешен, как Рылеев». Если мы попытаемся обосновать эту пушкинскую гипотезу на основании окончательного текста романа, то мы почти не найдем для этого никаких доказательств. В чер-

новиках же, отражавших движение замысла, такой вариант развития образа Ленского находит подтверждение.

Терминология, которой в окончательном тексте характеризуется образ Ленского, — это терминология «высокой» гражданской романтической эстетики: «вольнолюбивые мечты», «возвышенные чувства», «слава», «к благу чистая любовь». В рукописи политическая окраска образа Ленского усилена. Здесь читаем, что Ленскому были свойственны пылкая вера в свободу, «доблесть», что его волновали «несправедливость», «угнетенье», рождавшие «ненависть и мщенье». В черновой редакции имеется и такая характеристика Ленского: «Крикун, мятежник и поэт». Все это далеко от представления о Ленском как лишь об элегическом певце любви (тем более, что в окончательном тексте девятой строфы ряд терминов, которыми характеризуется вольнолюбивая настроенность Ленского, остался).

Первостепенный интерес представляют те места черновиков, в которых перечисляются темы стихов Ленского. После слов:

Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы, —

следовало:

Но чаще гневную сатирой
Одушевлялся стих его...

В том месте второй главы, где рассказывалось о том, как Ленский читал Онегину стихи, Пушкин первоначально предполагал ввести строфы, содержащие (в форме лирического отступления) страстное обличение авторов «нечистых» (вариант — «раболепных») стихов и апологию «вольной» поэзии:

Но добрый юноша, готовый
Высокий подвиг совершить,
Не будет в гордости суровой
Стихи нечистые твердить,
Но праведник изнеможенный.
К цепям неправдой присужденный
К своей <крзб.> в т<юрь>ме
С лампадой, дремлющей во тьме,
Не склонит в тишине пустынной

На свиток ваш очей своих
И на стене ваш вольный стих
Не начертит рукой безвинной
Немой и горестный привет
Для узника [грядущих] <лет>.

Конечно, эти стихи — лишь черновой вариант, к тому же совершенно неприемлемый по цензурным условиям. Но все же он идет в *развитие* характеристики Ленского как вольнолюбивого героя, а не противоречит ей. А далее в рукописи следовали строки, в косвенной форме также продолжающие апологию героического романтизма, прославляющие «своевольность» и «порывы» страстей в противовес «благоразумной тишине».

В образе Ленского привлекательна та свежесть романтической мечтательности, которую с ранней юности пережил и сам Пушкин. Если во второй главе «о поклоннике Канта и поэте» говорится в тонах мягкой иронии, то в главе шестой (которую Пушкин писал в 1826 году, когда обнаружилось, что Ленские были и среди декабристов) этому герою посвящены горячие, вдохновенные строки, воссоздающие образ человека, воодушевленного благородными стремлениями, высокими чувствами, жаждой знаний и труда, человека, рожденного, быть может, для «блага мира». Однако в романе показано, что свойственное Ленскому восприятие действительности детски наивно. Он не видел противоречий жизни, верил в «совершенство мира», в свершение своих надежд. Ленский плохо знал людей. Об этом говорится в VII строфе второй главы:

Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего.

И далее:

Он верил, что друзья готовы
За честь его принять оковы
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника...

В этом смысле Ленский — полная противоположность Онегину, скептически оценивающему и дружбу и друзей, для которых «добро, законы, любовь к отечеству, права» лишь «для оды звучные слова» (черновик второй главы). Следовательно, не преуменьшая привлекательности образа Ленского, Пушкин вместе с тем подчеркивает его

ограниченность, односторонность, свойственный ему романтико-идеалистический взгляд на мир. В этом отношении аналитический подход Онегина к действительности является его сильной стороной. Скептицизм Онегина был мощным противовесом против односторонности. Ленского же его односторонняя романтическая экзальтированность могла привести к духовной катастрофе, более ужасной, чем та, которая постигла Онегина. Ведь путь самоотвержения «для блага мира» был для Ленского не единственным. Могло случиться и другое, то, что трудно представить, размышляя о судьбе Онегина. Может быть, «поэта обыкновенный ждал удел», и, с годами утратив «пыл души», он

Расстался б с музами, женился,
...Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел...

Метод внутреннего раскрытия характера позволил Пушкину впервые в русской литературе показать возможность перерождения романтика-идеалиста Ленского в рядового обывателя. Казалось, что может быть общего между восторженным, отрешенным от всего низменного романтиком и портретом человека, нарисованного Пушкиным в приведенных строках? Но в жизни такого рода перерождения не редкость; только люди, сочетающие пламенную веру в непобедимость высоких идеалов с трезвым аналитическим подходом к окружающей действительности, выдерживают суровые испытания, тяжесть разочарований и поражений.

Критическая сторона реализма «Евгения Онегина» неразрывно связана с его «утверждающим» содержанием. Идеал, освещающий весь замысел романа, нашел свое выражение в образе Татьяны.

При анализе этого образа часто применялись слишком общие, слишком отвлеченные критерии оценки положительного героя без учета конкретных исторических условий. В Татьяне хотели видеть героиню, непосредственно включенную в общественную жизнь, захваченную острыми социальными проблемами.

Между тем применять подобные критерии к оценке образа Татьяны нельзя потому, что в пушкинское время женщина не могла проявить себя на общественном поприще, так как была почти изолирована от общественный

жизни. Об этом писал еще Белинский, анализируя образ Татьяны. Говоря об исторических условиях, из-за которых русская женщина в то время в общественной жизни не играла почти никакой роли, Белинский заметил: «Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви; ничто другое не говорило в ее душе»³⁹. Но, соглашаясь в этом с Белинским, необходимо подчеркнуть и другое: хотя характер Татьяны проявляется преимущественно в сфере любви, Пушкин сумел поднять этот образ до уровня типического обобщения русского национального характера. Гениальность Пушкина как реалиста и выразилась в том, что он, рисуя Татьяну в ограниченной сфере жизни женщины 10-х—20-х годов XIX века, раскрыл в ней те типические черты, которые действительно определяют ее как положительную героиню, как воплощение идеала в широком смысле этого понятия: столь близкую народу цельность натуры, благородную простоту, высокие моральные устои, естественность и красоту духовных стремлений. Эти черты обусловили стойкость характера Татьяны, они уберегли ее от растлевающего влияния света, помогли сохранить отвращение ко всякой фальши, обману, лицемерию, к тому миру, который она назвала «ветошью маскарада». В данных общественных условиях характер Татьяны не мог проявиться до конца, и поэтому его историческое значение заключается не столько во внешних признаках, сколько в его внутренних особенностях и потенциях.

В характере Татьяны потенциально были те черты, которые проявились потом в гражданской самоотверженности жен декабристов, разделивших участь своих мужей.

Татьяна, хотя и изображена вне сферы общественной жизни, но принадлежит всем своим обликом новой России. То, что она чужда своей среде, крепостному быту, интересам провинциального, а затем «высшего света», отмечается в романе как важнейший элемент духовной биографии героини, причем эта чуждость более глубокая, чем внутренняя отчужденность Онегина от той же среды, отчужденность, вызывающая сочувствие Татьяны («говорят, вы нелюдим»). Внутренне ничто не связывало Татьяну даже с интересами, которыми жила ее семья, рядовая мелкопоместная дворянская семья. Не следует воспринимать слова о семье Лариных — «простая русская семья» — как положительную оценку. Эта

оценка явно ироническая и дана устами Онегина. Ирония звучит и в той строфе романа, где дается авторская характеристика семейства Лариных. В числе отличительных особенностей ее перечисляются:

У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели.

...В день Троицын, когда народ
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам.

(Гл. II, строфа XXXV)

Видеть в этом сущность национально-русского быта, конечно, не приходится, в нем нет поэзии, которая так дорога Татьяне. Вполне оправдана, следовательно, обобщающая характеристика ее самочувствия в доме:

Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.

Причина отчужденности Татьяны особенно ясно раскрывается в беглых, но точных характеристиках ее отца и матери. Отец — осколок минувшего века, человек, «в прошедшем веке запоздалый». О нем иронически говорится:

...в книгах не видал вреда,
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой...

Мать Татьяны обрисована как типичная провинциальная крепостница. Разумеется, в романе нет даже намека на какую бы то ни было близость Татьяны и матери. Слова Татьяны: «Я здесь одна...» — в совокупности с краткой, но выразительной характеристикой матери исключает всякое предположение об их близости.

Не могло быть духовного родства у Татьяны и с сестрой, будущей уланшей, бесцветность которой подчеркнута в романе дважды: краткой характеристикой, которую дал ей Онегин («В чертах у Ольги жизни нет»), и

портретом, в котором намеренно отрицается всякая индивидуальность, подчеркивается стандартность:

...любой роман
Возьмите, и найдете, верно,
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.

Мотив одиночества Татьяны в окружающей среде по мере развития ее характера звучит все с большей и большей силой.

Как совершенно чуждое Татьяне обрисовано провинциальное дворянство, исчерпывающая оценка которого дана в строфах XXV—XXIX и XXXII—XXXIX пятой главы. Общая картина приезда гостей своей гротескной общенностью как бы повторяет страшный сон Татьяны: «лай мосек» сливается в какой-то дикой какофонии с чмоканьем девиц, с шумом и хохотом, с давкой, с шарканьем гостей. На фоне всей их дикости и пошлости особенно остро воспринимаются мучительные ощущения Татьяны, сидящей за столом

...утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,

вынужденной благодарить поздравителей и выслушивать куплеты мосье Трике (в рукописи реакция Татьяны на эти куплеты передана словами: «Запел куплет. Татьяна в муке краснеет». «Запел. Без памяти Татьяна... с досады и стыда». В окончательном же тексте осталось только: «Она певцу присесть принуждена»).

Если в обрисовке провинциальной среды Пушкин колеблется между иронией и сатирой (слишком уж мелки и смешны выведенные здесь персонажи), то грибоедовская Москва, в которую попадает Татьяна, дана в ее восприятии уже в тонах прямого обличения:

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Все в них так бледно, равнодушно;
Они клеветуют даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;

Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!

(Гл. VII, строфа XLVIII)

Интересно, что общая картина московского бала своей звуковой какофонией напоминает картину приезда гостей на именинах Татьяны.

Шум, хохот, беготня, поклоны...

В итоге реакция Татьяны на окружающее общество приобретает небывалую ранее резкость: она *«волнение света ненавидит»*.

Отвращение к низменной пошлости и пустоте «света» у Татьяны и Онегина общее. Но у Онегина нет жизненных устоев, которые он мог бы противопоставить «свету»: он *всюду* скучает, его *всюду* ничто не интересует, не занимает, не волнует. Иное мироощущение Татьяны: у нее есть определенные устои, она сравнивает окружающую суету с другой жизнью:

Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам.
В уединенный уголок...

(Гл. VII, строфа LIII)

Это не результат первых впечатлений робкой провинциальной девушки, оглушенной шумом московского света. И впоследствии, когда Татьяна предстанет перед читателем как «законодательница зал», она по-прежнему будет противопоставлять «блеск и шум, и чад» света, «по-стылой жизни мишуру» — деревенской жизни, связанной для нее с иными, поэтическими, чистыми и светлыми впечатлениями. Вот почему Татьяна по мере своего духовного развития не стала, подобно Онегину, ни скептиком, ни пессимистом. Постигая глубже жизнь, она сохранила в себе те черты, которые подразумевал Пушкин, называя ее «мечтательницей милой».

Татьяна с самого начала предстает в романе вся охваченная ожиданием чего-то светлого, того, что должно решительно изменить всю ее жизнь, что совершенно противоположно тому, что она видела вокруг, что враждебно пошлым, низменным интересам, серой, бесцветной обыден-

щине, мелкомыслию и пустоте Гвоздиных и Пустяковых. Татьяна — «мечтательница», это натура романтическая. Но ее романтизм, хотя иногда и ищет выражения в книжных образах («Воображаясь героиней своих излюбленных творцов»), имеет корни в самой жизни, а не в отвлеченных умствованиях идеалистической философии, как это было у Ленского. Романтические черты характера Татьяны многократно отмечены Пушкиным, но, словно желая подчеркнуть отличие между романтизмом «идеальных дев» и мечтательностью Татьяны, Пушкин говорит не только о ее «воображении», но и об ее «уме»:

...от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным ..

(Гл. III, строфа XXIV)

Народная фантастика и реальность своеобразно сочетаются в мечтах Татьяны.

Атмосфера, которую впитала в себя Татьяна еще в детстве, — это атмосфера русского быта, народной поэзии («Старинных былей, небылиц, про злых духов и про девиц»).

Корни мироощущения Татьяны — в ее близости к народной почве. Близость ее к народу проявилась, конечно, не только в том, что она, подобно крепостным крестьянкам, суеверна, верила приметам, гадала и т. д. Эта точка зрения очень примитивна. Гаданье Татьяны, ее вера в приметы нужны были в романе для того, чтобы подчеркнуть, что в такой форме у нее, как и у народа, проявлялась жажда счастья, желание и ожидание чего-то хорошего, какой-то большой перемены в жизни и стремление, пусть наивное, как-то приподнять завесу будущего и узнать, что готовит судьба. Ведь в поверьях, сказках и особенно в песнях народа, в грустном колорите которых отразились горе и отчаянье, вызванные столетиями угнетения, все же никогда не угасала вера в будущее, внутренняя сила духа, не укротимого никакими испытаниями. Ощущение этой светлой стороны устной поэзии народа отразилось и в «Евгении Онегине», например в том, что крепостные девушки поют во время работ шуточную песню, полную

светлого, жизнерадостного чувства («Девицы, красавицы...»). Кстати, не лишено интереса, что в рукописи Пушкиным сначала была вставлена в это место песня совсем другого характера:

Вышла Дуня на дорогу,
Помолившись богу —
Дуня плачет, завывает,
Друга провожает.
Друг поехал на чужбину,
Дальнюю сторонку,
Ох, уж эта мне чужбина,
Горькая кручина!..
На чужбине молодицы,
Красные девицы,
Осталась я молодая
Горькою вдовицей.
Вспомяни меня младую,
Аль я приревную,
Вспомяни меня заочно,
Хоть и не нарочно.

Замена одной песни другой разительная. И здесь, в этой детали, казалось столь чуждое всякой односторонности художественное чутье Пушкина.

Большое значение для раскрытия характера Татьяны имеет образ Филипьевны, возникающий в романе дважды, — в третьей главе, где говорится о влюбленности Татьяны, и, что еще важнее, в финальной восьмой главе, где Татьяна вспоминает жизнь в деревне, противопоставляя ее «постылой», светской жизни.

В четырех строфах третьей главы воссоздан необыкновенно лирический, теплый образ крепостной крестьянки, образ трагический и вместе с тем исполненный народной житейской мудрости. Существенно для характеристики Татьяны ее отношение к Филипьевне как к равной.

Но вместе с тем не следует, подобно славянофилам, снижать образ Татьяны до уровня Филипьевны. Пределы их взаимопонимания обнаружились в пору самой напряженной духовной жизни Татьяны, в пору ее влюбленности в Онегина. Татьяна, доверив няне свое новое чувство, не может найти с ней общего языка, няня ее не понимает:

«Я не больна:
Я... знаешь, няня... влюблена».
— Дитя мое, господь с тобою! —



И дальше:

«Я влюблена», — шептала снова
Старушке с горестью она.
— Сердечный друг, ты нездорова.
«Оставь меня: я влюблена».

Это непонимание — следствие горестной судьбы крепостной крестьянки, которая, рассказывая о своем прошлом, признавалась:

...В эти лета
Мы не слыхали про любовь:
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь.

В черновой рукописи Пушкин сопровождал эту строфу примечанием: «Кто-то спрашивал у старухи: по страсти ли, бабушка, вышла ты замуж?» — «По страсти, родимый, отвечала она. Приказчик и староста обещали меня до полусмерти прибить». — В старину свадьбы, как суды, были пристрастны». Примечание не было включено в беловой текст, хотя трагикомический ответ старухи хорошо иллюстрирует представления крепостной крестьянки о замужестве «по страсти».

И все же *только ей* и никому другому могла Татьяна доверить тайну своей любви. Это теплое отношение ощущается с тем большей силой, что няне, выросшей в помещичьей усадьбе, все же свойственны черты психологии подневольного человека, черты, отражающиеся в ее речи.

— Ах! няня, *сделай одолжение*. —
«Изволь, родная, *прикажи*».
— Не думай... право... подозренье...
Но видишь... ах! *не откажи*. —
«Мой друг, вот бог тебе порука».

Татьяне Филипповна «родная», «друг». Няня же, извиняясь за свою недогадливость, говорит:

«Сердечный друг, уж я стара,
Стара; тупеет разум, Таня;
А то, бывало, я востра,
Бывало, слово барской воли...» *

Свойственная Пушкину реалистическая трезвость описаний не позволила уничтожить различия, которые сказывались даже в столь близких, родственных отноше-

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

ниях между Татьяной и Филипьевной. Так, на слова няни о ее тупеющем от старости разуме Татьяна нетерпеливо отвечает:

«Ах, няня, няня! до того ли?
Что нужды мне в твоём уме?
Ты видишь, дело о письме
К Онегину». — «Ну, дело, дело.
Не гневайся, душа моя...»

Такие оттенки отношений между Татьяной и Филипьевной не принято замечать, вероятно из опасений тем самым как-то снизить образ Татьяны (хотя они свидетельствуют лишь о том, что даже самый положительный герой является сыном своего времени и не властен из него вырваться). Но Пушкин, будучи верным действительности во всем, не забывал мимоходом отметить как это, так и то, что у Татьяны «изнеженные пальцы», что она свое письмо «писала по-французски» и искала соответствий своим мечтам в романах Ричардсона, Руссо и m-m де Сталь.

Роль Филипьевны в формировании характера Татьяны как характера национального («русская душой») особенно ясно определяется при сопоставлении биографии Татьяны и Онегина, за которым в детстве и ранней юности ходили «madam» и «monsieur l'Abbé». В рукописи второй главы содержится полемическое противопоставление двух систем воспитания. О детстве Татьяны, которую вырастила крепостная крестьянка (в рукописи она именуется то Фадеевной, то Филатьевной и, наконец, Филипьевной) говорилось:

Ни дура английкой породы,
Ни своенравная мамзель,
В России по уставу моды
Необходимые досель,
Не портили Татьяны милой.
Фадеевна рукою хилой
Ее качала колыбель —
Потом стлала ее постель,
Она за ней одна ходила,
Бову рассказывала ей...

Любопытно, что в черновой рукописи седьмой главы полные патриотического чувства строфы о Москве предвзялись наброском воспоминаний о том, как Татьяна «еще ребенком» слушала рассказы няни о Москве.

Однако нельзя отождествлять мироощущение Татьяны и ее няни, как это делали славянофилы. Такие попытки

неверны потому, что Татьяна — тип новой русской женщины, соединяющей в себе лучшие черты народа с высоким интеллектуальным развитием. Духовное богатство Татьяны, ее чисто народная непосредственность, естественность и благородная простота проявляются всюду, в том числе и в ее поведении в «большом свете»:

Перед хозяйкой легкий вздор
Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педантства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.

(Гл. VIII, строфа XXIII)

Рукописный текст этой строфы содержит интересный вариант, характеризующий «слог Татьяны»:

Хозяйкой светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ее ушей
Живою странностью своей.

Национальные основы воспитания Татьяны сказались в ее языке. Как отмечено в книге В. В. Виноградова «Язык Пушкина», «Пушкин изображает Татьяну, будущую светскую даму, по языку более народной, исконно-русской, чем Онегина»⁴⁰. Яркие элементы «простонародного» языка в речи Татьяны свидетельствуют, что и здесь сказалось влияние няни-крестьянки, «рассказы» которой так сильно запечатлелись в сознании героини романа.

Черты народности в характере Татьяны передаются в романе не только системой прямых описаний и оценок, но и сложными композиционными приемами. Этой цели подчинены лирические отступления, создающие особую лирическую атмосферу, пейзажные зарисовки, вводные мотивы. Все это способствует восприятию образа Татьяны на фоне широкого круга жизненных явлений и народных представлений о прекрасном. Такой принцип воплощения образа и воссоздания эстетического идеала явился совершенно новым в литературе и определил структуру произведений классического реализма на всем дальнейшем протяжении развития этого направления.

Эстетическое значение этого принципа с наибольшей отчетливостью проявляется в пятой главе — той главе, где непосредственно изображена связь духовного мира

Татьяны с бытом, фольклором, поверьями народа. К развертыванию этой темы как бы подготавливают начальные строфы главы, где дана яркая живописная картина русской зимы во всей конкретности образов и бытовых деталей: заснеженные двор, куртины, кровли и забор, легкие узоры на стеклах, веселые сороки, крестьянин, обновляющий путь на дровнях, ящик на облучке, дворовый мальчик с Жучкой... Теплая, лирическая окраска и простота всей этой картины подчеркнута таким обыденным и вместе с тем поэтическим образом-деталью:

...лошадка, снег почуя,
Плетется рысью, как-нибудь...

В черновике первая строка читалась: «И тощий конь, его почуя...», но этот вариант был откинут как явно выпадавший по своей эмоциональной окраске из общей тональности строфы, хотя *мысль* поэта и в последней редакции осталась та же.

Необычность в то время таких описаний, противоречащих с точки зрения господствовавших вкусов понятиям «высокого», «прекрасного», «изящного», в эстетике классицизма, отчетливо осознавалось Пушкиным. Именно поэтому он намеренно ввел сюда же полемические строки, направленные против ревнителей старой эстетики:

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это *низкая природа*;
Изящного не много тут... *

Далее Пушкин полемически противопоставляет свои картины «низкой природы» изображению зимы в стихотворении Вяземского «Первый снег» (1819). В черновой рукописи это противопоставление выражено с большей прямоотой:

Все это низкая природа —
Изящного не много тут
И, м<ожет> б<ыть>, иного рода
Картины в поле вас влекут.
Согретый вдохновенья богом
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам п<ервый> снег
[И роск<ошь>] зимних нег,
Он вас пленит (я в том уверен),
Рисуя в счастливых стихах
Прогулки тайные в саях.

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

В стихах Вяземского нет ничего, что выходило бы за пределы любования зимой как «праздником», который ласкает глаз и приносит удовольствия. Такое восприятие зимы подчеркнуто и финалом стихотворения:

О пламенный восторг! В душе блеснула радость,
Как искры яркие на снежном хрустале.
Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладости! ⁴¹

«Роскошный» слог стихов Вяземского с их карамзинистской стилистической сглаженностью, подчеркнутой красотой образов (например, конь — «красивый выходец кипящих табунов») и отсутствием каких-либо локальных примет деревенской зимы принципиально противостоит «простонародному» слогу и «низким» образам пушкинских стихов. Картина природы и быта русской деревни нужна была Пушкину именно как фон, на котором разворачивается образ Татьяны ⁴². Притом эта картина, которую *увидела* в окно Татьяна, окрашена ее восприятием. Защита «низкой природы» в третьей строфе — это вместе с тем и защита того ракурса, в котором Татьяна видит жизнь. Отсюда естественность перехода в следующей строфе к характеристике героини:

Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С ее холодною красотою
Любила русскую зиму... и т. д.

О том, насколько последовательно проводится в романе принцип изображения Татьяны на фоне национального быта, свидетельствует даже характер отдельных поэтических сравнений. Например, о том, как Татьяна влюбилась, сказано:

Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено.

(Гл. III, строфа VII)

Или о волнении Татьяны перед первым свиданием с Онегиным:

Так бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном,
Так зайчик в ози́ми трепещет,
Увидя вдруг изда́лека
В кусты припа́дшего стрелка.

(Гл. III, строфа XL).

Критики, неоднократно упрекавшие Пушкина за «низкие картины», не могли в силу своих идейных и эстетических позиций понять, что эти картины нужны были не сами по себе, не для расцвечивания произведений «пестрым сором» фламандской школы. В зависимости от движения сюжета они служили в одних случаях задаче положительной эстетической оценки изображаемого, в других — оценке отрицательной. Так, например, в «Графе Нулине» картина «заднего двора» (которой возмущался Н. И. Надеждин в «Вестнике Европы»⁴³) была подчинена характеристике пустоты и ничтожества облика героини — Натальи Павловны, которая ничем не занималась, так как

. не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала.

Наталья Павловна изображена у окна, где она «внимательно» читала старинный нравоучительный сентиментальный роман («Любовь Элизы и Армана, иль Переписка двух семей»),

Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.

С другой стороны, совсем иную эстетическую функцию, чем в начале пятой главы «Евгения Онегина», несут бытовые детали в седьмой главе. Татьяна приехала в Москву:

Садится Таня у окна.
Редет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.

Здесь «низкая природа» воспринимается как чужая, эмоционально-нейтральная, поскольку она не включена в близкий и родной Татьяне мир.

Этот принцип использования «низкой природы» последовательно проявляется почти всюду, где возникает образ Татьяны. Так, даже имя ее связано с воспоминаньем «старины иль девичьей». Дальнейшие строки («вкусу очень мало у нас и в наших именах») перекликаются с

ироническим упоминанием повадок матери Татьяны, которая звала Полиною — Прасковью и Селиною — Акульку. А в примечании к имени Татьяны Пушкин писал с явным укором по адресу тех, кому досталось от «просвещения» только «жеманство» (то есть манерность): «Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федра, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами». Введение национально-русских имен в поэзию было моментом принципиальным с точки зрения эстетической и вызывало острое внимание противников демократизации литературы. Характерен, например, следующий факт. В 1830 году в журнале «Северный Меркурий», известном своей консервативной позицией, появилась заметка Бестужева-Рюмина, в которой он оправдывался в том, что в его элегии вместо «Моей *Зениры* незабвенной» было по ошибке напечатано «Моей *Дуняши* незабвенной». «...Романтическая поэзия, — уверял Бестужев-Рюмин, — требует собственных имен гораздо затейливее» ⁴⁴.

Образы «низкой природы», лирического вечернего пейзажа, деревенского быта, дворовых людей, сельских ребятишек сопровождают и появление Татьяны в седьмой главе, предшествующей ее размышлениям в «барском кабинете» Онегина. И здесь структурная функция этих образов та же, что в главе пятой. Облик Татьяны предстает особенно ярко на этом фоне в своей задушевности и естественной простоте. Ее вопрос, обращенный к Анисье: «Увидеть барский дом нельзя ли?» — по своей простоте контрастирует со всей обстановкой кабинета Онегина, где «странен» казался даже выбор книг,

В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой...

(Гл. VII, строфа XXII)

Функция лирических отступлений в романе всегда зависит от идейно-эстетических заданий, связанных с тем или иным образом или сюжетным мотивом. Выше приведены примеры, когда лирические отступления и авторские ремарки непосредственно характеризуют облик Татьяны. В других случаях они служат

контрастному противопоставлению Татьяны — среде, противоположной ее мироощущению и облику. Такова, например, композиционная функция лирического отступления в строфах XXII—XXIII и XXV третьей главы о бессердечно-равнодушных светских красавицах, владеющих искусством привлекать «робкую любовь». Эти строфы, расположенные между сценой, изображающей Татьяну за письмом Онегину, и текстом самого письма, дополнительно освещают ярким светом характер Татьяны, которая «в милой простоте» «не ведает обмана», доверчива, обладает пламенным и нежным сердцем и следует в своих поступках лишь «влечению чувства». (В данном случае мы еще раз можем убедиться в полной слитности «критической» и «положительной», «утверждающей» струи романа.)

Используя, таким образом, весь комплекс художественных средств, Пушкин раскрывает самые существенные черты характера Татьяны. В ее облике сочетаются сила «ума» — аналитического взгляда на жизнь и «мятежного воображения».

Изменение характера Татьяны лучше всего обнаруживается при сопоставлении двух важнейших в движении сюжета эпизодов — реакции Татьяны на нравоучительный монолог Онегина (глава четвертая) и ее встречи с Онегиным в Москве (глава восьмая).

Встретив впервые Онегина, Татьяна безраздельно и, по ее признанию, «безрассудно» отдалась своему чувству. Появление Онегина она с чисто романтической экзальтацией встретила как predeterminedное свыше, как свершение своей мечты, своего ожидания:

То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил...

Эта романтическая вера в predeterminedность судьбы — черта характерная и для мироощущения Ленского. С приведенными выше словами Татьяны можно сопоставить и то, что говорится о Ленском во второй главе:

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна;
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она...

(Строфа VIII)

Несомненна близость романтических устремлений Татьяны и Ленского, который «чудеса подозревал» и которому были свойственны

Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.

(Строфа IX)

Но различия между устремлениями Ленского и Татьяны не только в народных корнях ее романтизма. Как уже упоминалось выше, мечтательность Ленского была чужда глубокому аналитическому взгляду на жизнь, свойственному Татьяне. Этот взгляд укреплялся по мере развития ее характера. Только велению сердца следовала Татьяна, когда писала свое письмо. В этом письме не было ничего искусственного (Пушкин сначала предполагал, что письмо должно было быть послано как анонимное, но затем исключил этот вариант. «Анонимность», конечно, не вязалась с искренностью и прямою содержанием письма). Но уже в нем рядом с романтически экзальтированными признаниями Онегину есть размышления, свидетельствующие об истинной силе пробудившегося ума:

*Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искунитель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...*

И дальше:

*Я жду тебя: единым взором
Надежды сердца оживи,
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором **

Татьяна, следовательно, с самого начала, хотя и была вся захвачена силой любовного чувства, но все-таки не оказалась ослепленной настолько, чтобы не предвидеть, что Онегин, возможно, и не тот, кем он ей

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

представлялся, что он может быть или «коварным искусителем», или человеком, который на ее доверчивые признания ответит укором. И ее опасения подтвердились. Правда, Онегин не стал «искусителем», хотя эта возможность промелькнула в его голове:

Быть может чувствий пыл старичный
Им на минуту овладел,
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.

Но другое опасенье Татьяны свершилось. Именно «тяжелым укором» прозвучали слова Онегина:

Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет.

Выслушав ответ Онегина и оказавшись затем с ним за одним столом, она еле сдерживала слезы, еле владела собой,

...уж готова
Бедняжка в обморок упасть...

Первоначально в рукописи был даже описан ее обморок.

Совсем иной предстает она, встретив Онегина на рауте. «Как изменилася Татьяна!» Ведь она *продолжает* любить Онегина, но, впервые увидев его после долгой разлуки,

Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

ХІХ

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.

Уже в этой первой реакции Татьяны на появление Онегина, в ее самообладании сказывается, конечно, не опытность светской дамы, которая прежде всего заботится о том, чтобы не выйти из своей роли и ничем не

выдать себя, а результат долгих размышлений и какого-то определенного, выработанного ею взгляда на свою судьбу. Вся исполненная драматизма жизнь Татьяны за время, которое прошло после ее отъезда в Москву, осталась за пределами романа (на это указывал Катенин, сетуя по поводу пропуска главы, в которой должно было быть объяснено развитие характера героини после ее приезда в Москву). Но совершенно очевидно, что решение, которое она приняла, получив письмо Онегина, было глубоко выстраданным и внутренне подготовленным⁴⁵.

Белинский, критикуя это решение («...я другому отдана; Я буду век ему верна») и почти иронизируя над ним, в данном случае был неправ. Конечно, если рассматривать решение Татьяны как единственно верное для *всех* случаев жизни, то оно действительно выглядит чуть ли не «безнравственным», обрекающим женщину на отказ от настоящей любви только потому, что она «другому отдана» («Именно *отдана*, а не *отдалась*!» — иронически подчеркивает Белинский). Но Пушкин вообще никогда не предлагал единственно возможных решений, годных при любых обстоятельствах. Решение же, которое приняла Татьяна, было единственно возможным именно в данной, конкретной ситуации. И принято оно было вовсе не потому, что для Татьяны, как полагал Белинский, мнение «света всегда будет ее идолом и страх его суда всегда будет ее добродетелью»⁴⁶. Прежде всего, хотя Татьяна и продолжала любить Онегина, теперь в ее глазах он уже не тот человек, о котором она мечтала и которому писала свое смятенное письмо.

...я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.

Онегин тогда объяснил причины *своего* отказа от ее любви, но остался совершенно равнодушным к ее внутреннему миру, к ее признаниям, к ее мольбам, выраженным с такой болью. А затем Татьяна испытала глубокое потрясение, видя непонятное поведение Онегина на ее именинах. И, наконец, поединок, на котором Онегин убил своего друга, и горестные размышления о нем в его кабинете, когда Татьяна мучилась вопросом: кто же он?

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

XXV

Ужель загадку разрешила?
Ужели *слово* найдено?

(Гл. VII)

В итоге этих размышлений она стала яснее понимать любимого человека, но все же не разрешила загадку: сложный, противоречивый облик Онегина не мог быть с полной ясностью определен ею. К тому же сила ее любви была такова, что ее не могли ослабить ни сомнения, ни все, что она пережила. А в письме Онегина она нашла лишь объяснение в его запоздалой любви, но по-прежнему ничего, что касалось бы *ее* личности, *ее* внутреннего мира. Достаточно сравнить оба письма — Татьяны и Онегина, чтобы увидеть в первом духовное богатство, исповедь юной души, а во втором только лишь объяснение в любви, пусть искреннее и пылкое, но лишенное всякого внимания к индивидуальности той, к которой оно написано. Все это объясняет, почему Татьяна, не отрицая в Онегине ни «гордости» (в смысле сознания собственного достоинства), ни «прямой чести», видит в его чувстве лишь обидную для нее страсть, с которой он не может справиться:

...что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

Поэтому решение Татьяны было для нее и актом сознания и выражением мужественного, сильного характера, высокой моральной чистоты, не признающей компромисса ни в чем.

Отрицательная оценка Белинским этого решения Татьяны, имеющая свое историческое оправдание, была впоследствии упрощена: в литературе Татьяна осуждалась за то, что она предпочла остаться верной «мужу-

старику». Например, Г. Успенский именовал его даже «старым хрычом»⁴⁷. Такое представление о муже Татьяны имеет, быть может, своим источником оперу Чайковского на сюжет «Евгения Онегина», но никак не сам роман. Слова Татьяны «муж в сраженьях изувечен», как уже отмечалось в пушкиноведении, вовсе не указывает на его старость, «сраженья» могли происходить во время Отечественной войны. Он является почти ровесником Онегину и в юности близким ему человеком, что подтверждается строками:

.. Князь подходит
К своей жене и ей подводит
*Родню и друга своего... **

И далее о муже:

С Онегиным он вспоминает,
Проказы, шутки прежних лет.

Все эти детали существенны для верного понимания и сложившейся ситуации, и последнего монолога Татьяны, и ее моральной победы над Онегиным.

В восьмой главе завершается трагическая история судьбы героев. Но, несмотря на этот трагизм, роман является жизнеутверждающим, проникнутым романтикой возвышенных стремлений, верой в возможность иного, лучшего будущего. Голос автора, отчетливо звучащий в «Евгении Онегине», придает этому произведению особую эмоциональную приподнятость. Своим романом Пушкин обращался к новой передовой России, к тем читателям, которые искали в его «строфах небрежных» (то есть безыскусственных) «воспоминаний мятежных», «живых картин», искали «для мечты, для сердца», к тем, кто хорошо понимал скорбный смысл последних строк, где вспоминались погибшие или заключенные в тюрьмах вольнолюбивые друзья:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.

Для читателя «Евгений Онегин» — роман без конца: дальнейшая судьба героев остается неизвестной. Эта

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

незавершенность исторически оправдана: решения поставленных в романе проблем не могло быть дано, так как их еще не подсказала сама жизнь. Но широкое, правдивое изображение действительности, глубокое раскрытие ее противоречий, верная постановка острейших вопросов современности — все это будило сознание целых поколений читателей, направляло мысль к поискам путей освобождения от всякого рабства — морального и политического.

Эстетические принципы, выработанные Пушкиным в годы создания главного труда его жизни, основополагающего произведения новой школы русского искусства — романа «Евгений Онегин», являются определяющими для всего его творчества второй половины 20-х—30-х годов. Эти принципы сложились в целостную художественную систему тогда, когда Пушкин обратился к современности, в ходе раскрытия типических особенностей современных героев, всестороннего воспроизведения их поступков, мыслей, чувств как обусловленных противоречиями текущей жизни. «...Только гениальный писатель или уж очень сильный талант угадывает тип *современно* и подает его *своевременно*», — заметил однажды Ф. М. Достоевский⁴⁸. Правда, и в работе над историческими темами Пушкина интересовали проблемы, не утратившие значения для его времени. Как уже говорилось выше, в обращении Пушкина к далекому прошлому проявилось его стремление понять закономерности исторического развития, «угадать» его ход. Но несомненно все же, что поворот в творчестве Пушкина к реализму и кристаллизация нового эстетического идеала обозначены началом работы над «Евгением Онегиным» (1823). Ведь трагедия «Борис Годунов», имевшая столь большое значение для развития принципов реалистической типизации, писалась одновременно с четвертой главой «Евгения Онегина». Споры романтиков с Пушкиным, их творческие расхождения с ним как реалистом начались после появления в печати первой главы романа.

Эстетический идеал, воплощающий тенденции развития жизни, рождает не безвольные мечтания, а стремления к борьбе. Прекрасное — не отвлеченная эстетическая категория, а выражение всего самого лучшего, самого дорогого для человека, ради чего стоило жить даже в годы николаевской реакции, что воодушевляло

на жертвы, заставляло верить «избранной мечте» и добиваться ее осуществления, — такое представление о прекрасном могло возникнуть только при глубоком аналитическом подходе к жизни, озаренном вместе с тем верой в силу ее светлых начал, верой в будущее. Вот почему критическое изображение жизни и одновременно воплощение ее положительных тенденций, действительность и идеал стали в пушкинском творчестве двумя сторонами единого целого. Эволюция образа современного героя от кавказского пленника к Евгению Онегину отражает одновременно и эволюцию художественного метода воспроизведения жизни и развитие эстетического идеала. Новые тенденции в мировоззрении Пушкина, вызванные изменениями в самой действительности, привели его к пересмотру своих творческих позиций. Итак, изменения в мировоззрении связаны с изменениями в художественной системе. Особенности этой системы с наибольшей полнотой проявлялись в «Евгении Онегине». Четкая идейная авторская позиция и эстетическая оценка изображаемого получили выражение не только в прямых декларациях и лирических отступлениях, но и во всей образной ткани произведения вплоть до мельчайших художественных деталей. Ясная оценка изображаемого способствовала рельефности типизации характеров и обстоятельств, в которых эти характеры развиваются, ибо без оценки не может быть *отбора* явлений — необходимого условия и предпосылки типизации.

Идеал, составляющий, по словам Пушкина, цель искусства, воплощался в его творчестве на основе нового соотношения идеи и образа, мысли и чувства, «воображения» и точного воспроизведения быта. Основные идеи произведения выражались, в соответствии с новой системой, не путем простого разъяснения авторского замысла, не путем «любовных» решений, а многообразными средствами, всем комплексом художественных приемов. Непривычность такого метода воплощения идейного содержания вызвала в современной Пушкину критике упреки в «бессодержательности», отсутствии идей и т. д., причем упреки эти раздавались из разных лагерей. Вскоре после выхода полного издания «Евгения Онегина», «Сын отечества», говоря о Пушкине, поучал:

«Хвалители... его... полагая все достоинство поэзии в гармонии языка и в живости картин, отвлекли

Пушкина от поэзии идей и чувствований... Наши эстетики и поэты (разумеется, не все) никак не поняли, что гармония языка и живопись суть второстепенные, вспомогательные средства новой поэзии идей и чувствований и что в наше время писатель без мыслей, без великих философических и нравственных истин, без сильных ощущений — есть просто гударь»⁴⁹.

Критик «Московского телеграфа» в статье, посвященной «Евгению Онегину», оценивал роман более снисходительно, но повторил тот же упрек в «безмыслии», обнаруживая полную неспособность понять структуру произведения в ее целостности. Об «Евгении Онегине» «хотели рассуждать как о произведении полном, а поэт и не думал о полноте. Он хотел только иметь рамку, в которую можно было бы вставлять ему свои суждения, свои картины, свои сердечные эпиграммы и дружеские мадригалы... Какая неизмеримая коллекция портретов, картин, рисунков и очерков... Но в подробностях все достоинство этого прихотливого создания. Спрашиваем: какая общая мысль остается в душе после *Онегина*? Никакой... при создании *Онегина* поэт не имел никакой мысли». В таком же духе высказывались и другие журналы, занимавшие по отношению к Пушкину открыто враждебную позицию. Но неспособность понять художественный метод Пушкина, сущность переворота, который он совершил в эстетических представлениях своего времени, и те же упреки в отсутствии или недостаточности идей обнаруживаются и в оценках «Евгения Онегина» даже литераторами, в той или иной степени близкими Пушкину по своим позициям в литературном движении. Так, Веневитинов в статье об «Евгении Онегине», напечатанной в 1825 году и содержащей интересные, верные замечания, утверждал, однако, что в романе нет большой, глубокой мысли и что он имеет «нечто целое, полное в одном только отношении, то есть как картина петербургской жизни». Ряд других литераторов не видел в романе не только глубокого содержания, но и поэтичности. Н. Языков писал в письме А. М. Языкову 24 мая 1825 года:

«Я читал недавно вторую главу «Онегина». в рукописи — не лучше первой: то же отсутствие вдохновения, та же рифмованная проза, которую так простосердечно восхищаются наши ценители и судьи:

Вот уважать кого должны мы на безлюдьи».

В. Титов, прочитав в 1828 году уничтожающий отзыв о «Евгении Онегине» в «Атенее», сообщал Погодину: «Пушкин бесится на «Атеней»... А мне смешно: несмотря на глупость разбора (Аксакова или [нет] Дмитриева?), много есть поделом, и я бы душевно желал, чтобы его побольше пощелкали за Онегина»⁵⁰.

Подобные отзывы отражают неприятие и непонимание самой сути художественной системы Пушкина, которая, исключая всякий дидактизм и прямолинейно-упрощенное изложение авторской идеи, безраздельно захватывает читателя именно глубокой идейной насыщенностью. Внутренняя покоряющая читателя сила пушкинского творчества основана (как уже упоминалось в первой главе этого раздела книги) на новом отношении писателя и читателя, на активном «соучастии» читателя и деятельной работе его воображения. Эта особенность пушкинского творчества была отмечена в одной из статей, помещенных в 1830 году в «Литературной газете», где говорилось: «Власть его (Пушкина. — Б. М.) над нами столь сильна, что он не только вводит нас в круг изображаемых им предметов, но изгоняет из души нашей холодное любопытство, с которым являемся мы на зрелища посторонние, и велит *участвовать в действии самом, как будто бы оно касалось до нас собственно*». Такой результат восприятия литературного произведения является, конечно, лучшим свидетельством силы воздействия поэтической идеи⁵¹.

Разработанная Пушкиным художественная система способствовала неизмеримому расширению самого предмета искусства, содержанием которого стала вся действительность, все стороны и проявления жизни без исключения. Этой системой разрушались всякого рода ограничения предмета искусства, аристократические предубеждения против «низкого», «обыкновенного», в выборе героев и объектов изображения. Принято считать, что утверждение Пушкиным «низкой природы» как равноправной с «возвышенным» ведет свое начало от отдельных бытовых зарисовок в «Графе Нулине». На самом же деле не эти зарисовки, а включение «обыкновенного» в строй «возвышенных» образов и, далее, новое понимание «обыкновенного» как поэтического было завоеванием «Евгения Онегина». Именно в этом романе впервые в

русской литературе найден тот угол зрения на жизнь, который характерен для народных представлений о прекрасном, о нравственности, о добре и зле, который совершенно чужд всякой аристократической исключительности и романтической условности, далекой от жизненно-практического подхода к окружающему. В романе нет развернутого изображения народа, но уже сам принцип введения во всю художественную ткань повествования зарисовок народной жизни и быта знаменовал собой подлинный переворот в понимании сущности эстетического. Эти зарисовки явились результатом нового понимания отношения искусства к действительности. Мы видим наряду с картинами петербургского и московского «света» кучеров, которые «бранят господ и бьют в ладони», пахаря, отдыхающего у одинокой могилы Ленского, жниц, погружающих в ручей свои звонкие кувшины, слышим песни деревенских девушек, удалых невских гребцов, пастуха, поющего за плетением своей бедной обуви... Эти образы и мотивы входят в роман как эстетически равноправные со всеми другими. Дело не в том, что в романе нашлось место для беглого упоминания о кучерах, часами ожидающих господ в морозную ночь, а в том, что эта зарисовка включена в строфы с описанием театрального Петербурга, что при этом не происходит столкновения или разнobia двух планов — «высокого» и «низкого». Дело не в том, что в романе дважды упоминается бедный пастух: его образ, песня, которую он поет, придают особый лирический колорит строфам, где говорится о безвременно погибшем, забытом всеми Ленском. Такова же эстетическая функция многих образных сравнений, основанных на единстве эмоций лирического героя и народа, как, например, в XVIII строфе второй главы:

...Смиранные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит.
*Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей **

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

Такова же природа отождествления романтических воспоминаний лирического героя с сновидениями колодника:

Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

В одной из заметок 1827 года («Есть различная смелость») Пушкин высмеял Жака Делиля, который гордится тем, что он употребил слово *vasche* *, добавив при этом: «Жалка участь поэтов (какого б достоинства они, впрочем, ни были), если они принуждены славиться подобными победами над предрассудками вкуса!» Для Пушкина подобные «прозаизмы» стали органическими элементами системы, а не исключениями, демонстрирующими показную «смелость» нарушения требований «изящного вкуса». Именно как элемент новой системы отвергалась консервативной критикой «простонародность» в «Евгении Онегине». Для Б. Федорова, автора напечатанного в «С.-Петербургском зрителе» разбора четвертой и пятой глав «Евгения Онегина», неприемлемым было пушкинское описание деревенского быта:

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит — и путник осторожный
Несется в гору *во весь дух*;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке, распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней **.

Картина наступившей осени создается наложением поэтических деталей, выраженных «языком простолюдина». В примечаниях к «Евгению Онегину» Пушкин, подразумевая разбор Б. Федорова, а также статью М. Дмитриева в «Атенее», иронически писал: «В журналах удивлялись, как можно было назвать *девою* простую

* Корова (франц.).

** Подчеркнуто мною. — Б. М.

крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы *девчонками*»⁵².

Так кристаллизовалось новое понимание эстетического, при котором народные представления о жизни, естественно, выражались во взгляде художника на окружающий мир.

В 30-е годы, как и в предыдущий период, выдвижение новых эстетических проблем сопровождалось в деятельности Пушкина их теоретическим обоснованием. Как бы итогом размышлений Пушкина о новых путях искусства явилась его статья, которая печатается под условным названием «О народной драме и драме Погодина «Марфа Посадница» (1830). Статья эта по своей проблематике и содержанию значительно шире заглавия. О широте замысла можно судить на основании плана, согласно которому должно было подвергнуться критике «ошибочное понятие о *поэзии вообще* и драматическом искусстве в особенности». Статья несомненно является самым высшим достижением пушкинской теоретической мысли⁵³.

Разрабатывая план статьи, Пушкин предполагал поставить в ней два основных вопроса: 1) «Что нравится народу, что поражает его? Какой язык ему понятен?» 2) Почему драма «оставила язык общепонятный и приняла наречие модное, избранное, утонченное?» Общий ответ на первый вопрос дан Пушкиным в следующей краткой формулировке того же плана: «Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная». Отвечая на второй вопрос, Пушкин показывает, каким образом искусство оторвалось от народа и от его языка. «Драма родилась на площади, — пишет Пушкин, — и составляла увеселение народное». Дальше ход мыслей Пушкина таков. После того как драма оставила площадь, поэты переселились ко двору. Поэт уже не мог предаваться «вольному и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боялся унижить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей — отсея робкая чопорность, смешная надутость... привычка смотреть на людей высшего состояния с каким-то подобострастием». Вот почему и в каких условиях «драма оставила язык общепонятный и приняла наречие модное, избранное, утонченное». Далее Пушкин ставит вопрос: как придворную

трагедию низвести опять на площадь, «у кого выучиться наречию, понятному народу?» — и в ответ на это говорит: «...для того, чтоб она (драма. — Б. М.) могла расставить свои подмостки, надобно было бы переменить и ниспровергнуть обычаи, нравы и понятия целых столетий».

В статье Пушкин развил свои мысли о сущности искусства и его роли, о правдивости изображения жизни, впервые высказанные в письмах и заметках, в частности в связи с работой над «Борисом Годуновым». Теоретическая часть статьи направлена против устаревших критериев «изящного». «Подражанию изящной природе» Пушкин противопоставлял свои требования «истинного романтизма», то есть реализма: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя». Далее в той же статье Пушкин дополняет это требование: «глубокое, добросовестное исследование истины и живость воображения». Эти мысли Пушкина предвосхищают определение Белинским сущности «реальной поэзии», из которого явствует, что жизнь рядовых людей — важнейший объект искусства.

Статья эта не была закончена, несмотря на то, что Пушкин в письме к Погодину обещал разобрать его драму для журнала «как можно пространнее». Едва ли цензура пропустила бы статью, представляющую собой как бы обличительную речь писателя против существовавших социальных порядков, при которых развитию подлинно народного искусства ставились «непреодолимые преграды». Изучение работы Пушкина над статьей и ее отдельными формулировками показывает, насколько мучительным был для Пушкина процесс сглаживания наиболее острых мест и приведение всей статьи в годный для подцензурной печати вид. Так, в статье Пушкин одобряет Шекспира за то, что он не идеализирует своих героев: «...если короли выражаются в трагедиях Шекспира как конюхи, то нам это не странно...» Слово «король» Пушкин заменяет на «герой». В другом месте он осуждает привычку писателей «смотреть на царей и героев» «с каким-то лакейским подобострастием». Однако, учитывая, что эту острую формулировку цензура, конечно, не пропустит, слова «на царей и героев» выбрасываются и над ними надписывается «на людей высшего состояния». Наконец

некоторые места совершенно вычеркиваются. Например, перечисляя препятствия, мешающие развитию русской народной трагедии, Пушкин замечал: «Как ей (русской трагедии. — Б. М.)... перенять это равнодушие к высшим званиям». Эти слова были вычеркнуты.

Эволюция Пушкина на протяжении его творческого пути — это эволюция от сочувствия народу, выраженного еще в лицейской поэзии, ко все более и более полному отражению народных интересов. Эта эволюция не нашла своего завершения — она была оборвана гибелью поэта в самом расцвете его гения, но несомненно, что именно такова ее основная тенденция.

После «Евгения Онегина» в пушкинском творчестве начинаются поиски героя из новых социальных слоев. Проблема современного героя из светской среды уже теряет для Пушкина свою остроту. Замыслы конца 20— начала 30-х годов из жизни света остались лишь в планах и набросках. Ни один из них не был доведен до конца («*L'homme du monde*» «Гости съезжались на дачу», «Роман в письмах», «На углу маленькой площади» и др.). И это в то время, как в русской литературе эти темы приобретают все большее значение (повести Бестужева-Марлинского, Одоевского, Павлова). Высказанные в литературоведении предположения, что Пушкина останавливали цензурные условия, неосновательны; другие темы 30-х годов, отраженные в его творчестве, были не менее, если не более, «опасны».

В 30-е годы Пушкин обращается к изображению героев из среды деклассированного дворянства, мещанства и, наконец, к изображению крестьян. Этот поворот Пушкин осознает как продолжение борьбы против салонно-аристократического искусства, за дальнейшее развитие народности литературы. Одновременно с окончанием работы над «Евгением Онегиным» Пушкин пишет поэму «Домик в Коломне» (1830). Поэта увлекает здесь возможность с помощью шуточного сюжета провозгласить новые эстетические принципы, выступить в защиту нового «предмета» художественного творчества. Новой в русской поэзии была глубоко интимная, теплая, лирическая интонация, с которой ведется рассказ о бедной старушке — обитательнице лачужки у Покрова, «за самой будкой» (то есть на самой границе города), о стряпухе Фекле, о неприятном, но имеющем свою поэзию быте в этом домике, где кроткая, добрая девушка Параша пела

Все, что у печки в зимний вечерок,
Иль скучной осенью при самоваре,
Или весною, обходя лесок,
Поет уныло русская девица,
Как музы наши, грустная певица.

Снова, как в «Евгении Онегине» и с еще более подчеркнутой демонстративностью, простая девушка именуется «девой». Но самое существенное в поэме — позиция рассказчика (которую, конечно, не следует отождествлять с позицией Пушкина): быт мещанской семьи изображается глазами не стороннего человека, а представителя той же среды. Эта позиция сказалась не только в положительных эмоционально-эстетических оценках, сопутствующих описанию старушки, Параши, их жизни, но и в той плебейской ненависти, с которой рассказчик говорит о новом трехэтажном доме, возникшем на месте коломенской лачужки:

Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы обхватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя...

Принципиальное значение «Домика в Коломне» становится особенно очевидным, если вспомнить, что как раз в это время нападки реакционной критики на Пушкина за его нежелание воспевать «возвышенные предметы» достигли наибольшей резкости. В отзыве «Северной пчелы» на седьмую главу «Евгения Онегина» говорилось (отзыв Булгарина, март 1830 года): «Совершенное падение, chute complète! Итак, надежды наши исчезли! Мы думали, что автор «Руслана и Людмилы» устремился на Кавказ, чтоб напиться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и *в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев*. Мы думали, что великие события на востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, — и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей словесности появился опять Онегин, бледный, слабый... Сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину!»⁵⁴

В первоначальном наброске вступления к «Домику в Коломне» имеется отклик на этот отзыв:

Пока сердито требуют журналы,
Чтоб я воспел победы россиян
И написал скорее мадригалы
На бой или на бегство персиян...

В отзыве Булгарина издевательски поносились картины быта, нарисованные в седьмой главе «Онегина». В частности, по поводу описания отъезда Лариных из деревни говорилось: «Мы никогда не думали, чтоб сии предметы могли составлять прелесть поэзии и чтоб картина горшков и кастрюль *et cetera* была так приманчива». Тогда же критик «Северного Меркурия», подразумевая поэму «Граф Нулин» и седьмую главу «Евгения Онегина», писал: «...в чем состоит истинное достоинство поэзии?... в приличном выборе предмета, достойного поэзии... Если же дарование поэта признается истинным только в изображении слишком возвышенных предметов, как, например, что баба в пестрой паневе шла через барский двор белье повесить на забор, а между тем две утки полоскались в луже и козел дрался с дворовою собакой, или если истинные красоты поэзии состоят в мастерском исчислении поваренной утвари и разных домашних пожитков, как, например: стульев, сундуков, тюфяков, перин, клеток с петухами, кастрюль, горшков, тазов *et cetera*, — то... *chacun a son goût, Messieurs*» *. Нет необходимости доказывать, что атрибуты «низкого быта» не интересовали Пушкина сами по себе, а были существенны в общем ходе повествования. Но догматическую критику эти вопросы не волновали: ее тревожило, как мы уже говорили выше, вторжение поэзии в повседневную жизнь, расширение сферы художественного творчества, пересмотр установившихся понятий «возвышенного» и «низкого». Пушкин принял вызов критики и ответил на него «Домиком в Коломне» ⁵⁵.

Следует сказать, что в литературоведении встречается точка зрения, согласно которой Пушкин в 30-е годы постепенно «снижал» своих героев. Едва ли это соответствует сути процесса. Вернее сказать, что Пушкин «снижал» понятия и образы аристократической

* У всякого свой вкус, господа (*франц.*).

эстетики и литературы. Еще во второй половине 20-х годов он высмеивал так называемый «язык богов» (ходовое в то время наименование поэтического языка) и только в ироническом плане употреблял слова «низкая природа». Кстати сказать, высмеивая в «Домике в Коломне» поэзию высокого стиля, Пушкин сатирически трактует образы Парнаса, муз, Феба, утверждая, что они принадлежат безнадежно устаревшей символике:

...Пегас
Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец
Иссох. Порос крапивою Парнас;
В отставке Феб живет, а хороводец
Старушек муз уж не прельщает нас.

Образ музы, сохраняя свою поэтичность, приближается к повседневному быту:

Усядся, муза, ручки в рукава,
Под лавку ножки! не вертись, резвушка!

Этот образ музы не вступает в противоречие с «прозаической» темой поэмы, поэтому естествен переход к повествованию:

Теперь начнем. Жила-была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка...

В первоначальном наброске вступления направленность поэмы против враждебной Пушкину эстетики подчеркнута еще сильнее, чем в окончательном тексте. В нем говорится об изнеженном поэте, о «парнасском костоправе», о пудрендой пиитике, о нападках в журналах на пушкинскую музу как наглую, безнравственную, мишурную. Интересно, что в поэме утверждается мысль о единстве фольклора и поэзии профессиональной:

Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начав за здравие, за упокой
Сведем как раз. Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев
Но нравится их жалобный напев.

Защите новой сферы поэтического творчества уделяется большое внимание и в неоконченной поэме «Езерский», работа над которой относится к началу 30-х годов. В нее включены полемические строфы, обосновывающие выбор героя, который

...жалованьем жил
И регистратором служил.

Пушкин вкладывает в уста своего будущего критика насмешливые слова:

«Куда завидного героя
Избрали вы! Кто ваш герой?»

Поэт отстаивает свое право на избрание в качестве героя именно Ивана Езерского:

А что? Коллежский регистратор.
Какой вы строгий литератор!
Его пою — зачем же нет?
Он мой приятель и сосед.

Оправдывая выбор героя иронической ссылкой на Державина, воспевшего «двух своих соседов» (имеются в виду стихотворения Державина «К первому соседу» и «Ко второму соседу») и «Смерть Мещерского» (стихотворение «К С. В. Перфильеву на смерть князя А. И. Мещерского»), Пушкин тем самым защищает право на существование так называемых «обыкновенных предметов» в поэзии. С этой же целью далее дано ироническое изложение позиций официальной критики и эстетики:

Заметят мне, что есть же разность
Между Державиным и мной, .
Что красота и безобразность
Разделены чертой одной,
Что князь Мещерский был сенатор,
А не коллежский регистратор,
Что лучше, ежели поэт
Возьмет возвышенный предмет,
Что нет, к тому же, перевода .
Прямым героям; что они
Совсем не чудо в наши дни...

Обосновывая выбор коллежского регистратора в качестве героя, Пушкин полемизирует не только с крити-

кой, но и с приверженцами романтической эстетики, требовавшей исключительных героев:

.. Я в том стою — имел я право
Избрать соседа моего
В герои повести смиренной,
Хоть человек он не военный,
Не второклассный Дон-Жуан,
Не демон, даже не цыган,
А просто гражданин столичный,
Каких встречаем всюду тьму.
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братья не отличный,
Довольно смиренный и простой...

3

Обращение к теме современного героя из социальных низов представляло собою в творчестве Пушкина сложный процесс, который не нашел своего завершения и носил характер поисков. Введение в литературу так называемых «ничтожных героев», то есть образов людей, не принадлежавших к дворянству, находившихся на последних ступенях общественной лестницы, было крупной вехой на пути демократизации литературы. Образами Самсона Вырина или Евгения из «Медного всадника» Пушкин откликнулся на только еще возникавшую тогда общественную потребность — показать роль и значение разночинного люда и городской бедноты. Этот большой социальный слой представлялся в то время даже передовым людям России только страдающим, достойным сочувствия элементом. Мироощущение и психология «маленького человека» в произведениях Пушкина отражена лишь отдельными чертами. Должно было пройти еще много времени, пока жизнь социальных низов и отдельных ее представителей будет раскрыта в русской литературе с той полнотой, всесторонностью, аналитической ясностью и психологической глубиной, как это было сделано Пушкиным при изображении Онегина. Но вместе с тем поистине изумительной является та реалистическая трезвость, с которой Пушкин рисовал «маленького человека», его бедственное положение, его слабости. В этой связи следует решительно отвергнуть идущий от Аполлона Григорьева и Достоевского взгляд, что образ «маленького

человека» в пушкинском творчестве — это «смиранный герой», возведенный в идеал.

Эту точку зрения Ап. Григорьев и Достоевский основывали на «Повестях Белкина» (1830). Эволюцию Пушкина «почвенник» Григорьев рассматривал как переход от «западных идеалов» к «бесхитроственному», «простому», «смирному» взгляду на жизнь Ивана Петровича Белкина. Образ Белкина, по мнению Ап. Григорьева, для Пушкина «почти любимый тип». Дальнейшее развитие русской литературы зависело от того, насколько она сумела развить «тип и взгляд Белкина». В своей апологии Белкина как якобы воплощения русского национального характера Ап. Григорьев доходил до отождествления самого Пушкина с Белкиным. Эта концепция была развита Достоевским, который заявил, что Пушкин «Белкина в своей душе заключал» и что все лучшее, истинно прекрасное, идущее от народа в русской литературе, начинается «с смиренного, простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным». Подобный взгляд был лишен какого-либо основания. Собственно говоря, единственным материалом для суждений о Белкине является «биографическое известие» о нем, включенное в предисловие от издателя «Повестей»⁵⁶.

Автор «известия», сосед Белкина по поместьям, иронически аттестованный в предисловии как представитель «благородного образа мнений», оценивает своего приятеля с позиций помещика-крепостника: «мягкосердечие» и «кротость» Белкина выражается, с его точки зрения, в том, что он «ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем», заменил барщину весьма умеренным оброком и остался совершенно равнодушным к попыткам приятеля восстановить прежний порядок. Далее автор «биографического известия» признается, что хотя Белкин был сердечно к нему привязан, у них было мало общего: «ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частью друг с другом не сходились». Эти характеристики, правда, говорят в пользу Белкина, но никаких подтверждений тому, что Белкин — «почти любимый тип» Пушкина, носитель его идеала, мы в тексте не найдем. Перед читателем возникает образ хотя «кроткого и честного», вызывающего даже жалость и известное сочувствие, но крайне ограниченного человека. Его равнодушные к увещаниям приятеля завести в усадьбе «строгий

порядок», его «мягкосердие» — черты положительные, но отсюда далеко до характеристики Белкина как положительного героя, носителя идеалов самого Пушкина. Конечно, не для «возвышения» Белкина в «биографическое известие» о нем введены комические элементы; так, например, сообщение о том, что Иван Петрович к женскому полу имел «великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая», что он был обязан образованием и охотой к сочинительству деревенскому дьячку и страдал недостатком воображения. В предисловии отмечено, что повести, как следует из «рукописи г. Белкина», «слышаны им от разных особ». Следовательно, образ рассказчика в каждой из повестей не должен отождествляться с образом Белкина. В примечании сказано: «*Смотритель* рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., *Выстрел* подполковником И. Л. П., *Гробовщик* приказчиком Б. В., *Метель* и *Барышня* девицею К. И. Т.».

Черты ограниченности и даже комичности облика Белкина усилены в «Истории села Горюхина» (1830), написанной Пушкиным в Болдине. Белкин предстает здесь как двадцатилетний помещик, совершивший по его собственному выпендренному признанию, «трудный подвиг» составления истории своей вотчины. О себе Белкин сообщает, что «первоначальное образование» он получил от деревенского дьячка, что, кроме азбуки и новейшего письмовника «величайшего человека» Курганова, никаких книг у него в детстве не было и что он три месяца (до начала войны 1812 года) пробыл в пансионе, откуда вынес «точное познание» игры в лапту. Немного дало ему и пребывание в пехотном полку; оно оставило «мало приятных впечатлений, кроме производства в офицеры и выигрыша 245 рублей». Говоря о себе, Белкин признается, что он «нрава от природы тихого», что является косвенным подтверждением «биографического известия», предпосланного «Повестям Белкина». Глубоко комично в «Истории села Горюхина» все, что характеризует Белкина как сочинителя. Из всех его литературных потуг ничего не выходило: замыслив произведение о Рюрике в эпическом роде, он бросил поэму на третьем стихе; затем пробовал превратить трагедию, которая также «не пошла», в балладу, но и баллада не давалась. «Наконец вдохновение

озарило меня, — признается Белкин, — я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика». Не менее комичен и рассказ Белкина о дальнейших его попытках стать писателем, завершившихся замыслом истории села Горюхина, которую он решил писать потому, что история всемирная ведь уже написана аббатом Милотом, история отечественная тоже изучена, история губернского города требует розысков материала, история же своего села может быть восстановлена по найденным на чердаке старинным календарям. И хотя по дошедшим до нас планам и главам «Истории села Горюхина» можно с несомненностью судить об их резкой антикрепостнической направленности (что достигалось преимущественно фактической стороной «Истории», воспроизводящей прошлое села), образ самого Белкина отнюдь не является воплощением представлений Пушкина о положительном герое, иначе он не был бы, разумеется, дан с такой иронией, переходящей в сатиру.

Итак, следует признать несостоятельной идущую от Ап. Григорьева и Достоевского трактовку образа Белкина и его будто бы определяющего значения в идейно-творческом развитии Пушкина. Смысл идеализации образа Белкина Ап. Григорьевым как пушкинского двойника совершенно ясен: ему надо было доказать, что «великий протестант умалился до лица Ивана Петровича», то есть что сам Пушкин в 30-е годы смирился.

На самом же деле наибольшим приближением к пушкинскому идеалу человека является в «Повестях Белкина» именно образ протестанта, образ Сильвио, который, по мнению Ап. Григорьева, отталкивал Пушкина-Белкина «своей мрачной сосредоточенностью в одном деле, в одной мстительной мысли»⁵⁷. Сильвио — один из созданных Пушкиным сильных характеров. Образ этого человека, одержимого идеей мщения за оскорбленную честь, ярко выделяется на тусклом фоне бесцельной жизни армейских офицеров, прозябавших в маленьком местечке и не видевших ничего, «кроме своих мундиров». Сильвио является здесь подлинным носителем благородства. Сильвио — отнюдь не демонический, озлобленный характер; при своем «крутом» нраве и «резком злоречии» он умел разговаривать «с простодушием и необыкновенной приятностью», «ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех

офицеров нашего полка». Сильвио не жесток по своей натуре: он не использовал своего права на выстрел («Я не привык стрелять в безоружного»). Он проявляет подлинное благородство, предложив «начать дуэль сызнова и снова кинуть жребий, кому стрелять первому», и снова не использовал свой выстрел, пощадив противника. Сильвио был удовлетворен, увидя смятение и робость графа, который, конечно, не должен был согласиться на новую дуэль. Существенно, что одержимость Сильвио идеей мщения раскрывается в повести на фоне противоречий между «верхами» и «низами»; оно выражено, с одной стороны, в конфликте между Сильвио и его соперником, молодым человеком «богатой и знатной фамилии», и с другой — в отношении рассказчика к аристократу, случайно оказавшемуся его «богатым соседом» («Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра» и т. д.). Характер Сильвио в основном проявляется в столкновении с графом: свойственные Сильвио неустранимость, способность подчинить всю жизнь единой цели, высокоразвитое чувство собственного достоинства в иных условиях сделали бы этого человека героем в самом высоком значении этого слова. На такое проявление характера Сильвио и намекает заключение повести, где говорится, что Сильвио предводительствовал отрядом этеристов и погиб в борьбе за освобождение Греции от турецкого владычества. Всякий, кто хоть немного был осведомлен о героическом характере греческого национально-освободительного движения, понимал, какими замечательными качествами должен был обладать предводитель отряда этеристов, убитый в сражении под Скулянами.

В итоге образ Сильвио вырисовывается как образ героический, исполненный подлинного благородства. Этот образ овеян атмосферой авторского сочувствия, романтикой подвига, бесстрашия, непримиримости. То обстоятельство, что повесть «Выстрел» следует сразу же за предисловием, где описывается «кроткий» Иван Петрович Белкин, не является случайным: бесцветная жизнь «смирненного» героя особенно выделяется на фоне повествования о Сильвио.

Своеобразие гуманистической трактовки Пушкиным темы «маленького» человека раскрывается не в образе

Белкина, а прежде всего в образе Самсона Вырина, судьба которого дана с позиций социальных низов. Изображенные в «Станционном смотрителе» явления носят характер типических обобщений. Недаром после описания станционных порядков, основанных на табели о рангах, следует полное едкой насмешки заключение: «...что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать?» Критическое восприятие николаевской действительности достигает наивысшей силы в конце повести, где образ печального кладбища, ничем не огражденного, не осененного ни единым деревцем, приобретает как бы символическое, обобщающее значение.

Повесть «Станционный смотритель» проникнута глубоким сочувствием герою и болью за его судьбу: «Суший мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда», беззащитный бедняк, должность которого «настоящая каторга», — таков Самсон Вырин. О типичности его судьбы впоследствии будет сказано словами Макара Деушкина в «Бедных людях» Достоевского: «...сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных!.. это натурально, это живет!»⁵⁸

Как типическая рассматривается в повести и судьба дочери смотрителя: «Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою».

Но заслуга Пушкина в борьбе за демократизацию и народность литературы заключалась не только в том, что он выдвинул тему «маленького человека», но и в том, что с реалистической правдивостью показывал обусловленную социальным бытием узость его интересов, слабость протеста, робость характера. Увоз дочери Минским описан как тяжчайший моральный удар для Вырина. Потрясение было настолько велико, что он сначала заболел «сильной горячкою», а затем спился. Тяжело переживая положение, в котором очутилась Дуня, отец желает собственной дочери лучше смерти, чем позорной судьбы, которая, по его мнению, ее ожидает («...поневоле согрешишь, да по-

желаешь ей могилы»). Но протест Самсона Вырина, в силу его заботности, слишком робок. Стремление его вернуть дочь настолько сильное, что он отправляется пешком в Петербург (пешком, по-видимому, из Смоленской губернии); при виде Минского «сердце старика закипело», но произнести он при этом сумел *только* нижайшую просьбу: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!» Еще более тонкая психологическая характеристика натуры Вырина дана в следующем эпизоде. Очутившись на улице после посещения квартиры Минского, станционный смотритель увидел за обшлагом своего рукава сверток смятых ассигнаций — плату за увезенную дочь. «Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел». Но в «железный век» и отцовская гордость может быть поколеблена деньгами. Самсон Вырин, «отошед несколько шагов... остановился, подумал... и воротился... Но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!» Быстро иссякает у несчастного Вырина и воля к борьбе за возвращение дочери. «Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступить. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию».

Такая трактовка образа «маленького человека» вызвала не только сочувствие к его обездоленной судьбе, но и отрицательное отношение к его слабостям. Тем самым «смирительность» отрицалась, а вовсе не утверждалась. В этом своеобразие гуманизма Пушкина, своеобразие его постановки вопроса в отличие, например, от той, которая дана в повестях М. Погодина. В трактовке образа «маленького человека» у Погодина содержится реакционная апология «смирительности». Ничего этого мы у Пушкина не найдем. «Ничтожный герой» становится поистине прекрасным тогда, когда он осознает свое человеческое достоинство и, перестав быть «смирительным», возвышается до активного протеста. Эта точка зрения поэта особенно ярко отразилась в «Медном всаднике» (1833).

О глубоком демократизме поэмы свидетельствует уже само выдвижение Евгения, коломенского бедняка, в качестве героя, интересы, права, судьба которого оказываются столь существенными при художественном

решении вопросов об историческом значении петровских преобразований, о будущем России, о взаимоотношениях государства и личности. Для поэм XVIII века о Петре, так называемых «Петриад», как и для всей допушкинской эпической поэзии, немыслимым было изображение «ничтожного героя» в качестве центральной фигуры, определяющей движение сюжета. В «Медном всаднике» Пушкин пошел на это. Впервые в русской поэзии героем поэмы стал незаметный чиновник. В черновой рукописи о нем было сказано:

Он был [чиновник] небогатый,
Безродный, круглый [сирота]
.....
Без роду, племени, связей,
[Без денег, то есть без друзей]
А прочем гражданин столичный,
Каких встречаете вы тьму...

В окончательной же редакции глухо упомянуто о былой известности рода, из которого происходил Евгений. В связи с этим во многих статьях, посвященных «Медному всаднику», развивались целые концепции об определяющем значении дворянского происхождения Евгения, о решающей роли этого биографического момента в идейном содержании поэмы. Однако в развитии сюжета этот момент никакой роли не играет: деклассированность сделала героя рядовым представителем городской бедноты, и только таким он предстает перед читателем (в отличие от неоконченной поэмы «Езерский», где тема дворянского происхождения героя действительно была сильно акцентирована). В «Медном всаднике», наоборот, подчеркнуты несущественность происхождения героя («прозванья нам его не нужно», оно «ныне светом и молвой забыто») и его полное перерождение:

Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почившей родне,
Ни о забытой старине.

Беден герой, проживающий в «пустынном уголке», бедна и живущая на окраине девушка, которую он любит.

Сложность раскрытия драматической судьбы Евгения определялась тем, что «кумир на бронзовом коне», в ко-

тором символически воплотились причины бед маленького человека, — это колоссальная личность, великий исторический деятель, «мощный властелин судьбы», волей и трудом которого выполнена государственная задача огромной важности, — обеспечен выход России к морю, прорублено «окно в Европу». «Из тьмы лесов, из топи блат» вырос город «при море» — «военная столица», мшистые, топкие берега стали «богатыми пристанями», к которым со всех концов земли стремятся «все флаги». Эстетическая оценка величия, могущества, великолепия Петербурга, созданного Петром, обладает такой силой впечатляемости, что на ее фоне лишь подобно побочному мотиву героической симфонии звучат слова о Петре как «грозном царе», поднявшем Россию на дыбы «уздой железной». Переключение повествования из одического в иной, эмоциональный план, связанный с темой Евгения, достигается тем, что образ Петербурга дан в «Медном всаднике» в двух разнородных лирических планах. В сознании Евгения Петербург не существует как «полночных стран краса и диво»; он не замечает величия гранитных берегов Невы, прелести узора чугунных оград, стройных громад дворцов и башен. Эти эстетические оценки связаны с чуждым Евгению миром представлений, с иной жизнью Петербурга. Он не связан с той жизнью Петербурга, где

И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой .
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Сознание Евгения отягощено другим кругом впечатлений — о Петербурге окраин, о ветхом домике Параши с некрашеным забором и одинокой ивой. И погибает Евгений не в прекрасном Петербурге, а на одиноком, пустынном острове, таком же пустынным и унылым, каким было место, где когда-то стоял Петр, полный великих дум.

Мечты Евгения не были великими:

О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег.

В размышлениях Евгения проскальзывает и мысль о неравенстве, о контрастах богатства и бедности:

...ведь есть —
Такие праздные счастливыцы,
Ума недалёкого, ленивыцы,
Которым жизнь куда легка!

Описание петербургского наводнения, разрушившего скромные мечты Евгения, целиком связано с лирической сферой, окружающей в поэме этого героя. Наводнение оказалось губительным не для центра города и его обитателей, а для бедноты, селившейся на окраинах. В книге В. Н. Берха о наводнении (книге, которой пользовался Пушкин) отмечено: «...бедствие на Адмиралтейской стороне не было столь ужасно, как... в местах низких, заселенных деревянными строениями. Там большая часть домов была повреждена, иные смыты до основания, все заборы ниспровергнуты, и улицы загромождены лесом, дровами и даже хижинами»⁵⁹. Наводнение описано в поэме так, как его видел и ощущал бедный петербургский люд:

Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты...

Языком простолюдина говорится об этих бедствиях, и слова о них звучат точно стон:

...все гибнет' кров и пища!
Где будет взять?

То, что наводнение воспринимается глазами бедняка, ощущается даже в характере сравнений:

...Злые волны.
Как воры, лезут в окна,
* * * * *
Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бьась об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющий судей.

Эти сравнения способствуют раскрытию психологии героя, создают ощущение его незащитности во враждебной ему окружающей действительности.

Для Евгения Петр — не «державец полумира», а всего лишь виновник обрушившихся на него бедствий, тот,

чьей волей роковой
Под морем город основался,

кто не принимал в расчет судьбы маленьких, не защищенных от бедствия людей. Ведь для «счастливых праздных» наводнение не оказалось столь ужасным. И поэтому внешне город сразу же вошел в нормальную колею. Зло было прикрито багряницей *.

Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить.

«Народ» здесь, конечно, не петербургская беднота, а та пестрая толпа петербургских жителей, для которых прошедшая беда не нарушала «бесчувствие холодное».

Пушкин остро ощущал размеры этого бедствия для народа и возмущался отношением к нему высших слоев общества. В письме брату из Михайловского он с иронией писал о правительственном решении закрыть на время театры и запретить балы, замечая: «...мера благоразумная... Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя освещение бель-этажа, могли бы разбить зеркальные окна, и был бы убыток». И, как бы подытоживая отношение к народному бедствию верхов общества, пишет: «Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется**». Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег» (письмо от 4 декабря 1824 года).

Характеристика в «Медном всаднике» реакции высших слоев Петербурга на несчастье, постигшее народ, дополняется ироническим упоминанием о графе Хвостове,

* Торжественная мантия, порфира.

** Пушкин имеет в виду здесь серию анекдотов о наводнении, распространявшихся тогда в России.

поэте, «любимом небесами», для которого наводнение оказалось лишь очередной темой «бессмертных стихов». После всего этого возвращение к рассказу о горестной судьбе Евгения воспринимается как прямое опровержение картины внешнего благополучия, наступившего вслед за окончившимся наводнением:

Но бедный, бедный мой Евгений...

Теплый, участливый тон, которым говорится о «безумце бедном», явственно ощущается во всей поэме. Сочувствие ему выражено всем эмоциональным строем поэмы.

Образ Евгения из «Медного всадника» безусловно самый сложный и «положительный» среди всех образов «маленьких людей», созданных Пушкиным. Лишь Евгений оказывается достойным не только сочувствия и соболезнования, но в определенный момент вызывает восхищение. Когда Евгений грозит «горделивому истукану», его образ обретает черты подлинной героичности. В эти минуты жалкий, смиренный обитатель Коломны, потерявший кров, нищий бродяга, облаченный в истлевшие лохмотья, совершенно перерождается, в нем впервые вспыхивают сильные страсти, ненависть, отчаянная решимость, воля к мести:

Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро строитель чудотворный!» —
Шепнул он, злобно задрожав. —
Ужо тебел...»

Лексические средства, которыми описывается бунт Евгения, однородны с теми, которыми Пушкин воспользовался и в «Полтаве», рисуя образ Петра, и во вступлении к «Медному всаднику», где изображена величественная фигура основателя Петербурга. По поводу этого места поэмы Валерий Брюсов заметил: «Торжественность тона, обилие славянизмов («чело», «хладной», «пламень») показывают, что «черная сила», которой обуян Евгений, заставляет относиться к нему иначе, чем раньше. Это уже не «наш герой», который «живет в Коломне, где-то слу-

жит», это соперник «грозного царя», о котором должно говорить тем же языком, как и о Петре»⁶⁰.

Но реалистический метод, пользуясь которым, Пушкин раскрывает характер Евгения, не позволил идеализировать героя. Наряду с сочувствием Евгению, с признанием законности, правомерности его мечты о своем «маленьком счастье, наряду с признанием самоотверженности и беспредельности его любви к Параше («Он страшился, бедный, не за себя») отражена с реалистической правдивостью крайняя узость его жизненных целей. Вот предел мечтаний Евгения:

Уж, кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою.
«Пройдет, быть может, год-другой —
Местечко получу, — Параше
Перепоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить — и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...»

В рукописи эти мечты носят еще более яркую бытовую окраску. Начало отрывка читается:

...Я устрою
Себе смиренный уголок
И в нем Парашу успокою,

Кровать, два стула, шей горшок,
Да сам большой; чего мне боле?

Итак, если рассматривать образ в ряду других образов «маленького человека», созданных Пушкиным, то приходится заключить, что, как ни далек облик Евгения от облика станционного смотрителя, все же по своей социальной психологии они близки в существенных чертах. Подобно Самсону Вырину, Евгений — «маленький человек», которого постигло страшное несчастье, — ограничен в своем протесте лишь мгновенными порывами, хотя и несравненно более сильными, чем у Вырина. Эта особенность характера Евгения проявляется не только в том, что, пригрозив «кумиру», он тут же «вдруг стремглав бежать пустился», но и в том, как он вел себя, когда оказывался затем вблизи медного всадника, — этого олицетворения грозной императорской власти:

И с той поры, когда случилось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятение. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.

Само изображение бунта «ничтожного героя», «бедного безумца» против «кумира» было совершенно ново в литературе и являлось откликом Пушкина на недовольство нового социального слоя России — городской бедноты — своим положением, недовольство, ограниченное в то время элементарными требованиями. Никак нельзя согласиться с бытовавшей в пушкиноведении характеристикой Евгения как «жалкого пигмея» (В. В. Сиповский). Но образ Евгения, и тем более Самсона Вырина, все же не стал для Пушкина решением проблемы современного героя как выражения эстетического идеала, представлений о прекрасной человеческой личности (не в смысле, разумеется, безупречного, «идеального героя», изображение которого Пушкин считал уделом эпигонов классицизма, а в смысле могучей, яркой личности, человека, воодушевленного великими целями, обладающего несокрушимой волей, сильным умом) ⁶¹.

Глубина гуманистической трактовки Пушкиным проблемы героя сказалась также в том, что драматизм судьбы «маленького человека» раскрывается не как невозможность для него достигнуть высших ступеней социальной лестницы, то есть превратиться из угнетенного в угнетателя, а как невозможность в современных общественных условиях защитить свою независимость и честь, добиться осуществления даже самых скромных желаний.

Своеобразие трактовки Пушкиным проблемы героя становится очевидным, если принять во внимание, что в это время в западноевропейской литературе одной из основных тем становится тема героя, цель которого — вырваться *любой ценой* из безвестности и бедности, героя-приобретателя, который не брезгает никакими средствами для того, чтобы добиться богатства, сделать карьеру. В пушкинской «Пиковой даме» (1833), — повести, в центре которой стоит герой, стремящийся к богатству, имеются беглые намеки на такого рода произведения:

«— Paull — закричала графиня из-за ширмов:— пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел...

— Таких романов нынче нет».

Существенна аналогия между Германном и образом современной западной литературой, которая промелькнула в сознании Лизы после разговора с Томским. Томский говорит о Германне, что он — «лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодеяства». «Романтическое» здесь надо понимать не в смысле «романтическое», а в смысле изображаемого в романах. Так Лизавета Ивановна и поняла слова Томского: «Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, *благодаря новейшим романам это, уже пошлое* (то есть ставшее обыденным, часто повторяющимся. — Б. М.) *лицо*, пугало и пленяло ее воображение» *.

Трактовка образа Германна, «инженерного офицера» (то есть офицера Инженерного училища), ютившегося в «смирном уголку» и одержимого идеей стяжательства, в повести резко отрицательная. Его лишь с первого взгляда можно причислить к тому разряду «маленьких людей», к которому принадлежит Евгений из «Медного всадника». Жизненные цели Евгения непритязательны и узки, но средства их достижения отличаются моральной чистотой. Евгений размышляет:

Жениться? Ну.. зачем же нет?

Оно и тяжело, конечно:

Но что ж, он молод и здоров,

Трудиться день и ночь готов...

Жизненная цель Германна определяется его мечтой о капитале, который доставит ему «покой и независимость». Пушкин, как всегда, точен. Евгений в «Медном всаднике» мечтает о том, чтобы обрести «независимость и *честь*». Германна вопрос о чести мало тревожит. Слова о нем — «профиль Наполеона, а душа Мефисто-

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

феля» — с лапидарной точностью определяют сущность характера: это не острота Томского. Сравнение Германна с Наполеоном возникает и у Лизы: «В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну». Для понимания всей глубины сравнения Германна с Наполеоном и Мефистофелем нужно учесть аспект, который в данном случае имел в виду Пушкин. Наполеоновское в Германне — отношение ко всему окружающему, к людям только как к средству достижения своих целей. Таков смысл «наполеонизма», о котором упоминается в «Евгении Онегине»:

Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...

(Гл. II, строфа XIV)

Еще раньше, в стихотворении «Наполеон» (1821), Пушкин говорил об антигуманистическом характере Наполеона: «Ты человечество презрел...» Для понимания же второй части определения облика Германна — «души Мефистофеля» — надо обратиться к образу Мефистофеля как он изображен в пушкинской «Сцене из Фауста» (1825). Мефистофель олицетворяет циническое отношение к жизни, ко всему святому для человека: красоте, любви, истине.

Наполеоновское и мефистофельское слиты в образе Германна. Это человек необычайной силы воли, маниакально устремленной к обогащению, ради которого он способен и на любое злодеяние и на самое суровое самоограничение, ради которого он может быть и беспощадно жестоким и, если нужно, принять маску пламенно-любящего или униженно-умоляющего о милости человека (вспомним его нежные, пламенные письма Лизе и его речь, обращенную к графине). Для достижения своей цели он не брезгует ничем. Чтобы узнать тайну трех карт, обеспечивающую выигрыш, он был готов стать даже любовником графини — этой развалины, уроды с мертвым лицом и мертвыми глазами. Германн соображал: «Представиться ей, подбиться в ее милость... сделаться ее любовником...» Этот план Германн отвергает по соображениям сугубо практическим: «Но на это все

требуется время, а ей восемьдесят семь лет, — она может умереть через неделю, через два дня». Увидев в окне дома графини Лизавету Ивановну, он сразу же избирает другой план.

В структуре повести образ Лизветы Ивановны важен не сам по себе: он имеет первостепенное значение для раскрытия характера Германна. Ведь графиня изображена в повести столь отвратительной, оценка ее настолько отрицательно-резка, что вина Германна в ее смерти сама по себе не является определяющей в его характеристике. В образе графини — «знатной старухи», дворцовой фаворитки, к которой с низкими поклонами ездил «весь город», — сконцентрированы черты, символизирующие уродство старой, феодально-аристократической России. Если бы Пушкин считал, что смерть графини — живого трупа — решающий эпизод в разоблачении Германна, он не представил бы сцену прихода Германна следующим описанием облика графини: «Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма». Следовательно, чтобы разоблачить Германна, требовалось более широко раскрыть его образ на основе общих, характерных для взглядов Пушкина, гуманистических критериев оценки героя. Эти критерии Пушкин высказывал неоднократно. Вспомним афористические строки в стихотворении «Герой» (1830):

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

Та же мысль в несколько ином выражении развита в черновиках шестой главы «Евгения Онегина»:

В сраженьи [смелым] быть похвально,
Но кто не смел в наш храбрый век —
Все дерзко бьется, лжет нахально;
*Герой, будь прежде человек **.

Бессердечие, свойственное Германну, показано в повести прежде всего в его отношении к Лизе, которую он избрал орудием в достижении своей цели. Поэтому страницы, посвященные Лизе — «домашней мученице»,

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

включены во вторую главу, предшествующую рассказу о том, как Германн увидел Лизу. Такое композиционное решение усиливает последующее разоблачение Германна, ибо конец второй главы («Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь») еще не предсказывает дальнейшего развития событий — холодную имитацию любви Германном. Характеристика же Лизы в этой главе рассчитана на то, чтобы вызвать у читателя горячее сочувствие к ней, живую заинтересованность в ее судьбе. «...Лизавета Ивановна была пренесчастное создание» — эти слова подтверждены цитатой из семнадцатой песни «Рая» Данте: «Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи?» Естественно, она «с нетерпением ждала своего избавителя». И вот казалось, что ее ожидания свершаются, что приходит конец унижениям, слезам, свидетелем которых была ее бедная комната, что наступает конец оскорбленному самолюбию — появился Германн. «Молодая мечтательница» начинает верить его страстным письмам, его настойчивым, ежедневным дежурствам у окна; с трепетом и нерешительностью соглашается она на свидание. Кульминационный эпизод повести — посещение дома графини Германном — раскрывает всю глубину трагических переживаний Лизы и полностью проясняет беспробудную жестокость и бессердечие «человека с профилем Наполеона и с душой Мефистофеля». «Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовью!.. Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника...» Переживаниям Лизаветы Ивановны и реакции Германна на эти переживания дана не только психологическая, но и эстетическая оценка: «...ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его... Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения».

Германн — один из немногих образов Пушкина, в котором осуждение дано с такой, можно сказать, законченной прямолинейностью; ведь даже в характере Скупого рыцаря сочетаются торгашеская жадность и рыцарское самолюбие, безграничная жестокость и почти поэтическая

страсть (первая часть монолога). В характере Германна нет ни чувства собственного достоинства, ни даже страсти скупого рыцаря — им руководил лишь холодный расчет, ни разу не шевельнулось в нем настоящее человеческое чувство. Лишь однажды промелькнул слабый намек на него и исчез: когда он, ожидая прихода графини, услышал торопливые шаги Лизаветы Ивановны (*торопливые* потому, что она спешила на свидание с ним), «в сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло». Характер Германна во многом оказывается близким графине: ведь и он бесчеловечно относится к единственной в повести светлой личности — Лизе. Поэтому неоправданными являются утверждения некоторых исследователей, что Пушкин изобразил Германна сочувственно (таково, например, мнение Д. П. Якубовича, считавшего, что Пушкин «явственно сочувствует своему безродному герою, одиноко и смело пробивающемуся ценой «демонских усилий» сквозь пути нищеты и безвестности») ⁶². Безусловное осуждение Германна связано с отрицательным отношением Пушкина к героям нового склада, формировавшимся под влиянием только еще возникавших в России, но уже развитых на Западе буржуазных отношений. Эти новые отношения порождали людей, которые видели смысл всей жизни только в личном успехе, достигаемом любыми средствами. Они основывались на волчьей морали буржуазного мира. Нисколько не смягчает осуждение Германна в повести ее финал — чисто информационное, бесстрастное сообщение о том, что он, не сумев перенести проигрыша, сошел с ума.

Отрицательно оценив в «Пиковой даме» образы и графини и Германна, Пушкин осудил в их лице как старую, феодальную Россию, так и наступивший «железный век».

4

Итак, поиски героя привели Пушкина к открытию новой сферы художественного творчества — изображению жизни и быта социальных низов. Это открытие обозначило крупнейший этап на пути демократизации литературы. Впервые мир «маленького человека» был раскрыт «изнутри», впервые его думы, его судьба описывались не для сентиментального умиления «меньшим братом» и

не сторонним наблюдателем, а с позиций активного гуманизма, с позиций критики общественных противоречий как причины страданий «ничтожного героя».

Подчеркивая колоссальное значение этого вклада в развитие русской литературы, нельзя, однако, утверждать, что изображение людей типа Самсона Вырина или Евгения из «Медного всадника» решило выдвинутую жизнью проблему современного народного героя.

Как известно, сам термин «герой» имеет в литературе двоякое значение: он употребляется как синоним понятия «главное действующее лицо» или «персонаж», но этим же термином именуют человека, который отличается героизмом, возвышенностью стремлений, доблестью, — словом, качествами, которые позволяют рассматривать ту или иную личность как пример для подражания, восхищаться ею, видеть в ней воплощение идеала.

Становление образа народного героя в творчестве Пушкина связано с народным эпосом.

Пушкин испытывал подлинное эстетическое восхищение от сказок Арины Родионовны («Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»). «Поэтическими лицами» являются в пушкинском творчестве и Степан Разин (Пушкин еще в 1824 году назвал Степана Разина «единственным поэтическим лицом русской истории»), и крестьяне Дубровского во главе с кузнецом Архипом, сочетающим беспощадность к врагам с чисто детским добродушием, и гроза турок — болгарин Кирджали («Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец», — поясняет Пушкин), и замечательные своим героизмом простые люди в «Песнях западных славян», проникнутые идеей народной героики и самоотверженной любовью к родной земле.

Пуля легче лихорадки;
Волен умер ты, как жил... —

эти слова из «Похоронной песни Иакинфа Маглановича» повторяются с различными вариациями в других стихотворениях этого цикла. Трудно, да и невозможно судить о том, как развивалось бы творчество Пушкина, если бы он не погиб в расцвете своих сил, однако имеются все основания судить о ведущей тенденции его творческой эволюции и развития эстетического идеала. Эта тенденция заключалась, как мы стремились показать, в демократизации художественного творчества. Эстетические

критерии Пушкина сближались с теми представлениями о героическом, прекрасном, поэтическом, которые были свойственны самому народу и выражались в его повседневной жизни, в его языке, в его песнях, сказках, преданиях.

С наибольшей выразительностью черты эстетического идеала Пушкина 30-х годов воплощены в образе Пугачева. Пугачев воспринимается поэтом, как героическая личность. Это утверждение с первого взгляда может показаться неправдоподобным: ведь против него говорит, казалось бы, двойственность, противоречивость отношения Пушкина к пугачевскому движению, стихия которого одновременно и привлекала и страшила поэта (этого вопроса мы касались в главе «На рубеже двух эпох»). И все же несомненно, что Пугачев был для Пушкина столь же «поэтическим лицом», как Степан Разин, что эстетическая оценка героических черт могучей народной натуры Пугачева выражена с необыкновенной силой.

Роман «Капитанская дочка» принадлежит к историческому жанру, и рассмотрение его в этом плане выходит за рамки данной главы, посвященной проблеме *современного* героя в пушкинском творчестве. Но эстетические критерии оценки Пугачева несомненно явились предвестием принципиально новой постановки проблемы героя в русской литературе. В «Капитанской дочке» как и в «Евгении Онегине», эстетический идеал воплощен во всей структуре произведения — и в прямых характеристиках героя, которые даются рассказчиком, и путем сложной системы разнообразных эмоциональных оценок всего, что происходит, что попадает в поле зрения рассказчика. Однако в «Капитанской дочке» впервые в пушкинском творчестве развитие характера героя, изменения в его образе мыслей, его жизненная судьба поставлены в зависимость от судьбы народа. В данном случае именно соприкосновение с народом, пусть вынужденное обстоятельствами, заставляет вполне «благонамеренного» и даже верноподданного молодого дворянина Гринева, поначалу считавшего Пугачева извергом, невольно испытывать к нему «сильное сочувствие».

В литературоведении последних лет справедливо отмечалось, что в центре «Капитанской дочки» стоит не образ Гринева и тем более не Маши, а Пугачева⁶³. В самом деле, именно действиями Пугачева, решениями, которые

он принимает, судьбами «пугачевщины» определяется движение всего сюжета и развитие отдельных мотивов.

Пушкинский эстетический идеал выражен в повести, конечно, не в Гриневе и не в Мироновых, этих по-своему честных, но ограниченных и малопоэтичных людях. Именно в изображении личности Пугачева, несмотря на наименование его в повести «ужасным человеком», «извергом» (слова Гринева, смягченные, однако, оговоркой: «злодеем для всех, кроме меня»), преобладает положительная эстетическая оценка, доходящая в некоторых местах повести до любования духовной красотой, мощным характером этого талантливого представителя народа, доведенного дикой жестокостью помещиков до крайнего ожесточения.

Первое же появление Пугачева в повести возбуждает симпатии к нему. Несомненно, этому способствует описание бурана, страшной метели, грозившей Гриневу гибелью. «Я слышал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены», — говорит Гринев, характеризуя опасность положения. «Его хладнокровие ободрило меня», «сметливость его и тонкость чутья меня изумили», «живые большие глаза так и бегали», «лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское», — таким воспринял Гринев «вожатого». Яркий, образный язык, которым он изъяснялся с яицким казаком, его неиссякаемая жизнерадостность дополняют впечатление встречи с «мужиком», наружность которого показалась Гриневу «замечательна». Это впечатление не изменилось и после того, как обнаружилось, что «вожатый» оказался предводителем крестьянского восстания, по одному слову которого совершались страшные казни (свидетелем их оказался и рассказчик, сам угодивший было на виселицу). В главе «Незванный гость» с небольшими изменениями повторяется характеристика облика Пугачева: «Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясляли ничего свирепого».

Этим словам придан полемический оттенок. Теперь Гринев уже знает, кем оказался его знакомец-вожатый, и все же подтверждает: «Ничего свирепого». Снова упоминается и свойственное Пугачеву «выражение насмешливости». Если мы вспомним, что Пушкин, говоря о чертах русского народа, отмечал в их числе «какое-то весе-

лое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться», то станет особенно понятным смысл подчеркивания этих особенностей облика Пугачева как типичических особенностей народного героя. Тонкими штрихами отмечена и широта натуры Пугачева («Казнить так казнить, миловать так миловать»), столь рельефно проявленная в его отношении к Гриневу и участию в судьбе Маши («Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядей во лбу, а от суда моего не уйдет»).

Вся эта трактовка облика Пугачева, включая замечание о том, что в лице его не было «ничего свирепого», была полемически направлена против официозных описаний, в частности против характеристики, которая была дана в «Истории войска Донского», где автор, В. Броневский, писал: «Емелька, корыстолюбивый, как бессмысленный разбойник, *свирепый*, как тигр, грабил и лил человеческую кровь без цели, без нужды и резал, мучил только для того, чтобы резать и видеть кровь, льющуюся к ногам его»⁶⁴. Опровержением взгляда на образ Пугачева как на «злодея», в «естестве» которого не было «ни малейшей искры добра», является и разрешение конфликта — спасение «капитанской дочки». Если царский генерал, к которому обращается Гринев, обнаруживает полнейшее бессердечие и позволяет себе даже иронизировать над чувствами Гринева, то для Пугачева пламенная любовь Гринева к Маше достаточный мотив, чтобы освободить дочь своего врага — капитана Миронова. «Казалось, суровая душа Пугачева была тронута... «Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Но самые яркие эстетические оценки, выражающие отношение Пушкина к Пугачеву как личности, овейной романтикой подвига, поэзией неукротимого вольнолюбия, содержатся в описаниях стана мятежников (главы восьмая и одиннадцатая).

Характеристики Пугачева и его сподвижников овейны в повести поэтическими образами и мотивами устного народного творчества. В восьмой главе пугачевцы поют «заунывную бурлацкую песню». Эта песня упоминается первоначально в повести «Дубровский» — ее поет караульщик Степан у земляного укрепления, возведенного крестьянами в дремучем лесу. Но там приведены только

первые две строки. В «Капитанской дочке» песня приведена полностью:

Не шуми, мати зеленая дубравушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.
Что завтра мне доброму молодцу в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
«Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?»
«Я скажу тебе, надежа православный царь:
Всеё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ — темная ночь,
А второй мой товарищ — булатный нож,
А как третий-то товарищ — то мой добрый конь
А четвертый мой товарищ — то тугой лук,
Что рассыльщики мои — то калены стрелы»
Что возговорит надежа православный царь:
«Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной».

Смысл этой «любимой песенки» Пугачева в прославлении нескгибаемого мужества «доброго молодца», который обречен на гибель, но не падает духом, не склоняется на милость царя и не выдает своих товарищей. После этой песни в повести следуют слова, вложенные в уста Гринёва: «Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам, и без того выразительным, — все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом».

Для характеристики мироощущения Пугачева еще более важен другой эпизод: Гринёв уговаривает его отстать от сообщников и покаяться, «прибегнуть к милосердию государыни». Пугачев предвидит возможность измены: «Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою». (Пушкин основывался на фактах действительной биографии Пугачева: после разгрома его отрядов он скрылся в заволжских степях, но был захвачен группой казаков, боявшихся разделить судьбу своего вождя, и отдан в руки военного начальства.) После

того как читатель узнаёт, что Пугачев сознавал трагичность своей судьбы, с особенной силой воспринимается рассказанная им «с каким-то диким вдохновением» калмыцкая сказка об орле и вороне.

Широкой эпичности образа Пугачева способствует и система эпиграфов⁶⁵. Так, в главе «Вожатый» с образом не Гринева, конечно, а Пугачева соотносил Пушкин эпиграф, заимствованный из старинной песни:

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая,
И хмелинушка кабацкая.

Иносказательно характеризуется Пугачев и эпиграфами к главам «Осада города» и «Мятежная слобода». Первый из них, взятый из Хераскова, ассоциирует образ орла с рассказанной Пугачевым сказкой об орле и вороне:

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры,
За станом повелел соорудить раскат,
И, в нем перуны скрыв, в ночи привести под град.

Второй эпиграф своей символикой тоже связан с образом Пугачева:

В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.

Этот эпиграф, подписанный «А. Сумароков», но на самом деле сочиненный Пушкиным, предваряет описание встречи Гринева с Пугачевым («А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию. — Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?»).

Полная риска, радости побед, героики сопротивления, жизнь Пугачева противопоставлена в повести бесцветной жизни капитана Миронова, сложившего свою голову по долгу службы царской. Эпиграф к главе «Приступ» как бы обобщает жизнь и судьбу Миронова. Этот эпиграф заимствован из народной песни:

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!

Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
*Ни корысти себе, ни радости **,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Характеры Пугачева и его сподвижников контрастно противопоставлены также вялым, бесцветным характерам царского генерала и чиновников, считавших, что «благо-разумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеной, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия».

«Капитанская дочка» является ярчайшим свидетельством того, в каком направлении развивалась основная тенденция творчества Пушкина. Начав с поэтизации в романтических поэмах гордого, разочарованного героя, порвавшего с «светом», Пушкин пришел в результате своей эволюции к поэтизации подлинного героизма и увидел его там, где он проявляется во всем своем величии и красоте, — в жизни народа, в его борьбе за волю. «Жестокость» пугачевцев, которую он не принимал, не закрывала от него поэзии неукротимого народного протеста, поэзии, воспринятой умом и сердцем человека новой эпохи и запечатленной им с необычайной силой гения.

В деятельности Пушкина проявилась в многогранных формах взаимная зависимость смелого художественного новаторства и умения чутко отзываться на требования и запросы времени. Стихи и поэмы, повести, критические и исторические сочинения, дневники, письма—все наследие Пушкина говорит, что почти не было ни одного крупного события, которое не вызвало бы в той или иной степени его живейшего отклика. Недаром он называл и собственную поэзию и поэтическое творчество вообще эхом народа, эхом окружающей действительности. Такое творчество ничем не похоже на бесстрастную летопись. Бурный поток, пестрота современной истории отражались в пуш-

* Подчеркнуто мною. — Б. М.

кинских произведениях, в которых не только запечатлена непрерывность исторических событий, но во многом угаданы породившие их причины. В процессе постоянного обогащения художественного творчества самой острой, самой злободневной проблематикой современности и рождался новый художественный метод, позволявший проникать в сокровенную сущность происходящего, видеть не только результаты, но также скрытые пружины человеческих действий, изображать разнообразные характеры в их индивидуально-неповторимом своеобразии и одновременно в их типической обусловленности. Вместо старого идеала классицизма, сконструированного на основе отвлеченных незыблемых схем, вместо идеала романтизма, вдохновленного неясными, иногда зыбкими стремлениями и предчувствиями, возникал новый идеал, в котором уничтожался разрыв между поэтическим творчеством и действительностью.

Искусство, поднятое Пушкиным на высочайшую ступень эстетического совершенства, стало вместе с тем жизненно необходимым делом, могучим средством познания мира, чудесной школой воспитания ума, воли, чувств. Так были открыты новые пути художественного творчества. Следуя по этим путям, совершали все новые и новые открытия Лермонтов и Гоголь, Тургенев и Толстой, Чехов и Горький: ведь эстетические принципы, открытые Пушкиным, — это принципы постоянного совершенствования и постоянного новаторства, которое рождается не в узкой сфере внутрилiterатурного ряда, а непрерывно развивающейся жизнью, напряженными поисками ответов на жгучие вопросы бытия.

Вот почему слова Горького о Пушкине как «начале всех начал» нужно относить не только к XIX веку, но и к литературе сегодняшнего дня, воодушевленной благородным стремлением быть эхом нашей великой эпохи и великого, освобожденного народа.

Ленинград
1946—1956 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ

Глава первая

ЛЕГЕНДА О ЛИЦЕЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ*

¹ Письмо В. Д. Вольховского И. В. Малиновскому от 9 декабря 1833 года. ПД, ф. 244, оп. 25, № 342/3.

² И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, вступ. статья и ред. С. Я. Штрайха, Гослитиздат, М. 1956, стр. 68—69.

³ Там же, стр. 55.

⁴ И. Селезнев, Исторический очерк императорского бывшего Царскосельского, ныне Александровского лицея за первое его пятидесятилетие, с 1811 по 1861 год, СПб., 1861; Д. Кобеко, Императорский Царскосельский лицей, СПб., 1911; Н. Гастфрейнд, Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицей; Материалы для словаря лицеистов первого курса 1811—1817 годов,

* Ссылки на источники и литературу сосредоточены в книге в одном сводном примечании к комментируемому абзацу. При повторениях одного и того же опубликованного источника ссылка после первой цитации дается сокращенно. Условные сокращения оговариваются особо.

Сокращенные наименования архивов:

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.

ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив СССР (Москва).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ГИАЛО — Государственный исторический архив Ленинградской области.

Названия других архивов даны без сокращений.

При воспроизведении текстов прямыми скобками [] обозначаются зачеркнутые в рукописях слова, ломаными <> редакторские дополнения.

СПб., 1912—1913, тт I—III; Я. Грот, Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, СПб., 1899; К. Грот, Пушкинский Лицей (1811—1817); Бумаги первого курса, собранные академиком Я. Гротом, СПб., 1911; Сведения о Лицее имеются также в книге Н. Голицына «Благородный пансион имп. Царскосельского лицея 1814—1829 гг.», СПб., 1869*.

⁵ И. Селезнев, стр. 524.

⁶ Я. Грот, стр. 24.

⁷ К. Грот, стр. XVII.

⁸ Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, изд. 3, «Атеней», 1925, стр. 35—51.

⁹ В. Гаевский, Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения, «Современник», 1863, № 7, стр. 130.

¹⁰ Ю. Н. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер, «Литературное наследство», М. 1934, т. 16—18, стр. 331.

¹¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 294—295.

¹² Там же, т. 5, стр. 28.

¹³ Там же, т. 17, стр. 66.

¹⁴ Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому, писанные с 1798 по 1819 год, СПб., 1862, стр. 65.

¹⁵ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., Гослитиздат, М. 1950, т. VII, стр. 805, 798, 804.

¹⁶ «План всеобщего государственного образования» Сперанского напечатан В. И. Семевским в «Сборнике исторического общества при имп. С.-Петербургском Государственном университете», т. X, СПб., 1899; О проектах реформы М. М. Сперанского см. А. В. Предтеченский, Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века, М.—Л. 1957.

¹⁷ В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 248.

¹⁸ Н. Г. Чернышевский, т. VII, стр. 811, 805, 826, 827.

¹⁹ Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде, ф. 1251, оп. 2, ед. хр. 4. Бумаги М. М. Сперанского, «Первоначальное начертание особенного Лицея», лл. 3 об., 4.

²⁰ Там же, Проект образования Царскосельского лицея (черновой автограф).

²¹ Там же, лл. 12, 13, 13 об.

²² Там же, лл. 17 об., 19, 19 об.

²³ Там же, л. 15.

²⁴ Письма Жозефа де Местра гр. А. К. Разумовскому («Cinq lettres sur l'éducation publique en Russie») см. в переводе с фран-

* В дальнейшем ссылки на эти книги даются только с указанием имен их авторов.

пузского языка на русский в книге А. Васильчикова «Семейство Разумовских», СПб., 1880, т. II, стр. 248—287. См. стр. 249, 250, 253, 255, 261, 278.

²⁵ А. Васильчиков, 272—273.

²⁶ Мы сопоставляем проект Лицея, написанный Сперанским, с подлинным текстом окончательного постановления о Лицее, хранящимся в ПД и имеющим визу Александра I.

²⁷ Н. Г. Чернышевский т. VII, стр. 805; Отчет конференции Лицея за 1811—1817 гг.; Д. Кобеко, стр. 101.

²⁸ Г. Чулков, Жизнь Пушкина, ГИХЛ, М. 1938, стр. 38.

²⁹ Л. Гроссман, Пушкин, изд. «Молодая гвардия», М. 1939, стр. 70—72.

³⁰ Н. Л. Бродский, А. С. Пушкин, ГИХЛ, М. 1937, стр. 30.

³¹ Я. Грот, стр. 23; И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 46.

³² Речи, произнесенные при открытии императорского Царско-сельского лицея, СПб., 1811, стр. 2, 4.

³³ Памятники новой русской истории. Сборник исторических статей и материалов, издаваемых В. Кашперовым, СПб., 1872, т. II, отд. II, стр. 174.

³⁴ А. Е. Розен. В ссылке (Записки декабриста), СПб., 1907, стр. 37.

³⁵ Д. Кобеко. Первый директор Царскосельского лицея, П. 1915.

³⁶ Ю. Н. Тынянов, В. К. Кюхельбекер. Вступ. статья к книге «В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы», «Советский писатель», Л. 1939, т. I, стр. VIII. Архив В. Ф. Малиновского дошел до нас в небольшом объеме (ПД, ЦГАЛИ, ЦГИАМ). Приводимые здесь документы были первоначально опубликованы мною в сокращенном варианте этой главы, напечатанной в журнале «Звезда», 1949, №№ 1—3. В 1954 году в «Вопросах философии» № 2 появилась статья Э. А. Араб-Оглы «Выдающийся русский просветитель-демократ (к 150-летию выхода в свет «Рассуждения о мире и войне»», использующая ряд неизданных материалов из архива Малиновского.

³⁷ ЦГАЛИ, ф. 312, оп. 1, № 7, л. 1 об.

³⁸ Там же, № 1, л. 3 об.

³⁹ Там же, № 8, л. 1 об.

⁴⁰ Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, стр. 37.

⁴¹ Дневник В. Ф. Малиновского хранится в ЦГАЛИ, ф. 312, оп. 1, ед. хр. 3 Часть дневника В. И. Семевский опубликовал в «Голосе минувшего» (1915, № 10) под произвольным заглавием:

«В. Ф. Малиновский. Размышление о преобразовании государственного строя в России. 1803»; «Голос минувшего», 1915, № 10, стр. 252; И. Селезнев, стр. 46.

⁴² «Голос минувшего», 1915, № 10, стр. 249, 248, 262.

⁴³ Там же, стр. 248, 251, 253, 262.

⁴⁴ Там же, стр. 254, 255, 256, 258.

⁴⁵ ЦГАЛИ, ф. 312, оп. 1, ед. хр. 3.

⁴⁶ Ю. Н. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер, «Литературное наследство», М. 1934, т. 16—18, стр. 334; «Голос минувшего», 1915, № 10, стр. 257.

⁴⁷ «Архив братьев Тургеневых», т. II, стр. 181, 367—372; «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу». Изд. АН СССР, М.—Л. 1936, стр. 273, 274.

⁴⁸ Письмо Е. А. Энгельгардта Ф. Ф. Матюшкину от 10 сентября 1820 года, Н. Г а с т ф р е й н д, т. II, стр. 26.

⁴⁹ «Наставление воспитанникам, читанное при открытии императорского Царскосельского лицея в присутствии Е. И. В. и августейшей фамилии 19 октября 1811 года адъюнкт-профессором Александром Куницыным», СПб., 1811.

⁵⁰ В. Ф. Малиновский, Памятная книга Лицея (ПД, ф. 244, оп. 25, № 290). Опубликовано в сб. «О. С. Пушкін (статті та матеріали) за редакцією акад. П. Г. Тичини і проф. О. І. Білецького. Київ, 1938, стр. 181.

⁵¹ Там же.

⁵² Ю. Н. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер, «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 326.

⁵³ Письмо Е. А. Энгельгардта В. К. Кюхельбекеру, «Русская старина», 1875, XIII, стр. 366; Письмо Е. А. Энгельгардта Ф. Ф. Матюшкину от 25 июня 1821 года, Н. Г а с т ф р е й н д, т. II, стр. 39; Д. К о б е к о, стр. 158.

⁵⁴ Отчет конференции Лицея за 1811—1817 гг. Д. К о б е к о, стр. 99, 101, 102.

⁵⁵ Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства, под ред. А. К. Бороzdина, СПб., 1906, стр. 62.

⁵⁶ Письмо Е. А. Энгельгардта В. Д. Вольховскому от 31 ноября 1822 года, Д. К о б е к о, стр. 160.

⁵⁷ Записка Голицына хранится в Ленинградском отделении Государственного военно-исторического архива, Дежурство главного директора пажеских и кадетских корпусов, № 722, ед. хр. 263^а. Напечатана по неточным копиям из архива Н. Ф. Дубровина и с пропусками С. Я. Гессеном в журнале «Литературный современник», 1937, № 1, стр. 253—254; И. И. Пуш и н, Записки о Пушкине.

Письма, стр. 65, 66; Д. Кобеко, стр. 120; «Лицейские правила» были написаны Куницыным (что подтверждается записью в Мемориях журнала конференции Лицея, *ГИАЛО*, ф. 11, № 49^а, св. 9, л. 21).

⁵⁸ Письмо Е. А. Энгельгардта Ф. Ф. Матюшкину от 10 сентября 1820 года, Н. Гастфрейд, т. II, стр. 27; Письмо Николая I цесаревичу (подлинник по-французски) в «Сборнике императорского русского исторического общества», 1910, т. 131, стр. 331.

⁵⁹ Письмо Е. А. Энгельгардта В. Д. Вольховскому от 12 февраля 1830 года, Н. Гастфрейд, т. I, стр. 83; Письма Е. А. Энгельгардта А. М. Горчакову от 3 августа 1813 года, *ЦГИАМ*, ф. 828, ед. хр. 295.

⁶⁰ Письмо И. Пущина И. В. Малиновскому от 20 июня 1838 года, И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 85.

⁶¹ Письмо Е. А. Энгельгардта В. Д. Вольховскому от 27 июня 1836 года, Н. Гастфрейд, т. I, стр. 111, 112, 115.

⁶² Ю. Н. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер, «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 326, 327.

⁶³ «Русский архив», 1872, № 7—8, стр. 1474—1476.

⁶⁴ Ю. Н. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер, «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 326—329.

⁶⁵ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 63—64.

⁶⁶ Рукою Пушкина, Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер, «Academia», М.—Л. 1935, стр. 628.

⁶⁷ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 61; письмо Е. А. Энгельгардта В. Д. Вольховскому, Д. Кобеко, стр. 314

⁶⁸ В. Гаевский, Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения, «Современник», 1863, № 8, стр. 378; И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 59, 62—63.

⁶⁹ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 155; В. Гаевский, Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения, «Современник», 1863, № 8, стр. 376.

⁷⁰ *ЦГИАМ*, ф. 828, оп. 2, ед. хр. 295, лл. 14, 15. Подлинник по-французски.

⁷¹ Н. Гастфрейд, т. II, стр. 72.

⁷² *ЦГИАМ*, ф. 828, оп. 2, ед. хр. 295, лл. 59—60; Не лишен интереса также отзыв Энгельгардта о Пушкине в письме к Горчакову от 18 января 1818 года: «...Я получил Ваше письмо от 16 января, дорогой Горчаков, и спешу ответить на него не потому, что оно требует ответа, а чтобы сказать Вам, что эпитет *драгоценные*

(*précieuses*), данный новым стихотворениям Пушкина, должен быть принят в лучшем его значении; это слово употребил Тургенев, говоря о последних произведениях Пушкина. Правда, он добавляет то, о чем я столько раз вздыхал: «Ах, если бы этот повеса хотел учиться, это был бы выдающийся человек в нашей литературе» («Литературное наследство», М. 1952, т. 68, стр. 33—34).

⁷³ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 75.

⁷⁴ Д. Кобеко, стр. 186.

⁷⁵ Ответ Энгельгардта на обвинительное «Предписание министра духовных дел и народного просвещения» по поводу состояния Лицея, Ленинградское отделение Государственного военно-исторического архива, Дежурство главного директора пажеских и кадетских корпусов, № 722, ед. хр. 263а, л. 15.

Глава вторая **ЛИЦЕЙСКИЙ «СПОСОБ УЧЕНИЯ»**

¹ Тетради А. М. Горчакова с записями лицейских лекций были обнаружены в личном архиве Горчакова, находившемся в Центральном государственном историческом архиве СССР в Москве (ф. 828). Затем они перешли в рукописное отделение Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (ф. 244, объединяющий архив Пушкина и рукописную пушкиниану); Отчет Лицея за 1811—1817 гг. см. у Д. Кобеко, стр. 95.

² П. В. Анненков, А. С. Пушкин в Александровскую эпоху, СПб., 1874, стр. 46, 49, 55.

³ Г. Чулков, Жизнь Пушкина, стр. 25; Л. Гроссман, Пушкин, стр. 149.

⁴ В. Ф. Малиновский, Памятная книга Лицея, сб. «О. С. Пушкин», Київ, 1938, стр. 62.

⁵ Опыт теории налогов. Сочинение Николая Тургенева, СПб., 1818, стр. V; «Современник», СПб., 1838, т. X, стр. 24.

⁶ Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского главного архивов Министерства иностранных дел, СПб., 1900.

⁷ ГИАЛО, ф. 11, ед. хр. 3727, св. 318 (Заявление Куницына в конференцию Лицея от 3 сентября 1816 г.); ПД, ф. 244, оп. 25, № 37, л. 1.

⁸ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 66; «Современник», СПб., 1838, т. X, стр. 23.

⁹ ПД, ф. 244, оп. 25, № 370, л. 4 об.

¹⁰ Там же, оп. 25, № 37, л. 1.

¹¹ К Г р о т, стр 280, Отрывки из сочинений одного старинного судьи и его же замечание на известную книгу Руссову «Du Contrat Social», М. 1809, стр. 17.

¹² ПД, ф. 244, оп. 25, № 365, л. 8 об. — 9.

¹³ Там же, лл. 8, 12, 9 об.

¹⁴ Там же, лл. 10 об., 16.

¹⁵ «Сын отечества», 1818, № 18, стр 202—212.

¹⁶ И. Селезнев, стр. 125—126; О книге Куницына «Право естественное» и истории ее запрещения сохранилось особое дело (Центральный государственный исторический архив в Ленинграде, ф. 732, оп. 2, ед. хр. 12 692, на 17 листах).

¹⁷ ПД, ф. 244, оп. 25, № 372, лл. 59 об., 63 об.

¹⁸ Н. Коркунов, История философии права, П. 1898, стр. 348.

¹⁹ А. Куницын, Право естественное, 1820, т. II, стр. 46.

²⁰ ПД, ф. 244, оп. 25, № 372, л. 13.

²¹ Там же, л. 13 об.

²² Там же, л. 45.

²³ Ф Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, М. 1957, стр. 17—18.

²⁴ ПД, ф. 244, оп. 25, № 370, лл. 32—32 об.

²⁵ Там же, л. 39.

²⁶ ПД, ф. 244, оп. 25, № 372, лл. 28, 29 об.

²⁷ Там же, л. 40 об.

²⁸ Там же, лл. 41 об. — 42.

²⁹ Там же, лл. 44 об. — 45.

³⁰ Там же, лл. 47—47 об.

³¹ Там же, л. 50.

³² Там же, лл. 49 об. — 50, 57, 58—58 об., 59—59 об., 60—60 об., 62—62 об., 63.

³³ Там же, лл. 63, 59.

³⁴ А. Куницын, О конституции, «Сын отечества», 1818, ч. 45, № 18, стр. 202—211; ч. 46, № 24, стр. 189—190.

³⁵ В. Гаевский, Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения, «Современник», 1863, № 7, стр. 158.

³⁶ Я. Грот, стр. 67.

³⁷ «Рукою Пушкина», стр. 720.

³⁸ Курс «Статистики» составляет 2 записки А. М. Горчакова две тетради, ПД, ф. 244, оп. 25, № 364 и 371.

³⁹ ПД, ф. 244, оп. 25, № 371, лл. 2, 3, 3 об.

⁴⁰ Там же, лл. 4—4 об.

⁴¹ Я. Грот, стр. 61.

⁴² ГИАЛО, ф. 11, № 59, св. 12, лл. 2 об., 3.

⁴³ И. Кайданов, Основания всеобщей политической истории, ч. I, древняя история, 1814, стр. 13, 197, 438, 440. Ср. соответственно: И. Кайданов, Руководство к познанию всеобщей политической истории, ч. I, древняя история, 1821, стр. 9, 122, 272—273.

⁴⁴ ПД, ф. 244, оп. 25, № 367, лл. 8, 12.

⁴⁵ Впрочем, непоследовательность взглядов Кайданова и его стремление застраховать себя от обвинения в «неблагонадежности» сказались и в первом издании древней истории, одобренной, как он писал в предисловии, «достопочтенными и ученышими членами Императорской Академии наук». Отсюда возникли, в явном противоречии с общим весьма одобрительным отношением к древним республикам и даже восхвалением их, всякого рода неожиданные утверждения противоположного характера или, например, такие формулировки: «Брут, ревностный республиканец, великий добродетельный человек и вместе с тем чудовище, умер на сражении противу Арунса, сына Тарквиния, и кровь его запечатлела римскую вольность» («Основания всеобщей политической истории», ч. I, древняя история, 1814, стр. 270). Впоследствии Белинский, критикуя учебники истории Кайданова с точки зрения новых требований, тем не менее отмечал, что они «были несравненно лучше всех исторических учебников на русском языке» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, М.—Л. 1926, стр. 297).

⁴⁶ Отчет конференции Лицея за 1811—1817 гг., Д. Кобеко, стр. 102—103.

⁴⁷ ПД, ф. 244, оп. 25, № 367, лл. 6, 3—3 об.

⁴⁸ Там же, лл. 10, 10 об., 88.

⁴⁹ Там же, лл. 51, 51 об.

⁵⁰ Там же, л. 82 об.

⁵¹ Там же, лл. 90, 89 об.

⁵² Там же, л. 63.

⁵³ Там же, ф. 244, оп. 25, № 368, лл. 35 об., 37 об.

⁵⁴ Там же, л. 55 об.

⁵⁵ Там же, л. 62

⁵⁶ Там же, лл. 62—62 об., № 369, л. 43.

⁵⁷ Там же, л. 62 об.

⁵⁸ Там же, лл. 67, 23.

⁵⁹ Там же, ф. 244, оп. 25, № 371, лл. 81 об., 88.

⁶⁰ Там же, л. 87.

⁶¹ Там же, лл. 55, 56—57.

⁶² Там же, лл. 110—110 об.

⁶³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 13.

⁶⁴ ПД, ф. 244, оп. 25, № 371, л. 35 об.

⁶⁵ Там же, лл. 36—37 об.

⁶⁶ Там же, лл. 35 об. — 36.

⁶⁷ Там же, л. 37.

⁶⁸ Н. К. Пиксанов, Н. Ф. Кошанский, см. Сочинения Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, 1907, т. I, стр. 250—259; Д. П. Яковович, Пушкин и античность. Временник пушкинской комиссии, М.—Л. 1941, т. 6, стр. 103.

⁶⁹ Н. Ф. Кошанский как член ложи «Избранного Михаила», упоминается в деле о лицах, «принадлежавших к масонским ложам и другим тайным обществам». Ленинградское отделение Военно-исторического архива, ф. 721, д. 128, лл. 9—9 об.

⁷⁰ «Ручная книга древней классической словесности, собранная Эшенбургом, умноженная Крамером и дополненная Н. Кошанским», СПб., 1816, т. I, стр. 39, 53.

⁷¹ Там же, т. I, стр. 94—95.

⁷² Там же, т. II, стр. 291—292.

⁷³ И. Кайданов, Основания всеобщей политической истории, ч. I, стр. I; «Ручная книга древней классической словесности...», т. I, стр. V.

⁷⁴ Чтение Георгиевским этих курсов зафиксировано в документах лицейского архива: «Учитель Георгиевский; в классе младшего возраста преподает грамматику и риторiku... В классе старшего возраста эстетику... поэзию» (*ГИАЛО*, ф. 11, № 59, св. 12. Учебные записки 11 декабря 1815 г., л. 2). Из материалов этого же архива выясняется, что А. И. Галич в 1814 году иногда заменял заболевшего Кошанского, читая риторiku и поэзию, но весьма этим тяготился. Сохранились категорические заявления Галича с просьбой освободить его от занятий. Просьба была удовлетворена. Преподавание Георгиевским не только эстетики, но также «риторики» и «поэзии» подтверждается периодически представлявшимися в Министерство ведомостями об учебных часах (хранятся в *ПД*, ф. 244, оп. 25, № 125); К. Грот, стр. 229—230.

⁷⁵ «Красный архив», 1931, т. 6 (13), стр. 115.

⁷⁶ *ПД*, ф. 244, оп. 25, № 361, л. 40, 40 об.

⁷⁷ Там же, лл. 43 об., 44—44 об.

⁷⁸ Там же, лл. 44 об., 47.

⁷⁹ Там же, лл. 46, 46 об.

⁸⁰ Там же, л. 49, 49 об., 50 об., 51.

⁸¹ Там же, л. 51, об. 52.

⁸² В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, СПб., 1909, стр. 220.

⁸³ *ПД*, ф. 244, оп. 25, № 361, л. 59 об.

⁸⁴ Там же, лл. 60 об., 61, 59, 73 об.

⁸⁶ Там же, лл. 125, 125 об.

⁸⁶ Там же, л. 99 об.

⁸⁷ Там же, лл. 112 об., 113 об

⁸⁸ Там же, л. 105.

⁸⁹ Там же, л. 102.

⁹⁰ Там же, лл. 129 об., 120—120 об., 117.

⁹¹ Там же, лл. 128 об., 129.

⁹² В архиве Горчакова сохранилась тетрадь, в которой записаны отрывки из произведений французских авторов, изучавшихся на уроках Будри; о Будри см. Л. Гроссман, Пушкин, стр. 129—130.

⁹³ Из писем и показаний декабристов, стр. 66.

Глава третья

РАЗНЫЕ ПУТИ

¹ ПД, ф. 244, оп. 3, № 15; И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 31.

² Н. Гастфрейнд, т. III, стр. 378.

³ Там же, т. II, стр. 215.

⁴ ПД, ф. 244, оп. 25, № 416, л. 8 об. (в подлиннике эта и остальные характеристики написаны Энгельгардтом по-немецки).

⁵ Там же, л. 10.

⁶ Там же, л. 12 об.

⁷ Там же, л. 12.

⁸ Там же, л. 3.

⁹ Там же, лл. 3 об. — 4, 9 об.; К. Грот, стр. 83.

¹⁰ ПД, ф. 244, оп. 25, № 46, лл. 8 об., 9.

¹¹ Там же, л. 5.

¹² Там же, л. 12 об.

¹³ Там же, лл. 6 об. — 7.

¹⁴ Там же, л. 7.

¹⁵ Н. Гастфрейнд, т. I, стр. 310.

¹⁶ ПД, ф. 244, оп. 25, № 46, л. 4—5.

¹⁷ «Красный архив», 1936, № 6 (79), стр. 181, 189.

¹⁸ П. Е. Щеголев, Пушкин и князь А. М. Горчаков в кн. П. Е. Щеголева «Пушкин. Исследования, статьи, материалы», т. II, изд. 3, ГИХЛ, М. — Л. 1931.

¹⁹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2611, л. 59 об.

²⁰ К. Грот, стр. 158.

²¹ «Красный архив», 1936, № 6(79), стр. 194.

²² К. Грот, стр. 217—218.

²³ Деша Меттерниха датирована 17 апреля 1826 года, Д. Ко-беко, стр. 260 (подл. по-французски).

²⁴ *ГИАЛО*, ф. 11, дело 26, св. I, л. 64 Мемории конференции Лицея 28 января 1813 года.

²⁵ «Красный архив», 1936, № 6(79), стр. 178.

²⁶ Я. Грот, стр. 242.

²⁷ *ПД*, ф. 244, оп. 25, № 9, лл. 2—3, 5 об — 6.

²⁸ М. Пилецкий, Замечание для господ гувернеров, моих сотрудников по части нравственной и учебной, «Летописи Государственного Литературного музея. Пушкин», ред. М. Цявловского, М. 1936, стр. 466.

²⁹ И. А. Шляпкин, Из неизданных бумаг А. С. Пушкина, СПб., 1903, стр. 328—331.

³⁰ Ю. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер, «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 329; *ЦИАМ*, ф. 828, оп. 2, № 298; К. Грот, стр. 381, 391.

³¹ К. Ф. Рылеев, Полн. собр. соч., ред., вступ. ст. и комм. А. Г. Цейтлина, «Academia», М. — Л. 1934, стр. 472.

³² Записная книжка для друзей человечества, стр. 15, 17.

³³ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 68—69.

³⁴ Там же, стр. 68; Об артели Бурцева см. статью М. В. Нечкиной «Священная артель» в сб. «Декабристы и их время. Материалы и сообщения», под ред. М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха, изд. АН СССР, М. — Л. 1951, стр. 155—189.

³⁵ М. Нечкина, там же, стр. 178 (подчеркнуто мною. — Б. М.).

³⁶ *ГИАЛО*, ф. 11, № 57 св. 11, л. 277 об.; там же, № 25, св. 5, лл. 50 об., 44 об.; там же, № 2^в, св. 1, лл. 63, 34, 31, 81 об. По предположению М. А. Цявловского «прапорщик Муравьев», посетивший Лицей 6 ноября 1814 года, будущий декабрист Никита Муравьев (М. А. Цявловский, Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, изд. АН СССР, М. 1951, т. I, стр. 67).

³⁷ Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, стр. 42.

³⁸ «Мнемозина», 1824, III, стр. 37.

³⁹ *ПД*, ф. 244, оп. 25, № 361, лл. 128 об., 129.

⁴⁰ Впервые напечатано в «Сыне отечества», 1817, № 26, стр. 260.

Глава четвертая

РАЗГРОМ ЛИЦЕЯ. «ЛИЦЕЙСКИЕ ГОДОВЩИНЫ»

¹ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 69.

² «Русская старина», 1887, т. 55, стр. 232; Д. Кобеко, стр. 185; В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, стр. 202; Б. Мейлах, Пушкин и русский

романтизм, изд. АН СССР, М. — Л 1937, стр. 59—60; В. Базанов, Вольное общество любителей российской словесности, Петрозаводск, 1949, стр. 185, 177.

³ Ленинградское отделение Военно-исторического архива, № 722, ед. хр. 263^a (ср. «Литературный современник», 1937, № 1, стр. 258); там же, л. 18 об.

⁴ Там же, № 722, оп. 1, № 261.

⁵ Д. Кобеко, стр. 265.

⁶ Пушкин, изд. АН СССР, М. 1937, т. XIII, стр. 298 *.

⁷ А. Г. Цейтлин, Записка Пушкина о народном воспитании, «Литературный современник», 1937, № 1, стр. 284.

⁸ А. Н. Вульф, Дневник; Л. Майков, Пушкин, СПб., 1899, стр. 156.

⁹ Пушкин, т. XIII, стр. 315.

¹⁰ «Сын отечества», 1818, ч. 49, № XV, стр. 332—334.

¹¹ «Русская старина», 1871, кн. 11, стр. 244—245.

¹² К. Грот, Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него, СПб., 1910, стр. 2; ЦГИАМ, ф. 828, оп. 2, ед. хр. 295, л. 16; И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 114—115.

¹³ К. Грот, Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него, стр. 3.

¹⁴ Стихотворение Кюхельбекера первоначально было напечатано в «Соревнователе», 1820, ч. X, стр. 70—78.

¹⁵ «Рукою Пушкина», стр. 733—739; К. Грот, Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него, стр. 8.

¹⁶ В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, изд. «Советский писатель», Л. 1939, т. I, стр. 102; Пушкин, т. XIV, стр. 117.

¹⁷ «Пушкин и его современники», кн. IV, стр. 154.

¹⁸ «Рукою Пушкина», стр. 73.

¹⁹ «Пушкин в воспоминаниях современников», под ред. С. Я. Гессена, М. 1937, стр. 86.

²⁰ К. Грот, 71—72; И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 159.

²¹ В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, т. I, стр. 179.

²² К. Грот, стр. 215.

²³ ЦГИАМ, ф. № 828, оп. 2, ед. хр. 171, лл. 3—4.

²⁴ ПД, ф. 244, оп. 25, № 343.

* За исключением случаев особо оговоренных, сочинения и переписка Пушкина цитируются по этому изданию.

«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА»

Глава первая

СОВРЕМЕННИК ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ

¹ Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, стр. 35; «Восстание декабристов» (Центр. архив), М. 1925, т. IV, стр. 273 *; там же, т. I, стр. 23; «Записки Сергея Григорьевича Волконского». СПб., 1901, стр. 387; «Записки декабриста Н. И. Лорера», М. 1931, стр. 57.

² М. В. Нечкина, Грибоедов и декабристы, изд. АН СССР, М. 1951, изд. 2, стр. 109; «В. Д.», т. I, стр. 226; Ф. Н. Глинка, Стихи о бывшем Семеновском полку, «Поэзия декабристов», сб. под ред. Б. Мейлаха, Л. 1950, стр. 601—602 (впервые напечатано в «Русском архиве», 1875, кн XII).

³ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. III, М. 1953, стр. 345—346 («Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 годе)». Сочинение Ф. Глинки, автора «Писем русского офицера», Москва, 1839).

⁴ А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, М.—П. 1923, т. XX, стр. 217 (подлинник по-французски «La nouvelle Russie date de 1812», стр. 214, «Etudes Historiques»); А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, изд. АН СССР, М. 1956, т. VII, стр. 194.

⁵ Н. Г. Чернышевский, т. IV, стр. 765.

⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 452; там же, т. X, стр. 726; В. И. Ленин, Сочинения, т. 27, стр. 31—32.

⁷ А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, изд. АН СССР, т. VIII, стр. 22.

⁸ Там же, т. VII, стр. 203.

⁹ К. Военский, Царскосельский лицей в 1812 году. «Лицейский журнал», 1907/1908, № 1, стр. 77—78; И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 52—53.

¹⁰ П. Дирин, История л.-гв. Семеновского полка, СПб., 1883, т. I, стр. 384; М. Цявловский, Заметки о Пушкине. И. В. Малиновский о Пушкине в Лицее, «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, Л. 1930, стр. 214; «Записка графа М. А. Корфа», Я. Грот, стр. 237.

¹¹ А. П. Беляев, Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. 1805—1850, СПб., 1882, стр. 90; «Записки В. И. Бакуниной», «Русская старина», 1885, XLVII, стр. 396.

¹² В. Штейнгель, Записки касательно составления и са-

* Далее всюду это издание именуется сокращенно «В. Д.».

мого похода Санкт-петербургского ополчения, СПб., 1814, Отделение третье, ч. I, стр. 101—106.

¹³ ЦГАЛИ, ф. 312, оп. 1, № 5, л. 3.

¹⁴ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 53; «Записка графа М. А. Корфа»; Я. Грот, стр. 237.

¹⁵ Ю. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер, «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 324.

¹⁶ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 53; ПД, ф. 244, № 367, л. 149 об.

¹⁷ «Сын отечества», 1812, ч. I, № 5, стр. 178, 180, 183; там же, ч. II, № 8, стр. 49—53.

¹⁸ «Записки Филиппа Филипповича Вигеля», ред. и вступ. ст. С. Я. Штрайха, изд. «Круг», 1928, т. II, стр. 28; «Сын отечества», 1813, ч. VIII, № 37, стр. 196—197.

¹⁹ «Сын отечества», 1814, ч. XII, № 12, стр. 243, 246 и ч. XIII, № 15, стр. 112.

²⁰ Там же, 1812, ч. II, № 9, стр. 109; там же, 1814, ч. XIV, № 21, стр. 78.

²¹ Там же, 1812, ч. I, № 3, стр. 95—96; там же, 1814, ч. XVII, стр. 253—270; там же, ч. XVIII, стр. 3—17, 41—57, 81—96; там же, 1812, ч. II, № 11, стр. 193; там же; там же, 1812, ч. II, № 10, стр. 144.

²² Собрание Высочайших Манифестов, СПб., 1816, стр. 7—8, 153, 154.

²³ «Русский вестник», 1812, ч. XX, № 10, стр. 70.

²⁴ Там же, 1812, ч. XVIII, № 4, стр. 29—30; там же, 1812, ч. XVII, № 2, стр. 1—12; там же, 1812, ч. XVII, № 2, стр. 47—82; там же, 1812, ч. XVII, № 3, стр. 8.

²⁵ «Северная почта» от 27 ноября 1812 г., № 95.

²⁶ Там же, от 7 августа 1812 г., № 63; там же, от 11 сентября 1812 г., № 73; там же, от 30 октября 1812 г., № 87; там же, от 21 декабря 1812 г., № 102.

²⁷ Там же, от 16 октября 1812 г., № 83; там же, от 26 апреля 1813 г., № 34.

²⁸ Там же, от 24 апреля 1814 г., № 32; «Сын отечества», 1813, ч. VIII, № 36, стр. 165.

Глава вторая ДВЕ РОССИИ

¹ И. Лажечников, Походные записки русского офицера, М. 1836, изд. 2, стр. 187—188; А. И. Михайловский-Данилевский, Замечания И. П. Липранди на «Описание Отечественной

войны 1812 года»; В. Харкевич, 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников, Вильна, 1903, вып. II, стр. 15—16; Ф. Н. Глинка, Письма русского офицера, М. 1815, ч. IV, стр. 46—47, 57—58.

² В. Штейнгель, Записки касательно составления и самого похода Санкт-петербургского ополчения, Отделение четвертое, ч. I, стр. 126.

³ «Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина», ред. и комм. С. Я. Штрайха, М. 1951, стр. 7.

⁴ «Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. 1811—1816», СПб., 1913, т. II, стр. 239; «Записки Н. В. Басаргина», Пгр. 1917, стр. 66; «Архив Раевских», СПб., 1908, т. I, стр. 172.

⁵ Ф. Н. Глинка, Письма русского офицера, ч. V, стр. 208.

⁶ «Сын отечества», 1812, ч. I, № 5, стр. 168 («Русский Сцевола»).

⁷ «Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. 1811—1816», т. II, стр. 205; В. Штейнгель, Записки касательно составления и самого похода Санкт-петербургского ополчения, Отделение второе, ч. I, стр. 93, 94.

⁸ «Сын отечества», 1813, ч. VII, № 29, стр. 107—109; В. Штейнгель, Записки касательно составления и самого похода Санкт-петербургского ополчения, Вступление, ч. I, стр. 14.

⁹ Собрание Высочайших Манифестов, стр. 168—169, 170—171.

¹⁰ А. Безобразов, Краткое обозрение подвигов российского дворянства на поле брани и на поприще гражданском, стр. 5, 15—18; Н. В. Борсук, Ростопчинские афиши, изд. А. С. Суворина, П. 1912, стр. 71, 72; Н. Дубровин, Отечественная война в письмах современников, СПб., 1882. Письмо гр. Ростопчина Балашеву от 13 февраля 1813 года, стр. 463.

¹¹ «Записки А. П. Ермолова», М. 1863, стр. 58; Ф. Глинка, Письма русского офицера, ч. IV, стр. 31, 32.

¹² К. Н. Батюшков, Сочинения, под ред. Д. Д. Благого, М. 1934, стр. 88; «Поэзия декабристов», стр. 80.

¹³ В. Штейнгель, Записки касательно составления и самого похода Санкт-петербургского ополчения, Отделение второе, ч. II, стр. 25.

¹⁴ «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году», М. 1814, ч. II, стр. 218 («Освобождение Европы и слава Александра I»).

¹⁵ Там же, стр. 235; там же, стр. 15 («Отголосок лиры»).

¹⁶ А. С. Грибоедов, Сочинения, под ред. В. Н. Орлова, Л. 1949, стр. 263; «Записки В. И. Бакуниной», «Русская старина»,

1885, т. XVII, июнь, стр. 400; «Записки Филиппа Филипповича Вигеля», т. I, стр. 376.

¹⁷ Ф. Глинка, Письма русского офицера, М. 1815, ч. IV, стр. 84; В. Штейнгель, Записки касательно составления и самого похода Санкт-петербургского ополчения, Отделение четвертое, ч. I, стр. 142.

¹⁸ «Записки В. И. Бакуниной», «Русская старина», 1885, т. XVII, июнь, стр. 407.

¹⁹ А. Бестужев-Рюмин, О происшествиях, случившихся в Москве во время пребывания в оной неприятеля в 1812 г., «Чтение в императ. обществе истории и древностей российских», 1859, кн. 2, стр. 79; Исторические рассказы, анекдоты и мелочи, «Русский архив», 1877, кн. 3, стр. 363.

²⁰ К. Н. Батюшков, Сочинения, СПб., 1886, т. III, стр. 206; там же, стр. 268.

²¹ «Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г.», собр. и изд. П. И. Щукиным, М. 1899, ч. IV, стр. 350—351 (письмо А. Алябьева к В. Ф. Алябьеву от 23 декабря 1813 г., Казань); «Отечественная война, ее причины и следствия», изд. Сытина, М. 1912, стр. 161—162; «Записки Филиппа Филипповича Вигеля», т. II, стр. 21—22.

²² «Записки Сергея Григорьевича Волконского», стр. 193.

²³ Сергей Глинка, Записки о 1812 годе, СПб., 1836, стр. 119, 120.

²⁴ «Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина», стр. 8; «Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. 1811—1816», т. II, стр. 251, 257; Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, стр. 15.

²⁵ «Отрывки из записок Д. И. Завалишина», «Древняя и новая Россия», 1879, № 2, стр. 153—154; К. Н. Батюшков, Сочинения, т. I, стр. 79; П. А. Вяземский, Сочинения, СПб., 1893, т. III, стр. 247.

²⁶ В. Гаевский, Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения, «Современник», 1863, № 8, стр. 367—368.

²⁷ «Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина», стр. 10; «Воспоминания А. И. Михайловского-Данилевского», «Русский вестник», 1890, № 9, стр. 159.

²⁸ Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, стр. 15; А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. VII, стр. 150.

²⁹ Песни, собранные П. В. Киреевским, М. 1874, вып. 10, стр. 1.

³⁰ Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, стр. 35—36.

³¹ «Записки Сергея Григорьевича Волконского», стр. 401; М. А. Ф он в и з и н, Обзорение проявлений политической жизни в России. «Общественные движения в России в первой половине XIX века», СПб., 1905, т. I, стр. 183; А. Б е л я е в, Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. 1805—1850, стр. 154—155.

³² А. Б е с т у ж е в, Взгляд на русскую словесность в течение 1823 г., «Полярная звезда», 1824, стр. 2.

³³ М а н з е й, История л.-гв. Гусарского полка, СПб., 1859, ч. II, стр. 156, 158; дневник П. И. Долгорукова, публикация и прим. М. А. Цявловского, «Звенья», М. 1951, т. IX, стр. 88.

³⁴ «Русский архив», 1873, кн. I, стр. 785; Н. В. И з м а й л о в, Пушкин и Е. М. Хитрово, «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Л. 1927, стр. 194; П. П. В я з е м с к и й, Собр. соч., СПб., 1893, стр. 521.

³⁵ «Библиотека для чтения», 1835, т. X, раздел III, стр. 28—53.

³⁶ Н. Б а р с у к о в, Жизнь и труды М. П. Погодина, СПб., 1888, кн. I, стр. 83.

³⁷ М. З а г о с к и н, «Графиня Рославлева, или Супруга-героиня, отличившаяся в знаменитую войну 1812 года», М. 1832, ч. I, стр. 20.

³⁸ Сергей Глинка, Записки о 1812 годе, стр. 78.

³⁹ «Северная пчела», 1837, 14 января, № 10; там же, 1836, 2 марта, № 160; там же, 1836, 12 ноября, № 236; там же, 1836, 10 ноября, № 234; там же, 1837, 5 февраля, № 28.

⁴⁰ «Русский инвалид», 1837, № 152; «Библиотека для чтения», 1837, т. XXI, стр. 4—5.

⁴¹ Н. К. Ш и л ь д е р, Император Николай Первый, СПб., 1903, т. II, стр. 685—686.

⁴² Л. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в, Критическая заметка на стихотворение Пушкина «Полководец». — Это выступление против стихотворения «Полководец» и дневниковые записи автора той же брошюры подробно освещены в исследовании В. А. Мануйлова и Л. Б. Модзалевского — «Полководец» Пушкина», напечатанном во «Временнике пушкинской комиссии», изд. АН СССР, М.—Л. 1939, т. 4—5, стр. 125—164; В. М. Г л и н к а, Пушкин и военная галерея Зимнего дворца, Л. 1949.

⁴³ И р а к л и й А н д р о н и к о в, Лермонтов, «Советский писатель», М. 1951, стр. 98.

⁴⁴ «Северная пчела», от 11 января 1837 г., № 7.

⁴⁵ Ф. Б у л г а р и н, Петр Иванович Выжигин, 1831, ч. II, стр. 91, 69, 199, 244.

⁴⁶ «Литературная газета», 1831, № 27; там же, 1831, № 20; там же, 1830, № 10; там же, 1830, № 9.

⁴⁷ «Современник», 1836, № 1, стр. 305.

⁴⁸ Там же, № 2, стр. 57, 105, 106.

⁴⁹ Там же, № 3, стр. 138—151.

⁵⁰ Там же, стр. 52—53.

⁵¹ Там же, № 2, стр. 266—284 («Новая поэма Э. Кине»); Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, стр. 13 (подчеркнуто мною. — Б. М.).

ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ В СПОРАХ О НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Глава первая **ЛИНИИ БОРЬБЫ**

¹ Уткинский сборник, М. 1904, стр. 18; А. Улыбышев, Письмо к другу в Германию, «Декабристы и их время», М. 1928, т. I, стр. 44.

² Пушкин, т. XIII, стр. 241.

³ Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., под общей ред. П. И. Лебедева-Полянского, ГИХЛ, 1934, т. I, стр. 313; Н. Г. Чернышевский, т. II, стр. 476.

⁴ В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 126.

Глава вторая **«ГУБИТЕЛИ РОССИЙСКОГО СЛОВА»**

¹ «Чтение в Беседе любителей русского слова», СПб., 1811, кн. I, стр. 44—45; там же, стр. 82 («Стихи к Беседе любителей русского слова» Анны Волковой).

² «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова», изд. Н. Киселева и Ю. Самарина, Берлин, 1870, т. I, стр. 309, 84—85, 93.

³ С. П. Жихарев, Записки современника, под ред. Б. М. Эйхенбаума, изд. АН СССР. М. — Л. 1955, стр. 349, 370—372, 425, 435.

⁴ «Записки Филиппа Филипповича Вигеля», т. I, стр. 361; В. А. Десницкий, опубликовавший «Журналы Беседы» (т. е. ее протоколы), отмечает, что и в них выразилась свойственная структуре этого объединения бюрократическая обрядность и чиновничество (см. В. Десницкий, На литературные темы, Л. 1936, кн. 2, стр. 200).

⁵ «Чтение в Беседе любителей русского слова», 1811, кн. I, стр. IX—XIII.

⁶ С. П. Жихарев, Записки современника, стр. 317.

⁷ «Чтение в Беседе любителей русского слова», кн. 5, стр. 25, 26; Д. И. Хвостов, Записки о словесности, публикация и комм.

А. В. Западова. «Литературный архив», изд. АН СССР, М.—Л. 1938, т. I, стр. 378.

⁸ К. Н. Батюшков, Сочинения, М. 1934, стр. 180.

⁹ А. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге русского языка, СПб., 1803, стр. I; там же, стр. 176.

¹⁰ «Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова», СПб., 1824, ч. II, стр. 27; там же, ч. XVII, стр. 47; А. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге русского языка, стр. 47.

¹¹ «Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова», ч. III, стр. 260—261.

¹² «Соч. П. Макарова», 1817, ч. II, стр. 29, 44, 23; «Северный вестник», 1804, ч. I, стр. 17—28.

¹³ «Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова», ч. II, стр. 458, 423; там же, ч. III, стр. 247—263, 321—388.

Глава третья

ПУШКИН И КРУГ АРЗАМАСЦЕВ

¹ Отчет имп. Публичной библиотеки за 1884 г., СПб.; 1887, стр. 157—158 (Приложение. И. Бычков, Бумаги Жуковского); «Записки Филиппа Филипповича Вигеля», т. II, стр. 111.

² П. В. Анненков, А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений, СПб., 1873, изд. 2, стр. 45—48; П. Анненков, Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, СПб., 1874, стр. 108—112; Д. И. Писарев, Соч. в четырех томах, Гослитиздат, М. 1956, т. III, стр. 405—407 («Пушкин и Белинский»); А. Пыпин, История русской литературы, СПб., 1907, т. IV, стр. 216; «Русские ведомости», 1899, № 200.

³ Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, стр. 52—53.

⁴ «Современник», 1851, т. XXVII, стр. 38 («Литературные воспоминания»); «Записки Филиппа Филипповича Вигеля», т. II, стр. 66.

⁵ Д. Д. Благой, Творческий путь Пушкина (1813—1826), изд. АН СССР, М.—Л. 1950, стр. 183.

⁶ Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского, т. VIII, стр. 416.

⁷ В. Л. Пушкин, Сочинения, СПб., 1893, стр. 72.

⁸ «Два послания» Василия Пушкина, СПб., 1811, стр. I, 4; там же, стр. 5, 6.

⁹ «Остафьевский архив князей Вяземских», СПб., 1889, т. I, стр. 409—413.

¹⁰ Там же, стр. 19,

- ¹¹ «Арзамас и арзамасские протоколы», под ред. М. С. Боровковой-Майковой, Л. 1933, стр. 82, 83, 84.
- ¹² Д. И. Писарев, Соч. в четырех томах, т. III, Гослитиздат, М. 1956, стр. 406; «Арзамас и арзамасские протоколы», стр. 103; ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, ед. хр. 2611, л. 25.
- ¹³ «Арзамас и арзамасские протоколы», стр. 90.
- ¹⁴ Сочинения В. Л. Пушкина, под ред. В. И. Саитова. СПб., 1895, стр. 86.
- ¹⁵ К. Н. Батюшков, Сочинения, СПб., 1886, т. III, стр. 428; «Остафьевский архив князей Вяземских», т. I, стр. 53.
- ¹⁶ «Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. 1816—1824», т. III, стр. 93, 7; «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», изд. АН СССР, Лит. архив, М.—Л. 1936, стр. 204.
- ¹⁷ «Арзамас и арзамасские протоколы», стр. 193, 190—191.
- ¹⁸ Там же, стр. 206, 208, 209—210.
- ¹⁹ Там же, стр. 227.
- ²⁰ Отчет имп. Публичной библиотеки за 1887 г., стр. 82—85 (Приложения IV, Новые материалы для истории «Арзамаса». Программа журнала, который предполагало издавать Арзамасское общество); М. В. Нечкина, Движение декабристов, М. 1955, т. I, стр. 183; «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», стр. 222; «Арзамас и арзамасские протоколы», стр. 210—213; там же, стр. 223; «Русский архив», 1866, стр. 500 (выдержки из старых бумаг Остафьевского архива. Письма Дмитрия Васильевича Дашкова. Письмо 3, от 26 ноября 1815 года, СПб.); Уткинский сборник, М. 1904, стр. 18.
- ²¹ «Арзамас и арзамасские протоколы», стр. 246; «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», стр. 233; письмо И. И. Дмитриева А. И. Тургеневу 23 августа 1817 года; ПД, ф. 309, № 124, л. 59.
- ²² «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», стр. 257; там же, стр. 485.
- ²³ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, ед. хр. 2727, л. 170 (без даты).
- ²⁴ «Литературное наследство», 1956, т. 60, кн. I, стр. 26—28.
- ²⁵ «Арзамас и арзамасские протоколы», стр. 241.
- ²⁶ «Остафьевский архив князей Вяземских», т. II, стр. 352 (письмо П. Вяземскому от 25 сентября 1823 года).
- ²⁷ П. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина, М.—Л. 1928, 159—197.
- ²⁸ «Записки Филиппа Филипповича Вигеля», т. II, стр. 204; «Пушкин. Письма. Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского.

1815—1825»; М. — Л. 1926, т. I, стр. 191; «Остафьевский архив князей Вяземских», т. I, стр. 296; там же, стр. 304.

²⁹ Письма И. И. Дмитриева к кн. П. А. Вяземскому, «Старина и новизна», 1898, кн. 2, стр. 141; «Сын отечества», № XXXIV/—XXXVII, «Разбор поэмы: «Руслан и Людмила, сочинение Александра Пушкина»; «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», изд. Я. Грот и П. Пекарский, СПб., 1866, стр. 290.

Глава четвертая

ВМЕСТЕ С ДЕКАБРИСТАМИ

¹ См. Т. Снытко, Неопубликованные материалы по декабристскому движению, «Вопросы истории», 1950, № 12, стр. 122—133.

² «Поэзия декабристов», стр. 631, 632, 634.

³ Там же, стр. 651, 692, 696—697.

⁴ «В. Д.», т. I, стр. 430; Об исторических работах декабристов см. С. Волк, Исторические взгляды декабристов, «Вопросы истории», 1950, № 12.

⁵ Соч. Карамзина в трех томах, изд. Ал-дра Смирдина, СПб., 1848, т. III, стр. 399, 453—454; В. А. Жуковский, Соч., СПб., 1902, т. IX, стр. 24; Словарь Академии Российской, СПб., 1822, часть V, от П до С, стр. 624.

⁶ «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», стр. 241.

⁷ Как установлено И. Л. Фейнбергом, статья Пушкина, печатавшаяся под условным названием «Заметки по русской истории XVIII века», является одной из частей его «Записок» (см. И. Фейнберг, Незавершенные работы Пушкина, М. 1955, стр. 237 — 238).

⁸ А. Н. Пыпин, Общественное движение в России при Александре I. Исторические очерки. СПб., 1900, стр. 551—552; «В. Д.», т. V, стр. 12; «В. Д.», т. IX, стр. 117.

⁹ К. Ф. Рылеев, Поли. собр. соч., ред., вступ. ст. и комм. А. Г. Цейтлина, стр. 412.

¹⁰ «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», стр. 267.

¹¹ Н. А. Бестужев, Статьи и письма, М. 1933, стр. 175; Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, стр. 26; Записка Никиты Муравьева «Мысли об Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина», публикация, вступ. ст. и комм. И. Н. Медведевой, «Литературное наследство», М. 1954, т. 54, стр. 582

¹² «В. Д.», т. II, стр. 166.

¹³ Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, стр. 80.

¹⁴ «Полярная звезда», 1824, стр. 7 (А. Бестужев, Взгляд на русскую словесность в течение 1823 г.). (Подчеркнуто мною. — Б. М.); «В. Д.», т. I, стр. 433.

¹⁵ П. Е. Щеголев, Пушкин. Исследования, статьи, материалы, т. II, стр. 46—47.

¹⁶ С. М. Бонди, Неосуществленное послание Пушкина к «Зеленой лампе», «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», изд. АН СССР, М.—Л. 1936, т. I, стр. 33—52.

¹⁷ Ю. Г. Оксман в предисловии к книге «К. Рылеев. Стихотворения» («Библиотека поэта», Большая серия, Л. 1934) впервые указал на то, что Вольное общество любителей российской словесности являлось одним из периферийных вольных обществ «Союза благоденствия» (стр. XXIII). В дальнейшем «Вольное общество» как литературный центр декабризма освещалось в работах Б. Мейлаха «Пушкин в литературных объединениях декабристов» («Красная новь», 1936, № 1) и «Пушкин и русский романтизм»; в книге В. Базанова «Вольное общество любителей российской словесности», Петрозаводск, 1949; в «Истории русской литературы», т. VI, изд. АН СССР, М.—Л. 1953 (глава «Декабристские литературные организации и органы печати»). В монографии М. В. Нечкиной «Движение декабристов» (т. I, М. 1955) деятельность общества освещается в главе VI — «Работа «Союза благоденствия» (стр. 258—262). Таким образом, определение «Вольного общества любителей российской словесности» как легального органа Союза благоденствия можно считать утвержденным в нашей науке вопреки возражениям некоторых исследователей.

¹⁸ Подробнее об этом см. Б. Мейлах, Пушкин и русский романтизм, стр. 55—63.

¹⁹ Н. Н. Степанов, Исторические воззрения Пушкина. Всесоюзное общество по распр. полит. и научн. знаний, Л. 1949, стр. 21.

²⁰ «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», стр. 38.

²¹ Записка Никиты Муравьева «Мысли об Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, «Литературное наследство», М. 1954, т. 59, стр. 585.

²² «В. Д.», т. I, стр. 321—322.

²³ «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», стр. 256, 349, 182.

²⁴ Б. Томашевский, Историзм Пушкина, Ученые записки ЛГУ, Л. 1954, № 173, серия филологических наук, вып. 20, стр. 47.

- ²⁵ Пушкин, т. VII, стр. 459—480; Б. П. Городецкий, Драматургия Пушкина, изд. АН СССР, М.—Л. 1953, стр. 138—179.
- ²⁶ А. Бестужев, Взгляд на старую и новую словесность в России, «Полярная звезда», 1823, стр. 7.
- ²⁷ «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников», ред., вступ. ст. и прим. С. Я. Гессена, стр. 206; «Поэзия декабристов», стр. 481 («К друзьям»); «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников», стр. 250.
- ²⁸ См. комментарий А. Л. Слонимского к наброскам трагедии Пушкина «Вадим», Пушкин, Полн. собр. соч., М.—Л. 1935, т. VII, стр. 659—664.
- ²⁹ «Сборник Русского исторического общества», т. 78, 1891, стр. 524.
- ³⁰ Пушкин, т. XIII, стр. 112, 133.
- ³¹ Б. Модзалевский, К истории «Зеленой лампы». «Декабристы и их время», М. 1928, т. I, стр. 14—18, 29, 31—32.
- ³² Там же, стр. 44—48.
- ³³ Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, стр. 16.
- ³⁴ «Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. 1816—1824», т. III, стр. 153—154, 155, 158, 283.
- ³⁵ Статья А. Муханова помещена в «Сыне отечества», 1825, № 10, Пушкина — в «Московском телеграфе», 1825, № 12.
- ³⁶ «В. Д.», т. IX, стр. 105.
- ³⁷ «Поэзия декабристов», стр. 482.
- ³⁸ «Полярная звезда», 1823, стр. 1; там же, 1825, стр. 9.
- ³⁹ «Мнемозина», М. 1824, ч. II, стр. 42, 43.
- ⁴⁰ «Сын отечества», 1825, ч. 102, № 13, стр. 82 («Предисловие г. Лемонте к изданию басен Крылова с франц. и итал. переводами»).
- ⁴¹ Там же, № 15, стр. 276—288; № 16, стр. 386—398.
- ⁴² К. Ф. Рылеев, Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма, ред. подгот. текста и прим. Ю. Г. Оксмана, М. 1956, стр. 392; Пушкин, т. XIII, стр. 133.
- ⁴³ Пушкин, т. XIII, стр. 94—95, 164, 204, 220—222, 230.
- ⁴⁴ «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», Сб. научно-исследовательских работ, под ред. Д. Д. Благого и В. Я. Кирпотина, М.—Л. 1941, стр. 31—36.
- ⁴⁵ «Полярная звезда», 1825, стр. 6.
- ⁴⁶ Там же, 1825, стр. 6.
- ⁴⁷ Пушкин, т. XIII, стр. 183.
- ⁴⁸ Там же, стр. 183, 241.

⁴⁹ «Полярная звезда», 1823, стр. 43.

⁵⁰ Там же, 1825, стр. 2; там же, стр. 1—2.

⁵¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 294.

⁵² «Сын отечества», 1813, ч. VII, № XXXI, стр. 181; там же, ч. VIII, № XXXII, стр. 179; М. И. Муравьев-Апостол, Воспоминания и письма, «Былое», Пгр. 1922, стр. 42.

⁵³ «В. Д.», т. VI, стр. 227—229.

⁵⁴ В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, стр. 129—130.

⁵⁵ П. Е. Щеголев, Декабристы, Гиз, М.—Л. 1926, стр. 59—60; «В. Д.», т. IV, стр. 254; там же, т. VI, стр. 128—129.

⁵⁶ «В. Д.», т. I, стр. 458; «Воспоминания Бестужевых», ред., статья и комм. М. К. Азадовского, М.—Л. 1951, стр. 27—28.

⁵⁷ В дневниковой записи, сделанной 10 апреля 1828 г., А. Тургенев вспоминает о факте запрещения песни, имевшем место в первой половине 20-х гг. ПД, ф. 309, № 9, л. 69.

⁵⁸ «Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика», составил Вл. Орлов, Гослитиздат, М.—Л. 1951, стр. 49, 671, 49—50; «Декабристы и их время. Материалы и сообщения», под ред. М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха, стр. 13 (сообщение М. А. Брисмана).

⁵⁹ «Дневник партизанских действий 1812 года». Денис Давыдов, Военные записки, ред. Вл. Орлова, Гослитиздат, М. 1940, стр. 207—208.

⁶⁰ Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова, под ред. Н. К. Пиксанова, Пгр. 1917, т. III, стр. 117.

⁶¹ «Полярная звезда», 1825, стр. 2, 7.

⁶² «Мнемозина», ч. II, 1824, стр. 42; «Полярная звезда», 1825, стр. 10; «Соревнователь», 1823, ч. XXIV, № 11, стр. 129 (статья III); «Мнемозина», ч. II, 1824, стр. 38—39.

⁶³ Пестель, Русская правда, СПб., 1906, стр. 56, 59, 71.

⁶⁴ «Предисловие г. Лемонте к изданию басен Крылова с франц. и итал. переводами», «Сын отечества», 1825, ч. 102, № 13, стр. 75—76 (Пушкин писал свою статью, не имея оригинала предисловия Лемонте, по переводу в «Сыне отечества», на который и даем ссылки).

⁶⁵ Пушкин, т. XIII, стр. 238.

⁶⁶ «Сын отечества», 1825, ч. 102, № 14, стр. 181.

⁶⁷ Там же, № 13, стр. 75.

⁶⁸ Известия Отделения литературы и языка АН СССР, 1949, вып. 3, стр. 188

⁶⁹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. VII, стр. 122.

⁷⁰ «Русская поэзия», под ред. С. А. Венгерова, СПб., 1901, вып. 7, стр. 120.

⁷¹ «Вестник Европы», 1802, ч. II, № 7, стр. 232—233 («О русских комедиях»).

⁷² Пестель, Русская правда, стр. 118; А. Н. Пыпин, Общественное движение в России при Александре I, Исторические очерки, стр. 571; о языке декабристов см. Н. С. Авилова, К изучению языка поэтов-декабристов (лексика и словоупотребление). «Материалы и исследования по истории русского литературного языка» под ред. академика В. В. Виноградова, М.—Л. 1953, т. 3, стр. 241—286.

⁷³ «Литературное наследство», М. 1954, т. 59, стр. 374—375 (публ. и предисл. П. С. Бейсова).

⁷⁴ «Полярная звезда», 1823, стр. 2—3, 43—44; там же, 1825, стр. 7, 17; «Мнемозина», ч. II, 1824, стр. 38.

⁷⁵ «Замечания на критику, помещенную в 13-м номере «Сына отечества», касательно «Опыта краткой истории русской литературы». «Сын отечества», 1822, т. 77, № 20, стр. 262—263; «Литературные портфели» I. Время Пушкина, П. 1923, стр. 72—75 (публикация Б. В. Томашевского).

ПОСЛЕ ДЕКАБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ

Глава первая

ПУШКИН В ХОДЕ СЛЕДСТВИЯ И СУДА НАД ДЕКАБРИСТАМИ

¹ Литература, связанная с темой «Пушкин и декабристы», весьма обширна: этой темы касались в той или иной степени почти все литературоведы, исследовавшие биографию и творческий путь Пушкина. Перечень работ, опубликованных до 1937 года, дан в библиографическом обзоре А. Н. Шебунина «Пушкин и декабристы» («Временник пушкинской комиссии», Л. 1937, кн. III, стр. 457—462). О разработке данной проблемы в последние годы см. в монографии М. В. Нечкиной «Движение декабристов», изд. АН СССР, т. I, стр. 40, 435 и др. (по указателю).

² Опубликовано в статье М. Нечкиной «Новое о Пушкине и декабристах», «Литературное наследство», М. 1952, т. 58, стр. 163.

³ «Литературный архив», изд. АН СССР, М.—Л. 1938, т. I, стр. 279.

⁴ Сб. «Пушкинские дни в Одессе», Одесса, 1900, стр. 117.

⁵ Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, стр. 19 (подлинник по-французски).

⁶ Опубликовано М. Нечкиной в статье «О Пушкине, декабристах и их общих друзьях», «Каторга и ссылка», 1930, кн. 4(65), стр. 1.

⁷ Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, стр. 19, 21, 24; А. С. Гангеблов, Воспоминания декабриста, М. 1888, стр. 73.

⁸ М. Цявловский, Летопись жизни и творчества Пушкина, т. I, стр. 659.

⁹ «Литературное наследство», изд. АН СССР, М. 1952, т. 58, стр. 159 (М. Нечкина, Новое о Пушкине и декабристах).

¹⁰ П. Е. Щеголев, Пушкин. Исследования, статьи, материалы, т. II, стр. 75.

¹¹ «В. Д.», т. IX, стр. 125.

¹² Там же, т. III, стр. 128.

¹³ Там же, т. I, стр. 156.

¹⁴ Пушкин, т. XIII, стр. 241

¹⁵ «В. Д.», т. I, стр. 430.

¹⁶ Там же, т. II, стр. 142.

¹⁷ Там же, стр. 192.

¹⁸ Там же, т. II, стр. 208.

¹⁹ «Русская старина», 1900, декабрь, стр. 586.

²⁰ П. Е. Щеголев, Пушкин. Исследования, статьи, материалы, т. II, стр. 72.

²¹ Там же, стр. 73; «Русский архив», 1895, № 2, стр. 171, 172, 174.

²² М. Нечкина, О Пушкине, декабристах и их общих друзьях, «Каторга и ссылка», 1930, кн. 4(65), стр. 9; П. Е. Щеголев, Пушкин. Исследования, статьи, материалы, стр. 72.

²³ М. Нечкина. О Пушкине, декабристах и их общих друзьях, «Каторга и ссылка», кн. 4 (65), стр. 14—15.

²⁴ «В. Д.», т. IX, стр. 49 (в этом томе, изданном в 1950 году, впервые опубликовано дело М. Бестужева-Рюмина, в интересующем нас аспекте малоизученное).

²⁵ «В. Д.», т. IX, стр. 49.

²⁶ Там же, стр. 108, 125.

²⁷ Там же, стр. 108.

²⁸ Там же, стр. 118.

²⁹ Там же, стр. 118—119.

³⁰ Там же, стр. 125—126.

³¹ Там же, стр. 175.

³² Там же, стр. 249, 257.

³³ См. Д. Д. Благой, Творческий путь Пушкина (1813—1826), стр. 508.

³⁴ Пушкин, т. XIII, стр. 264.

³⁵ Там же, стр. 271.

³⁶ Там же, стр. 289.

Глава вторая

ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ

¹ Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, стр. 17—18 (подлинник по-французски).

² «Из записок барона М. А. Корфа», «Русская старина», 1900, март, т. 101, стр. 574; «Старина и новизна», СПб., 1903, кн. VI, стр. 6; А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, изд. АН СССР, т. VII, стр. 206.

³ В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 234; А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, изд. АН СССР, т. VII, стр. 214; И. А. Гончаров, Собр. соч., Гослитиздат, М 1954, т. VII, стр. 247; Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу, М. 1895, стр. 209, 210; Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, изд. Я Грот и П. Пекарский, СПб., 1866, стр. 411; Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826, СПб., 1897, стр. 171. О реакционных откликах на восстание декабристов Карамзина, Жуковского и др. см. подробнее в статье Н. К. Пиксанова «Дворянская реакция на декабризм» («Звенья», М.—Л. 1933, кн. 2, стр. 159 и др.).

⁴ Пушкин, т. XIII, стр. 241.

⁵ А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, изд. АН СССР, т. VII, стр. 214—215.

⁶ «Московский телеграф», 1826, ч. VII, отд. I, стр. 102—103; «Литературный архив», изд. АН СССР, М.—Л. 1938, т. I, стр. 271 («Из архива Д. И. Хвостова», публикация А. В. Западова).

⁷ «Русский архив», 1901, кн. II, стр. 343—344.

⁸ «Русский архив», 1870, № 7, стр. 1366.

⁹ А. С. Гангеллов, Воспоминания декабриста, стр. 83; Письмо А. С. Грибоедова к Ф. В. Булгарину (дат. между 18 февраля—6 марта 1826 года), А. С. Грибоедов, Сочинения, под ред. В. Н. Орлова, стр. 503; Пушкин, т. XIII, стр. 254.

¹⁰ «Москвитянин», 1841, ч. I, стр. 522.

¹¹ Е. П. Ростопчина, Сочинения, СПб., 1890, стр. 50—51.

¹² Пушкин, т. XIII, стр. 295; там же, стр. 297.

¹³ «Русский архив», 1865, № 20, столб. 96—97, 98, 99.

¹⁴ «Красный архив», 1930, кн. I (38), стр. 141—142.

¹⁶ Л. А. Мандрыкина, После 14 декабря 1825 г. (агитаторы конца 20-х — начала 30-х гг.); «Декабристы и их время», под ред. М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха, стр. 231—232; «Красный архив», 1926, кн. 3(16), стр. 194.

¹⁶ Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, стр. 73, 76.

¹⁷ Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, стр. 21, 44. Ср. стр. 25—26, 44, 71, 81.

¹⁸ «Северная пчела», 1826, № 85, 17 июля, стр. 2.

¹⁹ Пушкин, Полн. собр. соч., под ред. С. А. Венгерова, СПб., 1910, т. IV, стр. XXIII (прим.).

²⁰ «Красный архив», т. XIII, стр. 292—297; Проф. М. Н. Гернет, История царской тюрьмы (1825—1870), Госюриздат, М. 1951, т. II, стр. 197; «Русская старина», 1881, т. XXXII, сент., стр. 191.

²¹ В. В. Вересаев, Спутники Пушкина, изд. «Советский писатель», М. 1957, т. I, стр. 391.

²² См. М. Нечкина, Заговор в Зерентуйском руднике. «Ка-торга и ссылка», 1925, кн. 6(13).

²³ «Декабристы и их время», т. I, М. 1928, стр. 222, 226.

²⁴ «Поэзия декабристов», Л. 1950, стр. 651; «Мнимые стихотворения А. И. Одоевского», сообщение М. А. Брисмана «Декабристы и их время»; материалы и сообщения, под ред. М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха, стр. 204—213; «Поэзия декабристов», Л. 1950, стр. 419, 364, 355.

²⁵ «Заря Востока», 1950, № 292, 29 декабря.

²⁶ В. К. Кюхельбекер, Дневник, изд. «Прибой», Л. 1929, стр. 44.

²⁷ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 84—85.

²⁸ Там же, стр. 85; «Воспоминания Бестужевых», стр. 485.

²⁹ А. О. Корнилович, Сочинения и письма, подготовили А. Г. Грум-Гржимайло и Б. Б. Кафенгауз, изд. АН СССР М. — Л. 1957, стр. 336.

³⁰ См. А. Гуревич, Пушкин и Сибирь, Красноярск, 1952, стр. 30.

³¹ В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, т. I, стр. 175.

³² Пушкин, т. XVI, стр. 169.

³³ П. Е. Щеголев, Декабрист И. И. Горбачевский о Пушкине, в книге П. Е. Щеголева «Пушкин. Исследования, статьи, материалы», т. II, стр. 293—296.

³⁴ «Записки декабриста И. И. Горбачевского», «Задруга», М. 1916, стр. 300.

³⁵ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 119; «Отечественные записки», 1860, июль, т. 131, стр. 73.

³⁶ Языковский архив, вып. I. Письма Н. М. Языкова к родным (1822—1829), СПб., 1913, стр. 290; Соч. и переписка П. А. Плетнева, изд. Я. Грота, СПб., 1885, т. III, стр. 524; А. Н. Вульф и его дневник, Л. Майков, Пушкин, СПб., 1899, стр. 191; И. Андроников, Тагильская находка (новые материалы о гибели А. С. Пушкина, с публикацией отрывков из писем Карамзиных), «Новый мир», 1956, № 1, стр. 153—209; В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. III, стр. 712.

³⁷ И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма, стр. 507; «Русский вестник», 1870, июнь, т. 87, стр. 507; там же, 1861, апрель, т. 32, стр. 429; там же, 1861, апрель, т. 32, стр. 436.

³⁸ А. Марлинский, Клятва при гробе Господнем. Соч. Н. Полевого, «Московский телеграф», 1833, ч. 53, стр. 101.

³⁹ В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, т. I, стр. 178.

⁴⁰ И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, стр. 87.

Глава третья НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ

¹ Правительственный свод законов, 1826, ст. 330.

² См. статью Г. Дейча и Г. Фридлендера «Пушкин и крестьянские волнения 1826 г.», «Литературное наследство», М. 1952, т. 58, стр. 198—200.

³ «Красный архив», 1928, т. 62, стр. 15.

⁴ Это произведение характеризуется в общих работах о Пушкине, кроме того, см.: М. П. Алексеев, К истории села Горюхина; Пушкин, Статьи и материалы, вып. 2, Одесса, 1926; Е. А. Акимова, «История села Горюхина» А. С. Пушкина, сб. «Пушкин в школе», М. 1951.

⁵ Ю. Оксман, Пушкин в работе над «Историей Пугачева», «Литературное наследство», М. 1934, т. 16—18; его же: «Проблематика «Истории Пугачева» в свете «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Научный Ежегодник Саратовского гос. университета им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, 1955; А. И. Чхеидзе, «История Пугачева» А. С. Пушкина, автореферат диссертационной работы, представленной на соискание ученой степени доктора филологич. наук, Тбилиси, 1950; ее же: «История Пугачева» А. С. Пушкина как историческое исследование, «Труды Тбилисского гос. пед. ин-та им. А. С. Пушкина», 1948, т. 5, стр. 119—163; А. И. Грушкин, Пушкин 30-х годов в борьбе с официозной историографией («История Пугачева»), «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», М.—Л. 1939, т. 4—5, стр. 212—256; Г. Блок, Пушкин в работе над историческими источниками, изд. АН СССР, М.—Л. 1949;

Н. В. Измайлов, Оренбургские материалы к «Истории Пугачева», Труды третьей Всесоюзной Пушкинской конференции, М.—Л. 1953.

⁶ О «Дубровском» см. статью Д. П. Якубовича в кн. А. С. Пушкин «Дубровский», Л. 1935, стр. 125—146.

⁷ Ю. Оксман, Пушкин в работе над «Историей Пугачева», «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 443—466; Первоначальная редакция XI главы «Капитанской дочки», публикация и комм. Б. В. Томашевского, «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», изд. АН СССР, М.—Л. 1939, т. 4—5, стр. 5—13.

⁸ О «Капитанской дочке» см.: С. Петров, Исторический роман Пушкина, изд. АН СССР, М. 1953 (глава 4); Е. Куприянова, «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, Л. 1947; Н. Степанов, Проза Пушкина, Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина, т. 70, вып. 4, М. 1954; Ю. Оксман, Пушкин в работе над «Капитанской дочкой», «Лит. наследство», т. 58. См. также характеристику «Капитанской дочки» в сравнении с «Вадимом» Лермонтова в статье Н. К. Пиксанова «Крестьянское восстание в «Вадиме» Лермонтова», «Историко-литературный сборник», Гослитиздат, М. 1947. Вопросы, связанные с повестью «Капитанская дочка», затрагиваются также в ряде кандидатских диссертаций (см. Л. Н. Назарова, Библиографический перечень авторефератов диссертаций о Пушкине 1949—1954 гг. «Пушкин. Исследования и материалы», изд. АН СССР, М.—Л. 1956, т. I).

⁹ Начало работы над «Путешествием» датируется пометкой в черновом наброске первой главы: «2 декабря 1833». Далее Пушкин писал его с перерывами в течение 1833 и 1834 годов. Глава «Москва» датируется началом 1835 года.

¹⁰ Изложение разных мнений по поводу этого произведения дано в брошюре П. Н. Сакулина «Пушкин и Радищев» («Альциона», М. 1920). В литературе последних лет преимущественно варьировались упомянутые выше две точки зрения.

¹¹ Хранится в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) АН СССР.

¹² А. Н. Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву». Материалы к изучению «Путешествия...» М.—Л. 1935, т. II, стр. 414; «Северная пчела», 1826, 17 июля, № 85; «Дневник Храповицкого 1782—1793», изд. «Русского архива», М. 1902, стр. 199 (в записи Храповицкого: «Он бунтовщик хуже Пугачева»).

¹³ Этой теме посвящен ряд исследований. См. упомянутую выше работу Ю. Г. Оксмана, Проблематика «Истории Пугачева» Пушкина в свете «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, В. Н. Орлов, Радищев и русская литература, изд. «Совет-

ский писатель», Л. 1952; Н. Л. Степанов, Пушкин и Радищев, М. 1949; Г. П. Макогоненко. Пушкин и Радищев, «Ученые записки ЛГУ», Л. 1939, т. 33, серия филологических наук, вып. 2.

¹⁴ См. В. Шкловский, Путешествие из Москвы в Петербург, «Правда», 1937, 10 февраля.

¹⁵ «Красный архив», т. 37, стр. 150 («Граф А. Х. Бенкендорф о России в 1827—1830 гг.»).

¹⁶ «Современник», 1837, т. VI, стр. 403—423, 405, 406; Против предположения, что главу «Москва» Пушкин хотел заключить статьей Гоголя «Москва и Петербург», выступил В. В. Гиппиус (см. его статью «Литературное общение Гоголя с Пушкиным», Ученые записки Пермского гос. университета, отдел. общ. наук, 1931, вып. 2). Возражения В. В. Гиппиуса не во всем являются убедительными. Как известно, в 1833—1835 годы, когда Пушкин писал свое «Путешествие», он часто встречался с Гоголем. По-видимому, Пушкину был известен замысел или какой-то вариант гоголевской сравнительной характеристики Москвы и Петербурга, которая затем вошла в «Петербургские записки 1836 г.». Во всяком случае очевидна близость ряда моментов в характеристиках Москвы и Петербурга Пушкиным в «Путешествии» и Гоголем в «Записках».

¹⁷ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. V, стр. 272.

¹⁸ Цитируемые Пушкиным строки Радищева см. в «Путешествии» в гл. «Пешки».

¹⁹ Цитируемые Пушкиным строки Радищева см. в «Путешествии» в гл. «Городня».

²⁰ Цитируемые Пушкиным строки Радищева см. в «Путешествии» в гл. «Медное».

²¹ Цитируемые Пушкиным строки Радищева см. в «Путешествии» в гл. «Вышний Волочек».

²² «Путешествие из Петербурга в Москву», 1790, в Санкт-Петербурге, стр. 417—418 («Черная грязь»).

²³ Н. Г. Чернышевский, т. II, стр. 459 («Сочинения Пушкина»).

²⁴ Письма Е. А. Баратынского к И. В. Киреевскому, Татевский сборник С. А. Рачинского, СПб., 1899, стр. 40; Альманах «Новоселье», 1834, стр. 27. Полемика о «литературной аристократии» возникла в 1830 году между Булгариным и Полевым, с одной стороны, и «Литературной газетой» — с другой. Полагаю, что верный подход к рассмотрению полемики заключается (как на это указано в книге И. В. Сергиевского «Пушкин», Гослитиздат, М. 1950, стр. 108) в учете всей сложности позиции Пушкина; выступая против обвинения в «аристократизме», выдвинутого Булгариным и Полевым

против него, Дельвига и Вяземского, он, однако, лишь по видимости (а не по существу) солидаризировался с дворянско-корпоративными тенденциями Вяземского.

²⁵ И. В. Сергиевский, Пушкин и Белинский, автореферат канд. диссертации, М. 1949.

²⁶ «Телескоп», 1836, ч. XXXI, № 2, стр. 216 (статья Н. И. Надеждина «Европеизм и народность в отношении к русской литературе»).

²⁷ Неизданное письмо к Пушкину В. Ф. Одоевского (начало августа 1836 г.), публикация и комм. Ю. Оксмана, «Литературное наследство», М. 1952, т. 58, стр. 289—295.

²⁸ Письма Е. А. Баратынского к И. В. Киреевскому, Татевский сборник С. А. Рачинского, стр. 41—42; Языковский архив, вып. I. Письма И. М. Языкова к родным (1822—1829), стр. 187; М. А. Цявловский, Пушкин по документам погодинского архива, отд. отт. из изд. «Пушкин и его современники». Пгр. 1916, стр. 13; «Вестник Европы», 1829, № 8, стр. 289 (ст. «Полтава», поэма Александра Пушкина); «Вестник Европы», 1829, № 3, стр. 222—223, 227 и др. («Две повести в стихах: «Бал» и «Граф Нулин»); «Литературное наследство», Пушкин по документам архива М. П. Погодина, публикация М. Цявловского, М. 1934, т. 16—18, стр. 698; А. И. Кирпичников, Очерки по истории новой русской литературы (пушкинский период), М. 1903, т. II, стр. 166—168.

²⁹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. I, стр. 72, 74 (подчеркнуто мною. — Б. М.).

³⁰ Там же, т. XI, стр. 129; там же, стр. 178, 189; там же, т. V, стр. 275.

³¹ Там же, т. VII, стр. 579, 101.

НОВЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ

Глава первая

ПЕРЕВОРОТ В ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

¹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. VII, стр. 320 (подчеркнуто мною. — Б. М.); «Венок на памятник Пушкину», СПб., 1880, стр. 80.

² Александр Бенуа, История русской живописи в XIX веке, СПб., 1901, стр. 31.

³ П. Арапов, Летопись русского театра, СПб., 1861, стр. 216.

⁴ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., ГИХЛ, Л. 1934, т. XVII, стр. 99.

⁵ Н. Г. Чернышевский, т. IV, стр. 697.

⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. I, стр. 203; Письма из Франции и Италии Искандера (1847—1852), Лондон, 1858, стр. 55, 56 (Письмо III); А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. III, стр. 35.

⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 476.

⁸ Г. П. Макогоненко, Радищев и его время, Гослитиздат, М. 1956; Л. И. Кулакова, А. Н. Радищев и вопросы художественного творчества в русской литературе XVIII века (из истории русской эстетической мысли). Автореферат на соискание ученой степени доктора филологических наук, М. 1954.

⁹ А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, М.—Л. 1938, т. I, стр. 230; Я. Е. Эльсберг, Некоторые проблемы истории русского реализма, «Изв. Отделения литературы и языка АН СССР», М. 1956, т. 15, вып. 2, стр. 102.

¹⁰ Д. П. Якубович, Античность в творчестве Пушкина, «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», М.—Л. 1941, т. 6, стр. 122, 123.

¹¹ В. М. Жирмунский, Пушкин и западные литературы, «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», М.—Л. 1937, т. 3, стр. 67.

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. X, стр. 721.

¹³ Ксенофонт Полевой, Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого. Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов, ред., вступ. ст. и комм. Вл. Орлова, Л. 1934, стр. 227.

¹⁴ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, М. 1955, т. VII, стр. 317—318, 316 (подчеркнуто мною. — Б. М.).

¹⁵ Об особенностях поэмы классицизма см. в книге А. Н. Соколова «Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века», изд. Моск. ун-та, М. 1955, стр. 187—214.

¹⁶ В статье «Белинский о реализме Пушкина» Б. И. Бурсов отмечает, что Белинский верно указывал на огромное значение проблемы художественной формы для русской литературы первой четверти XIX века. Иногда, рассуждая как просветитель, он не связывал процесс выработки литературной формы с задачей все более широкого охвата исторического содержания и все более глубокого проникновения в него. Но материалистический подход к проблеме формы, как правило, приводил критика к постановке вопроса о связи процесса совершенствования литературы как искусства с развитием общественной жизни (см. «Труды первой и второй Всесоюзных пушкинских конференций», М. 1952, стр. 94—96).

¹⁷ Г. Р. Державин. Сочинения с объяснительными примечаниями Я. Грота, СПб., 1864, т. I, стр. 157—158, 162.

¹⁸ Н. М. Карамзин, Сочинения, СПб., 1848, т. I, стр. 592—593; там же, стр. 198.

¹⁹ А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. II, стр. 171 (подчеркнуто мною. — Б. М.).

²⁰ В. В. Виноградов, Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. «Academia», М. 1935, гл. VI. «Русско-французский язык дворянского салона и борьба Пушкина с литературными нормами «языка светской дамы».

²¹ В. В. Виноградов, Стиль Пушкина, Гослитиздат, М. 1941, стр. 49.

Глава вторая

РОЛЬ ИСКУССТВА. ОБРАЗ ПОЭТА

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 342; «В. Д.», т. IV, стр. 105.

² «Красный архив», 1928, т. 5(30), стр. 223 (письмо m-lle Гюеннэ от 18 ноября 1825 года. Подлинник по-французски).

³ П. В. Анненков, А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений, 1873, стр. 106; Н. О. Лернер, Проза Пушкина, изд. 2, 1923, стр. 99 и 101.

⁴ А. Д. Кантемир, Соч., письма и избр. переводы, под ред. П. А. Ефремова, СПб., 1867, т. I, стр. 204, 233, 250, 251, 322; М. В. Ломоносов, Стихотворения, «Библиотека поэта», большая серия, под ред. акад. А. С. Орлова, изд. «Советский писатель», Л. 1935, стр. 215—220; М. В. Ломоносов, Краткое руководство к красноречию, посвящение, Полн. собр. соч., М. — Л. 1952, т. VII, стр. 91; Г. Р. Державин, Сочинения, т. I, стр. 367, стр. 679—680; т. IV, стр. 15—17 и др.; А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. I, стр. 391.

⁵ А. Д. Кантемир, Соч., письма и избр. переводы, т. I, стр. 322, 325.

⁶ Ср. Г. А. Лесскис, Политическая лирика А. С. Пушкина (1817—1820). Пушкин в школе, Сб. статей под редакцией Н. Л. Бродского и В. В. Голубкова, М. 1951, стр. 208. Характеризуя пушкинскую «Вольность», Г. А. Лесскис связывает выраженные в ней взгляды на поэзию с процессами формирования декабристского движения.

⁷ «Записки Филиппа Филипповича Вигеля», т. II, стр. 151; «Русская старина», 1893, № 5, стр. 406—407 (письмо К. Н. Батюшкову от 22 февраля 1816 года, подлинник по-французски, стр. 404—405); А. Н. Пыпин, Исторические очерки. Обществен-

ное движение в России при Александре I. СПб., 1900, стр. 571, 572.

⁸ «Поэзия декабристов», стр. 270—275, 283.

⁹ К. Ф. Рылеев, Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма, ред., подготовка текста и прим. Ю. Г. Оксмана, стр. 150—153, 372 (подчеркнуто мною. — Б. М.).

¹⁰ «Полярная звезда», 1824, стр. 1—2; «Полярная звезда», 1823, стр. 41, 43—44; «Мнемозина», 1824, ч. II, стр. 31, 33—38 и др.

¹¹ Пушкин, изд. Императорской Академии наук, СПб., 1912, т. III, стр. 409.

¹² «Полярная звезда», 1825, стр. 14; «Благонамеренный», 1825, ч. XXIX, № 8, стр. 328; «Дамский журнал», 1825, ч. X, № 8, стр. 68—69. *

¹³ «Поэзия декабристов», стр. 475—477, 478—482.

¹⁴ М. А. Цявловский, Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Раевскому, «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», М. — Л., 1941, т. 6, стр. 45.

¹⁵ «Заседание, бывшее в императорской Российской Академии 18 января 1836 г.», СПб., 1836, стр. 23, 26.

¹⁶ Д. И. Писарев, Пушкин и Белинский. Соч. в четырех томах, т. 3, стр. 399, 400.

¹⁷ Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XIV, стр. 122—126, 148, 173; там же, т. X, стр. 280—285 (подчеркнуто мною. — Б. М.); «Вестник Европы», 1829, № 3, стр. 227 (статья Надеждина «Две повести в стихах: «Бал» и «Граф Нулин»).

¹⁸ Г. В. Плеханов, Сочинения, т. X, стр. 284.

¹⁹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. VII, стр. 344—345.

²⁰ Л. Майков, Пушкин, СПб., 1899, стр. 330 («Воспоминания Шевырева о Пушкине»); П. В. Анненков, А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений, стр. 170; В. А. Васильев, Пушкин-критик, «Известия северо-кавказского пед. ин-та им. М. Ю. Гадиева», т. XIII, Орджоникидзе, 1937, стр. 97; А. С. Пушкин, Сочинения в одном томе, ред. текста и комм. М. А. Цявловского и С. М. Петрова, 1949, стр. 873.

²¹ «Московский вестник», 1827, ч. II, № 7, стр. 230, 231; там же, 1826, ч. VI, № 22, стр. 210, 212; там же, 1827, ч. I, стр. 44, 45.

²² Там же, 1828, ч. VII, № 1, стр. 69; там же, 1827, ч. I, № 3, стр. 205, 207 («Замечание на замечание кн. Вяземского о начале русской поэзии»).

²³ См. комм. М. П. Алексеева к «Моцарту и Сальери» в т. VII Полн. собр. соч. Пушкина, М. — Л. 1935, стр. 523—547; И. Бэлла,

Моцарт и Сальери, Музгиз, 1953; Б. П. Городецкий, Драматургия Пушкина, изд. АН СССР, М.—Л., 1953, стр. 269, 282.

²⁴ См. С. Бонди, К истории создания «Египетских ночей», в кн. С. Бонди «Новые страницы Пушкина», «Мир», М. 1931, стр. 194—195.

²⁵ Г. Р. Державин, Сочинения, т. I, стр. 785—788.

²⁶ Там же, стр. 557 («Песнь брачная чете порфирородной»).

²⁷ Ср. И. Фейнберг, Памятник, «Литературный критик», 1933, стр. 91—92.

²⁸ В. П. Семенников, Радищев. Очерки и исследования, М.—Л. 1923, стр. 314.

²⁹ «Путешествие из Петербурга в Москву», 1790. В Санкт-Петербурге, стр. 420, 421.

³⁰ «Римская литература в избранных переводах», М. 1939, стр. 201.

³¹ Г. Р. Державин, Сочинения, т. I, стр. 788.

³² Ср. Н. В. Фридман, Образ поэта-пророка в лирике Пушкина, «Ученые записки Московского Гос. университета. Труды кафедры русской литературы», М. 1946, кн. 2, стр. 106 (в этой статье, наряду с некоторыми ошибочными положениями, имеются верные наблюдения о развитии мотивов стихотворения Пушкина «Пророк» в других его стихотворениях).

Глава третья

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ГЕРОЯ

¹ «Невский зритель», 1820, июль ч. III, стр. 67, 79—80 («Замечания на поэму: «Руслан и Людмила»; «Сын отечества», 1820, № 36, ч. XIV, стр. 105 («Разбор поэмы: «Руслан и Людмила»)).

² «Невский зритель», 1820, июль, ч. III, стр. 75.

³ В. И. Ленин, Сочинения, т. 27, стр. 79.

⁴ «Вестник Европы», 1820, № 11, стр. 218—219 («Письмо к редактору жителя Бутырской слободы» — А. Г. Глаголева).

⁵ А. Н. Пыпин, Исторические очерки. Общественное движение в России при Александре I, стр. 553, 570.

⁶ «Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева, 1816—1824», т. III, стр. 81.

⁷ Там же, стр. 181, 197.

⁸ Там же, стр. 220, 221.

⁹ А. Н. Пыпин, Исторические очерки. Общественное движение в России при Александре I, стр. 571; Н. А. Бестужев, Воспоминание о Рылееве, «Воспоминания Бестужевых», стр. 25.

¹⁰ «Сын отечества», 1825, ч. 101, № 10, стр. 198, 199, 197; «Литературное наследство», М. 1954, т. 59, стр. 123—124.

¹¹ «Поэзия декабристов», стр. 72.

¹² Там же, стр. 225, 81.

¹³ «Литературное наследство», М. 1954, т. 59, стр. 15—16; «Полярная звезда», 1823, стр. 29; «Поэзия декабристов», стр. 132—133, 148, 150—152, 154—155, 164.

¹⁴ «Сын отечества», 1823, ч. 83, № 4, стр. 183—184 («Ответ на критику «Полярной звезды», помещенную в 4, 5, 6 и 7 номерах «Русского инвалида» 1823 года).

¹⁵ «Мнемозина», 1824, ч. II, стр. 31.

¹⁶ В. Кюхельбекер, «К Пушкину», 1822, «Поэзия декабристов». Л. 1950, стр. 290—291; «Сын отечества», 1822, ч. 82, № 49, стр. 121 («О Кавказском Пленнике, повести соч. А. Пушкина»).

¹⁷ «Московский телеграф», 1827, ч. 15, № 10, стр. 116 («Цыганы»).

¹⁸ «Полярная звезда», 1825, стр. 8; Пушкин, т. XIII, стр. 133, 141; «Полярная звезда», 1825, стр. 14—15.

¹⁹ «Поэзия декабристов», стр. 107.

²⁰ «Венок на памятник Пушкину», стр. 246—247.

²¹ Когда наша книга уже была закончена и находилась в процессе издательской подготовки, вышла в свет работа Б. В. Томашевского «Пушкин», кн. первая (изд. АН СССР, М. — Л. 1956), где также отвергается, как неверная, трактовка образа Алеко Достоевским (см. стр. 643—646). Вместе с тем, как нам представляется, Б. В. Томашевский преувеличивает степень сочувствия Пушкина Алеко. Нельзя забывать, что поэт действительно осуждал индивидуалистически-эгоистические чувства своего героя.

²² В. А. Жуковский, Стихотворения, «Библиотека поэта», большая серия, вступ. ст., подгот. текста и прим. Н. В. Измайлова, изд. «Советский писатель», Л. 1956, стр. 249—250.

²³ В. А. Жуковский, Стихотворения, «Библиотека поэта», большая серия, вступ. статья, ред. и прим. Ц. Вольпе, изд. «Советский писатель», Л. 1939, т. I, стр. 383 (прим.); В. В. Виноградов, Стиль Пушкина, М. 1941, стр. 398—402.

²⁴ В. А. Жуковский, Стихотворения, «Библиотека поэта», большая серия, изд. «Советский писатель», Л. 1956, стр. 257—258.

²⁵ «Полярная звезда», 1823, стр. 23; «Литературные листки», 1824, ч. IV, № 19, стр. 34 («Русская антология, или Образчики русских поэтов Джона Боуринга»); «Денница», 1830, «Обозрение русской словесности 1829 года», стр. XIX—XXII, XXXIV,

²⁶ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 183, 185.

²⁷ «Русская старина», 1896, октябрь, т. 88, стр. 137, «Д. П. Рунин и поэт Байрон»; «Остафьевский архив князей Вяземских», т. II, стр. 171; «Сын отечества», 1822, ч. 82, № 49, стр. 121 («О Кавказском Пленнике, повести соч. А. Пушкина»).

²⁸ А. Незеленов, Александр Сергеевич Пушкин в его поэзии, СПб., 1882, стр. 177, 248 и др.

²⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. I, стр. 160. Об изучении Марксом и Энгельсом «Евгения Онегина» см. работу М. П. Алексеева «Словарные записи Ф. Энгельса к «Евгению Онегину» и «Медному Всаднику» («Пушкин. Исследования и материалы. Труды третьей Всесоюзной пушкинской конференции», М. — Л. 1953).

³⁰ «Полярная звезда», 1825, стр. 14; Пушкин, т. XIII, стр. 148—149.

³¹ Пушкин, т. XIII, стр. 141, 150.

³² «Полярная звезда», 1825, стр. 14.

³³ Там же, стр. 7—8, 9.

³⁴ Пушкин, т. XIII, стр. 149.

³⁵ В. Ключевский, Очерки и речи, М. 1913, стр. 73 («Евгений Онегин и его предки»).

³⁶ Это противоречие в мироощущении Онегина отмечено Н. Л. Бродским (см. его книгу «Евгений Онегин», «Учпедгиз», М. 1950, стр. 322). Заслуживает внимания гипотеза о том, что одним из мотивов поездки Пушкина на Кавказ в 1829 году было желание собрать материал для «декабристского» финала романа (см. С. Гессен, Источники десятой главы «Евгения Онегина». «Декабристы и их время», т. II, стр. 152 и др.; Н. Фатов, О «Евгении Онегине» А. С. Пушкина, «Ученые записки Черновицкого гос. университета», серия филологическая, вып. 2, 1955, т. IV, стр. 108).

³⁷ «Русский архив», 1880, № 3, стр. 443 («Воспоминание М. В. Юзефовича о Пушкине «Памяти Пушкина»).

³⁸ В. В. Маяковский, Полн. собр. соч. в двенадцати томах, М. 1939, т. 2, стр. 523.

³⁹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 488.

⁴⁰ В. В. Виноградов, Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка, стр. 230.

⁴¹ П. Вяземский, Стихотворения, «Библиотека поэта», малая серия, вступ. статья, ред. и прим. Л. Гинзбург, изд. «Советский писатель», 1936, стр. 58—61.

⁴² Ср. И. М. Дягтеревский, *Пейзаж в «Евгении Онегине» Пушкина, «Ученые записки Московского городского педагогического института им. В. П. Потемкина», том XLIII, Кафедра русской литературы, М. 1954, стр. 167.*

⁴³ «Вестник Европы», 1829, № 3, стр. 222—223 («Две повести в стихах: «Бал» и «Граф Нулин»).

⁴⁴ «Северный Меркурий», 1830, 19 февраля, № 22, стр. 86—87.

⁴⁵ Пушкин, т. VI, стр. 197; «Литературное наследство», М. 1934, т. 16—18, стр. 639 («Воспоминания П. А. Катенина о Пушкине», вступ. ст. и прим. Ю. Оксмана).

⁴⁶ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 501, 500.

⁴⁷ Г. И. Успенский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, 1953, т. VI, стр. 430 («Праздник Пушкина»).

⁴⁸ Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч. («Дневник писателя за 1873 и 1876 гг.»), Гослитиздат, М. — Л. 1929, т. XI, стр. 90.

⁴⁹ «Сын отечества и Северный архив», 1833, № 6, т. XXXIII, стр. 322—323 («Письма о русской литературе, Письмо II—III. О характере и достоинстве поэзии А. С. Пушкина»).

⁵⁰ «Московский телеграф», 1833, ч. 50, № 6 (марг), стр. 238—239 («Евгений Онегин», роман в стихах, Сочинение Ал-дра Пушкина); «Сын отечества», 1825, ч. 100, № 8, стр. 374—375, 382 («Разбор статьи о «Евгении Онегине», помещенной в № 5 «Московского телеграфа»); Языковский архив, вып. I. Письма Н. М. Языкова к родным (1822—1829), стр. 187, «Пушкин по документам архива М. П. Погодина». Публикация М. Цявловского, «Литературное наследство», М. 1934, т. 16—18, стр. 698 (письмо от 17 марта 1828 г.).

⁵¹ «Литературная газета», 1830, т. I, № 17, стр. 135.

⁵² «Санкт-петербургский зритель», 1828, ч. I, кн. I, стр. 148; «Атеней», 1828, ч. I, № 4, стр. 84, 88 и др.

⁵³ Ср. замечания об этой статье Пушкина в статье К. Дрягина «Борьба Пушкина за реалистическую эстетику» («Пушкин — родоначальник новой русской литературы», сборник научно-исследовательских работ под ред. Д. Д. Благого и В. Я. Кирпотина, М. — Л. 1941).

⁵⁴ «Северная пчела», 1830, № 35, стр. 1.

⁵⁵ Там же, № 39, стр. 1; «Северный Меркурий», 1830.

⁵⁶ Сочинения Аполлона Григорьева, СПб., 1876, т. I, стр. 501. «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина», стр. 326; «Тургенев и его деятельность», стр. 248, 254; Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч., М. — Л. 1928, т. IV, стр. 57; Там же, т. XI («Дневник писателя за 1873 и 1876 гг.»), стр. 185; О различных интерпретациях образа Белкина см. в книге В. В. Виноградова «Стиль Пушкина», стр. 536—537.

⁵⁷ Сочинения Апэллона Григорьева. т. I, стр. 501 («Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина»).

⁵⁸ Ф. М. Достоевский, Собр. соч. в десяти томах, Гослитиздат, М. 1956, т. I, стр. 141.

⁵⁹ В. Н. Берх. Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге, СПб., 1826, стр. 65—66. Любопытные наблюдения об использовании Пушкиным фактов, связанных с наводнением 1824 года см. в статье Г. Ленобля «К истории создания «Медного Всадника», «Ленинградский альманах», 1957, июнь.

⁶⁰ Валерий Брюсов, Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения, ред. Н. К. Пиксанова, М. — Л. 1929, стр. 80.

⁶¹ В. Сиповский, Пушкин. Жизнь и творчество, СПб., 1907, стр. 308.

⁶² Д. Якубович, «Пиковая дама», в кн. А. Пушкин. «Пиковая дама», ред. текста, ст. и комм. Д. П. Якубовича, Гослитиздат, Л. 1936, стр. 69; См. интересные замечания о роли образа Лизаветы Ивановны в структуре «Пиковой дамы» для понимания характера Германа в книге В. В. Виноградова «Стиль Пушкина», стр. 599—607.

⁶³ В. Ермаков, Наш Пушкин, Гослитиздат, М. 1949, стр. 67.

⁶⁴ Рецензия В. Б. Броневского на «Историю Пугачева» была напечатана анонимно в «Сыне отечества», 1835, кн. I, стр. 177—186.

⁶⁵ Об эпитафиях Пушкина к «Капитанской дочке» см. в работах: Д. Якубович, Об эпитафиях Пушкина, «Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института им. А. И. Герцена». Л. 1941, т. 76; В. Шкловский, Заметки о прозе русских классиков, изд. 2, изд. «Советский писатель», М. 1955.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Август, император — 109, 486.
 Авилова Н. С. — 670.
 Азадовский М. К. — 669.
 Акулова Е. А. — 674.
 Александр I — 13, 18, 20, 35, 45, 51, 54, 58, 96, 109, 118, 124, 133, 150, 151, 164, 179, 189, 192, 193, 202, 211—218, 224—231, 235, 236, 247, 251, 289, 303, 308, 487, 514.
 Александр II — 169.
 Александр Македонский — 188.
 Алексеев А. И. — 369.
 Алексеев М. П. — 656, 669, 673, 674, 680, 683.
 Алябьев А. — 661.
 Алябьев В. — 661.
 Анакреонт — 478.
 Андроников И. Л. — 231, 662, 674.
 Анна Павловна (сестра Александра I) — 212.
 Анненков П. В. — 61, 261, 463, 493, 501, 651, 664, 679, 680.
 Антоний Марк — 105.
 Араб-Оглы Э. А. — 648.
 Аракчеев А. А. — 13, 18, 21, 50, 52, 59, 109, 133, 153, 217.
 Арапов П. Н. — 677.
 Арина Родионовна (Матвеева) — 638.
 Ариосто Л. — 329, 552
 Аристид — 109.
 Арно Л. — 489.
 Арто Н. — 311
 Архаровы — 209, 210.
 Багратион П. И. — 233.
 Базанов В. Г. — 657, 667.
 Байрон Дж. — 384, 461, 503, 547, 549—551, 568, 683.
 Бакунин А. П. — 122.
 Бакунин М. А. — 424.
 Бакунина В. И. — 180, 206, 658, 661.
 Баратынский Е. А. — 367, 423, 676, 677.
 Барклай де Толли М. Б. — 183, 184, 229, 231.
 Барков И. С. — 353.
 Барсуков Н. П. — 662.
 Барятинский А. П. — 283.
 Басаргин Н. В. — 196, 283, 660.
 Батеньков Г. С. — 283.
 Батюшков К. Н. — 145, 204, 215, 253, 261—263, 267, 268, 471, 488, 660, 661, 664, 665, 679.
 Безобразов А. — 202.
 Бейсов П. С. — 670.
 Белецкий А. И. — 649.
 Белинский В. Г. — 175, 176, 336, 385, 403, 421, 422, 424, 425, 429, 430, 444, 500, 547, 548, 553, 603, 604, 653, 658, 669, 674, 676, 677, 678, 680, 683, 684.

- Беляев А. П. — 179, 220, 658, 662.
 Бенкендорф А. Х. — 150, 154, 156, 230, 251, 363, 364, 369, 370, 371, 373, 401.
 Бентам И. — 352.
 Бенуа А. Н. — 677.
 Берх В. Н. — 628, 685.
 Бестужев (Марлинский) А. А. — 173, 219, 221, 283, 290, 292, 293, 300, 309, 311, 313, 314, 317—321, 325, 326, 329—331, 333, 339—341, 352, 356, 365, 371, 379, 380, 384—386, 451, 474, 479, 530, 531, 540, 546, 550, 565, 567, 568, 614, 662, 667, 668, 674.
 Бестужев М. А. — 283, 284, 379.
 Бестужев Н. А. — 101, 283, 284, 325, 384, 666, 681.
 Бестужев Пав. А. — 384.
 Бестужев Петр А. — 353, 382.
 Бестужев-Рюмин А. — 661.
 Бестужев-Рюмин М. А. — 599.
 Бестужев-Рюмин М. П. — 287, 350, 355, 356, 357, 362.
 Бечаснов В. А. — 354.
 Бибииков И. П. — 363.
 Бируков А. С. — 289.
 Благой Д. Д. — 263, 359, 660, 664, 668, 672, 684.
 Блок Г. П. — 674.
 Блудов Д. Н. — 263, 264, 266, 267, 270, 276, 278, 347.
 Бобров С. С. — 252.
 Бобрищев-Пушкин Н. С. — 283.
 Бобрищев-Пушкин П. С. — 283.
 Болотников И. И. — 303.
 Болотов П. А. — 346.
 Бональд де Л. Г. — 308.
 Бонапарт Наполеон — см. Наполеон I.
 Бонди С. М. — 292, 667, 681.
 Борис Годунов — 92, 297, 298, 299, 303.
 Боровков А. Д. — 347.
 Боровкова-Майкова М. С. — 665.
 Бороздин А. К. — 649, 658, 661, 663, 666.
 Борсук Н. В. — 660.
 Боуринг Джон — 682.
 Бошняк А. К. — 378.
 Брискман М. А. — 669, 673.
 Броглио С. Ф. — 138, 169.
 Бродский Н. Л. — 30, 648, 679, 683.
 Броневский В. Б. — 641, 685.
 Брут Л. Юний — 295.
 Брут М. Юний — 109, 155, 156, 221, 312.
 Брюсов В. Я. — 630, 685.
 Буало Н. — 442, 443, 462.
 Будри Д. И. — 114, 655.
 Булгаков А. Я. — 366.
 Булгаков К. Я. — 366.
 Булгарин Ф. Б. — 15, 152, 226, 231, 232, 327, 352, 380, 402, 420, 425, 502, 510, 615, 662, 672, 676.
 Бунина А. П. — 216, 249, 253, 260, 268.
 Бурбоны — 400.
 Бурсов Б. И. — 678.
 Бурцов И. Г. — 11, 39, 114, 141, 142, 380.
 Бурьен Л. А. — 374.
 Бутурлин Д. П. — 352.
 Бычков И. А. — 664.
 Бэлза И. Ф. — 680.
 Вадим, новгородец — 88, 579.
 Вадковский Ф. Ф. — 283.
 Васильев В. А. — 501, 680.
 Васильчиков А. А. — 648.
 Веллингтон А. У. — 217.
 Вельяминов В. Ф. — 249.
 Венгеров С. А. — 375, 670, 673.
 Вeneвитинов Д. В. — 368, 608.
 Венецианов А. Г. — 431, 432.
 Венигель Я. А. — 133.
 Вересаев В. В. — 673.
 Вигель Ф. Ф. — 186, 207, 211, 249, 262, 263, 267, 471, 659, 661, 663—665, 679.
 Виноградов В. В. — 335, 455, 457, 544, 595, 670, 679, 682, 683, 685.
 Винокур Г. О. — 297.
 Витгенштейн П. Х. — 143, 467.
 Воейков А. Ф. — 205, 263, 265.

- Военский К. — 661.
 Волк С. С. — 658.
 Волков А. А. — 369.
 Волкова А. А. — 249, 663.
 Волков Ф. Г. — 304.
 Волконская В. М. — 54.
 Волконская М. Н. — 377.
 Волконский М. С. — 346.
 Волконский С. Г. — 174, 211, 220, 301, 326, 346, 658, 661.
 Вольпе Ц. С. — 682.
 Вольтер Ф. М. А. — 114, 127, 152, 307, 319, 355, 443, 444, 491, 492.
 Вольховский В. Д. — 11, 29, 46, 48, 49, 52, 54, 56, 122, 142, 159, 167, 646, 650.
 Вульф А. Н. — 156, 384, 657, 674.
 Вяземский П. А. — 129, 209, 215, 236, 246, 261, 263—268, 273, 274, 276—278, 280, 281, 289, 308, 314—318, 329, 331, 334, 338, 357, 362, 367, 420, 442, 451, 476, 480, 536, 537, 548, 549, 550, 596, 661, 666, 672, 677, 683.
 Вяземский П. П. — 222, 662.
 Вязьмитинов С. К. — 248.
 Гаевский В. П. — 16, 55, 56, 83, 216, 647, 650.
 Галинковский Я. А. — 249.
 Галич А. И. — 103, 212, 654.
 Гангблов А. С. — 348, 367, 671, 672.
 Гастфрейнд Н. А. — 12, 13, 646, 649, 650.
 Гауеншильд Ф. М. — 42, 44, 46, 132—134.
 Гафиз — 310.
 Герен А. Г. — 352.
 Гельвеций К. А. — 39.
 Георгиевский П. Е. — 103, 104, 108, 110, 111—114, 654.
 Гернет М. Н. — 673.
 Герцен А. И. — 176, 177, 364, 366, 425, 436, 658, 661, 672, 678.
 Гершензон М. О. — 493.
 Геснер С. — 126.
 Гессен С. Я. — 649, 657, 668, 683.
 Гестерфильд — 127.
 Гете И.-В. — 502.
 Гизо Ф. П. Г. — 414, 551.
 Гиппиус В. В. — 676.
 Глаголев А. Г. — 524, 681.
 Глинка В. М. — 662.
 Глинка Г. А. — 143.
 Глинка М. И. — 431.
 Глинка С. Н. — 188, 189, 206, 211, 212, 225, 226, 661, 662.
 Глинка Ф. Н. — 39, 101, 109, 114, 143, 144, 175, 190, 195, 197, 203, 207, 283, 292, 293, 658, 661.
 Глинка Ю. К. — 143.
 Глюк К. В. — 506.
 Гнедич Н. И. — 209, 318, 473, 536, 537.
 Гоголь Н. В. — 3, 401, 402, 429, 449, 645, 676.
 Голенищев-Кутузов Л. И. — 230.
 Голенищев-Кутузов П. И. — 268, 662.
 Голиков И. И. — 304.
 Голицын А. Н. — 46, 58, 151, 293.
 Голицын Н. С. — 647.
 Голицын Ф. С. — 211.
 Голубков В. В. — 679.
 Гольтгоер Ф. Г. — 47, 48, 151.
 Гомер — 110.
 Гончаров И. А. — 365, 430, 672.
 Гончарова Н. Н. — 385.
 Гораций — 497, 513, 517.
 Горбачевский И. И. — 383, 384, 673.
 Гориславский, подпоручик — 354.
 Городецкий Б. П. — 298, 505, 668, 681.
 Горсткин И. Н. — 349, 350.
 Горчаков А. М. — 17, 48, 56, 57, 60, 66, 103, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 159, 167, 169, 651.
 Горчаков В. П. — 533.
 Горчаков Д. П. — 353.
 Горький А. М. — 427, 429, 645.
 Готшед И.-К. — 488, 489.
 Гофман В. А. — 109.
 Граббе П. Х. — 109, 222.

- Греч Н. И. — 226, 270, 327, 352, 425.
Грибоедов А. С. — 152, 206, 328, 338, 353, 367, 380, 449, 660, 669, 672.
Григорьев А. А. — 619, 620, 622, 684.
Громницкий П. Ф. — 355, 356.
Гроссман Л. П. — 29, 62, 114, 648, 655.
Грот К. Я. — 12, 14, 159, 647, 652, 654, 655, 657.
Грот Я. К. — 12, 14, 647, 648, 652, 656, 672, 674, 679.
Грум-Гржимайло А. Г. — 673.
Грушкин А. И. — 391, 674.
Гуго Г. — 71.
Гуревич А. В. — 673.
Гюеннэ m-lle — 679.
Давид Ж. Л. — 461.
Давыдов В. Л. — 222, 283, 284, 291, 309, 312.
Давыдов Д. В. — 197, 224, 233, 235, 267, 327, 328, 357.
Даль В. И. — 384.
Данзас К. К. — 125, 166.
Данте — 552, 636.
Дантес Ж. — 125.
Дашков Д. В. — 263, 264—268, 273, 276.
Дегтяревский И. М. — 684.
Дейч Г. М. — 674.
Декарт Р. — 433.
Делорм И. — см. Сент-Бев Ш.
Дельвиг А. А. — 11, 13, 120, 124, 131, 138—140, 142, 146, 158, 159, 163, 170, 182, 367, 421, 449, 550, 677.
Демидов Н. И. — 152—154.
Демосфен — 105, 107, 108, 111.
Державин Г. Р. — 124, 205, 249, 250, 254, 317, 333, 445, 449, 450, 464, 465, 467, 473, 513, 514, 517, 618, 679, 681.
Десницкий В. А. — 663.
Джами — 310.
Дивов В. А. — 354.
Дирин П. — 658.
Дмитревский И. А. — 249.
Дмитриев И. И. — 249, 251, 273, 280, 317, 337, 365, 467, 609, 665, 666, 672.
Дмитриев М. А. — 611.
Дмитрий, царевич — 92.
Добролюбов Н. А. — 244, 663.
Долгорукие, князья — 413.
Долгоруков И. А. — 349.
Долгоруков П. И. — 222, 312, 662.
Достоевский Ф. М. — 541, 606, 619, 620, 624, 684, 685.
Доу Д. — 223.
Дрягин К. — 684.
Дубровин Н. Ф. — 660.
Дудышкин С. М. — 434.
Дурова Н. А. — 234—236.
Дурылин С. Н. — 189.
Екатерина II — 91, 117, 286, 288, 396, 397, 400, 514.
Елагина-Киреевская А. П. — 272.
Ермилов В. В. — 685.
Ермолов А. П. — 20, 203, 660.
Жирмунский В. М. — 441, 678.
Жихарев С. П. — 248, 249, 263, 266, 663.
Жомини Г. — 574.
Жуи В. — 489.
Жуковский В. А. — 62, 124, 145, 236, 241, 252, 261—268, 271, 274, 277, 278, 280, 285, 314—318, 331, 347, 352, 359, 360—362, 365, 371, 383, 384, 423, 488, 520, 543—548, 666, 672, 682.
Завадовский П. В. — 249.
Завалишин Д. И. — 283, 661.
Загоскин М. Н. — 225, 237.
Зайкин Н. Ф. — 283.
Зайцевский Е. П. — 233.
Занд К. Л. — 312.
Западов А. В. — 664, 672.
Захаров И. С. — 248, 249, 268.
Зенгер Т. Г. — см. Цявловская Т. Г.
Зубов А. — 369.

- Иванов И. И. — 356.
 Ивановский А. А. — 347.
 Измайлов А. Е. — 265, 327, 480.
 Измайлов В. В. — 367.
 Измайлов Н. В. — 662, 675, 682.
 Илличевский А. Д. — 83, 86, 125, 126, 131, 138, 160.
 Инзов И. Н. — 151.
 Иоанн III, князь московский — 579.
 Иоанн Васильевич IV (Грозный) — 579.
 Иоанн, принц, регент португальский — 192.
 Ипсиланти А. К. — 143.
 Ипсиланти Д. К. — 143.

 Кавелин Д. А. — 263, 264, 274, 277.
 Каверин П. П. — 143, 144, 222.
 Казначеев А. И. — 476.
 Кайданов И. К. — 42, 55, 62, 86—95, 103, 114, 184, 188, 653, 654.
 Калинин Ф. П. — 46.
 Кальдерон П. — 329, 552.
 Камоэнс Л. — 139, 467.
 Кант И. — 71, 72, 458, 488, 585.
 Кантемир А. Д. — 445, 449, 464, 465, 503, 679.
 Жапнист В. В. — 249.
 Каподистрия И. А. — 263.
 Карабанов П. М. — 249.
 Каразин В. Н. — 150, 323.
 Карамзин Н. М. — 91, 205, 261, 268, 280, 284, 285, 294—297, 300, 318, 334, 336, 337, 340, 352, 366, 452—456, 666, 667, 672, 679.
 Карцев Я. И. — 44, 46.
 Катенин П. А. — 283, 329, 603, 684.
 Катон — 109, 113, 146.
 Кафенгауз Б. Б. — 673.
 Каховский П. Г. — 109, 214, 218, 236, 288, 307, 348, 370.
 Кесарь — см. Цезарь.
 Кикин П. А. — 249.
 Кине Э. — 236, 663.
 Кирджали Г. — 638.
 Киреевский И. В. — 37, 423, 502, 547, 676, 677.
 Киреевский П. В. — 219.
 Кирпичников А. И. — 677.
 Кирпотин В. Я. — 668, 684.
 Киселев П. Д. — 149.
 Клеопатра — 509.
 Ключевский В. О. — 571, 683.
 Княжнин Я. Б. — 286, 288.
 Кобеко Д. Ф. — 12, 13, 31, 649, 650, 651, 653, 656, 657.
 Козлов И. И. — 352.
 Козодавлев О. П. — 208.
 Колошин П. И. — 39, 114, 141.
 Комовский С. Д. — 130, 132.
 Коновницyna (Нарышкина) Е. П. — 377.
 Констан Б. — 307.
 Кордэ Ш. — 114, 312, 480, 483.
 Коркунов Н. — 71.
 Корнель П. — 333, 442.
 Корнилович А. О. — 284, 292, 302, 382, 673.
 Корсаков Н. А. — 135, 138, 159.
 Корф М. А. — 15, 30, 104, 130—132, 165, 167, 179, 183, 672.
 Костенский К. Д. — 121.
 Костров Е. И. — 139, 467.
 Котляревский Н. А. — 282.
 Кочетов И. С. — 151.
 Кочубей В. П. — 28, 150, 412.
 Кошанский Н. Ф. — 100, 101, 103, 104, 108, 110, 111, 114, 654.
 Краевский А. А. — 423, 424.
 Крамер Д. А. — 101, 654.
 Критские, братья — 370.
 Кронеберг И. Я. — 369.
 Кропотков А. Ф. — 254.
 Крылов И. А. — 185, 250, 318, 332—334, 337, 408, 448, 669.
 Крюков А. С. — 210.
 Ксеркс — 322.
 Кукин — 248.
 Кулакова Л. И. — 438, 678.
 Куницын А. П. — 11, 20, 24, 27, 38—41, 43, 45, 61, 62, 64—84, 94, 114, 118, 120, 146, 150, 152, 154, 158, 184, 187, 651, 652.

- Куприянова Е. Н. — 675.
 Курганов Н. К. — 621.
 Курций Квинт — 188.
 Кутузов М. И. — 184, 198, 210, 219, 228, 229, 231, 235.
 Кюхельбекер В. К. — 11, 13, 37, 43, 48, 49, 57, 58, 101, 111, 113, 119, 120, 123, 124, 127, 135, 138—142, 146, 150, 158, 159, 161—165, 167, 182, 183, 283, 288, 293, 310, 329, 330, 331, 333, 339, 340, 346, 352, 353, 379, 382, 387, 472—474, 480, 532, 546, 548, 561, 564, 647—650, 656, 657, 673, 674.
 Кюхельбекер Ю. Я. — 183.
 Лагарп Ж.-Ф. — 20, 251, 259.
 Лагарп Ф.-С. — 247.
 Лажечников И. И. — 195, 225, 659.
 Ламартин А. — 549.
 Лебедев-Полянский П. И. — 663.
 Лебрен Э. — 460.
 Легуве Ж.-Б. — 311.
 Лемке М. К. — 658.
 Лемонте П.-Э. — 310, 332, 334, 338, 668, 669.
 Ленин В. И. — 18, 22, 177, 243, 244, 321, 364, 409, 410, 460, 523, 647, 663, 669, 679, 681.
 Ленобль Г. М. — 685.
 Леопольдов А. Ф. — 369.
 Лермонтов М. Ю. — 229, 243, 380, 424, 429, 645, 675.
 Лернер Н. О. — 463.
 Лессинг Г. Э. — 488.
 Лесский Г. А. — 679.
 Ливий Тит — 295.
 Ликург — 103.
 Липранди И. П. — 195, 300, 301, 659.
 Лисовский Н. Ф. — 356.
 Лобанов М. Е. — 491.
 Локателли И. — 347.
 Ломоносов М. В. — 254, 255, 286, 329, 394, 401, 402, 413, 445, 448, 449, 464—467, 679.
 Ломоносов С. Г. — 123, 136, 261.
 Лорер Н. И. — 174, 354, 658.
 Лувель Л.-Г. — 309.
 Лунин М. С. — 143, 239, 350, 351, 379.
 Львов Ф. П. — 249.
 Людовик XIV — 333, 444.
 Людовик XVI — 312, 469, 470.
 Магницкий М. Л. — 46, 277, 327.
 Майборода А. И. — 354.
 Майков Л. Н. — 346, 657, 674, 680.
 Макаров П. И. — 258, 664.
 Макогоненко Г. П. — 438, 676, 678.
 Малерб Ф. — 461.
 Малиновский В. Ф. — 11, 17, 20, 24, 29—37, 39, 41, 42, 45, 52, 59—64, 84, 101, 118, 120, 134, 154, 182, 648, 649.
 Малиновский И. В. — 11, 49, 135, 138, 166—169, 179, 182, 646, 650.
 Мандрыкина Л. А. — 673.
 Манзей — 662.
 Мануйлов В. А. — 662.
 Манюэль А. — 574.
 Марат Ж.-П. — 70, 114, 483.
 Марин С. Н. — 249.
 Мария Федоровна, императрица — 212.
 Маркс К. — 96, 176, 435, 442, 562, 653, 658, 678, 683.
 Мартынов И. И. — 20, 28, 30, 31, 213.
 Масальский П. Г. — 20.
 Матюшкин Ф. Ф. — 43, 47, 56, 57, 159, 650.
 Маяковский В. В. — 582, 683.
 Медведева И. Н. — 666.
 Мейерберг А. — 407.
 Мельгунов Н. А. — 424.
 Местр Ж. де — 25, 26, 27, 28, 157, 251, 647.
 Меттерних К. — 132, 133, 655.
 Миллер Н. И. — 13.
 Миллот К. — 622.
 Милорадович М. А. — 58.
 Мильтон Дж. — 472, 552.
 Минин К. — 201, 211, 304, 413, 579.
 Митьков М. Ф. — 323.
 Михаил Федорович, царь — 92, 93, 251, 400.

- Михайловский-Данилевский А. И. — 226, 661.
 Модзалевский Б. Л. — 305, 647, 648, 656, 668, 670, 672.
 Модзалевский Л. Б. — 662.
 Молоствов П. Х. — 144.
 Молчанов Л. А. — 369.
 Мольтер Ж. — 319, 333, 442, 443.
 Монтескье Ш. — 109.
 Мордвинов Н. С. — 19, 20, 248, 249.
 Моцарт В.-А. — 505, 507, 508.
 Мур Т. — 461.
 Муравьев А. Н. — 141.
 Муравьев Мих. Никитич — 347.
 Муравьев Мих. Николаевич — 141.
 Муравьев Никита Михайл. — 262—264, 269, 272, 274, 276, 283, 284, 288, 295, 296, 350, 656, 666, 667.
 Муравьев-Апостол М. И. — 171, 323, 347, 350, 357, 358, 669.
 Муравьев-Апостол С. И. — 174, 283, 323, 324, 356, 460, 471.
 Муравьев-Карский Н. Н. — 142.
 Муравьева А. Г. — 162, 375, 381.
 Муханов А. А. — 308, 668.
 Муханов П. А. — 283.
 Мясоедов П. Н. — 121.
 Надеждин Н. И. — 598, 680.
 Назарова Л. Н. — 675.
 Наполеон I (Бонапарт) — 98, 99, 164, 173, 184, 187, 188, 192, 193, 199, 200, 226, 236, 373, 374, 470, 634, 636.
 Нащокин П. В. — 422.
 Незеленов А. И. — 553, 554, 683.
 Некрасов Н. А. — 429.
 Нелединский-Мелецкий Ю. А. — 326, 353.
 Нерон — 124.
 Нессельроде К. В. — 412.
 Нечкина М. В. — 142, 174, 272, 350, 656, 658, 665, 670, 671, 673.
 Николай I — 12, 47, 126, 152—155, 157, 174, 281, 284, 303, 348, 349, 354, 355, 361, 362, 364, 370—374, 377, 378, 384, 390, 400, 491, 554.
 Николев Н. П. — 206, 249.
 Новиков Н. И. — 33, 286, 288.
 Оболенский Е. П. — 39, 114.
 Овидий Назон — 109.
 Одоевский А. И. — 147, 283, 376, 379, 380.
 Одоевский В. Ф. — 293, 423, 614, 677.
 Озеров В. А. — 329, 472.
 Оксман Ю. Г. — 313, 391, 392, 667, 668, 674, 675, 677, 680, 684.
 Октавий — см. Август.
 Оранский, принц — 212, 216.
 Орлов А. А. — 232.
 Орлов В. Н. — 669, 676, 678.
 Орлов М. Ф. — 149, 262, 264, 269, 271—274, 276, 277, 284, 295, 301, 313, 324, 352.
 Охотников К. А. — 105.
 Павел I — 91, 469.
 Павлов Н. Ф. — 614.
 Панин Н. И. — 413.
 Парни Э. — 574.
 Паскевич И. Ф. — 381.
 Паскевич М. Н. — 355, 356.
 Перикл — 107, 109.
 Пестель П. И. — 39, 109, 114, 143, 144, 283, 308, 332, 338, 669, 670.
 Петр I — 92—94, 113, 304, 371, 374, 629, 631.
 Петрарка Ф. — 368.
 Петров С. М. — 678, 680.
 Петроний — 139.
 Пешуров А. Н. — 127.
 Пиксанов Н. К. — 100, 654, 669, 672, 675.
 Пилецкий-Урбанович И. С. — 134.
 Пилецкий-Урбанович М. С. — 118, 134, 135.
 Пирон А. — 280.
 Писарев А. А. — 249.
 Писарев Д. И. — 261, 268, 493, 665, 680.
 Пиша М. — 489.

- Плетнев П. А. — 65, 66, 360, 361, 366, 384, 544, 674.
 Плеханов Г. В. — 493—495, 680.
 Плещеев А. А. — 263.
 Плутарх — 307.
 Погодин М. П. — 224, 368, 399, 423, 452, 502, 612, 613, 625, 662, 684.
 Поджио А. В. — 39.
 Пожарский Д. М. — 201.
 Покровский М. Н. — 348, 378.
 Полевой К. А. — 385, 444.
 Полевой Н. А. — 385, 402, 403, 420, 676, 677.
 Полетика П. И. — 263, 273.
 Попов В. М. — 46.
 Потемкин Г. А. — 333.
 Предтеченский А. В. — 647.
 Прокопович Феофан — 304.
 Пугачев Е. И. — 391—393, 410, 411, 414, 423, 639—644, 675.
 Пушкин А. М. — 209.
 Пушкин В. Л. (дядя поэта) — 129, 209, 210, 261, 263, 265, 268, 269, 276, 664.
 Пушкин Л. С. (брат поэта) — 257, 289.
 Пушкин С. Л. (отец поэта) — 383.
 Пушкина Е. Г. — 209.
 Пушин И. И. — 7, 10, 11, 13, 29, 48, 49, 52—55, 57, 66, 118, 138, 141, 144, 150, 159, 161, 162, 166, 183, 291, 314, 349, 353, 381, 382, 646, 649—651, 656, 657, 659, 673, 674.
 Пыпин А. Н. — 261, 666, 670, 679, 681.
 Пыхачев М. И. — 350, 351, 355—358.
 Пюттер И. — 71.
 Равальяк Ф. — 114.
 Радищев А. Н. — 18, 28, 34, 37, 65, 74, 82, 108, 282, 286, 288, 394—398, 401, 405—408, 432, 437—439, 452, 455, 465, 469, 516, 675, 676, 678, 679, 681.
 Раевский В. Ф. — 105, 283, 300, 309, 324, 379, 483—485.
 Раевский Н. Н. (генерал) — 143, 182, 196, 222, 233.
 Раевский Н. Н. — 182, 222, 551, 565.
 Разин С. Т. — 579, 638.
 Разумовский А. К. — 20, 25, 27, 131, 132, 178, 249, 647.
 Расин Ж. — 114, 329, 333, 442, 462.
 Рейналь Г. — 39.
 Ренненкампф А. Я. — 133.
 Риго Р. — 309.
 Ричардсон С. — 594.
 Робеспьер М. — 114, 442, 480.
 Розен А. Е. — 29, 31, 159, 648.
 Розен Е. А. — 52, 53.
 Романовы, династия царей — 400.
 Ростопчина Е. П. — 367, 672.
 Рунич Д. П. — 46, 550, 683.
 Руссо Ж.-Б. — 139, 461, 467.
 Руссо Ж.-Ж. — 68, 71, 72, 74, 127, 152, 307, 594, 652.
 Рылеев К. Ф. — 92, 109, 137, 204, 243, 244, 283, 287, 290, 292, 293, 314, 317—320, 325, 326, 329, 333, 346, 352, 365, 473, 528, 530, 532, 540, 546, 547, 567, 583, 656, 666, 668, 680.
 Рюрик — 88, 621.
 Саади — 310.
 Сабуров Я. И. — 144.
 Сантов В. И. — 665.
 Сакулин П. Н. — 675.
 Салтыков-Щедрин М. Е. — 433, 677.
 Сальери А. — 505, 509.
 Самойлов А. Н. — 196.
 Санковский П. С. — 380.
 Свечин П. — 225.
 Северин Д. П. — 264, 272—274.
 Сей Ж.-Б. — 155, 307.
 Селезнев И. Я. — 12, 13, 34, 646, 647, 649.
 Семевский В. И. — 648, 654, 656, 669.
 Семенников В. П. — 516, 681.
 Семенов А. В. — 141.

- Сент-Бёв Ш.-О. (Иосиф Делорм) — 490.
 Сергиевский И. В. — 421, 676.
 Сибиряков И. С. — 279.
 Сиповский В. В. — 632, 685.
 Сисмонди С. — 155, 307.
 Скотт В. — 502.
 Слонимский А. Л. — 668.
 Смит А. — 76, 307.
 Смит М. — 55.
 Снытко Т. Г. — 666.
 Соколов А. Н. — 678.
 Соколов П. И. — 249, 268.
 Сомов О. М. — 311, 331.
 Спасский И. Т. — 384.
 Спенсер Э. — 552.
 Сперанский М. М. — 19—24, 26—29, 34, 35, 94, 248, 647.
 Спиридов М. М. — 356.
 Сталь Ж. де — 308, 311, 462, 594.
 Стевен Ф. Х. — 122.
 Стендаль А. — 462.
 Степанов Н. Л. — 675, 676.
 Степанов Н. Н. — 294, 667.
 Стерн Л. — 544.
 Стурдза А. С. — 274.
 Суворов А. В. — 304.
 Сумароков А. П. — 315, 452, 643.
 Сусанин И. — 92, 431.
 Сухинов И. И. — 379.
 Сухоруков В. Д. — 380.

 Тарквиний — 295, 653.
 Тассо Т. — 368, 472.
 Татищев В. Н. — 91, 358.
 Терebeneв И. И. — 198.
 Тиртей — 110.
 Титов В. П. — 423, 502, 609.
 Толстой Л. Н. — 429, 645.
 Толстой Ф. П. — 101.
 Толстой Я. Н. — 290, 291.
 Толычев — 208.
 Томашевский Б. В. — 297, 667, 670, 675, 682.
 Торвальдсен Б. — 227.
 Траси (Детю де Траси) — 307.
 Траубенберг М. М. — 410.
 Тредьяковский В. К. — 447, 467.
 Трилунный (псевдоним Д. Ю. Струйского) — 233.
 Тропинин В. А. — 432.
 Трубецкой С. П. — 174, 283.
 Туманский В. И. — 137.
 Тургенев А. И. — 261, 263, 266, 267, 272, 277—279, 295, 326, 347, 365, 665, 669, 672.
 Тургенев И. С. — 429, 645.
 Тургенев Н. И. — 38, 64, 75, 114, 150, 158, 194, 196, 198, 214, 262, 264, 269, 270, 272—274, 276, 277, 279, 283—285, 287, 292, 296, 308, 312, 457, 525, 526, 649, 651, 660, 661, 665—668, 681.
 Тургенев С. И. — 270, 273, 276, 287, 665—667.
 Тынянов Ю. Н. — 17, 31, 43, 50, 53, 142, 647—650, 656.
 Тырков А. Д. — 119, 121.
 Тычина П. Г. — 649.
 Тютчев А. И. — 356.

 Уваров С. С. — 82, 262, 263, 266, 267.
 Улыбышев А. Д. — 241, 305, 663.
 Успенский Г. И. — 605, 684.

 Фатов Н. Н. — 683.
 Федоров Б. М. — 611.
 Фейнберг И. Л. — 666, 681.
 Фердинанд VII — 192.
 Фигнер А. С. — 238.
 Филатов С. С. — 268.
 Фирдоуси — 310.
 Флориан Ж. П. — 311.
 Фонвизин Д. И. — 254, 286, 352, 570.
 Фонвизин М. А. — 60, 220, 662.
 Фон-Фок М. Я. — 347.
 Фридлиндер Г. М. — 674.
 Фридман Н. В. — 681.
 Фридрих II — 491.
 Фролов С. С. — 42, 133.
 Фукс — 304.
 Фусс П. Н. — 83, 86.

 Харкевич В. — 660.
 Хвостов А. С. — 249, 268.
 Хвостов Д. И. — 249, 250, 254, 268, 366, 629, 663, 672.
 Херасков М. М. — 329.
 Хитрово Е. М. — 222, 662.

- Хлопка — 303.
 Хомяков А. С. — 502.
 Храповицкий А. В. — 397, 675.
- Цезарь Гай Юлий** — 155, 156, 221, 312.
Цейтлин А. Г. — 155, 656, 657, 666.
Цицерон — 89, 105, 108, 109, 111, 307.
Цявловский М. А. — 484, 650, 656, 662, 671, 677, 680, 684.
Цявловская (Зенгер) Т. Г. — 316, 381, 650.
- Чаадаев П. Я.** — 143, 144, 220, 222, 243, 353, 399, 535, 583.
Чайковский П. И. — 605.
Челяковский Ф. Л. — 347.
Чернышевский Н. Г. — 21, 22, 28, 176, 244, 416, 434, 647, 648, 658, 663, 676, 678.
Чехов А. П. — 429, 583, 645.
Чижов Н. А. — 283.
Чиляев Б. Г. — 386.
Чириков С. Г. — 132.
Чулков Г. И. — 29, 648, 651.
Чхеидзе А. И. — 391, 674.
- Шадури В. С.** — 380.
Шаликов П. И. — 254, 453, 480.
Шатров И. М. — 255.
Шаховской А. А. — 249, 251, 260, 265, 266, 268, 270, 276.
Шаховской Ф. П. — 283.
Шебунин А. Н. — 670.
Шевырев С. П. — 421, 424, 501, 502, 503.
Шекспир В. — 311, 329, 437, 444, 462, 502, 551, 552, 613.
Шеллинг Ф.-В. — 501.
Шенье А. — 480—483, 485, 486.
Шенье М.-Ж. — 460.
Шешковский С. И. — 286.
Шиллер Ф. — 41, 188, 502, 547.
Шильдер Н. К. — 662.
Шимков И. Ф. — 347.
Ширинский-Шихматов С. А. — 205, 249, 251, 252, 260, 268.
- Шишков А. С.** — 216, 246, 247, 249—251, 255—260, 263, 264, 270, 276, 306, 330, 335, 336, 340, 633, 664.
Шкловский В. Б. — 676, 685.
Шлегель А. — 551.
Шляпкин И. А. — 656.
Шолье Г. — 461.
Штейнгель В. И. — 45, 115, 180, 181, 196, 199, 205, 207, 284, 353, 354, 658, 660.
Штрайх С. Я. — 646, 659, 660.
Шувалов И. И. — 401.
- Щеголев П. Е.** — 128, 278, 290, 383, 655, 665, 667, 669, 671, 673.
Щедрин — см. Салгыков-Щедрин М. Е.
Щепкин М. С. — 422.
- Эйхенбаум Б. М.** — 663.
Эльсберг Я. Е. — 439, 678.
Энгельгардт В. Е. — 50.
Энгельгардт Е. А. — 17, 39, 43, 45—49, 51—59, 120—127, 133, 151, 159, 649, 650, 655.
Энгельс Ф. — 22, 74, 96, 436, 652, 653, 658, 678, 683.
Эпикур — 128.
Эшенбург И. И. — 101, 654.
- Ювенал** — 108, 109, 139, 457.
Юзефович М. В. — 580, 683.
Юрьев Ф. Ф. — 291.
Юшкова А. П. — 209.
- Языков А. М.** — 608.
Языков Н. М. — 384, 608, 674, 677, 684.
Языков П. М. — 384.
Яковлев М. Л. — 56, 125, 136, 159, 165, 166.
Якубович А. И. — 143, 289, 550.
Якубович Д. П. — 100, 441, 637, 654, 675, 678, 685.
Якушкин В. Е. — 15, 261.
Якушкин И. Д. — 109, 196, 214, 217, 284, 350, 660.
Ярослав (Мудрый) — 579.
Ясвижский — 353.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В книге воспроизведены портреты Пушкина работы В. А. Тропинина.

Первоначальный набросок портрета Пушкина. Итальянский карандаш. Фронтиспис. 1827 г.

Этюд. 1827 г. Масло. Стр. 376.

Портрет. 1827 г. Масло. Стр. 496.

Миниатюра, приписываемая В. А. Тропинину (?).

С фотографии, хранящейся во Всесоюзном Пушкинском музее в Ленинграде. Оригинал в Париже. (Цветное воспроизведение дано в издании «А. С. Пушкин. Евгений Онегин», Париж, 1937, с указанием, что миниатюра находится в медальоне, подаренном Пушкиным Наталье Николаевне.) Стр. 592.



О Г Л А В Л Е Н И Е

| | |
|---------------------|---|
| От автора | 3 |
|---------------------|---|

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ

| | |
|--|-----|
| <i>Глава первая.</i> Легенда о Лицее и действительность . . | 9 |
| <i>Глава вторая.</i> Лицейский «способ учения» | 60 |
| <i>Глава третья.</i> Разные пути | 116 |
| <i>Глава четвертая.</i> Разгром Лицея. «Лицейские годовщины» | 149 |

«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА»

| | |
|--|-----|
| <i>Глава первая.</i> Современник великих событий | 173 |
| <i>Глава вторая.</i> Две России | 194 |

ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ В СПОРАХ О НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

| | |
|--|-----|
| <i>Глава первая.</i> Линии борьбы | 241 |
| <i>Глава вторая.</i> «Губители русского слова» | 246 |
| <i>Глава третья.</i> Пушкин и круг арзамасцев | 260 |
| <i>Глава четвертая.</i> Вместе с декабристами | 282 |

ПОСЛЕ ДЕКАБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ

| | |
|---|-----|
| <i>Глава первая.</i> Пушкин в ходе следствия и суда над декабристами | 345 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| <i>Глава вторая.</i> Пушкин и декабристы в период после поражения декабрьского восстания | 363 |
| <i>Глава третья.</i> На рубеже двух эпох | 388 |

НОВЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ

| | |
|--|-----|
| <i>Глава первая.</i> Переворот в эстетических представлениях | 429 |
| <i>Глава вторая.</i> Роль искусства. Образ поэта | 459 |
| <i>Глава третья.</i> Проблема современного героя | 519 |
| Примечания | 649 |
| Указатель имен | 689 |
| Список иллюстраций | 696 |

Борис Соломонович Мейлах
Пушкин и его эпоха

Редактор *С. Краснова*

Художественный редактор *О. Лепятский*

Технический редактор *Л. Сутина*

Корректор *Г. Фальк*

Сдано в набор 3/II 1958 г.

Подписано к печати 6/V 1958 г.

Бумага 84×108¹/₃₂. 21,87 печ. л. 35,87 уел.

печ. л. 37,29 уч.-изд. л.+4 вкл.=37,49.

Зак. № 2811. Тираж 20 000. Цена 17 р. 10 к.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.

Ленинград, Измайловский пр., 29.

О П Е Ч А Т К И

| <i>Стр.</i> | <i>Строка</i> | <i>Напечатано</i> | <i>Следует читать</i> |
|-------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 118 | 19—20 св. | царского | Царскосельского |
| 217 | 10 св. | нашли. | нашли». |
| 401 | 7 св. | фондирующей | фрондирующей |
| 452 | 9 св. | главу | славу |
| 453 | 6 сн. | сюжетный | салонный |
| 471 | 17 сн. | внимание на | внимание не на |
| 501 | 7 сн. | к свободе | и свободе |
| 607 | 10 сн. | любовных | лобовых |
| 631 | 17 св. | перепоручу | препоручу |
| 633 | 9 св. | литературой | литературы |

Б. Мейлах, «Пушкин и его эпоха»